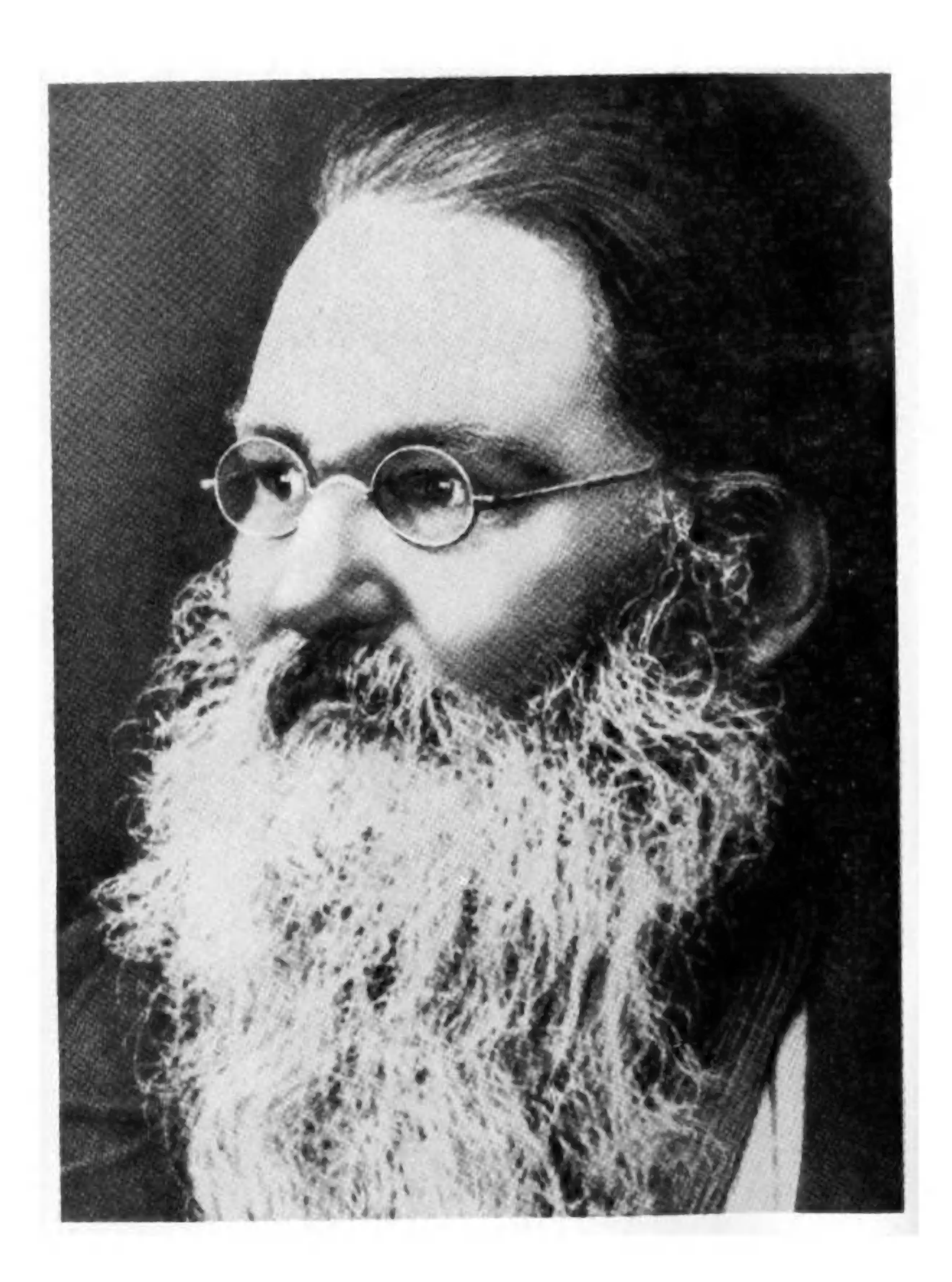
А. УХТОМСКИЙ

ИНТУИЦИЯ

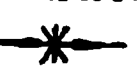


А. УХТОМСКИЙ

ИНТУИЦИЯ СОВЕСТИ

ПИСЬМА

ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ



ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ



ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1996

ББК 84.Р7
У89

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ ФИЗИОЛОГИИ им. А. А. УХТОМСКОГО

Ответственный редактор
академик РАО А. С. БАТУЕВ

Составители
А. В. СОКОЛОВА, Г. М. ЦУРИКОВА, И. С. КУЗЬМИЧЕВ

Предисловие
Г. М. ЦУРИКОВОЙ и И. С. КУЗЬМИЧЕВА

Примечания
Л. В. СОКОЛОВОЙ

Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда

Грант № 96—03—16018д

ISBN-5-88986-13-5

СТРАННАЯ ПРОФЕССИЯ — ПИСАТЕЛЬСТВО

Алексей Алексеевич Ухтомский — явление в русской культуре уникальное.

Физиолог с мировым именем, он отличался удивительным разнообразием гуманитарных интересов, энциклопедической начитанностью в области философии и литературы, свободным творческим взглядом на многосложность социальных, нравственных, эстетических и религиозных проблем. Его эпистолярное и мемуарное наследие — настоящее откровение. Оно долго было спрятано от глаз, сохранилось далеко не полностью, да и то, что лежит в архивах, по сей день не все разобрано...

«Странное писательство» Ухтомского началось рано, с юношеских записных книжек, и продолжалось до последних дней жизни. Он поистине не мог не писать, к тому побуждал напряженный процесс духовного самопознания, причем тяга к самовыражению воплощалась у него в нетрадиционных формах. В литературном наследии Ухтомского нет завершенных канонических произведений, но его письма, например, можно рассматривать и как страницы эпистолярного романа, и как фрагменты философских трактатов, и как лирическую исповедь. В его наследии — отрывки из дневников; вроде бы случайные записи в рабочих тетрадях рядом с набросками научных статей — регулярные в двадцатых годах и все более редкие к середине тридцатых; совсем миниатюрный жанр — пометки на полях прочитанных книг.

В сущности, оставленное Ухтомским писательское наследие — это самобытная интеллектуальная проза: ей присущи мощь и ясность авторской мысли, талант живописания, искренность чувства, народный ум, психологическая проницательность и плюс ко всему живое ощущение грозной поступи истории.

1

Биография Алексея Алексеевича Ухтомского (1875—1942) внешне незамысловата, хотя внутренне трагична, при видимом благополучии. В глазах учеников, учениц особенно, он выглядел чудаковатым профессором — носил вызывающее для университетских аудиторий

одеяние наподобие толстовки; студенты болтали, что под суконной рубахой он прячет вериги. Рослую, аскетично-суровую фигуру, при окладистой, рано поседевшей бороде, отличала военная выправка. Он ходил порой в высоких сапогах, зимой — в тулупе, совсем по-мужицки; однажды, по слухам, в Москве сторож не пропускал его в зал на ученый конгресс, объясняя, что туда-де приглашены господа для научной беседы,— это академика ничуть не смутило...

Он тяготился «отдельностью» в профессорской среде, но попросту не в силах был жить «прилично». Признавался, что смолоду «бежал от обстановки и комфорта», инстинктивно пугаясь мирских благ и удовольствий. Людей он любил вне «обстановки», подозревая в ней «цепи и кандалы для этих самых людей». И в житейском обиходе он повиновался не обстоятельствам, а внятному внутреннему голосу, навсегда отдав предпочтение никому не подвластной духовной свободе.

По характеру Ухтомский был человек замкнутый, с детства приученный к душевной сосредоточенности,— рано ощутив прямую и потаенную связь с Богом ли, с Космосом или Вечностью, как это ни назови, и еще — силу Разума, его неудержимый зов и невозможность тому зову противиться.

Родился Ухтомский в пошехонской российской глубинке, детство провел в славном городе Рыбинске, хранившем корни допетровской, старообрядческой культуры, а происхождения был княжеского, от Рюриковичей. Его столь же именитый сородич Эспер Эсперович Ухтомский, близкий человек при царском дворе, общаясь с ним в начале века в Петербурге, участливо предлагал ввести родственника в высший свет, однако тот от протекции уклонялся — ему была органически чужда всякая, а тем более великосветская суета.

Учился Ухтомский сперва в Рыбинской классической гимназии, а с тринадцати лет был отправлен в Нижегородский кадетский корпус, который когда-то окончил и его отец. Образование в корпусе давали неплохое, там он серьезно увлекся математикой и с преподававшим ее И. П. Долбней долго поддерживал добрые отношения. В девятнадцать лет Ухтомский был выпущен из корпуса с отличием, но офицером не стал.

И тут нельзя не упомянуть о решающем семейном обстоятельстве, заранее окрасившем всю дальнейшую судьбу Ухтомского. В год с небольшим его выделили из родительской семьи и при живых отце с матерью отдали на воспитание одинокой сестре отца Анне Николаевне, тете Анне, женщине самоотверженно религиозной. Связь с родителями — прежде всего с матерью, человеком властным, с характером сугубо практическим, с деловой коммерческой хваткой,— почти прервалась, и мучительность их разрыва угнетала Ухтомского постоянно.

А тетя Анна до самой ее смерти в июне 1898 года оставалась для него не только «единственным в мире родным человеком», но и непререкаемым, незаменимым примером духовного устроения.

«Скорбная печальница», неутешная в заботах о чужой беде, Анна Николаевна и нежно любимого Алексеюшку с младенчества приучала к той же самоотреченной любви, равно обращенной к людям и к Богу.

Жития святых, древние благочестивые книги были его первым чтением. Таинство молитвы, эстетика церковного песнопения изначально творили восприимчивую и чуткую душу. С детства воспитывал мальчика тихий, полузабытый мир верхневолжской старозаконной России, с ее нетронутой природой и упрямым, целостным складом человеческой натуры, впоследствии безошибочно узнаваемой Ухтомским всюду, будь то в Москве или в столичном Питере.

Личность слабая, пассивная растворилась бы в этой — и могучей, и убогой—стихии. Ухтомский же, по его признанию, повинуясь какой-то неясной «мелодии», рано зазвучавшей в душе, окреп и выстоял. Внутренняя сосредоточенность пробудила в нем самостоятельность мысли и дала направление всей дальнейшей жизни. Работа мысли обрела чрезвычайную интенсивность, когда из устойчивого домашнего быта он был брошен в казенную сутолоку кадетского корпуса и болезненный перелом воспринял как добавочный стимул к познанию — природного мира и самого себя.

«Мелодия», никогда не смолкавшая в нем, на сей раз — и не однажды в будущем! — подсказала выбор, и по окончании корпуса Ухтомский поступил на словесное отделение Московской духовной академии, где его прежде всего заинтересовала философия, знаменем которой в то время в России был Владимир Соловьев,— русская идеалистическая философия, неотделимая от религиозного сознания.

Обращение к философии, к науке и вместе с тем — к Богу для Ухтомского показательно. В Духовную академию он пришел «уже искушенный, уже вкусивший прелести мысли» и, обозначая свои цели, записывал в дневнике в 1897 году: «...мое истинное место — монастырь. Но я не могу себе представить, что придется жить без математики, без науки. Итак, мне надо создать собственную келью — с математикой, с свободой духа и миром. Я думаю, что тут-то и есть истинное место для меня». Он понимал свои цели широко, его интриговала — ни больше ни меньше — «анатомия человеческого духа до религии включительно»; выяснение «возможностей религиозного опыта» в плане психологическом он уже тогда считал первостепенной научной задачей.

Успешное обучение в Академии, глубокие познания в истории и философии, явная литературная одаренность сулили Ухтомскому богатые перспективы. Помня о своих «стратегических» целях, он тем не менее испытывал сомнения относительно «так называемого выбора карьеры». Его старший брат Александр, постриженный в монахи под именем Андрея, усиленно побуждал следовать собственному примеру либо избрать «духовно-учебную службу», и чтобы ответить на вопрос:

«Какая общественная функция тебе естественно предназначена?» — Ухтомскому потребовалось проявить волю.

Полагая, что он «в отношении общественной жизни — лишь созерцатель», Ухтомский трезво перепроверял себя. «Мое поступление на духовно-учебную службу было бы понятно мне тогда,— записывал он в дневнике,— если бы я имел что-либо внести туда новое и лучшее, если бы я заменил собою там человека, не способного сделать то, что могу и имею сделать я. Но ничего такого, чего л у ч ш е меня могут сделать мои товарищи по высшей школе,— в учебной и воспитательной практике духовной школы не существует. Поэтому мое поступление туда будет по меньшей мере неосмысленным действием». И добавлял: «У меня есть причины не идти в монахи, и очень веские... Я не считаю себя в силах — идти в священники; да к этому я никогда не чувствовал никакой склонности...»

И все-таки после смерти Анны Николаевны, опечаленный горем, Ухтомский подался в Иосифо-Волоколамский монастырь и провел за святыми стенами полгода, воочию наблюдая тамошнюю среду и окончательно убеждаясь, что монашеский постриг — никак не его предназначение. «Дух веками создававшегося монастырского безделия подавляет меня,— записывал он в дневнике.— Чувствую себя вышибленным из моей милой научной колеи. Затхлая, пропитанная вековой пылью, идущая вот уже который век из кельи в келью атмосфера прозябания, растительной жизни на лоне серой русской природы и серого русского армяка, атмосфера, которой дышали поколение за поколением, одурманивает, оглушает, душит: трудно становится слово сказать».

При этом он вовсе не утратил надежды «оправдать молитву из начал науки», искать правду и свет на единственно пригодном для него пути — в «келье с математикой» и, вызвав бурное негодование брата, отправился в Петербург поступать в Университет на естественное отделение физико-математического факультета.

Однако лицам с духовным образованием сфера наук естественных была официально заказана, поэтому Ухтомский в 1899 году поступает сперва на восточный факультет по еврейско-арабскому разряду — с тем чтобы год спустя перевестись на естественное отделение.

В двадцать пять лет он снова попал в студенты и через два года уже работал лаборантом на кафедре физиологии животных у профессора Николая Евгеньевича Введенского, бесконечно почитаемого им учителя. Университету, кафедре Ухтомский отдал сорок лет жизни. Здесь, студентом, опубликовал первую научную статью, позже вел занятия и читал лекции, защищал магистерскую диссертацию, а в 1922 году, со смертью Н. Е. Введенского, принял заведование его кафедрой...

Он жил одиноко, затворнически, не создавая семьи, решив раз и навсегда, что «подлинное, на всю жизнь незабываемое счастье» человек испытывает лишь в вершинные моменты «подъема и труда», когда он, пусть мимолетно, прозревает «то, что выше его».

И, словно поощряя такую целеустремленность и аскетизм, судьба временами по-царски одаривала Ухтомского эпизодами «удавшегося человеческого общежития». Среди них, пожалуй, самый яркий — лето 1922 года, проведенное им со студентами и помощниками в Университетской физиологической лаборатории возле Петергофа, в «прекрасной нашей Александрии» — так они ее называли.

Тем летом Ухтомский приступил вплотную к итоговому формулированию своего главного открытия — закона доминанты, несказанно радуясь, что вокруг него сплотился маленький дружный коллектив, объединенный чрезвычайным единодушием и взаимной любовью. Потом он долго вспоминал их трогательное содружество,— хотя оно быстро распалось, чему способствовали весьма крутые обстоятельства, в частности его непродолжительный арест,— и хотел вникнуть в секрет неповторимой удачи.

Не в том ли корень этого секрета, что в Александрии все идеализировали — бодрили, «поднимали друг друга, а потом и самих себя», умели разглядеть друг в друге лучшее — «алтари», а не «задворки»? Доброе общение между людьми, а уж тем более любовь (в ее высшем выражении) непредставимы без идеализации, когда человек и в друге замечает лучшее и сам стремится до этого лучшего дорасти. Чаще наблюдается обратное: человек видит в соседе грехи, какие чувствует за собой! А для чистого — люди чисты, потому-то, размышлял Ухтомский, «чистая юность умеет идеализировать» и так прогрессивна духом, так способна к росту! Приземленная же старость, «если она не сопряжена с мудростью, теряет широту и щедрость духа, потребную для веры в человека и для его идеализации. И оттого она так оскудевает духом, брюзжит и уже не приветствует вновь приходящей жизни!».

Так рассуждал Ухтомский в письмах к двадцатилетней участнице александрийского кружка — Иде Каплан, благословляя «чистую юность» на праведные дела. Эти письма (впервые теперь публикуемые) по искренности чувства, драматизму и неподдельной лиричности вполне под стать художественной прозе. Они рассчитаны на душевный отклик, вызывают ответное участие и в эпистолярном наследии Ухтомского принадлежат к самым проникновенным страницам.

В 1922 году он наконец обнародовал закон доминанты — развивая идею, подсказанную нечаянным наблюдением при опыте над животным почти два десятилетия назад.

Недаром еще в молодости интересовался он психологией религиозного подвижничества и задавался вопросом: откуда черпают люди

решимость и силу, ступая, казалось бы, за барьер отпущенных им возможностей? Почему они, подчас забывая о страхе, в состоянии, похожем на восторг, восходят на плаху?.. Попытки найти физиологические мотивации явлениям такого рода — и множеству им подобных — привели ученого к закону о доминанте.

По Ухтомскому, доминанта — «рабочий принцип» духовности, объясняющий природу человеческого сознания, идет ли речь об отдельной личности или о толпе; это единый принцип действия; это механизм поведения. Пространство души, как и космическое пространство, существует согласно имманентному закону, подчиняющему вообще всякую нервную деятельность. В этом плане нет принципиальной разницы между функционированием нервных центров лягушки, кошки и человека.

Доминанта, утверждает Ухтомский, «есть не теория и даже не гипотеза, но преподносимый из опыта принцип очень широкого применения, эмпирический закон, вроде закона тяготения, который, может быть, сам по себе и не интересен, но который достаточно назойлив, чтобы было возможно с ним не считаться».

В коре полушарий головного мозга этот принцип служит физиологической основой акта внимания и предметного мышления, обусловливая в каждом конкретном случае «рабочую позу организма». Доминанта — форма причинности, которая «держит в своей власти все поле душевной жизни человека». Доминанта — это принципиально нарушенное равновесие в нервной системе, когда господствующий очаг возбуждения разгорается, привлекая к себе волны возбуждения из самых различных источников. Одномоментно доминанта тормозит все прочие, в том числе и постоянные, раздражители.

Такова, по Ухтомскому, научная трактовка доминанты, и проявления этого закона «душевной жизни человека» бесчисленны. Показательна, например, творческая доминанта — тема, укоренившаяся в сознании ученого, писателя, художника, непроизвольно привлекающая материал отовсюду, из самых неожиданных, даже сомнительных сфер. Тут доминанта действует словно магнит, улавливая нужное и оставляя за бортом внимания все не относящееся к теме. Она дает ученому или художнику «маховое колесо — руководящую идею, основную гипотезу... избавляет мысль от толчков и пестроты и содействует сцеплению фактов в единый опыт».

Доминанта и устойчива и подвижна. Угасая, она не исчезает, а погружается в глубину сознания. Наши понятия и представления — все индивидуальное психическое содержание, каким мы располагаем,— есть следы пережитых нами доминант. В подсознании они подспудно перестраиваются и складываются в новые комбинации, давая «неожиданный» всплеск. Так годами вынашиваются сложные замыслы и задачи, прежде чем созреет их решение, «всплывающее» в нужный час.

Через посредство доминант и своей деятельности мы вступаем в контакт с миром и людьми, ибо, говорит Ухтомский, «мы можем воспринимать лишь то и тех, к чему и к кому приготовлены наши доминанты, т. е. наше поведение». Нам кажется, мы принимаем решение и действуем на основании того, как представляем положение вещей, а фактически мы и существующее положение вещей видим сквозь призму наших доминант, в прямой зависимости от того, как мы действуем. «Бесценные вещи и бесценные области реального бытия проходят мимо наших ушей и наших глаз,— замечает Ухтомский,— если не подготовлены уши, чтобы слышать, и не подготовлены глаза, чтобы видеть».

И науки, и искусства, и все отрасли человеческого опыта подвержены влиянию доминирующих тенденций, при помощи которых «подбираются впечатления, образы, убеждения». Мировоззрение, по Ухтомскому, «всегда стоит своего носителя, точно так же, как картина запечатлевает лишь то и так, что и как умел видеть художник». Соответственно и психологический анализ ученого или писателя должен быть «в конечном счете направлен на ту же задачу, что и физиологический: на овладение человеческим опытом, на овладение самим собой и поведением тех, с кем приходится жить».

«Суровая истина о нашей природе,— писал Ухтомский,— что в ней ничто не проходит бесследно и что п р и р о д а н а ш а д е л а е м а, как выразился один древний мудрый человек. Из следов протекшего вырастают доминанты и побуждения настоящего для того, чтобы предопределить будущее. Если не овладеть вовремя зачатками своих доминант, они завладеют нами. Поэтому, если нужно выработать в человеке продуктивное поведение с определенной направленностью действий, это достигается ежеминутным, неусыпным культивированием требующихся доминант. Если у отдельного человека не хватает для этого сил, это достигается строго построенным бытом».

Какую же из доминант, организующих наше сознание, выделяет Ухтомский как важнейшую?

Он ее называет «доминанта на лицо другого». И суть ее в том, чтобы «уметь конкретно подойти к каждому отдельному человеку, уметь войти в его скорлупу, зажить его жизнью», рассмотреть в другом не просто нечто равноценное тебе, но и ценить другого выше собственных интересов, отвлекаясь от предвзятостей, предубеждений и теорий...

Такое мироощущение и мироприятие воспитывается с детства. Урок его Ухтомский получил — повторим — у тети Анны Николаевны, она ко всякому человеку действительно подходила как к самодовлеющему «лицу», любила всех, кто нуждался в ее заботе. Под ее воздействием он «с детства привыкал относиться с недоверием к разным проповедникам человеколюбивых теорий на словах, говорящих о каком-то ч е л о в е к е в о о б щ е и не замечающих, что у них на кухне

ждет человеческого сочувствия собственная прислуга, а рядом за стеной мучается совсем конкретный человек с поруганным лицом».

Счастье, верил Ухтомский, не в бездействии, не в уюте, не в успехе, а в способности жить, переключаясь на другие лица. «Только там,— писал он,— где ставится доминанта на лицо другого как на самое дорогое для человека,— впервые преодолевается проклятие индивидуалистического отношения к жизни, индивидуалистического миропонимания, индивидуалистической науки. Ибо ведь только в меру того, насколько каждый из нас преодолевает самого себя и свой индивидуализм, самоупор на себя,— ему открывается лицо другого, сам человек впервые заслуживает, чтобы о нем заговорили как о лице».

Для христианского сознания мысль не новая, но развивалась она в момент, когда вокруг поспешно стирались живые лица и человек превращался в абстрактную единицу, общество — в сумму абстрактных фигур, лица не имеющих, а страна — в конструкцию из абстракций, где допустимы любые социальные эксперименты, ибо люди здесь уже не страдающие личности, а лишь материал для умственных построений. В утверждении Ухтомским необходимости личностного восприятия каждого очевидно противостояние официально внедряемой всесильной догме «борьбы с индивидуализмом» по принципу «единица — вздор, единица — ноль», мертворожденной догме, провозглашающей классовое, массовое сознание как фундаментальную социальную позицию, на которую опирается политика государства.

Ухтомский со своими теориями опередил время, не вписался в эпоху строительства социализма, в эпоху столкновений и противостояния всех и вся. В XX веке не нашлось места его целостному мировоззрению; основы учения о доминанте — с корнями в религиозной русской философии — никак не сочетались с утопическими догмами и абстрактной «идейностью».

Идеология насилия приносила отдельно взятого человека в жертву ложным «общественным» интересам. Но гнет внешних условий в России никогда не пугал того, кто хотел слышать другого, такого же униженного и оскорбленного, кто находил в себе душевные силы идти навстречу страждущему. Понять другого — значит избежать одиночества. Путь тернистый — хорошо известный по классической русской литературе, в которой Ухтомский постоянно черпал подтверждения своим научным гипотезам.

Для объяснения закона доминанты он охотно прибегал к прозе Толстого. Вот, писал он, «превосходная картина того, как могущественна доминанта в своем господствовании над текущими раздражениями: Пьер Безухов, тащившийся на изъязвленных, босых ногах по холодной октябрьской грязи в числе пленных за французской армией и не замечавший того, что представлялось ему ужасным впоследствии...».

Толстой воспроизводит доминанту, вряд ли подозревая в своем

художественном изображении научную точность, а Ухтомский дает поведению толстовского героя физиологическую расшифровку. «Только теперь Пьер понял всю жизненность человека и спасительную силу перемещения внимания,— писал Толстой,— подобно тому спасительному клапану в паровиках, который выпускает лишний пар, как только плотность его превышает известную норму». То, что Толстой называл «перемещением внимания», Ухтомский определяет как доминанту: именно она тормозит в сознании Пьера «посторонние раздражители», когда он босой бредет по осенней грязи, не ощущая боли.

Как пример творческой доминанты Ухтомский приводил слова Толстого из письма к Буланже от 18 марта 1902 года: «Лежу и ничего не делаю, а совершенно неожиданно для меня обдумываю самую неинтересную для меня вещь — Хаджи Мурата».

Что же касается доминанты «на лицо другого», характерно совпадение трактовки Ухтомским и Толстым чеховского рассказа «Душечка». Толстой в предисловии к этому рассказу размышлял о том, что автору, видимо, хотелось посмеяться над своей героиней: «в рассуждениях, не в чувстве» автора, писал Толстой, носилось неясное представление о новой женщине, «развитой, ученой, самостоятельно работающей не хуже, если не лучше мужчины иа пользу обществу». Такой женщине и противопоставляется Душечка — с наивной своей преданностью и беспредельной готовностью разделить чужие заботы. Может быть, замечал Толстой, эти ее заботы и смешны, «но не смешна, а свята удивительная душа Душечки, с ее способностью отдаваться всем существом своим тому, кого она любит». «Что было бы с миром,— спрашивал Толстой,— что было бы с нами мужчинами, если бы у женщин не было бы этого свойства и они не проявляли бы его. Без женщин-врачей, телеграфистов, адвокатов, ученых, сочинительниц мы обойдемся, но без матерей, помощниц, подруг, утешительниц, любящих в мужчине все лучшее, что есть в нем, и незаметным внушением вызывающих и поддерживающих в нем все это лучшее,— без таких женщин плохо было бы жить на свете».

Здесь мысль Толстого весьма близка к рассуждениям Ухтомского об «идеализации» того, кого любишь, о свойстве любящего видеть в другом все лучшее и тем нравственно возвышать любимого и себя. «Душечка» Чехова, по мнению Ухтомского, тот редкий случай, когда доминанта «на лицо другого» явно преобладает в характере человека, она дана ему от природы, даром, до конца жизни, и не требует от него никаких усилий. «Помните, как она расцветала на глазах у всех, если было о ком мучиться и заботиться,— замечает Ухтомский,— и увядала, если в заботах ее более не нуждались?» Она же совсем не смешная, возражал он читателям Чехова: «Она — человеческое лицо, которому открыты другие человеческие лица».

По части доминантного сознания Ухтомский обретал себе верного

союзника и в Достоевском. Не только находил в его книгах образные подтверждения своим научным догадкам,— герои Достоевского как бы на практике осуществляли тот символ веры, который ученый исследовал и стремился сам исповедовать.

«Моя исходная, первая и последняя задача,— писал он, например, в связи с «Братьями Карамазовыми»,— понять, как создается склад восприятия старца Зосимы. Я узнал, что он создается большим физическим подвигом, преданием от других и отношением к миру как к любимому, почитаемому, интимно-близкому собеседнику. Это очень трудный, постоянно напряженный склад восприятия — воспитывается и удерживается с большим трудом, с постоянной самодисциплиной и осторожным охранением совести. Но он необыкновенно ценен общественно, люди льнут к человеку, у которого он есть по-видимому потому, что воспитанный в этом восприятии человек оказывается необыкновенно чутким, отзывчивым к жизни других лиц, легко перестанавливается на мироощущение и горести встречных лиц. Такой человек обыкновенно наименее замкнут в самого себя и свою непогрешимость. Он привык постоянно и глубоко критиковать себя. Оттого он смирен внутри самого себя и не критикует людей, пока они сами не просят его помочь в их беде! Если он и критикует других, то как врач, стараясь рассудить болезнь несчастливого пришедшего...»

Для старца Зосимы доминанта «на лицо другого» была итогом «постоянного напряжения и труда целой жизни изо дня в день». Усредненный же интеллигент, ценящий более всего комфорт самодовольства, по мнению Ухтомского, не решится стать на эту дорогу. Способность с открытым сердцем принять мир другого лица, присущая «людям простым и бедным», сплошь и рядом «замкнута о семи печатях для чересчур мудрствующих людей».

Увы, Ухтомский и себя причислял к сим последним...

Немалые усилия положил он на то, чтобы воспитать в себе эту столь необходимую ему для душевного равновесия «доминанту на лицо другого». И желанный *собеседник* постоянно возникал в кругу его жизненных связей. Таковыми были в первую очередь его ученики и студенты. И друзья, ближние и дальние, с которыми многие годы велась оживленная переписка. Это был круг единомышленников. Но не менее драгоценным собеседником всегда оставался для Ухтомского и незримый его читатель, современный ему и будущий...

3

Изучая природное «устройство» душевной жизни, Ухтомский не оставлял в стороне личный опыт. Тем ценнее его дневниковые заметки и письма, где он зачастую «обкатывал» научные формулировки

и старался привить своим адресатам убеждения, которые вынашивал годами.

Свидетельство тому и письма к бывшей его ученице Е. И. Бронштейн-Шур за 1927—1941 годы, опубликованные ею в 1973 году сперва в журнале «Новый мир», а потом в расширенном виде в сборнике «Пути в незнаемое». Круг проблем, обозначенный в этих письмах, содержит и закон доминанты, и проблему «двойника», и концепцию «заслуженного собеседника»; а вопросы психологии творчества, в частности толстовский вопрос: «Для чего люди пишут?» — имеют здесь достаточно интимную подоплеку.

Как могла возникнуть у людей эта странная профессия — писательство? Не удивительно ли, обращался Ухтомский в 1928 году к Е. Бронштейн-Шур, «что вместо прямых и практически-понятных дел человек специализировался на том, чтобы писать, писать целыми часами без определенных целей,— писать вот так же, как трава растет, птица летает, а солнце светит. Пишет, чтобы писать!» Прямо-таки физиологическая потребность! Человек почти болен, перед тем как сесть за писание, а написав, проясняется и как бы выздоравливает. В чем дело? «Я давно думаю,— признавался Ухтомский,— что писательство возникло в человечестве «с горя», за неудовлетворенной потребностью иметь перед собой собеседника и друга! Не находя этого сокровища с собою, человек и придумал писать какому-то мысленному, далекому собеседнику и другу, неизвестному алгебраическому иксу, на авось, что там где-то вдали найдутся души, которые зарезонируют на твои запросы, мысли и выводы!»

Правда, в истории известны счастливцы, не испытавшие «жажды собеседника». Они, ни строчки не оставив, оказались «вечными собеседниками для всех»; они угадывали «наиискреннейшего собеседника в ближайшем встречном человеке», и тоска по дальнему была им незнакома. К ним Ухтомский причислял не только праведников, подобных старцу Зосиме, или «всемирно гениальных» мудрецов Христа и Сократа, но и обычных деревенских стариков. Если писатели, малые и великие, адресовались к дальнему, пронося «свои гордые носы мимо неоцененно дорогого близ себя», эти любили и вразумляли каждого, кто их слушал.

«Как это ни парадоксально, но это так! — признавал Ухтомский.— Это, в сущности, уже плохо, если человек вступил на путь писательства! С хорошей жизни не запишешь! Это уже дефект и некоторая болезнь, если человек не находит собеседника вблизи себя и потому вступает на путь писательства. Это *или непоправимая утрата, или неумение жить с людьми целой, неабстрактной жизнью!*»

Нравственный потенциал писателя, ученого, любого гражданина, по Ухтомскому, зависит от того, какие «неабстрактные» отношения им

по силам. И мера доброты тем выше, чем богаче и бескорыстнее личность. Не умнее и не ученее, а душевно щедрее! Не скроешь: «писатель, ученый, моралист и поэт, разливающийся соловьиной сладостью для дальнего», оказывается тут и там «несноснейшим субъектом для своих ближайших домашних». Будучи щепетильно честным, Ухтомский и себя, ощущающего драматизм положения, но тоже поглощенного писательской жаждой, судил строго. «Всю жизнь,— сознавался,— хочу жить для ближнего, а на деле умею кое-как жить только для дальнего, не находя сил жить до конца для ближнего!»

Мысленное собеседование — разговор, предполагающий адресата и оппонента,— присутствует во всяком писательстве и роднит литературу с наукой. Между ними нет принципиальной разницы. Какие бы системы знаний ни сменялись в процессе исторического развития, за ними неизменно скрывается «живой человек, со своими реальными горями и жаждой собеседника». На этом Ухтомский строил свою нравственную концепцию.

Выбор между общепринятой, казенной системой мысли и «мыслящим мировоззрением» духовно самостоятельной личности — удел и «чистой науки», и любых сфер деятельности. Подверженные «претенциозному суеверию» самодовольные адепты науки — да и только ли науки! — не желают вникать в существо проблемы, поскольку контактом с живым собеседником не озабочены. «Мысленное собеседование» требует душевной самоотдачи, гражданского мужества и не каждому по плечу. Меж тем истинное произведение искусства и научное провидение, запечатленное мыслью ученого, обеспечивают человеческое единение. Ибо, во-первых, писал Ухтомский, «когда человек думает, он это делает в понятиях общих для всех. Во-вторых же, каждое явление в мире имеет свой смысл, его имеют в общем деле человечества и мысли каждого из нас,— поэтому и мое частное и личное имеет свое место в нашей общей человеческой жизни».

Кстати, похожую мысль высказывал и Толстой в трактате «Что такое искусство?»: «Настоящее произведение искусства делает то, что в сознании воспринимающего уничтожается разделение между ним и художником, и не только между ним и художником, но и между ним и всеми людьми, которые воспринимают то же произведение искусства. В этом-то освобождение личности от своего отделения от других людей, от своего одиночества; в этом-то слиянии личности с другими и заключается главная привлекательная сила и свойство искусства».

В теории «заслуженного собеседника» Ухтомский опять же опирался на Толстого. Сходство их этических установок очевидно. Обоих интересовал в первую очередь человек со всеми загадками его «неабстрактного», личного поведения. Гениальная правда интуитивного толстовского знания о человеке в исследованиях Ухтомского получала естественнонаучное подтверждение.

Идея «собеседования» определяет, по Ухтомскому, и самую спо-

собность человека к познанию. Невозможно, считает он, ни познание природы, ни постижение самого себя там, где «человек становится в отношении природы слепым и глухим, замкнутым на себе эксплуататором». Идея господства и над природой, и над человеком равно губительна. Построения рационального разума, подчиненные эмоционально-волевой установке господства, толкают нас в нравственный и умственный тупик.

Не умаляя значения разума, Ухтомский отдавал приоритет в познании чувству, эмоции, возникающей в подсознании. «Интуиция,— писал он,— раньше, принципиальнее и первоосновнее, чем буква». Если чувство не затронуто, знание — мертвый груз. И там, где нет собеседования с Бытием, сочувствия и сопереживания, нет и ответственности человека — и человечества! — перед Бытием.

«Они могут делать что хотят, безответственно,— писал Ухтомский о самочинных «хозяевах жизни».— Вот тот путь, на котором нет выхода человека к человеку, нет собеседования. Есть же всего лишь настаивание каждого на своем! Каждый на своем или, в лучшем случае, на групповом самоутверждении!..»

Так он думал в середине тридцатых годов, когда суть официальной науки о человеке упростилась до утопической схемы, получившей статус непререкаемой истины. Мировоззренческие озарения Ухтомского, его житейские наблюдения и естественнонаучные обоснования в области человековедения оказались тогда вне общественной практики, пресекавшей малейшие поползновения ступить за грань государственно узаконенного единомыслия. Вероятно, отсюда и вынужденная фрагментарность его записей-рассуждений. Обрывочность, а вовсе не случайность!

Мир в представлении Ухтомского — не «вещь» и не «механизм», но — «текущий процесс»; причем процесс трагический. Не логика человека определяет его, а Разум Бытия сообщает смысл логике.

Бытие — не мертвый, слепой закон и человек — не марионетка в руках слепого закона. Мир он воспринимает в живом единстве материального и духовного. Норма Бытия — в собеседовании, когда уши каждого открыты для всех.

Ухтомский верил в природный закон, связывающий «давно прошедшие события с событиями данного мгновения, а через них — с событиями исчезающего вдали будущего». Будущее словно бы вытекает из переживаемого момента и всецело зависит от него. «Полететь в темную мглу предстоящей истории мы не можем»,— рассуждал он, но мы реально несем на себе тяготу истории как ее участники. И там, «где не достигают более и обрываются наши мысли и старые опыты», прибегаем «к предупреждениям интуиции, поэтической догадки, в конце концов — сердца и совести».

«Сердце, интуиция и совесть — самое дальнозоркое, что есть у нас,— писал Ухтомский,— это уже не наш личный опыт, но опыт

поколений, донесенный до нас, во-первых, соматической наследственностью от наших предков и, во-вторых, преданием слова и быта, передававшимся из веков в века, как копящийся опыт жизни, художества и совести народа и общества, в котором мы родились, живем и умрем». Непрерывность народной традиции Ухтомский расценивал как гарантию будущего, его предсказуемости, как надежнейший способ заставить человека в ужасе остановиться перед грядущей бедой.

Вера Ухтомского в возможность предвидения лишена мистики. Прислушиваясь к движению времени, человек ухватывает предуказания истории «интуитивным аппаратом, который мы называем наблюдательностью, чуткостью, проницательностью, совестью». Совесть, по Ухтомскому,— физиологический «аппарат» познания-предвидения. И, как всякий аппарат, она может быть более или менее чуткой, исправной, надежной; может быть здоровой и заболевшей.

Спокойная, удовлетворенная совесть едва ли предупредит человека — и общество — о грозящей катастрофе.

В середине тридцатых годов Ухтомского несомненно пугала больная совесть страны, не реагирующая на преступность творящегося вокруг. Доминанта гражданского сознания мощно втягивала в свой ток торжество и общественную самоудовлетворенность, отторгая все прочее, она зашоривала сознание и побуждала фиксировать лишь наличное и наглядное — то плакатное благополучие, что не оставляло места «рецепции на расстоянии». А это значило — «проспать до страшного часа смерти и суда надо всем пройденным путем». Сегодня мы убеждаемся, насколько ученый был прав.

Ухтомский подчеркивал, что «рецепции на расстоянии, идущие в масштабах истории, доступны не всем. Для них нужен дар — такой же, как дар художника, творца, поэта. Нужны дисциплина воли и способность жить основными струями преданий своего народа и человечества». Дар этот редок и беззащитен. Пророка не слышат, его прозрениям внимают не раньше, чем они начинают сбываться.

По Ухтомскому, ни общество, ни отдельно взятый человек не должны жить по принципу «наименьшего сопротивления», ибо «высшие этажи» центральной нервной системы «останавливают, тормозят, вступают, может быть, в весьма тяжелую борьбу, в конфликт с низшими центрами», потаенно споря с отрицательной тенденцией к покою и омертвению. «Высшие этажи, эти наиболее дальнозоркие и наиболее ориентирующие нас в хронотопе органы,— писал Ухтомский в статье «Доминанта как фактор поведения»,— предвидят предстоящую реальность задолго, у больших людей они могут предвидеть в истории за сотни лет, ибо хронотоп гения чрезвычайно обширен, и именно гениальные деятели в своем индивидуальном поведении для себя чаще всего идут по пути наибольшего сопротивления, для того, впрочем, чтобы достичь намеченного предме-

та наилучшим способом и открыть другим это достижение с наименьшей затратой сил».

Дар предвидения — в истории, в искусстве, в науке — требует от его обладателя абсолютной поглощенности своими, может быть, безотчетными, неясными для других целями. Зачастую у гения не бывает иных аргументов в защиту своей правоты и правды, кроме «индивидуального поведения» — собственной жизни. Но, писал Ухтомский, «властная доминантная жизнь имеет свой смысл и исторические резоны»; свершения и поступки гения не остаются без последствий — даже ценой гибели он рушит стену человеческой косности и близорукости, сметая малодушные доводы неистребимого «здравого смысла». При этом «интуиция совести и здравое рассуждение находятся между собой в таких же отношениях, как художник, пророк и поэт, с одной стороны, и спокойный, рассудительный мещанин, с другой!»

Поединок рассудка и сердца вечен. Только освященные нравственным ореолом достижения разума становятся долговременной опорой в существовании человечества. Только в постижении самотворящих, созидательных начал мироздания человек обретает истинное предназначение, испытывая законную радость.

Идея историзма человеческого сознания и поведения подробно проработана Ухтомским. Любопытны заметки, сделанные им в 1927 году на полях поэмы А. Блока «Возмездие»: «Возмездие есть, без сомнения, закон бытия, и оно еще гораздо ближе к человеку, чем принимал это Ибсен или Блок». Ухтомский усматривает в смене поколений — череде отцов и детей — некий природный механизм, позволяющий человечеству совершенствоваться, двигаться «к лучшему».

«По мысли Блока, которой я очень сочувствую,— пишет Ухтомский,— рождающееся поколение является закреплением, осуществлением и воплощением тех задатков и неясных замыслов, которые носились втайне предками и отцами! То, что тогда готовилось втайне, теперь проповедуется с кровли. То, о чем едва думалось, теперь действует в реальной истории на улице».

Однако, наследуя «задатки и неясные замыслы» отцов, очередное поколение не может не спрашивать: куда же направлялась жизнь и культура отцов? «Была ли это культура зоологического человека — замкнутого в себе и в своей индивидуалистической слепоте к другому — или культура преодоления себя ради другого?»

Взаимозависимость поколений противоречива и драматична. В неизбежной смене поколений дети либо оказываются историческим возмездием, либо могут стать для отцов «усугублением любви и живым осуществлением зачатков будущего мира». Возможны два пути: в первом случае дети «преимущественно уничтожают дела отцов, в свою очередь уничтожаясь своими детьми и внуками. Тут «смена» есть уничтожение прежнего. Во втором случае дети про-

должают и укрепляют обновленными силами дело отцов. Тут «смена» есть углубляющееся продолжение».

Блок, по мнению Ухтомского, пишет в своей поэме о родословии, которое представляет собой «последовательное пожирание отцов детьми, вроде родословия римских цезарей».

Совсем иное родословие — последовательная эволюция любви как принципа жизни!

«История, впрочем,— заключает Ухтомский,— везде ведет к лучшему: только в одном она тянет за шиворот — хочешь не хочешь, а в другом она ведет любовно за руку. В одном случае через кровь и дым событий, в другом — через общее и неумирающее дело поколений. Но в обоих случаях к Лучшему, что предчувствовалось всеми племенами».

Почему же к лучшему? Откуда такая непоколебимая уверенность?

А потому, разъясняет Ухтомский, что «всё совершающееся имеет свой смысл и достаточные основания в нас и вне нас». Такова непреложность исторического бытия. «Уметь понимать прошлое, чтобы направлять настоящее к лучшему,— утверждает Ухтомский,— вот последняя мудрость не на словах, а на деле, в которой каждый из нас представляется лишь всплеском волны, переносящим энергию из великих заветов предков к прекрасному будущему человечества».

4

Ухтомский как-то писал Варваре Александровне Платоновой: «Мне, знаете ли, важно для самого себя высказаться — оформить свои мысли. В былое время это лучше всего удавалось мне в своем дневнике, когда говоришь сам с собою! Но теперь мне не удается писать дневник, так что нередко я записываю туда для памяти самому себе то, что уже написал в письмах. Пиша письмо, я впервые улавливаю свою мысль, смутно бродящую в душе, так что тут же, в мыслях, впервые и самому себе раскрываю я некоторые стороны своей внутренней жизни. И в особенности это происходит, когда я пишу Вам».

Никогда и ни с кем (кроме тети Анны) не был Ухтомский так доверчив, как с Варварой Александровной, не раз повторяя, что письма к ней заменяют ему дневник. Письма эти он просил не выбрасывать, а про дневник говорил, что ведет его — «столько же для Вас, как и для себя». Такая была меж ними степень откровенности.

Три с половиной десятка лет, с 1906 по 1942 год (до смерти Ухтомского), в тяжелейшие для России времена, эти два строгих и сильных человека изливали друг другу душу — будто на исповеди, будто в канун Великого Суда, в неотвратимость которого свято верили. В их письмах запечатлелась уникальная история взаимоотношений — от светлой надежды на долгую совместную жизнь, в молодости, до выпавших им потом злых испытаний, лишь укрепивших их волю, их

единение на почве религиозной, их любовь — в ее высшем, христианском понимании, когда духовная близость бывает много дороже житейского счастья. Ухтомский раскрылся в этих письмах сполна — как нежный собеседник и суровый аскет, как трибун и как затворник, как верный искренний друг и как человек, до старости ранимый, в любой момент готовый «оградить себя молчанием» от мрачной суеты окружающего мира — ради «своей беседы с Высшим».

Вся петербургская биография Ухтомского так или иначе запечатлена в этих письмах, все ее изломы и рубежи. Мысль о Боге, «центральная идея» о том, как «в истории человек постепенно открывает Бога», что̀ есть Бог для России,— пронизывает эти письма от начала и до конца. И взгляд на прошлую, настоящую и будущую судьбу России под таким углом, взгляд, обусловленный глубоко личными переживаниями участника великих событий, от них немало претерпевшего, но духовно им не покорившегося, задает письмам тон исповеди и жития одновременно.

Где-то в промежутке между войной русско-японской и первой мировой ощутил Ухтомский явные признаки надвигающегося на страну идеологического раздора, государственной нестабильности и морального разлада, почувствовал себя одиноким в честном стремлении «работать русское дело». Варваре Александровне он писал: «Может быть, это только временный упадок русского дела: уж слишком разросся ее организм (т. е. организм России) и оттого так расходятся, так чуждаются и не узнают друг друга силы в ее центральной нервной системе. Но, Бог даст, рабочие, крепкие силы еще возьмут свое». К несчастью, упадок не был временным, и то, чему Ухтомский стал впоследствии свидетелем, полностью подтвердило его опасения.

Во время первой мировой войны Ухтомский еще острее переживал отсутствие единства в российском обществе, утрату «дыхания старорусской веры». «Болезнь „материальной цивилизации“ без Христа», поразившая земной мир, представлялась ему фатальным бедствием всего человечества, и преодолевать, лечить ее должен был каждый народ. Закономерно, что «чувство родины и общности с настоящим русским народом» придавало Ухтомскому стойкость, и он «возобновлял» и укреплял это чувство всякий раз, отправляясь на Волгу, в Рыбинск, откуда в июне 1915 года писал Платоновой: «Я прошу Вас верить, что я, как и брат, оба целиком принадлежим родине и народу гораздо раньше и крепче, чем истерическая интеллигенция петроградского типа; и, Бог даст, мы с братом еще будем принадлежать родине и народу и тогда, когда петроградская интеллигенция возвратится к своему европейско-театрально-космополитическому времяпрепровождению и миросозерцанию».

Ухтомский не питал к российской интеллигенции особых симпатий и не связывал с ней радужных надежд. Он, разумеется, был далек от

стана ее гонителей, не страдал монархической спесью, никого, по его словам, «задевать» не хотел, но значительной вины за революционную смуту с интеллигенции не снимал, как, впрочем, не щадил за грех богоотступничества и сам «безумный народ, ослепленный ложными пророками и преступными учителями, приводящими к историческому позору». Об этом, предвидя «приближение Вавилонского пленения», писал он Платоновой в ноябре 1917 года из Москвы, где принимал участие в Поместном соборе, избравшем Тихона Патриархом Всея Руси.

Никаких иллюзий по поводу новой власти Ухтомский не ведал и в январе 1918 года предостерегал свою адресатку: «...Вы, очевидно, не отдаете себе отчета в том, что такое большевики! Они именно вполне последовательны, уничтожая христианское богослужение; логическая последовательность приведет их к прямым, принципиальным и, стало быть, жесточайшим гонениям на христианство и христиан! Вы это имейте в виду, дабы представить себе вещи, как они есть в действительности!»

Наблюдая события 1917—1918 годов, Ухтомский ставил их в ряд всемирно-исторический, рассматривал как «узел мировой истории» — отсюда его поразительная зоркость и способность дать этим событиям объективную оценку.

«То, что кажется таким новым и небывалым для самих «творцов» всех этих новейших дел, оказывается для нас,— писал он Платоновой в январе 1918 года,— древнейшим, давно предсказанным типом событий, свойственным всем тем эпохам, в которые особенно ярко сказывается нравственное падение и растление общества, но, вместе с тем, подымается гордыня древней злобы, все пытающейся быть «яко бози»... Какое, в самом деле, поразительное и знаменательное стечение признаков! Широкое разлитие легкомысленного неверия Христу в российском «интеллигентном» обществе, все возрастающее растление и извращение души и умов в разных «декаденщиках», «теософиях», «кубизмах», «футуризмах», растущее углубление разврата, появление Григориев Распутиных, ужасающий спрос на них и вообще на ложных пророков, развивающееся отсюда поругание церкви в соблазняющейся народной душе, затем ужасные войны, кровопролития, явно иссякающая любовь в людях, необыкновенно возрастающий спрос на ложь, возрастающая неспособность верить правде, наконец явное одичание, возвращение к инстинктивной жизни древней обезьяны и свиньи, скрывавшейся до сих пор под культурной скорлупой, с таким трудом надстроенной за историю сознательной жизни человечества!»

Ухтомский со стыдом переживал национальный позор страны, отчетливо понимая, в какую окаянную историческую круговерть она позволила себя затянуть. Трагедия «соблазнившейся народной души» угнетала его фатальной безысходностью и легкомысленным отрицани-

ем веками проверенного достойного и спасительного пути — «внутреннего труда над собою христианской личности».

Слепая стихия революции цинично обесценивала человеческую жизнь, и Ухтомский быстро испытал это на себе. Вспоминая в письме к Платоновой, как впервые попал в ЧК — в 1920 году в Рыбинске,— он рассказывал, что только счастливое стечение обстоятельств, «маленькая бумажка от Петроградского совета, бывшая в кармане», спасло его от смерти, когда «какой-то весь серый человек голосом привычного бойца со скотобойни» уже спрашивал, все ли готово для расправы. С той поры зловещий «серый человек», в разных обстоятельствах и в разном обличии, не однажды напоминал Ухтомскому о себе — и в 1922-м, и в 1934-м, и в 1937-м, и в другие приснопамятные годы.

Унизительный гнет этих лет не мог, конечно, не влиять на моральное состояние Ухтомского и не отражаться на его переписке. Неспроста в 1934 году он писал Платоновой, что «нужно оградить себя молчанием», по крайней мере, быть осторожным в словах и, подобно египетским пустынникам, «бывать друг у друга самым главным — сознанием общности делания», а в 1937-м жаловался ей: мол, все чаще, чего раньше с ним не случалось, обнаруживает в себе «подозрительность, нездоровую мнительность в отношении людей», и настаивал, что «трагедии в человеческой жизни преобладают», что излагать истину о мире следует «языком трагедии».

«Через кровь и дым событий» — так подвигалась История в той своей фазе, и Ухтомский, не переставая чувствовать себя «всплеском волны» во всемирном океане, не терял высочайшего, можно сказать — библейского, критерия во взгляде на происходящее вокруг.

В сентябре 1940 года, сокрушаясь, как «трудно идут теперь наши дни», придется ли еще увидеться, он писал Платоновой: «Да и все человечество в целом вошло в какую-то новую, очень тяжелую полосу своего бытия, когда мир вступает в новые муки рождения своего будущего».

А в последнем письме — от 22 июля 1942 года,— сознавая, что дни его сочтены, прощался с Варварой Александровной: «Возраст мой для нашей семьи большой, и немощи мои в порядке вещей. Жаль, что они совпали со столь трудными, жесткими для отечества и народа днями! Так нужны сейчас силы!.. Всего, всего, всего Вам доброго, прежде всего — дальнего зрения, которое не давало бы ближайшим и близоруким впечатлениям застилать глаза».

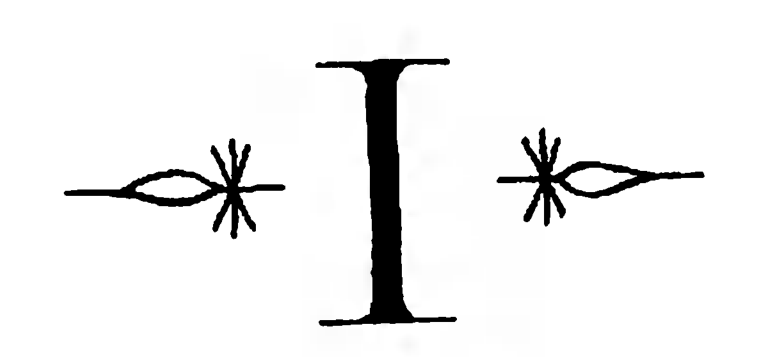
Сам он «дальнего зрения» не утрачивал никогда.

Алексей Алексеевич Ухтомский скончался 31 августа 1942 года в блокадном Ленинграде. Ему неоднократно предлагали выехать из осажденного города, но он догадывался, что болен безнадежно, и считал неразумным тратить остатки сил на далекое переселение. Насколько позволяло здоровье, он продолжал привычную работу: вел пере-

писку с учениками, с эвакуированными коллегами по Физиологическому институту (который теперь носит его имя), посещал Университет, участвовал в семинарах и диспутах, в защите диссертаций,— он и умер, готовясь к очередному докладу на традиционной сентябрьской конференции, посвященной памяти И. П. Павлова, с которым у него было достаточно поводов для спора...

Вклад академика Ухтомского в физиологическую науку всемирно известен и неоспорим. И почти неизвестно его гуманитарное, иначе — литературное, наследие. Познавая как ученый тайны дарованной человеку жизни, он сполна изведал «странную» потребность писательства. Завещанное им слово учителя и проповедника, подобно великим книгам, зовет людей к духовному братству.

Г. Цурикова, И. Кузьмичев



ДЕНЬ ОЖИДАЕМОГО ОГНЯ

ПИСЬМА
К В. А. ПЛАТОНОВОЙ



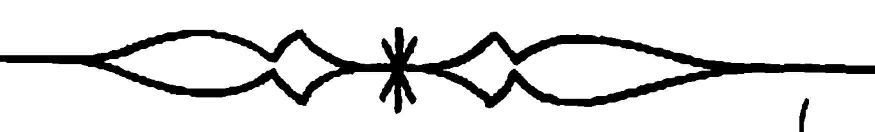
НАША ПРЕКРАСНАЯ АЛЕКСАНДРИЯ

ПИСЬМА
К И. И. КАПЛАН



ЗАСЛУЖЕННЫЙ СОБЕСЕДНИК

ПИСЬМА
К Е. И. БРОНШТЕЙН-ШУР



ДЕНЬ ОЖИДАЕМОГО ОГНЯ

Письма к В. А. Платоновой

I

Многоуважаемая Варвара Александровна, [1] очень мне грустно, что не могу воспользоваться Вашим добрым приглашением на это воскресенье. Хотя я уезжаю только в Успеньев день, но меня удерживают эти дни в Петербурге отчасти некоторые спешные дела, которые надо сделать до отъезда, главное же, весьма тяжелое настроение под влиянием рыбинских известий и в предвкушении тамошних впечатлений,— настроение, которым могу быть только в тягость всем вам. Помимо глупых дрязг в моем доме, отнимающих последний покой у бедной сестры Лизы, какая-то глупая и злая судьба делает так, что Лиза с болезнью мужа должна опять встать в зависимость от бездушной, безгранично эгоистической матери. И мало того, что, с постепенным умиранием мужа, у Лизы рушится все «свое» и «любимое», у нее пропадает теперь и то «родное», что казалось ей таким до замужества. Мать теперь решительно отталкивает Лизу от себя и не хочет ее видеть, злобствуя за ее якобы участие в ненавистном для княгини сватовстве сестры — Марьи.

Вот она где — тупая и слепая злоба проклятого мещанского миросозерцания! «Дух глухий и немый», которого не побеждают не только жалкие попытки социалистов, но и сам Христос.

Впрочем, я хотел писать не о том, а хотел обратиться к Вам с покорнейшей просьбой: если можно,— не устраивайте, пожалуйста, до меня хоругвий, о которых говорили в последний раз. У меня будет свободное время после 1 сентября, когда надеюсь вернуться в Петербург [2], и тогда мне хотелось бы спроектировать и обработать хоругви посерьезнее.

Если это дело не очень спешное, то сделайте так,

пожалуйста. Эта работа была бы для меня очень приятною, и я на ней отдохнул бы.

Мой искренний привет всем Вашим.

Преданный А. Ухтомский.

13. VIII. 06.

«Если, говоря людям, заденешь словом своим общее всем, тайно и глубоко погруженное в душе каждого истинно человеческое, то из глаз людей истекает лучистая сила, насыщает тебя и возносит выше их. Но не думай, что это твоя воля подняла тебя: окрылен ты скрещением в душе твоей всех сил, извне обнявших тебя, крепких силою, коею люди воплотили в тебе на сей час; разойдутся они, разрушится их дух, и снова ты ровен каждому...» [3] «Невозможно исчислить разнообразие людей и выразить радость при виде духовного единства всех их...» «Жалко их, и жалко силу веры, распыленную в воздухе...» «Схватили меня, обняли, и поплыл человек, та́я во множестве горячих дыханий. Не было земли под ногами моими, и не было меня, и времени не было тогда, но только радость, необъятная, как небеса. Был я распыленным углем пламенной веры, был незаметен и велик, подобно всем окружавшим меня во время общего полета нашего...» «Ночью я сидел в лесу над озером, снова один, но уже навсегда и неразрывно связанный душою с народом, владыкой и чудотворцем земли».

Вот, матушка моя, сколько я Вам выписал из этой замечательной книги. Повторяю, со стороны художественной, психологической правды, она — редкий цветок. Если говорить о философской стороне, тут будет много спору. Сейчас я не буду говорить об этой стороне. Во всяком случае, и тут, с моей точки зрения, автор чрезвычайно близок к правде. Выписки мои дадут Вам, конечно, только конспект того, как идет душевная жизнь рассказчика. Прочтите-ка книгу-то!

Мне думается, что Вы поймете из нее лучше, чем из моих слов, и то, что́ так меня привлекает в народной вере и церкви ⟨...⟩ не в той вере и церкви, которую обделали по-своему, на свой вкус и потребу «белая кость» с попами [4]. Понимаете ли, что во всем пошибе, во всех мелочах господской и поповской церкви сквозит оскорбительная претензия «поднять и облагородить» народную веру

и церковь; странная, грубая, невежественная претензия поднять и облагородить то, что выше и благороднее их!

Ищет народ. Хочется быть с народной душой!

6.VII.08.

Я не помню, писал ли я Вам о моих богословских взглядах, которые хочу я когда-нибудь развить. Кажется, что вкратце писал я Вам об этом.

Теперь мне опять хочется говорить об этом, потому что горьковская «Исповедь» подняла во мне старые мысли.

Кругом нас, в близкой нам окружающей действительности Бога не видно. Мы и все люди—ждем Его, разыскиваем, болеем тем, что в ближайшей действительности Его нет. Его пока все-таки нет. Он — предмет нашего желания и предчувствия, любви, ревности и пр., но Он не есть нечто нам уже данное. Это и значит, что мы веруем в Него, хотя Его еще и нет.

Бог — это центральная идея, с которой носится человек в истории. Вся история — ряды человеческих попыток о с у щ е с т в и т ь Б о г а. Это стимулирующая, творящая идея истории. Если бегло пройти мыслью через историю Древнего Востока, Египта, Иудеи, Греции и Рима, развитие движения человечества будет сказываться в том, как там и тут осуществлял себе Бога человек, как понимал его, как «открывался» Он ему. «Каков Бог данного человека или данного момента истории, таков сам человек и момент истории». В истории человек постепенно открывает Бога, и, по словам ап. Павла, «вся тварь с нетерпением ожидает откровения сынов Божиих».

Итак, Бог есть то, чего пока, в ближайшей действительности, е щ е н е т, то, во что, однако, постоянно в е р у е т человек, чего ищет, за всемирную историю свою, и что о с у щ е с т в л я е т с я в меру веры и разумения человеческого.

По идее церковной письменности, Бог будет постоянной и ближайшей действительностью тогда, когда «царствие Божие приидет в силе»; это значит, что тогда, хотим мы того или не хотим, Бог будет перед нами,— будет настоятельным, судящим нас фактом. До тех пор Бог не стоит перед нами настоятельным фактом, но осуществляется для нас настолько, н а с к о л ь к о м ы в е р и м и х о т и м Е г о о с у щ е с т в л е н и я. «Егда Бог яве надстанете» — это, по церковной идее, день

Страшного Суда. До тех пор Бог не стоит над нами «яве» (явно) и Божия жизнь плодится самим человеком в меру его веры, прозорливости, духовного возраста: «Словом тя проповедавшие пророцы, и делами почеташии, безконечную жизнь приплодиша». Одним словом, принудительности никакой нет, когда человек начинает верить в Бога: вера и истина доселе зависят от воли и свободы человека, следовательно, от качеств самого человека, а не суть дело принуждения. Только потом и постепенно вера и истина осуществляются, оправдываются в силе, т.е. уже в принуждении — хотим мы ее или нет. И очевидно, что пока мир течет так, как течет он до сих пор, никогда элемент человеческой воли и свободы — элемент веры — не будет совсем исключен из его истины. Это, в самом деле, будет страшным переломом и концом теперешнего течения мира, «егда Бог яве надстанете», кончив свободу и осуществив веру человечества. Истина вполне открывается — это нечто страшное для нас; люди мало над этим думают.

Что же из этого следует. Следует, что Бог и истина не есть только греза или «сон души человеческой», созданный для того, чтобы как-нибудь удовлетвориться, как-нибудь забыться от действительности. О нет! В определение истины входит гораздо более то, что она судит, ограничивает, требует, чем то, что она удовлетворяет. Человек творит новое в мире, благовествуя на свой страх Бога миру; но это же новое и судит его. Это и значит, что человек не ограничивается возвращением лишь того, что получил (что было бы простым, пассивным и ленивым «применением к действительности»); но он, на основании действительности, на основании того, что получил, «творит другие пять талантов», вносит их — свои плоды — в мир, и отныне они уже делаются фактом, судящим его и мир, хотят они того или нет. Одним словом, Бог — не субъективная греза души, но — по мере того как человек открывает и осуществляет Его — есть стоящая перед ним и судящая его сила.

Такова, по-моему, природа человеческой веры, истины и знания, такова природа жизни и развития. Это с Духовной академии и есть моя философская вера, и развить ее — моя надежда. Вы понимаете, как дорого мне было читать у М. Горького столь близкие и род-

ственные понимания! Ужасно дорого чувствовать, что не один ты так думаешь, но есть люди, пришедшие к тому же, к чему пришел ты. И тем более хорошо это, что тут думающим так оказывается М. Горький, искренний и сильный русский человек, говорящий не только сам за себя, но и за момент, переживаемый русским народом.

Вы понимаете, конечно, что все эти понимания и мысли требуют тщательного развития, тщательной обработки. Я потому и не говорю о своих пониманиях, что считаю их совсем не разработанными. Тут еще много неясного! И у Горького бросается в глаза то, что он не освоился со своими пониманиями. У него есть и прямые противоречия себе. Он ведь, например, ярко подчеркивает, что Бог не есть простое «самоудовлетворение» и «самоуспокоение» отчаявшихся, измученных, слабых душ. Бог открывается, по Горькому, лишь свободным и сильным духом. И, с другой стороны, в конце книги выходит как будто, что Бог есть исключительно творение народа. Тут явная неясность. Надо выяснить, какова природа этого «творения народа»...[5]

6.VI.10.

С праздником, добрый друг, Варвара Александровна, с добрым солнечным, летним праздником — Троицыным днем, в который отцы наши в первый раз после Светлого дня преклоняли колена и, проливая на цветы слезы — столько слезинок, сколько было в руках цветиковых лепестков,— возвращались к обычному течению страдного, природного года. Пред прощанием с уходящим до будущего года Великим Праздником они, наши старики,— склонившись на цветы, вспоминали отшедших отцов и предков своих, раньше них прошедших жизненную страду. Вспоминал и я сегодня, на троицыных цветах, отшедших моих и Ваших: тетю Анну, отца, дедов, отца Вашего, Ольгу Александровну, рабов Божиих Павла, Григория. Полна была их жизнь, и прошла она. Теперь мы на их черед. Дай, Боже, пройти ее, не утеряв пути Христова!.. Дорого яичко в Христов день,— дороги и цветы в день Троицын.

А Вы не сетуйте на меня, что молчал до сих пор. Ведь адреса Вашего я не знал,— не могли мне сообщить его ни дворник, ни швейцар в Вашей квартире.[6] Ходил я дважды, чтобы Вас встретить, но не встретил. 〈...〉 Только с неделю как получил Ваш адрес от Никольских

и хотел сам поехать к Вам на дачу, а не писать. Но пока что выбраться не могу, и потому вместо поездки пишу.

Все это время с Вашего отъезда вхожу в свою работу над корковыми центрами.[7] Море это великое и пространное не только по литературе, написанной уже на эти вопросы, но и по существу фактов, какие открываются при эксперименте. Трудно пока уловить ариаднину нить, которая руководила бы в этом лабиринте. В последнюю неделю опыты были неудачны: три кошки подряд умерли до окончания операции. Подобная вещь наблюдалась у меня и в прошлые годы, после сильных жаров (например, в прошлом году в середине июля): очевидно, тяжелая жара дает себя знать и на организме животного,— хлороформ выносится ими в этих условиях с трудом. 〈...〉

Я не могу еще считать, что моя работа вошла в колею; пока что она идет вяло; дает себя чувствовать утомление от зимней сутолоки по чужим делам; кроме того, не успокоились еще и различные дела с гимназией и посетителями.[8] В последнее воскресенье,— легко сказать,— у меня было подряд, один за другим, п о п я т и посетителей, из которых по крайней мере трое по неотложным делам. Само собою, это не благоприятствует сосредоточению внимания на текущую работу. Но, надеюсь, эти посещения и дела приходят к концу, и теперь я сяду за дело вовсю — т. е. не только за опыты, но и за чтение литературы в свободные от опытов дни.

Статья моя «О церковном пении»[9] ужасно задержалась в печатании. Она оказалась чрезвычайно длинною, и оттого нелегко включить ее в газету, забитую думскими и всякими другими отчетами. 〈...〉

В статье я в значительной степени высказался по моему наболевшему вопросу о церковном искусстве. Не знаю, принесет ли это какой-нибудь хороший плод, но у меня была настоящая потребность сказать, чтó у меня наболело. 〈...〉 При всех очень многих своих недостатках, эта статья мне очень дорога. И скажу Вам по секрету: м н е д о р о г о б ы л о б ы, е с л и б ы п р о ч л и е е н е м и м о х о д о м, н е п о в е р х н о с т н о и м е н н о В ы. Я пришлю ее Вам на днях.

Проводил на прошлой неделе семью Лащинских; а теперь провожаю Мякутиных. Это навевает какое-то грустное чувство: Лащинский — моя связь с прошлым, Мякутин — человек из настоящего, один из немногих, с кем у меня так много общего. 〈...〉

В прежнее время я не так грустил, расставаясь с людьми, потому что верил, что стóит покопаться — и везде найдешь в человеческой душе то, что тебе родственно и дорого. А теперь я состарился, нет уже энергии для разыскивания своего в людях, и оттого хочется крепко держаться за то, чтó уже дано, и грустно, когда свои люди (свои по духу) уходят вдаль.

До свиданья. Не сетуйте на меня, ради Бога.

Сердечный мой привет Вашим.

Ваш А. Ухтомский.

7.VI.10.

Милый друг Варвара Александровна,
вот ведь не приходится поехать в Александровский поселок,[10] да и только. Уж непременно думал сегодня быть в Вашей палестине, но... кошелек мой оказался пуст, совершенно пуст до понедельника. Сейчас лежит в моем кошельке только... лабораторный ключ! ⟨...⟩ И я так не привык, что в кошельке ничего нет, что вчера вечером преспокойно сидел в вагоне трамвая до своего угла — 16-й линии, не зная, что заплатить мне нечем, и... кондуктор меня выгнал, «выгнал»! Вы не можете и представить себе, как это было стыдно и скверно!

На этой неделе у меня вообще были горя, т. е. не то чтобы настоящие горя, а такие маленькие события, которые помаленьку создали смутный осадок на душе. Во-первых, умер кролик, старший, который в прошлом году был в Рыбинске. В последние дни он был ужасно скучен,— ничего не ел и не пил, все сидел, уткнувшись носом в пол. Подлец маленький кролик пользовался его слабостью и, пробираясь в кухню в мое отсутствие, грыз бедного старика. Утром третьего дня старик умер.

Затем начались кляузы по училищу ⟨...⟩ отец Семен[11] пустил в газеты, без моего ведома, объявление от училища, где сказано, что оно с правами правительственных и что оно с будущего года будет в новом специальном здании. И то и другое есть ложь. ⟨...⟩ Я предполагаю уйти из заведующих, хоть и очень жаль мне оставлять это дело,— дело молодое и по замыслу очень хорошее. Но я все равно не могу быть настоящим заведующим, уделяя так мало времени на училище. ⟨...⟩

А как Вы думаете, отчего это русский человек так странно в большое и хорошее дело вносит обман; отчего это предприимчивость у русского человека сделалась синонимом вороватости? Ведь у нас в приходе все — чисто русские люди и, несомненно, воодушевлены лучшими намерениями, когда утруждаются до того, что прибегают даже к обману?

Чудно́е это дело. А между тем у нас это на каждом шагу. «А у нас, брат, толкуют, что в русском человеке предприимчивости мало! А как тебя послушать, так, пожалуй, ее даже больше, чем следует!» (Салтыков-Щедрин). Это так беседуют у великого писателя интеллигент с добрым деревенским мужиком. И это ведь не то чтобы признак какого-нибудь временного «развращения нравов». Это черта, так и пробивающаяся в нашей истории с самых «собирателей Руси».

Я надеюсь быть у Вас в понедельник, получив деньги.

До свиданья.

Ваш А. Ухтомский.

20.VI.10

Дорогая Варвара Александровна,
во-первых, сегодня мне ужасно хотелось Вас видеть и поговорить: вчера было совсем не разговорное настроение,— на заказ его не сделаешь.

Во-вторых, сегодня у меня удивительный день. Я пошел взять билет и возвращался по Невскому пешком; при этом я встретил одного за другим 4-х старых, очень старых своих знакомых, которых не видел много лет. Вот они по порядку встречи:

1) Подполковник Кулябко, начальник Жандармского отделения в Киеве; не видал его с 1890 года, когда он окончил корпус.

2) Владыка Арсений, бывший Волынский викарий, нагасакский миссионер и затем епископ Сарапульский. Не видал его с 1900 года.

3) Подполковник Раттель, фельдфебель моего выпуска из корпуса, бывший на последней войне в качестве адъютанта одного из действовавших корпусов в Восточном отряде. Не видал его с 1901 года, когда он окончил Академию Ген. штаба.

4) Полковник Надежный, с которым мы усиленно дрались в корпусе. Был на войне, тяжело ранен пулею

в живот (под Шахэ). Не видал его с 1892 года, когда он окончил корпус.

И все эти встречи на протяжении одного часа!

Пронеслась почти вся жизнь перед глазами! И уже мы начали седеть! У Раттеля борода седая,— говорит, что поседел на войне, так было тяжело. В особенности тяжело вспоминает одну ночь, когда командир корпуса, сделав распоряжения, уехал куда-то вперед, а уводить с позиций корпус с боем пришлось не кому иному, как ему — Раттелю! Тут, в одну темную, скверную ночь, пришлось пережить, по его словам, больше, чем за целые годы.

Надежный тоже с большой сединой в голове, но лицо осталось совершенно то же, что было. За Шахэ получил Георгия.

И знаете, у меня вдруг проснулось давно забытое чувство, что это — товарищи, настоящие товарищи по работе для родной России, и что я не один какой-то совсем одинокий, а вот с ними сообща и одинаково,— даже, может быть, меньше, чем они,— работаю русское дело. А это чувство (благодатное чувство!) давно уже мною забыто, и забыто настолько, что сегодня оно показалось мне почти новостью. Ведь я привык видеть в людях, с которыми обыденно сталкивает судьба, совсем чужих людей для того, что́ мне дорого и чему я служу. Страшно сказать,— я привык где-то в самой глубине души видеть в окружающих людях (за немногими исключениями) — вредных для России людей. Сидят люди передо мной и болтают, а я на них смотрю — и чувствую только одно, что они мне ни в чем не товарищи, ничего общего у меня с ними нет и надо от них только беречься, т. е., собственно, беречь свое дело. Это во мне сидит очень глубоко.

А вот сегодня опять я почувствовал товарищей, и это было так удивительно! Мало того, я вдруг почувствовал, что они, может быть, сделали для жизни, которая нам была дорога с корпуса, и больше, чем я. А это тоже, представьте себе, какое-то отрадное чувство!

И вот, мне так ужасно захотелось поговорить с Вами,— сказать Вам, как я счастлив за своих товарищей.

Может быть, это только временный упадок русского дела: уж слишком разросся ее организм (т. е. организм России) и оттого так расходятся, так чуждаются и не узнают друг друга силы в ее центральной нервной систе-

ме. Но, Бог даст, рабочие, прежние силы еще возьмут свое.

Но возьмут они свое только тогда, когда не будут жить каждая для себя, для своего маленького благополучия в «тепленьком семейном уголке», не будут тратить сил и времени на «культурное препровождение времени» вроде... картишек.

Еду вечером в понедельник.

Ваш А. Ухтомский. ⟨...⟩

Дорогая Варвара Александровна,
на авось напишу Вам на Владикавказ заказным, с расчетом, что письмо будет переслано Вам, если Вас не найдет на Кавказе. ⟨...⟩

Великое спасибо Вам за письма с матушки моей Волги. Я счастлив, что Вы были на ней, сплыли от Рыбной почти до самого низовья. Проплыл с Вами мысленно всю эту Русь исконную, кондовую Русь,— в особенности от Рыбинска до Керженца. Вот Вы не читали великого русского произведения — «В лесах» Мельникова-Печерского. А он так начинает свою Илиаду: «Верховое Заволжье — край привольный. Там народ досужий, бойкий, смысленый и ловкий. Таково Заволжье от Рыбинска вниз до устья Керженца... в заволжском Верховье Русь исстари уселась по лесам и болотам... Судя по людскому наречному говору — новгородцы в давние Рюриковы времена там поселились. Предания о Батыевом разгроме там свежи. Укажут и тропу Батыеву, и место невидимого града Китежа на озере Светлом Яре... Старая там Русь, исконная, кондовая. С той поры, как зачиналась земля Русская, там чужих насельщиков не бывало. Там Русь сыстари на чистоте стоит — какова была при прадедах, такова хранится до наших дней. Добрая сторона, хоть и смотрит сердито на чужанина».

И вот Вы наконец там были, и почувствовали родное, родимое в той стороне. А сторона та — родная моя сторонушка, где Бог привел родиться на берегу заволжской извилистой речки Вословки, что бежит чрез краснолесье, чрез поля, покрытые зарослью, и отдает свою чистую воду Ухре, а Ухра — Шексне, а Шексна пала уж в саму матушку Волгу. Там же Бог привел и духовно родиться, воспитаться, мыслью вдохновиться,— там все на волжских берегах и в волжско-окинской долине: там ведь и ярославские наши веси, там и господин «Новго-

род низовские Земли», там и монастырь Живоначальныя Троицы «игумена Сергия, иже в Маковце». Господь даст, тому бы краю и поработать, и послужить; не лихом бы родная сторонушка помянула, и там бы, в родной волжской земле, и костьми лечь!

Дай Боже!

Подышали Вы чистым волжским воздухом, побывали, порадовались на ее раздолье! Видели белокаменные храмы Божии на родных берегах.

Да, хорошо там! Нет лучше, роднее того края! Помню, как любовался я Уралом в 1905 году [12], его лесистыми пустынями; но все время было щемящее чувство: «А все это уж не то,— Волга-матушка далеко!» И в юности, в лавре Сергиевой, долго скучал я по Волге, которую привык и летом и зимой видеть под боком.

. И вот еще помню, как обрадовались мы все, волгари, на камском любимовском пароходе, когда далеко впереди над темно-зелеными низинами камских берегов завиделся высокий красный правый берег Волги у Богородска!..

Все пропитано там Русью, русской историей, русскою жизнью. Поэтому никто и ничто не может заменить для нас тех мест.

Спасибо Вам, что были на моих рыбинских могилках. Спасибо, что побывали в Алексеевской часовне в Нижнем. Посидел я с Вами на круче в Мининском садике, над Ивановским съездом. Это наша ежедневная кадетская прогулка — по дорожкам Мининского садика. Сматривал я, бывало, с этой кручи в туманную даль Верховья, куда пропадает светлая лента Волги: как-то, дескать, живет там моя ненаглядная старушка тетя Анна и скоро ли она сплывет из Рыбинска ко мне в Нижний?

Хорошо мне вспоминать все это, хорошее для меня время было, должно быть, и во мне были добрые и светлые силы. Куда это все ушло? Зачем ушло? Куда все так быстро движется? Да, как я писал Вам в исповеди, так и теперь чувствую всею душою: не стойт все это на месте, все изменяется и течет куда-то вперед, в одну сторону. Не прав был Соломон, что «все одно и то же, и нет ничего нового под солнцем», не прав иудейский мудрец! Уходят человеческие дела, уходят «дни древние», и идет мир непрестанно, не повторяя дважды ни единого дня, ни единого листочка на

дереве... ⟨...⟩ Нет ничего выше, нет ничего содержательнее и важнее, как вера людей в то, что идет и движется мирская жизнь именно к Великому и Преславному Концу; каждая эпоха, каждый народ, каждый человек даже, по-своему выражают, по-своему вынашивают эту веру. Но именно постольку, поскольку он ее вынашивает и выражает,— постольку и живет духовно народ и отдельный человек. Духовная смерть там, где кончается человеческая вера. И вот бесконечное море, обозреть которое жизни не хватит,— море, исполненное всякой красоты и цветов,— море человеческой веры. Вот то, что больше всего меня интересует и трогает...

Волжские берега, волжские горы, долы и леса — это ведь для нас не одна «природа», это не «in's Grüne» [13] (!) мы туда едем, не за тамошним «пейзажем». Главное — это та, забываемая, но искони родная нам, *народная вера*, которая запечатлелась на этих берегах, в этих избах, поселках и храмах,— народная вера, которою жил и крепок был наш предок, исконный насельник и трудник Великой России. Вот Вы почувствовали родное дыхание этой старорусской веры от волжских берегов, и благо Вам. Я ревниво закрыл бы Волгу от тех из русских (петербургских!) людей, кто едет туда только из-за пейзажа, только для того, чтобы «voire la Nature» [14] и пр. Не нужно им ездить туда, не нужно гонять из-за них лишний пароход, лишний раз пугать волжскую рыбу!..

С тех пор, как я Вас не видал, прошло много событий. Во-первых, был здесь в Петербурге преосвященный Михей Архангельский, которого увидал я случайно, зайдя на Благовещенское подворье, где он был в гостях у преосвященного Антония. От Михея узнал, что скончался милый мой отец Мелетий в Иосифовом монастыре, [15] скончался тихо и мирно еще в минувшем декабре, а мне о том не сообщили. ⟨...⟩ Вот это большой отрыв для меня, еще *отрыв от этой жизни* и еще *прибавка сродства к той жизни*. В детстве и юности мы живем всецело живыми впечатлениями от этой жизни, переживаем каждый листочек, каждый теплый деревенский день как что-то самое близкое и дорогое нам; и так как таких листочков и таких летних дней много, и каждый имеет свое особенное, отличное от других, то и понятно, что так богата живыми, цветистыми и яркими впечатлениями наша юность. Зато как невыносимо горестна тогда всякая потеря в этом цвети-

2*

стом мире! Ведь это всеневозвратимые, всеокончательные потери!

Потом положение наше в мире и к миру изменяется. Мало-помалу ведет тебя жизнь к тому чувству, что прекрасный и цветистый, конкретный обыденный мир, который перед тобою,— это не окончательный мир, не в нем твои начало и конец; другая «новая земля и новое небо» начинает предподноситься уму. И тогда, естественно, уже не так ты будешь замечать и переживать листочки и летние дни, что перед тобою, и время твое потечет скорее, скорее будут отходить и сменяться твои дни... Впрочем, есть такое «второе рождение», когда снова, как в детстве, человек начинает входить во всякую травку и во всякую красоту мира, с новой, совсем новой любовью ко всему этому, просветленною сознанием и ощущением мира иного... Но до этого далеко. По крайней мере мне — очень далеко. А пока я в том втором состоянии, когда и жалко, что прошли те светлые Божии дни, когда был я с другом моим старцем Мелетием, и в то же время это лишь подкрепляет общее чувство — что пора отходить от этого мира, пора смотреть сквозь него на то бо́льшее, куда все уходит. ⟨...⟩

А у меня все какое-то тяжелое и несветлое состояние духа. Тут ⟨...⟩ действует ⟨...⟩ и крайняя неудовлетворенность в своих делах, своим нравственным делом. По силам ли задачи я себе наметил? По силам ли мне вся эта жизнь в чужой среде, среди инакомыслящих? Не блудный ли я сын, ушедший на страну далече и ищущий свиных рожков, чтобы насытиться? [16]

Мне казалось, что я людям больше сделаю, если пойду своим путем, а не уйду в общий шаблон. Но ведь тут, конечно, был и дух гордости, самооценки! Не было ли в том греха, за который придется расплатиться? Да расплатиться-то чем? Легко сказать: бесплодием именно для людей! Смотрю я на старых друзей и знакомцев по Академии и вижу, что все они текут весело и мирно своим путем — зреют, как колосья на летней ниве,— и самое главное — мир и радость духовная их не оставляет, покрывает ошибки и погрешности, и снова и снова надувает парус вперед, все вперед, куда мы все стремимся.

Почему же у меня больше, во всяком случае, мрака, чем света и радости духа? Страшно все это, страшнее втрое для своей индивидуальности: растет она или

«чичеревеет», как выражаются крестьяне о засыхающем и пропадающем колосе.

Одно могу сказать: все более и более начинаю я понимать, что благодать и спасение не в самом человеке, а идут свыше, от силы более высокой, чем он. ⟨...⟩

Конечно, и это некоторый плод, что пришел к этому чувству; но ведь это маленький плод только для себя, а людское-то дело, которое так добро рисовалось, остается пока что высохшею и неподвижною равниной!

Сегодня канун памяти моей покойницы тети Анны Николаевны. Опять не пришлось быть 26-е в Рыбинске. Надеюсь лишь выехать 26-го отсюда. Помните мой рыбинский адрес: «за р. Черемхой, по Выгонной улице, свой дом». ⟨...⟩

Ваш А. Ухтомский.

25. VII. 911.

Дорогая Варвара Александровна,

я хотел писать поздравление Наталье Яковлевне,[17] а потом, отдельно, письмо Вам. Но теперь решил писать Вам просьбу передать мое приветствие дорогой имениннице. ⟨...⟩

Отчего не пишу отдельного письма? Об этом скажу Вам по секрету: усиленно экономлю оставшиеся у меня копейки, ибо жалования до сих пор не могу получить, а от прошлого остались медяки.

Живу здесь, в моей родной обстановке, прекрасно, и чем лучше мне здесь, тем более чувствую, что все это остатки и последки, незаслуженно оставленные мне пока Богом от прежнего мира, но остатки, готовые уйти от меня. А мне жаль, если они уйдут от меня, хотя, с другой стороны, не могу не сознаться, что эта любовь к здешнему моему углу есть тоже земное пристрастие. В некоторое оправдание себе скажу, что это пристрастие имеет основание, ибо лишь сюда возвращаясь я прихожу в себя, во внутреннего своего человека, и начинаю с миром на душе отдавать себе отчет в том, чем живу, в чем изменяюсь, что ценно и что обманчиво,— в чем правда и в чем ошибка.

Да, ничто, видимо, не может мне заменить здешних мест и здешнего моего угла. У меня ведь есть какая-то «ревность патриотизма» в отношении родных мест, нашего серого пейзажа, наших здешних красок Волги,

полей и лесов; да кроме того какая-то органическая привязанность к родному дедовскому углу. * И вот, когда Вы писали мне о Волге летом, я так и переживал с Вами тó, что было пред Вашими глазами,— переживал тот воздух, которым Вы дышали. Но когда в Ваших письмах простота волжского берега — с его буграми, перелесками, селами и деревушками — сменилась грандиозными кавказскими картинами с пропастями, орлами (и с неизбежными воспоминаниями о разных Мери, Грушницких, Печориных и прочей чужеядности...), так мои часы и остановились. Чужая это для меня красота, не ей нам дать мир и научить нас...

Как ни тепло чужое море,
Как ни красна чужая даль,
Не ей поправить наше горе,
Размыкать русскую печаль!

Много здесь читал из тех книг, что оставались здесь, книг — обитательниц здешнего дома. Притом и одну из новых петербургских книг, именно — Булгакова «Два града». И то, что вылилось из души Булгакова, вместе с тем, что читал я здесь (авву Григория Синайского, Симеона Благоговейного, преподобного Максима Исповедника), слилось в моем сознании в цельную, очень цельную, но и очень тяжелую картину; мне по-новому осветилась современность, ближайшая современность последних лет, которую мы только что пережили. И знаете, ужасно мне становилось от чувства, что в этом, так сказать, «вздохе истории» так явственно повеяло духом Антихриста,— самонадеянным, гордым, превознесенным в своих собственных глазах, но, в конце концов, таким глупым и бессильным духом надмевающейся человеческой «самости». И ведь мы участвовали в этом вздохе: я хочу сказать,— в наших душах нашелся же резонатор, который тоже пожужжал в ответ и в тон этому Антихристову вздоху! Да, мы так или иначе участвовали в этом вздохе, повинны в нем!..

Как же и чем мы повинны? Я думаю, что вины тут очень и очень разнообразные — у каждого в меру его дарований и душевного склада: как всегда, кому больше

---

* Это, пожалуй, и хорошо, что Вослома продана матерью.[18] А то пристрастие мое к родному и дедовскому имело бы еще более глубокие корни!..

дано, с того больше и взыщется. Вина нашего, с позволения сказать, «культурного общества» в том, что жизнь его в отношении низших братий и народа вообще была (и есть!) одно сплошное преступление *; вина правительства в том, что представлено оно людьми слабыми и эгоистичными, переставшими служить «Богу и великому Государю», служившими же своему гадкому благополучию и детородию; вина так называемой «боевой интеллигенции»,— по крайней мере, снаружи, с поверхности,— в удивительном легкомыслии и неведении родного народа, которому норовили «служить»; вина русской церкви в том, что — по крайней мере, в лице предержащих властей своих — ушла она в приземистое, хозяйственное «служение трапезам», тогда как замолкло живое христианское слово и в государственной и в общественной жизни. Но всего глубже, конечно, вина отдельной, интимной человеческой личности в ней самой; и эту вину я ощущаю прежде всего как вину м о ю. А вина эта именно в том, о чем я писал Вам в виде еще неясного для меня самого намека: вина в с а м о с т и, во внутренней, тонкой гордости,— в том, что вот непременно п о - с в о е м у, непременно с в о и м путем хотим мы (и хочу я) идти в жизни и искать ее правду. Вот такая погоня, именно погоня развилась у нас за «новым словом»,— как будто именно в н о в и з н е спасение! И столько новых слов! Столько претензий на новые слова! Столько, наконец, лопнувших и погибших лягушек,— несчастных, глупых лягушек, раздувавшихся для «нового слова». Сколько ведь перетравилось бедных «малых сил», обманутых обещаниями «новых слов»!

Но, родная моя, мы ведь все заражены этою атмосферою идолопоклонства пред «новыми словами»! Сколько бы драгоценного времени и досуга для настоящего дела было сохранено, если бы не эта масса нового писательства, масса брошюр и книг, масса бумаги, бумаги, бумаги, букв, букв, новых и новых слов!

И Вы не совсем поняли мое чувство, возникшее при встрече со старыми моими друзьями по Дух. академии.

---

* Читали ли Вы, кстати, Родионова «Наше преступление»? Там все правда, за исключением слишком поверхностного взгляда на причины вещей: ведь не от водки же одной и не от глупости либеральной интеллигенции одичал народ! Причина глубже,— она в п о р о ч н о с т и д у ш и самого «культурного общества» нашего!

Я был бы совершенно спокоен, если бы был уверен, что путь, на который я встал, и их путь, которым они идут, по существу один и тот же — путь Христов, и разнятся они лишь по внешней форме. Но меня ужаснула мысль, что я, как бы подчинившись господствующему духу, уклонился с настоящего-то Христова пути, незаметно для самого себя мало-помалу отдалился от него. Ужаснула мысль, что искание «нового слова», в котором я несомненно повинен, отвело мои силы от настоящего, насущного дела на ниве и жатве Христовой. И вот почувствовалось мне, что страшно все будет, если пред лицом Вечности спросят меня: где же это ты был и что делал, когда столько низших братий ждали от тебя простого и бесхитростного слова Христова и когда товарищи твои изнемогали и теряли силы в труде Христовом?

И вот еще что приоткрылось мне и что также способно было меня устрашить. Вот сколько потухавших и ослабевавших душ осветило и укрепило простое слово в духе Христовом, произнесенное самыми заурядными деятелями из моих академических товарищей; и это только оттого, что слово было в духе Христовом. А я вот, со всеми надеждами, которые на меня возлагались, делаю что-то далекое и подчас недоуменное для студентов и сам все более и более сомневаюсь в полезности той машины, в деятельности которой участвую. И при надеждах, которые на меня возлагали, я остаюсь, можно сказать, бесплодным. Мне вспомнились слова: «Аз есмь лоза истинная и Отец мой делатель есть. Всяку розгу о мне не творящую плода измет ю; и всяку творящую плод, отребит ю, да множащий плод принесет... Аз есмь лоза, вы же рождие. И иже будет во мне, и аз в нем, той сотворит плод многе: яко без мене не можете творити ничесоже. Аще кто во мне не пребудет, извержется вон, якоже розга, и изсышет...» (Иоанна, гл. 15).

И вот когда после тупой зимней сутолоки я встретился со старыми друзьями и посмотрел на пройденные и на лежащие пути спокойными, непредвзятыми, «объективными» глазами, мне бросилось в глаза мое духовное неплодие, и оно устрашило меня, как симптом того, что ветвь моя стала засыхать; засыхать же она могла лишь оттого, если она отделилась от древнего источника — «лозы Христовой».

А если она отделилась, то в этом виновата, конечно,

не обстановка, не внешний шум и говор, ⟨...⟩ а нечто во мне самом, в самой интимной личности моей. И это в интимной личности есть самость.

Что же может оградить от этой самости?

Пока сейчас вижу только одну силу — молитву.

Я вот о молитве-то и читал и вчитывался здесь у Григория Синаита, Симеона и Максима. Но, знаете, я открыл, что их читать можно тоже только на молитве же: иначе бóльшая часть содержания, самого жизненного и теплого содержания, ускользает из внимания или укладывается в уме не так. Тут, для понимания этих великих психологов, нужна не абстрактная мысль, а что-то внутри,— теплое сердце. Сердце же теплеет только во время молитвы и от молитвы. ⟨...⟩

Я знаю, что Вам знакóмо состояние молитвы; и так часто вспоминал Ваши рассказы о том, что с Вами бывало в обществе, среди людей, когда Ваше сознание уходило. По отцам, молитва тоже не связана, конечно, ни с каким местом и обстановкой. У совершенного она всегда и везде. Совершенная молитва, по отцам, это как бы внутренняя мысль в сердце. ⟨...⟩ Но эта высшая, внутренняя молитва есть идеал; идеал было бы пагубно брать за обыденное правило; и оттого-то в нашей обыденной жизни необходима постоянная и неослабная дисциплина молитвы. По мысли отцов, молитва есть наука, трудная наука. Без дисциплины в ней легко поскользнуться и упасть,— легче, чем где-нибудь, ибо чем выше вещь, тем легче упасть с нее. Нет ничего пагубнее той распространенной в публике мысли, что молиться надо лишь когда хочется — когда придет «стих» или «вдохновение к молитве». Все ленивые люди склонны говорить о вдохновении и о том, что они «ожидают вдохновения». Молитва есть прежде всего труд. ⟨...⟩

Вот, впрочем, еще идея, которую хочу записать для памяти a propos [19] ко всему предыдущему,— идея, которая ходила передо мною давно уже, но которую опять-таки я освоил в это последнее время *. Одно из тонких заблуждений, которым живет современный человек, заключается в фантоме, что истина, правда, нам доступная, есть искомый продукт (плод) нашего абстрактного ума, и если еще истиной в ее полноте мы пока и не

* Впрочем, еще в дневнике моем я писал Вам нечто близкое, хоть и не совсем то.

обладаем, то все же история идет к тому, что именно ум овладеет истиною. Такая вера в ум называется «рационализмом», и — можно сказать — вся т. наз. точная наука открыто или явно живет этою ничем не доказанною и не оправданною верою. Не нужно никакой переделки всего прочего человека, не нужно чувства, не нужно нравственной переделки для восприятия истины. Ум воспринимает ее, открыв ее; и она переделает остального человека.

Правда же, как я убеждаюсь более и более, в том, что именно для открывания и для восприятия истины (самого ощущения и чувства истины) требуется уже перевоспитание, коренная переработка и, в известном смысле, переворот в личности человеческой. Человек всегда, а в восприятии истины в особенности, движется и должен двигаться лишь ц е л и к о м: всей своей природой — и умом, и чувством, и волей. У отцов, которых я теперь читал, великолепно освещена эта идея.

Ну, простите пока. Я до сих пор еще не был у матери и сейчас иду.

Всего хорошего. Преданный А. У х т о м с к и й.

25. VIII. 911.

11 авг. 1912. Рыбинск.

Родная моя Варвара Александровна, спасибо за посылку, за письма. Когда я ехал сюда, то в дороге еще назревало во мне что-то под влиянием наших последних бесед, что надо было написать Вам, и, подъезжая к дому, я чувствовал, что буду сейчас Вам писать. Что это было? Я теперь не знаю, что именно я хотел сказать,— не помню; но главное было просто в том, чтобы дружески, братски, потеплее, крепко пожать Вашу крепкую, сухую и мужественную такую руку. И представьте себе, что́ затормозило тогдашнее мое писание! Это Ваше письмо! Оно, очевидно, пришло в Рыбинск одновременно со мною, в том же поезде; и его принесли почти сразу после моего приезда домой.

Я схватился за него, потому что оно встретилось с моим собиранием, назревавшей потребностью написать Вам, но... оно-то и затормозило меня. И вот ведь какая «мелочь»: не выходит у меня, просто н е в ы х о д и т обращение к Вам по-другому, чем вот так, как я пишу сейчас и как писал исповедь и прежние письма.

Что-то внутреннее и очень серьезное в моем отношении к Вам не допускает этой так называемой «теплоты», т. е. открытой теплоты! Помните, я когда-то говорил Вам, что мы никогда не будем на «ты»? И это мое серьезное чувство. Я не могу и не должен допускать этого «ты». * Я чувствую это так глубоко, что считаю это голосом совести.

И вот, с одной стороны, как самому надо было писать Вам; и дорого было, что Вы именно из родного моего угла хотели от меня в первый раз услышать «ты»; с другой же стороны, я так вот все и отходил от писания: хотелось и просьбу Вашу милую исполнить, и никак не мог я этого сделать... А тут, со второго дня моего пребывания здесь, нахлынули на меня здешние люди с тревогами, с просьбами, с исканиями... И представьте, что я только вчера, 10-го, в первый раз за все время сел за бумагу и перо, чтобы записать некоторые мысли, родившиеся от чтения преподобного Макария Великого. И только что вошел в писание, восстановил в душе то, что надо было сказать, как пришла с почты посылка от Вас, да еще такая посылка! Спасибо Вам, родной и сердечный мой друг, за то, что доверили и прислали Вашу беседу,— беседу Вашей души самой с собою. Я считаю, что это — ответ на мою исповедь. Нехорошо и грех было бы, если бы сожгли плод внутренней своей работы. Порывание сжечь свое писание было и у меня, когда писал исповедь; но казалось мне это неуважением к жизни, текущей от Бога. За все слава Богу, за такой содержательный наплыв жизни, чувств, мыслей — в особенности. Пройти мимо него, сжечь содержание его, значит не дать славы Богу. Именно содержательность, содержательность до мучительности и говорит, что это не только человеческое, но от Божией милости идущее было, что и в моем писании Вам, и в Вашем говоре самой с собою много чисто человеческого; но надежда и молитва моя в том, чтобы главное-то принадлежало Божиему голосу в нас, и постепенно, рано или поздно, голос Божий пересилит все остальное,— все остальное исчезло бы и сгорело в нем. Вот таков образ всего мира. Множество в нем голосов, множество многое всякого, волнующегося, как море, содержания; но в нем есть и голос Божий («Слово Бо-

* Может быть, это только «покамест». Не знаю.

жие»); и надо, чтобы этот голос Божий пронизывал все остальное, чтобы все остальное постепенно к нему собиралось: сначала другие голоса подстраивались бы к нему, составляли бы понемногу из волнений и хаоса — стройный или настраивающийся хор, а потом и все исчезло бы в том едином голосе, чтобы был «всяческая и во всем Господь». То, что ярче и горячее горит, скорее приходит к цели своей,— сгореть, чтобы исчезнуть в Боге.

Ваша тетрадь как-то особенно пришлась мне посреди мыслей, навеянных великим египетским христианином — преподобным Макарием. Как мне хочется перелить в Вас многое из этого Макариева моря. А ведь это море! И Вы, в Вашей тетради, так близко подошли самостоятельно к этому морю. Господь да сохранит Вас, и осветит, и спасет! Давно молитва моя о Вас такая, чтобы дал Вам Господь, как Ангелу Вашему, «вражия сети сокрушить и как птице избавиться от них помощью и оружием Креста» (смотрите Тропарь Великомученице Варваре).

Старухи мои сегодня причащаются. Я пишу Вам как раз в то время, как они за обедней, и я жду их, чтобы пить чай. Вот в такие мирные и тихие минуты мне хотелось бы, чтобы Вы были здесь; но когда сутолока, наплыв людей со стороны, все рассматривающих, всем «интересующихся», обо всем имеющих досуг судить,— тогда-то не хочется мне Вашего приезда сюда. В первые дни, когда была эта сутолока, я доволен был, что Вы не здесь. Теперь хотелось бы, чтобы побывали Вы здесь. Но ведь из этого могут выйти сплетни, кого-нибудь это может соблазнить! Значит, лучше избежать соблазна людского,— пускай будут покойны, не судят и не грешат языком. Помните, как говорил апостол Павел: «Если я соблазню кого-нибудь тем, что буду есть мясо, то да не буду есть мяса вовек». Но все-таки, если бы экспромтом побывали здесь, было бы хорошо! Если положит Бог на душу и благословит, то сделайте так. Как Бог благословит.

Но уехать сейчас отсюда я не могу, ибо едва успею сделать то, что намечено: ведь у меня уйма чтения, взятого с собою, к лекциям, подготовка (хотя бы беглая) к курсам и т. п. Бог даст, съездим в Новгород вместе в другое время. Пишите скорее,— обещаю и я скоро написать,— конечно, если дела пойдут так, как сейчас, т. е. без гостей и в мире. Мне грустно, что нельзя

сделать этой поездки, о которой пишете, но право — это было бы какое-то отчаяние, пренебрежение делом насущным, которое на носу, в сентябре. Я едва успею подчитать к лекциям!

Спасибо Наталье Яковлевне, что подумала обо мне тогда, в мой поздний отъезд из Александровского поселка. Дошел я до дому благополучно, но именно д о ш е л, ибо трамвай более уже не ходил, извозчики же просили minimum 1 р. 25 к., что меня рассердило, и я пошел пешком. Темных физиономий встретилось немало, но бóльшею частью «пáрами» в состоянии «воркования», и я склонен именно этим объяснять относительную благосклонность, с которою меня пропустили: внимание было занято другим делом... Но городовых на этом пути почти очень мало,— кажется, всего двое от Новой Деревни до Большого проспекта! Это, разумеется, нисколько не может гарантировать от ограбления!

Из гостей, посещавших меня здесь, наиболее «неприятный» — неожиданный знакомец Ваш Егор Эсаулов! Он приехал с женою из бежецкого имения; очень изменился, постарел даже,— видимо, в довольно твердых и разумных руках своей супруги сделался положительнее, покойнее. Дай Бог им сжиться! Жена его — родственница здешних Мусиных-Пушкиных, производит впечатление неглупой женщины, и, должно быть, не без характера. В этом (если это так) спасение Егора. У матери моей я еще не был, и тяжело думать, что придется пойти туда.

Не смею я обратиться к Вам с просьбою — жалко Вашего времени. Но может быть, что не далеко будете и не очень Вас затруднит, а мне очень важно было бы справиться, как зовут г-жу Советову (мать Саши Советова, о котором я говорил Вам). Она только что написала мне письмо, а я ответить не могу, ибо не знаю (забыл!), как ее имя. Они сейчас еще на даче, но городская их квартира на Васильевском острове, Кадетская линия, д. № 29. Это у церкви Великомученицы Екатерины. Если бы Вы там на дворе по секрету справились, как зовут эту женщину, было бы хорошо. Саша заболел, не знаю, решатся ли на Духовную академию и на монашество; мать пишет, что пришлось уже прибегать к помощи Бехтерева.[20] Бедный мальчик разнервничался. Они просят помочь ему, а я пока вот и отвечать им еще не могу... Господь с Вами.

Ваш А. У.

Милый друг,
я нисколько не сомневаюсь, что наше дело с Вами,— все, с начала до конца, сказанное мною Вам и Вами мне,—было перед Богом сказано. До сих пор это так и было, и необходимо, чтобы так было и впредь. Про 22 октября я, конечно, не забывал и не мог забыть. Вы и знаете, что об этом я не мог забыть. Все время в Рыбинске жил я с этою памятью, с нею становился на молитву, да укрепит Господь исполнить на Казанскую,— наш родовой праздник,— нашу с Вами мысль.[21] Радостно и встретился я с Вами после Рыбинска, потому что уверен был, что мысль наша удастся.

Но теперь я еще раз прошу Вас, друг мой, не поскорбите на меня и исполните мою просьбу — отложить дело до рождественских каникул. Перед Богом мы с Вами подали руку друг другу не теперь, а давно, и перед ним мы уже одно, насколько пребываем в Его любви. Вопрос ведь не в том, по-моему, чтобы взяться теперь за руки пред Богом, но чтобы люди признали нас и наш союз. Вот это-то людское признание, людское оповещение нашего дела отложим еще, прошу Вас. Мне хочется, чтобы Вы послушали эту просьбу мою не со скорбью, а со светлою душою, ибо нет тут места скорби: перед Богом, верю я, мы уже соединены давно, и вот Вы, как друг, как жена, помогите мне исполнением того, о чем прошу, и не отнеситесь ко мне с недоверием.

Сейчас есть ряд обстоятельств, которые заставляют желать, чтобы обо мне, насколько возможно, не было слышно и чтобы обо мне поменьше говорилось. Я только что вступил в старостинство[22], и внимание очень многих с сомнениями, отчасти и недоброжелательством, направлено в мою сторону. Нужно некоторое время в молчании приучить к себе, постепенно встать на твердую землю. А мне ведь надо утвердиться на твердой и самостоятельной позиции не только в отношении той партии, что готова напортить мне дело, как стороннику отца Семена Шлеева, но и в отношении самого отца Семена, ибо многое в его образе действий претит мне, а при моем старостинстве он может и склонен делать то под моим флагом. Нужна бдительность в обе стороны, а для этого, пока дело совершенно вновь, нужно, повторяю, чтобы обо мне помолчали, успокоились, присмотрелись.

Другое, подобное же, обстоятельство в Университе-

те. Разносится по Университету и университетским кружкам слух, пока неясный и глухой, что в министерстве была, а может быть, и есть мысль назначить меня профессором физиологии на место Н. Е. Введенского. Помните, я говорил Вам, что Н. Е. дуется почему-то на меня и мы с ним не разговариваем? Теперь это объяснилось до крайней степени: именно в ту пору, когда началось это охлаждение между нами, до него и довели разные недоброжелатели слухи, идущие из министерства; я уверил Н. Е-ча, что я-то лично виноват в этой идее министерства менее всего; мало того, идея эта ставит меня в довольно тяжелое положение пред факультетом, которому министерство думает навязать профессора «по назначению», нарушая право факультета избирать своих членов. Вот в этом отношении опять надо, чтобы разговоры обо мне улеглись, по крайней мере на некоторое время. Н. Е. Введенский теперь,— когда дело несколько выяснилось,— говорит, что сам очень был бы доволен моим назначением, что мы с ним ужились бы, если бы он оставался при лаборатории и т. п. Но, во всяком случае, надо встать в более удовлетворительное положение по отношению к факультету, чтобы назначение со стороны министра не носило характера резкой демонстрации против факультета и факультет видел бы во мне более или менее своего. Вот мое чутье говорит мне, что и здесь начало моего приват-доцентства должно быть потише, и в первое время лучше, чтобы обо мне помолчали, ненадолго забыли бы обо мне.

...Итак, если можете, то со светлою и ясною душою исполните мою просьбу и будьте мне в этом помощницей: отложим наше дело, т. е. собственно оповещение нашего дела перед людьми, до рождественских каникул. Как бы подпорою моей просьбы является и то, что икона Владимирской Божией Матери все еще не окончена Чириковым [23], и 22-го октября, как в минувшую Лазареву Субботу и в минувшую Пасху будем знать, что пред Богом мы уже соединены и пребываем одно, насколько пребываем в Его любви. Еще вся жизнь перед нами впереди, может быть — длинная жизнь, много дела перед нами...

Сегодня, одновременно с Вашим письмом, я получил письмо от А. Ф. Березовской из Рыбинска. Она опять умоляет помочь ее сыну, который теперь околачивается в Петербурге в ожидании места. Не можете ли, друг мой,

помочь? По крайней мере, есть ли надежда впереди у Ваших знакомых? Не откажите и сделайте, что можете. Я до известной степени виноват в том, что парень приехал сюда. Попробуйте почву у Мясоедовых. Я до крайности не буду прибегать к помощи Ахлестышевых или Кривошеиных, так как там у меня намечена уже протекция для Левичева и исполнить ее следовало бы для умиротворения в нашем приходе.

Яблоки я получил к себе уже дня три, но все не нахожу энергии перевести их к Вам, ибо это целая бочка пуда в три. Как бы их переправить?

Молюсь, чтобы Господь Вас вразумил, укрепил и порадовал Ваш дух, чтобы Вы исполнили мою просьбу, как житейскую просьбу в начале нашего длинного, может быть, пути.

Простите Вашего А. Ухтомского.

13 окт. 1912.

Дорогой мой друг,

спаси Вас Христос за письмо, осветившее меня радостью сейчас, когда я только что вернулся от Крещенской вечерни. Спасибо Вам за сочувственное слово по поводу кражи Св. Креста в Никольской церкви. Это, конечно, тяжело для праздника. Видимо, есть домашний вор!

Не сетуйте за то, что оставался на праздниках в затворе. У меня была потребность побыть в себе. Жаль только, что в первый день Рождества не пришлось пойти к Вам; тогда это очень мне хотелось, когда я проводил от себя батюшек около 9 ч. утра. Но подумалось, что Вы спите, отложил до вечера, лег спать... а там пошли люди, настроение изменилось,— так и не пришлось быть в первый день. А какой был добрый и хороший день!

Написал за праздники икону преподобной Марии Египтянины [24], именно момент причащения ее преподобным Зосимою. Хочется, чтобы Вы подумали над нею и сказали свое слово.

Господь с Вами.

До свиданья.

Ваш А. Ухтомский.

5 янв. 1913.

У меня хворает Надежда[25], и боюсь, что серьезно.

Часто вспоминаю и понимаю теперь, почему так тяжело ложились на душу о. Михея подобные события в Иосифовом монастыре![26] Тяжело все это, как свой собственный грех, и совершается это, я уверен, за грех того, кто поставлен во главе!

Но это все последнее, т. е. дела последних дней! В то время, как я получил Ваше хорошее письмо, и вообще всю прошлую неделю я был, напротив, в очень хорошем настроении духа и тоже все собирался писать Вам о том. Было хорошее, чем хотелось поделиться с Вами. Но вот видите,— пишу все-таки лишь тогда, когда дождался тяжести!..

Однако хоть и поздно, все-таки сообщу о хорошем.

Прежде всего ничего иронического во мне не было, когда Вы говорили, что правда должна быть постигнута не умом, а сердцем. Это слишком родная мне идея, чтобы я мог сколько-нибудь с иронией выслушать ее. Возможно, что у меня пробежала тогда улыбка, но она значила не иронию по отношению к Вашей идее, дорогой мне и столь характерной для святоотеческого миросозерцания, но она значила маленькое недоверие мое, которое я тогда испытал: «Давно ли и надолго ли, мол, так думаешь?» Каюсь в этом недоверии, о котором я вспоминаю. А теперь я рад, видя из Вашего письма, что идея эта не мельком возникла перед Вами, но продумана над канонами праздникам. Ну вот, не прав ли я был, что богослужебные книги сами по себе являются великолепными учебниками богословия,— там в такой художественной, прекрасной форме передают Вам сложные и основные мысли богословия!

Что касается меня, то я ведь писал много в моей книжке, которую Вам давал, о неправильности того убеждения, популярнейшего в нашем «обществе», будто истина добывается и должна быть добыта исключительно деятельностью отвлеченного ума. Этим т. н. рационалистическим убеждением живет давно европейская наука, усвоив его у средневековых схоластиков[27] и, еще дальше, у аристократического мироотношения древних языческих греков. С тех пор как западный монах вместо внутреннего подвига воли и духа предпочел заниматься изготовлением «homunculus»'а в реторте[28] и золота из свинца, началась рационалистическая волна в европейской мысли, и она, как более популярная, как более легкая и как обещающая больше

покоя и прохлады, быстро разлилась по Европе, пропитала ее науку и философию... По древнехристианской же мысли, тщательно развитой у отцов, правда мысли обусловлена в человеческой душе общей правильностью ее нравственно-волевого состояния, заблуждения же всегда есть в человеческой душе последствие «страстных влечений и скрытного срамнейшего рабства» (Иоанн Карнафский). ⟨...⟩ По этой идее наука не может пойти плодотворно, пока внутренняя горница человека не вычищена. Эту идею усвоила новая философия там, где она понимает односторонность рационализма, например, у Карлейля,[29] у В. Джемса,[30] у Вл. Соловьева. «The whole man must move together» [31] — вот известный принцип, данный когда-то Лихтенбергом [32] и усиленно повторяемый Джемсом. Но в Джемсе, Соловьеве и пр. все-таки слишком много аристократизма ума, и, поняв, что для возделывания истины недостаточно академической учености, академической аристократической работы отвлеченной мысли, они, однако, остались наибольшей частью своего существа в академической атмосфере. Отцы же совершенно определенно покидали эту аристократическую атмосферу, как только для них становилось ясно, что надо начинать все сначала, с переделки всего себя. Но для них было ясно и то, что истина открывается сердцу не всякому, но лишь очистившемуся от страстей. Не поэтической интуиции чувства и сердца, не случайному доброму настроению души доступна истина (как думала немецкая школа Шлейермахера [33]); она доступна тому, кто потрудился и пролил пот при работе над сердцем своим. Так что вернее будет сказать так: истина есть дело не голого ума как такового и не пассивного переживания сердца, но активного, подвижнического, напряженного внимания над своим умом и сердцем, над «очищением помыслов», как говорили отцы. И тут деятелен весь человек целиком. Мне думается, что Вам теперь и предстоит вглядеться, можно ли сказать, что сердце усваивает правду. Не будет ли это подобная же односторонность, как если бы мы сказали: уму открывается истина? Истина открывается деятельному духу, насколько он очищает свое сердце, а затем ум, т. е. воле, сердцу и уму вместе. ⟨...⟩

Следующее хорошее состояло для меня в том, что столь почитаемый мною Шеррингтон [34] опубликовал

в журнале Лондонского Королевского общества Proceedings of the Royal Society статью «On the Instability of a Cortical Point», т. е. «О непостоянстве действия одного и того же центра коры головного мозга». Разработка этой темы, можно сказать, поднята ведь мною в моей диссертации,[35] которая у Вас есть. И вот ливерпульский физиолог, которого англичане называют Ньютоном физиологии, признает мои факты, в некоторых местах прямо отправляется от них и отзывается о моей книге очень сочувственно. Это ведь Шеррингтон, которого обвиняют в том, что он мало цитирует иностранную (немецкую, французскую, русскую) литературу, как будто кроме английской науки для него другой не существует. А тут он цитирует русскую книгу и так и говорит, что это р у с с к а я книга. Мне это дорого вдвойне: своего рода победа русского слова!

Третья вещь — погребение приезжего бедняги, священника из Вятской губернии. Мне было так тепло на душе, что пришлось любовно и по-хорошему проводить на чужбине этого покойника. И должно быть, хороший он был человек, и хорошо ему там у Бога,— так тепло и добро было у его гроба. Очень счастлив я был, что и Ваш рубль пошел на его погребенье, было Ваше участие в нем. Жаль только, что не пришли на отпевание. Вы ведь не знаете священнического отпевания? А по старому обряду оно особенно хорошо, так как читаются, одно за другим, все воскресные Евангелия, т. е. все, что известно из евангельского Благовестия о Светлом Воскресении Христовом.

Но вот четвертое, о чем надо сказать, уже неприятное. Я счастлив, что Вы сочувствуете моему художеству (жаль, что до сих пор не видали икону преподобной Марии Египтянины); рад, что подбадриваете меня в нем. Но представьте себе, что за всю эту отшедшую неделю мне не пришлось присесть за краски ни на минуту,— так проскакивает мимо меня мое время! И вот тут — начало той душевной тяжести, которая так сказалась сегодня; накоплялась она постепенно еще в прошедшей неделе, подбодрилась тем, что вчера, вместо всенощни, надо было просидеть на ученом совете на Лесгафтовских курсах;[36] наконец, выступила она из берегов от бестолочи с нашими бедными пьяницами и от тревоги относительно предстоящего в четверг приходского собрания. Братии, боюсь я, будет слишком много! Вот надо выхлопотать для отца Симеона около 30—

40 тысяч ссуды под церковный дом, иначе у училища денег нет! А ведь это какая благоприятная пища для врагов! Помолитесь за нас, дорогой друг, чтобы Господь смягчил души и не по грехам нашим судил нас...

По хлопотам для отца Симеона был на неделе в самых неожиданных местах: у графини Игнатьевой, у Кассо! Пока тут все хорошо. Подробности расскажу при свидании.

Ну, простите пока. Молитесь обо мне и о нас. На этих днях разрешите прийти, ибо все равно в ближайшие дни двинуть икону «Св. Пост» не удастся.

Господь с Вами!

А. Ухтомский.

Пишите мне, Бога ради.

Это для меня истинный отдых. Пишите о Вашем знакомстве с отцами! Как открываются они Вам!

27 янв. 1913.

Дорогая Варвара Александровна,

со мною не случилось ничего, а скорее было нечто противуположное. Ведь когда мы говорим: «Случилось нечто»,— это мы говорим о каком-нибудь более или менее определенном эпизоде, выделяющемся на общем фоне! А у меня эти дни, что Бог привел опять провести здесь, были скорее «погружением в фон», так что и я сам как будто уходил на некоторое время в это общее море, тихо плещущее волнами, в котором прошедшее, настоящее и будущее связаны великим единообразием: изредка набежит ветер, усилит зыбь в одном месте... в другом месте, там, вдалеке, солнышко бросит отсвет своих лучей... но в общем все мирно и единообразно, «как в первый день творения». Но я уже при этом не уходил от Вас и от людей, а был все время с Вами и с людьми. И очень хотелось написать Вам, и было многое, что хотелось написать. Но, как видите, не писалось.

Проводив Вас на сестрорецком вокзале, я отправился, как и говорил Вам, в Иоанновский монастырь, [37] где до сих пор еще не бывал. Простоял здесь всенощню воскресения 8-го гласа, помолился на могиле Христова труженика отца Иоанна и отправился домой. Должен заметить: я, по-видимому, начинаю приобретать какую-то специфическую наружность, в самом деле вроде Распутина, [38] ибо в Иоанновском монастыре, где много

разных пришлецов распутинского типа, ко мне подходили и заговаривали: откуда, дескать, ты, да куда идешь? Это курьезно!

В общем же я рад, что удалось так хорошо, с миром на душе, побывать на могиле дорогого отца Иоанна и простоять в духовном мире воскресную всенощню. Служат там неважно, неуставно и без понимания. Но чувство, что люди собрались в память отца Иоанна и память его их соединяет,— само по себе дорого.

Дома я прочел Евангельское зачало, положенное в то воскресенье, и тут увидал нечто замечательное: икона, которую я Вам написал по Вашему желанию, оказалась посвященною именно этому воскресению 8-го гласа (неделя 9-я по Пятидесятнице). Тут совпадение замечательное: 9-е воскресение в этом году приходится как раз в день Вашего рождения и совершенно случайно именно в это воскресение Вы освящаете икону, изображающую евангельское чтение дня! Значит, Господь между нами, почувствовал я,— с этим чувством я уезжал в Рыбинск. В чувстве, что Господь между нами, «мир многе»; помните, как сказано: «мир многе любящим закон твой, и несть им соблазна». Да будет так и между нами! В этом только и заключается мое желание, чтобы соединено наше было в Христе, а не по духу «мира сего». В нас с Вами есть такие зачатки, из которых может выйти такая общая жизнь во Христе; эти-то зачатки так мне и дороги. Но есть зачатки и другой жизни, враждебной Христу и нашему человечеству. И горе нам, если мы недостаточно внимательно отнесемся к этой стороне! Там — жизнь, а здесь — смерть! Нужно ведь большое внимание, чтобы войти в свой внутренний мир и разобраться там, что там надежный камень, могущий пойти на стройку, и что — солома, едва склеенная навозом, которая сгорит, едва ее коснется огонь! Кстати, я читал здесь диссертацию приват-доцента Троицкого[39] из Московской Духовной академии: «Очерки из истории догмата о церкви». Это прекрасная книга, которую Вам надо почитать. Черпаю из нее образ, развитый Эрмом, одним из мужей апостольских: Вся история представляется здесь как отбор камней, годных для постройки Христова града и не годных. Камни отбираются, осматриваются тщательно, затем обиваются в правильные формы, чтобы могли плотно прилегать друг к другу, и из отобранных, годных камней возводится стена, скрепляе-

мая цементом. Камни же непрочные, не подающие надежды, отбрасываются. Впрочем, и из них впоследствии некоторые выбираются, чтобы не бросать их совсем, и мудрый строитель вкладывает их внутрь стены, в толщу ее, ибо там, между прочнейшими и мощными камнями, и этот неважный камешек сможет принести пользу зданию... Так, по Эрму, строится в истории Христово общество в его целом, т. е. церковь. Но, конечно, так же должны строиться и самые первые зачатки церкви, когда лишь двое сходятся во имя Христово!..

Читал я здесь мало. Книгу Мережковского читал лишь в вагоне, когда ехал сюда. А здесь, как принялся за диссертацию Троицкого, так и не отрывался от нее; ее я пока и до сих пор не кончил! Надо было читать физиологические книги! Одним словом, кроме физиологических книг и книги Троицкого о церкви, не читал ничего. Времени слишком мало. По утрам (но не каждый день) читал еще Добротолюбие, но, к сожалению, немного. Об образе преподобного Серафима Саровского до сих пор еще не сделал ничего, ибо матери еще не видал. Как раз сегодня иду к ней в первый раз, и, может быть, поговорим и об образе. Но, по правде сказать, у меня язык не поворачивается говорить с нею о чем-либо дорогом для меня! Так что не ручаюсь, заговорю ли!

Когда приду от нее, тотчас напишу Вам. Если не удастся насчет образа, надо сделать попытку достать его из Казани через кого-нибудь.

Простите пока. Иду в дорогу, признаться надо — грязную, дождливую и непривлекательную. Мать мою очень жаль,— такая она одинокая и суровая,— холодно ей в самой себе.

Простите и молитесь обо мне.

Ваш А. Ухтомский.

7 сент. 1913. Рыбинск.

Дорогая Варвара Александровна,
погребение покойной моей матери будет завтра, в среду 6 ноября.[40] Задержка произошла оттого, что ждем брата. Прошу Ваших святых молитв.

Простите. Господь с Вами.

Ваш А. Ухтомский.

Дорогая Варвара Александровна,
во-первых, с праздником Казанской иконы Божией Матери.

Во-вторых, спасибо Вам за посылку из Новгорода и за прекрасные картинки из Пскова.

В-третьих, не пошел наверх потому, что там не уверен был застать Вас: голос из-за дверей говорил лишь, что «может быть, и В. А. там». Попасть же туда без Вас мне не очень улыбалось.

В-четвертых, сейчас мне уже надо ложиться спать до завтрего рабочего дня. Лучше я зайду к Вам завтра, и, может быть, завтра уже и Вы придете ко мне, т. е. я (иными словами) приду за Вами.

Ну, дай Вам Бог всего лучшего, Господь с Вами.

Ваш А. Ухтомский.

Мне очень хочется Вас видеть, но вот, например, сейчас голова моя уже настолько «не варит», что предпочитаю сидеть дома.

7.VII. 1914.

II

Дорогая Варвара Александровна,
посылаю Вам «Затейника» (три части) и карту балканского театра военных действий. По поводу последней скажу следующее. По Вашему указанию я отправился прежде всего в магазин Главного Штаба и спросил там карту военных действий. На это требование мне,— ни минуты не задумавшись,— подали восьмиверстную карту (значит — целый ряд больших листов!) пограничной полосы с Германией, Австрией, Румынией. Настолько здесь уверены уже, что настоящий театр военных событий ближайшего будущего — не в Сербии, а на немецко-русской границе! Я приобрел эту большую карту пограничной полосы, но мне казалось, что Вы-то заказывали собственно сербскую карту,— поэтому я покамест не отправляю Вам план нашей границы, посылаю же новенькую карту, с новыми границами балканских государств. Эта карта, к сожалению, несколько мелкомасштабная, но мне кажется, что для ориентировки по газетным известиям и она будет достаточна. В Главном Штабе есть другая, немного более крупная карта балканских государств, но та исходит еще из старых границ между государствами, какие были

до прошлогодней войны с Турцией. [41] Если посылаемая, более новая, карта вас все-таки не удовлетворит, то напишите; тогда я вышлю ту, более старую, но немного более крупную.

Что же Вы теперь скажете о Болгарии? Читали ли Вы, что болгары предлагают свои волонтерские услуги австрийскому штабу? «Новое Время» называет это «каиновой услугой», и по справедливости! Я еще до турецкой войны говорил Вам, что это — темненький, неблагодарный, недобрый народец, которому слишком долго и несправедливо помогала Россия в ущерб прекрасному, чисто славянскому сербско-черногорскому народу. В свое время ведь и Босния с Герцеговиной принесены были в жертву ради того, чтобы сохранить каштаны 1878 года для Болгарии! А она вот как показывает себя в решительную историческую минуту. У меня еще в Корпусе сложилось впечатление о болгарах, что это темные, злобные и дикие зверушки, которым доверять нечего.

Здесь у нас мобилизация. Университетский двор и главное здание готовится под солдат,— строятся кухни, готовятся помещения.

Плоха стала Россия, боюсь я за нее. Помоги, Господи, хоть за то, что меч вынимается теперь не за свой эгоизм, вроде корейских концессий, а по-старинному — за братий своих. Неужели придется пережить унижение России? Не дай, Господи. А я опять начинаю жалеть, что не в войсках я! Простите, Господь с Вами.

Ваш А. Ухтомский.

29.VII.1914.

Не судьба была отправить вышенаписанное письмо; вчера Надежда пошла на почту отправить его и опоздала: писем более не принимали. Пользуюсь случаем, чтобы еще приписать Вам.

Сегодня — память покойного Вашего отца. Поздравляю Вас с этим днем. Царствие Небесное отшедшим в вере и надежде Воскресения. Дай Бог и нам в свое время приложиться к ним в этом общем уповании.

Я обещал написать Вам о войне. Мое чувство с самого начала ее таково, что, помимо всех прочих нравственных мотивов этой войны, она является борьбою с последними остатками абсолютистического монархизма, ибо я уверен, что

германский монархизм есть единственное место на тепе-решней Земле, где идея царственного главенства сохра-нила свою силу и внушающее обаяние для людей. Исторические условия сложились там так, что, пере-шагнув через свои демократические идеи, через револю-цию, немцы вернулись к самому чистому и самому абсолютному монархизму, до-веденному до чисто религиозного по-читания и благоговения импера-торской государственности. Нигде более на Земле нет такого чистого, обвеянного идеализацией цезаризма! И несомненно, что немецкий цеза-ризм оказывался опорой и ободрением остатков абсолютизма в других стра-нах. Вот, дескать,— у культурнейшего из европейских народов абсолютный монархизм крепок и могуч, как у древних; так и нам не только удивительно, но и вполне прилично защищать всеми силами старые традиции и привилегии империализма и вещей с ним связанных. Вспомните, что и наши крайние правые несколько лет тому назад грозили революционным элементам желез-ным мечом берлинского рыцаря! Заметьте, что это, со стороны наших правых, была не сорвавшаяся бравада струсившего человека, а настоящее раскрытие своего знамени: берлинский абсолютистический монархизм есть Знамя и предмет вожделения для монархистов всех стран! Это так! Присмотритесь и убедитесь в этом.

И вот с этой стороны нападение Европы на Вильгель-ма и в его лице на устои берлинского империализма представляется мне как атака демократическо-револю-ционной стихии европейской подпочвы на последнюю скалу и оплот чистого монархизма.

Хорошо это или дурно, опасно или радостно и т. п.— об этом я ничего не хочу говорить. Но мне хочется невольно сказать нашим представителям монархиче-ской государственности: разве вы не чувствуе-те, что всякий ваш удар по Вильгельму есть удар по вашим фундаментам, по силе, которая поддерживала и ободря-ла вас? Ваш удар по германскому абсолютизму действует в руку германской демократическо-революци-онной стихии, а эта стихия, воспрянув в Германии, разольется по всей Европе

и затопит вас! Разрушение германского империализма, по моему чувству, есть самый важный час в истории социального революционизирования европейского человечества. Таково мое чувство и убеждение.

Я все менее и менее высказываю в разговорах с людьми, которых встречаю, свои предположения, предчувствия и т. п. Когда я попробовал заговорить о настоящей войне в смысле только что изложенных представлений, ближайшие люди (это были Семен Шлеев и Гейден) только иронически посмеивались,— и я замолчал.

Теперь же, читая речи по поводу войны, сказанные западными государственными людьми, общественными деятелями и социалистическими вождями, я вижу все яснее и яснее, что мое чутье меня не обманывает: и радикальный британский министр Черчилль,[42] и русский революционер Плеханов, и главы французского социализма, демократии, и рабочие армии Европы — они так единодушны и героичны в своей борьбе против вильгельмовщины именно оттого, что они чувствуют одну и ту же основную идею этой борьбы: атаку последней твердыни старого европейского абсолютизма.

С этой стороны теперешние военные события — это лишь прелюдия огромных событий, назревающих в европейской социальной жизни!

Ну вот, пока все, что я хотел Вам написать. Пожалуйста, не бросайте этого письма. Мне потом надо будет его перечитать и проверить в будущем свои теперешние мысли. У себя в книжке на эту тему я еще ничего не писал. Итак, спрячьте, пожалуйста, эту записку.

Напишите мне сюда, что Вы думаете насчет социального значения настоящей войны, т. е. как Вы отзоветесь на мои мысли и предчувствия. А затем присмотритесь и вчитайтесь в речи и отзывы разных общественных и государственных деятелей демократического настроения, попадающиеся в газетах.

А теперь пока простите. Надо поторопиться с отправкою этого письма, а то оно и опять залежится.

Всего Вам хорошего.

Надежда Вам кланяется. ⟨...⟩

Ваш А. Ухтомский.

30. VII. 1914.
Рыбинск

Дорогая Варвара Александровна,

⟨...⟩ Живу я здесь, как всегда, с огромным удовлетворением душевным, но в то же время и неважно из-за краткости здешнего моего отдыха и из-за мысли, что скоро опять надо будет ехать на постылое «лекционное времяпрепровождение». ⟨...⟩

Вчера и сегодня я вдруг, экспромтом, неожиданно для самого себя взялся за лом и заступ и окапывал канаву около своего дома, чтобы дать сток воде, набирающейся в дожди. От этого физического труда чувствую себя превосходно,— он ободрил меня и душевно. Завтра предполагаю продолжить это занятие. Вспоминаю при этом рассказ И. П. Долбни.[43] Когда-то он обратился за медицинским советом, главным образом за диагнозом своего тяжелого телесного и душевного состояния, к покойному Боткину.[44] Знаменитый врач сказал ему: «Вы больны оттого, что Ваша природа рассчитана на тяжелый и большой физический труд, например труд плотника, землекопа и т. п., а Вы занимаетесь математикой, сидя в кабинете!» Это, должно быть, великолепно подходит и ко мне!

При всем том я совсем не могу представить себе, как это я буду с сентября читать лекции! Несколько дней уже живу я здесь, а за научные книги, захваченные сюда, я так и не могу сесть. Решительно нет сил и настроения, чтобы приняться за свое «ученое дело». Это была с моей стороны большая ошибка, что не уехал я сюда, как хотел зимою,— с мая! Ну, да прошлого не воротишь.

Сейчас гостит у меня Анна из Монастыря[45] — жалкое и бедное существо. Я хотел ее видеть и рад, что она здесь. Это ведь один из последних живых остатков нашего житья-бытья с тетей Анной, т. е. моего корпусного и академического времени. И за всем тем надо держаться холодно и сурово, ибо при малейшей ласке это глупое существо начинает затевать свару с Надеждой, считая, по-видимому, что та, живя у меня, «заедает хлеб», по праву принадлежащий ей!

Рассматриваю старинные бумаги, портреты, разные рукописные обрывочки, перешедшие теперь ко мне за кончиною матери и относящиеся к восломской были. В эти великие дни, которые теперь переживает Россия,— великие дни, так напоминающие прежние героические эпохи XVII — XIX столетий,— особенно дорого переживать связь со своими отшедшими родичами и де-

дами! Русь теперешнего момента и теперешнего духовного подъема порадовала бы их,— она теперь такова, какою они хотели ее видеть! На память о дорогих моих стариках припечатываю это письмо старой печатью деда моего князя Николая Васильевича Ухтомского.

Простите пока. На днях напишу по поводу войны.

Простите. Ваш А. Ухтомский.

28. VIII. 14.

Дорогая Варвара Александровна,

это не значит, что я Вам «не хочу написать», если не пишу в последние дни; происходит это скорей оттого, что мне почти не приходится сесть за стол, чтобы писать,— все кто-нибудь гостит около меня; с другой стороны, Вы-то,— как мне кажется по Вашему последнему письму,— очень заняты работой для раненых, а значит, Вам тоже не очень удается заниматься письмами! Мое рыбинское время, как всегда, проскочило необыкновенно быстро, и вот уже опять надо думать об отъезде! Наукой заниматься не удалось. Душевное настроение для этого не подходящее, да, должно быть, и мои мозговые центры в самом деле испортились: только чтение физиологической литературы упорно не дается!

Все-таки я очень отдохнул за эти дни, так сказать, «стал отходить» от питерского обалдения душевного! Как интересно возвращаться в такое время к своим прежним переживаниям, прежним взглядам и, главное, к прежнему чувству действительности (т. е. к прежнему характеру восприятия действительности)! И в это время в особенности улавливаешь, отдаешь себе отчет, насколько изменилось твое отношение к действительности, твое чувство к ней за эти протекшие месяцы в других, более тяжелых и духовно чуждых условиях! День за днем постепенно изменяют твой духовный организм, как водяные капли постепенно и незаметно изменяют геологические напластования! И иногда необходимо обернуться на пройденное и дать себе отчет, что было и что стало, «чем ты был, и что стал, и что есть у тебя!» Вспоминается тропарь в каноне на исход души (в «отходной»): «Каплям подобно дождевым злии и малии дние мои оскудевают уже, Владычице Чистая помози ми!..»

Спасибо Вам, что сообщили о происшествии с братом [46]. Получив Ваше письмо, я отправил 14-го же телеграмму с оплаченным ответом в Уфу в Архиерейский дом, запрашивая, где брат и что с ним. Получил ответ вчера, 15-го, от самого брата и такого содержания: «Не беспокойся, дорогой мой, почти совсем поправился, вчера служил, Андрей». Что собственно с ним случилось, пока не знаю, но как видите, он почти поправился и находится в Уфе. Значит, ехать к нему не надо!

А вот заметили ли Вы известие в «Новом времени», что убит мой двоюродный брат Владимир Леонидович Черносвитов? Это племянник покойной матери, совсем еще молодой человек, офицер лейб-гвардии Московского полка, очень милый и добрый малый. Царство ему небесное! «Живот свой на брани положим». Слово это заманчивое! Да притом еще на такой брани, как теперешняя русская война с пруссаком, с немецкой антихристовщиной! Вот когда-то трое или четверо князей Ухтомских легли костьми на Куликовом поле, в битве Донского с татарами, и это любовно повторяется до сих пор многими русскими, и тем более Ухтомскими! Так это будет, Бог даст, и теперь.

Отгостила у меня бедная моя Анна — монастырка. Очень тяжелы ее припадки, я, по правде сказать, и смотреть не могу, старался уходить в другую комнату, когда ее повалит и ломает. Говорят, что в более благоприятных условиях существования даже и такая тяжелая форма порока сердца может несколько улучшиться; за несколько дней у меня, при хорошем питании, Аннушка видимо поправилась. Но в тяжелых условиях Софийского монастыря ей, конечно, трудно! Дал ей денег на ремонт кельи, т. е. на перекладку печи, которая более не греет, на обклейку стен картоном под обои и на настилку линолеума на пол,— а то она жалуется на продувание старых стен зимними ветрами, на стужу с пола и на бессилие старой, перегоревшей печи поддержать в комнате тепло. Бог даст, теперь будет ей поуютнее. Это ей подарок от покойной крестной, а моей тети Анны!

Вам я имею сказать, что Вы напрасно считаете канавы, над рытьем которых я здесь трудился, ненужными! Это вовсе не траншеи против воображаемого неприятеля, а настоящие водосточные канавы, нужные для избавления деревянной постройки от лишней гнили. Мои гг. постойцы вместо прочищения этих дренажей старались всячески заваливать их (даже щебнем!),

и дождевая вода устаивалась под домом. У меня сердце болело, смотря, как вода гноит дом, мой старый, милый дом! И вот я просто счастлив, что сам избавил его старые стены от этой воды. Кроме того, что маленький землекопный труд ободрил меня физически, приятно, что сделал кое-что хозяйственно полезное!

На будущий год нужно, если Бог благословит, вернуться сюда пораньше — с мая месяца,— чтобы поднять серьезный плотничий труд: подвести кое-где венцы под домом и пристройкой, переменить кое-где и стулья под домом, а может быть, и просто заменить их кирпичными столбами. Кроме того, надо будет предпринять довольно серьезный ремонт в доме покойной матери, и тоже плотничьи работы.

Пока что ведение всеми моими здешними делами я отдал родственнице моих доверенных по наследству [47] — господ Губченко. Они рекомендовали ее как более или менее опытную в этих вещах женщину. На мой взгляд, она будет во всяком случае добросовестна, а это и самое главное.

Живя здесь, я нашел еще пачку старых писем, именно мои письма к тете и записные мои книжки 1889/90 и 1890/91 годов, т. е. из моего пребывания в IV и V классах Корпуса. Тут ужасно много дорогого для меня. Но для настоящего момента особенно мое письмо 1889 года, где я предупреждаю тетю, что скоро должна быть война с Германией, что немцы задались целью отрезать нашу северную Русь от Черного моря и Малороссии, хотят отнять Привислянский край и Остзейские земли. Пишу еще, что немцы смогут очень скоро мобилизоваться и бросятся на нас гораздо раньше, чем мы сможем собрать свои силы. Поэтому в первое время успехи будут на стороне врага. Но потом мы дорого возьмем с немцев за их первые успехи и во всяком случае будем биться за Святую Русь до смерти. Вот что я писал тете Анне двадцать пять лет тому назад!

Теперь я припоминаю, что это я писал под влиянием разговоров с нашим отделенным воспитателем подполковником Лапинским, а разговоры эти были вызваны какими-то смутными слухами о воинственных выходках Вильгельма, выкинутых им в то время. Тогда ведь его угомонил в действительности только твердый и спокойный авторитет нашего Царя-Батюшки Александра III! Но, во всяком случае, тогдашнее мое письмо мне было очень интересно прочесть теперь! Как давно и как глубо-

ко бродило по Руси тайное убеждение, что война с германизмом неизбежна! В 1889 году кадетики в Корпусе говорили об этой войне и предвкушали тем самым вожделения, которые высказаны теперешними немцами! А крупные русские люди предвидели эту войну чуть еще не с семидесятых годов! Нити были натянуты, значит, давно; только не многие хотели видеть их. В минуты более ясного сознания, в минуты просветления, в минуты молитвенного ясновидения и во все последующие годы русский человек видел и с ужасом предвкушал неизбежность тяжкого столкновения с немецким миром! Теперь, когда великая борьба уже началась, надо сказать одно: дай, Господи, чтобы эта война и сейчас, и во все будущее время действовала на русскую народную душу так же просветляюще и возвышающе, как было в первые дни! Дай Бог, чтобы война была понята и исполнена по-народному, а не по-интеллигентски — близоруко. А для этого надо сознавать с совершенною ясностью, что враг наш германец так ужасно пал нравственно не оттого, что национальные черты его отрицательны и злы, и не оттого, что он «некультурен»! И то и другое не более чем глупые слова близоруких интеллигентов из газетчиков и профессоров! Национальные черты германизма достаточно велики и добры, если из них могли вылиться такие немецкие натуры, как Шеллинг [48], Шлейермахер, Гете, Шиллер и пр. О недостатке «культурности» немцев даже смешно говорить, особенно нашему русачку! Дело, очевидно, не в том, а вот в чем: немцы — жертвы того господствующего понимания «цивилизации», «культуры», «культурности», «прогресса» и пр., по которому все эти вещи сводятся на удобства и различные материальные блага городской комфортабельной жизни, не говоря ни слова о нравственной культуре христианской личности. Это культура авиации, мотоциклетов, спорта, промышленности, комфорта, ватерклозетов, усовершенствованной хирургии, новейших мод, новейшего лечения сифилиса и т. п. и т. п., одним словом, культура исключительно материального человеческого быта при очень последовательном, систематическом игнорировании христианского понимания культуры и прогресса как великого нравственного труда личности над собою.

Ведь современный немец тем и отличается от Шилле-

ра, Шеллинга, московского доктора Гааза [49], что, в противоположность этим воспитанникам старой народной немецко-христианской традиции, он отбросил «старые предрассудки», ушел душою в материальную «цивилизацию», решил, что ради успеха этой цивилизации допустимы все возможные меры, хотя бы их и осуждали люди старых «христианских предрассудков», и именно так старинный немец старопротестантской церковности стал постепенно превращаться сначала в романтического философа со склонностью к фейербахизму и потом к ницшеанству, а затем уже в современного, «вновь дичающего человека».

Итак, если наш русский человек, или какой-либо другой европеец, будет относить падение немца на его «некультурность», которая, дескать, теперь только открылась, то русский и европеец не воспользуются данным историческим уроком, не используют его громадной поучительности и впоследствии сами будут впадать в те же грехи, в которых осудили немцев! Ибо не только немец, но всякий человек, как бы прекрасно и «культурно» ни был он обставлен в материальном отношении, неизбежно духовно одичает, снова и снова возвратится в свой первобытно-дикий образ, насколько не будет с ним Христа и Христом основанной общественности, т. е. церковности, опирающейся на внутреннюю культуру, внутренний труд над собою христианской личности.

Не осуждать надо немцев, не ненавидеть их, не поражаться неожиданной их дикости, а надлежит горько подумать: уж если с немцами, при вековой и огромной культуре их, возможно было такое поразительное одичание, то и тем паче со мною случится оно, и тем скорее одичаю духовно я, если заболею тою же болезнью «материальной цивилизации» без Христа!

А признаки такой болезни в русском обществе ведь уже есть!

Храни от них нас Господь!

Простите пока. Молитесь обо мне.

Ваш А. Ухтомский.

16 сентября 1914.
Рыбинск.

P. S. Не бросайте этого письма.

Дорогая Варвара Александровна,

в 6 часов вечера я еще буду на работе в Психоневрологическом институте[50], ибо мои лекции кончаются в 5, а за ними следуют очередные экзамены. Так что, к сожалению, не удастся мне быть одновременно с Вами на подворье[51]. ⟨...⟩

В приходе Никольском мы сильно бранимся, и я собрался уходить из старост, ибо с Семеном Шлеевым дело делать трудно вследствие его «необщественных» наклонностей, выражаясь осторожно. Задерживают покамест кой-какие незаконченные хозяйственные дела.

На днях ко мне, видимо, опять приедет П. А. Сорокин, неожиданно уехавший в Павлоград на другой день после того, как Вы его видели; теперь он просится снова сюда и пишет, что в Павлограде он повесится. Очевидно, надо позволить приехать. Мне очень его жалко, и я его люблю по-старому; но жить с ним вместе чрезвычайно тяжело. Когда он уехал, я чувствовал себя точно в раю: «С души как бремя скатилось, и так легко, легко...»

Ну, что поделаешь?! Пусть приедет и поживет. Я надеюсь, что это опять будет не так долго.

Простите пока.

Ваш А. Ухтомский.

P. S. Сейчас еду за Невскую заставу на лекцию.

30. X. 1914.

Дорогая Варвара Александровна,

поздно вчера прочитал Ваше письмо, найденное под дверью. Вчера у нас было приходское собрание и, так сказать, «день борьбы» с отцом Симеоном.

Что касается мебели, то я нахожусь со вчерашнего дня и по сей час в затруднении. Я рассказывал Вам, что Надежда Ивановна, разыскивая Васькины следы со свечой в руках, чуть не произвела пожар, причем прожгла на кушетке значительное место. Надо было бы сначала произвести необходимую починку — покрыть испорченное место материей — и тогда отправлять кушетку.

Таким образом, я очень просил бы Вас отложить эту пересылку мебели, чтобы я мог сделать исправления, и уже после того мы отправили бы вещи. Мне было бы крайне неприятно отправлять их в испорченном виде.

Итак, я прошу отсрочки с тем, что призванный мною обойщик на квартиру произведет необходимые исправ-

ления в обивке вещей, и уже тогда мы их отправим. Хорошо?

Пока простите.

У меня плохие предчувствия насчет Сергея Цылова. Вероятно, он ранен, потому что я видел его на днях во сне в тяжелом состоянии. Вероятно, он думал в это время обо мне, на которого оставил свою семью.

Простите.

Ваш А. Ухтомский.

17. XI. 1914.

23 дек. 1914.
Петроград.

С Праздником Рождества Христова, Богоявления и с гражданским Новым годом.

Сегодня, 23 декабря, усиленно собирался к Вам, дорогая Варвара Александровна, но все-таки не собрался, потому что Надежда опять поздно достала из магазина шубу, а без шубы я боялся выходить: говорят, что сегодня холодно, а я только вчера в первый раз вышел на воздух после новой досадной болезни. Вы уж не посетуйте на меня, что я не сообщил Вам опять о болезни своей. Так много было народа за это мое лежанье, что мне уж не представлялось, как это я с Вами мог бы беседовать в постоянной сутолоке. ⟨...⟩

Что касается прихода Вашего на службу на Рождество Христово к Николе, то не огорчайтесь, если он не удастся! Немирное настроение, взаимные неудовольствия, отсутствие ясности и простоты во взаимоотношениях с попами, также и с частью прочих насельников церковного двора, все это не располагает меня к тому, чтобы звать Вас по-старому туда. Придет другое время, кое-что изменится, тогда будет другое дело. ⟨...⟩

В свое время в Иосифовом Волоколамском монастыре был монашек, еще послушник, некто Строев. В монастыре происходили удивительные нестроения, взаимные неудовольствия, постоянные неприятности, борьба. Только, бывало, умирится борьба между двумя партиями, как через месяц-два возникнет новая свара. В то же время было немало бесноватых, порченых и т. п., и они, бывало, подымали нередко скандалы, выкрики и возню за службой, вроде того, что бывает у нас! И вот милый, смиренный, постоянно ровный и тихий человек Строев

говаривал мне: «Здесь у преподобного Иосифа и по сей час место свято и бесам доставляет большое мучение,— оттого они и не дают здесь людям покоя! Уж такие постоянные неприятности и свары, как у нас, не могут происходить иначе как от бесов! Значит же им здешнее жительство бесспокойно и не дает им покоя, если так настойчиво и постоянно нас искушают и тревожат».

Мы тогда посмеивались над Строевым и над его толкованием обительских треволнений. А теперь я часто вспоминаю простые слова этого нехитрого и доброго, незлобивого и смиренного человека. Где-то у отцов-анахоретов есть замечание в том смысле, чтобы человек не радовался и не превозносился даже в мысли своей, если он живет в мире и не замечается в нем и около него борения («духовной брани», по выражению отцов), ибо бесы сказали кое-кому, что они оставляют в покое только того, кого надежным образом считают своим и над коим незачем и трудиться! Мысль здесь (на более светском языке) та, что лишь там есть надежда на духовный плод и выработку нового дорогого, где есть борение; и борение — там, где вскипает и заготовляется нечто впрок. Если Вы верите в бытие живой, личной злой силы в мире (я верю в это бытие!), то отеческую мысль можно будет взять не только как образное выражение отвлеченной идеи о необходимости и уместности огорчений и борьбы там, где есть духовная жизнь личности, но и в ее прямом, полном содержании! Вот я часто и думаю, что если у нас на Никольском приходе так много и постоянно держатся тяжелые искушения, то это, во всяком случае, не унижает духовного значения нашего прихода, а говорит, может быть, о том, что тут идет борьба за нечто очень дорогое в общецерковном смысле! А это и верно так, ибо теперешняя борьба наша в том, что поповская гордыня и властолюбие стремятся задавить, прибрать к рукам остатки драгоценнейшего, именно о б щ и н н о г о начала в церковном приходе. Это у нас в миниатюре та самая типическая борьба, что протекала исторически то там, то тут в церкви и в свое время действительно задавила общественную (социальную) сторону приходской жизни, сначала в римской церкви, а при царе Алексее и у нас. Вот Семен Шлеев, по своей природной организации, больше союзник синодских миссионеров, чем все они сами вместе взятые, ибо он бьет в самую сердцевину, в самую душу прихода-общины; и это, конечно, особенно тяжело именно теперь,

3*

когда только что в самой господствующей церкви дошли до убеждения, что дальше без прихода жить нельзя, надо организовать приходскую общину.

Храни, Господи, нас от поповства и загребущих рук его! ⟨...⟩

Простите. Ваш А. Ухтомский.

Я был вчера на освящении нового храма Громовского кладбища [52]. Было бы и для Вас немало интересного. Прежде всего очень хорошее, своеобразно выработанное исполнение знаменитых песнопений специальными хорами мужчин и женщин. Голоса тоже прекрасные. У нас таких нет. Было пять епископов белокриницкой иерархии [53], между ними известный Иннокентий Нижегородский. Я лично шел на кладбище, собственно, для того, чтобы повидать архиепископа Иоанна Московского; к сожалению, этого главного для меня лица не было. Старец занемог и из Москвы не выезжал.

Между прочим, было несколько человек мирских гостей, и между ними известный Вам певец Шаляпин. Последний произвел на меня хорошее впечатление тем, что прекрасно стоял в храме и истово молился, соблюдая даже и уставные поклоны. Этим он резко отличался от прочей «интеллигенции». И, по-видимому, это не что-нибудь искусственное со стороны Шаляпина, а он действительно верующий православный человек. У меня осталось от него доброе впечатление.

Простите, всего Вам хорошего.

А. У.

5 янв. 1915.

Дорогая Варвара Александровна,

слава Богу,— со службой все устроилось прекрасно, и сегодня мы молились с 4 ч. утра до 1 ч. дня. Интересно, что в последний раз такое совпадение Чистого понедельника со Сретением Господним было в 1681 году, так что сейчас решался вопрос, можно сказать, почти за всю историю старообрядчества и, во всяком случае, за историю Единоверия! В следующий раз такое же совпадение будет только через девяносто лет, т. е. тогда, когда косточки наши давным-давно оголятся в сырой земле.

Дай Бог, если тогда помянут наши теперешние хлопоты, если тогда еще будут старо- и новообрядцы!

С Семеном Шлеевым ради поста я примирился и стараюсь в душе, чтобы мир по возможности не нарушался. В деле со службой Сретения он чувствует себя очень сконфуженным и, очевидно, очень хочет, чтобы дело с отсутствием его подписи в приговоре, поданном митрополиту, не стало известно широким кругам прихода. Думается, что главным образом с этой целью он стал зазывать меня к себе «на блины» и т. п. Я, однако, «на блины» к нему не пошел...

Тяжело и грустно, что вместо мира церковного — борьба, подозрительность, бдительность и т. п. Господи, дела рук наших исправь!

Зайти к Вам я решительно не мог: эти дни была совершенно необычайная гонка на Волково [54], в Невскую лавру [55], снова на Волково, в Университет, в Психоневрологический институт, опять на Волково... Кроме того, надо ведь подготовиться и к лекциям; дома или свара между Н. И. и А., или разные гости... Урвал минуту, чтобы побывать наконец у Генриха Алекс. Савича-Заблоцкого, моего старого корпусного воспитателя. Он рассказал немало интересного о войне.

Приехал опять Сережа [56] с войны; вчера они сидели у меня с женой почти вплоть до моего отхода к заутрене,— поэтому сегодня я порядочно-таки утомлен.

Господь с Вами!

Ваш А. Ухтомский.

2 февр. 1915.
Петроград.

Дорогой друг Варвара Александровна,
спасибо Вам за память в день преподобного Алексия Человека Божия и за образок из Москвы. Последний представляет из себя копию с работы Васнецова [57], и в свое время эта работа вызвала справедливое недовольство тем, что святитель Ермоген, один из ярких и убежденных поборников древнерусской церковной старины, изображен с «именословным» перстосложением [58]. Это не вяжется с его личностью! Но это не помешает тому, чтобы образ был дорогим напоминанием для меня.

Сейчас около 11 ч. вечера,— преддверие Благословенной Субботы, в ней же Господь, уснув, воскреснет.

Сегодня Бог дал мне исповедаться, и в наступающий день надеюсь причаститься. Что-то внутри меня сказало мне, что именно сейчас лучше всего побеседовать с Вами и поздравить Вас заранее с наступающим Светлым Праздником. Да будет с Вами Господь и Его милость в этот единственный день, слабым лишь подобием которого могут быть прочие лучшие человеческие дни... Отчего и как Вы были в Москве? Как бы мне-то хотелось побывать там!.. Но об этом надеюсь поговорить при свидании. Сейчас меня сильно клонит, и надо заснуть до утрени...

Простите и молитесь обо мне.

Преданный А. Ухтомский.

20. III. 1915.

Дорогая Варвара Александровна,

сегодня мне пришлось быть на Волковом кладбище по делам тамошнего единоверческого прихода. До обедни я успел зайти на старообрядческое Федосеевское кладбище, которое находится рядом, и увидал наконец иконы, о которых много слышал и которые когда-то при Николае I — этом «немце на русском престоле» — были конфискованы у людей древнего благочестия. Иконы эти находятся теперь в церкви при богадельне во дворе * старообрядческого кладбища и независимо от старообрядческой часовни. В особенности обращает на себя внимание Ярое Око, хотя великолепны и многие прочие иконы в иконостасе. Вот мне очень хочется, чтобы Вы повидали это Ярое Око, постояли перед ним и сказали бы свое впечатление. Сходите, пожалуйста! Что это за очи! Поразительно, что иконопись, по-видимому подправлявшаяся не особенно умелыми руками, грубоватая по выполнению, попорченная и треснувшая, сохранила необыкновенную скрытую силу внушения! Какое своеобразное, неподражаемое искусство психологической символики! Мне особенно хотелось бы узнать Ваше впечатление от этой иконы после того, как Вы повидали Ярое Око Большого Успенского собора. Может быть, устроимся как-нибудь так, чтобы сходить вместе? Или, может быть, лучше, чтобы в первый раз Вы сходили одна?

---

* В глубине двора.

Затем я хотел сказать Вам еще вот что. Я вспомнил, что в иконной лавке на Надеждинской [59] есть очень хорошая икона Смоленской Одигитрии работы Чириковской Московской мастерской, т. е. той же мастерской, откуда моя Владимирская. Администрация лавки собиралась делать на нее оклад под старинную басму [60]. Так вот, может быть, Вас заинтересует эта икона. Если заинтересует, я ее приобрету. Побывайте там, пожалуйста. Но особенно мне хочется узнать Ваше впечатление от волковского Ярого Ока.

Кроме богаделенной церкви несомненно интересна на Волковом и Федосеевская моленная, что справа от входа на двор. Только федосеевские девицы, что там всем верховодят, относятся к посетителям не слишком радушно.

Ваш А. Ухтомский.

17 мая 1915.

Православная церковь на Федосеевском-Волковском кладбище, как я узнал, бывает открыта для службы только по праздникам и воскресеньям; так что лучше всего пойти туда в воскресенье к обедне, и именно до обедни, когда мало людей и когда всего удобнее спокойно осмотреть иконы. Впрочем, я думаю, что за «на чай» отопрут церковь и в будни!

Я советовал бы пойти утром в воскресенье, так часам к 9—$9^1/_2$; майские утра так неподражаемы! Обедня там в 10.

Ехать туда всего удобнее на 6-м (круговом) номере трамвая, с тем чтобы сойти у Новокаменного моста (угол Лиговки и Обводного). Оттуда недалеко и пешком, или же можно на конке.

Дорогая Варвара Александровна,

завтра мне нельзя будет пойти на Волково,— у меня есть спешное дело и утром и вечером: завтра сдаю в типографию отчет по приходскому имуществу, а затем экзамен.

Что касается Надеждинской, я там в эти дни был два раза, спрашивал, приходили ли Вы, но Вас еще не было. Тихвинскую надо будет заказать, если хотите, Суслову [61]. А я хотел бы еще, чтобы Вы посмотрели в лавке на

Надеждинской некоторые иконы, присланные в последнее время, именно:

1) Моденская Божья Матерь, превосходная, неподражаемая работа Суслова; это, без сомнения, один из шедевров его мастерства!

2) «О тебе радуется», довольно хорошее исполнение новгородского образа из мастерской Чириковых.

3) Святитель Никита Новгородский, работа Суслова. (Этот образ мною оставлен за собой.)

4) Страстная Божья Матерь по греко-итальянским переводам и с хорошей выдержкой староитальянских тонов в красках. Удачная работа все Суслова же.

5) Святитель и Священномученик Антипа,— строгое выполнение со всеми особенностями в рисунке, в орнаметрии и в красках строгановского мастерства и именно знаменитейшего изографа Грозновского времени на Москве — Прокопия Чирина.

В особенности мне важно узнать Ваше впечатление от первой из перечисленных икон. По-моему, это что-то необычайное! К сожалению, лавка не продает этого произведения сусловского таланта, а то я, конечно, не удержался бы.

Хорошо, если бы Вы завтра все-таки съездили на Волково и посмотрели, о чем я писал! На № 6-м трамвае можно доехать до Лиговки, а далее пешком или на конке. С Расстанной улицы надо потом свернуть в Расстанный переулок, который, можно сказать, и упирается в Федосеевское кладбище. Если попадете часов в 9—9$^{1}/_{2}$, то поспеете на Волково во время обедни.

Съездите, если можно!

Простите пока. Господь с Вами.

Ваш А. Ухтомский.

24. V. 1915.

. .

Дорогая Варвара Александровна,

вчерашнее Ваше письмо коснулось таких важных нитей, что не могло не затронуть меня в глубине души. Я разумею Ваше слово, что родина ждет сейчас от меня дела и пройдет мимо меня, если я этого дела не сделаю. Слово это, повторяю, не могло меня не задеть, потому что я считаю, что целиком и безраздельно принадлежу родине и родному народу и никому более,— им при-

надлежат мои помышления и душевные болезни. С мыслями о них я переходил из Корпуса в Духовную академию и с мыслями о них ушел из среды духовных к свободной, т. е. общенародной, науке. Значит, для меня и не может быть какого-либо выбора: «или с родиной-народом, или как-нибудь иначе». Я живу и, Господь даст, буду жить только с родиной-народом и никак иначе. И это не «умствование» с моей стороны, что я сейчас говорю Вам об этом, а то, что есть.

Но отсюда нет никакого перехода к тому, чтобы сейчас бросаться мне в одно из здешних интеллигентских предприятий, вроде рентгеновского кабинета, о котором Вы пишете. Я боюсь, и не без основания, что это было бы самообольщением, т. е. заглушением душевного недомогания первым попавшимся суррогатом дела, тогда как в тяжелую минуту мы должны спокойно делать каждый свое дело. И если я в этом году отложил свою работу и решил дать себе передышку, то не от прихоти, а оттого, что если не дам себе передышки, то — чувствую — брошу свое дело надолго, может быть, на годы; ведь это передышка за десять-пятнадцать лет! Разумеется, я мог бы сейчас, вместо пребывания в Рыбинске, заниматься, например, с Орловым. Но ведь это значило бы одно, что, когда в октябре придет снова свое собственное дело, я не смогу его делать удовлетворительно, и больше ничего. А уже и в истекшем учебном году меня более всего угнетало сознание, что делаю я свое дело не вполне удовлетворительно; об этом я и говорил Вам, когда жаловался на свое чувство, что занимаем мы с Введенским[62] университетское место непроизводительно. А производительно занимать университетское место нелегко,— для этого нужна ясная голова и спокойно-крепкие нервы. У меня же ослабела память, значительно упала научная работоспособность, начиная с того, что вот уже три года, как я не печатал работ из своей области.

Вот я и думаю, что мне нет никакого резона заниматься наступившим летом у Орлова или у кого-нибудь подобного. Если бы наступил критический момент для родины, когда потребовался бы я просто как физический работник, то я предпочел бы уйти ратником в армию или рабочим на завод, где начиняют снаряды. К этому у меня действительно лежит душа, и к этому я и перейду, если выпадет из рук свое прямое дело. А пока оно не выпало и пока его приходится иметь

в виду, надо просто постараться привести себя в относительный порядок.

Вот отчего я и думал ехать на родину, дабы приготовиться к августу, когда меня должны будут, наверное, вызвать в осеннюю экзаменационную сессию в Университет.

Очень жалко мне было, что не удалось познакомить Вас со Стефаном Алексеевичем. Ну, Бог даст, еще познакомлю. Назначьте мне, пожалуйста, один из ближайших дней, чтобы повидаться. Я заканчиваю работу для Григоровича и буду свободнее. Уехать отсюда мне надо бы, ибо только что пронюхают люди, что я еще здесь, как навалятся снова со всеми мелочами, которые я сейчас отстранил от себя в виду отъезда, как-то закупка дров и ремонт по церковному хозяйству, присутствие при ремонте в нашей университетской лаборатории, затем собеседование с гостями (да простит их Бог!) и т. п.

Видите ли,— у меня так набрякло своего дела, что оно камнем давит на меня, а Вы еще про новое дело у Орлова говорите! 〈...〉 Для того, чтобы достаточно исполнить одно университетское дело, нужно ликвидировать половину моих теперешних «амплуа», а не хвататься за новое. И мне хотелось бы, чтобы Вы благословили меня собраться в Рыбинск, где я рассчитываю:

1) возобновить, как всегда, свое чувство родины и общности с настоящим русским народом,— омолодить это чувство заветами моего прежнего бытия на родной Волге,

2) предпринять серьезную литературную подготовку к докторской диссертации, ибо в Питере вникать в научную литературу мне не удается.

Но, во всяком случае, я прошу Вас верить, что я, как и брат, оба целиком принадлежим родине и народу гораздо ранее и крепче, чем истерическая интеллигенция петроградского типа; и, Бог даст, мы с братом еще будем принадлежать родине и народу и тогда, когда петроградская интеллигенция возвратится к своему европейско-театрально-космополитическому времяпрепровождению и миросозерцанию. Я, однако, никого задевать не хочу, ибо это и не время, и ни к чему не ведет. Вам лично я благодарен за то, что напоминаете о долге быть с родиной и народом, хоть мне и обидно было, по правде сказать, подозрение, что я могу жить без них.

Пишу это письмо ранним утром,— точно пружиной

подняло меня, чтобы написать эти строки Вам. Сейчас где-то ударил церковный колокол. Дай, Боже, крепости и добросчастия нашей широкой, серой, милой, лесной родине, вовеки. Аминь!

Простите. Преданный А. Ухтомский.

19/20. VI. 1915.

Дорогая Варвара Александровна,

⟨...⟩ Теперь я начал писать Вам большое письмо, отчасти под влиянием прекрасной книжки М. Горького, которую Вы мне прислали по весне. Это «Детство». Я прочел ее только теперь, и она вызвала во мне очень много чувств и мыслей. Это, знаете, как в море. Лениво лежит оно у берега, едва набегая редкими линиями на прибрежный гравий, и не видно, кроется ли что-нибудь под его молчаливыми водами: ни мысли, ни ветерка, одно молчание. Но вот взбаламутит водную массу, поднимет на нем зыбь налетевшим ветром, пойдет движение воды в глубину, и поднимутся тогда со дна разные предметы: тут и остатки старого доброго корабля, тут и глубоководная водоросль, и диковинный моллюск... Я пришлю Вам на днях это письмо, а сейчас ограничиваюсь настоящей запиской, дабы Вы получили ее вовремя 14-го июля: в большом-то письме конец все отодвигается далее и далее, писание пухнет и растет сверх ожидания: очевидно, я только уловил в душе какое-то настроение и сам еще не освоился с ним, и уясняю его себе по мере писания.

Привезенные книги здесь пока тронуты очень мало. Медленно прихожу в себя. Сплю на открытом воздухе, под милым небом. Старухи мои пока тянутся по-прежнему; но бабушка Афанасья очень слаба и, пожалуй, не долго протянет. Надежда хозяйничает, хлопочет и жарится на солнце. Она шлет Вам низкий поклон. Васька сидит в траве, привязанный на длинной веревке, дабы не убежал,— он, впрочем, неволи своей не чувствует, так как очень занят тщательным рассматриванием и обнюхиванием листочков и травинок... Ну вот, кажется, и все, что можно сказать о моем хозяйстве,— так оно несложно.

Знакомые пока, дай им Бог здоровья, меня не посещают: частью еще не знают, что я приехал, частью же пугает их, наверное, жара, которая стоит каждый день с моего приезда.

Здесь очень тихо. Пленных нет — отсюда их всех угнали за Волгу. Зато много несчастных беженских семей эстонцев, латышей и поляков, прибывающих ежедневно. Вот их так очень жалко!..

О Самарине и всем прочем напишу в большом письме, а пока пожелаю Вам душевного спасения, мира, молитвы, бодрости.

Простите.

Ваш А. Ухтомский.

12. VII. 1915.
Рыбинск.

Дорогая Варвара Александровна,
под звон колоколов сажусь писать Вам; это звонят ко всенощной,— славный, мирный вечерний звон, звук которого будит во мне переживания далекого детства и юности. Его слышат сейчас, думается мне, и мои отшедшие из этой жизни старики, что лежат там у церкви: это ведь в их скиту раздается благовест, и благовест этот доходит до глубин земли, ибо он говорит о том, кто победил ад и смерть.

Как победил? Так ли, что люди перестали теперь бояться ада и смерти, потеряли ужас древних перед этими силами? Кое-кому это кажется так; но это, конечно, очень мелкий и поверхностный взгляд. Теряли ужас ада и смерти и древние, задолго до Христа, когда они ослабляли в себе чувствилище к жизни, сердечную чуткость к тому, как идет человеческая жизнь и как умирает человек со всем тем, что его волновало и что ему казалось дорогим в его жизни. «Перестаньте думать о смерти», «развлекитесь», «относитесь полегче» — это древние рецепты, одинаково популярные и в дохристианской древности, как и в наши дни; множество глаголемых «мудрецов» от Эпикура до Мечникова мнят здесь победить жало смерти. Но ясно, что не такова победа над ними Христа. Христова победа опирается на самое тонкое, небывало тонкое чувствилище к тяготе и печали человеческой, и христианский подвиг клонится к тому, чтобы до конца разбудить в себе внимание к жизни и смерти человеческой, победить нечувствие как грех и следствие греха в себе. Ну, а если обострить-то свое чувствилище в от-

ношении жизни, если в самом деле приоткрыть сердце к тому, как живут и умирают люди, то возможно ли будет тут победить в себе ужас перед адом и смертью, когда видишь совершенно ясно, что ад и смерть пронизывают всю толщу обыденной человеческой жизни. Мы, обыденные люди, обыкновенно мало чувствуем; условия окружающей среды и воспитания в разных условностях глушат в нас сердце в отношении страдной жизни ближнего. Нужны большие личные события или большой талант того или иного писателя, чтобы пообнажить наши нервы для подлинного восприятия жизни. Вот, например, для меня в последние дни таким «будильщиком» был М. Горький в книжке, которую Вы мне дали и за которую сердечно Вас благодарю. Я сейчас не возьмусь выразить Вам то большое, что сумел вызвать во мне этот большой русский автор. Но самое важное в том, что он разбудил хоть ненадолго чувствилище в душе, дал оглянуть подлинную картину человеческой жизни и смерти и подтвердил в достаточной силе, что ужас ада и смерти проникает насквозь всю толщу человеческой обыденной жизни. В этом отношении М. Горький большой, очень большой писатель, куда более сильный, чем какой-нибудь Андреев, силившийся, по выражению Л. Н. Толстого, «кого-то напугать» своими ходульно-неестественными образами «Жизни человека». Горькому передался простой, безыскусственный дар народного русского сказителя, вроде его бабушки, изображенной в «Детстве»: просто и безыскусственно передается жизнь людская и тем будится в читателе или слушателе подлинное внимание к жизни и смерти людским, подлинный ужас перед адом и смертью, заживо охватывающими человека!.. Так это все у него обыкновенно и так ужасно!.. «Ничего нет трагического в жизни, сумейте только применить ее к себе!» — говорят мудрецы вроде Эпикура или Мечникова. «Жизнь вся есть сплошная трагедия» — так говорит сама жизнь и смерть человеческая, когда к ней прислушаешься, обострив свое внимание и слух с помощью, например, Горького.

Вспомните эту интересную, по-своему такую полную содержанием и цветистую, энергическую жизнь старика дедушки Василия Каширина, далеко в прошлом — жигулевского бурлака, потом караванного водолива, затем

хозяина большого дома и цехового старшины-богатея. Было, что вспомнить, была «полная чаша»... А там, потом, в конце оказывается жалостный пустоцвет, окруженный неубывным горем всех, причастных к его бытию...

Живая, прекрасная душа — бабушка Акулина Ивановна, необыкновенно содержательная, милая, полная любовью, простотою и ясностью, русская старуха из коренного, неиспорченного народа. По-своему она, конечно, наиболее счастливый у Бога человек изо всех, описанных в «Детстве». Но человечески как тяжела и ее жизнь, необыкновенно тяжела тем, что она ведь более всех, должно быть, и чувствует муку иссохшей души старика-мужа, крест дочери, беспутство сыновей, да и вообще всю беспросветную путаницу и слепую муть окружающей людской жизни, в которой, по чувству старухи, и Господь не всегда разбирается, где виноватый...

А потом, прекрасный, и такой затем смятый и скомканный, образ матери, сильной, бравой, готовой к жизни женщины, которой мальчик невольно гордился и восхищался и которая так жалостно сгорела и погасла на его глазах, как-то обидно «ни к чему» истратив свои большие силы и добрый, веселый, открытый для жизни нрав. «Славная, бедная! Царство ей небесное!» — хочется сказать о ней.

Потом сыновья старика: Михайло и Яков, зять его «из дворян» Евгений Васильевич Максимов — это уже мелочь и настоящая гниль; но она не менее трагична, ибо Вы чувствуете, что ею переполнена жизнь кругом нас; да и многие ли из нас могут сказать, что в нас нет ничего общего с ними?..

И вот, когда Вы читаете подобную хронику, вроде «Детства» Горького, мысль невольно хочет продолжать далее и, вслед за героями хроники, переходит к тем жизням, которые были на ее памяти. Снова и снова требуется перечувствовать те жизни, которых тебе самому пришлось коснуться и которые прошли перед тобою!.. Ну и что же, более ли ясно и понятно оказывается здесь?.. Вот видите, в нашей жизни придуманы очень многие вещи нарочито для того, чтобы сгладить, как-нибудь стушевать, обойти сторонкой подлинную трагичность жизни нашей; сюда клонится и так называемый комфорт, и вся искусственная городская жизнь с ее бесконечными развлечениями,— и так вплоть до «бюро

похоронных процессий», ловко избавляющих нас от непосредственного соприкосновения со смертью. И все это для того, чтобы как-нибудь отвлечь внимание от того обстоятельства, что смерть и ад действительно пронизывают ежечасно и обыденно наше существование, если не в нас самих, то рядом с нами. Старая помещичья жизнь в этом отношении была куда более защищена от ощущения ада и смерти, чем крестьянская. Наша с Вами жизнь защищена значительно более, чем жизнь рабочего и его несчастной семьи. Но если только расширить свое сердце, то во всяком положении и при всякой степени довольства человек будет ощущать, что вот сгорают и тлеют люди рядом с ним за перегородкой, сгорают дети, не успевшие разглядеть света, истлевают полные сил молодые жизни, исчезают самые прочные и благоустроенные человеческие гнезда, да и сам наблюдатель жизни «тлеет в похотях прелестных», как выразился апостол Павел. *Более всего ощущают и переживают это люди нарочитого внимания к своей и чужой жизни, слушавшие подлинные звуки жизни в глубокой тишине пустыни, в обостренном подвиге сердца,— люди, бдящие на камне*, как преподобный Серафим Саровский.

В очень ранней юности, пока еще совсем чиста душа, а ухо улавливает звон полевых колокольчиков, трагичность людской жизни ощущается тоже ясно и очень болезненно. Я помню, как я спасался от этого давящего ощущения только сильным физическим утомлением, когда мне было 15—16 лет и когда брат, по его словам, был в меня «влюблен»... С годами, когда угомоняются чувства и уху снова возвращается способность слышать подлинные тона жизни, начинает опять возвращаться ужас пред тем, *как глубоко проплетена обыденная жизнь соками смерти*.

Вот, как мне кажется, и Горький переходит к тому возрасту своей жизни, когда ухо начинает воспринимать звуки жизни не так, как было в дни наибольшего его успеха у людей несколько лет тому назад. Это все равно как летним ведренным днем: ранним утром, близко к восходу солнышка, воздух тих и ясен, «прозрачен», как говорят люди, и сквозь него на многие версты слышно, что́ делается в соседних человеческих жильях; в полдни, в солнечном припеке, поднимается такой гам и возня букашек в ближайшей траве, такое жужжание

и полнота ближайшей жизни стоит близ тебя, что уже ничего ты не можешь воспринимать, кроме этой возни и гомона, и круг твоего восприятия суживается до неимоверности,— ты занят только тем, что тут шуршит, перелетает и ползает у твоего носа... С вечернею зарею опять приходит эта прохладная и прозрачная тишина и ясность далекого горизонта, когда снова ты отдаешь себе отчет, что это вон там за лесом человеческое жилье, там за рекой — церковь, а на пригорок взбираются пашни: по заре далеко, за версты слышны и человеческий голос и пастушья свирель... Чувствуете ли, дорогой друг, тот ужас, что люди могут жить вместе, может быть, сожительствовать как муж и жена и в то же время не слышать ничего из того, что делается рядом друг с другом — в ближайшей душе. И это не какое-нибудь исключение, а это ежедневное явление вокруг нас! *Обычная, комфортабельная, городская жизнь содействует только тому, чтобы люди и не замечали этой ужасной глухоты друг к другу и продолжали далее сожительствовать в той же гробовой яме.* Нужно, повторяю, чтобы разрядился воздух, угомонилось полдневное жужжание букашек и мух в ближайшей траве, и тогда на прохладной вечерней заре станет слышно, как и чем бьется жизнь в соседнем жилье!

Для себя лично я чувствую мою петроградскую жизнь именно как постоянное, почти беспрерывное жужжание, которое не дает мне слышать жизнь как следует. Только иногда приходят такие полосы покоя и мира, например, в рождественские праздники, когда приходишь немного в себя, ибо тогда можно «сесть наедине и умолкнуть» — по выражению пророка. Но кажется, что и ко мне приходит вечерняя заря, становится видною даль, начинает что-то доноситься оттуда. И иногда, оставшись совсем один, я начинаю чувствовать опять, как в далеком детстве, что все это, что́ я ощущаю как свою жизнь, пропитано смертью, ад и смерть ежечасно готовы начаться уже здесь, в этой обыденной обстановке жизни, и нужно бодрое внимание к себе и молитва, чтобы бороться с их стихией и стоять прямо. Нужно вернуться в прежнюю обстановку жизни, где протекала юность, чтобы увидеть, как много уже в тебе умерло, как суетно и готово умереть другое, казавшееся столь дорогим, и как вообще трагична окру-

жающая жизнь. И вот что замечательно: стóит только ощутить, как стихия смерти близка к тебе самому и как многое в тебе самом находится уже по ту сторону жизни, как вдруг открывается твоя душа, чувствилище души, к тому, как бедны люди, как надо жалеть их, как одинаково жалеет и любит Христос и тех, которые вот еще ходят сейчас туда и сюда поверх земли, и тех, которые отходили свое и лежат, сложив свои рученьки... И в этот момент Вы начинаете чувствовать, что рубеж между нами, что ходим, и ими, что отходили свое, совсем не так значителен и резок. Хочется тогда пойти к ним туда, где они лежат, и сказать им, что они более уже не мертвы для меня, не «отшедшие» от меня, но мы по-прежнему «все вместе», и над нами по-прежнему милостивый Христос, и мы вместе одинаково будем молиться ему. Тогда вдруг становится понятно, что нет никакого рокового, резкого рубежа между теми, которых мы называем «живыми», и теми, кто, по нашему мнению, «умерли». Надо пойти сейчас на зов вечернего колокола на кладбище, чтобы оказать любовь и показать участие, например, этому мятущемуся, не могущему успокоиться, хотящему пробиться к науке, к просвещению и ко благам жизни молоденькому псаломщику (Бог знает, что еще ожидает этого бедного молодого человека, каковы ему будут достигнутые «блага жизни»?!), и одинаково тем, кто смиренно лежит уже на восток лицом, вкусив всех «благ жизни» и умолкнув после того... Все они одинаково Христовы, все одинаково опираются на Христову любовь и без нее погибают, как травка без влаги.

Итак, именно в чувствилище к смертности и слабости, непрочности человеческой жизни есть какой-то путь к радикальной победе ада и смерти — путь Христов. Видимо, именно там, где наиболее прочувствовано значение смерти и стихия безумного ада, захватывающая людей, их семьи и целые поселения еще заживо, в этих здешних условиях жизни,— там-то вдруг и открывается перспектива (правда, очень для нас отдаленная!) победы над адом и смертью подвигом Христовым. Почувствовав во весь рост присутствие смерти и ада в обыденной человеческой жизни, ушли от них в пустыню преподобный Сергий и Серафим Саровский; там обострили до небывалой чуткости свои души, ощущали, как никто, приближающееся к ним человеческое горе, когда приходили к ним в леса люди из своих

поселений, гонимые стихией смерти и ада и ищущие отдыха от них, изнемогающие от них.

«Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененнии, и Аз упокою вы; возмите иго мое на себе и научитеся от мене, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим: иго бо мое благо и бремя мое легко есть!..»

19 июля 1915.
Рыбинск.

Вот, начал я это письмо вскоре после дня преподобного Сергия Радонежского, а продолжаю в день преподобного Серафима Саровского — в навечерии дня святого пророка Илии, грозного и ревнивого мужа, постом и воздержанием заключившего небо и боровшегося в пламенной ревности своей с *милосердием Божиим к Израилю согрешающему*... Ему сказано было наконец свыше: «...Вемь тя, святче, яко *человек жесток* еси и *не терпити Израилю согрешающему; взыди ты на небо, да Аз с небесе сниду*!»... В грозную память сего грозного и пламенного мужа год тому назад объявлена была война нашей России немецким врагом. И вот она год уже продолжается, грозная и немилосердная, кося и посекая молодые и цветущие жизни. Господи, Господи! Сколько их ушло и скрылось под землей! Сколько и еще уйдет и скроется от нас! И продолжает греметь жестокое слово, произнесенное в прошлогодний Ильин день. А мы забыли и разучились звать «осанна» приходящему Христу, и как же Он придет к нам, чтобы прохладить нас и *заменить благим своим игом и легким бременем Илиино жестокое слово*?!

Ровно год тому назад, отчитав канон пророку Илии в каком-то смятении души, пережив его *пламенную и жестокую для грешного Израиля память*, ⟨...⟩ я поехал от всенощни с отцом Алексием на извозчике. Не доезжая Гостиного двора мы увидали огромную толпу, точно чем-то тяжело наэлектризованную и не совсем решительно покрикивающую: «Ура!» Поравнявшись с окнами «Вечернего времени», мы поняли причину сборища — на окне было написано крупными буквами: «*Германия объявила нам войну*». Помню, что я снял шапку и перекрестился, сказав: «Господи благослови!» — а в то же время по-

чувствовал, что тут какой-то великий смысл и связь, что военный гром загремел на день пророка Илии. Вы знаете, вероятно, в каком нарочитом ореоле рисуется древний ревнитель душе коренного русского человека!..

Это суровый ревнитель-подвижник, мститель за попранную правду Божию, истребитель ложных пророков в Израиле. Кроме того, это апокалипсическое лицо — предшественник второго пришествия Христова. И вот,— не правда ли,— тут получается нечто цельное: в дни общего расслабления и духовной смуты, когда воистину «иссякает любовь многих» и начинается «слышание бранем», обещанное пред концом истории, в дни, когда правда Божия заменена у людей ложной культурой и деньгами, когда наконец в сгущенной атмосфере стали появляться и ложные пророки, именно в грозный день Илииной памяти проносится первый ветер — предвестник общей страшной европейской войны!

Спасибо Вам за то, что взяли на себя труд посылки газеты Дем. Ив. Шилину. Пожалуйста, записывайте расходы.

Что касается самого Шилина, то мне казалось, что я говорил Вам о нем! Он сибирский единоверец, проделавший в свое время японскую войну в одном из Восточносибирских стрелковых полков; был тогда еще произведен в унтер-офицеры и ранен. Теперь призван из запаса в 37-й Сибирский стрелковый полк, за эту войну получил два Георгиевских креста. Был ранен двумя пулями в лоб и в грудь, лечился в одном из лазаретов Москвы, был отставлен из строя на несколько месяцев; но, вместо того чтобы воспользоваться отставкою, решил опять ехать на фронт, а предварительно отпросился в Петроград на Пасху. Явился ко мне, точно к старому знакомому, в Великую Субботу в церкви и объяснил свое положение. Я устроил его в церковном доме, где он и прожил святые дни, ходя в церковь по службам, а затем ходил обедать то ко мне, то к отцу С. Шлееву и др. Затем, пробыв Благовещение, он уехал опять в Москву, а там, с эшелоном молодых солдат, вернулся и в свой полк... Вот теперь у них, должно быть, горячее время! Помоги им, Господи!

О брате моем я знаю, что он возвратился из поездки по наиболее глухим местам епархии в тяжелом душевном состоянии и больным. Сообщали даже, что кашлял кровью. Тяжело легла на его душу поездка к язычникам.

В письме ко мне он только обмолвливается мимоходом, что «наша интеллигенция, поселившаяся между язычниками, делает все возможное, чтобы отвратить их от Христа и приготовить к атеизму или, в крайнем случае, к принятию мусульманства». А теперь от одного батюшки, приехавшего из Уфы, слышу, что язычники встретили преосвященного Андрея крайне враждебно и потом будто бы даже выжигали место на земле, где он стоял, беседуя с ними!.. Тяжело это, в самом деле, особенно при сознании, что такая враждебность христианству возбуждена русскими же людьми, не ведающими, что творят! Дай Бог сил, бодрости и любви брату до конца!

Теперь о «личной жизни». Вы, конечно, прекрасно сказали, что это животворящая влага, питающая растение, и без этой влаги растение быстро сохнет и кончается. Это правда! Но что же по содержанию-то своему представляет из себя эта животворящая влага для человека,— вот вопрос, который я тогда Вам задал! Мы говорили о книжке «Владыка», привезенной преосвященным Андреем в последний его приезд в Петроград. Вам кажется, что в этом рассказе основная мысль та, что архиерей погибает оттого, что в конце концов оказалось у него «отсутствие личной жизни». Автор рассказа хочет говорить, без сомнения, не о единоличном, каком-нибудь исключительном Владыке, но думает, наверное, что выведенный им Владыка — это тип, и страдание его типическое. В чем же оно, это страдание? Мне кажется, что сам автор настроен в том смысле, что, мол, вот высшие церковные управители как ужасно далеки от действительной жизни народа и общества! И эта отчужденность от действительной жизни делает их неспособными понять то, чем живет и болеет обыденный человек народа и общества. Это, впрочем, нисколько не смущает таких типов, как выведенный в рассказе архимандрит — ректор семинарии, сухой и черствый, уравновешенно-здоровый и реалистический человек, своего рода злой гений Владыки. Но более чуткие и мягкие люди, как сам Владыка, гибнут, как только для них открывается, как далеки их пути от того, чем живет окружающий народ, и как далеки их лекарства от действительных болезней, обуревающих окружающих людей. Владыка окончательно ослабевает и гибнет в рассказе автора во время келейной молитвы. Молитва эта, как она изображена у автора, является

типическим примером «прелести», поэтому если у автора был замысел показать бессилие владыческой молитвы даже для умиротворения его собственной души, то тут у автора ничего не вышло. Вместо типического и поучительного конца получился просто эпизод — Владыка сошел с ума.

При всем том рассказ заслуживает большого внимания, ибо во многом он близок к жизни; только у автора не хватило таланта для того, чтобы подчеркиваемые им черты были не ходульны, а обыкновенны и естественны. Хорошо то, что, прочитав рассказ, кое-кто задумается над тем, как необыкновенно тяжело бывает чуткому и любящему Владыке в его отдаленности от людской действительности... Но я не вижу того, что показалось Вам,— что Владыка страдает и гибнет от недостатка личной жизни! Ведь он живет вполне не для себя, стремится жить по Христу, а это значит, что личная жизнь его полна до краев! Нельзя же назвать «живительным соком» для человека, способным его напитать и дать жизнь личности, эту жалкую стихию обыденной человеческой жизни, что насквозь пропитана соками смерти и тления! Если опять вернуться к «Детству» М. Горького, то где же там, в этой реальной сутолоке жизни, действительные соки, способные животворить человека? Люди живут самой реальной, самой «личной» (если хотите) жизнью, самой густой обыденностью, борьбой обыденных интересов, а жизни в результате не оказывается. Признаки живительной влаги есть более всего у бабушки в ее удивительно любовном восприятии мира и человеческой немощи; но это влага уже другого порядка — если хотите, безличная или сверхличная, ибо в бесподобной лирике милой бабушки ее личность, можно сказать, уже растворялась и сливалась с миром и людскою жизнью, которых она жалела и любила. Вот и у моей покойной тети Анны личная жизнь была полна настолько, насколько в действительности была безлична или лучше — сверхлична! Тут есть великий парадокс, который начинаешь понимать лишь с годами,— что «иже аще хощет душу свою спасти, погубит ю, а иже погубит душу свою мене ради и евангелия, той спасет ю». Животворящие соки нашей личности, способные действительно дать ей жизнь и полноту содержания, в сверхличном подвиге Христовом, который способен со временем так обострить наш слух, чутье и чувствилище души

к тому, что творится рядом и вокруг нас, что тысячи личностей будут приходить к нашей личности, чтобы позаимствоваться жизнью от нее! Духовное состояние преподобного Сергия Радонежского или Серафима Саровского нельзя ведь назвать иначе как избытком жизни их личностей, когда к ним слетались птицы, чтобы укрыться под ветвями их дерева и попитаться около их личностей живительной влагой.

Так еще раз: что же назвать «личной жизнью» в настоящем, полном смысле слова?

Писал я это письмо с перерывами. Сначала, как я говорил уже, оно стало «пухнуть» само собою. Потом я получил письмо от Вас, и мне показалось, что Вам не хочется получать от меня «распухших» писем, так что одно время я думал и совсем не посылать этих листочков. Но потом я опять приписывал по нескольку строк — и вот в конце концов все-таки посылаю это письмо. Мне, знаете ли, важно и для самого себя высказаться,— оформить свои мысли. В былое время это лучше всего удавалось мне в своем дневнике, когда говоришь сам с собою! Но теперь мне не удается писать дневник, так что нередко я записываю туда, для памяти самому себе, то, что уже написал в письмах. Пиша письмо, я впервые улавливаю свою мысль, смутно бродящую в душе, так что тут же, в письме, впервые и самому себе раскрываю я некоторые стороны своей внутренней жизни. И в особенности это происходит, когда я пишу Вам. Так что не взыщите за длинное писание. Примите во внимание то, что в разговоре, в словах, при личном свидании я почти наверное не скажу того, что напишу,— значит, это в своем роде единственный способ беседы — писание больших писем! Здесь я столько же беседую с Вами, сколько с самим собою. И притом такая беседа возможна нечасто, а только в такой исключительно хорошей для меня обстановке, как мой рыбинский угол, далеко от суеты и еще при условии, что какой-нибудь добрый дух, или большой автор, коснется чувствилища души.

Вот скажите мне, как прочтете мои мысли о всем том, что возбудилось во мне «Детством». У меня было своего рода озарение или просветление в тот момент, когда я закончил книжку Горького и зазвонили колокола ко всенощне. Как-то вдруг душа охватила, точно с птичьего полета, картину жизни, ее малость и жалость, а также

необходимость в иных источниках «воды живой» для личной жизни, о которой написали Вы. Вдруг открылась также близость наших покойников, отсутствие этого кажущегося рокового рубежа между ними и нами, которые еще ходили «аможе хогцем».

Ну, пока простите. Спасибо еще раз за то, что посылаете газеты Шилину. Что-то у них теперь делается? Кажется, что они еще держатся на прежних линиях, но, конечно, тоже скоро отойдут, как только отойдет наш центр на Брест-Литовск.

Напишите мне, пожалуйста, поскорее.

Преданный Вам А. Ухтомский.

24 июля 1915.
Рыбинск

Дорогая Варвара Александровна,
простите Христа ради, что не писал Вам так долго, т. е. со дня памяти тети Анны. В тот день, как я получил Ваше ответное письмо, именно 28 июля, в день Одигитрии-Путеводительницы (это памятный для меня день погребения тети Анны), я вдруг собрался, надел котомку, взял палку и ушел в родные заволжские леса, на родину. Благодарю Бога за то, что дал мне быть через двадцать лет на местах, где родились и умерли несколько поколений моих родичей... И великий душевный покой сошел ко мне, когда я углубился в дремучий арефинский лес, ночевал в его глубине, чувствовал эту благодать заволжской пустыни, которая привлекала с незапамятных времен русских людей, ищущих Христова мира. Вспомните так называемых «заволжских старцев» XV и XVI веков, в их же числе и любимый Вами преподобный Нил Сорский, а в наших весях старцы Андриан Пошехонский, Севастиан Сохотский и другие... Ранним утром 29 июля,— только что забрезжило в лесной чаще солнышко, а я уже шел, поднятый с ночлега утренним холодом,— Бог дал мне слышать, как журавли приветствовали солнышко своим торжествующим криком. Это значило, между прочим, что я достиг самой глубины арефинского леса, отделяющего Волгу от родной мне палестины по Ухре-реке. Дорога идет поперек этого леса, сохранившегося благодаря своим владельцам приблизительно на 30—35 верст, без поселков и деревень на пути. Дорога настолько пустынна, что вплоть до Арефина, т. е. на протяжении около 35 верст от Рыбинска, я встретил всего четверых путников, из них

лишь одну конную подводу, а прочих — пешеходов... Утром, когда солнышко стало согревать, я стал сетовать, что второпях не взял из Рыбинска пищи, не взял и краюхи хлеба. И вот это привело к еще новому лесному удовольствию: оказалось, что по самой дороге, не говоря о чаще, растут многочисленные малинники, усыпанные ягодами. Вот как пустынна, в самом деле, эта путина и как мало путников на ней: лесная малина спокойно растет у самой дороги! И меня Бог накормил дикой лесной ягодой!.. Затем путина привела меня к так называемой Матвейцевской харчевне, в свое время внушавшей страх проезжим разбоями, совершавшимися близ нее и, как говорили, под предводительством хозяина этой берлоги. Теперь о разбоях не слыхать; а на мой настойчивый стук в дверь мне отперла прекрасная старушка со следами былой красоты и с удивительно грустными глазами. Заказал я себе хлеба, селедку и чаю, а пока разговорился с хозяйкой. Она оказалась уроженкой не более и не менее как Петербурга! Вышла замуж за арефинца, жившего тогда в Питере на промыслах, а затем они с мужем отправились в Ярославщину, купили у прежнего владельца Матвейцевскую харчевню и зажили здесь, надеясь на заработок по зимам, когда по арефинской дороге, бывало, тянулись обозы с Вологды, Белого Села и Данилова на Рыбинск. «Как приехала сюда после Питера, как охватила меня эта лесная тишина, вот, думаю, благодать-то где, вот где со Христом будем жить!..» Но действительность пошла не так, как казалось. Как пошли зимние обозы, как загалдели, заругались возчики, пьяные, обмерзлые, грубые, дикие, утерявшие образ Божий, требующие водки и вымаливающие себе чашку водки хоть под залог последних онучей,— так и погибла прелесть лесной пустыни для нашей молодухи. А там муж стал пить, а там детки пошли озорные да неудачные, а там семейные смерти и горя... И вот сейчас старушка живет на хозяйстве в харчевне одна с двумя внучатками после сына, ушедшего на войну. При мне внучатки проснулись, при мне стала бабушка их поить и кормить утренней трапезой. И видно было, что эта много повидавшая и выстрадавшая старица — наилучшая воспитательница для внучаток, никто не вложит в них мира Христова лучше нее, только ведь и они, ее внучатки, не останутся долго с нею, унесет их теперешняя жизнь в грязный городской круговорот, и хорошо, если вспомнят они

о бабушке, о лесной тишине, где она, многострадальная старушка, давала им первую душевную пищу...

Пошел я далее и около полудня 29 июля был уже в Арефине. Пошли встречи со стариками, знавшими моих стариков, даже дедов. Был в Восломе, не заходя, впрочем, в дом. Ночевал у прихожан нашей Никольской церкви в деревне Гончарове. Ходил по окрестным деревням, по старинным друзьям и приятелям. Ночевал в восломских сараях, строенных отцом. Слышал, как журчит по-старинному родная речка Восломка. Спрашивал ее, да когда же она отдыхает от этого постоянного бега и журчания в своем лесном ложе. Она отвечала мне, что отдыхает немного только зимою, когда дедушка-мороз скует ее под ледяной покров; а в остальное время все бежит и все журчит, как в день, когда я родился на ее берегу в 1875 году, и когда родился мой отец в 1842-м, и тетя в 1832-м, и дед Николай Васильевич в 1806-м, и когда поселились на ней первые Ухтомские, приблизительно при Грозном Царе... И также, может быть, буду журчать и бежать и тогда, когда ты, родимый, ляжешь в сырую землю за своими дедами и отцами. И слава Богу за все это,— хотелось сказать в доброй тишине на берегу родной Восломки!

1-го августа рано утром пришел я в Сырнево на родные дедовские могилы. Была заутреня и обедня Всемилостивому Спасу (это «первый Спас» на деревенском языке). Пел со старым псаломщиком Филаретом стихиры и ирмосы, ходили по воду, потом пели панихиду на могилках. Потом ненадолго заходил к Филарету и к местному старосте; и двинулся в обратный путь, но уже не на арефинский лес, а на новое шоссе, строящееся на Пошехонский большак. Строят эту дорогу и рубят просеки сейчас пленные враги. Дорога более длинная, чем арефинская, но зато сухая и осенью и весной.

Ночью на 2 августа, около 4-х часов, пришел к Волге напротив Рыбинска...

Так привел Бог побывать на родине. Как видите, поподробнее я рассказал лишь о том, как шел к Арефину; остальное — лишь в самых общих чертах. Это оттого, что иначе было бы чрезмерно много писания. Впечатлений слишком много. Это крайне важно и нужно быть на местах, видевших твои начатки, юные чаяния, первые попытки уразуметь жизнь и ее смысл. А еще через двадцать лет, т. е. через такой же этап дней, какой отделяет сегодня от того времени, когда я жил в по-

следний раз в Восломе,— еще через двадцать лет от сегодняшнего, наверное, кончится и мое странствование по белу свету. Теперь я побывал на старой о т ч и н е; хорошо бы тогда ощущать себя в любимых о б ъ я т и я х о т ч и х! Дай Бог нам всем прийти к этому.

Теперь скоро уже надо собираться в Питер. С каждым годом все труднее приходится мне этот переезд и жизнь в мрачном и грязном, мокром и болеющем городе! И боюсь, что унесет он мои духовные и физические силы раньше времени; так что, пожалуй, не успеешь и сделать то главное, что дорого душе, с тех пор как она зародилась в далекие прежние юные, бодрые дни!

Иногда мне кажется, что в питерской моей жизни я только «гладом таю и не насыщаюся», подобно блудному сыну, ушедшему от Преблагого Отца, тогда как у Него и последние наемники изобилуют духовною пищею. Иногда кажется, что продал я духовное старейшинство за питерскую жизнь, как Исав за чечевичную похлебку...[63] Да это все отчасти и на самом деле так!

Но верю, что Преблагий Отец надо всеми нами и «паки дарует нам познание Своея Славы», как только пойдем мы к нему. Смотрите об этом в триоде службу в неделю о блудном сыне. ⟨...⟩

Писал я брату, просил его писать Вам. А он ответил, что нет искренних отношений, оттого он, дескать, и молчит. Мне грустно было это прочитать. Сам он жалуется на упадок здоровья и на тяжелое состояние духа. Будем надеяться, что великое и страшное время ведет нас к лучшему.

Простите. Ваш А. У х т о м с к и й.

20. IX. 1915.
Рыбинск.

Дорогая Варвара Александровна,
я очень счастлив, что в этом году Бог привел меня захватить здесь в Рыбинске праздник Покрова Пресвятой Богородицы; это в первый раз со времен тети Анны. Не знаю уж, насколько и как меня будут бранить на моих петроградских службах за отсутствие. Но я все более и более отхожу душою от них и, как теперь мне кажется, не слишком буду тужить, если придется уйти от них... Они не составляют того «насущного хлеба», которым жив человек!

Задержался я здесь по такому поводу. Здесь живет старинная приятельница тети Анны, учительница из обедневших дворян и институток, Марья Михайловна Колкунова [64]. В мое детство и отрочество она, бывало, ходила к нам со своим сыном, моим товарищем и приятелем Борисом Николаевичем Мелентьевым. Вы знаете, как тесно сходятся люди в своей ранней молодости. Естественно, что и с Борисом я был очень близок при всем том, что мы с ним люди очень разные. Должно быть, оттого Христос и видел в детях образец граждан Царства Божия, что дети так легко соединяются между собою, объединяются в дополняющее один другого общество,— в Церковь,— несмотря на все природное несходство личностей! У взрослых души находятся в своего рода «склерозе», они утеривают пластичность, и потому так трудно соединяются между собою грешные большие люди. У детей душа мягка и гибка, вполне пластична, как весенний росток на дереве; и это оказывается наилучшей предпосылкой для созидания Церкви!

Так или иначе, но с Борисом Мелентьевым мы были очень близки, вплоть до отправления меня в Кадетский корпус. Потом я, конечно, встречался с ним по летам, гуляли, беседовали и т. д., но были уже подальше между собою. Затем, когда я поступил в Духовную академию, а он из гимназии, по окончании ее, вступил в юнкерское училище, мы стали еще дальше... Однако старая приязнь в глубине души, глубокая привычка детства оставалась навсегда... Он был дважды женат; временно выходил из военной службы, затем опять туда вернулся; был не слишком счастлив в своих браках; был большим эксплуататором и эгоистом в отношении матери, из которой до конца высасывал деньги на свою семью; был очень высокого мнения о себе и был склонен осуждать и унижать других; однако был верен старой любви: например, всегда чтил и любил память моей тети Анны; продолжал всегда чтить и любить свою первую жену, рано умершую от чахотки; человек был очень неглупый, но не сильный нравственно и склонный переоценивать себя... Ну вот в каких чертах, приблизительно, складывался его образ в моем сознании во взрослый наш период жизни. Видался я с Борисом в последние годы очень редко,— года через три, часа на два, и притом случайно. В последний раз видел я его летом 1912 года, ночью, идя от матери из Михалева и столкнувшись с ним

во тьме в лагерях того батальона, где Борис служил тогда адъютантом. ⟨...⟩

Надо сказать, что два года тому назад Боря перевелся отсюда из Гроховского пехотного полка в Москву, в штаб 25-го армейского корпуса. Старуха мать уехала за ним, дослужив свой срок до пенсии. Осенью 1914 года Борис ушел со штабом на войну. Марья Михайловна осталась с семьей. ⟨...⟩ С войны от Бориса приходили редкие письма. Из штаба, где он провел зиму и весну, он перевелся в строй, в Пултусский пехотный полк; здесь командовал сначала ротою, потом батальоном. В самом начале сентября за удачный бой с немцами Боря был представлен к Георгиевскому кресту 4 ст. и к чину подполковника с утверждением командиром батальона на законном основании. В последнее время настроение писем было почти «радужное». Но 17-го сентября, в день Ангела жены, около 6 ч. вечера Борис был убит разрывной пулей в голову. ⟨...⟩

Вот я и остался в Рыбинске, чтобы помочь нашему старому другу Марье Михайловне встретить убитого сына и схоронить его. Три дня тому назад хоронили мы Бориса на здешнем Егорьевском кладбище около его первой жены Веры Николаевны. ⟨...⟩ Сложна и многообразна человеческая жизнь; но, чтобы понять ее, надо уметь смотреть на нее не вблизи и не по мелочам, но отойдя вдаль, «с птичьего полета», когда взор охватывает самые крупные этапы жизни. И тогда мы научаемся не только извинять, но воистину любить и жалеть людей, хотя бы немного приближаясь к тому, как любил и жалел их Христос на высоте своего креста.

С Борисом с войны приехали трое солдат, в том числе и унтер-офицер из его батальона. Настроение у солдат разное. У унтера оно довольно бодрое и боевое, окрыленное надеждою на успех; у другого солдатика, наоборот, какой-то решительный индифферентизм и убеждение, что немцы победят, ибо у них «все разумно и рассчитано», тогда как у нас ничего не рассчитано и нужного под руками не хватает. Может быть, что в этой различной оценке действительности дело зависит от общего душевного склада самих солдатиков. ⟨...⟩

Но, говоря вообще, слишком понятно, что при том нравственном состоянии, в котором обретается русское общество, нет резона для победы, а есть резоны для того, чтобы быть битыми. Мне лично ужасно тяжело за наш н а р о д, за тот простой и коренной народ, который

сейчас молчаливо отдает своих сыновей на убой; но мне не тяжело за «о б щ е с т в о», за все эти «правящие классы» и «интеллигенцию», которым по делам и мука. Опять и опять возвращаюсь мысленно к образу пророка Илии, жестокого карателя погрешающего Израиля. И еще раз скажу: недаром на его день началась эта война! А конца войны еще не видно, не видно конца бедствию, ибо разврат не ослабел, а, как слышно, еще возрос. Не образумилась и правящая власть, оставаясь столь же п р о т и в о н а р о д н о й, если не больше, чем была! Интеллигенция не смирилась и продолжает презирать родной народ! 〈...〉

К сожалению, я оказался вполне прав и относительно наших, с позволения сказать, «братушек» — болгар. Я напомню Вам то, что читал Вам когда-то из моей записной книжки в эпоху телячьих восторгов петроградской публики по случаю нападения этих животных на турок. Перечитывая недавно эти свои строки, я даже устрашился, насколько они показались мне теперь соответствующими действительности! Устрашился я тому, что нутро мое предчувствует многие беды, и неужели эти предчувствия столь же сбудутся, как те, какие засели мне в подоплеку в то время, когда так радовались петроградские люди?.. Да простит нас Господь! Да исправит дела рук наших! Да будет милостив к нам и не поступит с нами по нашим грехам!

Вот что я тогда записал себе для памяти:

«Имут уши и не слышат, имут очи и не видят! Тяжелая, уродливая жизнь так называемых культурных людей в городах лишает их простого, здорового чутья при оценке текущих событий; сбывается для них древнее слово, что то, что ясно для детей, скрыто от сих премудрых и разумных. Нравственное существо выступления балканских славян против Турции осенью 1912 года в момент ее расслабления от войн с Италией было совершенно очевидно для всякого непредубежденного взгляда: логика здесь была та, что всегда очень уместно и кстати взять у ближнего то, что у него плохо лежит, и у повалившегося наземь человека не трудно будет вытащить кошелек, да еще вдобавок расквасить ему нос. Именно вследствие того, что балканские народности суть христианско-православные народности, а не какие-нибудь мусульманские или языческие, в особенности противно и тяжело было видеть их грабительское выступление против лежачего! Мне было до того тяжело

и обидно, что я чувствовал потребность пойти в волонтеры к туркам! Но не так смотрело большинство петербуржцев и моих ближайших знакомых! И газеты, и студенчество, и офицерство, и батюшки, и барышни, и барыньки, весь этот так называемый культурный Петербург вопил тогда на разные лады о величии и героизме балканского выступления! Одни видели тут завершение исконной задачи славянства на полуострове и в наследии византийского мира; другие вопияли о «культурном» значении окончательного изгнания из Европы этих будто бы недоступных цивилизации азиатов-турок; третьи величали решимость балканских народцев освободить своих македонских и фракийских братьев из-под османского ига; четвертые, наконец, усматривали в возникшей бойне борьбу Христова Креста с Полумесяцем!.. И мне лично приходилось слышать от знакомых моих упреки, что, мол, вот один только вы, из-за какого-то уродства чувства или, пожалуй, из-за желания оригинальничать, не приветствуете «братьев»... Гипноза было много; из-за него перепутались даже наши общественные знамена и партии. Социал-демократы и кадеты смешивались с панславистами, покрикивая на улицах: «Скутари — черногорцам, а Адрианополь — болгарам». Истинно русские затягивали революционные мотивы и дрались с полицией, понося неуместное миролюбие русского правительства... И нужно было много времени, много крови, чтобы стали открываться глаза этого слепотствующего быдла на нравственную сущность дела, столь простую и ясную с самого начала для непредубежденного взгляда: скверные мальчишки воспользовались тем, что старый больной человек лежит побитый и расслабленный; они разбили ему еще нос и отняли кошелек; а затем, когда мальчишкам пришлось делить заграбленное, они, скверные мальчики, оскалившись, плюясь и остервившись, вцепились друг в друга,— достойный конец скверного начала! Вот и все! А для петербургского быдла лишь конец оказался достаточно демонстративным, чтобы дать уразуметь истинный смысл дела с самого начала, столь легкомысленно прославленного за дело Христова Креста!.. Ужасно поздно петербуржцы и петербургские газеты различили, что это перед ними не крестовый поход, а просто политическая поножовщина (см. Петерб. газета, 1913 г. № 185, вторник 9 июля). Но тут ведь есть беда, неминучая беда и для нас самих, если

нравственный дальтонизм нашего, с позволения сказать, культурного общества зашел уже так далеко! Ибо тот, кто с таким необычайным трудом различает крестовый поход и политическую поножовщину, тот, очевидно, и сам весьма легко может впасть в поножовщину под видом честного дела. Тот, кто столь просто смешивает политический грабеж и христианское дело, очевидно, близок к нравственному вырождению. Русскому обществу грозит великая, тяжкая беда! Не нужно быть слишком проницательным, чтобы это видеть... Продолжая мотив из указанной статьи Пет. газеты, надо сказать: никогда еще нравственное чутье российского общественного мнения не падало так низко, как при оценке событий 1912—1913 годов. И если России придется испытать на себе грабительские опыты какой-нибудь «культуртрегерии», вроде Австрии или Германии, то теперь это будет вполне естественным ответом истории на спутанность ее собственных наклонностей и нравственных оценок в политической поножовщине последнего года».

Вот что я записал себе летом 1913 года! А теперь не один я, а многие простые люди чувствуют, что бедствия наши, русские и европейские, еще далеко не окончились на том, что случилось; тяжелые беды еще впереди. И очевидно, что есть резон для того, чтобы не было нам покоя, ибо в покое современное «культурное» общество уже окончательно отдает гнилью, тогда как при историческом горении и кипении, которое мы переживаем, по крайней мере, гниль-то отбивается!

Впрочем, этот исторический суд так страшен, что пока лучше о нем не допускать и речей и в преддверии его лишь молиться: «Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа не доумеюще, сию ти молитву грешнии приносим: помилуй нас».

Здесь в Рыбинске я сблизился в это лето с наставником поморского согласия, прекрасным русским старцем Федором Петровичем Савосткиным. Родом он из северо-западного края, из одной деревни на берегу Чудского озера. Он приносил мне старинные рукописи, в которых

предсказывалась страшная европейская война с участием многих государств и народов, причем война будет корениться у Константинополя. По древней рукописи, которая была у меня в руках, выходит, что Константинополь должен быть взят христианскими государями, но затем будет страшная междоусобица между последними. Что касается русской равнины, то по рукописям предсказывается, что война дойдет до Пскова и здесь закончится, но при таком истощении, что биться будут не оружием, а дреколием...

Это все гадания, конечно; но интересно, что из глубокой старины в народе идет это предвкушение ужасной европейской бойни, которая должна явиться праведным судом над беззаконием христианских государств и народов.

Здешние простые люди, также низовые волгари, говорят, что еще старики их, деды и прадеды, говаривали, что «мы не доживем, так вы доживете, а не вы, так детки ваши доживут, что теснота будет людям, аршинами землю мерить будут, друг на друга пойдут люди, народ на народ, хитрецами станут, и тогда будет близок конец, Христом предреченный».

Ну, пока простите, Варвара Александровна. Вы на меня не посетуйте, что я не отвечаю пункт за пунктом на Ваши вопросы. Формально отвечать неприятно, а пишу и отвечаю я по мере того, как вынашиваются в душе ответы и мысли.

Скоро надо теперь ехать в Питер, этот тяжелый и вредный город-отравитель. Но я уже чувствую, что там начинают меня бранить и в Университете, и в приходе. Когда Бог приведет делать дело не с тягостью в душе, не так, как будто тянешь тяжелый груз, а радостно? Неужели никогда? Может быть, это и возможно только в простой и естественной деревенской обстановке, на земле, или на маленьком хозяйстве вроде моего рыбинского?

Ну, Господи помилуй нас всех.

Простите. Ваш А. Ухтомский.

1 октября 1915.
Рыбинск.

III

3 декабря 1915. Петроград.

Дорогая Варвара Александровна,

простите меня, Бога ради, за тяжелое молчание. Какие-то силы не давали мне писать Вам, а между тем я беседовал с Вами в душе неоднократно, встав на молитву. Вы просили прощения у меня, хотя и не знаю я Вашей вины; теперь я прошу прощения у Вас; итак, простим, Христа ради, друг другу, дабы быть с ним. Примите мое самое душевное приветствие со днем Ангела. Давно, как-то в начале ноября, нашел я на Апраксином рынке книжку — Житие Петра и Февронии, которое Вам хотелось иметь. Но так как меня что-то не пускало к Вам, то и книжка не была передана. Пусть она придет в Ваши руки 4 декабря. Надеюсь, что она будет для Вас приятна, и тем более, что, по преданию, Житие это написано Ермогеном, в то время (1595 г.) еще митрополитом Казанским, а впоследствии святейшим патриархом Московским, великим страдальцем и стоятелем за православие и Святую Русь. Затем еще посылаю Вам карточку, касающуюся моего путешествия 28 июля — 2 августа на древнюю родину Ухтомских. Летом я послал Вам вырезку из этой карточки, тогда еще не подвергшейся порче от ретуши. Другой кусочек той же карточки я отправил тогда в Головкино, в Самарскую губернию, тетке моей Прасковье Николаевне Наумовой, которая в девичестве имела казачком того самого человека, который здесь снят уже старцем. Этот милый старик — Василий Веденеевич Панов, теперь числящийся крестьянином деревни Пегушево Пошехонского уезда, в действительности побочный сын моего деда князя Николая Васильевича Ухтомского от крестьянской девушки и, стало быть, мой дядя. Покойные мои старики всегда его любили и отличали; а он тоже любит память моих покойников. Сам он, как видите, очень напоминает моих стариков своим обличием: есть значительное сходство и с отцом моим и с тетей Анной. Мое личное сродство с Василием Веденеевичем усугубилось тем, что жена его, покойная Степанида Панова, была моею мамкою. Я считаю эту семью самой близкой роднёй для себя и чувствую себя обязанным перед нею. Звал старика жить к себе в Рыбинск. Но он очень свободолюбив и самолюбив, видимо, избегает быть обязанным и пред-

почитает свою скудость в гуще пошехонского леса на Восломке. Пусть бы пожил, дай Бог! Для меня это, можно сказать, последняя живая связь с любимой и уважаемой мною восломской стариной.

Примите от меня, пожалуйста, эту карточку, Варвара Александровна! Это от сердца!

Из церковных старост в Никольском приходе мне не пришлось уйти. Думал, что с собрания прихода 8 ноября уйду с облегченным сердцем, освободившись от старостинства. Но на самом собрании почувствовал, что уйти сейчас очень тяжело,— точно по-пилатовски[65] умывал бы руки пред народом, что не хочу брать ответственность за грядущие испытания! Приход просил остаться, и я, положившись на милость Божию, остался. Что будет впереди? Пусть будет то, как устроит Бог. Я жду многих и тяжелых бедствий. И нас, вероятно, не минет чаша наказания Божия, ибо те, кто пострадал уже и пролил кровь свою, были не хуже нас, а может быть, и лучше нас. Пришел час воли Божией, и надо, чтобы человек, после гордыни и покоя, которым не виделось конца, понял во прахе своем, что он только «земля и пепел», по слову древних отцов. Великое время пришло и еще придет, блестящее и яркое, как пламя! И да будет над нами воля Божия! 〈...〉

Я счастлив, что теперь стал опять по-прежнему молиться, почти не пропуская дней, причем читаю Вашего Златоуста. Теперь у меня тихо, и есть время для того, чтобы подумать как надо. Надежду Ивановну не буду выписывать до крайности. Да что об этом говорить! Не знаем, что будет в ближайшее время.

Спасибо Вам великое за известие о камнях. Я отдал «Ярое Око» для обложения его в серебряный оклад и венчик с цатой,[66] а на оклад приобрел несколько камней, имеющих символическое значение в еврейской и христианской письменности. Помогла мне при этом значительно и Ваша выписка. В цате — яшма (ясмес), упоминаемая Иоанном Богословом как образ самого Сидящего на Престоле. Кстати сказать, яшма — камень из наиболее дешевых и, так сказать, пренебрегаемых; и тут, независимо от Апокалипсиса, оказался особый неожиданный символ Христа: «Камень, коим пренебрегли строители, оказывается в краю угла!» — символ того, что современное «культурное» строительство пренебрегает Христом, желает строить без него, а Он — в краю угла и «без Мене не можете творити ничесоже!». Затем

в цате же помещены опалы. В окладе смарагды — небеса,[67] сапфир — престол и топаз — колеса четырех животных. В венчике — аметисты — символ бодрственного бдения и внимания, бодрственной мысли. Ну, дай Бог, чтобы вышло хорошо. Очень мне хочется, и давно, украсить этой символикой «Спаса Ярое Око» — столь близкого к нашим дням и дням, которые еще приближаются!

Великое спасибо Вам за извещение относительно Дементия Ивановича Шилина. Очевидно, когда я переписывался с Вами летом о газете для него, его уже не было в строю 37-го Сибирского стрелкового полка!

Относительно Сергея Александровича Муранова, как я думаю, узнать пока не удастся и тем путем, которым Вы шли касательно Шилина; и это потому, что с Мурановым уничтожена так или иначе вся его часть, бывшая в гарнизоне Новогеоргиевска. На всякий случай все же сообщаю, что он в последнее время был в 1-й Наревской ополченческой безоружной дружине. Та же часть, в которой был Муранов до перевода в Новогеоргиевск и в которой он провел в Бзуре зиму 1914/15 гг., пришла сейчас сюда, я видел солдат оттуда, и они сами потеряли следы Сергея, зная лишь, что в последнее время он был телефонистом на самых передовых линиях, откуда заключают, что вряд ли он жив, так как, по имеющимся сведениям, немцы не щадят телефонистов почти наравне с казаками. Конечно, все же надо сделать попытку разузнать о судьбе Сергея. Буду Вам очень благодарен, если попробуете тут что-либо сделать!

Осенью мне прибавилось работы, так как меня пригласили попечителем в городское училище в Рыбинске около моего дома на Выгонной. Мне было больно отказываться от такого дела в родном углу, и я согласился, в сущности, из любви к родным местам. Теперь я получил неожиданно еще приглашение в попечители же народной школы в Сырневе, под Восломой, именно там, где погребены мои деды. Училище было выстроено, вдобавок, моим дедом и поддерживаемо отцом. Мне ужасно больно отказываться, и я не знаю еще, как быть. С одной стороны, расходы скоро превысят мой «бюджет»; а с другой же, как больно отказываться от службы самому родному месту на земле! Надо отвечать, а я еще не знаю, что отвечать! Что скажет Ваш внутренний голос?

Пишу все это потому, что все равно не пришлось бы высказать этого, если бы я и пришел завтра к Вам. Но

завтра я еще не приду,— при гостях мне было бы теперь особенно тяжело.

Будем переживать это время, как в древней скитской пустыни,— на вертение камня от жилья к жилью,— и будем молиться Всемилостивому Христу, чтобы не впасть в соблазн и, прежде всего, не ввести в соблазн; в праздники же и в нарочитые дни будем беседовать о том, есть ли плоды и как успеваем.

Господь с Вами.

Преданный А. Ухтомский.

Дорогая Варвара Александровна,

как я и предполагал, приехал сюда мой брат, но он на этот раз не остановился у меня, отчасти из-за отсутствия Надежды Ивановны и кой-каких удобств, которые могли быть при ней. Остановился он в Благовещенском подворье [68], куда Вы теперь ходите молиться Богу. Вчера 7—10 ч. утра он был у меня, поговорили мы с ним немного, но именно «немного», ибо это было в присутствии третьего человека — Елены Федоровны Чугавель, которая вечером накануне принесла мне известие о приезде брата и заночевала у меня. Опоздав к обедне в свою церковь, я пошел в 10 ч. в Киевское подворье и понес туда для освящения икону Страстей Господних, которая Вам понравилась, так, как и мне. Икону освятили, и я просил поставить ее на литургию в алтарь.

Эти дни брат ездит по городу для своих дел, но придет ко мне ночевать со вторника на среду; и вот очень прошу Вас, сделайте, пожалуйста, так, чтобы Вам можно было прийти во вторник, т. е. завтра, ко мне часов хоть с восьми. Брат обещал прийти еще в 6 часов. Но он, наверное, опоздает, и кроме того в эти непоздние часы большой риск того, что нагрянут посторонние гости и беседовать опять не придется. Преосвященный Андрей очень благодарит Вас за милое письмо и очень хочет Вас видеть [69]. Я знаю, что вторник у Вас очень занятой, но, может быть, удастся Вам каким-нибудь способом освободить вечерние часы с 8 часов? Можно даже с 9-ти, ибо преосвященный Андрей хотел остаться ночевать на среду! Сколько времени он здесь пробудет, он и сам еще не знает, ибо тревожит его возможность задержки здесь вследствие перерыва сообщения с Москвою.

Ну, вот так-то!

Очень мне хотелось бы познакомить с ним Елену

Владимировну. Может быть, это еще удастся сделать, если она здесь задержится?

Еще хотелось бы мне познакомить его с хорошей русской старухой, Вашей приятельницей, имя которой у меня сейчас вылетело из головы.

Должен сказать, что брат произвел на меня довольно тяжелое впечатление. У него повышенная температура, чувствуешь на ощупь, когда пожимаешь ему руку. Затем он очень бледен, худ, и кашляет. Мы жили с ним далеко друг от друга в мире, но было бы очень тяжело мне, если бы он ушел и его больше не было,— еще чужбее стало бы в мире.

Ну, вот пришел гость и надо кончать письмо. Пришел Аметистов. Простите. Господь с Вами.

Ваш А. Ухтомский.

8 февр. 1916.
Петроград.

Дорогая Варвара Александровна,
сообщаю Вам, что сегодня я получил заказанную для Вас икону Тихвинской Божьей Матери, которая вышла, на мой взгляд, чрезвычайно удачною, просто прекрасною. Она стоит у меня, и хорошо, если бы Вы за нею пришли. Кроме нее и одновременно пришли иконы: Нерукотворного Спаса для моей бедной Анны, софийской инокини, и Святого Внимания для себя. Эти обе иконы далеко не так удачны, как Ваша. Ваша же мне необыкновенно нравится!

Я очень советую Вам приобрести икону чириковской работы, сделанную для Вас, тоже Тихвинской Божьей Матери, и находящуюся в Надеждинской лавке — приобрести для Елены Владимировны. Если долго возиться с окладом, и слишком очень дорогим, то можно ведь просто обложить бок и тыл иконы хорошей парчой, как это делается часто и как делал я у Оловянчикова. Вы берете парчу, какая будет более идти к иконе Матери Божией, и это будет очень красиво!

Икона, как я Вам говорил, не так строга, как мои, но все-таки это икона, а не сусальный пряник. Не надо содействовать, хотя бы и в мелочах, распространению дурного вкуса. Сама Елена Владимировна по мере роста в церковном духе поймет, где подлинное идейное иконное искусство, способное воспитывать настроение, и где

пустая пачкотня, хотя бы и «красивенькая» на поверхностный взгляд! Итак, не применяйтесь без нужды к неразвитому еще чутью, а уже если дарить, дарите действительно хорошее и стоящее!

Напишите, пожалуйста, когда зайдете за Вашей иконой. Лучше бы всего в четверг вечером, после Вашей всенощни.

Простите пока.

Ваш А. Ухтомский.

21.III.1916.
Петроград.

1 августа 1916.
Рыбинск.

Хороший друг мой, Варвара Александровна, простите меня за мое молчание. Что-то страшное у меня с письмами к Вам. Подходят нарочитые дни, и я мысленно назначаю себе написать Вам теплое, дружеское слово. Но день приходит; потом уходит; а письмо остается ненаписанным. ⟨...⟩ Вещей, о которых есть что сказать и требуется сказать,— так много, что и не знаешь, с которого бока приступиться к этому множеству! Сегодня, стоя за утренним правилом Спасу Всемилостивому, определенно почувствовал, что надо именно сегодня написать Вам непременно. Этот день, нарочито посвященный Христу, той главе, через которую мы соединены между собою как члены единого тела, и соединены во веки веков, так что смерть не имеет власти над этим соединением, ибо тело Христово пребывает вовек! И вот в этот-то день и хочется в особенности сказать слово своему самому ближнему человеку, хоть он и далеко по пространству. Пусть и сейчас скажется очень, очень мало из того множества вещей, о которых накопились речи, но все-таки надо написать и сказать слово, или просто побыть друг с другом, хотя бы и молча, но так, чтобы почувствовать, что все-таки и мы в самом деле члены единого дорогого, несравненно дорогого тела Всемилостивого Спаса, в котором продолжают жить с нами и отошедшие друзья: Ваш покойный отец, моя тетя Анна, отец, мать, деды и все любимые. Но с чего же начинать, откуда приниматься за слово?! Вот и с ближним своим человеком оказываешься в том же положении, чувствуешь себя так же, как

в отношении самой, соединяющей Главы, когда придет день Его... 〈...〉 Да, и перед ним, и перед ближними прежде всего грешны мы, и грех этот затмевает, застилает ум, и оттого душа обыденно молчит в своем нечувствии, тогда как время идет и дни суда приближаются; и когда наконец ясно почувствуешь над собой Судию, то и не знаешь, откуда начать свою речь, какое начало положить плачу о том, что грех заслоняет от нас лик Христов,— нашу Главу,— а тогда забываем мы и о своем единстве в нем или же начинаем пытаться создать свое сообщество без него, забывая, что «без Него не можем творить ничего».

Сердечное Вам спасибо за Ваше приветствие с солнышком в июне, ранним утром 18-го. Вы не пожалейте, друг, что под влиянием доброго чувства написали мне тогда такое теплое слово, точно брызнули и на меня в Рыбинске золотыми лучами того красного солнышка, что озарило Вас в то утро! Я почувствовал и чувствую Ваше золотое, хорошее, дорогое и светлое приветствие, и оно хранится у меня вместо закладки в Евангелии, так что каждый день я беру его в руки, когда читаю новую главу благовестия!

Я пришел к тебе с приветом
Рассказать, что солнце встало,
Что оно горячим светом
По земле затрепетало!

И пусть же не проходит в глубине духа Вашего, и моего, и ближних наших, это ощущение яркого, красного утра, пусть плохие осенние дни и зимние непогоды не сильны будут изгнать из наших душ память об этом утре, чистом и светлом; и пусть до конца сохранит Господь в нашей душе ту *ангельскую силу благовестия и приветствия братиям и ближним*, что побудила Вас тогда поделиться радостью с Вашими ближними, подобно тому, как избыточествующая радость побудила Ангела у гроба нашего солнца — Христа приветствовать скорбящих жен: «Радуйтесь! возста, несть здесь; идите, благовествуйте земле радость велико; пойте небеса Божию Славу». 〈...〉

А я в то утро подъезжал к родине моей, к Рыбинску. Вы знаете, что это тоже радость для меня, одна из самых больших на свете. Но она отравлялась мыслью, или скорее чувством из сердца,— того, что мы с Вами так нехорошо разошлись в последний раз, когда после

неудачного разговора о церковных делах Ваша швейцарша не дала нам возможность и проститься повнимательнее. Но, значит, так было надо, если так это сделалось!

По поводу тогдашнего разговора я все-таки повторяю Вам, что о богословских вещах и наиболее дорогих и глубоких вопросах духа нельзя говорить между прочим, на улице, не войдя предварительно в сосредоточенное, мирное и благоговейное состояние духа, не оградив себя от внешнего, мелочного и рассеивающего! Иначе неизбежно будет, что бисер рассыпется под ноги свиньям, и они, обратившись, бросятся на вас же! И Вы не поняли моих слов, если помните их так, что «бес во мне проснулся тогда», и, в таком смысле, справедливо замечаете: «Мне думается, что усыплять его (беса) не надо, а надо изгонять». Я Вам сказал, и повторяю теперь, что по постоянному убеждению отцов и подвижников — говорить о богословских вещах между прочим, не собрав предварительно своего духа и не овладев рассеянностью и страстями, значит давать лишь повод бесам посмеяться над нами, как это тогда у нас и было: было ведь что-то типическое для подобных неосторожных бесед о церковном,— говорили о Христе, о церкви, об опасности ереси, одним словом,— говорили о том, что соединяет людей в высшее на земле соединение, а пришли к разъединению, неудовольствию и нарушению духовного мира в себе! ⟨...⟩

Так поймите же меня в этом отношении,— поймите, что я говорил и говорю об очень серьезном и опасном деле. Недаром ведь говорится, что бес горами потрясает и роняет даже святых, когда они неосторожны.

Я знаю, что Вами руководило самое хорошее желание высказать мне то, что Вы считаете, в свою очередь, опасным на моем пути, Ваши мысли о старообрядчестве и т. п. При этом Вы касались вопросов, которыми душа моя все время занята и живет,— так они нелегки и непросты! Я начинаю подходить к ним с разных сторон, после очень длинного и трудного пути, после Духовной академии, едва уясняя себе многое при обдумывании в своем уединении. Вопросы это все наиболее тяжелые и трудные,— более трудные, чем вопросы физиологии, математики или филологии. И вдруг Вами высказываются самые решительные и категорические суждения по

этим вопросам, не зная, в сущности, вопросов, едва прикоснувшись к ним,— суждения быстрые и легкие, потому что их можно найти в обыденном семинарском учебничке! Ну, можно ли это? Вот, брат мой — архиерей, более или менее осведомлен по обязанности в этих вопросах; но он опасается говорить со мною о них, зная, что я более его осведомлен в них, и, с другой стороны, зная, что прежде разговора о них надо «снять сапоги», место бо сие свято есть. Я искренне болею душой за родной народ, за его исторические бедствия и за тяжкую судьбу его церкви, и верую,— верует в это, по-видимому, и брат мой,— что в меру искренности этой Господь поможет мне не сойти с пути правды и послужить родному делу. Вы же, в тогдашнюю нашу беседу, последовали современному обычаю говорить о священных вещах легко, между прочим, на улице, и это было для меня необыкновенно тяжело. Ну, вот, простите меня за эти слова,— я только хочу объяснить Вам, что тогда я переживал. Это и будет «изгнанием беса», о котором Вы писали! Попомните, друг, и с другими опасайтесь говорить о богословских вещах на ходу, между прочим,— разве побудит к этому крайняя необходимость!

В этом отношении, помимо того, что выше я писал о потребности в благоприятной, благоговейной обстановке для речей о святом, надо еще вспомнить умное слово кого-то из современных ученых, апологетов: «Ничто так не вредит признанию хороших вещей, как плохая их защита»! Так наша обычная семинарская защита святых вещей вредит им в глазах людей более, чем всякие атеистические нападения! Атеистические нападения и ереси лишь чистят истину и заставляют ее ярче гореть, как земля и древа очищают медь и золото; а непрочувствованные благоговейно и несвоевременные речи поселяют недоумение, раздражение и индифферентизм. Одним словом, это «бесовское богословие», забавляющее и утешающее бесов, но роняющее предметы, о которых идет речь!

Но простите, что я так заговорился. Я так давно не говорил с Вами и рад, что говорю,— хорошо у меня на душе от того; так не взыщите, что многословлю. Пусть ничто не обидит Вас из этих моих речей, ибо Вы чувствуете, что говорю я от сердца. И если Вам казалось, что Вы пишете, как бы побуждаемая преподобным Серафимом, то я сегодня пишу тоже с таким чувством, точно испол-

няю послушание — написать Вам письмо в Спасов день. ⟨...⟩

Читаете ли Вы книгу святителя Тихона Задонского «Сокровище духовное»? ⟨...⟩ Я купил его себе очень давно, но, по правде сознаться, ставил его не очень высоко, и потому он у меня лежал на полке года два, пока осенью 1915 года я наконец взял его читать. И что это за сокровище оказалось! Какая теплота мысли, какая любовность, сердечность беседы с читателем! Теперь я вспоминаю, что Достоевский стал глубже входить в православие под влиянием именно святителя Тихона, и его карамазовский Зосима первоначально задуман по типу святителя Тихона, а уже потом автор предпочел начертать его по типу оптинских старцев.

Кроме непосредственного обаяния речи святителя Тихона, она дорога мне и потому, что он ведь покровитель места успокоения моих стариков и тети Анны, так что через него я беседую с ними. Я начинаю понимать церковную связь как живое предание и «друг по другу спасение», над которым не имеет власти и смерть, так как Глава, оживляющая это Тело, есть Христос — победитель и одолитель Смерти! Все мы соединены и живо живем общею жизнью во Христе, насколько идем к нему и верны ему, и над этою связью не сильна и сама Смерть! Перестав же идти к нему и потеряв связь с ним, подпадаем смерти и умерщвляем друг друга, одно поколение съедает другое, «дети» живут на счет «отцов» и настолько, насколько умирают «отцы»!.. На место церкви — Христовой общественности становится каннибальская общественность современного европейского Вавилона — Германии, Франции, новой России, общественность Вильгельма, Бисмарка, социалистов, дипломатов, чиновников, наших торговцев и поставщиков, салонов, театров, клубов и проч. ... Но я хочу говорить не об этом, а о святителе Тихоне. ⟨...⟩ И мне отрадно думать, что он с Вами, притом не просто лежит у Вас, но и беседует с Вами! У меня же при его помощи и при помощи Иоанна Златоуста, которого я читаю параллельно, продолжается то, что я Вам говорил в Петрограде: каждый день такое чувство, что «открывается новое», точно идешь по лесу и под ногами открываются все новые и новые поляны, усеянные цветами, и так много этих цветов, что успеваешь захватить из них лишь немногие! Относительно

немногое записываю я в книжки, и при этом получается такое разнообразие записей, что я сам не помню всего, что записываю, и, когда перечитываю потом свои книжки, читаю сам свое, точно новое и чужое. Такая своеобразная торопливость и жадность мысли, точно где-то в глубине души таится сознание, что надо спешить, и этот досуг для мира и чтения отцов дан мне не надолго! ⟨...⟩ Из очень многих мест у Св. Тихона, которые хотелось подчеркнуть, я укажу здесь для примера на следующие. Чем определяется наступление конца для индивидуальной ли жизни, или для народности, общественности, государства, наконец для мира? Определяется оно тем, что данное существование становится более бесплодным, не обещающим более ничего! ⟨...⟩

Какая естественная и простая мысль, простая до гениальности! И так далеко мы от этой мысли во вседневной нашей жизни! «Да никомеже от тебе плода будет»! (Матф. 21, 19). Спаси нас, Господи, от этого смертного неплодия! А опять и опять надо помнить, что плодовитыми мы можем быть только пока соединены с Лозою, как ее рождия! «Всяку розгу о мне, не творящую плода, изметь ю, и всякую творящую плод, отребить ю, да множащий плод принесет» (Иоанна. 15, 2).

Вот, родная, и Вы, верующая во Христа, и я — верующий (я употребляю это слово в общеупотребительном смысле), а как часто и мы с Вами думаем делать сами от себя, без чувства, что делаем, как маленькие веточки от него? Будем чаще и чаще вспоминать, что должны начинать всякое дело и можем делать только исходя корнями и замыслами из него!

2/3 августа.

Еще хочется подчеркнуть те места святителя Тихона, где он напоминает, что Вселенная управляется, в сущности, Свободою. Это свободное дело Благости Божией, что нам дается ежедневно все потребное для существования, а мы привыкли, что все это с машинной правильностью приходит к нам, и потеряли чувство, что все это маленькое и мелочное, но необходимое благо дается нам некоторым благоустным источником! И, постепенно привыкнув к ежедневному добру, которым обладаем, мы перестали ощущать за него и благодарное чувство Подателю ⟨...⟩ стали

думать, что все это естественное дело мира течет механически спокойно и необходимо, и на вечные времена, и так оно и должно быть; а мы сами выше всего этого и созданы для разума и наслаждения!.. Забываем, что это все свободное дело ежедневно благотворящего нам мирового Сознания — Творца и Промыслителя нашего Бога! Забываем до такой степени, что обыденная городская жизнь, с ее комфортом, удобствами, культурой техники, молчаливо живет тем убеждением и тою верою, что все, что вне меня,— все это ниже меня и существует лишь для моего технического применения к моим целям и удобствам! Это и есть интимный, глубоко в подсознательном заложенный атеизм городского обывателя, существенное безбожие жизни его,— что вне человеческой личности и человеческого сознания заранее не предполагает он ничего большего или даже равного себе по свободе, разуму, произволению и инициативе, а стало быть, остается лишь технологически все изучить, чтобы вернее устроиться в этом мире в свое удовольствие! Чувствуете ли, друг мой, что в этом бессознательно живем мы почти все, городские обыватели,— истинные последователи того животного, которое умеет смотреть только вниз?! И ведь это ужасный факт! И у него еще более ужасные последствия, ибо, в окончательном развитии своем, это настроение приводит к тому, что уже не человек приспособляет себя к своему идеалу и своей истине, не переделывает себя во имя идеала и истины, но истину и идеал переделывает по-своему, сообразуясь со своим удобством! 〈...〉

Я, однако, кончаю это письмо, обрывая его на средине. И без того оно делается уже очень большим, и я последую Вашему прошлогоднему совету,— лучше разобью то, что хочется сказать, на несколько посланий. В ближайшие дни, может быть, завтра, буду продолжать, а теперь отправляю Вам эти листочки, дабы они не залежались здесь долее.

Как мне грустно было, что Вам не сказал внутренний голос,— заехать в тетин дом, когда Вы были на Волге! А это последнее мое пепелище, столь богатое для меня драгоценными воспоминаниями и «печалию, яже по

Бозе», все ветшает и разрушается. Как бы хорошо было, если бы Вы экспромтом, хоть на денек, приехали в этот мой старый, дружеский тетин угол! Как бы потом Господь ни устроил нашу жизнь и пути наши, тетин угол любит Вас и чувствует в Вас себе очень родное, родную душу.

Но повторяю: я прерываю письмо, дабы поскорее его отправить, а в следующие дни буду опять писать. Что у Вас делается? Как здоровье Наталии Яковлевны? Да будет милость Божия с нею и с Вами, «весть бо Отец Ваш небесный, прежде прошения вашего, что́ есть на потребу?..»

Господь с Вами.

Ваш А. Ухтомский.

Дорогой друг Варвара Александровна!

Спасибо Вам за родные письма, доставляющие мне праздник. Простите, что не писал так долго. Не пишется мне сейчас иначе, как в свой дневник, который зато необыкновенно пухнет. Вы писали, что Вам жизнь открывается с новых, до сих пор не замечавшихся, но важных сторон. Так и мне. Как-то по-новому чувствуешь ее, но в то же время в согласии с переживавшимся в отдаленные годы детства. Последнее же письмо Ваше, писанное в день Казанской, напомнило мне, точно стучитесь Вы в мою могилу, в которой я зарыт и молчу, и стучите мне: «Слышишь ли, слышишь ли, что я пришла?» — «Да, слышу, слышу,— отвечу я тогда,— и прошу крепко молиться за меня!» И хоть молчу я, но не оттого, что нет человеческого чувства во мне, а оттого, что смежились уста мои до времени. Но только до времени, ибо мы чаем воскресение мертвых, и тогда потребуется сугубая молитва друга и любовь, связующая людей в то тело, глава которого Христос! Не взыщите же на молчании моем, трудно мне говорить, ибо бродит и перерабатывается душа, едва успеваю записывать из этого в свои дневники, которые пишу столько же для Вас, как и для себя. Каждый день вижу людей и приходится говорить с ними, но разговоры эти равны молчанию, потому что остается в них закрытой моя душа. Впрочем, может быть, и нужно в некоторые времена так запереться в себе, когда так много нерассмотрительного и непонятного для себя самого! Внутренний голос, тайный инстинкт

побуждает иногда молчать о своем внутреннем, оставляя его для самых потаенных углов своей беседы с Высшим. «Сущии во Иудеи да бегут тогда в горы»,— говорил Господь о грядущих тяжелых временах мира. Старые наши отцы толковали это слово так, что в тяжелое время души твоей и мира беги к помощи Священного Писания, к беседе с Высшим при свете Писания. «Возведох очи мои в горы откуда же приидет помощь моя!»

А о чем я молюсь,— хотите Вы знать? Вот как сложилась в моей душе сама собою молитва, с которой берусь я за Писание: «Способи, Господи, да не в суд и не во осуждение будет мне чтение Слова Твоего, но во очищение многих моих грехов и неправд. (Поклон.) Даждь мне в нем примиритися церкви твоей и даждь нам, людям твоим, соединиться воедино в Имени Твоем по образу единения лиц в Божественной Троице. (Поклон.) И да будет нам почитание Слова Твоего в радость Воскресения Твоего и в наставление на путь вечный и мирный». (Поклон.)

Вот Вам ответ на вопрос о моей молитве. Я вот несколько затруднился передать ее в словах, это оттого, что нигде ее не записывал, но она каждый день свободно и с малыми изменениями в словах повторяется во мне, когда я кладу три земных поклона перед тем, как возьму в руки мою старую Библию, подаренную мне тетей Анной, когда мне было 9 или 10 лет. Эта молитва сложилась во мне в последний год.

За это время, что я не писал Вам, была для меня утрата, которую почувствуете и Вы. 28 июля пал геройской смертью мой Костя [70], убитый пулей в голову при переправе чрез Стоход у местечка Любешев. Всякая смерть ложится на душу тяжело, ибо всякая личность сама по себе вообще ничем и никем не заменима, одна и неповторима. Костина же кончина легла на меня особенно тяжело, потому что в нем я лишился любимого и любившего меня, называвшего меня в своих письмах «вторым отцом», родного по душе, близкого мне человека. Милый мой Левонтий, как Вы его называли, шел на смерть довольно сознательно, у него не было рабского, пассивного подчинения обстоятельствам, а была готовность самопожертвования для людей. Последнее письмо ко мне он написал мне из только что занятого немецкого блиндажа, под огнем тяжелой немецкой артиллерии

25 июля. «Пока еще Бог хранит меня»,— писал он тогда. А через три дня он был уже убит. Бог позвал его к себе. Полковой адъютант, которого я спрашивал о Косте, ответил мне хорошим письмом, где говорит, что покойный «резко отличался от прибывших с ним и прибывающих после него офицеров, был гордостью полка»; одним из первых он перешел в ночь с 27-го на 28 июля вброд, во главе своей роты, реку Стоход, под адским артиллерийским и пулеметным огнем, у Любешева, выбил немцев из передовых окопов, отбивался геройски с остатками переправившихся рот от контратак немцев и пал в неравном бою, сраженный пулею в голову. Сначала он был ранен пулей в правую руку. Солдаты говорили ему: «Ваше Благородие, вам бы пойти перевязаться». А он отвечал: «Как все из-за пустяков будем уходить на перевязку, так дела не сделаем. Надо сначала взять, что задано, а там перевяжемся». Следующая пуля уже при контратаках немцев и убила его. Наши, не получая поддержки с того берега (ибо к тому времени уже рассветало, и наступил день, и поддержка не могла идти вброд под прицельным огнем), принуждены были отойти, причем оставили и Костино тело на том берегу у немцев. Три дня давалась задача полковым и ротным разведчикам выручить его тело. Но это не удалось, ибо немцы всякий раз открывали страшный огонь. За бой этот Костя награжден посмертно орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом. Это будет иметь значение для его девочки, которая сейчас в деревне.

Ну, вот Вам известие о моем Левонтии. Царство ему небесное. Я заказывал здесь по нем сорокоуст и хорошо сделал, так как жена его, как оказывается, не заказала сорокоуста у себя дома. Узнал я о кончине Кости в сентябре, после того как писал Вам.

О себе лично могу я сказать, что во мне что-то растет и бродит, и это подчас очень больно, так больно, что сказать нельзя. При этом переживаемое складывается в более или менее ясное и определенное слово обыкновенно ранним утром, когда только что встаешь от сна и становишься на молитву. Тут только начинаешь понимать себя, а в остальное время живешь тем, что открылось в это светлое утреннее время. Явились при этом, как мне кажется, и ценные новые мысли, для меня новые. Стал я охватывать жизнь как т р а г е д и ю. Думается мне теперь, что и философия должна и может излагать истину о мире не языком отвлеченных формул,

как делалось обыкновенно до сих пор, а языком трагедии! Это было для самого меня открытием, неожиданным освещением души. Христианство тем и отличается от прочих концепций действительности, что истинный смысл жизни открывается в нем не отвлеченными учениями и словами, не «доктриной», не каким-либо «первичным веществом», а трагическим пониманием истории мира и истории отдельной человеческой жизни. Кажется мне, что хорошо было бы развить эту мысль,— она устраняет много бесплодных споров между так называемым «позитивизмом» и христианским восприятием истины!

Но посещают меня счастливые мысли, и, главное, могу я думать о развитии их только здесь, в этой тишине, которая дается мне здесь, в благодарном моем дедовском углу!

Но и перестаю я доверять себе, перестаю верить себе! Что, если все эти надежды войти в открывающиеся новые понимания и мысли о жизни — всего только «прелесть», которая задерживает от важнейшего и прямого — от простого отказа от «своего» и ухода в нищету имущественную и духовную! Однажды утром, именно в минуты ясности понимания и чувства, личная моя трагедия представилась так: мне казалось в прежнее время, что я очень богат духом и этим богатством я должен поделиться с братьями, т. е. должен непременно идти к людям. Казалось, что прекрасно будет, когда я приобщу к тому миру, который имею, еще брата моего и друга моего, и притом не мысленно только, а реально введу в жизнь мою. И вдруг мне открылось, что нищ я и мне не только нечем делиться, а я едва живу сам, и положившемуся на меня я не могу быть опорой. Оказалось, что вместе с другом и братом я могу только учиться и искать научения, но сам я не имею, что дать ему. То самоощущение в богатстве было,— вижу я теперь,— заблуждением; и это уже потому, что оно в существе своем было упованием на свои силы и на «свое», т. е. было самоутверждением моего «внутреннего человека», которое могло будто быть полезно и добро не только для меня, но и для другого. Теперь вижу я, что это жалкое и опасное заблуждение — духовная болезнь самоуверенности, тогда как правда начинается там, где человек поймет свою духовную

нищету,— «Земля есмь и пепел». Тогда только и способен он к такому общению с ближним и с другом своим, которое и может быть на благо им!

Но вот я болею этой болезнью самоуверенности и доселе, ибо и доселе еще кажется мне, что я могу что-то тут сделать, добрым способом воспользоваться тем, что мне дано. Оттого ведь я и удерживаю у себя данное мне, а не отдаю его тому, кто дал. И именно страх перед самоутверждением своим научил меня молиться! Молитва моя в том, чтобы избавил меня Бог от самоудовлетворения и самоутверждения; ибо я всем существом чувствую, что тут Смерть и Зло для других и для себя.

Вот в очень коротких и отвлеченных словах главное, что живет сейчас во мне. А на языке святителя Тихона это выражено так: «Тако нас уязвил враг наш сатана, что без помощи Божией не ино что делаем, как только падаем и уязвляемся». «Что бо человек, благодатию Божиею необновленный, замышляет и хощет, как только едино Зло и суету!» «Когда светильника веры в сердце человеческом не имеется, не ино что там есть, как только тьма и всякое заблуждение».

Не верим мы этому, думаем, что все естественное и красивое не может «быть не добро»; только опыт открывает человеку ядовитую сторону самоутверждения. Я скажу даже более: «не верить себе» — это так трудно, что здесь нужна опять благодать же Божия, подобно тому, как без нее не найдется у нас сил отказаться от любимого родного угла, от собственности, от самолюбия и страстей! Ведь мы походя только то и делаем, что «верим себе» и своему разумению, как последнему голосу правды и полезного! Лишь окольным путем, путем длинной работы над собою, мы начинаем догадываться, что есть высший ум, чем наш, и что для усвоения правды в той полноте, как она открыта этому высшему уму, нам нужно перейти за границы нашего рассуждения и употребить усилие к тому, не сможем ли и мы приблизиться к тому, не нашему, высшему Уму и Разумению. Отцы, советующие не доверять себе и своему рассуждению, думают, впрочем, что это святое недоверие себе едва ли может быть достигнуто человеком собственными силами, но и здесь требуется труд, молитва, помощь Христова. (Смотрите у аввы Дорофея о неверии себе и своему уму.)

Вот еще напишу Вам одно из наблюдений моих над

самим собою, которое кажется мне замечательным. Я уловил его в церкви, за обедней в Успение, и потом записал себе для памяти. С некоторого времени стало мне ясно следующее. Издали мысленно летаю я по своим любимым местам на земле, где мне хочется быть, заглядываю, что делают там любимые мною люди, как они хлопочут по своим делам, заботятся, скорбят, утешаются и успокаиваются, как стоят там привычные и любимые вещи. И так хорошо и любовно, внимательно к душевным нуждам людей бываю я тогда там, так что, написав после того тем людям, я оказываю им действительную помощь,— значит, в самом деле вникаю в них! Но потом, когда в действительности приезжаю в эти любимые места, к любимым людям, внимание мое рассеивается мелочами, душа развлекается, занята не тем, что мне тут дорого,— являются и осуждение и раздражение,— и я ухожу без плодов, без удовлетворения! И людям тогда нет от меня добра и пользы! З н а ч и т, т е л е с н о е м о е п р и с у т с т в и е в э т и х с л у ч а я х д а е т м е н ь ш е, ч е м м ы с л е н н о е! В самом деле, «дебелая и тяжелая плоть», эта «несущая материя» (по выражению Платона) отягощает дух и не дает ему в подобных случаях жить полною жизнью,— она не служит уже ему, не обостряет его чувствительность, восприимчивость к действительности, но затрудняет их, тормозит их, как покрывало, накинутое на органы чувств. Это уже не слуга и не орудие духа, а связатель и отяготитель его!.. Но это не «тело» в тесном значении слова, а вся моя укрепившаяся самость, текущее мое самоутверждение, мое греховное Я. Тяготу этого чувствовал, очевидно, Ницше, когда писал: «Куда я ни подымусь, за мною всюду следует мой пес, имя которому Я». Вот и определяется задача, как бы вернуть это Я, эту самость и тяжелое тело опять на нормальное его место слуги и орудия духа в его жизни посреди прекрасного мира Божия! Ибо повсюду, повсюду, где тебе не по себе, тяжело, опротивело, сделалось невыносимо, это живое Я и твоя самость, твои собственные следы на этих местах, а также твоя инерция, испортили пути твоего духа, отняли его свободу, заградили в твоих глазах добрые перспективы, так что уже и нет желания оставаться тут и хочется уйти прочь! Не знаю, достаточно ли передал я здесь тогдашнее мое ощущение за службой в церкви Тихона Задонского! Но мне так ярко и ясно открылось тогда, как наша телесная наличность

может делаться из слуги и орудия — помехой и покрывалом для нашего духа. И нередко бывало, что, придя к Вам в Петрограде, я вдруг чувствовал, что было бы лучше, если бы я побывал у Вас, в Вашей комнатке, только духом и мыслью, ибо наличность моего тяжелого и инертного, материального Я только мешает и спутывает то, что живет в сердце и мысли! ⟨...⟩

Ну вот, я написал Вам в ответ на вопрос, чем я живу сейчас, что думаю, что делается в моей душе. Личная жизнь моя бурлит и бродит, мучает меня, не хочет говорить о себе, пока она не ясна самой себе; а рядом родятся и текут безразличные, не касающиеся только меня, мысли; и я тороплюсь, тороплюсь записать их! Мысли эти не касаются исключительно моей личной жизни, но они плод бурления и тревоги, смятения и просветов личной жизни, которая живет внутри себя, и с Вами, и с тетей.

Дорогой друг, если бы я ушел теперь туда, куда меня звали, в Воскресенский монастырь [71], то это не значило бы, что мы с Вами расстаемся, а значило бы то, что говорил, уходя в пустыню, преподобный Алексей Человек Божий своей невесте: «Пождем, когда благодать Божия устроит с нами нечто лучшее». Когда я молюсь Богу о том, чтобы дал он людям единение в Его Святом Имени по образу лица Живоначальной Троицы, то прежде всего помню при этом единство мое с Вами, как и единство мое с тетей, отцом, матерью, братом... Кстати сказать, брат мой советовал мне устроиться так,— если я решусь пойти к нему,— чтобы передать в Ваше распоряжение мое имущество. Он писал мне об этом еще весною. Но мне как-то неприятно было говорить Вам об этом. Мне кажется, что для Вас удобнее было бы, если бы я передал в Ваше распоряжение не недвижимость, а деньги, какие выручатся от продажи моего имущества!

Но до конца войны мне, во всяком случае, не придется уйти из Университета, ибо это было бы похоже на «бегство с поста в критическое время». И во всяком случае, уйти без благословения Вашего на то я не могу. Если Вы были бы невестой моей в обычном смысле слова, то я мог бы решать, «как скажет моя душа». Но с Вами я не могу не быть вместе, так что вместе же должен решить и отход на Служение в иночестве. Когда Вы укрепите меня, у меня будет вдвое сил, чтобы преодолеть себя, свое миролюбие, любовь к родному углу и попробовать быть учеником Христовым. А ведь пока не

преодолел человек всего этого ради Христа, то, по его слову, не может он и быть его учеником! Надо помнить, что Христос есть «учащий о нищете», как поется в стихире великого Четверга! И он ждет от людей, чтобы они вышли из здешнего «града» и пошли за ним! Да сохранит, да спасет, да обрадует он нас, да будем вси едино, по великой молитве его!

Старый дом мой кланяется Вам до земли. Многое бы хотелось привезти Вам отсюда. Так много, много тут дорогих воспоминаний! Каждый дорогой мне уголок шлет Вам привет!

Надеюсь, что Вы получите это письмо до 30-го,— как Вы хотели. Буду я тогда духом в Вашей комнатке. В Казанскую из своей комнаты осенил Вас широко иконою Казанской Богородицы, и мне тогда вдруг стало светло и ясно на душе; а Вы в это время писали мне.

Выезжаю скоро в Петроград. Как тяжело мне там! И как мало я делаю там!

7 июля 1917.

Добрый друг Варвара Александровна,
хочу обратить Ваше внимание на следующее. Вы видели, что кронштадтская шушера лакала воду, припав по-собачьи к ней и лежа. Еще когда Вы рассказывали мне это, я подумал, что это признак с л а б о с т и и х. Теперь же прочитал об этом и прошу Вас прочитать в книге Судей Израилевых, гл. 7, ст. 4—5. От таких жадных и слабых, безудержно бросающихся лакать, Господь велел очищать Божие войско, и лишь после удаления их возможна победа. Победа же и ныне нам возможна, если вернемся к Правде Божией от «правды» своей, ибо только тогда сможем принять победу без гордыни! Смотрите в той же главе стих 2-й: «Не могу я предать мадианитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо мною и не сказал: моя рука спасла меня!» Все дело в гордыне, она губит, проклятая сила, и только там спасение, где она выброшена! До сих пор Россия бита в этой войне за гордынную идею 1915 года захватить в свои руки Премудрость Божия Софию Царьградскую! Вспомните, что пока об этом мы не болтали глупыми языками, мы побеждали, а с первого слова о том, как это мы, дескать, распорядимся с Царьградом и вселенской Патриархией, когда их захватим (в мае 1915 года), начались наши беды. Это был перелом! Я настаивал и настаиваю с тех пор перед своими попами и знакомы-

ми, что пока Россия смиренно не откажется от мысли владеть Царьградскою Софиею, до тех пор будут поражения; и вот я убежден, что победы начнутся со смиренного сознания, что не доросли мы до обладания Софией-Премудростью, земля бо та свята есть. Господь в премудрости своей не дал крестоносцам Святого Града, ибо в основе крестоносных порывов, под покровом благочестивых слов, была гордыня, дерзость, искание мирских и государственных выгод. Вот также и Царьград не дается нам, а если дается, то лишь на окончательную нашу погибель в бесовской гордыне и профанации святыни в мирской выгоде! Это искони чувствовали и исповедовали старообрядцы, чувствую и чувствовал я ранее, чем ознакомился с их взглядами! И в них, и во мне говорит в данном случае чутье старой православной Руси!

Но сейчас, после дня преподобного Сергия, во мне вдруг загорелась хотя отдаленная, но яркая надежда, что мы победим. «Избрали новых богов — оттого война у ворот» (Суд. Изр. 5, 8),— пела несравненная Девора, великая женщина, поворотившая расслабевших в сластолюбии и идолопоклонстве земляков к их исконной силе, славе и победе — Богу Израилеву. Пусть же, по святому слову Писания, надежда не посрамит! За молитвы преподобного Сергия спасет Отец Небесный Россию, как спас ее против татарщины и против враждебных сил смутного времени.

Но мне сейчас хочется обратить Ваше внимание на указание главы из Судей Израилевых. Прочтите их, пожалуйста. Как забвение Божиего пути и поклонение чужому и ложному богу сластолюбия влекло расслабление духа, войну и поражение; а поражение, в свою очередь, будило дух, рождало людей, горящих Божиим огнем, они воодушевляли свой народ, давали ему укрепиться; и тогда Бог помогал восстать свободе от внешнего поработителя и от внутреннего греха.

А. У.

Друг Варвара Александровна, очень прошу Вас достать следующие книжки петроградского протоиерея отца Егорова:

1) «Новый учебный план, краткая программа и методика закона Божия».

2) «Курс Закона Божия для низших начальных училищ».

3) «Курс I и II классов гимназий и высших начальных училищ».

Склад этих изданий находится в Петрограде в Лазаретном переулке, д. № 4, кв. 4.

Прежде чем вышлете мне, прочтите и сами первую из этих книжек. Я имел случай видеть и просмотреть ее и от многого готов был прийти в восторг. Впрочем, я не мог прочесть книжку целиком и потому не берусь расхваливать ее во всех отношениях. Но, во всяком случае, многое, что я успел тут прочесть, замечательно! И тут так много родственного мне! Думаю, что Вы это заметите сразу. Приятно, когда оказывается, что не один ты сейчас думаешь так, как думаешь, но вот и еще человек стоит крепко и убежденно на той же почве, которая близка тебе!

Преподавание «Закона Божия» — болезненная тема этих дней и будущего. Оно ведь и на самом деле было у нас чрезвычайно плохо. Недаром и результаты таковы! Ведь все эти дикие и бесноватые, мучащиеся и мучащие в несчастной России,— все они обучались «Закону Божию» по школам и гимназиям! Спрашивается, что же это и был за «Закон Божий», если таковы плоды! А ведь нам сказано, что «по плодам их познаете их»... Пожалуй, что и нет особенных оснований ратовать за сохранение в школах прежнего схоластическо-казенного «Закона Божия», нужно же что-то радикально новое, подлинно церковное и подлинно святоотеческое. Вот опыт отца Егорова и есть это новое и потребное, живое, глубокое и церковное преподавание. При ближайшем ознакомлении с ним в нем, наверное, найдутся и недостатки. Но основа-то останется жизненной, полезной и доброй. 〈...〉

Что касается меня, то, как видите, я еще в Рыбинске. Не едется мне в Москву. Тем не менее ехать надо,— отец С. Шлеев уже шлет сердитые послания, жалуется на нападки миссионеров, на необходимость борьбы с ними... Как-то не время теперь для всего этого. Время же ныне великое и просвещенное, издавна предчувствовавшееся совестью человечества, как видно, например, из древних прообразов Даниилова пророчества, относящегося одинаково и к эпохе римского разрушения Соломонова храма, и к эпохе грядущего Противника. Читайте у Даниила главы 11 и 12. И хорошо, если бы

удалось Вам достать толкование на эти главы в книге Иринея Псковского «Толкование на пророке Данииле». Мировая драма заканчивается у Даниила тем, что Михаил, Князь Великий, приходит в конце истории, когда будет время скорби, «скорбь Якова не бысть отнелиже создася язык на земли, даже до времене оного» (Дан. 12, 1),— приходит, чтобы поразить и победить накопившуюся прелесть, и гордыню, и злобу князя мира сего.

Этот конец истории и запечатлен в образе Архангела Михаила на иконе Страшного Суда, где Архистратиг, в доспехах воина и вместе в схиме инока, изображается поражающим сатану. На древних иконах Страшного Суда это изображение писалось справа от прочих фигур, у самого поля, во всю высоту иконы, так что поражающий Архангел находится наверху в правом углу образа, а низвергаемый Диавол как бы скрывается внизу, в нижнем правом углу.

Суслов, по моему заказу, написал мне это изображение отдельною иконою несколько лет тому назад, и икона эта находится у меня здесь. Я ее очень люблю. Если Бог принесет Вас сюда, то увидите ее...

Сюда идут беженцы с театра военных действий. Кой-кто грозит, что их будут расселять принудительно по здешним квартирам. Я побаиваюсь, что в мое отсутствие из Рыбинска в мою комнату могут поселить кого-нибудь из таких пришельцев, которые все разрушают, уничтожают, разворовывают. Я принимаю кое-какие меры против этого, поселил мальчика — моего крестника Мишу [72] — около моей комнаты, чтобы не было пустого места; но все же опасность есть. А хотелось бы, чтобы комната эта сохранилась для Вас с Татьяной Александровной [73], пока в ней еще есть какой-то уют, сохранившийся от тети Анны! Ну, будем надеяться, что Господь сохранит!

Из Москвы напишу [74]. Но, может быть, напишу еще и отсюда, ибо надо еще кончить здесь кой-что из домашних поделок.

Простите меня Христа ради и помолитесь в Вашем прекрасном уголке, где я бываю нередко! Положите также, пожалуйста, поклон за меня на могиле Михаила Ильича [75].

Ваш преданный

А. Ухтомский.

4 сент. 1917. Рыбинск.

IV

Друг дорогой Варвара Александровна,
очень давно не знаю о Вас, но внутреннее чувство мне говорит, что милосердие Божие пребывает с Вами неотлучно и хранит Вас от всякого Зла, воздымающегося в свирепое антихристово время. Как легло Вам на душу это последнее время с новым ленинским выступлением, с «переворотом» и проч.? Что Вы читаете,— какую Божию мысль читаете Вы за этими фактами? Я все время чувствую, что все это предрешено и всему этому воистину «подобает быти» еще с тех пор, как в феврале и марте маленькие люди ликовали по поводу свержения исторической власти; как историческая власть впала в великий соблазн и искушение последних лет; как правящее и интеллигентное общество изменило народу... Одним словом, исходные нити и корни заходят все дальше и дальше, и из этих корней роковой путь к тому ужасу, который переживается теперь и о котором надо сказать, что, переживая его лицом к лицу, мы еще и не отдаем себе полного отчета, до какой степени он ужасен! Пожалуй, верно, что вблизи вещи вообще не так кажутся ужасными, как издали; но это именно потому, что вблизи мы не успеваем дать себе полный отчет в значении того, что перед нами совершается!

А совершается Судный День Господен, предшественник Великого Судного Дня, в который откроются «советы сердечные и тайны тьмы»!

Здесь, в Москве, происходят события, не менее тяжелые, чем у Вас в Питере. Около Сретенского монастыря [76], где я живу с братом, находилась телефонная станция. Почти четверо суток трещали у нас под боком пулеметы, винтовки, гремели взрывы бомб, бросавшихся из бомбометов. Справа, слева, сзади от монастыря с построек и домов трещали выстрелы, производившиеся, по-видимому, провокаторами. У меня сложилось такое впечатление, что стрельба из домов вообще производилась около церквей и монастырей, как будто тут сказывалась чья-то цель — направить толпу на погром церквей и монастырей. Однако большевики-солдаты все-таки разбирались, откуда происходит пальба, и начинали стрелять по соответствующим домам.

Вы уже знаете, как пострадал Кремль, Успенский собор, Чудов монастырь, Патриаршая ризница с библиотекой, Никольские, Спасские ворота и проч. 〈...〉

Своими собственными руками разрушает прегрешивший Израиль свой храм и свою святыню, где бы он мог вознести молитву Богу в час кары! А дальше видится приближение Вавилонского пленения для безумного народа, ослепленного ложными пророками и преступными учителями, приводящими к историческому позору! Удивительна аналогия того, что сейчас совершается с русским народом, и того, что было с древним Израилем во время пророков и Вавилонского плена!

Собор наш не оставляет благоприятного впечатления. Кажется, я не преувеличу, если скажу, что предержащая церковная власть оказалась косноязыческою и почти утратившею внятную речь; единственное внятное слово, которое ей удалось,— да и то с перепугу от большевистских пушек,— это: «па-па-патриарх»[77]. Это сказалась тайная мысль, лелеявшаяся владыками еще в царские времена. Под влиянием испуга таившееся слово и соскочило с языка!.. Но потом речь пошла опять невнятною, и вряд ли будут у нас какие-то крупные «исторические» результаты! Самое главное, на мой взгляд, что должен был сделать Собор,— это восстановление и утверждение народно-соборного начала в церкви,— того самого, которое дает силы старообрядческим общинам и которое было обругано и изгнано господствующею церковью при Никоне. На Соборе оказались довольно крупные силы,— из мирян по преимуществу,— ратовавшие за это. У меня особенно доброе впечатление осталось от профессора Одарченко, в котором я чувствую немало родственного мне по духу. Но официальные заправилы церкви, с владыками и миссионерами во главе, отнюдь не расположены что-либо изменять в отношении церковного народа; наоборот, спасение видится ими все еще в обеспечении и монополизировании власти у иерархий; слышатся чьи-то католические мотивы,—которых так боялись старые славянофилы,— что иерархи и есть исключительно «поучающая церковь», тогда как народу остается только слушать, чему его учат попы и архиереи... И это говорится у нас, в русской церкви, где лучший богослов был светский человек — А. С. Хомяков![78]

Сессия Собора продолжится, вероятно, до средины декабря, возобновление предполагается лишь весною, после Фоминой недели, или в мае. Но что еще будет до тех пор!

Я надеюсь скоро выехать отсюда в Рыбинск, оставив

то, что хотел докладывать на Соборе, в виде записок, которые будет добр прочесть брат.

Последний, на мой взгляд, очень падает духом и чрезмерно скорбит по поводу событий. Мне кажется, что я бодрее смотрю на вещи. Храни его Бог! Мне его очень жаль. Живем мы вместе, но говорим чрезвычайно мало. Сейчас его нет, когда я пишу Вам эти строки,— он ушел куда-то с ночевкою.

Просьбу Вашу — помолиться в Архангельском соборе и поставить свечу пред иконою Благодатное Небо — я исполнил еще в день Покрова Пресвятой Богородицы, 1 октября. Да будет покров Ее над Вами в эти мрачные, тяжкие дни. Со своей стороны помолитесь за меня у Вашей покровительницы Одигитрии в Вашей комнате и на могиле Михаила Ильича. Я нередко бываю духом в Вашей комнате, у Вашей прекрасной иконы, и у креста Михаила Ильича, Царство ему Небесное.

Душевный мой привет и поклон Татьяне Александровне.

Простите. Пожалуйста, напишите мне в Рыбинск и сюда. Я распоряжусь, чтобы письма мне переслали, если я уже уеду. Да будет милость Божия с Вами.

Преданный А. Ухтомский.

14 ноября 1917. Москва. Сретенский монастырь на Лубянке.

24 ноября 1917. Москва.

Дорогая Варвара Александровна,
вчера получил от Вас давно жданное письмо, сейчас открылась свободная минута, и вот захотелось побеседовать. Теперь опасно ходить по Москве вечером, так что я ранее окончания вечернего заседания Собора вернулся домой; здесь же никого нет,— я один,— а это так хорошо, так легко на душе; Вы ведь тоже знаете великолепные стороны одинокой тишины!

Я был ужасно рад получить Ваши строки,— дай Вам Бог здоровья за них! Положите за меня три поклона у Вашей иконы Одигитрии, и Вас Господь да помилует за то, что умеете приносить радость ближним!

Ну вот, возвели у нас здесь на престол нового всероссийского патриарха! Лично святитель Тихон — человек кроткий и смирен, а это, пожалуй, по нашему времени и всего лучше. Очень деятельный человек с крупной волей был бы, пожалуй, опасен. Вы уже знаете,

что Собором избраны были три кандидата: Антоний Харьковский, Арсений Новгородский и Тихон Московский. Жребий в церкви пал на последнего. И в самом деле приходишь к убеждению, что жребий этот сделал самый мудрый выбор по переживаемому времени!

Будем молиться, чтобы от нового патриаршества не было вреда, а была бы действительная польза для церкви, вступающей в тяжелую полосу исторической жизни!

Что сказать про Собор вообще? Возникал он в убеждении, что церковную жизнь в России нужно обновить, избегая «реформации», путем же ее «исполнения». Помните, может быть, как читается за литургией: «исполнение церкве твоея утверди!» Но для того, чтобы было возможно такое исправление чрез исполнение, надо, чтобы внутри самой церкви ее деятели и члены понимали, что им надлежит радикально переработаться, отречься от своих пороков и прошлых недостатков. Вот так и в Риме пред реформацией были попытки друзей церкви произвести обновление ее «in capite» [79]. Однако иерархия, самая глава-то, не хотела пойти на это самоисправление, не хотела допустить и мысли о своей вине и о потребности перемены своей политики. И этот-то отказ иерархии в переработке своей деятельности был началом нового пути в истории!

У нас на Соборе иерархия тоже старается объединиться и забронироваться, не желая признавать, что в прошлых и настоящих бедах церкви виновата в значительной мере она; она желает думать, что вся вина в исторических условиях, например в отсутствии патриаршества, в насилии со стороны государства, в пороках паствы и т. д.,— в чем угодно, только не в недостатках самой иерархии! Вот это упорное недопущение критики «главы», это упорное самооправдание в своих собственных глазах, а затем и перед лицом церковного народа,— это особенно опасный симптом того, что предстоит, пожалуй, уже не «исполнение», а настоящая реформация! В настоящее время, при той настроенности упорного самооправдания, которая царит в иерархии (не допускающей и подозрения в том, что ведь бóльшая часть современных епископов носит сан и приобрела его противоканонично!), мы не способны дать никакой живой, обновляющей, животворящей мысли для ближайшего будущего нашей церковной жизни! И все, на что оказались мы способными, это объявление, что —

дескать — если было плохо, то это не от нас, а оттого, что нам не давали завести патриарха! А стало быть, пусть же будет дан патриарх!.. И посылки, и вывод так мелки, что вряд ли обманут кого-либо!.. И еще тревожный, зловещий симптом — мы, миряне, те самые, которые отчетливо чувствуем наличные и приближающиеся беды церкви, много молчим на Соборе. Можно сказать, что на Соборе не высказывается самого главного,— не высказывается, ибо это самое главное ужасно далеко от того, чем заняты «деловые часы» Собора; не высказываемся, ибо мы привыкли стесняться паче меры пред властями и епископами; умалчивается, ибо такова старая наша традиция в отношении власти, и так долго и упорно власть велела нам молчать. Но это-то умалчивание на настоящем Соборе тем более зловеще, что раз зародившиеся мысли и потребности будут превитать и зреть в молчащих, пока не явится человек воли и дерзновения и не поднимет бунта против прежней власти, т. е.— воздвинет уже реформацию! Вот нерадостные впечатления от Собора после длительного пребывания на нем! Надо усиленно молиться Богу всем верным детям Церкви, и Вам в том числе, чтобы избавил Господь нашу русскую церковь от лишних бед и направил ее на путь правый.

Кстати, хорошо, если бы Вы попробовали достать прекрасную брошюру Карташева о «реформе и исполнении церкви». Вообще это светлый и редкостный человек по нашему времени! 〈...〉

На Введении Богородицы я был на великолепной службе в Рогожском кладбище и отдохнул там душой от черствых, жестких впечатлений московской современности... Приобрел великолепную древнюю икону Спасителя в басме. Ей более 300 лет.

Пишите поскорей. Тогда я успею еще написать в ближайшие дни. Господь с Вами!

А. У.

Дорогой друг Варвара Александровна,
примите мое приветствие со днем Вашего Ангела Великомученицы Варвары. 〈...〉

На окончившейся неделе я съездил наконец к преподобному Сергию в Лавру,— побывал на всех дорогих местах, где жили мы с тетей Анной; был за прекрасной ночной службой в Троицком соборе, затем у обедни в Никоновской церкви. Так у меня светло, радостно

было и осталось на душе от светлой обители дорогого старца, печальника о несчастной русской земле! Молился у преподобного о Вас, о тете, об отце, о покойниках, о нашей русской болезни духа и тела,— безмерной скорби нашей общей! Повторяю, что в Лавре и Посаде было мне прекрасно, и до сих пор остался в душе светлый след от того духа, который продолжает царствовать чудесным образом в обители преподобного Сергия и вокруг нее! Удастся ли мне когда-нибудь осуществить те начатки, которые зародились тогда, в академические годы, в этом тихом и благодатном уголке? И как бы хорошо когда-нибудь пожить в тихом и мирном воздухе Сергиева Посада!

А что делается в Питере? Как было бы хорошо, если бы Вы написали о Ваших-то впечатлениях касательно того, что у Вас там совершается.

Преосвященный Андрей сердечно Вас поздравляет с Ангелом и шлет благословение с самыми теплыми пожеланиями.

Господь с Вами!

Собор наш, т. е. настоящая сессия его, заканчивается 9-го декабря. 10-го я надеюсь выехать в Рыбинск, а затем придется ехать к 20 января на следующую сессию, если Бог даст ей осуществиться.

Пока простите. Напишите, тогда и я скоро напишу.

А. У.

2 дек.

Дорогой друг Варвара Александровна,

очень жаль, что Вы не написали мне о том, что отъезд Ваш из Петрограда на праздники не состоялся, и я узнал об этом так поздно. Я представлял себе, что Вы пустились в дорогу, что мучаетесь в пути от тех препятствий, какие понастроены теперь повсюду, но что в конце концов все-таки достигли тихого угла и отдыхаете среди родной семьи. А оказывается, что Вы так и не поехали! А я так и не переписался с Вами на праздниках!

Хорошо, что Вы не пустились в путь в такое трудное время. Но, с другой стороны, как ужасно тяжело, по слухам, и в Петрограде! Храни Вас Матерь Божия! Ланя третьего дня прислала мне письмо, в котором пишет, что хлеба выдают уже по осьмушке!

Что касается меня, то мои дела за это время были таковы. Одиннадцатого декабря я выехал из Москвы домой в Рыбинск, куда и приехал благополучно 12-го. Я предполагал пробыть дома несколько дней, чтобы затем поехать в Петроград. Хотелось бы во всяком случае встретить Рождество Христово дома, в родном углу, у родных могилок. Около тридцати лет тому назад встречал я здесь эти Святые дни, когда был еще мальчиком, до корпуса! И вот Господь привел в самом деле встретить здесь Христово Рождество; идя к ночной службе, был у тети на могилке; на родные же могилки пошел и от службы, прославил на них Рождество Христово. Это было очень радостно для меня!

Но почти сразу после праздника, в особенности с третьего дня его, я захворал и принужден был слечь в постель. Недомогание было, по-видимому, давно; а тут присоединилась простуда или заражение. И так на несколько дней я отошел от мира и его впечатлений, чтобы погрузиться в полусознательное и грезящее состояние, с сильной болью в голове, в спине, в ногах, притом в правой половине груди. Была инфлюэнца, осложнившаяся затем воспалением правого легкого. И вот, хоть это была болезнь, она все-таки была облегчением, ибо душа в это время отошла от постоянных ожиданий худшего, от гнетущей тяготы, которая стоит все время над сознанием, точно туча!

Теперь я оправляюсь, сижу за столом, читаю и коечто работаю. Предполагаю поехать в Петроград, как только будет покрепче мое состояние. Ехать, в особенности в Петроград, теперь очень трудно. Поезда идут безобразно неправильно; стекла повыбиты; места в вагонах забиты до крайности, так что приходится помещаться чуть не на площадках. Как поокрепну, выеду. Поджидаю еще себе попутчиков, которые могут оказаться в следующие дни. С ними будет, я думаю, полегче в толпе.

Ну, однако позвольте хоть теперь, так поздно, приветствовать Вас с прошедшими Святыми днями Христова Рождества и Богоявления! У Вас были книги, и читали службы в эти дни, а значит, было многое для того, чтобы войти в них мыслью и душою! Живешь много лет, и каждый год все с новой стороны и с новым содержанием открываются Христовы дни! Это так и должно быть, потому что мы все живем «яко зерцалом в гадании», все узнаем лишь «отчасти»,— как говорит апостол,— но все

более приближаемся к тому, как есть в действительности, если только не заглох внутренний человек. «Бог есть всякая доброта и выше всякой доброты, который просвещает ум и оберегает от быстроты и выспренности ума, столько всегда удаляяся, сколько постигается, и возлюбленным своим возводя горе тем, что убегает и как бы вырывается из рук» (Григорий Богослов). У древних греков было сказание, что пловец все стремится к Делосу, издали видя его, а остров все уходит от пловца далее и далее, по мере того как тот силится приблизиться к нему. И вот, так пловец работает все дальше и дальше в стремлении к прекрасному острову...

В христианстве мы также влечемся за тем, в чем ощущаем Дыхание Божие,— а оно, уходя все вперед и вперед, ведет нас за собою выше и выше; ибо это уже не просто благодетельный остров, но наш Первообраз, к которому стремится все лучшее, что есть в нас! «Уподобление Первообразу, совершаемое умом и добродетелью, и чистое желание, которое непрестанно более и более преобразует нас по Богу в истинных тайнозрителей горняго, знающих — откуда мы, какими и для чего сотворены» (он же).

Купил я у Троицы-Сергия сочинения Григория Богослова и теперь наслаждаюсь ими параллельно с продолжением Златоуста. Особенно дорого побыть в стихии этих дорогих отцов именно теперь, когда разыгрывается такая мировая трагедия с необыкновенным значением,— когда воздымается опять и опять гордыня Врага и Противника для искушения человечества, и мир испытывается оружием и огнем, «прежде даже приити Дню Господню, великому и просвещенному».

Кстати сказать, по поводу того, что я писал Вам в последнем письме об антихристе, я нашел у Григория Богослова места того же смысла. Вот они: «Боюсь, не есть ли настоящее уже днем ожидаемого огня, не вскоре ли после сего настанет антихрист и воспользуется нашими падениями и немощами, чтобы утвердить свое владычество. Ибо, конечно, нападает он не на здоровых, и не на совокупленных любовью; а надобно, чтобы царство само в себе разделилось, чтобы крепкий в нас рассудок подвергся искушению и был связан, чтобы сосуды были расхищены и мы потерпели то самое, что, как видим, терпит теперь враг от Христа».

Вот, значит, если мы сами заранее не расслабеем духом, сохраним верность, удержим рассудок на своем

месте, то не будет для нас опасности, о которой говорит апостол Павел в начале Послания к Римлянам: «действия лести, еже верите неправде»; а пока в нас самих не завелся такой страшный внутренний враг — склонность верить неправде,— до тех пор и противник не имеет в нас места, за которое он мог бы захватиться!

Страшный, в самом деле, внутренний враг — наклонность верить неправде! И как широко разлито это наказание Божие в наши отступнические дни!

Вы как будто считаете непоследовательным у наших большевиков, что они едва не прекращают богослужение в храмах, что киевские иноки дрожат, ожидая наложения большевистских рук на святыни и т. п., вообще, что нет и помину о пресловутой «веротерпимости». В данном случае Вы, очевидно, не отдаете себе отчета в том, что такое большевики! Они именно вполне последовательны, уничтожая христианское богослужение; логическая последовательность приведет их к прямым, принципиальным и, стало быть, жесточайшим гонениям на христианство и христиан! Вы это имейте в виду, дабы представлять себе вещи, как они есть в действительности!

А что это так, я сделал здесь две выписки.

Далеко не большевик, прекраснодушный, мягкий социалист-философ Жорес, излагая основы социал-демократического мировоззрения, писал: «Не общество создано для религии, а религия для общества... и если экономические, даже климатические условия социальной жизни дают право гражданской власти видоизменять, прилаживать по своей мерке религиозную организацию, то почему этого общественного захвата должен избегнуть догмат, и почему он не должен приспособляться к требованиям и нуждам гражданского общества?..»[80] «Церковь есть союзница и служительница буржуазной собственности...» «Она еще сильна во всех классах, она замедляет наши успехи, и если социалистическая эволюция внезапно обострится в революцию, если пролетариат захватит власть или значительную часть ее, церковь несомненно станет центром сопротивления, и, может быть, ей удастся отбросить еще на полстолетие, даже на столетие, рабочее движение, как в июне 1848 года, как в мае 1871 года... только долгими усилиями мы можем сократить ее завоевания в мире».

Вы понимаете, какие выводы отсюда должны сделать те же социал-демократы, но не прекраснодушные мень-

шевики-эволюционисты, а гг. большевики, которым подавай все сразу и немедленно!

А вот Вам и другая выписка, на этот раз из большевика г. Луначарского, нынешнего министра народного просвещения! «Мы, социал-демократы, не должны ни на одну минуту забывать, что жрец — это неумолимый и серьезный враг пролетариата, а следовательно, всего человечества враг, не имеющий для себя даже оправдания буржуя, капиталиста, все еще необходимого для социализма, как сила, подготовляющая ему почву. Историческая роль жреца давно уже целиком вредна».[81]

Как же не быть принципиальному и жесточайшему гонению, как только для «просветившегося» народа, по рецепту большевиков, станет «совершенно ясно», что церковное дело — самый страшный враг того, что они считают за универсальное благо. Дело должно идти не о притеснении, не о гонении в собственном смысле, а о принципиальном истреблении того, что объявлено «врагом пролетариата, а следовательно, врагом человечества».

Итак, Вы не заблуждайтесь касательно большевизма! Это открытый враг и гонитель христианства! Ни о какой веротерпимости не может идти речь, ибо это «буржуазно-либеральный предрассудок», и, с точки зрения социал-демократической философии, веротерпимость к христианской церкви была бы вопиющим противоречием!

В ночь на Обрезание Христово, т. е. в так называемую Васильеву ночь, я лежал больной на диване, около меня горела лампа. Я достал карандаши и стал писать в своей книжке, которую пристроил к стенке дивана. Было очень тихо, никаких звуков, и мне хорошо удалось записать все то, что вырабатывала лихорадочная мысль. Писал я, как мне осветилось в сознании, значение смерти Господа Иисуса на кресте, отчего Он, велевший хранить жизнь, как бесценный дар Божий, сам все-таки пошел навстречу поднявшейся волне злобы и предался на крест. Сейчас писать об этом не буду, потому что было бы слишком большое письмо. Но, если хотите, напишу на днях в особом письме. Мне очень хотелось бы, чтобы Вы прочли и сказали, как Вам покажется то, что осветилось мне в эти дни Величайшее Мировое Дело. Конечно, в нашем сознании приоткрывается все это лишь весьма «отчасти», всегда с какой-нибудь одной стороны. Попытка уяснить себе в своих

понятиях Великую Трагедию Слова всегда напоминает детский лепет. Но все же очень дорого это, когда в своей жизни улавливаешь нечто, дающее ощущение тайны, в которую веришь, но пока чувствуешь далеко, далеко от своей мысли.

Итак, если позволите, оставлю это до следующего письма, которое, Бог даст, напишу скоро!

Спасибо Вам за память и молитву на могилках Ваших родичей и отца. Я был на них мысленно еще до того, как получил Ваше письмо. Бываю и на месте упокоения Михаила Ильича. Царство им небесное, вечная жизнь по обету Христову!

Простите. Не взыщите на меня. Молитесь о моем и Вашем святом уголке.

Ваш А. Ухтомский.

10 января 1918 г. Рыбинск.

Дорогой друг Варвара Александровна,
я получил Ваше маленькое письмо от 11 (?) января. Впрочем, в письме Вы не указываете даты, 11 января — это показание почтового штемпеля в Петрограде. Из письма вижу, что Вы пока не получили моего письма, отправленного отсюда. Надеюсь, что хоть сейчас, когда я пишу эти строки, то письмо мое дошло до Вас!

Я покамест нахожусь все в том же состоянии «полуздоровья-полуболезни». Настроение, конечно, все время тяжелое, и это способствует недомоганию. Однако болеть в родном углу хорошо,— благодарю милосердного Бога за то, что имею возможность и в это время побыть со святыми книгами в духовном покое, в тишине! Читаю параллельно Григория Богослова и Златоуста. Вести о новых событиях доходят сюда мало, редко и поздно; так что и в этом отношении есть возможность укрыться от бесовской сутолоки, захватившей массы и города! Но и при всем том над душою стоит темная туча, мрак едва рассеивается лишь в те часы, когда стоишь на молитве. Для очей веры христианской события не загадочны, физиономия их ясна. ⟨...⟩

Христиане предупреждены относительно того, что имеет быть, и им не приходится ужасаться теми событиями, которые развертываются перед нами. Знаем о том, что должны быть гонительства и жесточайшие попытки истребления Христова наследия! Так что то, что кажется

таким новым и небывалым для самих «творцов» всех этих новейших дел, оказывается для нас древнейшим, давно предсказанным типом событий, свойственным всем тем эпохам, в которые особенно ярко сказывается нравственное падение и растление общества, но, вместе с тем, подымается гордыня древней злобы, все пытающейся быть «яко бози». Мы не знаем, и не можем знать, начало ли это конца перед нашими глазами! Но, что именно пред концом истории злоба и гордыня богоборческой стихии должна воздыматься с особенною силою, об этом мы предупреждены церковным преданием. Тот тип событий, который сказывался при Антиохе Епифане[82] в древней Иудее, затем при разрухе Иерусалимского храма римлянами в I веке христианской веры, и в эпоху еретических смут, варварских нашествий и мусульманской грозы в преддверии 1000-го года по Христове Рождестве,— этот тип с особенной силой должен повториться пред завершением истории. Мы, во всяком случае, находимся в одном из подобных «узлов» мировой истории. Какое, в самом деле, поразительное и намекательное стечение признаков! Широкое разлитие легкомысленного неверия Христу в российском «интеллигентном» обществе, все возрастающее растление и извращение души и умов в разных «декаденщиках», «теософиях»[83], «кубизмах», «футуризмах», растущее углубление разврата, появление Григориев Распутиных, ужасающий спрос на них и вообще на ложных пророков, развивающееся отсюда поругание церкви в соблазняющейся народной душе, затем ужасные войны, кровопролития, явно иссякающая любовь в людях, необыкновенно возрастающий спрос на ложь, возрастающая неспособность верить правде, наконец явное одичание, возвращение к инстинктивной жизни древней обезьяны и свиньи, скрывавшейся до сих пор под культурной скорлупой, с таким трудом надстроенной за историю сознательной жизни человечества!

И церковные мыслители издавна предвидели, что самому христианству предстоит глубокая перестановка посреди вещей мира и, соответственно, глубокое изменение влиятельности христианства в мире. 〈...〉

Как же понять положение в церкви и в мире этих предвидимых, скрытых от глаз мира и суеты его, носителей христианства в последние лета? Как они могут в своей сокрытости от мира нести в себе христианское

предание? Как можно было бы представить себе такого сокрытого деятеля церкви, которым она утверждается и который остается втайне от глаз и разумения мира?

Задача христианской обработки человечества громадна: требуется воспитать дух человека прогрессивно, т. е. так, чтобы еще в здешних земных условиях началось спасительное напряжение и способность движения «из силы в силу». При этом то, что не успеем исполнить самолично, во время своей земной жизни, осуществляется и довершается будущим церковным преданием! Главное дело в том, чтобы успеть в своей жизни войти в поток церковно-общественного предания, а тогда уже открывается само собою надежный и бессмертный путь: недоконченное личностью довершается общиной и «друг от друга спасением» в будущих поколениях церкви. Только то, что совершенно бесплодно и непрогрессивно, не имеет надежды и часто в общем предании держится у отцов весьма твердо, и им освещается посмертная судьба человека с их точки зрения. Церковное тело восполняет начатки добра в жизни своего отшедшего члена. 〈...〉

Всякое, хотя бы и малое, добро, совершаемое человеком во время жизни здесь, есть прибавление к церковному преданию; значит, и зачатки добра, которые положены человеком, включают его реальным образом в поток церковного предания и в его бесконечную жизнь плодоношения Христу! 〈...〉

Ну, вот теперь еще раз и спросим, как же в этом церковном потоке предания может существовать тот скрытый и неведомый для мира церковный деятель и подвижник церковной прогрессивности; как он мог бы ощущать и понимать сам себя в своей субъективной жизни? И какую объективную наружность может приобрести в то время христианская прогрессивность духа?

Тут очень трудно сказать что-либо на отвлеченном «философическом» языке. Ответ почерпается и яснее, проще, жизненнее и конкретнее в художественных образах! Такой художественный ответ дается, между прочим, в Лимонаре [84] — в повести о «мурине-древосечце» (т. е. о негре-дровосеке).

Во время страшного бездождия на Кипре местному епископу было открыто, что дождь будет ниспослан только по молитве одного бедняка-дровосека. После

того как, по благословению епископа, указанный бедняк помолился, засуха в самом деле сменилась благодатными дождями. Когда теперь епископ стал допрашивать дровосека ради общецерковной пользы, в чем его житие, бедняк нашелся ответить только то, что «ничтоже имыи покойна, имже бы моя душа утешилася, но се якоже видиши мя, исхожу из града и собрав бремя дров, продав,— куплю хлеба, яже ям, и тем си приобретаю дневную пищу, иного же не имам ничтоже».

Епископ пояснил этот бесхитростный рассказ так, что «воистину ты еси соверших Писание, глаголющее, яко, рече, пришлец есм аз на земли».

Вот в каком смиренном и незаметном образе может жить церковно-прогрессивный дух (ибо в молитвенном, сильном перед Богом, должен быть такой дух!). Простой трудник — нищий, пребывающий в тайне и незаметности, может скрывать в себе силу Илии пред Богом! В себе же покоя или самоудовлетворения не имеет, и есть на Земле, как в чужом граде! Им держится церковное дело,— его молитву о народе исполняет Бог, а он никому ничем не известен!

Вот вам по крайней мере один из образов тех тайных святых, которыми будет держаться церковь в будущие времена, по мысли Нифонта Цареградского! Мир не будет способен узнавать их, как не узнал в свое время и Христа! Слова блаженного Нифонта не то, конечно, значат, будто святые христиане будут намеренно скрывать свою сознаваемую святость, ибо это было бы чуждо церковной любви и таило бы в себе нецерковный индивидуализм! Но они не будут ощущать в себе, в своем смирении, ничего достойного открытия людям. ⟨...⟩

Конечно, в приведенном рассказе из Пролога дается лишь один из немногих возможных других образов этого тайного христианства будущего, когда на мир будет насказываться «исполнение времен», смоковница явно начнет засыхать, дабы на ней не было больше плодов вовеки!

Чтобы приоткрыть себе хоть несколько тот вопрос, приближается ли в самом деле мир к концу, надо смотреть на другой вопрос: плодущ ли еще мир по Христу, обещает ли еще он дать плоды по Христу? В этом — сущность вопроса. Но есть ли у нас силы решительно отвечать на это? Остатки любви к ближним, хотя бы

самые маленькие,— все еще будут побуждать нас думать и говорить: «Господи, они еще способны дать ростки по Тебе, еще и в этом году потерпи на всех нас!»

Так-то! Покамест еще есть остатки любви в среде людей, еще будет стоять мир. Разве когда все мы судим друг друга, так что каждый брата своего, хотя бы мысленно, осудит на смерть,— не нужно, мол, такого на свете! — вот тогда исполнится мера сатанинского бесплодия. ⟨...⟩

Ну вот, дорогой друг, побеседовал я с Вами, и несколько прояснилось на душе, для самого себя стали яснее те торные тропы, которые непрестанно заметаются метелью и бурей, но которые необходимо все время чувствовать под ногой! Сколько теряешь тропу из-под ноги, столько и заволакивается душа тучею, предвещающей все только новые и новые бури!

Ну, Господь милостив — будем уповать на Него, что еще не даст он ныне рассеять благоговение в русском народе до конца! Наложит он узду на челюсти разрушителя, выдвинет созидающих работников, даст силы и помощь крестоносным труженикам за родной народ! Ведь и сейчас есть и таятся неведомые пока святые силы в нашем церковном народе, мы их не знаем, хоть они, быть может, и близко около нас! И Господь выведет их в свое время на спасение гибнущего народа!

Пока простите,— надо кончать. На днях напишу еще. Старенькие и разрушающиеся дедовские стены шлют Вам привет и кланяются Вам. Привет мой Татьяне Александровне и поздравление с прошедшим днем Ангела.

А. Ухтомский.

15 янв. 1918. Рыбинск.

Дорогая Варвара Александровна,
я забыл написать Вам в предыдущих письмах то, что уже несколько раз хотел сказать. Постарайтесь достать, хотя бы у Тузова, книгу Леруа [85] «Догмат и критика». Я купил эту книгу случайно, увидав ее на Соборе в Москве. Возвращаясь к ней в досужее время, я почти каждый раз жалею, что не могу дать Вам прочесть, или выслушать, то, что говорится у автора. Во многом мысли Леруа почти до буквальности повторяют мысли, которы-

ми живу я. Если Вы будете читать эту книжку, я надеюсь, нередко будете вспоминать выдержки из моих записных книжек. Я и не подозревал, что, как оказывается, стоял на позиции, очень близкой к католическому «модернизму». Вы знаете, что я лично очень не люблю всяких «измов» и сигнатурок, заранее определяющих, чего можно ожидать от данной бутылочки! Совсем мне не хотелось бы, чтобы меня причислили когда-нибудь к модернистам на русской почве! Но близость мыслей с Леруа не подлежит сомнению, и мне остается лишь ее констатировать. И очень хотелось бы, чтобы Вы прочли эту книгу. Это будет для Вас и интересно и полезно; с другой же стороны мне было бы очень интересно узнать Ваше впечатление об этой книге.

Ну вот пока все, что хотел сказать.

То, что у меня написалось под 1 января, пока Вам не написал. Как-то не уверен в том, интересно ли это Вам в настоящее время.

О книге Леруа добавлю еще: это перевод с французского под редакцией Бердяева. По-русски издан в Москве в 1915 г.

Простите. Господь с Вами.

А. Ухтомский.

18 января 1918.
Рыбинск.

Дорогая Варвара Александровна,

не знаю, отчего от Вас нет никакого известия, ни ответа на мои письма, которых за это время я послал Вам целых три. Что с Вами, и где Вы? Здоровы ли? Или Вы уехали куда-нибудь? Не знаю, одним словом, что придумать.

А я пока все еще дома в Рыбинске, так как не могу оправиться от рождественской болезни и боюсь пуститься в путь в таком состоянии. Возник затяжной процесс в правом легком, температура к 4—6 ч. дня все держится от 37,7 до 38°, чувствую упадок сил, а другие говорят мне, что все худею. Вот я пока и не решаюсь ехать ни в Петроград, ни в Москву, хоть и очень нужно быть и там и тут!

Боюсь я, что письма мои не дошли до Вас, хоть были и заказные! Если это так, то очень жаль, ибо писал я там много и о важных вещах! А Вы обещали ответить большим письмом! Некоторое время я и вовсе не получал

писем из Петрограда, так что стал думать, что сообщение прекратилось и письма «буржуев» уничтожаются; но вот сегодня пришли петроградские письма,— значит, почтовое сообщение работает! Дайте, пожалуйста, ответ хотя на настоящее письмо, если оно дойдет до Вас!

Не знаю, что писать Вам сейчас. Неуверенность в том, что письма до Вас достигают, не дает охоты писать о чем-нибудь серьезном!

Совершающиеся события так велики, значительны, содержательны и в то же время так тяжелы! Хочется говорить о них, о их значении при свете Христовом... Но опять уйдешь с этими темами далеко, а слова мои, может быть, и не дойдут до Вас... Не хочется приниматься за большие темы, тем более что они потом меня очень утомляют, так что и читать не могу.

Моим почти единственным занятием за эти дни и единственным (да и незаменимым!) утешением является утреннее чтение Златоуста и Григория Богослова. Благодаря им научаюсь смотреть на мир «через головы» ближайших событий, не задерживаясь на них и не затемняя их картинами общего смысла жизни и смерти. Часто ведь люди за опушкою не видят леса! Слишком поражаться протекающими эпизодами — значит терять внимание к главному и интегральному в происходящем! Надо научиться смотреть «сквозь» ближние картины и события, чтобы видеть то существенное, которое за ними и которому принадлежит будущее. Так вот, Златоуст и Великий Григорий оказывают великую помощь в этом.

Ну, отзовитесь же, Бога ради, на это письмо. Помолитесь обо мне у Одигитрии Тихвинской, осиявающей Вашу комнату. Когда получу Ваше письмо, напишу Вам большое со своей стороны.

Простите меня. Господь с Вами!

Преданный Вам А. Ухтомский.

3 февраля 1918.
Рыбинск.

Дорогой друг Варвара Александровна,
чувствую большую радость на душе оттого, что сажусь беседовать с Вами. Сегодня получил третье Ваше письмо и наконец взялся за перо. Спасибо Вам за прекрасные письма. А Вы простите и не вмените мне мое молчание. Почему-то в это последнее время душа моя

заперта, в особенности для писем; и по месяцам я не могу начать письмо, ответить на заданные вопросы! Очень уж сложным комом лежит на душе бремя всего протекающего! Великое время Суда Божия и испытания! Много задает оно задач и тревоги, много тяготы, много страшного. Переворачиваются и совсем по-новому ложатся глыбы вспахиваемого заново поля: там, где была спокойная луговина, покрытая мирными цветами, и где, казалось, и не бывать никакой перемене, лежат теперь вверх корнями пласты вспаханной земли... Дай Бог, чтобы выросло новое доброе Божие жито!

Да, ужасно многое надо сказать Вам, о чем беседую с Вами мысленно, становясь на молитву. Должно быть, в такое время чувствовали Вы как бы волны беспроволочной телеграфии, как писали мне потом! Буду писать это письмо понемногу и не сразу, чтобы вспоминать исподволь, что надо сказать. Мысль моя стала в последнее время очень удобоутомляема, так что легко обрывается, и я забываю то, что было нужно сказать! Все последнее время у меня занято физическим трудом: частью под влиянием продолжающейся угрозы бесхлебовицею, частью от потребности уйти от душевной тревоги, я принялся взрывать заступом мой двор перед домом и в настоящее время взрыл его почти весь на двадцать с лишним гряд, которые засеял картошкой, горохом, бобами и другими овощами. Надеюсь, что Бог благословит мое начинание, и если не я, то хоть другие попитаются в тяжелые дни голодания без хлеба. При физическом труде в самом деле душа уходит от болезненного переживания совершающегося! Не помню, где я это читал, но знаю, что у кого-то из отцов церкви,— что и наказания Божии даны людям всегда ради избавления от худшего и от горшего; так наказание Адаму трудиться в поте лица дано для того, чтобы избавить его от уныния. Мысль та, что после греха диавол непременно стал бы склонять человека к еще более тяжкому — к унынию; и, чтобы бороться с этим естественным последствием греха, дан физический труд.

А у меня еще и та мысль, что нельзя в такой год, как нынешний, оставлять землю праздной; что́ можно, надо пустить под произрастание съедобного!

Если бы Вы посмотрели хотя краем ока на начинающие зеленеть грядки!..

Я был необыкновенно счастлив, что Господь дал мне

провести пост и Праздник на старом, родном моем пепелище, поговеть на родном кладбище, у родных могил. С началом поста я стал крепнуть и поправляться от той общей слабости и недомогания, которые были в рождественском мясоеде, когда здешние мои знакомые собирали меня на тот свет. Как ни удивительно, но именно Великий пост с тем отвлечением внимания от ближайших событий на христианские идеи, которое он производит, стал меня укреплять и оздоравливать. С внешней стороны жизнь шла, слава Богу, тихо, без потрясений и нашествий, каких можно было ожидать от демобилизующихся солдат и от большевиков. И сейчас все идет благополучно; и тревога живет лишь за будущее, ибо предвидится недостаток в деньгах. Жалования из Университета я не беру, да и не знаю, идет ли оно еще мне. Живу пока на остатки. Что дальше, Бог знает, еще не знаю. И не хочется думать об этом! В прошлом году я послушался, к сожалению, совета преосвященного Андрея и купил на все мои деньги «патриотические бумаги», т. е. военного займа и займа свободы, и вот за это наказан: деньги заперты в банке и, вероятно, пройдут мимо, на большевистские надобности. Ну, да будет воля Божия,— она всегда ведет к лучшему.

Теперь возвращаюсь к прерванной вчера беседе.

Дом мой теперь осиротел еще более. Скончалась и вторая из старух, живших у меня. 25 мая бабушка Ольга тихо кончилась, а 27-го ее хоронили рядом с бабкой Афанасьей невдалеке от тети Анны.

Одно из открытий, осветившихся для меня за это время, о котором мне хотелось сообщить Вам, касается именно ощущения смерти. Не знаю только, поймете ли Вы меня сейчас. Ведь мысль эта и это ощущение очень просты, но, видимо, для их усвоения нужно что-то пережить; ибо вот и я ходил около этой мысли очень близко и издавна, а открылась и усвоилась она мне с ясностью лишь теперь, после многого. Надо понять и почувствовать, что то, что сейчас я скажу, это не уподобления, не образная речь, а сама действительность.

Люди бредят идеей бессмертия. Старинные схоластики старались обосновать ее философски, придумывая «доказательства бессмертия души», как будто в самом понятии человеческой души уже заключается основание бессмертия; т. е. как будто бессмертие может быть обосновано логически, как требование человеческого ума! С другой стороны, люди еще во времена язычества

старались если не для всех малых сил, то хоть для своих царей и правителей устроить бессмертие, объявляли их богами, праздновали «апофеозы» и т. п. Вот и в самые последние годы профессор Мечников заговорил о том, что будущая наука должна добиться бессмертия для человека, прекратив в нем старение, ветшание, болезни и разрушение. И всякий из нас, теряя своих любимых родичей и друзей, переживает тем глубже, чем крепче любит, потребность бессмертия, потребность победы над смертью!

Так где же бессмертие, где его основание, откуда его ждать?

Все это такие особенно своевременные вопросы ныне, посреди бесчисленных смертей, убийств, гибели драгоценных человеческих жизней!

Вчитываясь далее и далее в церковные и отеческие книги, я понял следующее. Человек сам по себе смертен, становится же бессмертным от прикосновения к нему Божественного Блистания во Христе на том основании, что все, чего коснулся Свет Божества, исполняется жизнью негиблющего. Так что не сам по себе и не на основании логических выводов из понятия «человек» или «человеческая душа» — бывает бессмертен человек, но бессмертие сообщает мне Христос, и лишь во Христе я становлюсь бессмертным своим причастием Божеству! Значит, по мере приобщения Божеству я становлюсь бессмертным; приобщение же человека Божеству возможно только во Христе, чрез Христа и путем Христовым. «Смертный род удостоен столь великого попечения, что непрерывно наслаждается даже божественною беседою, через посредство которой мы перестаем быть и смертными и приходящими, по природе своей будучи смертными, а через общение с Богом восходя к бессмертной жизни. И необходимо, чтобы пользующиеся общением с Богом сделались выше смерти и всякого тления. Подобно тому как совершенно необходимо, чтобы наслаждающийся солнечным лучом избегал тьмы, точно так же совершенно необходимо, чтобы наслаждающийся божественным общением не был после этого смертным, потому что самая обширность чести переносит нас к бессмертию... Невозможно иметь смертные души тем, кто воссылает моления Богу и беседует с ним» (И. Зла-

тоуст). «Что такое бессмертная жизнь? Ощущение Бога... Исполни, Господи, сердце мое жизни вечной! Жизнь вечная есть утешение в Боге» (Исаак Сирин).

Поэтому ничего нет странного и неожиданного в том утверждении покойного Н. Страхова, что о бессмертии человека мы узнаем впервые из Священного Писания, независимо от каких-то философских или «рациональных» обоснований этой идеи.

Представьте себе Ваших ближних и друзей, любимых и отшедших из этой жизни, как они лежат в своих гробах, почерневшие и распавшиеся от тления. И спросите, как же их осиявает жизнь и бессмертие посреди этого очевидного торжества смерти и разрушения! И поймите тотчас, что пред Светом Христовым, пред Светом Христовой Истины и Жизни Вы сами, в нынешнем состоянии видимой жизни, не менее мертвы, исполнены разложения и тления, чем те, отшедшие отсюда друзья, отцы и братия! А тогда начинает приоткрываться, как и коим образом воздвигает Христос мертвых из ада и тления своим Светлым Воскресением. Разве ты сам, находясь во мгле и буре грехов и недоумения, не ощущаешь, как и тебя Христос вызывает из этой тьмы, хотя бы и ненадолго, к своему Свету и Жизни в День Светлого Своего Воскресения? Так не отделяй же себя от умерших и тлеющих,— ты и сам находишься с ними в царстве смерти; и Христос вас всех вместе зовет своим Восстанием к общему Воскресению, в котором впервые и даруется нам бессмертие: «ихже хощет живит».

Итак, изо всего человечества бессмертен только один Христос. Прочих людей Он же осиявает бессмертием, приобщая их к своему Свету, святости, снисходя Божеством своим в ад.

Теперь дальше! Если Христос своею смертью попрал смерть и сущим во гробах живот даровал, то отчего же мы-то до сих пор умираем и тлеем?

Это оттого, что живы мы только во Христе, нашей Главе, которая, «однажды воскреснув, к тому уже не умирает»; но каждый из нас в своей отдельности, если бы теперь же стал бессмертным в своей отдельной жизни, к которой привык, тотчас отделил бы себя в своем сознании от Христа, возмнил бы себя самодовлеющею силою. Итак, ныне мы должны проникнуться тем разумением, что Глава наша, Глава того

общего тела, которым мы сообща живем в Истине и Боге, попрал древнюю смерть и уже не умирает; в нем и все мы становимся бессмертными и некогда восстанем общим Воскресением, чтобы уже никогда не отделяться от Христа — *нашей жизни, славы и спасения*. Значит — тогда, когда мы сможем быть бессмертными, не отделяя себя от Христа и Истины, тогда потеряет окончательно свой raison d'être[86] смерть и мы будем бессмертны во Христе.

Вот я выписал Вам всю последовательность мыслей, сложившуюся у меня, прояснившуюся на Пасхе этого года. Все это заимствовано из церковных книг, все это там есть; но все это приходится открывать себе заново,— так основательно забыта и непопулярна святая отеческая мысль между нами, хотя мы и учились, проходили даже духовные академии!

И мне, как видите, много пришлось пережить и передумать прежде, чем я приоткрыл себе этот порядок мыслей. Подумайте над ним!

Что касается моих публичных выступлений, которые Вы считали бы уместными, то они роковым образом кончаются неудачами! Выступал я здесь в Рыбинске дважды в здешнем религиозно-философском обществе (отделение петроградского) с лекцией о старообрядческом понимании Антихриста. И из этого получился только один соблазн, недобрые сограждане стали говорить, что я, наверное, получил от старообрядцев «некую толику», что говорю о них сочувственно... Первые заговорили так здешние попы! Очевидно, с такой публикой говорить не сто́ит!

Далее, я послал статью в «Заволжский Летописец»[87]. И вот именно теперь-то, как нарочно, разразились в Уфе и Самаре новые боевые события, бедному журнальчику едва ли не пришлось прекратить своё существование, и статья моя о «христианах последних веков», должно быть, не дождется своих читателей!

Как видите, говорить мне с людьми, помимо тесного моего круга личных друзей, не судьба! А значит, и не надо!

Что касается текущих событий, то как легло на мою душу их начало в июле 1914 г., так, я думаю, буду понимать и впоследствии. Это ревнитель Илия, человек жестокий, каратель ложного пророчества и языческого нечестия, «оружием, огнем и гладом» судит Русь и Евро-

пу в преддверии грядущего Христова пришествия. Вспомните, что и война эта начало получила на Илиин день! И людям предоставлена свобода — собственным безумием губить себя самих! Надо как можно скорее доставать хлеб для голодающих и кормить умирающих. А они хлопочут только о том, чтобы их «программы» были соблюдены в точности! Надо везти в Петроград хлеб для умирающего населения через Ярославскую губернию, хотя бы эта последняя и не была еще подведена окончательно под их программно-партийный шаблончик; а они говорят, что лучше пусть погибает петроградское население, но они не могут воспользоваться Ярославскою губерниею для провоза, пока она не подведена под шаблон! Так обезумевших людей Бог наказывает их собственным безумием! Гордынные замыслы превращаются в карикатуру, которая была бы уморительно смешна, если бы не была ужасна и не вела к той погибели, которую она несет людям. Обезумевший Содом погибает сам в своем собственном соку и по своему собственному разумению, которое стало тьмою! ⟨...⟩

Однако мы знаем, что «хотя бы обстоятельства угрожали смертью, опасностью, совершенною погибелью, не переставай надеяться на Бога и ожидать от него спасения, потому что для него все легко и удобно, и из безвыходных обстоятельств Он может доставить выход» (И. Златоуст). Теперешние события с особенной силой напоминают евангельское повествование о том, как апостолы ужасались гибели от бури на озере и как Господь одним словом прекратил бурю и ветер. «Кто сей, что и ветры и море повинуются Ему?» Без сомнения, Господь силен и сейчас прекратить пришедшую к нам бурю в одно мгновение, но, видимо, ей надо еще быть! Она поучает!

Вы писали, что вспоминаете, как мы с Вами были на «Граде Китеже» [88]. Я тоже вспоминаю и не могу не сказать, что тип Кутерьмы — губителя своих братьев и родины — тип пророческий: Руси суждено пасть от такого безумного, свищущего и пляшущего безобразника, озорника и потерявшего в себе святое! С очень тяжелым и темным чувством вышел я тогда из театра,— душа предвещала, что Китежу надо повториться в близком будущем... Кутерьма, бесовская вьюга, кроющая небо (по великолепному стихотворению Пушкина), стадо свиней, сбесившееся и бросающееся в море,— вот образы того, что теперь совершается в России.

Что же касается театра вообще, то я и еще и еще раз повторяю, что вижу в нем служителя содомического общества с содомическими вожделениями, распинателя настоящей святости в искусстве и антагониста церкви. Не характерно ли, что за эпоху этих наших «переворотов» театр решительно стремится стать на место церкви?! Разные государственные совещания, пресловутые речи г. Керенского и ему подобных, «декларации» партий — все это совершалось в театрах; а большевики открыто стараются сделать из театра перевоспитателя народа на свой бесовский лад! Все это совершалось ранее в церкви, и для чего строились церкви, перенеслось у содомического общества в театры; и там-то совершается заражение малых сил антихристовыми стихиями! Театр — один из существеннейших воспитателей того общества и народа, которые губят сейчас Россию и духовную жизнь в ней. И он еще поработает на этом поприще в будущем, если Россия еще посуществует. Недаром я так ратовал против театра в моих прежних беседах с Вами!

Однако письмо надо кончать, ибо иначе оно не будет отправлено очень долго, да и станет, пожалуй, слишком тяжелым для теперешних почтовых порядков!

Здесь разнесся слух об убиении несчастного Николая II! Не знаю, правда ли это. Если правда, то смерть эта будет тяжким, несмываемым пятном на русском народе и на России, которым, значит, еще придется поплатиться своею кровью сверх того, что заплочено до сих пор! Роковая судьба стояла над несчастной семьей. Царство Небесное и отпущение согрешений дай Господи тем, кто носил в душе иго Христово и скорбь по Богу!

На днях я еще буду писать Вам, дабы продолжить это письмо и сказать то, чего не пришлось коснуться здесь.

Про поездку в Петроград скажу, что она сейчас связана была бы для меня с такими бесконечными хлопотами по Никольскому приходу, а затем с такими непосильными тратами по теперешним моим иссякающим средствам, что я предпочитаю ее отложить. А Вам надо бы ехать через Рыбинск, чтобы повидаться со мною здесь. Если будет какая-либо возможность избрать путь через Рыбинск, не откажите исполнить это. Пока простите. Господь с Вами.

6 июля 1918. А. Ухтомский.
Рыбинск.

Дай Бог здоровья Вам, дорогой друг Варвара Александровна, что наконец дали о себе знать. Письма Вашего с дороги, из Москвы, и не получал. Последнее письмо, дошедшее до меня, было из Петрограда, там Вы писали, что вскоре едете в Саратов, откуда пришлете адрес. Только теперь, более чем через месяц, пришло обещанное письмо из Саратова!

Рад, что Поволжье приняло Вас гостеприимно, кормит Вас хлебом, приветствует Вас видом дорогой Волги, катящей свои воды от нас, из Ярославщины! Пускай и ныне, когда будете читать это письмо, Волга передаст Вам мой привет!

Сегодня престольный праздник у нас на Тихвинском кладбище, где покоятся мои тетя, отец с матерью, бабушка и проч.— память Святителя Тихона Задонского. Вот в его-то день мне и хочется побеседовать с Вами отсюда. Взяли ли Вы с собою его прекрасную книгу «Сокровище духовное»? У меня, к сожалению, она осталась в Петрограде. Продолжаю читать даренного Вами Златоуста, берясь за него, всякий раз вспоминаю Вас! Да, великое сокровище. И чем более вчитываешься в него, тем больше открываешь мыслей и научения. Вы сделали хорошее, радостное дело, что дали книгу его петроградскому извозчику. Несчастный наш народ, оставленный и покинутый церковным руководством (ибо церковь занималась чуждым себе государственным делом!), гибнет от духовного невежества и оттого, что уже забыл и слышать слова доброго пастыря!

Я издали, заочно глубоко поклонился Вам, прочтя, как Вы подарили золотые слова Святителя Иоанна простому человеку, окруженному мраком и убийством обезумевшего города. ⟨...⟩

Что касается меня, то я пока, по милости Божией, в своем дедовском углу, хоть он, по новейшему декрету, уже не принадлежит мне более. Тяжело для меня было бы, если бы его разорили, уничтожили бы мои записки, памятки, книги. Сохрани, Боже, от этого, но и твори, Боже, волю твою; прошу Вас молиться обо мне!

О брате моем я ничего не знаю с тех пор, как Уфа отрезана чехословацкими войсками. Надеюсь, что с ним все благополучно. Не знаете ли Вы чего-нибудь о нем?

Об Университете ничего верного сказать нельзя. Пока он еще автономен, за исключением того, что туда открыт доступ всем «прохожим» с 16-летнего возраста. Но и пресловутая автономность ежечасно может быть

уничтожена росчерком пера или явочным порядком! Н. Е. Введенский живет в деревне в Вологодской губернии. Из Университета имею сведения только через Н. Я. Кузнецова [89] и И. А. Ветюкова [90].

Здешние, собственно рыбинские и ярославские, дела нелегки. Большевики готовятся к каким-то боям: роют окопы близ Рыбинска, ставят орудия. Из Шексны в Волгу проведены петроградские миноносцы, едут матросы, Красная Армия и т. п. Обостряются гонения на церковь, гонят монашенок из монастыря, грозят избиением священникам. Народ, в свою очередь, покидает храмы все более и более. Казнения бедствиями и голодом не вразумляют пока и не приводят в себя, а ожесточают. Это, по Златоусту, признак особенно тяжкий,— признак того, что болезнь неисцелима, смертельна! Именно нераскаянность, очерствелость, склонность к вящему ожесточению — признак духовной гибели! Неужели народ наш так и не исцелится от своей болезни?!

Хранит нас только бесчисленное милосердие Божие и Михаил Князь Великий, о котором говорится в 12-й главе книги Даниила,— архистратиг Божиих Сил, побораюший силу диавола и антихриста, которые заточили бы и погубили бы все, если бы это было в их власти и не было бы поборающего.

Пишите поскорее, пожалуйста, пока еще доходят письма! Господь с Вами!

Надежда Вам низко кланяется, так же и мой родной угол.

Простите. Преданный Вам

А. Ухтомский.

13—14 августа 1918.
Рыбинск.

15 августа 1918 г.
Рыбинск.

Вчера я отправил Вам письмо, дорогой друже, сегодня же нашел у себя между книг листочек, писавшийся для Вас, но недописанный и не отправленный в свое время. Мне захотелось дописать и послать его Вам. Поздравляю Вас со Днем Великой Пречистой,— как называли день Успения и Премудрости Божией Софии в старину русские люди. Я был сегодня в здешнем Софийском монастыре, где жила и погребена моя бед-

ная Аннушка [91]: там сегодня престольный праздник. Бедные монашенки голодают и мучаются тревогою от всевозможных слухов и ожиданий худшего и худшего, которые носятся в воздухе. Настроение в народе вообще тяжелое, пришибленное, тупое. Нет духа покаяния, нет до сих пор прозрения на свои преступления, а значит, нет и просвета надежды на избавление. Голодающие и измученные бабы в очередях похабничают и ругаются, кощунствуют; церкви почти пусты. Все это говорит, что кризиса болезни нет, лучшего ожидать не приходится. Несчастные погибают в собственной заразе мерзостями и преступлениями. ⟨...⟩

Вы как-то по весне писали мне, что Вас заинтересовал «анархизм». Очевидно, и Вас задела атмосфера, которою насыщен Петроград и современный русский народ вообще. Летом я приобрел и прочел добросовестно книгу Кропоткина «Речи бунтовщика» (Paroles d'revolté) — это для того, чтобы проверить мои общие воззрения на это, с позволения сказать, направление человеческой мысли и дабы судить не по общим и далеким сведениям, а по первоисточнику. Впечатление мое сводится к следующему. Критическая часть у автора хороша, с нею согласится всякий христианин, отдающий себе отчет в том, что представляет из себя современная европейская цивилизация, проникнутая тщеславием, гордыней, сластолюбием, крайним духовным нечувствием и немилосердием. Но в попытках дать что-нибудь положительное, какой-либо намек на практическую программу для достижения блага, старик жалок и бесплоден; там же, где он,— за отсутствием более разумного,— рекомендует народу кровавую бойню, он становится уже и мерзок! Вот от такой-то болтовни, столь безобидной по кабинетам гг. писателей, и получились современные безумные плоды! Вкратце мой комментарий на кропоткинскую «философию» сводится к следующему.

Если только блага жизни достигаются не иначе как силою, то сила эта может быть либо вовсе бесформенною, либо организованною! Третьей возможности быть не может!

Если сила вовсе бесформенна, то тут не видно поистине никакого «прогресса» по сравнению с древнейшими дикими временами, жившими целиком правом животной силы. Если же сила представляется организованной, то мы имеем перед собою не что иное, как все то

же «государство», против которого всею силою ратует анархизм и, в частности, наш старый автор... Тогда анархисты говорят нам: да, в будущем мы, конечно, уничтожим навсегда значение силы, всякое выступление силою будет отвергнуто, мы отнюдь не будем прибегать к ней «после социальной революции»! Но вот она неизбежно потребуется нам на этот единственный раз,— на «проведение в жизнь социальной революции»! А потом-то ее можно будет отбросить раз навсегда! Однако эта оговорка не изменяет ничего,— вышесказанная дилемма остается в полной силе. Да и кто гарантирует, и откуда это достоверно, будто там впоследствии, после этой Deus ex machina [92] — пресловутой «социальной революции», сила более не потребуется? Если это следует из «рассуждений», то человеческим рассуждениям ведь несть числа, и дозволительно не придавать им никакой обязательности и достоверности. Если же гарантировать утверждение анархистов в будущем опять силою же, то снова и снова придем к «государству», от которого бежали! Так мысль и вертится все время в безвыходном кругу!

Истинный выход на собственно «анархической» почве невозможен. Он в действительности двояк: нужен или радикальный отказ от какой бы то ни было гарантии добра силою и переход к Христовой общине, или же нужна государственно-организованная гарантия социальных благ, т. е. не что иное, как «коммунистическое государство», то самое, которое мы испытываем ныне под именем «большевизма». Кропоткин справедливо называет этот последний выход «самой ужасной из тираний». А если так, то остается неизбежно один выход — поворот к христианству, т. е. радикальный отказ от всех бредней о «социальной революции».

Но простите пока, родная, прошу Ваших молитв и желаю Вам умножения Света Христова.

Жду от Вас известий поскорее,— пока есть сообщение. Преданный Вам

А. Ухтомский.

30 сент. 1918.

⟨...⟩ Страшно становится жить в этом мире, поистине надо не родниться с ним, и все сокращать связи с ним,

чтобы всегда быть готовым подняться, отряхнуться и уходить во исполнение слова: «когда гонят вас в одном городе, бегайте в другой». Совет Учителя: «бдите и молитеся, да не внидете в напасть» — и говорит о необходимости этой постоянной бодрости, готовности по первому требованию уходить из этого житья, не связывая себя компромиссами с ним, быть, как говорят, «налегке», не оседать, не успокаиваться никогда! Никогда в такой степени не чувствуется потребность этого, как в эти наши переживающиеся дни!

Еще в Петрограде, как помните, у меня было чувство страха пред улицею и пред собранием народа. А теперь все чаще начинаю понимать состояние наших старообрядцев-странников, ощущавших реально, что антихристом наполнена земля, осквернена вода, заражены поселения, загрязнен и самый воздух над ними!

Я вполне понимаю и готов оправдать ту точку зрения наших социалистов, что общество имеет право требовать от личности индивидуума работать, жить, наслаждаться и верить так, как полезно и желательно обществу, в которое она (личность) входит. Семеро одного не ждут, а уж тем более общество людей полномочнее и важнее отдельной личности! Так что раз ты живешь среди данного общества и так или иначе пользуешься благами общежительства в нем, ты и подчиняйся требованиям, интересам и заявлениям этого общества: оно имеет естественные права на тебя!

Но за то личности должна быть предоставлена возможность всегда уйти от данного общества, прекратить связь свою с ним; так что, перестав пользоваться благами общежительства в данном обществе, личность естественно освобождается и от обязательств жить, веровать и работать исключительно по шаблону этого общества!

Вот и надо в себе-то самом прежде всего сохранить силу и способность жертвовать благами общежительства в человеческих обществах ради готовности уйти к своему святому!

Ведь, по прозрению древних отцов, слабые души за кусок хлеба, за малые обещания материальных благ и покоя продадут свои души, и веру, и верность Христу во дни Противника. Сам Петр оказался ослабевшим от страха до того, что в подобный день отрекся от Любимого! Сейчас мы видим массовое отречение от Христа вокруг нас ради жалования, куска хлеба, пайка и проч.

«Како вы можете веровати, славу друг от друга приемюще?..» «И Сын человеческий пришед, обрящет ли си веру на земли?»

Вот в чем наибольший ужас нашего времени; и вот почему в особенности надо соблюдать и хранить в себе готовность всегда и во всякое время подняться и уйти из данного теплого угла, данного общества и общежития! Будем же готовы! 〈...〉

Добрый и дорогой друг Варвара Александровна. Еще раз, и уже наверное в последний, пишу Вам из родного пепелища моего в Рыбинске. Надеюсь, что в последний лишь за этот мой приезд сюда, но не вообще; дай Бог еще быть и пожить здесь в благодатном мире, какой только возможен теперь в наших условиях, когда сам Господь мира стал для нас, по пророческому слову, «как мятеж и как остен». 〈...〉

Позвольте рассказать Вам о здешних злободневных событиях, о текущих муках наших.

В воскресение 14 окт. в Рыбинске было устроено небывалое зрелище. В театре (опять, заметьте, в театре — этом проклятом, символическом храме Сатаны) был собран митинг, предвозвещенный накануне следующим газетным объявлением:

«27 октября в 6 ч. веч. состоится грандиозный митинг. Член Петроградского губсовдепа Пахомов выступит по текущему моменту. Известный лектор Смольного Иван Анатольевич Шпицберг прочтет лекцию на тему: «Религия (всякая) как язва и попизм (всякий), как организация профессионального шарлатанства». На митинг обязывается прибыть духовенство всех культов, как гор. Рыбинска, так и уезда. Желающим выступить попам дается полная гарантия неприкосновенности за их возражения. Явка попам обязательная. Уездный комитет партии».

Собранные и усаженные на театральной эстраде, духовные пастыри господствующей церкви, старообрядчества и проч. сидели, пока Шпицберг изрыгал мерзости на Матерь Божию, на Магдалину, на Вселенские соборы, на Илию-пророка, на Христово дело в мире и, указывая на духовенство, говорил: вот они, волхвы и обманщики, колдуны, завлекающие к себе народ ложью... Дослушав лекцию, пастыри тотчас поднялись и ушли за кулисы, а театральный зал аплодировал.

Один лишь священник сказал несколько слов о том, что «он сам из бедной семьи, возделывавшей своими руками землю, а убеждения относительно Христа и Церкви даны ему преподаванием». Затем поднялся еще «священник», недавно поступивший на службу в Совдеп в качестве «духовного комиссара», и сказал, что он совершенно солидарен с лектором и еще с семинарии смотрел на церковное дело и проповедь совершенно так же! Театр громогласно приветствовал «совершенную победу» лектора над Христом и церковью. Спросили старообрядческого наставника, что может сказать он. Он ответил, что «говорить ему здесь не о чем»!

Из публики были, впрочем, две-три попытки протестовать, что, мол, это просто травля пастырей, а вовсе не диспут. Эти попытки были сорваны тотчас. Одним словом, диавольское представление в диавольском храме удалось так, как оно было замыслено опытными режиссерами!

Узнав об этом, я испытал много разнообразных чувств. Казалось досадным, что так-таки все это у д а л о с ь детям врага, «без возражений». Чувствовалось, какой огромный соблазн был произведен для несчастного народа!.. Но потом перешел я к мысли, что, пожалуй, и лучше сделали отцы, не пробуя возражать и тем самым не становясь на «равную ногу»! Им подсказало внутреннее чутье, что з д е с ь говорить им не о чем! Ведь они были призваны насильно в д у х о в н о е б л у д и л и щ е! И не говорить же здесь о святынях! На молитве дома я пришел к тому, что иереям нельзя было метать бисера в бесовском собрании, в бесовском месте. Но все же, подумайте о несчастном народе, который забрел, быть может, случайно в это капище. Кто его охранит от соблазна, если не Ты сам, Всемогий Господи?! Сохрани верных Твоих! Ты — нощь темная и беспросветная для неверных, Христе, но верным просвещение в сладости словес Твоих! 〈...〉

Но вот что в особенности теперь выясняется.

Лишь непрестанным бдением над собою и своим сердцем, непрестанною молитвою может оградить себя человек в вере Христовой. 〈...〉 Что, быть может, наиболее тяжело во всем этом нападении на церковь, это обнаружившаяся слабость и неустойчивость иереев, да и прочих «православных». Они привыкли к одной реальной поддержке, на которой было все их упование,— это государственная власть, которой они и служили в пер-

вую голову! Собственно, церковное предание и его жизнь признавались лишь теоретически, настоящей веры было мало, очень мало! И вот какой-то жалкий, неведомый Шпицберг уже мог вызвать в них самих колебание,— как сказал мне лично один из отцов!

Да, очевидно, что вера в сошедшего с небес, и воплотившегося и пожившего, и распятого нас ради, и воскресшего и восшедшего на небеса, и паки грядущего Господи, не может быть для нас делом спокойного рассуждения и «убеждения» кабинетного, но лишь делом непрестанного напряжения, бдения над собою, усилия и молитвенного подвига. ⟨...⟩

Из мероприятий против церкви, которые на очереди у большевиков, слышатся проекты прекратить службу в храмах Божиих, забрать священников в солдаты, обложить домовые иконы особой податью. Об этом пока говорят лишь по слухам, в глухой молве. Но попадает же это в молву откуда-нибудь, и многое, что сначала глухо носилось, потом так или иначе доводилось до попытки выполнения! Ну, как Господь Всемилостивый даст нам пережить испытания! Будем всеми силами молиться Ему, чтобы дал нам духовные и телесные силы, чтобы не ослабеть нравственно и не впасть во что-либо недостойное христианского имени!

Молитесь, родная Варвара Александровна, обо мне, не оставляйте же этою Вашею поддержкою!

Я все откладывал отъезд в Петроград со дня на день. Очень уж жаль уезжать мне из тишины и мира, который сохраняется в тетином углу. Но теперь вот начинаю тревожиться, проеду ли в Петроград. После некоторого успокоения в большевистских кругах опять начинается подъем их энергии; затем, с начавшейся мобилизацией, подымается возбуждение в народе. И опять тяжелые предчувствия и ожидания бедствий наполняют душу! Дай Бог проехать в Петроград! Там хоть очень голодно, но будет спокойнее при Университете.

Дойдет ли это мое письмо до Вас? Пишите, пожалуйста, на Петроград, дайте знать о себе, о том, что молитесь за меня. А Вас да хранит и спасет Матерь Божия от всякого зла и бедствия и, если это добро в очах Промысла Божия, да даст нам увидаться еще на Земле!

Читал я в последнее время известную Вам большую книгу священника-профессора Флоренского [93] «Столп

и утверждение Истины». В 1914 г. я начинал ее читать, но чтение почему-то оборвалось, и впечатления у меня не сложилось. Теперь я могу сказать так: как хорошо, что Бог дал издать эту замечательную книгу в преддверии страшных событий! Ведь она выпущена в 1914 г., перед самой мировой войной! Книга эта громадного содержания и громадного значения — плод глубокого и искреннейшего погружения в миросозерцание Церкви. Есть места, где как будто автор начинает привносить сомнительное, постороннее; есть сомнительные места! Но было бы и удивительно, если бы их вовсе не было! Они не мешают книге быть замечательным явлением, о котором радуется душа и говорит: слава Богу, что и в наши дни рождаются такие произведения богословской мысли!

Я рад, что читал это сочинение после основательного личного чтения отцов: Исаака Сирина, Макария Великого, Златоуста, Григория Богослова и проч. Флоренский, так сказать, суммирует то, что слагалось в душе при чтении отеческих сокровищ.

Ну, простите Христа ради, родной друг, да хранит Вас Матерь Божия!

Душевно преданный Вам.

Ваш А. Ухтомский.

17 октября 1918. Рыбинск.

Дорогой мой друг Варвара Александровна,
спасибо Вам, родная, за посылки, за заботу, за теплоту, которою веет мне из Саратова. Я очень давно хочу написать Вам, с самого приезда моего сюда. Но здешние настроения не благоприятны тому, чтобы начать беседу. В первое время и мысли как-то не рождались в голове, хотя, надо сознаться, я прямо отдыхал в здешней тишине и относительной безопасности от пережитого в последнее время в моем милом рыбинском углу!.. Ввиду того, что своих мыслей в голове и в душе не было, я сел за книги и стал спешно читать то, что давно было намечено в качестве очередного «урока», но не было пока удачи — сесть за эти книги. Читал спешно, торопясь, глотая страницы,— точно за мною гнались, и точно чувствовалось, что надобно пользоваться благоприятным часом и днем, ибо все это, вместе с тишиною и уединением здешней квартиры, дано ненадолго и скоро может прерваться!..

Начал читать лекции, хотя слушателей очень мало! Старик мой — Николай Евгеньевич продолжает работать, читает практический курс; но под влиянием событий осунулся, постарел, ослабел. ⟨...⟩

В Университете у нас большевистские порядки сказываются пока мало,— течение жизни почти прежнее. Однако в будущем ожидаются перемены, переизбрания на места и т. п. Должны быть потрясения для многих. Что касается меня, то уповаю на милость Божию и на Его Святую Волю. Я сжился с Университетом, для меня была бы чужда и трудна всякая другая служба. И многого, пожалуй, уже не удалось бы осуществить из того, что хотелось сделать и написать, если и судьба велела мне покинуть Университет. Но надо во всем положиться на Святую Волю Божию, промышляющую полезное.

Прошу Вас усиленно молиться обо мне!

Напишите мне о саратовском житье. Говорят, что питание у Вас становится тоже все хуже! Есть ли нападения на церковь, на святые иконы? Когда-то милосердый Господь прекратит эти тяжкие и черные дни и даст нам отраду?!

Буду ждать от Вас подробного письма. Надеюсь, что и сам вскоре напишу еще Вам из того, что накопилось на душе.

Простите. Господь с Вами. Низкий поклон мой Татьяне Александровне и Клавдии Михайловне [94].

Ваш А. Ухтомский.

28—29 ноября 1918.
Петроград.

Дорогой друг Варвара Александровна,

едва я успел написать Вам благодарность за посылку сухарей, как Вы прислали уже и вторую посылку с хлебом. Дай Бог Вам здоровья за это! Притом посылка с хлебом пришла ко мне как раз в день Великомученицы Варвары, так что сугубо мне была дорога!

На всякий случай, я хочу сказать Вам следующее,— может быть, это будет полезно и для Вас. Предпочитайте приобретать настоящий, т. е. цельный, черный хлеб, выпекаемый не из обрушенной («полубелой», как ее называют), а из цельной ржаной муки с отрубями. С физиологической стороны, он несравненно питательнее и полезнее этого «полубелого», так как белковые вещества, наиболее важные по питательному значению,

находятся именно в оболочках зерна; сердцевина же зерна состоит почти целиком из крахмала; таким образом, в обдирной, или полубелой, муке, лишенной отрубей и оболочек, теряется почти весь белок, а остается крахмал! Хлеб получается с виду «красивый» и «более нежный», а в действительности очень неудовлетворительный: труда потрачено на приготовление соответственной муки очень много, а результат отрицательный! Я мог бы привести Вам и процентные отношения питательности этого полубелого хлеба и хлеба цельного, но, думается, Вы и так мне поверите.

Если будете и впредь так милостивы, что пошлете мне хлеба, посылайте, пожалуйста, именно самого простого черного хлеба, он к тому же и дешевле!

И Вам бы очень советовал питаться настоящим черным хлебом!

Простите, впрочем, что занимаю так много места речами о хлебе.

Когда-то предыдущее мое письмо дошло до Вас? Пожалуй, Вы не получили его в Варварин день! Получили ли его хоть теперь, когда я пишу Вам эти строки?

То, что я писал Вам в прошлом письме, чрезвычайно важно для меня и составляет существенное содержание, которым занята моя душа в последнее время. Поэтому мне было бы дорого, чтобы Вы не прошли мимо изложенного там, а восприняли то, что я хотел выразить в краткой и не совсем удовлетворяющей форме (как будто писал сам для себя,— только чтобы не забыть и не пропустить тех мыслей, которые занимают душу давно, но в то же время не даются в руки, перелетая от словесного выражения, как птицы от ловца с места на место)... Как хотелось бы, чтобы при всем несовершенстве выражения Вы уловили и главное и существенное! Мне кажется, что это лишь в краткой и более обостренной форме те общие мысли, которые бродили во мне издавна! Они только раскрываются для меня все больше и больше!

Уловили ли Вы, почему Смерть есть «архитип» всяческих фактов? Тот, кто потерял любимого друга, отнятого смертью,— как потеряли Вы Вашего любимого отца и как потерял я тетю Анну,— поймет и почувствует, что именно Смерть есть непреложнейший, никакими искусственными мерами и приемами не сдвигаемый и не уничтожаемый факт и первейшая проблема для всяческой человеческой религии, философии, мировоззрения,

мысли вообще! Сократ учил, что «смерть есть начало философии». И одна только сила во всем мире может быть поставлена по своему значению рядом со смертью — это человеческая любовь. Недаром Писание сближает их, говоря «любовь крепка, как смерть».

Можно сказать,— весь человек исчерпывается этими двумя силами, этими двумя «проблемами». В зависимости от того, как они решены для данного человека,— определяются в нем и его религия, и философия, и миросозерцание, и жизнь!

Так вот, что я-то сейчас хочу отметить в особенности. Когда мы «решаем» ту или иную задачу, это значит, что мы «преодолеваем» известные факты жизни, с которыми столкнулись. И философия, и техника, и всяческая наука имеет в виду преодоление тех или иных фактов: преодоление же факта возможно или реальное — чрез действие, устраняющее этот факт; или же более или менее иллюзорное — чрез мысленный прием приспособления или примирения путем теоретического усвоения данных фактов!

Эта иллюзия усвоения фактов чрез теоретические спекуляции и составляет специальную особенность философского рационализма[95], столь распространенного в наше время в образованном и в полуобразованном обществе! Именно здесь реальное действование всего цельного человека подменяется не реальным, а лишь мысленным приемом «соглашения с самим собою в мыслях»!

Как бы был необыкновенно рад человек, если бы ему удалось когда-нибудь примириться с жизнью и разрешить все эти жизненные задачи этим спокойным и экономным способом — одними мысленными и спекулятивными приспособлениями...

Есть, однако, факт, который надо назвать архитипом всяческих фактов, это — Смерть. На ней рационалистическое преодоление не имеет никакой силы и остается воочию без всякого реального значения! Проблема смерти в пределах рационалистического постижения оказывается совершенно неприступной! Что бы ни придумала сказать о ней человеческая теория, или философия, она остается во всей своей трагической неподвижности и неприкосновенности!

Для рационализма является, впрочем, возможность, к которой и прибегает парижский профессор биологии Ле Дантен,— попытаться просто отрицать самое суще-

ствование проблемы смерти на том, например, основании, что, дескать, мы не располагаем никаким личным опытом смерти. Зато мы знаем опыт смерти любимого, а это гораздо важнее! Ясно, что подобный прием отличает лишь неспособность подойти к данной вечной и страшной проблеме: парадоксом не спастись от колебания почвы под ногами! Отказ от проблемы не есть решение ее!

Итак, где же и как решается эта вечная проблема человеческого сознания?

Она решена радикально только Христом, и решается каждым из нас только во Христе,— решается не иллюзорно — т. е. каким-нибудь мысленным усвоением и примирением с фактом смерти,— а реальным преодолением смерти Воскресением.

Можно сказать, что все содержание христианской жизни есть усвоение в свою жизнь Воскресения Христова!

Ну вот Вам еще некоторое пояснение к тому, что я писал в предыдущем письме! Кстати, пожалуйста, не бросайте этих писем. Может быть, впоследствии они пригодятся, чтобы развить и распространить эти начатки мыслей дальше, пока же птицы, давно кружившиеся в моей душе, не улетят от моего слабеющего и заметно стареющего внимания!

Ну, что же сказать Вам о здешних делах? В воздухе носятся все слухи и ожидания, что придут «союзники» и «барин нас рассудит».

⟨...⟩ Нет достаточных нравственных сил в народе, которые дали бы основу для здоровых новообразований,— опереться в народе не на что. Казнимые все лишь озлобляются более и более, вместо того чтобы стать разумнее. А это признак действительного падения, «болезни и смерти». Надо смотреть на вещи открытыми глазами, не стараясь утешать себя и отдавая отчет в том, что происходит, сравнивая с тем, что предуказано Писанием. Только при таком отношении можно самим отречься от прельщения! ⟨...⟩

Ваш А. Ухтомский.

7 дек. 1918.
Петроград.

13 декабря 1918. Петроград.

Хороший друг, Варвара Александровна,
вот, говорят, скоро и писать будет нечем и не на чем!

Сейчас слышал я, будто новым декретом ограничивается до крайности возможность приобретения письменных принадлежностей! Молчание утвердится на Руси еще шире и глубже, чем есть сейчас! Молчит русская мысль, заглохло русское слово. Его заменили нечленораздельные вокализации вроде «совдепов», «совнархозов» и прочей дряни... Какое тяжелое, тяжелое, темное и тупое, безвыходное время!

Мне вздумалось побеседовать с Вами, пока есть еще свободный листок бумаги и перо с чернилами. По-видимому, мы будем ценить эти блага в близком будущем так же, как ценим теперь хлеб, масло и сыр, вспоминая о них по вывескам, красующимся — по старой памяти — на булочных и молочных лавках!

Что же наконец будет? Придется вернуться, видимо, в глубину средневековья, чтобы сызнова изобретать способы сообщения слов, мыслей и проч. на расстоянии! ⟨...⟩

Занятия осеннего семестра у нас закончились. Н. Е. Введенский сегодня уехал домой в Вологодскую губернию, оставив на меня лабораторию. Буду пробовать на праздниках работать, по старой памяти, в лаборатории. Хочется тряхнуть стариной и заняться экспериментальной работой, хотя это и похоже на старческое желание подбодрить себя, что, мол, не совсем еще устарел и вот, мол, инструмент не валится еще из рук...

Вообще-то настроение тяжелое. Конечно, было бы тяжело пережить изгнание из Университета. А вот оно ожидает многих из нас,— если только большевистские проекты успеют увидать свет! Если все будет продолжаться так, как идет теперь, то наш Университет переживет общие перевыборы преподавательского состава в феврале-марте!

Да будет во всем Святая Воля Божия! Молитесь обо мне!

Отпраздновал с особо хорошим чувством день памяти тети Анны. Царство ей небесное. Двадцать лет уже, как я расстался с нею.

Посмотрите, какие тяжелые годы для меня эти «восьмые» в десятилетиях! В 1898 г. скончалась тетя. В 1908 — скончалась сестра Лиза вскоре после мужа. В 1918 — общерусская разруха, несущая гибель множеству ближних вокруг нас. В 1888 не было чего-либо особенно тяжелого, но все-таки год отмечен значитель-

ным переломом в моей жизни,— это год поступления в Корпус.

Кстати, бедный Нижний,— как говорят приезжие,— переживает бедствия наших дней особенно остро, жители совершенно подавлены жестокою волною, которая их поглотила. А наш Корпус занят Совдепом и красноармейцами, все загадившими до крайности. Много священников поплатились жизнью. Расстрелян Владыка Лаврентий.

Так тяжело представить себе милые стены и комнаты родного Корпуса, где пережито так много светлого и доброго, в руках диких вандалов!

Будем твердо верить, что все свершается ради наступления лучшего. 〈...〉

14 декабря 1918.

Сегодня, когда начинало уже темнеть, мне пришлось проходить чрез Сенатскую площадь [96]. Встречались отдельные темные фигуры прохожих, сверху темнело зимнее небо, темнели дома и деревья сада у Петровского памятника; блестели фонари и лили свой синий свет во мглу и на снег. И вот понеслись во мне мысли о давно прошедшем, происшедшем над этими местами... Давно, давно господа интеллигенты задались у нас несчастною мечтою — обратить русский народ «в свою веру», сделать его таким же, каковы они сами, полагая, что они-то сами хороши, и благородны, и просвещенны, и умны и пр. и пр. Главное же—горды, самолюбивы и «с собственным достоинством». Но долго-долго внутреннее чутье русского народа,— здоровое чутье простых и немудрящих, но верных отеческому благочестию людей,— ограждало и остерегало от барских затей! Не удалось поганцам декабристам то, что затевали на этой самой Сенатской площади,— сорвалось! Помните, как преподобный Серафим Саровский прогнал от себя одного из декабристских «деятелей», вздумавшего прийти к нему в лес саровский за благословением?.. Когда в это время к отцу Серафиму подошел его ученик отец Иоасаф, то увидел старца необычно расстроенным и разгневанным, тогда как удалявшийся военный, изгнанный отцом Серафимом, уходил подавленный, утирая пот с лица... «Вот как они хотят замутить нашу Россию»,— говорил отец Серафим, указывая отцу Иоасафу на густую муть, поднявшуюся со дна источника, около которого они

тогда стояли... Не удалось тогда поднять эту муть поганцам декабристам! Но что не удалось тогда, исполнилось наконец теперь! Старые затеи «мутных душ» получили в наше время свое осуществление: более испоганить нашу Русь уже нельзя,— Русь перестала быть Святою, она покрыта нечистотою с головы до ног, она стала блудницей, вся бесновата, опозорена, искажена... Народ стал наконец таким же, какова его интеллигенция!.. Цель достигнута... И звучит вещей правдой то, что было сказано Львом Толстым в его дневнике: «В тот день, когда русская интеллигенция добьется своего, т. е. сделает народ таким, какова она сама, народ погибнет!» И вот эта самая площадь, думалось мне, помнит первое начало, первую попытку или прелюдию интеллигентской смуты на Руси! Бродят ли сейчас темные души тогдашних темных «деятелей» по этой темной площади, мучаясь от сознания, что плоды их затей достигнуты — народ погиб?!

Каково было мое удивление, когда, придя домой, я заметил, что эти мысли мучили мою душу на Сенатской площади как раз 14-го декабря — в годовщину декабристского мятежа. Точно сама площадь напомнила мне своим видом и какими-то своими деталями: сегодня, дескать, мой «праздник» — память первых начатков интеллигентского беснования! А я еще, идя по площади, старался восстановить пред собою, где стояли тогда конногвардейские пушки, откуда пришел гвардейский экипаж, где пыталась атаковать кавалерия, куда в конце бежали мятежники, как могла «рассыпаться картечь» (по описаниям современников) по Галерной улице...

Так вот в какую годину пришлось мне быть на Сенатской площади, среди теней далекого прошлого! Ровно через 93 года после тогдашних событий, прогремевших здесь, бесы действительно возобладали над несчастной страной и народом! Но я опять и опять верю, что бесноватый еще будет исцелен Всемилостивым Христом и будет сидеть при ногах Его, умытый и благообразный! Это нужно было, чтобы муть поднялась со дна источника, дабы не были скрытыми, но объявились въявь тайные пороки и недуги русской души. 〈...〉

Ваш А. Ухтомский.

P. S. Жду письма от Вас!

Дорогая Варвара Александровна,[97]
отчего я не имею от Вас так давно никаких вестей? Я приписывал было это прекращению сообщения с Саратовом. Но, как слышу, письма из Саратова приходят. Что же Вы не пишете? Ведь теперь это все равно что подать милостыню! Дайте знать о себе. А то, пожалуй, помрешь здесь, ничего не зная о Вас. Мы здесь в самом деле живем уже последними запасами сил, и, как Господь выведет из этого мучения, пока не видно.

Я так и не мог уехать из Петербурга все лето. Введенский пребывает в Вологодской губернии, и заведование лабораторией лежит на мне. Лето пережилось недурно: но в тепле наш скудный рацион казался достаточным, так как мы уже втянулись в него, а траты тела сказываются летом меньше. Но с наступлением холодов силы решительно начинают изменять. И в этом состоянии особенно трудно начинать лекции! Память изменяет, в голове путается; по ночам какие-то тяжелые сны, в которых видятся интеллигенты, собирающиеся вкупе на Господа и на Христа его, ругающиеся над святынею, над церковью. Одним словом, и во сне не успокаивается душа от гнетущих переживаний, посланных нам в наказание за отступление, гордыню и мерзости, которыми полна была жизнь русского общества.

Что знаете Вы о Ваших: о Наталье Яковлевне, об Ольге Александровне? Добралась ли Ольга Александровна до Кавказа?

Как вы с Татьяной Александровной?

Вообще, дайте же знать о себе и о Ваших! Я буду очень ждать. ⟨...⟩

23 июня 1921.
Праздник Владимирской иконы
Матери Божией.

Великую радость доставили мне, мой добрый друже, Варвара Александровна, присланными памятками от Троицкого собора Сергиевой Лавры, от благодатного леска близ Гефсиманского скита, с могилы Владимира Соловьева, которого я, кстати, читал в последнее время и, значит, был с ним в общении. Необыкновенная радость и в том, что Вам так неожиданно открылись запечатанные двери Троицкого собора и преподобный Сергий принял Вас, свою гостью, с любовью и благосло-

вением! Спасибо Вам за прекрасное и живое описание всех этих событий,— я так живо ходил мыслью за Вами по родным дорожкам Святой Лавры, посада, Гефсимании! Царство Небесное нашим отшедшим отцам и братиям, да не оставит Господь и нас на путях наших, болезненных и скорбных вдали от Него и Света Его! На Переяславской улице, где Вы были с Ольгой Александровной, жили и мы с тетей Анной в бывшей тогда частной гостинице «Москва», где потом помещалась женская гимназия. Это самый угловой дом у переулка, отделяющего названный дом от новой Лаврской гостиницы; а напротив через улицу — старая Лаврская гостиница. Жили мы там, во-первых, во время моих вступительных экзаменов в Академию в августе 1894 года, потом во время моего пребывания на I и II курсах Академии. Здесь в 1896 году весною тетя перенесла тяжкую болезнь — рожистое воспаление лица, головы и туловища. В бытность мою на III курсе мы жили на Нижней улице. Наконец, когда я был на IV курсе, мы жили в так называемых Кокуях, за Лаврою. Там началась и последняя тетина болезнь, мое «страстное время»,— как Вы когда-то прекрасно выразились.

Живу я сейчас не особенно важно. Ослабели мои силы. А тут приходится еще ездить дня на четыре еженедельно в Петергоф в тамошнюю лабораторию [98]. Отдыха у меня нет. Продолжаю и лекции (на рабочем факультете) [99]. Поэтому чувствую себя сильно измотавшимся телом и нервами. В связи с поездками из Петрограда мне не удается прийти, как следует, к Елизавете Андреевне [100] и Татьяне Александровне, как хотелось. Назначали мы два вечера, и в оба у меня оказывались затруднения — приходили экстренные посетители и надо было оставаться дома. В другие вечера приходил к ним, но заставал у них фестиваль,— и тогда посидеть не приходилось! Вот и сейчас мне удобнее будет занести это письмо по дороге на вокзал на почту, чем заходить с ним на 10 линию [101],— так что получите Вы его не через Елизавету Андреевну. С последнею, я надеюсь, мне все-таки удастся еще повидаться в эту пятницу вечером, когда я вернусь из Петергофа. Она, кажется, еще будет здесь! Тогда, может быть, напишу Вам еще. А если нет, то по почте пошлю дополнительное письмо в самом непродолжительном времени.

Вы ежедневно проходите мимо Иверской, как вижу из Вашего письма. Вспомните, что там же, в здании

Исторического музея, стоит и празднуемая сегодня Владимирская икона Матери Божией. Мысленно кладите пред нею поклоны за меня, за всех нас, за русскую землю, да не оставит она нас своими умиленными молитвами, да умягчит нас,— наши засыхающие и черствеющие души,— святым умилением пред Христовою Тайною, творившеюся до Евангелия и Креста, потом на Кресте, и продолжающеюся твориться до наших дней судных и великих,— дондеже приидет Сам и озарит нас Светом Лица Своего, когда окончится всякое пререкание! 〈...〉

Простите Христа ради.

Преданный Вам А. Ухтомский.

30 ноября 1921. Петроград.

Дорогой друг мой Варвара Александровна,
примите мое приветствие со днем Великомученицы Варвары, прошедшим днем Первозванного Апостола Андрея и наступающим днем Святителя Христова Николы. Прилагаю письмецо сегодняшнему имениннику Владыке Андрею. Надеюсь, что найдете пути для передачи [102]. Хорошо, что передали ему предназначавшееся мне,— это Вам Бог внушил. Я здесь как-то втянулся в температуру квартиры и живу сносно, да ведь у меня есть и что надеть! На днях выдали фуфайку из иностранных подарков, да из Рыбинска пришли теплые чулки. Передайте, родная, и прочие вещи, мне предназначавшиеся, нашему узнику. В записке, которую прилагаю для него, я кое-что исправил, дабы сделать ее безопасною. Если найдете нужным что-нибудь еще изменить, пожалуйста, измените. Всего, впрочем, не угадаешь, что́ может дать пищу чиновникам, если записка попадет в их руки. Надо помнить о периодических повальных обысках, которым подвергаются обитатели этих учреждений. А Владыка Андрей, пожалуй, не уничтожит письма, которого долго ждал. Пожалуйста, поскорей сообщите мне, удалось ли передать. Напишите, что́ бы ему переслать отсюда! Что его поместили в Бутырке, это и хорошо и худо: хорошо в том отношении, что там содержание несравненно свободнее и человечнее, чем на Лубянке; худо в том, что помещают туда затяжных узников, которых не предвидят скоро выпускать или судить; это обычно же арестованные, следствие которых почему-нибудь затягивается и отлагается до дополни-

тельных данных. Это так для арестованных, числящихся за ВЧК.

Возможно, конечно, что в данном случае дело идет и иначе.

Переживая годину моего пребывания на Лубянке [103],— все так вспоминается до мелочей! Очень я счастливо, по милости Божией, отделался! В сущности, только стечение обстоятельств, маленькая бумажка от Петроградского совета, бывшая в кармане, остановила предприятие ухлопать меня еще в Рыбинске! Помню, как в дежурке рыбинской Ч-Ки, в момент окончательного заарестования, солдат сказал мне: «Дело идет о жизни человека»,— а затем вошедший, коренастый, пожилой и какой-то весь серый человек голосом привычного бойца со скотобойни спросил, все ли готово, и затем обратился ко мне, как к предназначаемой к убою скотине: «Ну, иди...» Это он пока повел меня в подвал. Но он же потом, как слышно, кончает за углом, в саду, «приговоренных» и там же зарывает, или ночью увозят их в больничную мертвецкую. Помню, что они были неприятно поражены, когда меня через несколько часов было решено отправить в Ярославль! Это был самый опасный момент!

Посылаю Вам маленький гостинец: немного спирту для йода, баночку сгущенного молока из заграничного подарка и две плитки шоколаду. Как я просил бы Вас оставить все это у себя и скушать с сестрами! Уверяю Вас, что посылать это Владыке Андрею совершенно бесполезно,— он не притронется ни к чему и все раздаст. Поэтому, если сколько-нибудь можете исполнить мою просьбу, оставьте себе мою маленькую посылочку и сделайте, чтобы я чувствовал, что Вы ее кушаете!

Я очень устал за текущее полугодие и рад, что приближается перерыв лекций. На следующей неделе должен быть конец семестра. Никогда так не ждал его, как в этом году. Надеюсь, что очень скоро сяду за писание Вам большого письма. А Вы сообщайте поскорее о новостях у Вас и Владыки Андрея. Прошу святых молитв у преподобного Сергия, у Владимирской, у Тихвинской, у Василия Блаженного и на Опухтинке, куда, пожалуйста, соберитесь вместо меня поклониться красоте и благолепию.

Ваш А. У.

Елена Александровна Макарова из Рыбинска, так много хлопотавшая в прошлом году о моем освобождении, просит дозволения пересылать на Ваше имя деньги и посылки для Владыки Андрея. Я, не списавшись с Вами, ответил за Вас, что Вы согласны. Поэтому не удивитесь, что будут посылки.

Простите!

V

Дорогая Варвара Александровна,
спасибо Вам за доброе письмо. Очень хотелось бы поехать к Вам в Москву, но думаю, что это не удастся сделать по двум причинам: во-первых, денег нет; во-вторых, занятия, можно сказать, на носу, и Университет меня не пустит тем более, что я ведь два месяца прогулял (не выходил из дома).

Сегодня день Нерукотворного Образа. Приветствую Вас со вдохновленным Праздником наших отцов и дедов — Третьим Спасом. Да не оставит он и нас,— сирых и отверженных, последних насмертников,— Своею Благодатию!

Вот хочу обратиться к Вам с большой просьбою. Когда увидите сестру Марью, добейтесь от нее, чтобы она вспомнила более или менее точно тот год, когда покойный дядя Александр Николаевич приезжал в Восломе. Это было летом. У меня остались отрывочные воспоминания: всплывает пред памятью переезд на пароме через Волгу под Рыбинском; серый, ветреный и холодный день... Потом всплывает новый отрывок: мы все уже в Восломе,— под вечер, на поле близ усадьбы, где мечут стог сена; солнечно, тихо, день склоняется к паужину; на стогу и около него возятся все ближайшие знакомые люди; а на отаве сидят дядя Александр, отец, мать, тетя и мы — дети. Вот видите, за последнее время, особенно во время болезни, у меня развилась новая очень приятная, но и мучительная способность: стоит мне закрыть глаза и лечь на бок, как начинают восплывать с совершенной живостью, во всех мелочах, такие далекие моменты жизни и прошедшие когда-то картины, которые, казалось бы, не имеют уж давно никакого значения для того, что у нас теперь! Так вот и сегодня, вдруг восстановилась для меня следующая картинка,— восстановилась оторванно от остального, что я перед тем думал. Сидя на этот раз у письменного

стола, я закрыл глаза и вдруг увидел, что я еду в телеге, в которой сидит нянька Манефа Павловна и правит веревочными вожжами; мы заворачиваем с широкой дороги, идущей от Восломы, направо в Дерьбу, а нянька, находящаяся в очень хорошем настроении, говорит: «Княгиня у нас умная, опять свезла деньги в банк...» Я знаю при этом, что мы это едем в целом поезде: впереди едет тарантас, в котором сидят отец, мать, дядя Александр Николаевич, тетя Анна и брат Александр. Кроме того, едет с нами «разлюли», в котором сидят сестры. Это мы едем по Восломским лесам и полям, которые мои родители показывают приехавшему дяде Александру, не бывавшему в Восломе с тех пор, как он вышел в отставку из флотской службы и поселился в Рыбинске... Едем мы шагом, рассматривая каждую дорожку, пруд или лесную постройку... Тут теряются мои воспоминания,— становятся отвлеченными... Кажется, что мы едем в Николаево и Желтово. Но вот опять вдруг всплывает очень яркая и совершенно живая картина! Посреди густого леса — поляна, а на поляне старый серый дом, кажется — с крытым двором. Тут наш поезд останавливается, и слышатся голоса из передних экипажей. Дом кажется нежилым, заколоченным. Что это за дом, стоящий серым пятном на темном фоне хвойного леса? Кажется, это Васильевское, строенное когда-то дедом Николаем Васильевичем с мечтою здесь поселиться на последние старческие дни... Это не осуществилось; дедушка поселился в Рыбинске и скончался в том домике, который покамест не покидает меня! Но вот сейчас этот старый серый дом в лесу, в вечерней прохладе проходящего солнечного дня стоит передо мною как живой. Т. е. стоит, как живой, давно ушедший момент жизни, ничем как будто не связанный с нынешними моими делами и интересами,— и, однако, вот он всплыл неожиданно во всей полноте и наглядности, как будто это сейчас мы проезжаем по лесной дороге мимо старого дома... Постояв несколько минут, мы трогаемся далее и возвращаемся на Восломскую дорогу.

Ну вот, мне теперь и хочется очень восстановить, какой это был год; пусть Маша постарается вспомнить, летом какого года дядя Александр приезжал в Вослому! Пожалуйста, поговорите с нею об этом!

Так вот посещают меня картины из далекого прошлого, живые до мелочей и яркие до того, что я мог бы

их рисовать. И мог ли я думать тогда ребенком, проходя мимо этих картин, о том, чтобы тотчас их забыть, ибо дальнейшего интереса они тогда не имели,— думал ли, что они вот воскреснут совсем в другой обстановке, когда я буду жить стариком на своей вышке?! [104]

Мы ведь почти всегда проходим мимо текущего содержания жизни «мимоходом», только по касательной, схватывая для своих текущих интересов лишь поверхностные более или менее черты. Но содержание жизни и в те прошлые моменты бесконечно богато, как оно бесконечно богато и сейчас вокруг нас, когда мы знаем лишь свои горя и печали оттого, что события идут не так, как ожидалось и хотелось бы. И вот вдруг неожиданно поднимается опять в своей конкретности давно минувшее, чтобы сказать: полно, все ли ты видел тогда во мне? А я ведь и тогда шло, повинуясь тому же Разуму и Закону, которым буду следовать и потом, которым следую и сейчас! То, что проносится пред человеком за его жизнь и в чем он сам живет и движется, бесконечно богаче, содержательнее и значительнее, чем человек успевает о нем думать. Постигать богатство жизни и бытия в достаточной полноте, во всем их трогательном и берущем за сердце значении, можно лишь там, где не утрачивается способность входить в собеседование с тем Собеседником нашим, к которому мы закричали в первые минуты появления на свет; к которому мы плакали не раз, пока росли; к которому плакали в особенности, когда ушли от нас своею дорогою наши дорогие родные; к которому направим мы и последнее свое исповедание в нашем конце. Первый и последний наш Собеседник, к которому росли и все эти давно увядшие травы, давно сменившие свои листья и хвою деревья прошлых лет; тихие и смиренно-мудрые леса нашего дорогого Заволжья, и простые, смиренно-мудрые люди, рождавшиеся и воспитывавшиеся в тихом, благодатном Заволжье.

Но простите, что так заговорился, Варвара Александровна. Старики становятся болтливы,— как отметили древние римляне. О себе, впрочем, скажу, что старение выражается у меня не в болтливости, а в громадном затруднении перед тем, как надо говорить. Мне трудно становится «собраться с мыслями». И очень упала память на самые обыденные, сподручные вещи. Вот, например, несчастие последних дней: потерял куда-то новые, только что выданные на сентябрь—декабрь про-

довольственные книжки! Куда их засунул — сам не знаю! А ведь это — настоящая беда, грозящая почти голоданием. И так теперь со мною часто.

Третьего дня ко мне обратились с предложением от правления Вашего Университета, не перейду ли я туда за неожиданною кончиною профессора Самойлова.[105] Совсем не представляю себе, как бы я стал жить в Вашей сутолоке, если я начинаю тяготиться и здесь в относительной тишине. Послал отказ с сожалениями. Моя мечта была бы в том, чтобы выйти на пенсию, как только докончится мой 25-летний срок в сентябре следующего года. Только, конечно, это все мечты, а как будет в действительности, «услышу, что речет о мне Господь Бог». Это слово Псалтыря, которое любил повторять наш отец в последние годы. Из здешних событий: А. Шеляпин заболел в ночь с 22 на 23 августа. Тогда же и мои соседи киевляне за исключением Кустина. Ну, пока простите, буду рад, коли еще напишете.

Ваш А. Карголомский.[106]

29. VIII. 30.

2. IX. 1934.

Дорогой друг Варвара Александровна,
прежде всего привет Вам от Всякого Дыхания, от Владимирской, от Ярого Ока, от Благого Молчания и от Не рыдай мене мати.[107] Весь уголок посылает Вам мир и благословение. А Вы пожелайте от души, чтобы он сохранился подольше в поддержку и в укрепление падающим силам. Полоса жизни и истории, в которую мы вошли и в которой приходится идти, полна научения и содержания для того, кто имеет открытый слух и способность видения. Но вот чтобы сохранять слух и способность видеть, нужна бдительная дисциплина внутреннего человека; нужно, чтобы «натапливаемая баня не рассеивала своего тепла»; а для этого нужно немало благоприятных условий. Верю, что они даются Вам, ибо «блаженни изгнани правды ради, яко тех есть царство небесное».

Пожалуйста, не сетуйте на то, что я не пишу писем. Мне хочется обратить Ваше внимание на следующее. Если бы я был особенно заинтересован узнать интимное настроение и мысли какого-нибудь лица А, а мне было бы известно при этом, что это лицо А осторожно и за-

мкнуто, умеет сохранять свои мысли внутри себя, то как бы я поступил? Всего правильнее я бы поступил вот так: я уединил бы дорогое для А лицо В так, чтобы можно было контролировать всю переписку этого второго лица В, и тут мне без труда и околичностей далось бы все мне интересное касательно А, поскольку стали бы известны его беседы с В. Не правда ли? Так вот, отдавая в этом отчет, следует в таких случаях быть сугубо бдительными, чтобы не разыгрывать пьес по тем нотам, которые тебе подставляются сторонними наблюдателями.

Очутившись в положении В, я, со своей стороны, стараюсь предупредить поскорее А, чтобы он оградил себя молчанием. Это прием, к которому прибегнул бы я в отношении А и В, практикуется гораздо чаще, чем думается. И вот тем более нужно оградить себя молчанием, пока речь вести приходится не иначе, как письменно! Бог даст, встретимся лицом к лицу, чтобы сообщиться словом, как хочется и как надо. Приходилось читать, что египетские пустынники приходили друг ко другу посетить один другого, но при этом не нарушали молчания, а, посидев один у другого и сказав привет и пожелание братским поклоном, уходили опять к себе. Так вот, что бы ни случилось еще впереди, надо бывать друг у друга самым главным — сознанием общности де́лания. И думаю, что мы с Вами бываем так друг у друга нередко. Можно ведь и встречаться ежедневно, и разговаривать, и жить вместе — и, однако, глубоко молчать по существу, насколько закрыто чувствилище и чуткость друг ко другу. Так чаще всего и бывает у людей, и ежедневно видим мы это! Ибо нечувствием болеют люди. А то видимое по внешности молчание, пример которого дали египтяне, было между ними, конечно, красноречивою речью: как подвигаешься, как твои паруса, благоприятно ли ведешь свой корабль под ветрами? Ну, у меня как-то покойна душа за то, что Ваш корабль держится на волне хорошо и курс его правилен. Дело хуже у меня. Поэтому не ослабляйте память обо мне и почаще приходите посетить издали мое обиталище. Жить-то приходится все труднее и труднее, дорога все уже и уже! Хорошо, если бы это значило, что все ближе и ближе к родине! Я особенно рад тому, что Ваша спутница Толчская с Вами. С нею Вам гладки будут предстоящие дороги. И будет дорого, когда они приведут вам увидеться. По почте переписываться, хотя бы и незначащими записками, нельзя. Надо пользоваться только

оказиями,— когда бывают сообщения через людей. Очень был я рад, что пришлось побывать у Ваших, посидеть по-старинному и побеседовать о пережитом. Очень у них теплый уголок и так хорошо в нем чувствуется! На последних днях пришлось мне побывать у Михаила Ильича. У него все пока по-старому; очень красиво заросло все плющом. Но вокруг сильно все изменилось: перерывается прежний пейзаж ради новых насельников, и в некоторых местах трудно узнать знакомые дороги. Москву тоже во многих местах трудно узнать. Едва остаются отдельные отрывки с прежними памятками и прежним характером. А между ними длинные участки совсем другого стиля, такие чужие и сторонние! Ну, да это все неважно, а важно то, о чем напоминают эти перемены. Надо отвыкать от привычного и готовиться к новому.

Простите, милый друг. Дай Бог бодрости, крепости и разума на путях!

6—7 апреля 1937. Ленинград.

Дорогие друзья.

На этих днях я видел Лёлю,[108] и он, во-первых, велел благодарить Вас обеих за приветы в мартовские дни и, во-вторых, просил передать Варваре Александровне, что от всей души рад ее просьбе и исполнит ее с величайшей радостью. Надо придумать способ передачи его долга Варваре Александровне. По-моему, ей было бы хорошо приехать сюда денька на два-три; в личной беседе легче домекнуться, как лучше все устроить. Слышал, что у вас была Олечка и вернулась от вас повеселевшей и оправившейся. Вот,— значит, у вас там добрый дух и мирная, несуетливая устроилась жизнь! Это самое главное! А я пишу вам в прекрасный день Благовещения, потому что очень захотелось сходить к вам в гости и сказать вам родственное слово. Приехала ли ваша милая старушка в Калугу? Как сложилась ее жизнь по настоящий день? Глубокий мой поклон и привет ей и пожелание доброго здоровья и продления ее дней на радость и на духовное подкрепление любимой дочке, да и обеим дочкам, да и прочему молодому поколению, которое нуждается, как никогда, в оживлении связей с добрым преданием дедов и отцов. Царство Небесное Юрию Александровичу. [109] Я его мало видал и встретил не более двух-трех раз. Но он оставил во мне

очень прочное и доброе впечатление. Первое знакомство было в конце октября 1905 года вечером, в домике на углу 13-й линии и Большого, когда я пришел в первый раз в гости к Платоновым и в первый раз познакомился с Варенькой. Помните этот вечер? Были Женя, Клаша, Машенька, Варенька и Юрий Александрович, причем мы пили чай за столиком под картиной, изображающей Наполеона, прощающегося со своими ветеранами — старыми гренадерами. Другая картина, тоже хорошо памятная, изображала французского солдата в траншее, забирающего из подсумка убитого товарища «последний патрон», в то время как вдали видны уже наступающие цепи неприятеля. Картина эта, помнится, так и была подписана: «Последний патрон». В этот вечер, как сейчас помню, Юрий Александрович рассказывал об И. П. Долбне, в то время очень популярном профессоре Горного института,— как он просил осязательных гарантий для осуществления правительственных обещаний 1905 года, но советовал не полагаться на совесть, потому что ссылки на последнюю так легко оправдывают любые преступления. Что еще из тогдашних воспоминаний? Вот еще впечатлившаяся деталь: звала меня в гости Женя, кажется, дня за два до памятного нашего вечера, и предупредила, что дверь с улицы будет заперта, а надо заходить в ворота на кухонный ход и лучше не попадаться на глаза дворнику, потому что последний, такой положительный, сухонький и серьезный старичок, предупреждал, что студентов «в синих околышках» пускать на квартиры не велено! Это было обостренно-тревожное время митингов, демонстраций, стрельбы, патрулей и т. п. по городу! Я тогда и пришел не в студенческой одежде, а в желтой куртке из верблюжьего сукна и в черном картузе приказчичьего типа,— в том самом, в котором я ездил летом того года по Волге и по Уралу в качестве делегата от здешней старообрядческой общины... Натальи Яковлевны и Олечки тогда не было, потому что они еще не возвращались с Кавказа, где гостили летом!.. Ну, так вспоминаете тот вечер? Помнится, что мы и ушли с нашей вечеринки с Юрием Александровичем вместе. Как кажется, я проводил его до Среднего проспекта, откуда мне предстояло направиться к Тучковой набережной.

Впоследствии тем же путем шел я зимним вечером с Михаилом Ильичом, тоже после гостин у Платоновых, причем мы расстались с ним на Тучковой набережной:

я свернул к себе, в Жуковский дом,[110] а М. И. пошел через Биржевой мост к Зоологическому саду, около которого он тогда жил, в переулке, в белом домике... Вот ведь какие воспоминания начинают всплывать, когда тронешь давние впечатления!

Как много, много пронеслось с тех пор! Целые картины и трагедий, и драм, и комедий, а потом опять трагедий и трагедий!.. Все-таки трагедии в человеческой жизни преобладают! А отчего же? Мудрые люди сказали и продолжают говорить: от греха! Испорчена, болезненна жизнь, и в особенности человеческая жизнь, в ней есть внутренний порок, и порок этот есть грех. Лишь радикальной и нарочито направленной борьбой с самим собою и со своим внутренним врагом — грехом — достигает человек относительно твердого и благонадежного камня под ногами! Человеку естественно не хочется напряжения, не хочется работы, да еще бдительно-непрестанной,— оттого он ищет и придумывает, как бы пожить беззаботно как птица, в свое удовольствие! Можно сказать, вся наша европейская «культура» направлена на это устремление к беззаботно-комфортабельному существованию в свое удовольствие... Но жизнь упорно, настойчиво и твердо поворачивается трагическими своими сторонами, звучит опять и опять басовыми тонами, грозовыми раскатами, и все опять напоминает, что не для банкетов и увеселений мы здесь, друзья! Как забывать о том, что вот сейчас, когда ты беззаботен, рядом в кровавой куче тел или на больничной койке расстается со светом белым другой потомок Адама первозданного, ветхого Адама, сбившегося с пути Божия! «Каин, Каин, где твой брат Авель?..»

А вот вчера у меня была неожиданная гостья, унесенная отсюда жизненным потоком в 1933 году. Это Елизавета Николаевна Киреева, возвратившаяся из Алма-Аты и живущая сейчас в Новгороде Великом. Профессия ее относительно благодарная и питает ее. Но у нее, бедняжки, возобновилась эпилепсия, которая ее мучит и выбивает из сил.

Кому из нас, и когда, и куда предстоит еще путь и странствие? Это хорошо, что выбирает нас сила Божия из уюта и с «подушки успокоения», которое мы норовили себе устраивать! Не только свой обыденный быт, но и самое Истину, свои представления об Истине — норовили мы устроить так, чтобы они были портативны,

поменьше обязывали, по возможности, не тревожили, могли бы обнадежить, обеспечивали бы «подушку под голову»!.. А пророк говорил: «Кто сказал вам, что день Господень будет для вас непременно радостным и удовлетворяющим!? Ой, люто мне, ой, люто мне! Он может быть мрачен и грозен для меня!..» Да, по-видимому, Истина дана человеку не для его успокоения и обеспечения, она существует сама в себе, а для человека, может быть, и бывает прежде всего судом, и судом страшным, ибо ею опаляется и сожигается все, что не ценно! Но вот она же и благовествует радость всем, кто имеет уши для ее услышания: «Благовествуй, земле, радость велико. Пойте, небеса, Божию славу!» Сегодня хочется помнить в особенности об этом,— о том, что и порочной жизни, и ветхому Адаму с его детьми дан путь, «по нему же востекающе обрящем славу». Простите, мои хорошие друзья. Привет большой от Н. И.

Дорогая Клавдия Михайловна [111],

давно не получаю от Вас писем и хочу представить себе, что у Вас делается. Напишите о себе и о том, как идет Ваша жизнь с началом хорошей зимы,—такой настоящей русской зимы, какою не баловали нас последние годы. Теперь, под белой снежной шапкой, покрывшей крыши наших домиков и изб подлинной Руси в тихих городках и деревнях, особенно дорог уют за светящимся окошком, около огонька, когда бабушка вяжет у лампы чулок, зрелые представители семьи заняты заготовкою ужина или чтением хорошей книги, а молодежь готовит уроки на завтрашний день. Что делает Ваша милая бабушка? Готовит ли ужин Ваш муж? И кто исполняет должность молодежи? Мне иногда ужасно хочется носиться невидимкою по ночному воздуху, чтобы слетать то к одним, то к другим моим друзьям, заглянуть к ним, чтобы знать, что они там сейчас делают, как сидят, о чем говорят, счастливы ли, сыты ли, чем озабочены. Хочется побывать на любимых и родных местах, чтобы все посмотреть и послушать, а при этом своей инертной и массивной персоны не было бы, дабы она не занимала собою и не отвлекала ни моего, ни чужого внимания. А то ведь так часто приходится чувствовать, как неуклюже и неловко свое собственное присутствие служит помехою

чуткому вниканию в то, чем живут люди и чем живет природа, когда они предоставлены самим себе! Недаром мы говорим, что хотелось бы узнать людей, людскую жизнь и события мира «независимо от нашего субъективного вмешательства в них»! Когда приедешь со своею персоною, то ведь «субъективное» неизбежно. В эти последние недели мне пришлось подряд три раза ездить в Москву,— все, конечно, по делам. Улучил часок в одну из поездок, чтобы пойти на тихий двор с маленьким домиком — побеседовать с друзьями. Было это под выходной день. С теми же основаниями, с которыми избрал я этот вечер для гостьбы, и хозяева домика избрали его, чтобы со своей стороны пойти в гости. И мне пришлось возвращаться восвояси. Так и не пришлось повидать наших друзей. Мне писали, что М.А.[112] была у Вас и погостила немного в Калуге. Ей очень тоскливо, конечно, после неостывшего расставания с покойным мужем. Мне очень жаль, что не удалось их повидать на старом пепелище, памятном мне с 1920 года, когда я пришел туда в средине декабря после моих поездок на родину. Была тогда тоже снежная и вдобавок морозная зима. Был солнечный день, с веселыми, искрящимися рисунками из льда на окнах. Я помню, как сиживал на ступеньках лестницы, пока мне отопрут двери в комнаты, и тут же на площадке лежали вязанки дров, оставленные дворником... Все это теперь вспоминается до мелочей. Вспоминаются и ночные походы по морозу на Покровку, где я жил. Когда увидите Вашу милую гостью [113], расскажите ей, что закут [114] и закутские ей шлют сердечный привет и поклон, большие пожелания добрых путей и всякой крепости в житейском мире. Будем ждать и надеяться, что море это с его ветрами и волнами и опять принесет добрую гостью в тихий закут, пока он еще стоит. Нелюдимо наше море, день и ночь шумит оно. Про какое это море поется в этой старой песне, которая вызывала во мне волнующие отзвуки еще в далекой юности? Помню, как из помещений второй роты я, еще четвероклассником, слушал с волнением эту строфу, которая неслась из помещений первой роты, занимавшейся спевкой с преподавателем П. П. Поповым. Были сумерки в коридоре к 1-й роте, где я стоял, сгущалась холодная темнота, а воображение живо перенесло в холодный и ветреный воздух под серой, волнующейся поверхностью волн, которые плещутся с пенящимися гребнями в сумраке нелюдимого и сурового северного

озера... Что это за озеро? Какое-то очень русское, очень древнее, очень давно езженное нашими предками, передавшими нам это волнение при одном лишь приближении мыслью к этим памятям. Я думаю, что это Ладожское озеро, в самом деле суровое, нелюдимое и седое своею незапамятною стариною, по которому древние новгородцы вели сообщения и с западною Ганзою, и с восточными волостями, и с северным каменным островом, куда уходили твердые и мощные духом люди душу спасать... Когда впоследствии мне пришлось быть на Ладоге и на Валааме [115], я почувствовал всем нутром, что это и есть то нелюдимое и суровое море, которое меня волновало когда-то и по одной наслышке!.. Или, может быть, это родное Бело озеро? Или Ильмень? Но это все тот же ансамбль, того же края, того же народно-художественного замысла!.. Вот как далеко увели меня от ближайшего ко мне мира прежние воспоминания! Но я знаю, что Вы с подругою примете все это по-хорошему, т. е. так, как будто это я зашел к Вам «на огонек», чтобы посумерничать, как бывало принято в старину, когда жизнь была тише и проще. Осмеяна у нас «Растеряева улица» [116]; а ведь по правде-то она несравненно лучше и милее, чем болтают о ней «мудрецы»! За эти последние недели и дни скончались двое моих старых товарищей — один по Корпусу, другой по Академии: Михаил Александрович Пещанский, давний работник ГАУ, которого Ваша подруга, наверное, помнит, и Павел Васильевич Тихомиров, дельный и сильный профессор сначала Академии московской, потом Нежинского института и, наконец, Ленинградского университета. Уходят старики, сменяется лицо земли, и смерть действует в потомстве Адамовом, вплетаясь во все ростки жизни, как повилика вплетается в поросль леса. «Смерть пришла от преступления и для того, чтобы преступление не сделалось бессмертным». Мы понимаем это древнее глубокое слово. Но оно не покрывает скорби нашей, когда смерти подвергается и лучшее, что у нас было в жизни, и наши друзья, и наши воспоминания. Ну, простите пока, родная Кл. Мих-на. Привет мой Вашим.

Преданный А. Сугорский.[117]

12. XII. 1937.

P. S. Очень важно, как человек приучил себя подходить к вещам и к людям в своих попытках их понять.

Идет ли дело лишь о том, как их «приспособить» к себе и к своему способу постижения? Или есть готовность узнавать и понимать их все далее и далее — такими, каковы они есть в самостоятельном их составе и содержании. Вот тут и решается то, остановится ли человек на своем Двойнике, или хватит у него сил искать во встречном лице Собеседника! Если совсем простым людям эта последняя задача дается просто, почти сама собою, то для «мудрецов» тут требуется преодоление очень большого труда. Древнеиндийское сказание рассказывает, как нескольким слепцам было предоставлено узнать, что такое слон. Слепцам приходилось полагаться на свое осязание; и они стали ощупывать, каждый около себя, предмет изучения, насколько он представляется доступным. Когда изучение продвинулось достаточно и слепцы стали считать его законченным, их стали спрашивать о результатах; один из них сказал, что слон это веревка; второй показал, что, на его взгляд, это скорее столбы; третий возражал, что слон есть нечто, похожее на тряпку; четвертый усматривал в слоне толстый канат, склонный наносить болезненные удары, если его долго щупают... Вот видите: всякий сумел видеть, что мог, руководясь ближайшим осязанием. Надо дать себе отчет в том, что то, как вещь или человек открываются для нас, делаясь доступными нам, может служить только вящим застиланием от нас их подлинного значения и смысла! Когда слон показался как веревка, или как столбы, или как тряпка, или как неприятно ведущий себя канат, то эти убеждения слепцов только повредили подлинному знанию, что такое есть слон. И когда человек принял природу за мертвую и вполне податливую для его вожделений среду, в которой можно распоряжаться и блудить «sans gêne» [118] сколько угодно, это лишь закрыло от человеческих глаз ту содержательную и обязывающую правду, которою живет действительность. Ослеп, оглушился человек своими страстями, они же его идолы! И, оглушившись ими, стал он им работен, поработился им, а они стали для него принудительными. Это и есть то, что древние писатели называли «неестественностью ветхого Адама». И тогда само собою двойник застилает для человека реального собеседника. Двойник становится как экран между человеком и его собеседником, подменяя последнего двойником. Надо признать, что это бывает чаще, чем мы думаем. И нужен обыкновенно немалый труд, прежде чем экран будет

пробит к собеседнику в его подлинном содержании. А научиться видеть во всяком приходящем человеке собеседника в подлинном его составе, болении и исканиях, это редкий дар, снискиваемый громадным трудом многих лет неусыпного овладения собой. Между тем многим представляется так, что чего же проще и обыденнее «понимать встречного человека»! Достоевский увидел здесь проблему и дал ее понять современникам в современных образах, тогда как она была хорошо известна прежним людям, забыта же солипсическим настроением жизни и мысли новоевропейской философии. Экран создается самим наблюдателем и выявляет пороки последнего. Вот, например, ходячий стыд среди персонажей Достоевского: Федор Павлович Карамазов. Стыд отвращается от прекрасного, стыдясь его и стремясь его осрамить в глазах других в свое оправдание. Вот удивительное боление, в котором люди запутались так давно, как и помнят свою историю. Стыдится Федор Павлович мира Алеши.

Дорогая Клавдия Михайловна [119],
хочу рассказать Вам о своей поездке в Москву, из которой только что возвратился. Встретились дела, заставившие сдвинуться с моего привычного покоя, как это ни тяжело для моего привычно-оседлого образа жизни с текущим делом, которое легко сбить, но не так легко потом опять настроить. Остановился в Охотном ряду, которого невозможно узнать тому, кто был тут двадцать лет назад. От линии домов бывшей Моховой улицы, в которую входит Университет, и вплоть до Неглинной и Кремля — почти все удалено. Тут осталась только группа построек, примыкающая к Историческому музею, а с другой стороны постройка Манежа, заинтересовавшая решающие инстанции своими архитектурными фокусами. Образовалась очень большая площадь. От места, отвечающего приблизительно прежним Иверским воротам, посредством метро очень быстро попадаете Вы, с одной стороны, в Сокольники, с другой, к Пречистенским воротам и к Крымскому броду. Скоро будет такой же путь к Серебряному бору, в Покровское-Стрешнево. Для того, чтобы увидеть коренную Москву, надо там пожить, а не проскочить проездом, как это приходилось сделать мне. Коренную Москву надо разыскивать в Замоскворечье, где еще

сохранились типичные маленькие домики с палисадниками и садиками на дворах, прочные купеческие усадьбы и изредка церкви, пережившие века. Не менее того нужно было бы идти к Яузе и за Яузу, к Покровской и Рогожской заставам,— поискать там коренного московского человека. Есть он, конечно, и на Остоженке, и в Хамовниках, и в Ямских, и на Басманной. Но здесь он уже менее характерен! В центре же коренного москвича почти нет, а преобладает наезжий отхожий человек, промышляющий на Москве, да иностранные фигуры типа «интуристов». Сии последние воспризнают себя и свое, а также себе подобное в американизированных постройках Охотного ряда, но разглядывают, как диковинку, через монокль случайно затерявшегося коренного москвича и подлинные памятники московской жизни.

Я передал Олечке свой долг — тысячу рублей для передачи ее сестре по мере надобности. Очень рад, что сложилась возможность это сделать. И у Вашей подруги будет случай побывать в Москве — легче и ранее, чем откроется оказия сюда. Сам по себе московский метро — сооружение, конечно, грандиозное. Отдельные участки его выдержаны в разных стилях. Впечатление получается, во всяком случае, интересное. Кроме всего прочего, очень вместительные залы на случай, если населению придется искать убежища от воздушного нападения. Мне очень хотелось видеть предметы, отрытые из московской земли при постройке метро. Как слышно,— было найдено немало очень замечательного материала. Подумать вот, сколько наслоений исторического материала должно было уложиться в московскую почву, в старинные колодцы, в клады, в остатки старинных построек. Как было слышно, за Неглинной, близ Кутафьи, были найдены остатки Опричного дворца, строенного Иваном Грозным. В набеги татар, в литовские нашествия, в наполеоновщину хоронили и закапывали на будущих пожарищах всевозможный скарб, из которого многое могла сохранить земля!.. Но мне так и не удалось пока видеть эти интереснейшие остатки. Кроме всего прочего, поездка теперь хороша тем, что дает повидать весеннюю природу, такую чистую, свежую, радостную своим воскресением. Мар. Ал. очень огорчена тем, что утратила нить, связывавшую ее со стариком. Желтофиоль не могла разыскать его. Сказать кстати, мне хотелось бы, чтобы Варя понимала, насколь-

ко нужна осмотрительность в отношении Желтофиоли. Это человек с сильно поломанной жизнью, с большими надрывами, не простой для понимания и не простой для самого себя. Последнее обстоятельство говорит, что это человек и не очень владеющий собою, т. е. и не очень отвечающий за поступки. Одним словом, это патоорганизация, довольно близкая с Над. Ив. Кетаваниной. Однако буду говорить опять о весенней природе, которая так радует глаза и душу, когда видишь ее милые образы, проходящие мимо вагонного окна. Свежие, свежие березки, рядом с ними вся усеянная серебром черемуха; за ними — налившиеся немного маслянистою зеленью, отошедшие после зимы елки, очень довольные всеобщим обновлением!..

Слышал, что матушка Ваша чувствует себя лучше. Передайте ей, пожалуйста, низкий поклон от меня. Пусть ничем не нарушается Ваш дорогой уют около дорогой старушки, которой дорого, как никогда, окружение родными и близкими по духу людьми. Мне говорили, что у Вас пребывает дополнительная квартирантка, которая нарушает Ваш мир. Это, конечно, очень тяжелое осложнение, к которому прежде всего надо отнестись очень внимательно. Никогда в прежнее время не прочувствовалась в такой мере, как ныне, мудрость предупреждения: о всяком слове праздном, которое скажут люди, придется дать ответ в день судный! И далее: нет тайны, которая не узнается! Но для того, чтобы в самом деле сохранить владение словом, надо всемерно сохранять духовное спокойствие, не дозволять себе раздражаться, соблюдать терпимость к бедным, бедным людям, которые так часто ведь и сами не знают, что творят! Буду ожидать от Вас и от Вари письма. Хотелось бы знать о том, как у Вас живется. Хотелось бы услыхать, что живете опять вчетвером и так, что всем более или менее покойно и мирно. Вообще-то говоря, о покое и мире говорить в наши дни нелегко. Это исключительные условия, если они есть. Но искать их надо тем более, чем более они редки... Что-то бедный Константин Андреевич?[120] Судя по дошедшим оттуда вестям, его положение трудное, и надо пожелать ему от Бога доброго, мирного, непостыдного конца. По-видимому, туберкулез перешел уже в кишечник, ослабевает работа сердца, опухают ноги, держится упорный понос при очень ослабевшем аппетите. Нельзя не признать, что жизнь человеческая — плачевна, съедает ее какой-то внутренний

порок. Совсем рядом идут в ней и горе и веселье, и пение и плач! Простите. Жду писем.

29—30 апр. 1938.

Сердечно был обрадован Вашим письмом с цветочком, дорогая Клавдия Михайловна. Спасибо за приветы на праздник ото всех Вас, калужских моих друзей. Мысленно переношусь к Вам и стараюсь представить себе тихое житье-бытье старого русского города, не утратившего связей с отшедшими поколениями отцов, с которыми вместе переживается светлый день. Большой мой поклон и привет всем Вашим и кто с Вами. Огорчен известиями о болезни Вашего супруга. Она — такая неожиданная, судя по тому, как, по Вашим прежним рассказам о Вашем муже, я представлял его себе: такой оживленный, энергичный, подвижный человек, полный инициативы и движения. Как-то особенно остро чувствуется для таких полных натур — затихание, связанное с болезнью. Когда стали приходить от Вас эти известия о недомогании мужа и, в особенности, теперь, когда Вы прямо пишете о болезни, с очень тяжелым впечатлением читалось мне об этом, хоть я и не знаю Вашего больного по непосредственным соприкосновениям личного знакомства. От всей души желаю ему выздоровления и долгих лет, а Вам обрадования заболевшего сердца около старого друга мамы и другого друга, тоже старого и верного, с которым дано Вам видаться по-прежнему, как в годы Вашей жизни здесь. Вам ведь тут дана большая радость, которая есть не у всех! Мне радостно издали представить себе, как Вы беседуете, думаете вместе, слышите друг друга, поддерживаете друг друга на дороге, которой велено идти. Пусть подольше будет Вам дано это доброе, дружеское собеседование. Мы подчас и не подозреваем, какое исключительное значение для нас и для нашей жизни имеет возможность искреннего собеседования. То, что кажется «обыкновенным», мало ценится нами и начинает цениться, когда будет на исходе и когда пройдет! Пусть подольше, подольше будет Вам дано идти вместе, слышать и понимать друга друга. Маме Вашей мой особый низкий поклон и просьба не забывать меня в доброй памяти. Желаю ей подольше не оставлять свою дочку с ее друзьями и согревать их своим дорогим присутствием. Ей, пожалуй, и на мысль не приходит того,—

сколько незаменимой радости и крепкой поддержки вносит в жизнь друзей тихий свет, идущий через ее лицо в их трудовой путь. А нужен тихий свет нынешним людям еще больше, чем когда-нибудь, потому что они в особенности труждающиеся и обремененные и бывает им трудно. Что сказать Вам по поводу проекта Вашего переселения сюда? Я живо начал представлять себе в картинах, как Вы стали бы изображать собою домработницу в наших условиях. Слов нет,— тут было бы немало уютного и милого. И однако мне сдается, что скорее придется говорить о выезде отсюда для нас всех, чем об обосновании здесь. Многое говорит о том, что насиженные места придется оставлять. Старенькая старушка Н.И. заметно слабеет и дряхлеет; выработала себе новую походку—вроде медведицы, хоть и небольшой, но ступающей грузно и широко. Иллюзия поддерживается тем, что ступает она по комнатам в валенках, притом очень больших. Вам всем она низко, низко кланяется, просит не забывать старую старуху. А она об Вас всегда вспоминает с любовью. Я уж не пускаю ее на базары. Как сходит, так и заболеет. Варе скажите, что очень хочется и надо с ней увидаться, но предвидеть, как это можно будет осуществить, пока нельзя. Будем надеяться, что укажется и сложится, как будет лучше. Через некоторое время это будет виднее. Что сказать о здешнем житье-бытье? Покамест оно течет еще по-прежнему. Что впереди? Кто может это сказать? Мы с удивлением говорим между собою, что вот, сверх всякого чаяния, и еще привелось дожить до прекрасных дней, тогда как такая большая вероятность была, что не придется сохранить прежнюю тишину. Вчера с особенным чувством вспоминал годину моего отца. Уже тридцать шесть лет минуло со дня его кончины. Скоро лето. В этом году у меня нет никаких перспектив. Очень устал, и оттого не строится предвидений, а есть только предчувствия, большею частью нерадостные. Говоря вообще, я имею довольно прочную организацию. Однако вот и я начинаю чувствовать некоторые надрывы, упадок памяти, навязчивые настроения. Сказывается накопившееся и накопляющееся утомление. Но, сверх того, приходится проходить через большие трения, и много сил уходит совсем непроизводительно на преодоление этого внутреннего трения сложной человеческой каши, через которую лежит путь. Одна из несомненных больных линий в нашей жизни — подозрительность. Я ее терпеть не

могу и всегда был рад тому, что мог себя считать свободным от нее. В людях, с которыми приходилось встречаться, я видел в особенности их добрые черты, а отрицательные отводил в сторону. И это помогало завязывать добрые отношения. Теперь я начинаю все чаще видеть в себе именно подозрительность, нездоровую мнительность в отношении людей.

На первой неделе побывал я в Москве, видел Машеньку с Ольгой Ал-ой, очень был рад посмотреть на них. Они рассказали мне более подробно о том, как прошлым летом пришлось нашему другу [121] негостеприимно побывать на старом пепелище. Ну, что делать? Надо, должно быть, все более привыкать к мысли, что где сейчас живешь, тут и у себя дома. Не имеем здесь пребывающего града, а ищем впереди лежащего. Мне было очень уютно и тепло — побывать в тихом уголке наших друзей. Переплетчика нашего дома не было. Мне очень хотелось бы увидеть, как он обработал маленькую книжечку бабушки, которую взял с собою друг наш в прошлом году. Печать в книжечке очень мелкая, и я не знаю, как удастся справляться с нею В с больными глазами. Так дорого, что старая книжка, так много лет прождавшая, чтобы ее опять взяли человеческие руки и стали опять читать человеческие глаза, достигла своего ожидания. Много родных людей в давние годы имели ее в своих руках, и у многих она оплодотворила и согрела мысль! Хоть я не охотник до Невы и до здешних пейзажей, но, памятуя Ваше тяготение к этим местам и к «красавице Неве» (нашли тоже красавицу в болотной реке среди болотных кочек!), посылаю Вам приветы от них. Ладожский лед собирался было идти, но затем прекратился. Наверное, скоро пойдет более основательно и на этот раз — из более срединных областей озера. Вот «нелюдимое озеро» я таки полюбил. С большой радостью читаю письма, приходящие от Вас. Но Вы не посетуйте на то, что отвечаю я мало и редко. Я чувствовал не раз себя виноватым в том, что пишу очень редко. Но делается это не от моего произвола, а оттого, что много тяжелого накопляется на душе, а в отягощенном состоянии внутреннего человека письма не пишутся, да и беседы не беседуются. Надо в самом деле учиться мудрому совету: радость моя, огради себя молчанием. Как много, много раз приходится жалеть в своем прошлом о сказанном! Правда ведь? Самое прекрасное достояние человека — слово. Но и доброе мол-

чание, о котором мы говорим, есть ведь переживание слова в сердце, внутри, из вящего уважения к нему, дабы то, что будет наконец сказано, было добро в самом деле для всех. 〈...〉

Простите.

Ваш старый друг.

20—21 июня 1938.

Дорогая Клавдия Михайловна,

рад узнать о том, что Вы нашли себе более удобную квартиру, хоть и жаль, конечно, покидать насиженное место, где, худо ли, хорошо ли, пережито многое и сложились новые отношения с новыми людьми, каких послала жизнь. Мне рассказали, что в сиреневых кустах засел соловей и усиливается в попытке никому не давать покоя! А ведь у Вас там почти что курские соловьи, т. е. самые голосистые на Святой Руси! Здесь и рад бы послушать хоть какого-нибудь немудрящего и зяблого соловчонка, да вот не дурак тоже — не хочет залетать на Васильевский остров: что-де там мне делать?! Ну, а в Петергоф я уж и сам не поеду!

Так у нас и идет дело, что о соловьях знаешь лишь по памяти, да вот из писем из Калуги. От всей души желаю Вам мирного и тихого устроения жизни на новоселье. Наш друг вспоминает прекрасное пожелание с Жиздры [122]: жить не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое почтенье. На самом деле, жить устроить по-хорошему не так трудно, как кажется, потому что осложнения и затруднения наращиваются самими же жалующимися людьми. Плохо становится оттого, что маленькими недосмотрами и невниманием насаждаются недоразумения, сначала совсем маленькие же, вроде завязи растеньица, которые потом забирают, однако, силу, укореняются,— из снежного комка превращаются в горную лавину, которая тянет за собою целые камни и скалы! Вот, надо следить внимательно за маленькими делами обыденного обихода и не давать завязываться в них сорным початкам... В жизни, и в природе вообще, так типично это накопление и постепенное засилье, превращение в катастрофу,— того, что первоначально кажется ничего не значащею мелочью, «дифференциалом»! Вековой гранит горной скалы дает маленькую трещинку. В следующие годы трещинка заполняется пылью, прахом. Еще через годы заносится

в этот прах семечко. Семечко кое-как укрепляется ростками, запускаемыми в трещину. Появляются первые листочки! Листочки забирают свет, при его помощи строят органическое вещество из углекислоты окружающего воздуха и из дождевой воды. Корни растут, набирают влагу, начинают разбухать,— разбухая, проникают все далее в трещину... И вот, еще через годы, оказывается, что маленькое и хиленькое растеньице разовьет своими корнями и их набуханием такое давление в трещине, что вековой гранит не выдерживает, и там, где была с незапамятных времен цельная гранитная гряда, откалываются отдельные камни и летят вниз, в овраг! Так и в человеческой жизни: из маленького семечка рождаются кусточки недоразумений, и, если их вовремя не выполоть, помаленьку и незаметно забирают они потом силу, и людям становится «невмоготу»!

Итак, «стану на страже моей рано»!.. Когда я читаю о Вашей бабушке, о том, как она гостила у друга, пока Вы были заняты переездом, о том, как тепло делается от ее присутствия другим людям,— так начинаю завидовать тому, чем Вы еще обладаете. Передайте ей от меня поклон до земли и сердечный привет. Как ей понравится новое жилье? Есть ли надежда, что семья Ваша освободится от дополнительных сожителей? Ну, как бы то ни было, мое пожелание Вам в том, чтобы жизнь в новых условиях сложилась удачно и без трений, так, чтобы внутренний добрый человек каждого из участников Вашего общежительства мог выявиться без помехи, на радость и счастие всех прочих. Дай Бог радости, здоровья, удачи, разумения и любви на новых местах. Наш старый друг зовет меня побывать в Ваших краях. Конечно, это очень заманчиво. Однако вот уже много лет, примерно с 1913 года, я все более и более нахожу преимуществ в том, чтобы не таскать за собою свою тяжелую и массивную персону («персуну»—как выражались в XVII столетии москвичи), а бывать на родных и дорогих местах только мыслью и зрением, оставаясь закрытым «шапкою-невидимкою». В последние годы моих летних гощений в Рыбинске я стал улавливать большие преимущества вот этих обходов родных и дорогих мест, без того, чтобы тебя там видели, замечали, и приходилось людям считаться с появлением среди них лишнего, тяжеловесного, малопроницаемого для глаз человека! Понятно ли Вам это чувство во всей его реальности? Для меня оно стало давно совершенно реальным и ося-

зательным. А вот я успеваю теперь бывать и на родных местах, за Волгой, и на любимом тетином дворе, и в Вашей Калуге; послушал с Вами и соловья в соседней бузине; побывал и на Жиздре за Козельском, где когда-то пришлось погостить с дорогим спутником.

Ну, ладно! Как там потом удастся, неизвестно. А сейчас я мысленно побывал у Вас и с Вами, и мне очень хорошо было побеседовать с Вами на новоселье с надеждою на то, что потекут теперь Ваши дни по-новому, на радость дорогой бабушке, которая своим присутствием согревает и меня на далеком расстоянии и тем больше Вас, своих ближайших любимых людей.

Простите. Всего, всего хорошего.

6 августа 1938.

Дорогая Клавдия Михайловна,

побывала здесь в закуте Ваша подруга и порассказала о калужском житье-бытье. Еще до приезда сюда она жаловалась, что стало в природе тихо, замолкло их новоселье, что бывает до Петрова дня! Молчаливыми вечерами слышен только треск кузнечиков, по старой памяти стрекочут стрекозы. А уж и им виден скорый предел! Придут холодные вечера, за ними еще более холодные ночи, студеные утра,— не до стрекотанья будет и им. Молчалив по ночам лес под конец июля и в августе; холодно бывает в это время спать на дороге путнику, хоть и подваливает он под себя нарезанных ветвей побольше, а сам закутывается в армяк! Хорошо только утро,— так хорошо утро в глубоком лесу, что не забыть его тому, кто его там встречал!

Посинеет бледное небо, появятся розовые и красные блики на вершинах елей и сосен, и вдруг лесная тишина прорежется мощным, радостным криком журавля с соседнего болота! Это он заиграл зорю,— оповещает лагерь своих сотоварищей, что скоро пора будет вставать... «Изыдет человек на дело свое и на делание свое даже до вечера; яко возвеличишася дела твоя, Господи, вся премудростию сотворил еси: исполнися земля твари твоея!..» Приходилось ли Вам ночевать в лесу-то и встречать утро в нем? Это незабываемо прекрасно! Только сразу чувствуется там перелом от июньской неугомонной полноты жизни к более суровым тонам замолкающего, а затем и умолкнувшего леса, вспомина-

ющего про предстоящую осень, и стужу, и зимнюю тишину.

Подруга Ваша завезла сюда портрет бабушки с дочкою, который стоит сейчас у меня на полке с книгами. Очень я был рад ему! Передайте, пожалуйста, милой нашей бабушке поклон низкий до земли и пожелание ей доброго здоровья, многих лет на назидание и радость всем друзьям и знакомым. Слышу, что Ваше жилье теперь повеселее прежнего. Главное — зелени много, заросший сад дает уют и тишину, да и доброе занятие по уходу за растениями. Всего, всего Вам доброго на новых местах.

Я представляю себе, как у Вас протекают эти дни. На 22-е подруга Ваша, наверное, была уже в Калуге. В этот день, наверное, были Вы все вместе, с Марьей Александровной. И я был мысленно с Вами, чувствуя уют и добро в собравшемся и мирном обществе. Хорошо, что Машенька поотдохнула в эти немногие дни в Ваших добрых местах, пока есть возможность не возвращаться на службу!

У нас здесь стояла тягостная жара. На моей вышке было как в парнике! Отбивало возможность работать! Подруга расскажет, как пригревало всех нас! Теперь стало значительно прохладнее, и сейчас я пишу эти строки за своим письменным столом совершенно так же, как делается зимою в умеренно натопленном кабинете. Передайте Вашей подруге, что закут шлет ей сердечный привет и поклон от всех его насельников. Я читаю оптинскую книгу, вспоминаю давние годы, когда приходилось соприкасаться с людьми и с путями, так или иначе питавшимися калужской Фиваидой [123]. Как удивительно, до самых мелочей, восстают пред памятью давно прошедшие дни, и, как только что пережитые, поднимаются впечатления от соприкосновения с людьми, которыми были наполнены дни. Большое, большое спасибо за эту прекрасную книгу о недавнем прошлом, которое покрыто семью печатями для множества тех, кто сейчас приходит в жизнь, и которое, однако, живо, как только что пережитое впечатление, и как мысль, которою будут питаться будущие поколения,— подобно тому, как мы питаемся сейчас тем, что было уловлено, найдено и записано в Сирии, Египте и Греции и на все будущие времена и искания человечества! Найдено и записано многое множество тяжелых и трудных для человечества истин, от которых хотелось бы отделаться самоудовлетворен-

ному и самоуспокоенному укладу жизни салонных и бульварных людей, но к которым опять и опять возвращается всякий, более внимательный, более любящий и более глубоко вглядывающийся в жизнь человек.

Надежда Ивановна посылает поклон до земли Варваре Александровне и жалеет, что не ей приходится подавать пенки от провариваемой прошлогодней айвы и виктории. Уж очень коротко побывала она на вышке, не успели оглянуться, как проскочили мимо нас эти краткие дни. На мои указания, что «четырех пудов» все-таки нет и что это явное преувеличение, старуха уверенно отвечает: «Вот переварю все, так и будет четыре»! Стала старуха очень слаба и утомляема. Норовит так или иначе удрать на базар; а оттуда еле доплетется домой и потом жалуется, что все болит.

Я тоже стал очень утомляем, тем более, что все умножаются разные неприятности от приятелей и неприятелей. Ну, это, конечно, в порядке вещей. Напомните, пожалуйста, Варваре Александровне справиться о Капитолине Васильевне и Анне Васильевне. Где они? Живы ли? Как и чем живут? Если они живы, хорошо бы узнать их адрес. Ну, а что же московская старуха? Увидим ли мы ее? Нельзя ничего уверенно сказать о том, что предстоит в более или менее близком будущем. Тем более, хотелось бы повидаться, пока это выполнимо. И это при всем том, что мимолетные свидания дают чрезвычайно мало. Вспоминается только, что древние отцы заходили друг к другу всего лишь для того, чтобы посидеть вместе и помолчать в присутствии спутника!

Простите. Всего хорошего.

27 января 1939.

Дорогая Варвара Александровна,

сижу на берегу Москвы-реки и пишу Вам после долгого, долгого перерыва. Когда придется увидеться и поговорить, для Вас станет понятно, отчего я молчал и почему лучше было молчать. Жаль очень, что на этот раз, когда мне приходится пробыть здесь несколько дней, все-таки не удалось увидеться. Но это, очевидно, так надо, ибо причина, задержавшая Вас в Калуге, совершенно исключительная. Как неожиданно ушла Клашина сестра! И как неожиданно стали уходить люди! Недавно один мой старый сослуживец, профессор Константин Михайлович Дерюгин [124] скончался, присев

на бульваре у Чистых прудов на скамеечку. Было это вечером, он торопился после московских хлопот домой. По-видимому, второпях он немного задохся и присел отдохнуть. Нашли его часа через два, уже остывшим. Дело было поздно вечером, и прохожим было долго невдомек присмотреться, что это тут так неподвижно сидит человек! А это был очень полезный работник, многолетний исследователь фауны Баренцева моря, потом Ледовитого океана, наконец Охотского и Японского моря. Только что решено было выбрать его в Академию наук в действительные члены. А он и не дождался. Что касается меня, живу я пока по-прежнему, т. е. меня окружают пока те же люди, те же комнаты, те же книги. Но события идут по-другому, и нелегко. Очень часто есть, о чем поговорить хочется. Но ведь даже и при свидании очень редко удается сказать действительно то, что надо. Вы это хорошо знаете. Так что и здесь, может быть, к лучшему, что следуем Благому молчанию. Очень был рад повидать Ваших сестер в их тихом уголке, памятном по многим годам, которые успели в нем протечь для всех нас. Сегодня надеюсь еще раз побывать у них и повидать всех. Вот только Вам не придется оставить вахту около больных стариков. Дорогой старушке Марье Андреевне [125] мой поклон до земли. Пусть не грустит сверх меры. Ее отцы, и деды, и брат служат ей напоминанием о том, что не имеем зде пребывающего града, но грядущего взыскуем. Значит, и живем здесь, как на станции, пока не позовут ехать далее. Закут мой Вам всем шлет привет и поклоны. Он Вас всех любит и вспоминает, желает крепости, и сил, и разумения, и рассуждения, и радости о том Главном, ради которого живем и в котором все живы, хотя бы и уходили в свое время отсюда. Буду надеяться, что еще придется побывать Вам в закуте, хоть до лета об этом думать не приходится, конечно. Если все будет по-хорошему, летом буду ждать Вас на старых местах... А сейчас сижу я у Крымского брода, на том самом месте, где когда-то казаки Трубецкого вплавь перебрались из Замоскворечья на поддержку нижегородского ополчения, дравшегося с поляками за Чертольские ворота. Это был решающий бой, после которого поляки уже не могли более поддерживать кремлевские польские отряды, осажденные ополчением. По-видимому, здесь же перехаживали с той стороны в прежние годы татары при своих набегах на Москву. Теперь тут цепной мост, по

которому с шумом проносятся трамваи и автобусы по направлению к Калужским воротам. Но вот и еще другое воспоминание: когда-то Василий Шуйский выходил Калужскими воротами со стрелецкими полками против тушинцев и с успехом гнал их до Данилова и далее. И третье воспоминание, которое возобновляется передо мною почти всякий раз, как приходится идти Калужским шоссе мимо Нескучного: Наполеоновская армия осенью 1812 года, сто двадцать шесть лет тому назад, выходила здесь из Москвы на Старую Калужскую дорогу, направляясь к Малоярославцу; Наполеон приказал готовить первый ночлег в Нескучном, предполагая отсюда наблюдать взрыв и разрушение Кремля, порученные арьергарду Мортье. Однако почему-то его уговорили остаться еще на один ночлег в Кремлевском дворце, день был пропущен, и, как кажется, это спасло Кремль от общего разрушения, так как из-за дождя и ненастья на следующий день можно было осуществить лишь отдельные взрывы. В Нескучном теперь отделаны залы и салоны на тот лад, как было при Екатерине. Жаль только, что прекрасный парк так сильно поредел и постепенно заселяется постройками! Ну вот, немножко из тех воспоминаний, которые толпятся на душе при виде московских памятей... Надежда Ивановна стала старенькой, старенькой и слабенькой. Походка стала какая-то новая, очень медленная и солидная, как будто с некоторой претензией на торжественность; из другой комнаты слышно только: «ши-ир ши-ир, ши-ир шиир...». Настроение у нее, можно сказать, торжественное. Нет-нет да и скажет хорошие, умные мысли. Готовится к концу пути своего. А в общем настроение у нее довольно светлое. Особенно меня радует, что у нее явилось то, что можно назвать «рассуждением» в том, действительно дорогом смысле, как о нем говорили отцы. У нас с некоторого времени под рассуждением имеют в виду или «резонерство» несносных интеллигентов, или французское «козери» [126]. Это ведь неимоверно далеко и даже противоположно тому «дару рассуждения», который открывается труженику на конце пути после того, как поочистился внутренний человек и прибрался в своей горнице... Прочел письмо, написанное к Вам креолкой. Вот бедный, изломанный человек, которому будет все труднее и пустыннее среди множества людей, по мере того как будут уходить годы и силы! Тут, конечно, лучше пройти своей дорогой и оказывать помощь только так,

как правильно написали Вы. Но поддерживать переписку, конечно, не надо. Простите. Всего, всего хорошего.

Дорогая Клавдия Михайловна,

Ваше письмо пришло сюда как раз на другой день после отъезда Вашей подруги. Я думаю, что сейчас, когда я пишу эти строки, Вы уже повидались с нею и ее спутницею. Теперь, кажется, уже кончается срок отпуска Варвары Александровны, и ей, бедняге, придется втягиваться в рабочую лямку. Но зато Вы с бабушкой будете чувствовать близко от себя ее присутствие и Вам будет полегче в трудах с Вашими больными. Чувствую, что Вам приходится нести послушание между двумя болящими. Да им-то послушание дано еще более трудное — зависеть целиком от людей, ибо свои силы ушли, а пришла беспомощность. Добро, если еще есть и остались родные и снисходительные души, а у этих душ есть достаточный досуг и силы, чтобы не оставлять сердечным попечением немощных стариков. Другой раз и самый дорогой, и самый близкий человек начинает раздражать, когда приходит минута слабости и не видно ухаживающему, что труд его осязательно облегчает состояние больного. Я помню такие минуты у меня, когда уходила от меня тетя Анна. Как больно вспоминать теперь эти свои минуты слабости, приводившие к тому, что мы же приносили огорчение своим нетерпением тем нашим старым друзьям, которые трудились своим последним трудом, предстоящим каждому человеку в конце. Ну, так от всей души желаю Вам крепости, духовной бодрости и любви в эти, трудные для Вас и Ваших, месяцы и годы. Хорошо, что будете чувствовать близко от себя такого верного и крепкого друга, как Варвара Александровна. Я был обрадован до чрезвычайности письмом милой нашей Марии Андреевны. Оба раза ее письма дали мне вздохнуть хорошим воздухом, перенеся меня в воспоминания о давнем мире и старых друзьях, которых давно не приходится видеть — то оттого, что они уже закончили свой путь, то оттого, что жизнь разбросала нас далеко друг от друга. Поцелуйте от меня милую старицу Марию Андреевну, передайте ей мой глубокий поклон. О здешней жизни расскажет Вам Варвара Александровна. Здесь у нас тоже трудов немало и скорби не оставляют. Хорошо, если сужают путь, чтобы загнать скотинушку в нужный прогон, вместо того

чтобы она блуждала на полной свободе! Меня когда-то очень поразила мысль Л. Н. Толстого, посетившая его в старости, кажется, незадолго до его ухода из дома. «Хозяин гонит скотину из стойла и бьет ее, чтобы выгнать в поле, потому, что скотный двор охвачен пожаром; а скотина ревет и жалуется на хозяина, что вот,— он ее стегает!..» Помню, как меня поразила эта мысль летом в Рыбинске, в 1916 году, когда я прочитал ее в первый раз в издававшемся тогда посмертном списке дневников старого писателя. Еще тогда я чувствовал правду этих слов в приложении ко мне: меня тоже хозяин все гонит из привычного стойла, а я огорчаюсь и реву, что уходит от меня обычная обстановка жизни, тогда как нужно было еще до ударов хозяина уходить из того, в чем успели приуютиться и пригреться свои вожделения. Вот и сейчас, через много лет с тех пор, чувствую я, что стойло непрочно и надо подумывать о том, что скоро ли, коротко ли скотный двор надо будет заменить другим, чтобы не консервироваться на прежнем. Дело, конечно же, не в стойле и не в том, что человеку надо менять и менять стойла, но дело в том, что человеку необходимо опять и опять уходить от самого себя и от того, в чем привык («приобвык») он успокаиваться. Вредно человеку успокаиваться. Предание наше, которым мы живем, начинается с Авраама; а у него оно начинается с того, что послушался он внутреннего голоса, который велел ему: оставь дом отца твоего, оставь привычное и любимое и уходи в землю далекую и тебе неведомую,— там тебе укажется дальнейший путь и дело будущего народа Божия. «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в правду». Здесь метод заключается в том, что человек все вновь и вновь уходит от себя к тому, что выше и впереди. Противуположный метод заключается в том, что и самую обязывающую и огненную истину человек норовит превратить себе в подушку успокоения, на которую можно было бы опереть усталую голову и не двигаться с места, не нарушать своего самооправдания! Худо, худо, когда человек оправдывает себя и кажется себе «удовлетворительным»!.. Все это я пишу Вам, во-первых, потому, что на душе у меня несносно ноет и неспокойно; а во-вторых, потому, что я надеюсь, что у Вас найдется несколько минут перерыва от трудов, когда можно будет присесть и прочитать мою рукопись. Уловите, например, такой момент, когда Мария Андреевна пойдет на грядки в Ваш огородец или пойдет

погулять по дорожкам Вашего сада, а супруг ляжет к стене, чтобы заснуть в добром самочувствии; и вот тогда присядьте на ступеньках, ведущих из квартиры в сад, и почитайте мои строки. У меня теперь очень редко выделяется возможность и время побеседовать. Так много носишь с собою, что хотелось бы передать друзьям в особенности; каждый год, и месяц, и день приносит новое, чему учишься и что надо сказать другим. А вот когда после долгой разлуки встретишься наконец с друзьями, не размыкается речь, не знаешь, с чего и как ее начать. Перекинувшись какими-то отрывками слов и шаблонных предложений, разъезжаешься опять надолго; получается впечатление, что и не удастся передать и высказать здесь то, что нашел и носишь с собою. Значит, другие условия должны быть, когда все это достигнет цели. Я в этом очень уверен. Вот мне с В. А-ной удалось побеседовать чрезвычайно мало,— все урывками и отрывками. Впрочем, и за это я благодарен судьбе и прекрасным летним дням, которые так глубоко и издавна любимы русским народом на нашем Севере. Я имею в виду эти последние дни Петровок, начиная с Аграфены-купальницы. Это, так сказать, самое темя и перевал в жизни летнего солнышка, когда природа развертывает все, что может, для жизни в текущих условиях, а развернувшаяся жизнь с ее тайными цветами и огоньками творит память по ушедшим своим истокам от отцов и дедов с тем, чтобы в свою очередь послужить передаче преемственного предания будущим годам и летам, каким должно еще быть! Каждое отдельное лето, каждое отдельное лицо и отдельный момент жизни в своем самоутверждении норовит забыть все прошлое просто потому, что оно ведь прошло; и также забыть все будущее, потому что ведь еще нет его! Так опять-таки слепо и близоруко всяческое самоутверждение в своей тенденции задержаться на настоящем! А между тем и отдельное лето, и отдельное лицо, и всякий отдельный момент — это волна в великом море, которое ее катит из необозримого прошлого в далекое, но уже складывающееся, реализующееся будущее! И это она-то, маленькая, хотела знать только самое себя и «свое стойло» только потому, что оно близко и кажется совсем понятным, осязательным и очевидным! Наша Владимиро-Суздальская легенда прекрасно осветила смысл этого солнечного «темени», увязав его так органически с родным историческим преданием отцов и де-

дов, ушедших в роковую годину Руси, и, с другой стороны, передавая так выразительно это предание будущим поколениям, на которых ляжет все возрастающая ответственность за историю мира, за осуществление заветов, начатых родами древними! Мой привет калужским весям и людям. Буду ждать от Вас и Варвары Александровны вестей, как потечет сейчас Ваша жизнь. Сердечный поклон Марии Александровне. Простите. Закут шлет Варваре Александровне привет и поклон. Поклон от Надежды Ивановны.

23 июля 1939.

Глубокоуважаемая Ольга Александровна, [127] примите мое приветствие со днем Ангела. Где и как приходится Вам в этом году проводить память благоверной княгини Ольги, одной из первоначальниц русского христианства? Мощный образ древнерусской женщины, запечатлившийся в народном предании и продолжающий воспитывать до наших дней. Мысленно я буду с Вами сегодня и 22-го июля. Есть свои преимущества такого мысленного бывания у друзей и с друзьями, потому что когда носишь с собою свою тушу, то, как мне приходилось замечать, она своею инерциею самым настоящим образом стоит на пороге препятствием открытому общению и свободному от предвзятости восприятию вещей и людей. Есть преимущества в шапке-невидимке, имея которую можно, говорят, летать к друзьям, слышать, что они говорят, чем сейчас живут, видеть их общество под абажуром в старой комнате, успевшей стать заслуженной за эти годы! Очень был рад узнать, что домик Ваш еще остается и еще можно будет повидать Вашу семью в обстановке, к которой успели привыкнуть. ⟨...⟩ Очень хотелось бы покрепче пожать Ваши руки в эти Ваши семейные дни, чтобы победрее идти далее нашими дорогами, иногда не очень легкими. ⟨...⟩ Не знаем мы хорошенько-то и своих собственных дел, не знаем, куда ведут их последствия, не знаем, где наше подлинное добро и где подстерегает вред! Подчас именно среди боления и тяжкого труда находим мы впервые червонное золото, которым живем и питаемся всю последующую жизнь. А еще чаще состояние так называемого «счастия» превращает человека в существо глухое и слепое, тупое сердцем и разумением по всему, что вне его собственного существования. Об этом так давным-давно говорили и предупреждали еврейские

пророки; но, как ни удивительно, и до сих пор большинство человечества этого не понимает и не хочет понимать. Должно быть, легче и проще, а может быть,— приятнее думать наоборот! Впрочем, «большинство», о котором я говорю, касается собственно тех слоев и кругов, которые приближаются к тому, что теперь называют интеллигенцией. Простые народы там, где они предоставлены самим себе и живут своею мудростью, хорошо понимают ту правду, что не «счастие», а суровый труд жизни воспитывает нужного человека и ценную для человечества культуру. Древнеримская пословица говорила: in pondere crescit palma. Это значит: в тяжести возрастает пальма. Мысль та, что именно борьба с тяжестью, с отягощением дает пальме так прямо и высоко подниматься в своем росте все вверх! ⟨...⟩ О себе могу сказать следующее. Мне, как и разбившейся моей старухе, приходят семейные сроки, и это дает себя знать, что ни дальше, то серьезнее. Кроме головокружений, о которых говорено выше, становлюсь беспамятен и утрачиваю работоспособность. Это заставляет, конечно, смотреть в предстоящее впереди с тревогою. Старики никому не нужны по тем обычаям, которые входят в силу. Поэтому не скажешь, найдется ли угол, где возможно было бы видеть покой и хоть частичное безмолвие на последях,— а они так нужны, чтобы собраться с мыслями и силами! Впрочем, говорить по этим направлениям — значит так или иначе малодушничать, все должно идти так, как положено в Премудрости Отца и в устрояемой Им Красоте. Буду очень рад получить от Вас или от другой именинницы письмецо, которое бы мне сказало, что беседа моя дошла до Вашей комнатки и Вашего общего семейства. Надежда Ивановна шлет Вам всем низкие поклоны и добрые пожелания. Она стала как курочка старая, понемногу бродящая по тем местам, к которым привыла в прежние годы, но и из этого многое не удерживает уже в памяти, так что получается немало смешного и горького. Ну, что поделаешь? Всем нам сроки подходят, как колосу осеннею порою!.. Вот с большой радостью узнал о том, что Елизавета Андреевна поправилась и, вопреки неблагоприятным прогнозам врачей, вернулась к работоспособности. Кланяйтесь ей, пожалуйста, когда увидите.

Многая лета, доброе здоровье и бодрость духа всем друзьям.

Дорогая Мария Александровна [128],

обращаюсь к Вам с большой просьбою,— найдите, пожалуйста, возможность так или иначе (т. е. сразу целиком или по частям) переправить прилагаемые деньги Варваре Александровне. Я пользуюсь представившимся случаем — поездкою в Москву подательницы этого письма Евлампии Васильевны Лачуговой, чтобы переслать подспорье нашей калужской труженице. Варвара Александровна несет на себе дело, кроме всего прочего, еще и казначеи для друзей, прежде всего для бедной нашей старушки Марии Андреевны. Я только что получил письмо от Клавдии Михайловны, которое донесло до меня кусочек того холодного и голодного воздуха, которым наполнена сейчас их жизнь. Варвара Александровна приходит к ним, чтобы обогреть, обрадовать людей, а за то обогреться и обрадоваться от них. Так вот мне хочется хоть немного быть участником этого доброго, тихого и охраняемого своим смирением — собеседования и дружеского уголка, в котором доводится быть нашим милым василеостровцам. Когда выхожу на 15-ю линию и Большой проспект, вспоминаю Ваше и их житье здесь с их хождениями на Киевское подворье, которое теперь молчаливо и холодно за своими запертыми дверями...

Кроме того, еще прошу Вас научить подательницу Е. В. Лачугову, как добраться ей до сестры Марьи Алексеевны. От последней у меня есть очень тяжелое письмо. Надо ей поскорее помочь. Если будет возможность, проводите, пожалуйста, мою посланницу на Александровскую площадь, утратившую как будто свое прежнее имя.

Простите меня, дорогая Мария Александровна, что беспокою Вас этими просьбами. У меня есть достаточно достоверные данные о том, что всякая моя посылка регистрируется в любознательных учреждениях; я никак не хочу, чтобы регистрировались мои пересылки Варваре Александровне и сестре Марье. Поэтому приходится изыскивать пути, сопряженные с затруднениями для людей.

Со своей стороны я живу в последние месяцы разными предвидениями испытаний и перемен, от которых Господь пока отводит, но которые все-таки часто и твердо напоминают о себе. Очень много врагов, сознательных и несознательных, оказывается за последнее время. Здоровье мое тоже становится плохо, делаюсь

я стар и беспамятен, работать на прежних моих дорогах делается мне все труднее.

С огорчением узнал из письма сестры Марьи о болезни милой Ольги Александровны. Мне не хочется думать, что дело идет о серьезном процессе. Серьезно лишь то, что режим-то у нее слишком неблагоприятный для того, чтобы можно было собрать силы и бороться с приходящими недугами. Привет мой ей. Как живет Ваш тихий уголок по поводу перестроек на Тверской? По газетам, начаты передвижки Вашей стороны Тверской в сторону Брюссовского и его параллелей. Тронет ли это Ваш дворик? Желаю Вашему смиренному и уютному, дружески обжитому уголку сохраниться подольше в прежнем состоянии со всеми дорогими памятями, которые там сложились.

Простите, добрая Марья Александровна, что я не отвечаю немедленно на письма. Надо поближе наблюдать мою жизнь, чтобы понять, отчего это так происходит.

Когда Вы предполагаете приезд в Москву Варвары Александровны? Хорошо было бы съехаться с нею по-прошлогоднему. Для меня поездки по московским делам становятся все более трудными, но к весне я должен буду быть в Ваших местах.

Передайте, пожалуйста, мои поклоны и приветы Николаю Александровичу [129]. Жму крепко Вашу руку и прошу не забывать преданного Вам

А. Ухтомского.

11 февраля 1940.

Дорогая Варвара Александровна,

я только что вернулся из Москвы, побывал у Ваших, видел Ольгу Александровну и Николая Александровича, но не застал Марьи А-ны, не мог повидаться и с Марьей Алексеевной. Урвался на Тверскую только в день отъезда уже с билетом в кармане. 〈...〉 Здесь у меня пока по-старому. Зиму мы переживали туго и холодно, с болезнями. Ко мне пришла большая утомляемость,— ноги отказываются ходить по-прежнему. И это мне жаль потому, что я любитель пешего хождения и предпочитаю его, как только это возможно. Ослабевает память, начинаются стариковские немощи. Вот ведь какая неприятность! Но все это в порядке вещей, и в обыденке не

обращает на себя внимания, ибо день ко дню идут достаточно однообразно, без перебоя. Заметил я свой «скачок в старость» лишь при этой поездке по делам в Москву. Вот эти экстренные потребности и впечатления, связанные с дорогой, с трамваями, с поспешностью передвижения в вокзалах, на перронах и улицах,— отчетливо обнаруживают новости общего состояния, начало стариковской походки и т. п. Главное — ноги и одышка; остальное как будто более благополучно!.. ⟨...⟩ Здешние углы и закуты шлют Вам глубокие поклоны и приветствия. Люди также. Ленинград, такой небывало ясный, морозный и снежный, посылает привет. Он изменился несравненно меньше, чем старуха Москва, в некоторых местах так почти уже неузнаваемая. Простите. Всего, всего хорошего. Пишите же.

2 марта 1940.
Родительская.

Дорогая Варвара Александровна,
у меня только что погостила сестра Марья, немного отдохнула от московского житья и сегодня едет на зимние квартиры. Я был особенно рад свиданию с нею в этот раз. Так трудно идут теперь наши дни, и не знаешь, придется ли видеться еще раз. Да и все человечество в целом вошло в какую-то новую, очень тяжелую полосу своего бытия, когда мир вступает в новые муки рождения своего будущего. Вспоминается удивительное слово Иоанна Златоуста: «В мире все течет, и нет в нем настоящего вокруг нас. Что же в нем пребывает? Будущее!» Но будущее, неизменно стоящее впереди, рождается тяжелыми болениями человечества, которых именно сейчас так исключительно много. Читаешь о том, что делают люди и что делается с человечеством в Лондоне, в Берлине, и ноет душа тупою болью. Между тем сбывается то, что так наглядно описывали задолго до наших лет. Нельзя не поражаться тем, что так все сбывается. Из последних произведений прошлого, описывавших нынешние события в исторической перспективе, мне вспоминается по поводу текущих событий «Le maitre de la terre» Бенсона [130]. Кажется, Вы читали или, по крайней мере, держали в руках эту книжку. Это — перевод с английского. Картины, которые даны там, почти до деталей исполняются сейчас над Лондоном. Так, в сущности, назрели эти события, так чувствовались более

чутким наблюдателем истории. Вы когда-то вспоминали, как говорил Ваш покойный отец: нашему поколению было нелегко, а нашим детям придется пить чашу гораздо более трудную. Вот мне думается, что поколению после нас будет еще труднее!

Слава Богу во всем. Слава Богу и в том, что приходится переживать. И Вам, и мне этот год особенно богат тяготами. Вас посетила болезнь. Но Вас не покидает Ваш петровский отец и руководитель. Строится дом душевный. А у меня необыкновенное скопление препятствий и болений, приходящих вереницей друг за другом. ⟨...⟩ Закут мой пока еще со мною и посылает Вам мир и привет, сожалея о том, что не видал Вас в этом году в своих стенах.

Всего, всего Вам доброго и прекрасного.

Ваш А. У.

12 сент. 1940.

1 июня 1941 г.

Дорогая и хорошая Клавдия Михайловна.

Простите меня, прошу Вас, за мое такое долгое молчание. Я все поджидал от калужских друзей оказии. Оказия наконец появилась, но как-то очень неудачно. В один прекрасный день Надежда Ивановна сообщила мне, что приходила от Вас старушка, сказала, что приехала ненадолго, скоро опять зайдет за посылкой; я ее ждал, приготовив Вам с Варварой Александровной гостинец. А старушка так более и не приходила. Очень меня это огорчило. Буду ожидать новой оказии.

Страждущей Вашей маме низкий мой поклон и сердечное приветствие. Может быть, праздничное солнышко обновит ее силы и Вам принесет ободрение в тяжелых трудах. От всей души посылаю Вам мое горячее пожелание облегчения и душевного света. Чрезвычайно жалею о том, что оказия была неудачной и я не смог послать Вам помощи. Подумайте о другой возможности! Подумайте об этом с Варварой Александровной, у которой пришла болезнь сестры. Я был болен [131] и еще продолжаю быть болен, и потому не мог приехать в Москву к больной. Из того, что до меня дошло, я догадываюсь, что у бедной Марьи Александровны — болезнь, описанная в средине двадцатых годов в Москве профессором Ганнушкиным [132] и которую он наименовал «инва-

лидизм гражданского фронта». Это — расстройство питания и кровоснабжения коры головного мозга. Она наблюдалась в большом количестве как типичное заболевание у молодых и средневозрастных ответственных работников, долгое время работавших бессменно на деле, требующем большого и непрестанного напряжения внимания, а также частой переброски внимания с одной работы на другую, также ответственную. Ганнушкин описывал заболевание так: работники приходили с жалобами, что у них стала остро слабеть память, наблюдается большая утомляемость от дел, которые до сих пор выполнялись полушутя, чувствуется упадок работоспособности и дефекты в работе, исполнявшейся еще недавно безукоризненно. Дело шло обыкновенно об очень хороших, опытных, добросовестных и ретивых работниках. Обыкновенно такого больного отправляли в санаторий, где организм, еще молодой, выправлял дело, и через два месяца работник возвращался, казался выздоровевшим, и его оставляли на прежнюю работу. Но очень скоро, уже через месяц или полтора, человек возвращался к прежнему состоянию. Возвращающиеся симптомы протекали несравненно скорее, чем в первый раз! Приходилось класть работника в клинику. Таких больных в московских клиниках начинали считать типическими, и их устраивали в специальные палаты. Болезнь обыкновенно упорно прогрессировала с перерывами облегчения, когда человек возвращался к прежнему своему лицу, но не к прежней работоспособности. Попытки вернуться к работе сами по себе углубляют болезнь. Патологоанатомическое исследование отмечает в качестве типического и существенного признака — более или менее значительное размягчение коркового вещества в большом мозгу, тогда как мелкие сосуды, поднимающиеся к коре, оказывались так хрупки и так сужены по своим просветам, что самый тонкий зонд не мог в них войти, а сосуд при этом ломался, точно фарфоровый. Это очень глубокий склероз сосудов, снабжающих кору мозга кровью. Очевидно, что стенка такого затверделого сосуда не могла уже достаточно пропускать через себя вещества крови к нервным клеткам и продукты распада нервных клеток в кровь. Продукты распада чрезмерно работавших клеток нервной ткани действовали отравляюще на самые эти клетки.

Конечно, это очень тяжелое состояние,— вот почему

доктор Перельман сказал Варваре Александровне, что Марья Александровна тяжело больна.

Все-таки облегчения в этой болезни считались также типичными, и их можно затянуть, если человек не будет возвращен в ту же работу. Бог даст, у Марии Александровны придет, в хороших условиях больницы ВИЭМ, возврат к удовлетворительному состоянию. Но пускать ее к прежней работе никак нельзя. Надо будет ее окружить покоем, нравственным и физическим, и устроить в домашний угол, забота о котором ради любимых друзей была бы для нее любимым делом. Мне кажется, что облегчение должно быть и будет. Надо к нему приготовиться, т. е. заранее обеспечить покойный домашний угол.

Я ведь думаю, что Вы будете читать это письмо с Варварой Александровной вместе. Потому и пишу подробно свои соображения о бедной нашей Марии Александровне. Пишу на Ваше имя потому, что затерял адрес Варвары Александровны, а Ваш имею на Вашем конверте, присланном недавно. Прошу всякий раз писать свой адрес, ибо я по старости все теряю и все забываю. Я ведь тоже переутомлен и болен, и у меня тоже склероз мозга,— только дело идет более медленно, ибо в старом организме болезни развиваются медленнее. Симптомы однако приблизительно те же,— прежде всего чрезвычайный упадок запоминания. Память прежнего сохранена и подчас удивляет своею свежестью. Я могу восстановить до необыкновенно живых деталей эпизоды прошлой встречи с людьми, разные незначительные события при случайных встречах с людьми. И в то же время я забываю тотчас, что прочел пять минут назад нужный документ, и лишь взяв его в руки во второй раз, улавливаю, что я только что его уже читал. Болезнь моя, побудившая людей поместить меня в Обуховскую больницу, была в сущности собранием старческих болезней, относительно которых врачам приходилось ломать голову; поводом же к острому заболеванию послужила еще раз рожа ноги, как и несколько лет тому назад. Рожа подняла температуру до 40,2°С, и это послужило поводом для обморока, длившегося, как говорят, довольно долго. Упал я на пол в своей комнате; и долго не могли меня поднять. Это говорило о дефектах в сердце. Сердце у нас — наследственное место малого сопротивления, остановка его была причиною конца и нашего отца, и дяди, и некоторых других

родичей. Обратив внимание на сердце, нашли в нем симптомы Квинка: в лежачем положении клапаны работают плохо и пропускают кровь обратно из желудочков в предсердия. Затем уже в больнице обнаружили эмфизему легких, многочисленные очаги обызвествления, т. е. давних туберкулезных посевов, прибавляющихся, как говорят, по поводу каждого перенесенного гриппа, значительное повышение кровяного давления, увеличение сердца в поперечном направлении, расширение и значительное уплотнение аорты. Вот сколько новостей, накопившихся за годы нашей усиленной работы. А главное все-таки в нервной системе, о дефектах которой говорит упадок внимания и памяти, о котором я говорил ранее. Простите, впрочем, дорогие калужские мои друзья, что расписываю эти отчеты Вам, которые отличаются только тем, что у Вас не было случая справиться у специалистов, в чем сказывается в Вас трудничество перенесенных зим и скорби около заболевших родных друзей. Клавдия Михайловна поминает только свои рученьки, болевшие от стирки. А я чувствую из писем еще бóльшее боление души и сердца за старушку в плохо топленной комнате.

Буду ждать от Вас весточек о Марье Александровне и Марье Андреевне. Придумайте более удачную оказию ко мне, пока есть еще возможность передать Вам посылку. Я опасаюсь, что Ваша посланница во второй раз могла просто не достучаться Надежды Ивановны, которая и вообще стала туга на ухо, а при шумящем примусе не слышит иногда и крепкого стука в дверь. Уходя с квартиры, я стал брать с собой ключ от входной двери на случай, если старуха долго не будет отворять. А посылка была приготовлена и ждала оказии с нетерпением.

Как будет с домиком на Брюссовском? Кругом идут такие строительные передвижки,— захватят ли его работы, происходящие у соседей? Жаль будет уютного старого домика, и приятно было бы, если бы его миновала ломка!

Чувствуется ли у Вас наконец весна и солнышко? Смотря на него по утрам, вспоминаю о Вас и о Марье Андреевне. Радуется ли она на него?

Крепко жму Ваши дружеские руки, прошу передать мой низкий поклон Марье Андреевне и пожелание доброго здоровья и мира с радостью хотя бы от воспоминания о добрых отцах и дедах. 〈...〉 Простите, родные друзья. Всего, всего доброго.

Спасибо большое, добрый друг [133], за добрые письма и за давно жданное известие, что получили наконец гостинец с путницей, которая была здесь в период кончины Надежды Ивановны. Диагноз, поставленный на основании вскрытия Марии Александровны, не противоречит тому, что писал я. Московский больничный диагноз не говорит ничего о происхождении болезни и ее природе; он описывает лишь гистологическую картину, какая сложилась в конце концов в коре головного мозга: перерождение нервной ткани коры, драгоценных ганглиозных клеток ее в соединительную ткань (в «нейроглию», или, проще, в «глию»), а последняя, разрастаясь, стала образовывать опухоль (бластому). Очень обширные области, которые успели поддаться перерождению! Мирно и непостыдно ушла дорогая Марья Александровна из трудовой страды. Надо пожелать друг другу, чтобы и нам не очень труден был этот путь. Тронут был, получив дорогую записочку от Марии Андреевны. Хоть немножко вздохнули бы они перед предстоящей зимой. А Вы-то сами успеете ли хоть немного вздохнуть? Рад, что выправился Ваш огородик. Солнышка в этом году много; лишь бы была вода; тогда Ваши саженцы сделают свое дело. По доходящим слухам, урожаи у Вас и южнее прекрасные. Желаю от всей души справиться с делами, а Марье Андреевне с Клашей разрешить вопрос с квартирой. Прошлая зима прошла для них чересмерно трудно. Очень скорблю об Ольге Александровне. Натянутая струна! Как бы оградить ее от болезни, вынесенной из тех же условий сестрою? Простите. Всего, всего доброго.

26. VII. 41.

27. VI. 1942.

В Елисеев день пришло наконец Ваше [134] письмо и сегодня же я передал Ваш привет и пожелания Лёле. Он был счастлив от моих слов, при всем том, что он болен и слаб от ноги, которая делает его калекою, и от пищевода, который дурно пропускает пищу. Однако он еще работает и не теряет надежды войти в свои прежние занятия, для чего, впрочем, придется переезжать на Волгу, и перспективы этого переезда его довольно сильно тревожат. По его словам, он был несказанно приободрен и обрадован, когда милая Татьяна А-на присла-

ла известие о Вас. Но он очень огорчен кончиною дорогой бабушки, с которой не удалось ему переписаться позднею осенью, а из добрых писем Клаши он узнал, что старушка покинула своих. Спасибо Клаше за теплые письма, написанные в ее горе. И я, и Лёля очень часто бывали в эти зимние месяцы у вас, стараясь разобраться, что с вами! Слава Богу за то, что вот можем еще перекликнуться! Пока Лёля был на ногах, ему почти ежедневно приходилось ходить по Большому проспекту на работу мимо вашего угла на 13-й линии, и он вспоминал с радостью о том, как Вы и Ваши тут жили-были. Старые места шлют Вам привет, в особенности закут, который вы любили. Легко сказать: с 15 августа 41-го года не пришлось перекликнуться словом! Как сейчас помню этот прекрасный солнечный день конца страдного лета. Вот и сейчас закатывающийся прекрасный солнечный день, но уже начала лета 42-го года! От всей души жму вашу руку и желаю неколеблющейся твердости в пути, которым велено идти и нам и окружающим. На днях получил хорошие письма от Марьи, и это было тоже прекрасным экспромтом. Простите.

4. VII. 1942.

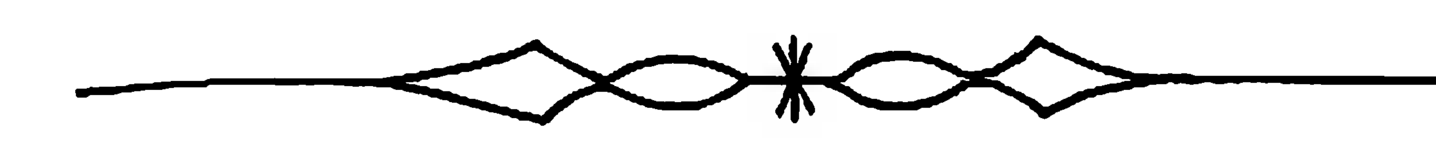
Так хотелось бы и так надо было бы знать поподробнее о Вас [135] и Вашей жизни за это время. Такие события пронеслись над матушкой Русью и над каждым из нас. Но уже эти самоотчеты придется, видимо, отложить до более удачных сроков. А пока лишь дружеское, от всего сердца пожелание: крепиться и держаться достойно тому, что завещано отцами и истоками нашей родной земли. На днях послал Вам записочку, а сегодня так потребовалось побеседовать с Вами в эти красные летние дни, пока еще даны они нам! В июне так много у нас семейных памятей и праздников. В их ряд вошла и година Марии Александровны. А мне вот стукнуло 67 лет, срок, по нашей семье, очень большой. За то и немощи начались, как в старом доме: не успеваешь заметить, где садится сруб на землю, где перекосило угол и стену, а где сдают балки! Очень напоминаю я себе старый дом, в котором жили-были люди, да куда-то вот съехали! Впрочем, это в порядке вещей и не заботило бы, если бы не боление за родину и родной народ, на которых выпало так много задач. Не знаю, как мое здоровье даст мне поехать к местам работы моих сотрудников. Пока все

еще неудовлетворительно с ногой, а в последнее время и с пищеводом. Поездка будет, по моим нынешним силам, крайне трудна; но она возможна, пока тепло, и надо будет воспользоваться этим недлинным промежутком. Родной закут посылает Вам все самые лучшие приветствия; он знает, как Вы его любите, и отвечает тем же. Спасибо дорогой Татьяне А-не за ее письма — милый она человек. Очень больно за Ольгу. Хотелось бы думать, что удастся замедлить процесс в ее легких. Клавдии Михайловне служит великой опорой жизнь с Вами, и надо надеяться, что с вещами дело улаживается и не будет обременять ваш обиход. Всего, всего доброго вам, друг и друзья мои, не забывайте преданного старого путника в его болезни.

22. VII. 42.

Вчера получил Ваше письмо, добрый мой друг [136], и сегодня, в Магдалинин день, пишу, чтобы не откладывать. Очень ждал я Ваших строк, как Вы, наверное, чувствуете там вдали. У меня сегодня ряд дорогих памятей, как и у Вас. Проходят в воспоминании прежние года, начиная с далеких, когда мы уезжали из Рыбинска на этот день на Толгу. Потом более близкие времена, кончая днями отхода милой Марии Александровны от наших печалей и испытаний в прошлом году. Я ведь ничего почти не знаю из событий с Вами за истекшие месяцы, силюсь только представить их себе. Храни нас, Боже, в предстоящем будущем. Закут мой еще и еще раз посылает Вам горячее пожелание сил, здоровья, крепости и терпения, а я от всей души благодарю за дорогой привет от Тольской. Как мне хотелось бы представить себе, что делается сейчас на Жиздре у Козельска,— какие памятки там еще остались? Сохранились ли леса на жиздренском правом берегу? На моей памяти они были молчаливые и прекрасные, отличаясь от наших северных лесов тем, что посреди хвои в них вкраплен дуб. Так бы и побродил опять в этих пустынях. Но я забываю, что сейчас и по комнате я брожу через силу от больной ноги и слабости, нажитой болезнью пищевода. Первое, как я сообщал, есть некротический процесс, пока продолжающийся; а второе, как я надеюсь, не связано с чем-нибудь злокачественным, а является скорее нервно-мышечным расстройством пищеводной трубки и привратника к желудку [137]. Иногда я ем, и тогда

несколько подкрепляюсь; а иногда ничего не могу съесть за день, тогда очень слабею. Возраст мой для нашей семьи большой, и немощи мои в порядке вещей. Жаль, что они совпали со столь трудными, жесткими для отечества и народа днями! Так нужны сейчас все силы. Так легко стать бременем для окружающих; а уж это очень больно! Всего, всего, всего Вам доброго, прежде всего — дальнего зрения, которое не давало бы ближайшим и близоруким впечатлениям застилать глаза. ⟨...⟩ Простите и помните Вашего преданного А. У.



НАША ПРЕКРАСНАЯ АЛЕКСАНДРИЯ

Письма к И. И. Каплан

25 авг. 1922—7 сент.

Прекрасный мой друг Ида Исаковна [1],
Вера Федоровна [2] так мила,— собралась пойти к Вам. Не сочтите за назойливость с нашей стороны, что пристаем к Вам с просьбой покушать нашей стряпни. Будьте такая сердечная, не откажитесь и покушайте! Так Вы сегодня с утра слабо выглядели,— у меня до сих пор перед глазами побледневшие губы, поблекшее лицо! Вот видите,— я, пожалуй, более прав, когда так удивляюсь, как необыкновенному счастью, какой-либо удаче вроде общего чтения Соловьева, в общем же ожидаю скорей неудачи и огорчений! Недаром я вчера так дивился этой необыкновенной и незаслуженной удаче,— что до сих пор удалось мне почитать с Вами! Это было для меня удивительное счастье! А когда что-нибудь не удается, я к этому подготовлен, ибо это-то во всяком случае заслужено!

Ну, укрепляйтесь же и отдохните! Может быть, еще придется посидеть и побеседовать, как было в эти дни?

Посылаю Вам листочек с выписками для наклейки в Библии. Мы уже говорили об этом, и Вы согласились включить этот листочек! Я думаю, что лучше всего укрепить его на переплете, вначале, с внутренней стороны! Клей есть?

Эти выписки характеризуют Вам, с какими настроениями мне хочется вручить Вам Священную Книгу. Да сохранит Вас от всякого зла, да вдохновит, да просвятит, да насытит Ваше сердце и дух Святое Слово Божие и Дух Утешитель!

Сердечный мой друг, позвольте брать на мое имя молоко с фермы для Вас! Вы знаете, какое удовольствие

для меня доставили бы тем, что смогу оказать Вам маленькую услугу! Если бы несколько лишних ложечек крови образовалось в Вас за эти дни, это было бы прекрасно!

Лягушки, отпрепарированные Вами, не пропали: я отравил их стрихнином и протоколирую опыты. Узнаете потом о результатах. Без Вас препарировать вновь не буду, буду ждать Вас. Без моей милой научной сотрудницы я как без рук! Вы это знаете.

Но Вы себя отнюдь не насилуйте и через силу ни в каком случае ко мне не приходите. Я буду рад знать, что Вы отдыхаете, крепнете, читаете, лежите, думаете в свое удовольствие. Как бы мне хотелось знать, что в Вашей душе светло и радостно! И светло и радостно не случайно, не по счастливому стечению обстоятельств, но прочно и ровно, как в хороший летний день. Одним словом,— чтобы пришел настоящий и подлинный Свет, настоящая и подлинная Радость. Я естественно хочу передать моим друзьям и любимым все хорошее и светлое, что я знаю в жизни и во что жизнь научила меня веровать. Но я не знаю ничего лучше, светлее и радостнее Христа и христианства. И вот мне так хочется погрузить Вас в эту прочную, верную и нескончаемую радость, победительницу болезни, греха и смерти!

Преданный Вам душевно Ваш

А. Ухтомский.

24 августа / 6 сент: Александрия.
1922

Дорогая Ида,

спасибо за милое письмо, очень меня тронувшее. Черкните, что с Вами, как себя чувствуете. По лаборатории все убрал, скотинку обрядил. Одна из Ваших лягушек еще жива и дает рефлексы. Повышена возбудимость в отравленной лапке, но доминанты нет, нет и извращения Ав—а. Не насилуйте себя и, если не хочется, не приходите.

Ваш преданный

А. Ухтомский.

25 авг. / 7 сент. Александрия.

Дорогая Ида Исаковна,

в воскресенье 29-го окт., в 1 ч. дня, в большой физической аудитории Университета состоится соединенное заседание всех отделений Общества естествоиспытателей, посвященное памяти Н. Е. Введенского [3]. Может быть, Вы нашли бы возможность и пожелали бы быть на этом заседании? Мне придется делать на нем доклад о научной деятельности покойного, и это тяжелое для меня испытание было бы облегчено для меня чувством, что Вы тут! Да для Вас было бы поучительно участвовать в этих ученых поминках, во всяком случае, крупного ученого.

Вы знаете, что доставили бы мне большую радость своим присутствием.

Ваш А. Ухтомский.

27 окт. 1922.
Петроград.

Моя родная труженица,

во-первых, примите мою благодарность за Ваше горячее желание помочь мне собрать расточающуюся лабораторию. Я очень чувствую Вашу дружескую поддержку.

Во-вторых, Бога ради, никогда не говорите мне этого, горького для меня, слова, что не будете мне говорить, что думаете! Никогда не спрашивайте, «сержусь» ли я на то, что Вы мне говорите! Как же я могу «сердиться», когда мне и нужно-то именно это дружеское и откровенное слово, высказывающее мне всю правду, которая будет чувствоваться Вашей милой душе?

Со своей стороны, скажу следующее. Я боюсь быть нетактичным и назойливым в отношении Вас в моем желании почаще быть с Вами. Поэтому говорите мне сами и совершенно открыто, по-дружески, когда я делаю что-нибудь неудобное для Вас.

Например, не стеснительно ли для Вас, не представляет ли неловкости мое желание опять работать с Вами? Может быть, Вам хочется работать одной? Мне что-то подобное показалось в последние дни. Скажите мне об этом по-дружески, просто, откровенно.

Когда покажете мне карточки Ваших отца и мамы?

Ваш А. Ухтомский.

27 окт. 1922.
Петроград.

Мой прекрасный друг,
после Вашего ухода я почти тотчас вспомнил забытое название оперы. Это «Хованщина»! [4] Итак, если будет возможно попасть на эти две вещи: «Град Китеж» и «Хованщина», попомните, что я с большой радостью буду Вашим спутником, чтобы пережить сообща впечатления, идеи и поделиться ими, вполне не замечая публики и обстановки вокруг.

Посылаю Вам старинную, старинную карточку, затерявшуюся многими годами в моем письменном столе. Когда-то, еще до войны, я купил ее за тот уют, которым повеяло на меня от этой теплой избушки в лесу, среди сугробов, с приветливым огоньком в окне, с лесной тропинкой и с детишками, очевидно, долго дожидавшимися возвращения дедушки с гостинцами.

Будьте благополучны и радостны, и передайте мне на расстоянии, чтобы я знал, что с Вами все хорошо. Желаю поскорее освобождения брата! Господь с Вами.

Преданный А. У.

3. XI. 1922.

И еще карточку из старинных моих покупок, завалявшихся в углах письменного стола, посылаю Вам,— на этот раз с просьбою принести в Университет на лекцию линейки, с веревочкой, от пантографа [5]. На днях придется говорить в мышечной физиологии об архитектуре перистой мышцы, и тогда линейки потребуются для демонстрации вращательных моментов у отдельных миофибрилл. Забыл сказать об этом при свидании.

Карточка, как видите, представляет некоторый интерес: итало-византийская архитектура венецианского собора Евангелиста Марка! Как давно она у меня лежала и как я рад, что она попадет в Ваши милые руки. Простите!

А. У

Дорогая Ида Исаковна,
придя домой, я понял, что надо было ответить на Ваш вопрос о том, будто я «очень рассердился» на нашу александрийскую компанию. Я правдиво сказал Вам то, что чувствую в себе: я не рассердился. Но и Вы правы, что что-то произошло. Произошло во мне то, что, может быть, лучше, а может быть, и хуже, чем «рассердился»:

я вдруг успокоился в отношении этих работ; в глубине души у меня что-то махнуло рукой, будут эти работы или нет.

До сих пор я жил только надеждою, что они будут. По правде сказать, и не было ничего, на чем можно кроме этой надежды и не было ничего, на чем можно было бы отдохнуть душою. А теперь я чувствую, что ждать этих работ я перестал, т. е. не я перестал, а «у меня перестало». Я очень понимаю, что не вина нашей компании в том, что с дурацкой «скачкой с препятствиями», в которую обратилась студенческая жизнь, у людей нет времени и сил работать в лаборатории. Я не виню, а потому не сержусь; но уже и не жду более, а «успокоился».

Мне очень ясно, что последствием безработицы будет то, что начнется неизбежное вдвигание новых, не наших, элементов на место александрийцев в лаборатории. Ощущая это, я хотел, чтобы по крайней мере александрийцы бывали в лаборатории и принимали участие в ее жизни. Но и это не вышло. Значит, мне остается «laisser faire, laïssez passer»! [6]

Мне это больно,— Александрия наша все более затуманивается и уходит от меня. Но, видимо, и тут остается лишь «успокоиться».

Маленькая зацепочка (но совсем уже маленькая, ибо совсем удаленная от жизни лаборатории!) остается в начавшемся физиологическом кружке. Но я теперь уже заранее чувствую, что и тут смогу, не «сердясь», успокоиться, если,— на радость Ветюкову и К° ,— дело не пойдет.

Александрийцы и не подозревают, как надо было для нашего общего дела начать теперь работать!..

Итак, винить я не виню никого; но огорчен очень! И представьте себе, какой психологический парадокс: я огорчен тем, что успокоился! Казалось бы, чего лучше успокоения и нейтрализации?

Тетрадочку Вашу я очень прошу возвратить мне поскорее, не позже недели, так как я должен сесть за писание нашей прошлой работы, пока есть силы и возможность писать.

Простите, что писал в тетрадке кое-что.

Ваш, душевно преданный А. Ухтомский.

9/22 ноября 1922.
Петроград.

12/25 ноября 1922.

Мой прекрасный друг Ида Исаковна.
Мне сейчас так захотелось побеседовать с Вами, что вот беру бумагу и сажусь писать, если уж так не приходится говорить с Вами. Иногда душа бывает так наполнена содержанием, которое нужно высказать кому-то. Кому? Да вот тому, в ком видишь друга, своего друга — пускай он будет далек, за тридевять земель!

Ну, так простите, милый друг, что я, пожалуй, надоем Вам этими письменными речами, может быть более длинными, чем Вы хотели бы.

Иногда душа собирается в себе, соединяет за много времени пережитое, обозревает пройденное, и тогда как будто начинает многое понимать и открывает при новом свете, что до сих пор казалось таким многосложным, разнообразным, трудным. И когда приоткрывается хоть краешек смысла в жизни, становится так хорошо на душе, что в это время особенно хочется пожать руку другу и сказать, что увидел. Простите же, что немного надоем Вам своим писанием! Я буду говорить все из своих тем, о которых Вы слыхали. Они все развиваются и растут постепенно в моей душе.

«Творческая идеализация», которую я считаю основною тайною человеческого общежития. Буду говорить о ней же!

Мнение брата о тебе, вера брата в тебя — обязывает тебя и фактически двигает тебя в ту сторону, в которую он тебя идеализирует; но это лишь при условии, что ты любишь брата твоего и фактически тебе дорого быть для него хорошим,— каким он хочет тебя понимать и знать! И тем более, когда он опирается на тебя — такого, каким тебя понимает.

Жизнь, построенная на идеализации, вполне противоположна жизни, построенной на искании своего личного. В одном случае человек говорит: «Ты ничем не лучше меня — такое же порочное и маленькое существо, как и я, и поэтому я не хуже и не ниже тебя, и да царствует наше „равенство в правах“»! В другом случае человек говорит: «Ты прекрасен, и добр, и свят, а я хочу быть достойным тебя, и вот я буду забывать все мое прошлое ради тебя, буду усиливаться дотянуться до тебя, чтобы стать „равным тебе в твоем добре“»!

Вы чувствуете, что в первом случае человек домогается равенства тем, что стаскивает другого с его высоты до своего уровня, принижает его до себя. В другом случае он домогается того же равенства, но тем, что усиливается подняться со своего низа до того высшего, в котором видит другого.

И Вы понимаете, что в первом случае дело, по существу, консервативно и мертво, ибо тут человек самоутверждается в своей неподвижности! А во втором — дело в напряжении и росте, в движении вперед, ибо человек уходит от себя и возрастает в высшее!

Вот противоположности «равенства в правах» — мертвого социалистического и юридического равенства и равенства христианского в высшем достоинстве перед Истиною и Богом!

Часто — чаще, чем думаем,— бывает, что лишь издали порываясь к человеку, домогаясь его, пока он для нас — недоступная святыня, мы любим и идеализируем его, и тогда обладаем этим великим талисманом творческой идеализирующей любви, которая прекрасна для всех: и для любимого,— ибо незаметно влияет на него,— и для тебя самого,— ибо ради нее ты сам делаешься лучше, деятельнее, добрее, талантливее, чем ты есть!

Но вот идеализируемый человек делается для тебя доступным и обыденным. И просто потому, что ты сам плох, обладание любимым, ставшее теперь простым и обыденным делом, роняет для тебя твою святыню,— незаметным образом огонь на жертвеннике гаснет. Идеализация кончается; секрет ее творческого влияния уходит вместе с нею. И ты оказываешься на земле, бескрылым, потерявшим свою святыню — оттого что приблизился слишком близко к ней!

Любимый, идеализируемый друг — залог твоего возрастания — делается для тебя «достойным, т. е. заслуженным собеседником». Иерусалим делается всего лишь грязным восточным городом! И из-за его восточной грязи ты более не способен усмотреть в нем его вечной святыни! Прекрасная невеста прекрасного ради нее жениха стала затрапезною женою отупевшего мужа!.. Потеряв тайну идеализации, мы перестаем усматривать

лес за кустами, видим одни эти кусты и близоруко удивляемся,— куда же это девался тот прекрасный лес, который мы так ясно видели, пока смотрели издали! А закрыв свой взор этими ближайшими кустами и сорными травками, мы потом все более укрепляемся в убеждении, что это мы в самом деле, должно быть, «ошиблись», пока идеализировали издали и нам казался (тот?) прекрасный лес!

А на самом деле Шопенгауэр прав, что первое впечатление всегда наиболее правильное, как бы оно ни заслонялось потом близорукими наслоениями от слишком близкого общения с человеком, когда ты делаешь из него для себя *то, чего ты сам стоишь*. Первое впечатление — наиболее бескорыстно и потому наиболее объективно!

Но с того момента, как идеализация кончилась, так или иначе, дальнейшее сожитие людей становится просто во вред; просто во вред, ибо оно притупляет, угнетает, лишает сил обоих. *Ты утерял веру в меня,— с этого момента ты роняешь меня, гнетешь, отнимаешь у меня способность действия*. Лучше разойтись, и как можно скорее!

Вот так-то бывший любящий и любимый ученик становится Иудою-Предателем!

Перед нами пронеслась прекрасная наша Александрия, лето 1922 г. В чем ее секрет? Что в ней так дорого всем нам? Это *удавшееся человеческое общежитие*! Людям редко удается общежитие столь удачное. И вот, может быть, уместно у этого удавшегося случая поучиться, где же секрет удачи! Секрет Александрии в том, что люди *умели там идеализировать друг друга*,— умели видеть и любить друг в друге их *алтари*, а не *задворки*; умели подходить друг к другу со стороны алтарей, а не задворков! И оттого чувствовали счастие, что видели друг в друге алтари! Были награждены за идеализирование друг друга тем, что бодрили, поднимали друг друга, а потом и самих себя! Пока видит и приветствует человек в своем ближнем и друге его алтарь, то и в себе живет преимущественно своим алтарем; а когда в другом начинает замечать задворки, наверное, тогда судит с точки зрения своих собственных задворков и из-за них не видит ничего выше и поучительнее себя самого!

И знаете ли, отчего человек так часто (чаще всего) предпочитает судить ближних со стороны задворков и так скупо и редко идеализирует? Это оттого, что судить с задворков проще и успокоительнее для себя,— это тайное оправдание себя самого и своих задворков: *а идеализация другого обязывает и самого того, кто идеализирует, ведет к труду, к самокритике!*

Психологически понятно, что человек усматривает в другом те грехи, которые по опыту знает в себе. Чистый знает и других как чистых. Чистая юность умеет идеализировать, и зато она так прогрессивна духом и так способна к росту! Приземленная старость, если она не сопряжена с мудростью, теряет широту и щедрость духа, потребную для веры в человека и для его идеализации. И оттого она так оскудевает духом, брюзжит и уже не приветствует более вновь приходящей жизни!

И в науке, и в практической жизни, и в том, как мы подходим друг ко другу, есть такого рода «понимания» и теории, которые облегчают человеку все новое и новое проникание в окружающий опыт и в реальность. Но есть и такие «кажущиеся понимания», которые только заслоняют для человека реальность, действуют как шоры; не дают открытою душою видеть и воспринимать то, что есть перед тобою! Так нередко — тем самым, как мы толкуем и «понимаем» для себя встречного человека,— мы лишь заслоняем его от себя и не можем уже рассмотреть, что он есть и чем может быть в действительности!

Идеализирующая юность, равно как и подлинная мудрость старости идут в мир и к людям с раскрытою душою и именно поэтому успевают видеть в мире и в людях все новый и новый смысл, прекрасное многообразие и увлекающую ценность! А брюзжащая, критиканствующая старческая скудость замкнулась душою, перестает улавливать то, что есть и вновь приходит в мир, и сама в себе носит причины того, что и мир и люди с некоторого времени кажутся ей скучными и дурными! Из любящего друга Вселенной и людей человек, незаметно и постепенно, может сделаться их клеветником и наветником; и от творческой идеализации их переходит тогда к их убийству словом и делом!

Бога мы понимаем так, что Он всегда, и несмотря ни на что, любит мир и людей и ждет, что они станут пре-

красными и безукоризненными до конца,— и Он все оживляет и воскрешает. Дьявол-клеветник опорочивает мир и людей, подыскивает на них обвинения, издевается над идеализацией, объявляет ее ошибкою и, вместе с тем, убивает и разрушает!

Прочтите у апостола Павла (I посл. к Коринф., гл. 13) великую характеристику любви (в оригинале на церковнославянском): любы долготерпит, милосердствует... не гордится... не ищет своих си... не мыслит зла, не радуется о неправде... вся любит, всему веру имлет, вся уповает, вся терпит. Любы николиже отпадает...

«Видишь ли,— говорит Иоанн Златоуст [7],— видишь ли, чем он завершил и что особенно превосходно в этом даре любви? Что именно значит: николиже отпадает? Не прекращается, не ослабевает оттого, что терпит, потому что любит все». «Не отчаиваясь ожидает от любимого всего доброго, и хоть бы он был худ, не перестает исправлять его, пещись и заботиться. Всему веру имлет; не просто надеется, но с уверенностью, потому что сильно любит; и хотя бы сверх чаяния не происходило добра, и даже любимый становился бы еще хуже, она переносит и это — вся, говорит, терпит. Любы никому же отпадает». Можно ли найти лучшую характеристику любви-идеализации?!

Но остается в силе тот страшный факт, что неосторожным и недостойным приближением к тому, что любишь и идеализируешь, ты можешь утерять любимое и идеализируемое,— постепенно и незаметно можешь превратиться в его клеветника и наветника! Слишком большое сближение для неблагородной души принижает, роняет того, кто издали был творческим идеалом! Слишком большое сближение уронило в глазах Иуды Христа,— иссякло благоговение к тому, кто слишком близок и обыкновенен, иссякла идеализация! И из друга-ученика человек незаметно превращается в клеветника и предателя! Вот трагедия из трагедий человеческой души! Ее необходимо понимать и учитывать в жизни, дабы избежать той же беды для себя!

Благородная душа тем более и глубже любит, чем ближе к ней ее любимый и ее идеал! Душа слабая перестает уважать и ценить то, что слишком близко к ней! Для рабски настроенной неблагородной души снисхождение Христа до грешного и упавшего человечества стало поводом к презрительности к самому Христу! «Исполняюсь гневом и скорбию за моего Христа,—

говорит Григорий Богослов [8],— когда вижу, что бесчестят Христа моего за то самое, за что наиболее чтить его требовала справедливость. Скажи мне: потому ли он веществен, что смирился ради тебя? потому ли он — тварь, что печется о твари?» «Это ставишь ты в вину Богу — Его благодеяние? Потому ли он мал, что для тебя смирил себя?.. Это ставишь в вину Богу? За то почитаешь его низшим, что препоясуется лентием и умывает ноги учеников, и указует совершеннейший путь к возвышению — смирение? что смиряется ради души, преклонившейся до земли, чтобы возвысить с собою склоняемое долу грехом? Как не поставишь в вину того, что он ест с мытарями и у мытарей?.. Разве и врача обвинит иной за то, что наклоняется к ранам и терпит зловоние, только бы подать здравие болящим?..»

Тут, конечно, самый глубокий, интимный и вместе с тем самый тонкий и страшный суд над человеческой душою, ее задатками и благородством: оттого, что твой любимый, твой идеал и Христос пошли тебе навстречу, стали обыденны и близки тебе, смиренно сблизились с тобою,— стали ли они для тебя втройне дороги, и высоки, и прекрасны? Или же, напротив, стали затрапезны, унижены, потушены для тебя?

Сознание страшной опасности потухания идеала и идеализации от неосторожного и недостойного приближения к ним дает нам понять целомудренное стремление некоторых отдалиться от любимого и уклониться от обыденного общения с ним! Для того тут человек и уклоняется от любимого, чтобы не потерять его для себя! Боится человек заслонить для себя святыню друга, однажды ему открывшуюся,— заслонить ее приземистою обыденностью своей души, для которой всякое сближение легко превращается уже в амикошонство и для которой «нет пророка в своем отечестве»!

17/30 ноября 1922.

Ужасно много еще имею я сказать Вам, мой любимый человек: почему-то я уверен, что надо Вам сказать об этом. Уверенность эта коренится на том, какою я знаю Вас по Александрии, когда мы были вместе и говорили лицом к лицу. Теперь, конечно, утекло уже много воды, пришли новые впечатления, утекло

и переменилось многое в Вашей душе: ибо человек существо текучее и утекающее! Дай ему Бог только утекать в лучшее, во все большее расширение души, сердца и духовного зрения! Упаси Бог от самодовольной узости, от ссыхания сердца, от духа клеветы на мир и на людей!

И вот, при всей этой странной уверенности, что надо сказать Вам о том, что мне кажется важным, я начинаю и бояться, что надоем Вам этими длинными речами посреди Ваших новых впечатлений и интересов. Но уже простите меня за назойливое желание побыть с Вашей душой хотя бы лишь через письмо! В извинение мне примите во внимание, что беседовать мне с Вами не приходится и, очевидно, не придется (по крайней мере, в близком будущем); ибо в долгое отсутствие солнышка земля уже успела промерзнуть,— прийти в свое привычное молчание; и Вы, я думаю, замечаете, что при мимолетных свиданиях с Вами я все равно о дельном и важном говорить не могу, ибо опять привык молчать. Так в те часы досуга и относительного покоя, ночью, когда кругом тихо, позвольте мне письменно говорить Вам мои задушевные мысли, хотя бы изредка и пока есть еще досуг и относительный покой.

Собрался я еще писать Вам на целую новую, очень большую тему о том, как Исаак Сирин [9] понимал «геенну» и Суд. Но решил отложить это до благоприятного будущего, чтобы не злоупотреблять Вашим вниманием сейчас. Когда-то Вы сказали дорогое для меня слово, что очень много приобрели через меня. Но ведь то, с чем Вы познакомились через меня до сих пор, составляет лишь каплю в море из того, что надо бы мне передать Вам из моего заветного мира мыслей, понятий, предчувствий. Будете ли Вы слушать мои речи, будете ли моим собеседником и другом? Как обо многом, обо многом надо было бы сказать Вам! Ведь для меня величайшее наслаждение, что Вы переживаете, передумываете, переживаете Вашей прекрасной душой мои заветные мысли!

Но тем более грустно мне (простите за откровенность!), что не могу уже я переживать с Вами, как было в прошлом году, мои лекции! Мне очень грустно, когда Вы не бываете в аудитории,— точно читаешь впустую! Переживается настроение в духе Шопенгауэра.

...Но это, конечно, только «настроение»: все это,

конечно, немного смешно и минуется. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время рождаться и время умирать; время насаждать и время вырывать посаженное; время убивать и время врачевать; время разрушать и время строить; время плакать и время смеяться; время сетовать и время плясать; время обнимать и время уклоняться от объятий; время искать и время терять; время сберегать и время бросать; время раздирать и время сшивать; время молчать и время говорить; время любить и время ненавидеть; время войны и время миру...» (Екклезиаст, 3, 1—8).

Однако, слава Богу, есть в мире и вечное, над чем не сильно время! Это — то, о чем я написал на сборнике стихов Вл. Соловьева! «Крепка, как смерть, любовь...» (Песнь Песней, 8, 6).

...Вот о последней-то, которая в своем белом сиянии собирает, как лучи радуги, предыдущие формы любви, сказано: любы николи же не отпадает. Как бы ее достичь?..

В. А. Догель [10] переживает впервые в жизни встречу со смертью как с конкретным фактом, а не с отвлеченным понятием. Он очень скорбит по ушедшем отце. И вот опять очень ярко подтверждается мое наблюдение, о котором я говорил Вам на лодке перед Александрией, как почти об общем правиле рождения религиозного опыта: смерть любимого — начало совершенно нового мироощущения, нового опыта, совсем нового переживания жизни! В. А. Догель говорит, что ощутил теперь со всей ясностью скудость и мелкоту наших обычных натуралистических представлений о жизни и смерти, и открывается ему потребность нового опыта, нового построения опыта, пересмотра всего прежнего при новом освещении!

Человек до смерти любимого и человек после нее,— переживший и вкусивший ее,— это два совершенно разных человека, мало понимающих один другого, вроде того как глухой не может понять музыканта и природный слепец не может представить себе мироощущения зрячего. Когда я слышу попытки философствования с легким сердцем со стороны человека, о котором мне известно, что он еще не пережил смерти любимого (отца, матери, друга, мужа), я чувствую, что спорить не надо, не надо возражать: тут еще не принято в соображение самое главное, не изведаны основные и важней-

шие грани бытия! Рассуждениями о смерти как об отвлеченном понятии может удовольствоваться лишь тот, кто не видел ее бесповоротного значения как неизгладимого наличного факта! И только пережив ее значение, человек начинает понимать вообще *трагическое значение наличного мира, как надлежащего, необходимого, рокового (которого «нельзя обойти»!) опыта!* Начинает понимать *значение каждого текущего момента, каждого поступка, тем более каждого встречающегося человеческого лица как неповторимого и бесповоротного задания жизни.*

И с этого момента мир и жизнь приобретают вдруг небывалую серьезность!

19 ноября / 2 декабря 1922.

Спасибо Вам, мое сокровище, что показали карточки Ваших папы, мамы и себя,— такой маленькой и беззащитной посреди своего садика, между папой и братом. Мне жаль лишь, что пришлось смотреть наскоро, посреди других, совсем других впечатлений и разговоров! Ну, да и вообще приходится *жить наскоро, мимоходом*,— думать наскоро, переживать все наскоро; и, видимо, с этим надо мириться.

Сегодня Н. Д. Владимирский[11] обратился ко мне с просьбою написать ему что-то вроде «напутствия» в книжку, с которою он, вероятно, придет и ко всем Вам — александрийцам с просьбою написать теплое слово.

Я скажу Вам, что написалось у меня в его книжку. Поводом послужило то, что, по его мнению, пути наши расходятся будто бы в том, что я «ухожу от мира», а он хочет быть «в мире». Чувствуется двусмысленность понятия «мир» в этих утверждениях, и мне надо было сказать об этом именно в «напутствии»! С одной стороны — мир Божий с его красотою и солнышком,— да как же его не любить! С другой стороны — Иоанн Богослов говорит: «Возлюбленные, не любите мира и того, что в мире, ибо это — похоть плоти, похоть очей, гордость житейская». Должно быть, *есть мир и мир, и их не надо смешивать, дабы не попасть в грубую ошибку!*

Вы знаете икону Софии Премудрости Божией, так вдохновлявшую Вл. Соловьева? У меня Вы могли видеть одну из редакций ее, именно старостроогановскую. Так вот, что такое эта София?

София Премудрость есть мир, ожидающий своего устроения в стройности Космоса в устремлении к Единому Предвечному Слову Божию, во внимании Единому и в Соединении около Него!

Но есть мир, пытающийся устроить себя в подобие Космоса путем самозамкнутого и самодовольного самоутверждения!

Первый Космос изображен на древней иконе Софии Премудрости Божией. Он весь в устремлении, в прогрессе, в выходе из себя! О нем говорит Григорий Богослов: «Воспеваю стройность мира, еще более совершенную, нежели какова настоящая,— стройность, которой я ожидаю, потому что все поспешает к Единому».

Второй Космос консервативен и мертв в своем самоудовлетворении: это космос в самоутверждении — замкнутый в себе, темный старец, изображаемый внизу древней же иконы Сошествия Святого Духа на Апостолов в день Пятидесятый,— старец насмехающийся и клевещущий, будто вдохновение Апостолов есть опьянение!

Самоутверждающаяся душа и мир в себе строит по себе, как самоутверждающуюся консервативную систему без устремления, без будущего, без алтаря! Если и допускается тут какое-либо «будущее», то разве только энтропическое [12] сведение всего в «первобытное нет», во всеобъемлющее безразличие и смертный покой! (Вспомните 2-е начало термодинамики!)

Истинно прогрессивная душа и мир строит себе как непрестающее устремление и безграничный рост в Высшее. «Если в видимом столько степеней преспеяния, то кольми паче небесные тайны допускают преспеяние и возрастают многими степенями»! (Макарий Великий). «Если любовь никогда не перестает и если Господь хранит вхождение страха твоего и исхождение любви твоей, то явно, что и конец сей любви бесконечен; и мы никогда не перестанем преуспевать в ней, ни в настоящем веке, ни в будущем, светом всегда приемля новый свет разумений. И хоть многим покажется странностию

то, что мы теперь говорим, однако скажу, о блаженный отче, что и Ангелы не пребывают без преуспеяния, но всегда приемлют славу к славе и разум к разуму» (Лествица).

Итак, с каким же «миром» призваны мы жить, служить и оставаться? И от какого «мира» надо бежать? Есть «мир», который невозможно не любить! И есть «мир», от которого надо бежать! И если их перепутать, пользуясь одним и тем же словом «мир», то попадешь в беду! Слепец так легко мешает красоту и безобразие!

Дорогая Ида, моя нечаянная радость и великая моя печаль.

Нет нужды говорить о том, что я тяжело скорблю, не видя, не слыша Вас и не имея возможность высказать многое, о чем надо сказать другу; еще более скорблю о Вас, что Ваша душа, близкая и дорогая мне, вышла в эту нехорошую полосу духовного безразличия. Так давно, давно я не вижу Вас, и не могу сказать с Вами слова по-дружески; приходится видеть Вас лишь мимоходом, лишь наторопях, лишь по поводу чего-нибудь, или лишь в сопровождении других лиц! И я опять привык молчать, опять «инцистировался», ибо наторопях и при других все равно не соберешься с мыслями!.. Ну, пусть будет так!

Сделаю Вам маленькую выписку из моего дневника этого года, показавшуюся мне очень характерною по связи.

21 августа / 3 сентября 1922. Александрия.

«Дорогое Солнышко, будем ли мы видеться зимою?» «Но ведь я не знаю, когда можно прийти к тебе с уверенностью, что ты в своей зачерствелой суровости не вздумаешь отвернуться от меня! Один день ты можешь быть мне рада, а в другой я окажусь для тебя в тягость». «Ах, Солнышко, да ведь для этого надо, чтобы я не черствела, не мерзла, чтобы ты приходило, отогревало, мягчило мою жизнь!» (Это беседа земли, которая предчувствует близящуюся осень, с уходящим Солнышком!) ⟨...⟩

30 декабря 1922 — *12 января 1923* *Петроград.*

«Солнышко опять пришло, посветило на остывшую землю — и удивилось, как это все на ней изменилось с тех пор, как оно было здесь последний раз... Да чему же ты удивляешься, дорогое Солнышко?! Ведь без тебя некому было обогреть землю, и жизнь на ней стала быстро облекаться в защитные оболочки, из которых ей надо снова вырваться, чтобы потянуться к твоим лучам!..»

«Человек придумывает себе самооправдания, «экономические истины», которые бы защитили его от жизненного труда, совершенно так же, как низшее животное или растение замыкается в свои цисты и защитные оболочки. Но приходит день, когда человек молит: спасите, спасите меня от моих защитных оболочек, от этих коконов, в которые я себя закрыл!.. Слишком долгое занятие самоутверждением и самозащитою делает из человека инцистированное, исключительно самозамкнутое, принципиально одинокое существо, которое задыхается и не может выбиться к свету из своих так строго очерченных границ!.. Куда деваться от маховских защитных, экономических, энтропических «истин»?..»

«Секрет познания, и любви, и вхождения в Чистую Истину в том, чтобы суметь уйти от самого себя, от самооправдания, от самозащиты, и войти в предмет любви, и познания, и созерцания — ради него самого!»

«Уходи, уходи от своих «истин» самооправдания и самозащиты,— протяни, протяни твои руки к подлинной Истине — Любви, какова она есть вне и выше тебя!»

«6/19 января 1923. Петроград. Истина закрывается от тебя и уходит от тебя оттого, что ты перестал «исчезать в ней душою», исчезать очами в ней, забывать ради нее свое личное самоутверждение. Кому же, как не Истине, почувствовать твою самозамкнутость, твою закрытость для нее? Ведь Истина на то и Истина, что ее нельзя обмануть! Покамест ты в самом деле исчезал в ней ради нее, она была с тобою!..

...Да, Истина подлинная вне меня и более меня! И могу я наслаждаться ее приближением лишь настолько, насколько ради нее разрываю свои самооправдания, свое самоутверждение, свой самозамкнутый покой!..»

«7/20 января 1923. Петроград. Бессознательное самоутверждение начинается с того, что по мере ослабления влечения к блеснувшей, обязывающей и призывающей Правде и Красоте человек начинает возвращаться на свои прежние, привычные, проторенные пути и начинает оправдываться, что это и к лучшему, что труд и напряжение миновали, а возобновилось опять легкое, привычное, простое, ибо мол — такова моя «природа»! Ссылка на «природу», на индивидуальные свойства и т. п., это характерное подыскивание консервативного самооправдания тому, что с пути напряжения и труда люди сошли на путь успокоения и покоя, на путь энтропизма!... Но вот что тут замечательно: настоящее, подлинное, на всю жизнь незабываемое счастье человек переживает лишь в эти напряженные и мучительные моменты подъема и труда, когда он хоть временно выходил из себя и видел то, что выше его! Должно быть, подлинная-то «природа» наша именно в том, чтобы уходить от того, что мы сейчас есть, в то, что выше,— уходить от себя в высшее! «Естество наше делаемое есть». «Человеком нельзя быть, им можно только делаться!» «Тесны врата и узок путь, ведущий в Царство, широки же врата и удобен путь, ведущий в пагубу!»

Но вот еще один из лукавых и тонких видов тайного самоутверждения — говорить красивые слова, красивыми словами заштопать то, что в тебе смутно и неправильно!.. Лучше умолчи и молись почасту, как мытарь: „Боже, милостив буди ми грешному!..“»

Итак, я умолкну. Простите, хороший мой человек, что выписал Вам эти внутренние мои беседы во дни радости и скорби! Но, может быть, не посетуете во имя наших александрийских бесед!

Очень огорчен, что не удалось видеть Вас в прошедшую субботу на 10-й линии.[13] Я как-то странно разошелся с Вами в помещении курсов, оставался там до $5^1/_2$ часов в ожидании осмотра наших комнат администрацией рабфака. Но мне сдается где-то в глубине души, что Вы и не хотели меня видеть. Однако, если бы Солнышко когда-нибудь вспомнило о земле, которую некогда согрело, и пришло посиять на нее, это было бы доброе дело со стороны Солнышка и счастливый день

для земли. Но пусть пришло бы милое Солнышко не в сопровождении других людей, не по деловому поводу — за лягушками, за книгами и т. д.,— а ради того, чтобы земля могла сказать ему свое и услышать от него целящее дружеское слово! Пусть будет, впрочем, так, как лучше для милого Солнышка,— пускай оно сияет «на злыя и благия» там, где велит ему Бог!

Я счастлив уже тем, что знаю Вас. Вы были для меня вполне незаслуженным собеседником, незаслуженным счастием, Божиим даром.

Нынешнее отчуждение Ваше от меня я признаю вполне заслуженным, хоть и больно оно для меня. Только хочу от всей души, чтобы поскорее ушло от Вас безразличие, чтобы засияли Вы людям Вашими правдивыми и милыми глазами! Пускай растет, главное, пускай растет Ваша прекрасная душа, пускай не коконизируется, пускай не инцистируется, пускай поднимается и раскрывается в полноту Авраамовой и Исааковой веры, увенчиваемую их бесконечным потомком Христом!

«Христе, Свете Истины, просвещая и освящая всякого человека, грядущего в мир. Да знаменуется на нас свет лица Твоего, да узрим в нем Свет неприкосновенные ти славы...»

Сегодня была у меня Вера Александровна Россовская. Говорила о Вас с симпатией и просила передать Вам привет.

О том, что Вы не хотите сейчас работать в моей лаборатории, странно и говорить, что я могу «сердиться». Как же тут сердиться? Рад и тому, что подаете надежду работать в будущем. Это уж такая, должно быть, моя «планида», что мне суждено питаться все надеждами! Так повелось с осени. Приходится признать, что помощников и сотрудников у меня нет. «Морализировать» тут нечего, ибо мораль и «морализирование» начинаются обыкновенно там, где уже кончено и потеряно живое дело любви! Где нить уже оборвалась, начинаются запоздалые по своему существу ламентации на тему: надо вот так, должно быть вот этак и т. п. И я думаю, что морализирование — дело вообще жалкое, скучное и ни гроша не стоящее! Огорчен я, конечно, очень сильно; но это вряд ли для кого-нибудь важно! Буду счастлив видеть Вас во всякое время, когда Вы придете согреть горячо преданного Вам, ждущего Вас

А. Ухтомского.

20 янв. 1923.
Петроград.

Если бы Вы были так милы и милостивы, что в самом деле собрались бы ко мне, то предупредите меня заранее, когда придете. Прошу об этом очень! Пришлите открытку! Для меня верней всего было бы в понедельники вечером. Простите, радость моя!

Дорогая Ида,

на случай, если Вы пожелали бы быть на докладе о Вашей летней работе, сообщаю, что доклад будет сделан в отделении зоологии и физиологии Петроградского Общества естествоиспытателей в этот четверг 19 апреля в 7 час. вечера [14]. Повестку прилагаю.

Примите мое приветствие с днем Вашего двадцатилетия, которое исполнилось или исполнится в эти пасхальные дни. Дай Бог Вам света, счастия и необманной радости. Буду счастлив, зная, что Вы счастливы.

Проходя по университетскому коридору, случайно прочел в одном объявлении, что Вы освобождены от платы за учение в 22/23 академическом году. Если Вы об этом еще не знаете, я рад сообщить Вам эту весть.

Ваш преданный

А. Ухтомский.

15 апр. 1923.
Петроград.

Дорогая Ида,

я очень прошу извинить меня, что долго не исполнял Вашу просьбу относительно передачи доклада о сенсорной и моторной доминанте. Мне надо было сделать перечень использованной литературы, и на это ушло после доклада несколько дней! А с следующего затем понедельника я заболел какой-то инфекцией, пролежал в постели до сегодня (до субботы 28 апр.), и только теперь могу отправить Вам копию с доклада, читанного 19 апреля.

Теперь надлежит сделать экстракт (резюме) для перевода на один из иностранных языков, и Вы облегчили бы меня, если бы исполнили эту работу. Хорошо было бы, чтобы экстракт, охватывая все существенное, не превысил 5—7 страниц, напечатанных машинкою того формата, который я посылаю! Конечно, если не хотите, я сделаю это сам.

Я спросил Вас, «довольны ли Вы моими докладами», не для того, чтобы получить от Вас «благодарность», но чтобы знать по существу Ваше впечатление и от моего доклада и от доклада Вашей работы. Теперь, перечитав со вниманием изложение этой последней, Вы сможете дать обстоятельный ответ. Вы не охотница писать письма. Но все-таки, быть может, взяли бы на себя труд написать мне свое искреннее впечатление?

Я был бы очень доволен, если бы Вы сделали свои подробные замечания и переделки в посылаемой копии и возвратили мне эту копию с указаниями, скажем, недели через полторы. К тому же времени исполнили бы и экстракт! Все это Вы могли бы занести в лабораторию мимоходом из качественного анализа в какой-нибудь внелекционный день. Но усердно прошу не оставлять в лаборатории бумаги на служителей,— их следует передать с рук на руки, с предупреждением о важности их Ник. Петр. Резвякову [15] или Мих. Ив. Виноградову. [16]

Остающуюся пока у меня Вашу книжку с протоколами перешлю Вам в близком будущем. Так хорошо, что мы писали подробно протоколы — по ним можно было оттенить многие важные детали, которые иначе прошли бы даром.

Простите! Всего Вам лучшего. Не посетуйте на нескладное письмо, голова у меня еще не в порядке, и пишу я с трудом.

Ваш А. Ухтомский.

15/23 апр. 1923. Петроград.

Отправляю Вам с великою благодарностью бутылку, в которой Вы когда-то приносили мне молока. Она была засунута Ольгой Николаевной [17] и найдена мною лишь случайно на днях!

Дорогая Ида,

я не совсем отдаю себе отчет, зачем нужно было меня «надуть» касательно понедельника! Я очень Вас ожидал сдуру! Не подумайте, однако, что я претендую,— я очень Вам благодарен и за то, что вспомнили меня в субботу.

Ныне же пишу по следующей причине. Ко мне пристают павловцы, чтобы я доложил им на физиологических Беседах [18] о Доминанте и связанных с нею

работах. Я пока чувствую себя слишком скверно и слабо, чтобы взять на себя какие-нибудь обязательства и обещания. Я ответил пока лишь принципиальной готовностью сделать им доклад и повторить доклад Вашей работы. При этом мне хотелось бы, чтобы доклад Вашей работы был сделан Вами. Дело, конечно, не в перечитывании вновь того, что читано мною в Обществе Естествоиспытателей. Вы, я надеюсь, взяли бы на себя не без удовольствия самостоятельную переработку материала. А после работы сокращения и конденсирования доклада для иностранного резюме, это было бы и нетрудно.

Дело это не спешное, время есть. Так подумайте и возьмите на себя этот труд, во всяком случае, полезный для Вас.

Преданный Вам А. Ухтомский.

20 апреля / 3 мая 1923.

Мне более чем досадно, что дело не двигается с другими темами о Доминантах, но что же тут я мог бы сделать?

Дорогая Ида,

Вы говорили мне и М. И. Виноградову, что имеете в виду работать в Александрии этим летом. Вы знаете, что со своей стороны я очень радовался бы, если бы Вы исполнили Ваше желание. Я хочу сообщить Вам о наших текущих александрийских делах и о материальной обстановке, какую могу предложить Вам.

В нижнем жилом доме Александрии, где мы работали в прошлом году, нам оставлено до 1 октября всего лишь две комнаты внизу, притом вместе с химиками (Валентиной Васильевной и Верой Федоровной). Химики занимаются своей перегонкой эфирных масел и смол из хвои, а в нашем распоряжении — два стола, на которых работают трое: две новых работницы, которых я пока еще не успел узнать, и М. М. Бирштейн [19]. На столе М. М-ны есть свободное место, которое Вы могли бы использовать.

Что касается жилья для Вас, то в домиках Александрии ничего предложить Вам не могу. Происки Дерюги-

на[20] в мое отсутствие сделали то, что студенческий корпус у нас отнят; возможно было получить всего одну комнату в Учебном домике, т. е. в известном Вам флигеле Костычева[21]. Но М. И. Виноградов без меня успел поместить там двух новых работниц, и больше туда не устроишься. Можно Вам предложить помещение вне ограды Александрии, очень близко от ее ворот в Знаменке, в том доме, где живет М. М. Бирштейн. Там есть свободная комната наверху, вполне удобная, по словам М. М-ны. От лаборатории мы имеем возможность дать Вам 300 миллионов в месяц на наем комнаты.

Вот, стало быть, условия жизни и работы в настоящем году! Как видите, они жалки по сравнению с тем, что у нас было прошлым летом. Но при желании дело делать можно. По опыту прошлого лета, Вы успели бы закончить тему о «доминанте-истериозисе» за остающиеся недели сезона.

Я очень просил бы Вас поскорее сообщить мне, будете ли работать, дабы я мог, не теряя остающихся драгоценных дней, свезти в Александрию то, что Вам будет нужно. Надо также поскорее решить, занимать ли для Вас комнату в Знаменке.

Что касается меня, я выпущен из тюрьмы две недели тому назад.[22] О своем будущем ничего твердого не знаю и сказать не могу: будут ли последствия всей этой истории, и какие,— пока не видно. И тем сильнее хотелось бы мне, чтобы начатая Вами у меня тема была Вами закончена, пока я могу это видеть и знать.

Ужасно рад был бы Вас увидеть или, по крайней мере, получить от Вас весточку. Должен, однако, предупредить, что мою переписку перехватывают,— с момента ареста в мае и до сих пор ни одного письма до меня не дошло. Поэтому посылайте не на мое имя, а по такому адресу: «Вас. Остр., 16 линия, д. № 29, Никифору Ивановичу Лачугову (х)». Последний знак (х) будет условным,— будет значить, что письмо с передачей мне. Можно также посылать в Петергоф: «Естественно-научный Институт в Александрии, Марии Мироновне Бирштейн (х)». Условный знак тот же.

Я предполагаю ездить в Александрию еженедельно на несколько дней. Понедельники и вторники, во всяком случае, буду бывать в Петрограде. В эти дни между 12-ю и 2-мя буду бывать в Университете, в лаборатории. Если бы Вы собрались навестить меня, то в те же дни

утром до 12-ти или вечером после 5-ти я мог бы встретить Вас у себя на прежней квартире.

Ну, простите пока. Всего Вам хорошего.

Ваш А. Ухтомский.

13 августа 1923.
Петроград.

Дорогая Ида,

сегодня утром я получил Ваше письмо и хочу, до отъезда в Петергоф, Вам ответить.

Из тона моего предыдущего письма Вы заметили, я думаю, что я не очень настойчиво звал Вас в Александрию; это оттого, что обстановка работы этого года была бы, пожалуй, не совсем приятна и легка для Вас.

Со своей стороны, я должен был предложить Вам Александрию, так как Вы думали туда поехать. Но я описал Вам наши нынешние, далеко не блестящие условия.

Таким образом, не тяготитесь мыслью, что огорчили меня, отказавшись от работы! Огорчен я очень только тем, что долго не буду Вас видеть и не придется мне отдохнуть душою в беседе с Вами!.. Набирайтесь силами и энергией для окончания Университета. С радостью помог бы Вам, если бы нашел какую-либо возможность! Дипломная работа у Вас готова,— это работа прошлого лета. Она, по словам Словцова, уже набирается в печать.

Что касается меня и моих дел, то ничего определенного о своей судьбе не знаю. Документы и переписку все еще держат. При желании могут, конечно, состряпать какое угодно дело о «контрреволюции», благо это такое удобное понятие по своей растяжимости и неопределенности. Ведь вот Эренбург в своем прелестном «Хулио Хуренито» с достаточною логичностью обвиняет сферы в контрреволюции за то, что они до сих пор не уничтожили и, как видно, не хотят уничтожить искусство, творчество и понятие свободы! Так что о себе могу лишь повторить Ваше слово: «Хорошо, что хоть на свободе!» Но, может быть, такая неопределенность судьбы имеет свои хорошие стороны? Она настраивает человека в более мужественных тонах! Человек, уверенный в себе и в своем положении, так легко становится невыносимым животным! Конечно, для научной работы неопределенность очень мешает, ибо не дает

мысли спокойно отдаться одному, определенному делу. Так много было у меня научных замыслов на лето весною; так бессмысленно провелось лето; и так близка опять зимняя толчея с лекциями, разными заседаниями и минимумами! Остающиеся свободные недели буду экспериментировать с моими тремя специалистами. Пожелайте нам успеха, чтобы наклюнулись искомые плоды от труда!

Отрадного у меня лично мало,— живу серо и безразлично, как сера, тускла и безразлична Александрия нынешнего лета, грезящая старыми воспоминаниями, залитая лужами среди мокрых деревьев и тоскливо ожидающая солнышка, которое едва напоминает о себе из-за нависших по-осеннему облаков, бесконечных, однообразных облаков... В Вашей прошлогодней тетрадочке есть рисунок от 22 сентября с припискою: «холодно, сумрачно». Вот это настроение и царит во мне и в нашем прошлогоднем пепелище!

Впрочем, Александрия шлет Вам свой сердечный привет,— такой теплый, насколько только она может в своем холоде и сумраке. Милая Вера Федоровна (Григорьева) Вас часто вспоминает и любит. Она, бедная, очень нервничает и невыносимо ненавистничает против евреев, впрочем постоянно оговариваясь: «Кроме Иды». Я ее убеждаю, что подобное «исключение» для Вас только оскорбительно, и прошу, чтобы она хоть «в память Иды» выбросила свое ненавистничество к людям, безобразящее душу. Мои убеждения иногда как будто начинают действовать; но потом, расстроившись, бедняга начинает все сначала!

К 1-му октября мы должны очистить последние помещения в Нижнем домике, переходящие, благодаря Дерюгину, в распоряжение Психотерапевтической дачи, которая занимает пока лишь верх. Таким образом, Александрии у нас более не будет, о чем я, впрочем, более и не печалюсь. С будущего лета ликвидирую свои петергофские дела, хотя, может быть, меня самого ликвидируют до тех пор.

Ну, пора, простите, милый мой друг. Если можно, не забывайте Вашего преданного

А. Ухтомского.

P. S. Был бы рад, если бы пришла Вам мысль еще написать мне. Если по Вашем возвращении из Саблина

выберутся солнечные деньки, приезжайте в самом деле в Александрию помянуть старые дни!

8/21 августа 1923.
Петроград.

Мой дорогой друг Ида,

ко всем моим горям прибавилось большое горе, что мой несчастный экзамен принес Вам такое огорчение. Вчера я узнал, что в Петропрофобре собираются уничтожить физиологический склон для новых студентов, что лишит нашу кафедру притока новых учеников и специалистов. Сыплются все новые незадачи на мою голову. А в довершение их Ваше огорчение от моего экзамена! Теперь я начинаю бояться, что Вы, пожалуй, еще больше огорчитесь, узнав, что я зачел Вам экзамен по Введению в физиологию. Передо мной стоят Ваши глаза, наполненные слезами, а я чувствую, что Вы замахаете руками, услышав, что экзамен все-таки зачтен.

Но я хочу сказать Вам, что сделал это не по «снисхождению», а по чистой совести и справедливости на следующих основаниях.

Я знаю своих специалистов, насколько они работали и что в общем усвоили по физиологии, а тем более знаю свою ближайшую сотрудницу.

В экзамене надо видеть две стороны. Во-первых, формальную (очень противную!), которая имеет в виду тот обязательный минимум осведомленности в предмете, без которого нельзя назвать человека знакомым с соответствующей дисциплиной — ее главными факторами и основными понятиями. Во-вторых, в экзамене можно видеть более содержательную сторону научного собеседования, когда дело идет о свободном рассуждении на те или иные темы данной дисциплины, дабы видеть, насколько человек владеет усвоенными понятиями и самостоятельно мыслит ими.

С первой стороны я всех своих работников знаю ранее всякого экзамена и, как я и говорил Марии Мироновне, дал бы зачет всякому из них без дальнейших разговоров, чтобы не мучить излишней формальностью людей, замученных аналогичными формальностями по другим «скачкам с препятствиями». Я зачитываю Вам сейчас Введение, поскольку дело идет об очередном «препятствии», как зачел бы его и всем прочим моим работникам.

Со второй стороны, с работниками своими, да еще с любимым сотрудником, мне, естественно, хочется не ограничиваться формальной и обязательной частью в любимом нами предмете, который нас связывает; хочется поговорить по существу. Я и задал Вам вопрос на более или менее самостоятельное рассуждение, материал для которого у Вас есть в известных Вам фактах. Дело шло не о формальном «отрапортовании от сих и до сих» по книжечке, а о товарищеском обсуждении вместе со мной знаменитой гельмгольцевской [23] темы, обычно не освещаемой в учебниках. К тому же Вы слышали от меня на лекции прошлой осенью, как развивался этот вопрос в науке и как он завершился знаменитыми опытами Этуотерса [24] в грандиозных размерах на счет правительства Соединенных Штатов. Если бы Вы, со своей стороны, не отнеслись к моему вопросу чисто формально, с точки зрения простого экзаменационного самолюбия, то принесли бы мне большое удовольствие, а себе пользу,— осветив для своей мысли лишний раз логический смысл, содержащий и радость разрешения важной проблемы.

Вы слишком нервно настроены, слишком неспокойны душою,— оттого и кончилась моя беседа с Вами, и без того такая редкая, так неожиданно!

Пусть не тяготеет над Вами мысль о скачке через мой предмет. Формально он выполнен по чистой совести. Что же касается существа дела, то я все же не теряю надежды увидеть и услышать Вас не в тяготящей обстановке обязательства, а радостною и мыслящею вслух вместе со мною, как бывало когда-то в счастливое время. Если Вам захочется самой для себя исправить этот несчастный экзамен не в порядке обязательства, а в порядке беседы, то я всегда к Вашим услугам.

В пятницу 14 сент. я нарочно приезжал из Александрии и поджидал Вас, думая, что Вы побываете, как хотели.

Занесите, пожалуйста, в ближайшие дни Ваш матрикул для записи отметки. Покажите мне Ваши глаза более веселыми и ясными!

Ваш А. Ухтомский.

18 сент. 1923.
Петроград.

Дорогой мой далекий друг Ида,
где-то Вы сейчас и что с Вами? Так мне захотелось поговорить с Вами, мое милое деревцо, около которого я когда-то отдыхал душою и так радовался! Так позвольте же поговорить с Вами хоть заочно, не поскучайте на моем писании!

Сегодня ровно год с того дня, как Вы были у меня, трудились у окошек и так мило пели, пока я сидел у себя в кабинете. Помню, как я спросил Вас, будем ли мы опять читать вместе когда-нибудь по-александрийски, а Вы, остановившись в своей работе у окошка, сказали с такой уверенностью: «Да, я убеждена, что будем...» Вам как будто странно было мое сомнение, ибо я знаю по старому опыту, что прекрасное бывает редко, ненадолго, и дается людям скупо! Пробежали прекрасные, горячие, солнечные дни прошлогодней Александрии, и их нет. Слава Богу за них! Для меня это был подарок на всю жизнь, такой незаслуженный, такой необыкновенный...

Но вот для меня еще огорчение. Вашу милую прошлогоднюю работу разрушили мои непрошеные радетели, очищавшие мою квартиру после моего заключения! Я застал разрушительную работу по раскупорке окон в столовой на полном ходу и уже не мог прекратить разрушения. Сохранил лишь окно в кабинете, как памятку. Если бы люди знали только, какое горе они принесли мне этими «очистками»! А надо было благодарить за любезность...

Говорят, что именно сегодня решается в Петропрофобре пересматриваемое дело о моем оставлении или неоставлении в Университете. Так наболело на душе все это. Стал я деревянным от этих переживаний. Иногда очень больно. В другое время царит безразличие. Какое-либо дело не идет на ум. Забываюсь только за чтением лекций,— видя внимательные лица, узнающие новое и соображающие то, что слышат в первый раз. Это ужасно приятно, бодрит и радует. А вот и это хотят отнять! Именно это, последнее!

Я узнал от человека, видевшего наше дело, что отстранение от преподавания мотивируется так: я не годен «по политическим причинам», Тур [25] «по научной бездеятельности», а Пэрна [26] — «как мистик». Сегодня я ходил к Пэрна и застал его в крайне тяжелом состоянии. Он лежит; жалуется, что правое легкое совершенно не работает после весеннего кровоизлияния в плевру;

говорит хрипло, с трудом и с одышкою. Рука не поднимается рассказать ему о положении вещей. Со своей стороны, я делаю что могу — прошу ходатайствовать о нем, чтобы ему дали умереть преподавателем Университета. Ведь он и так не задержит за собою места более чем на год!

И ведь все это, как я узнал, возбуждено исключительно господином Кшишковским [27] из его личных соображений, из желания всеми неправдами втиснуться в Университет. Сами коммунисты относятся к этому господину очень пренебрежительно и неуважительно. И все-таки он успевает в своих интригах, столь типичных для мелкого полячка! Ну, Бог с ним! Мое глубокое убеждение в том, что ничто в человеческой жизни не делается без смысла, во всем, что с нами происходит, мы сами скрытые участники и виновники, хоть и долго не можем этого заметить и понять. Конечно, смысл этого может быть и очень тяжел для нас! Древний царь увидел, как таинственная рука писала на стене таинственные слова. Рука вычертила три слова: «мене, текел, перес». Оказалось, что это значило: взвесил, нашел легким, отбросил. Так вот и Жизнь постоянно взвешивает нас,— испытывает, достаточно ли мы полновесны, и выдувает то, что оказывается легким прахом и пылью, оставляя лишь полноценные зерна, обещающие дать росток!

Мой дорогой друг! Я не могу и не хочу думать, что нелепая прошлая зима и такой неудачный год выдул то, что завязалось так прекрасно летом прошлого года! Я хочу, чтобы добрый ветер, знающий свое дело, выветрил м е н я, если я того стою, но не тронул бы м о е г о д о р о г о г о, того полноценного и большого, что я чувствовал с Вами в те недолгие дни, когда я чувствовал Вас так близко с собою у одного и того же Солнышка, которому мы радовались. Радовались мы блесткам живой и пребывающей Истины, которая прекрасна и в самом деле дана нам не как подушка, на которой могла бы успокоиться наша голова, но как обязательство и завет для предстоящей жизни. Людям ужасно хочется устроить себе Истину так, чтобы на ней можно было покоиться, чтобы она была удобна и портативна! А она — живая, прекрасная, самобытная Жизнь, часто мучительная и неожиданная, все уходящая вперед и вперед от жадных человеческих вожделений и увлекающая человека за собою! Не для наслаждения и не для покоя

человеческого она дана и существует, а для того, чтобы влечь человека за собою и отрывать его от привычной и покойной обстановки к тому, что выше и впереди! Не ее *приходится* стаскивать вниз до себя, а себя *предстоит* дотянуть и поднять до нее! Это все равно как любимое человеческое лицо, которое дано тебе в жизни, самобытное и обязывающее. Человек хочет понять это лицо по-своему, успокоительно и портативно для своих небольших сил и своей ленивой инертности. Но достоин он лица, которое любит, лишь тогда, когда забыл себя и свое понимание, свой покой и инертность, и когда идет за любимым и силится принять его таким, каков он есть в своей живой самобытности!

Ваши великие сородичи, еврейские пророки, понимали *Истину как прекрасное, самобытное*, ревнивое и любимое и любящее лицо, наподобие любимого человеческого лица. Они понимали, что надо идти за ним, уходить от себя ради него, перерастать себя, если в самом деле хочешь быть достойным его. Это — радикальная противоположность нашей европейской популярной мысли, что истина есть удобное для меня экономическое построение моих абстракций, на котором я мог бы наилучшим образом успокоиться и «приспособиться». Популярный европейский мыслитель склонен думать, что он призван «ассимилировать» истину себе, по себе и для себя. Еврейский пророк сознавал, что надлежит человеку «ассимилировать себя» истине, поднять себя до нее.

Вот так чуткая женская душа болезненно и ревниво опасается того, что человек, зовущий ее, перетолковывает ее по себе и для себя вместо того, чтобы видеть, какова она есть в своей самобытности! Для себя ли и для своего покоя ищешь ты меня; или в самом деле я тебе дорога в моей самобытности?

Посмотрите, какое замечательное и говорящее само за себя обстоятельство. Популярная европейская мысль, убежденная в том, что призвана строить истину для себя и по своим интересам, кончает тем, что приходит к отрицанию возможности знать кого-либо, кроме своей эгоцентрической личности; нельзя знать другого, нельзя понимать друга; неизбежен принципиальный солипсизм.

Напротив, здоровый и любящий человеческий дух начинает с того, что знает друга и ничем более не интересуется, кроме знания друга, другого, весь устремлен от себя к другому; и он кончает тем, что Истина понима-

ется как самобытное и живое существование. Тут логические циклы, неизбежно приходящие к противоположным концам, ибо различны начала!

Так я могу сказать, что радостное и солнечное в прошлогодней Александрии было для меня в том, что я учувствовал в Вас другого, самобытного, мог его назвать другом,— самым близким мне и в то же время другим,— и тогда вместе с Вами, с другом, стал ощущать красоту и самобытность греющего нас Солнышка — той Истины и Жизни, которая дает смысл жизни и Вашей, и моей, и наших братьев. Вот это — счастие, настоящее счастие, которое тогда нас радовало: счастие не эгоцентрическое, но общее с ощущаемым близким человеком и людьми, не мое, а общее с любимым и любимыми. И тут хочется и нужно, чтобы меня и моего не было, а было бы общее. Ведь человек на самом деле счастлив только тогда, когда «моего», «своего», эгоцентрического у него нет!

Я инстинктивно страшно боялся «моего», «своего», эгоцентрического в отношении Вас, ибо чувствовал, что оно разрушит мое благоговейное счастие около Вас!

Но повторяю, что мне надо быть уверенным,— помогите мне в этой уверенности,— что если добрый ветер выветрит, как слишком легкое и неполноценное, мое личное и меня самого, то останется и сохранится для Вас то прекрасное и живое, что радовало нас с Вами в часы общения прошлым летом. Мне легче будет дальше жить, если я буду в этом уверен. А без этого будет темно и больно!

Вы скажете: какое странное письмо! Но это не письмо, а мой бред. Так и примите как мой бред! Когда-то у нас в Корпусе был любимый учитель А. И. Кильчевский, милый и мудрый старик, воспитывавший нас и нашу мысль на Аристотеле. Уроки его были совсем особенные: не было задаваний и формальных опросов. Он приходил в зимние утренние часы и, в полутемном классе, начинал, как он сам выражался, «бредить», поднимая вопросы логики, эстетики и литературы. Ну, так позвольте мне вспомнить эту мою старину и побредить перед Вами в эти часы, когда, может быть, решается для меня тяжелый вопрос о моей дальнейшей судьбе.

Примите снисходительно этот бред, как посвящение Вам в большие часы моей жизни.

Тогда, в Александрии, я мог бы бредить тем, что меня наполняет, при Вас и в Вашем присутствии. Теперь позвольте это хоть на бумаге.

9 октября (26 сент.) 1923.

Осталось еще место от написанного вчера. Буду говорить еще,— это Вы позволите мне, потому что я теперь не злоупотребляю Вашим вниманием.

Как-то весною этого года Вы зашли в нашу лабораторию, чтобы занести мой английский словарь. Мимоходом Вы сказали тогда, что моя статья о Доминанте не может быть напечатана в том виде, как я ее докладывал в Обществе естествоиспытателей. Сказали Вы это очень утвердительно, и это оставило во мне твердое впечатление. Но я так и не понял, почему Вы это сказали и почему Вы так думаете. Мне жаль, что Вы не сочли нужным сказать мне поподробнее Вашу мысль, хотя, как видно, у Вас было важное основание. Может быть, Вы скажете мне это? Я очень давно вынашивал в себе идею Доминанты, она росла постепенно. Печатаю же я чрезвычайно мало из того, что думаю. Надо было наконец высказаться, тем более что аналогичные мысли стали рождаться у других физиологов из других данных и из других точек зрения [28]. Вашему чутью я очень верю. И тем более на меня подействовало Ваше слово. Отчего Вы не высказали мне свою мысль поподробнее? Скажете ли Вы мне ее?

Кстати, позвольте мне рассказать Вам, что у меня записалось по возвращении домой в тот вечер, когда Вы приезжали в августе в Александрию и когда мне, в сущности, так и не удалось Вас видеть. Под тогдашними оборванными впечатлениями, поздно ночью я стал ловить то, что проносилось в моей взбаламученной душе, подобно разорванным осенним облакам. Вот что я уловил.

Психологи и теоретики познания ищут ответа, что является для человека последнею данностью опыта, последнею реальностью. Стали думать, что это ощущения. Это убеждение господствует и у физиологов. Наиболее последовательно его развил Э. Мах. Однако ясно из самоанализа, что когда мы говорим о своем р е а л ь н о м о п ы т е, т. е. о д е й с т в и т е л ь н о с т и, к а к о ю м ы з н а е м е е и з н а ш е г о о п ы т а, мы имеем в виду совсем не ощущения, а цельные вещи, предметы, лица, события, огорчения,

радости, целые сложные переживания. Они-то и занимают нас, как непререкаемые данности, которых мы не можем изменить, как бы мы ни хотели того. Стало быть, действительными реальностями являются для нас цельные «интегралы опыта», тогда как ощущения оказываются при внимательном рассмотрении всего лишь искусственными элементами данности, отдробляемыми нашей мыслью, своего рода дифференциалами действительности, которые мы допускаем ради удобства анализа. Интегралы опыта — это то, во что отлилась совокупность впечатлений, приуроченных к определенной Доминанте, которую мы пережили со всею ее историею для нас. Например, моя покойная тетя для меня — сложный и непререкаемый интегральный образ, в который входят все впечатления моего детства, ранней юности, моей любви к ней, моих грехов против нее, моих тревог за нее в ее болезни, моего расставания с нею при ее кончине, всех моих действий по поводу ее лица. Для самого себя я тоже интегральный образ, о котором я могу иметь впечатления и суждения, хотя бы и скудные. Когда в данный момент моей жизни, такой оскуделой содержанием, меня спрашивают, что я могу сказать о себе, как я себя чувствую, я могу сказать лишь то, что все еще продолжается кусок жизни, который называется «Алексеем Алексеевичем». «Мне все еще живется». Ничего более сказать о себе, особенно после выхода из тюрьмы, я не могу. «Я еще тянусь, еще не прервался...» Спрашивается теперь, каким интегралом оказываюсь я для других людей? Как интегрируется для других мой образ и мое существование?

Для других это интеграл опыта — совокупность впечатлений, воспоминаний, рефлексов, привычных действий,— задержанных или активных,— которые когда-либо переживались и еще переживаются при моем имени или при встрече со мною. Совокупность эта, постоянно подвижная и изменчивая, имела свою историю в каждом из носителей. Для А это совершенно другое, чем для В. Для С это может быть сложное и большое явление и более целостная реальность, ибо с нею связана более длинная и сложная история переживаний: в разное время тут впечатлимы для С то радостные действия, волнующие мысли, то поток недоумения и разочарования. Для Д законченным интегралом является, пожалуй, лишь весь прошлый пейзаж, в который Алексей Алексеевич входил только как фрагмент. Наконец,

Е вглядывается в меня совсем новыми глазами, и выражение их говорит, как я проинтегрировался для Е к данному моменту... Человек смотрит на тебя так, каковы его воспитанные рефлексы на тебя, т. е. какова его история взаимоотношений с тобою. Но вот однажды ты становишься законченным для человека, так сказать, «решенным интегралом», в отношении которого установились постоянные переживания, постоянное поведение. С этого момента ты для человека объективировался: кончились в отношении тебя субъективные изменения и переинтеграции, т. е. пробы, приближения и т. п.— ты стал постоянным, о чем можно говорить как о законченном логичном подлежащем. И тогда ты знаешь, что тут ничего нельзя больше переменить, ибо наступило объективное. Субъективное продолжается лишь до тех пор, пока еще ждут чего-то от тебя, еще ты не установился для человека, еще переинтегрируешься для его сознания, пока еще не «решен» для него... Ты был интегралом, которого искали, ждали, к которому шли навстречу. Потом ты стал интегралом, которого боялись и избегали. Затем стал таким интегралом, от которого уходят и которого не желают более видеть. Вот тогда ты стал окончательно объективным, т. е. вполне приспособленным для однозначного употребления в жизни и речи.

Установившиеся раз навсегда подлежащие, постоянные и неподвижные, это ведь и считается идеалом науки о реальности,— идеалом объективизма. В действительности это всего лишь успокоенные понятия, приспособленные к тому, чтобы не приходилось постоянно их переинтегрировать; или переинтегрировать лишь от времени до времени через длинные периоды истории. Сравните те толчки мысли, которыми переинтегрировались в истории науки такие понятия, как «масса», «живая сила», «работа», «инерция»!

То, что внутри человека слагается как интеграция опыта, со внешней стороны есть переживание Доминанты.

Ну вот, на этом кончается моя запись тогда ночью 29—30 (16—17) августа. Почему я написал теперь Вам все это? Да потому, что все-таки Вы тут участница, и еще раз именно Вы подняли в моей душе новые мысли, дали осветиться новым перспективам. Найду ли я время и силы для того, чтобы развить все это в строго мотивированную научную форму, понятную для других?

Но я знаю, что именно здесь должен быть преодолен существующий провал между физиологией и психологией!

Давно уж я пришел к этому понятию «интегралов опыта» как последних данностей нашей мысли. С другой стороны, выяснилось мне принципиальное значение Доминанты в формировании мозговых актов. Но до поры-то до времени оба ряда фактов оставались для меня раздельными. Теперь вдруг они для меня связались неразрывною связью, как подоплека (изнанка) и наружная поверхность одной и той же деятельности!

10—11 окт. 1923.

Какое наказание я Вам доставляю! Все пишу и пишу. Это за то, что Вы мне не показываетесь, отучили говорить с Вами, а потребность говорить Вам во мне неиссякающая! Сейчас пришел с лекций на рабфаке, и опять хочется говорить с моим незаслуженным собеседником, этим бесконечным интегралом, никогда не решающимся, каким Вы являетесь для меня. Я чувствую, мое сокровище, что я для Вас источник недоумения,— оттого Вы и перестали говорить со мной. Недоумение мучительно. Но у меня-то живая потребность говорить Вам о том, чем я живу,— передать Вам то хорошее, что еще осталось у меня. Когда заглохнет во мне жизнь, тогда я сам заглохну, перестану говорить с Вами.

Все это время я живу под ожиданием каких-нибудь новых ударов и неприятностей. Они нависли как тяжелые осенние тучи. Когда встречаю знакомого, то, по успевшей уже сложиться привычке, тревожусь, не принес ли он чего-нибудь нового, неожиданно тяжелого. Вот это начатки того, что в развившейся форме становится «бредом преследования». Я по природе очень крепок и здоров,— оттого не поддаюсь духу недоверчивости к людям; до сих пор подхожу к ним открыто и доверчиво. Но когда общий колорит жизни под постоянным ожиданием неприятностей и новых ударов сгущается, когда вдобавок возникает дух принципиальной недоверчивости к встречаемым людям, тут и начинается то боление человеческой души, которое так типично для всевозможных расстройств мозговой жизни и носит название «бреда преследования». Мы мало вникаем в весь ужас, охватывающий душу человеческую в этом состоянии! Евангелие предвидит, что в страшные времена окончательного боления человечества перед разре-

шением исторического процесса «люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную» (Ев. от Луки, 21, 26). И все это человеческое бедствие будет оттого, что «по причинам умножения беззакония во многих иссякнет любовь» (Ев. от Матфея, 24, 12). Конечно, если мир кончится и оскудеет его raison d'être, то не оттого, что он охладеет, увлекаясь к «максимуму энтропии», а оттого, что иссякнет в нем любовь, не окажется больше способности любить!

Погруженный исключительно в себя самого, совершенно одинокий, не ожидающий от окружающего ничего, кроме новых мерзостей, постоянно задерганный новыми ожиданиями бедствий, солипсический человек уже сейчас настоящий мученик ада, сам диавол! И некуда ему деваться, в особенности от самого себя! У него разве только тот единственный выход, чтобы, замыкаясь все более и более в самого себя, дойти до гордынного бреда своего величия! Так роковым образом в душе сумасшедшего бред преследования переходит в бред величия! Осудив все и все прокляв, несчастный «единственный» оправдывает только себя самого; и это — уже последняя вершина безумия... Так вот, это «болезненное» гораздо ближе к нам, так называемым «здоровым», чем мы думаем! Если только человек в текущих тяжестях жизни замкнется в себе, потеряет спасительный светоч любви, он быстро скатится сначала до бреда преследования, до замкнутого в себе всеобсуждения, до бреда величия! Спасение здесь исключительно в любви, в одной только ней, открывающей человеку, что центр жизни не в нем, а в человеческих лицах и лице вне его! Так что, когда все оскудеет и все пройдет, останется любовь, и она искупит и исцелит все! «Любовь никогда не перестанет, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится! Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится» (I Коринф., 13, 8—10).

Так вот, дай Бог нам всем сохранить любовь. Без нее мы сами себе невыносимы!

30 сент. (13 окт.) 1923.

Писал, писал я все это Вам, а теперь меня одолевает сомнение, уж посылать ли это писание по назначению! Может быть, Вам будет неинтересно мое переживание,

потому что Вы живете теперь совсем другою жизнию, другими интересами, чем та моя Ида, которую я помню... Но писано все-таки для Вас,— поэтому все-таки пошлю. Не теперь, так потом прочтете и побудете в моих мыслях! Та Ида да будет всегда, всегда жива в Вас, пусть растет, крепнет, входит в радость Правды! Когда-нибудь я еще встречусь с нею, если Бог будет ко мне милостив!

Дни уходят так быстро; события и обстоятельства сменяются так неудержимо; и я не знаю, придется ли мне опять перекинуться с Вами словом, о чем я мечтал и сидя в тюрьме, и скитаясь по выходе из нее. На стене общей камеры на Гороховой кем-то написано: «И это пройдет». Да, быстро все проходит; и мы сами утекаем, как вода из-под плотины! Проходит и тяжелое и прекрасное! «Дважды не ступить нам в один и тот же поток, ибо все новые и новые воды приливают в него... Все течет...» — вот древнее слово Гераклита Эфесского!

Так позвольте рассказать Вам для окончания моей беседы одну древнюю полуисторию, полупритчу, которая поясняет, как трудно подчас человеку быть не одинокому и подлинно ощутить, что в мире есть еще другие, ему подобные, такие же! Всю жизнь может прожить человек и не учувствовать л и ц человеческих вокруг себя, и видеть вокруг себя одни только в е щ и. Но однажды учувствовав л и ц о вне себя, человек приобретает нечто совсем новое, переворачивающее в нем всю прежнюю жизнь.

Великий хан Чингиз, поднявший из глубины Азии монгольские племена, организовавший их, в несколько десятков лет завоевал все земли и покорил народы от Тихого океана до Самарканда и Персии. Его войска, страшные и непобедимые, подошли к воротам в Европу. Гениальный организатор, собравший степные орды в несокрушимую силу, был жесток, как непреклонный закон природы: он не чувствовал лица человеческого, а только толпы, подлежащие покорению. Во всяком поселении и городе, который он брал, после всякого выигранного им сражения совершался неумолимый закон: всех мужчин убивали, всех женщин брали в обоз,— молодых как жен, а старых — как рабынь. Кто из воинов или полководцев Чингиза отступал от этого закона, сам подлежал смерти. Когда сын Чингиза взял Самарканд и пощадил некоторых мужчин, Чингиз не задумался приговорить его к смерти. Чингиз не знал жалости, колебания, милости и сомнения, ибо не знал человеческих лиц, равных

себе, никогда не чувствовал человека в этих толпах, которыми владел и которые побеждал... Но вот был современник у него, другой, тоже столь же непобедимый завоеватель народов, султан Баязид. Подняв турецкие племена, Баязид тоже стучался в ворота Европы, владел Египтом, Палестиной, Сирийским Востоком до Кавказа и Евфрата. Слыша о приближении страшного Чингиза, Баязид выступил навстречу ему. Страшные полчища встретились, двум мировым страшилищам предстояло решить, кому принадлежит мир и кто затопит Европу! Произошло страшное сражение двух почти равных противников. Монголы победили. Страшный Баязид был взят в плен. Его с его военачальниками привели к Чингизу. И тут произошло неожиданное! Чингиз велел приготовить ковер с двумя диванами, накрытыми коврами. На один велел посадить Баязида, на другой сел сам; всем прочим велел выйти. Сидели друг против друга два человека, молча, поджав ноги,— один побежденный, другой победитель! Долго продолжалось гробовое молчание. Наконец Чингиз поднял глаза на Баязида, заплакал и молвил: «Так странна и непрочна судьба человеческая! Вчера — великий повелитель людей, сегодня — поверженный во прах побежденный! Сейчас побежденный и ожидающий своей участи ты; но мог быть им точно так же и я! Так превратна и непрочна человеческая судьба!» Сказав это, Чингиз, который никогда до того не проронил и слезы, позвал людей и велел отпустить Баязида с его полководцами, сказав, что им не тесно в мире обоим, и монголы будут идти своим путем, а турки пусть идут своим. В первый раз за всю жизнь Чингиз отступил от своего закона и отпустил побежденного! Это оттого, что он прослезился! А прослезился оттого, что в первый раз в лице Баязида нашел наконец ч е л о в е к а, равное себе л и ц о, которого не видел ни в ком до тех пор, хоть и владел несметными человеческими толпами...

Вот, значит, как трудно открыть и учувствовать л и ц о вне себя! И, с другой стороны, как переворачивается человек и делается неузнаваемым с того момента, как однажды сделает это открытие, что вне его есть и дан ему человек, такой же самостоятельный, как он, такой же ценный, как он, и такой же единственный, как он, такой же ничем и никем не заменимый, как он.

Л и ц о ведь тем и отличается от в е щ и, что оно ничем и никем не заменимо. Итак, пусть же оно пребы-

вает, пусть будет счастливо, пусть идет своим путем; и да будет благословен его путь!

Предание говорит, что после памятной встречи с Баязидом Чингиз-хан стал другим человеком, задумчивым и грустным, более мягким к окружающим людям; и в этой умудренной задумчивости он умер, унеся с собой нечто более крупное и ценное, чем все завоевания и победные громы, с которыми во время оно он проносился от Тихого океана до Каспия.

Громадный, цельный в своей стихийности Чингиз шел до конца в своем нечувствии человеческого лица вокруг себя, и тогда был бичом Божиим. Но, такой же громадный и цельный, он сразу задумался и стал человеком, как только учуял в поверженном враге, подобном ему самому, великана, такого же человека, как он сам!

Удивительно ли, что маленькие и слабые человечки, которыми переполнены города, могут прожить всю жизнь, зная о лице человеческом только понаслышке, никогда не ощутив, что значит «лицо человеческое»! Они могут даже писать философские книжки, что лица и личной жизни в другом человеке и знать-то вообще нельзя! Это не помешает им, маленьким и слабеньким, творить свои маленькие делишки с их случайными знакомыми и сожителями. Возможно, что они даже возвысятся в своем маленьком сентиментализме до мысли устраивать счастье людское такою «организацией», в которой было бы все учтено, за исключением «лица человеческого»! Нужды нет, что «маленькие недостатки организации» больно ущемляют при этом человеческое лицо, прольют его кровь! Это не будет беспокоить, ибо самое-то лицо человеческое вне меня не почувствовано и не признано! А пока оно реально не почувствовано, есть ведь только в е щ и, но не л и ц а! А с вещами всякое поведение допустимо! Беда только в том, что пока реально не откроет человек равноценного себе человека вне себя, сам он не будет человеком; и пребывает, несмотря на возможный лоск, культурность и науку, все еще антропоидом!

Но с того момента, когда однажды откроется человеку, что значит, что есть вне его равноценное ему л и ц о человека, он сам начнет преображаться в ч е л о в е к а! Все в его жизни и он сам преобразится. И великая Гераклитова истина, что в с е т е ч е т и п р о х о д и т, приобретет совершенно новый смысл: если все безвозвратно проходит, если ни одно мгновение бытия

и жизни никогда не повторится, если проходящий мимо тебя человек дан тебе однажды, чтобы никогда и ничем не замениться и не повториться для тебя,— то какова же *страшная ответственность человека перед каждым моментом жизни, перед каждым соприкосновением с другим человеческим лицом, перед утекающей перед ним драгоценностью бытия!* Каждый момент жизни, каждая встреча с человеческим лицом есть самостоятельная, неповторимая и страшная задача, и от того, как ты решишь для себя эту задачу данного момента, зависит, во всеоружии ли сможешь ты встретить следующий затем момент с его новой задачей. В каждый отдельный момент своей жизни человек произносит суд над собою для всей последующей жизни. *Все утекает, ничто не повторимо: значит, все исключительно важно!* Заметьте, что это в самом деле принципиальная противоположность тому популярному воззрению, что все повторяется по одним и тем же законам, потому и важное в жизни принадлежит только этим абстрактным законам, тогда как конкретная текущая реальность сама по себе никакой ценности и пребывающего значения не имеет. Само восприятие истины преобразуется. Для того, кто видит в мире одни лишь более или менее повторяющиеся *вещи* и связи между *вещами*,— истина есть удобная для меня, моя собственная абстракция, которая меня успокаивает, удовлетворяет и вооружает для новых побед над *вещами*. Для тех же, кто однажды учуял в мире *лицо*, истина есть страшно важная и обязывающая задача жизни, все отодвигающаяся в истории вперед, драгоценная и любимая, как любимое человеческое лицо, и дающая предвкушать свои решения не абстрактному «рацио», а лишь той собранности и целокупности живых сил человеческого лица, которую мы называем «совестью». Не «рацио» — этот рассудительный и спокойный мещанин, всегда самодовольный и ищущий своего успокоения, а горячая совесть и любовь к человеческим лицам — вот кто наш надежный руководитель и строитель жизни!

Чувствуете ли, между прочим, тот вывод, который прямо вытекает из этого личного восприятия жизни и истины? Страшный по смыслу и трагический вывод из бесконечной и самостоятельной ценности каждого момента жизни и каждого встреченного человеческого

лица — в том, что, однажды погрешив в отношении одного человеческого лица, человек уже не может быть цельным и чистым и положительным ни в отношении новых задач жизни, ни в отношении новых человеческих лиц, которых он встретит! Погрешив однажды и против одного лица, человек исказил себя в отношении всех! Вот и я оказываюсь для Вас источником недоумения при всем том, что есть так много светлого во встрече моей с Вами,— потому что в прошлом я грешил и нечист перед человеческими лицами. Прошлое предопределяет будущее! Однажды сделанная в совести трещина будет давать знать о себе! Только Бог силен изглаживать прошлое и отпускать грехи!

Как бы мне хотелось, чтобы Вам стало совершенно ясно это принципиальное различие между абстрактным восприятием истины и жизни, знающим преимущественно в е щ и, и тем живым, конкретным, совестным восприятием истины и жизни, знающим прежде всего л и ц а! Как бы хотелось, чтобы ясны были Вам все последствия того, на какой путь из этих двух встал человек! Как далеки и удивительны эти последствия!..

Вместо того чтобы кончать это писание, я все продолжаю и продолжаю, к вящему испугу для Вас, который Вы, наверно, испытаете, развернув этот конверт. Ну, на этот раз я в самом деле уже кончу свое писание. Простите за него! Постоянно получая все новые и новые толчки от текущих событий, все время не высказываясь о том, что делается во мне внутри, подчас запутываясь душою в этой смуте переживаний, я чувствовал живую потребность пересказать свое нутро тому, в ком вижу друга. И вот это как будто уже помогло мне найти еще раз теряющуюся в смуте дней Ариаднину нить; говоря Вам, я как будто почувствовал опять торный путь под ногами! Итак, сами не зная о том, Вы издали оказываете мне помощь.

Простите же еще раз. Да будет светел Ваш путь.

Ваш А. У х т о м с к и й.

1 (14) окт. 1923.
Петроград.

Дорогая Ида,

посылаю Вам оттиски вышедшей наконец Вашей работы; простите, что не могу послать больше двух,— их слишком мало, и они разошлись сразу. Прилагаю книж-

ку физиологического журнала со статьями, посвященными Н. Е. Введенскому (моя и покойного Н. Я. Пэрна), и с нашими работами. Это на память о физиологической лаборатории.

Спасибо Вам за письмо. Оно получено мной в самый разгар моих злоключений по Университету, и я не имел сил тогда Вам ответить.

Вы правы почти во всем. Прекрасная совесть дает Вам прекрасную чуткость и чутье. Я помню,— Вы говорили, что я Вас не знаю. Я Вас знаю и люблю именно такою, какою Вы раскрываетесь в этом письме.

Мимо меня прошло что-то удивительно прекрасное, прекрасное человеческое лицо, которое будет для меня навсегда светлым огоньком в дали уходящей жизни. Хочу одного: чтобы этот огонек был счастлив, и не призрачно, а серьезно и полно.

Ваше слово «не трогать Вас больше» я свято исполню.

Вы пишете о тех или иных Ваших сторонах, за которые я мог Вас ценить. Уверяю Вас, что ценны и нужны мне были только ВЫ, а не ВАШЕ. Искал я в Вашем обществе не удовольствия, не счастия, не успокоения, а только Вас. «Ищу не вашего, а вас»,— приснопамятное слово великого человека древности.

Что касается разных житейских благ и преимуществ, они всегда имели на меня отталкивающее действие,— я их инстинктивно боялся, ибо ими угнетается в людях самое дорогое.

Посылаю остававшуюся у меня Вашу рабочую тетрадь и карандаши. Простите, что задержал их так долго и в свое время писал кое-что в этой тетради. Засушенные цветики — из Александрии. Они сорваны ровно за год до Вашего пребывания там. Это еще раз мой привет Вам. Да будет благословен и светел Ваш жизненный путь. Прощайте, мой ненаглядный друг, не поминайте лихом и простите

Вашего А. Ухтомского.

5 (6), 18—19 декабря 1923.
Петроград.

Дорогая Ида,

спасибо Вам за милое письмо. Я не сумею передать Вам, какую радость доставило мне неожиданное чтение Ваших строчек. Как будто пришла весточка с того света,

через пустынные пространства мира, от давно умершего для меня друга, из давно ушедшего от меня мира! Я привык, освоился с тем, что для меня невозможно конкретное общение с тем, что там, и ушедший друг отделен все растущим непроницаемым расстоянием. И вдруг оттуда приходят живые строки, написанные живою рукою!

Еще раз спасибо за доставленную большую радость.

Если у Вас есть мысль, что от нашей встречи возникло что-то в самом деле ценное для Вас, то пусть оно не умрет, пусть поможет Вам в жизни. Я живу этой верой и хочу, чтобы Ваша жизнь была хороша для Вас и для людей. Ужасно счастлив от мысли, что мог дать Вам хоть каплю доброго.

Что Вы делаете и как себя чувствуете после окончания Университета? Как живете? Что намереваетесь делать? Если будет возможность, напишите мне, пожалуйста, поподробнее о Вас и Вашей жизни.

О себе могу сказать, что жизнь идет в непрестанной суете, как заведенная машина и как однообразно-надоедливый калейдоскоп. Едва успеваешь урывать минуты, чтобы вернуться к науке, к дорогим незаконченным мыслям, к проверке самого себя. Силы уходят, быстро старею. А между тем многие давние материалы и не могут быть пущены в печать при современной цензуре и господствующих воззрениях. В Университете тяготит то, что настоящего, откровенного и простого общения со студенчеством иметь нельзя. Надо все время опасаться, озираться, не высказываться. Это делает из университетской работы одну лишь утомляющую кабалу, часто мучительную и никогда не дающую духовного удовлетворения.

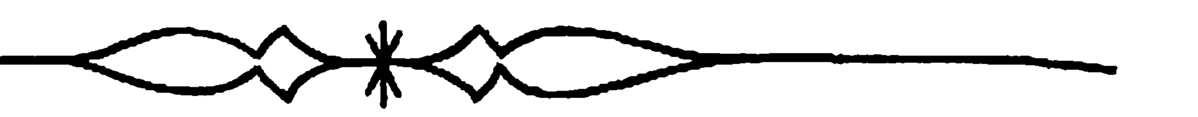
Летом, в Петергофе, одна из работниц, Р. Ольшанская, передала мне о встрече с Вами и о том, что Вы послали мне привет. Спасибо за него! Получили ли Вы какие-нибудь преимущества в смысле заработка от того, что работали в микробиологической лаборатории? Помнится, Ваш зять обещал Вам работу по микробиологическому обследованию. Если можно, расскажите о себе.

Простите. Всего Вам хорошего. Мой привет всегда с Вами!

Преданный Вам старый друг

А. Ухтомский.

18/31 ноября 1924.



ЗАСЛУЖЕННЫЙ СОБЕСЕДНИК

Письма к Е. И. Бронштейн-Шур[1]

3 апреля 1927

Утро после доклада о доминанте в 10-й аудитории Университета.[2]

...Вам неизвестно это чувство, которое ярко возникло во мне лет двенадцать тому назад, при посещении моих родных мест, где протекали детство и юность и где зарождались лучшие стремления. Я тогда вдруг почувствовал, что я таскаю за собою инертную, тяжелую массу, свое «тело», накопившиеся пороки, слабости, измены добрым юным стремлениям, и это все искажает и портит; и лучше летать сюда лишь мыслью, издали, не принося за собой этого каменного груза...

Не есть ли тут что-то типическое в человеческой жизни? Нет ли и тут напоминания о механизме доминанты? Нельзя двигаться вперед, не затормозив того, что за плечами!

...Вчера, когда я усиливался передать в докладе мои искания и ожидания, которые повели меня в сторону доминанты, все во мне опять взволновалось. Но на докладе все-таки получились какие-то обрывки. Иногда я даже удивляюсь тому, что такие обрывки все-таки улавливаются и по ним у молодежи восстанавливается нечто цельное, что хотелось сказать и чем я живу. Но все-таки это обрывки...

Вот сегодня, под свежим впечатлением доклада, с утра я и сел писать, чтобы дополнить вчерашнее, пока еще все это горячо. Конечно, это будет не «все». Как много того, что надо сказать!

...Хочется сказать об одной из важнейших перспектив, которые открываются в связи с доминантою. Это проблема двойника и, тесно связанная с нею, проблема заслуженного собеседника. И та и другая служат естественным продолжением того, что

доминанта является формирователем «интегрального образа» действительности, о чем я пока очень кратко упомянул в статье 1924 г. во Врачебной газете [3]. А что для нас является более важным и решающим, чем «интегральный образ», который мы составляем друг о друге, *о лице встречного человека*? По тому, как мы разрешаем эту ежедневную задачу, предопределяется в высшем смысле слова наше поведение, наша жизнь, наша ценность для жизни; в зависимости от того, как разрешим мы эту великую проблему, и жизнь ответит нам своим судом; ты ценен и потому живи и побеждай, или ты легковесен и пуст и потому умри!

Проблема Двойника поставлена Достоевским, а мостом к ее пониманию послужила для меня доминанта. В одном собрании посмертных бумаг Достоевского я в свое время с удивлением прочел, что, по собственному убеждению этого писателя, его раннее и столь, казалось бы, незначительное произведение «Двойник» было попыткою разработать и высказать самое важное, что когда-либо его мучило. Неоднократно и потом, после ссылки, он возвращался к этой теме, и все без удовлетворения. Для читателей «Двойник» остается до сих пор каким-то загадочным, маловнятным литературным явлением! Для меня из доминанты стало раскрываться вот что.

Человек подходит к миру и к людям всегда через посредство своих доминант, своей деятельности. *Старинная мысль, что мы пассивно отпечатлеваем на себе реальность, какова она есть, совершенно не соответствует действительности. Наши доминанты, наше поведение стоят между нами и миром, между нашими мыслями и действительностью.* Неизбежно получается та доминантная абстракция, о которой я говорил вчера. Целые неисчерпаемые области прекрасной или ужасной реальности данного момента не учитываются нами, если наши доминанты не направлены на них или направлены в другую сторону. И тут возникает, очевидно ежеминутно в нашей жизни, следующее критическое обстоятельство: мы принимаем решения и действуем на основании того, как представляем действительное положение вещей, но действительное положение вещей представляется нами в прямой зависимости от того, как мы действуем! Очевидно — типическое и постоянное

место нашей природы в том, что мы оправдываем наши поступки тем, что они соответствуют реальному положению; но для того, чтоб поступок вообще мог совершиться, мы неизбежно абстрагируемся от целостной реальности, преломляем ее через наши доминанты. *Мы можем воспринимать лишь то и тех, к чему и к кому подготовлены наши доминанты, т. е. наше поведение. Бесценные вещи и бесценные области реального бытия проходят мимо наших ушей и наших глаз, если не подготовлены уши, чтобы слышать, и не подготовлены глаза, чтобы видеть, т. е. если наша деятельность и поведение направлены сейчас в другие стороны.*

Плясуны перестали бы глупо веселиться, если бы реально почувствовали, что вот сейчас, в этот самый момент, умирают люди, а молодая родильница только что сдана в сортировочную камеру дома умалишенных. И самоубийца остановился бы, если бы реально почувствовал, что сейчас, в этот самый момент, совершается бесконечно интересная и неведомая еще для него жизнь: стаи угрей влекутся неведомым устремлением от берегов Европы через океан к Азорским островам ради великого труда — нереста, стаи чаек сейчас носятся над Амазонкою, а еще далее сейчас совершается еще более важная и бесконечно интересная неведомая тайна — *жизнь другого человека.*

Аудитории моей вчера было неприятно и нудно вспоминать о том, что сейчас умирают и страдают люди, и это только потому, что это сбивало с наличных доминант в светлой комнате, посреди молодых и жизнерадостных товарищей. А перенос доминанты на то, что сейчас делается совсем в другой жизни, мог бы спасти человека от отчаяния и окончательного суда над собою!

Итак, человек видит реальность такою, каковы его доминанты, т. е. главенствующие направления его деятельности. Человек видит в мире и в людях предопределенное своею деятельностью, т. е. так или иначе самого себя. И в этом может быть величайшее его наказание! Тут зачатки «аутизма» [4] типичных кабинетных ученых, самозамкнутых философов, самодовольных натур; тут же зачатки систематического бреда параноика [5] с его уверенностью, что его кто-то преследует, им все заняты и что он ужасно велик...

...Так вот, герой Достоевского господин Голядкин (он же в более позднем произведении — «человек из подполья») и является представителем аутистов, которые не могут освободиться от своего Двойника, куда бы они ни пошли, что бы ни увидели, с кем бы ни говорили.

Господин Голядкин не «урод», не «drôle» [6]. Он может быть даже очень грандиозен, но, во всяком случае, чрезвычайно распространен. Это солипсист, который мог даже дойти до принципиального философского самооправдания в германском идеализме Фихте и который приходит в ужас над жизнью и самим собой в гениальных «Des solitudes» [7] Мопассана, где указывается, что люди проживают целую жизнь вместе как муж и жена, до конца оставаясь совершенно отдельными, чуждыми, замкнутыми, загадочными друг для друга существами. Голядкин пошел только дальше, чем Фихте и Мопассан: он не только усматривает во всех своего Двойника, но и доходит до святой ненависти к своему Двойнику, т. е. к своему самозамкнутому, самоутверждающемуся, самооправдывающемуся Я. А уже это — начало выхода! Один шаг еще, и цыпленок пробил бы свою скорлупу к новой правде!

Если было бы иллюзией мечтать о «бездоминантности», о попытке взглянуть на мир и друга помимо себя (бездоминантность дана разве только в бессоннице или в безразличной любезности старика Ростова!), то остается вполне реальным говорить о том, что в порядке нарочитого труда следует культивировать и воспитывать доминанту и поведение «по Копернику» — поставив «центр тяготения» вне себя, на другом: это значит устроить и воспитывать свое поведение и деятельность так, чтобы быть готовым в каждый данный момент предпочесть новооткрывающиеся законы мира и самобытные черты и интересы другого ЛИЦА всяким своим интересам и теориям касательно них.

Освободиться от своего Двойника — вот необыкновенно трудная, но и необходимейшая задача человека!

В этом переломе внутри себя человек впервые открывает «лица» помимо себя и вносит в свою деятельность и понимание совершенно новую категорию лица, которое «никогда не может быть средством для

меня, но всегда должно быть моею целью». С этого момента и сам человек, встав на путь возделывания этой доминанты, впервые приобретает то, что можно в нем назвать лицом.

Вот, если хотите, подлинная диалектика: только переключивши себя и свою деятельность на других, человек впервые находит самого себя как лицо!..

6 апреля 1927.

Вот видите,— тут ужасно тесно спаяны между собой темы о Двойнике и о Собеседнике: пока человек не освободился еще от своего Двойника, он, собственно, и не имеет еще Собеседника, а говорит и бредит сам с собою; и лишь тогда, когда он пробьет скорлупу и поставит центр тяготения на лице другого, он получает впервые Собеседника. Двойник умирает, чтоб дать место Собеседнику. Собеседник же, т. е. лицо другого человека, открывается таким, каким я его заслужил всем моим прошлым и тем, что я есть сейчас.

...Итак, как же возможно поставить в себе поведение жизни и поведение мысли, т. е. свои доминанты, так, чтобы достигнуть, хотя бы в принципе, такого чудесного результата: быть чутким к реальности как она есть, независимо от моих интересов и доминант! Как будто тут что-то невозможное, носящее в себе даже внутреннее противоречие! Как можно перешагнуть через самого себя?

Однако что-то подобное уже делалось в истории человечества! Лишь бы было спасительное недовольство собою и затем искренность в своих стремлениях.

Новая натуралистическая наука, как она стала складываться в эпоху Леонардо да Винчи, Галилея и Коперника, начинала с того, что решила выйти из застывших в самодовольстве школьных теорий средневековья, с тем чтобы прислушаться к жизни и бытию независимо от интересов человека.

Дело шло или об иллюзии — создать «бездоминантную науку», или об установке и культивировании новой трудной доминанты с решительной установкой центра внимания и тяготения на том, чем живет сама возлюбленная реальность, независимо от человеческих мыслей о ней.

И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье...

Открылись уши, чтобы слышать, и только оттого, что решились вынести из себя центр главенствующего интереса и перестать вращать мир вокруг себя. За эту решимость натуралист был награжден тем, что, *изучая самодовлеющие факты мира, он небывало обогатил свою мысль!*

Теперь предстоит сделать еще шаг и еще новый сдвиг. Нам надо из самоудовлетворенных в своей логике теорий о человеке выйти к самому человеку во всей его живой конкретности и реальности, поставить доминанту на живое *лицо, в каждом отдельном случае единственное, данное нам в жизни только раз и никогда не повторимое, никем не заменимое.*

Наше время живет муками рождения этого *нового метода*. Он оплодотворит нашу жизнь и мысль стократно более, чем его прототип — метод Коперника.

Покамест метод этот был и есть только в отрывках и пробах. Но все-таки то, что остается закрытым от премудрых и разумных, так часто бывает открытым для детей и для всякого простого, действительно любящего человека. Моя покойная тетя, которая меня воспитывала, простая и смиренная старушка, своим примером наглядно дала мне видеть с детства, как обогащается и оплодотворяется жизнь, если душа открыта всякому человеческому лицу, которое встречается на пути. Постоянная забота о другом, можно сказать, была ее постоянной «установкою». Старая девушка, не имевшая так называемой «личной жизни» или «счастья» в обыденном, ужасно принижающем человека смысле слова,— она была для людей подлинным «лицом» и желанным Собеседником, к которому стекались и далекие, малознакомые люди за советом и утешением, потому что она ко всякому человеку относилась как к самодовлеющему «лицу», ожидающему и требующему для себя исключительного внимания. Она имела возможность относительно покойно и безбедно жить в своем углу с некоторым комфортом. Фактически она обо всем этом забывала и тряслась по осенним проселочным дорогам в распутицу, оставляя все свое, и с опасностью для жизни в ледоход тронувшейся Оки под Нижним пере-

правлялась на ту сторону, и все потому, что у ней не было жизни без тех, кого она любила и без кого у ней, собственно, и не было жизни. А любила она, можно сказать, всех, кто ей попадался, требуя заботы о себе. То она воспитывает своих младших братьев в громадной семье моего деда, то берет к себе осиротелых детей от прежних крепостных, потом отдается целиком многолетнему уходу за параличной матерью, в то же время подбирает двух еврейских девочек, оставшихся после заезжей семьи, умершей от холеры, и отдается этим девочкам с настоящей страстью, потом, схоронив мать свою, берет меня, на этот раз с тем, чтобы умереть на моих руках. Под влиянием живого примера тети, я с детства привыкал относиться с недоверием к разным проповедникам человеколюбивых теорий на словах, говорящих о каком-то «человеке вообще» и не замечающих, что у них на кухне ждет человеческого сочувствия собственная «прислуга», а рядом за стеной мучается совсем конкретный человек с поруганным лицом.

И под влиянием того, что я знал мою тетю, я совсем особенным образом воспринял «Душечку» Чехова. Помните, как она расцветала на глазах у всех, если было о ком мучиться и о ком заботиться, и увядала, если в заботах ее более не нуждались? Такая она простая и смиренная, с такой застенчивой полуусмешкой говорит о ней Чехов! А она ведь, серьезно-то говоря, совсем не смешная, как показалось преобладающему множеству чеховских читателей! Она — человеческое лицо, которому открыты другие человеческие лица,— т. е. то, что для «премудрых» закрыто и не имеет к себе ключа! А таких бриллиантиков в действительности многое множество среди нас, среди «бедных людей» Достоевского!

Вообще, я думаю, простым и бедным людям открыто и ощутимо то, что замкнуто о семи печатях для чересчур мудрствующих людей! Что касается меня, я принадлежу, к несчастию моему, к этим последним!

Иногда мне кажется, что сама ученая профессия порядочно искажает людей! В то время как натуралистическая наука сама по себе исполнена этим настроением широко открытых дверей к принятию возлюбленной реальности как она есть,— «профессионалы науки», обыкновенно люди гордые, самолюбивые, завистливые, претенциозные, стало быть, по существу маленькие и индивидуалистически настроенные,— так легко впадают

все в тот же солипсизм бедного господина Голядкина, носящегося со своим Двойником.

Я ужасно боюсь доктрин и теорий и так хотел бы оберечь моих любимых друзей от увлечения ими,— чтобы прекрасные души не замыкали слуха и сердца к конкретной жизни и конкретным людям как они есть!

...Да и каждый из нас в отдельности может наблюдать на себе самом, что «рассуждающий разум» долго еще плетет свои силлогизмы и сети, не подмечая того, что в глубине нашего существа уже зародилась и назрела неожиданная новая сила, которая совсем по-новому предрешает события ближайшего будущего и только ждет случайного дополнительного толчка, чтобы всплыть и властно заявить о себе; «рассуждающий разум», застигнутый врасплох, сначала ужасно растеряется от неожиданного заявления властной доминанты, а потом постарается убедить себя, что в сущности он все это по-своему понимает и может предусмотреть! Такова уж его самомнительная профессия! Профессия замкнутого в себе теоретизирования! В действительности же слишком похоже на то, что эта властная доминантная жизнь имеет свой смысл и исторические резоны, так что интуиция сердца, предчувствие и т. п. могут замечать и предвидеть гораздо ранее и дальше, чем «рассуждение»! Так совесть предвидит и начинает предупреждать гораздо ранее, чем так называемое «здравое рассуждение». Интуиция совести и «здравое рассуждение» находятся между собой в таких же отношениях, как художник, пророк и поэт, с одной стороны, и спокойный, рассудительный мещанин, с другой!

К счастью для науки, она переполнена интуициями, как ей ни хочется утверждать о себе, что она привилегированная сфера «исключительно рассуждающего разума». Вот ведь даже в алгебре обнаружены теперь вкравшиеся туда интуиции, не говоря уж о геометрии и о прочей натуралистической науке. И это все к счастию, ибо иначе замкнутый на себя «рассуждающий разум» давно бы задохся, а наука перестала бы жить. Поле науки оплодотворяется интуициями, властно вторгающимися в сети «чистой доктрины»; и они оказываются мудрее и прозорливее «чистой доктрины», ибо они

складываются самою реальною жизнью, а жизнь и история мудрее наших наилучших рассуждений о них...

10 апреля 1927.

...Вот что самое страшное в смерти, о чем я говорил на Шоровской[8] лекции,— что я на всю жизнь почувствовал при расставании с моей тетей: когда человек лег в свой гроб, из «ты» для тебя он становится только «он»!

Тревожит, трясет за плечо Ева своего сына Авеля, чтобы из мертвого «он», такого чужого и молчаливого, опять вернуть его в живое «ты»! Но не отзывается больше Авель! Вот — скорбь, последняя из человеческих скорбей!

И это опять все та же неизбежная тема о Собеседнике! Человек ведь ищет более всего «ты», своего alter ego[9], а ему вместо того подвертывается все свое же «я», «я», «я» — все не удается выскочить из заколдованного круга со своим собственным Двойником к подлинному «ты», т. е. Собеседнику. Если это не делается само собою, то здоровый вывод может быть только один: все силы и все напряжение, вся «целевая установка» должна быть направлена на то, чтобы прорвать свои границы и добиться выхода в открытое море — к «ты». Что это возможно, об этом знает всякий действительно любящий человек — ему это не надолго дается, пока с ним этот талисман; у некоторых, как у моей тети, например, это было дано на всю жизнь...

...Вот это и обнадеживает, что люди могут быть и некогда будут реально одно (не абстрактно, а реально, ибо абстрактно-то они сейчас одно). Для меня в принципе «ты» и Собеседники все мои студенты, оттого я их так люблю и так дорожу деятельностью в Университете. Но они приходят и уходят, проходят мимо меня.

...Вот я вчера нашел старую свою записку, занесенную несколько лет тому назад по поводу темы о Двойнике, о которой я начал Вам писать. Эта записка излагает дело очень кратко и просто, и, мне кажется, будет кстати привести ее Вам после сказанного так пространно вначале.

«Наиболее подготовленная к деятельности область нервных центров будет иметь доминирующее значение для того, в какие рефлекторные последствия отольются влияния среды на организм.



Алексей Николаевич Ухтомский



Антонина Федоровна Ухтомская



В раннем детстве



Семья Ухтомских: Антонина Федоровна, Алексей, Мария, Александр, Алексей Николаевич, Елизавета



С Анной Николаевной Ухтомской в гимназические годы



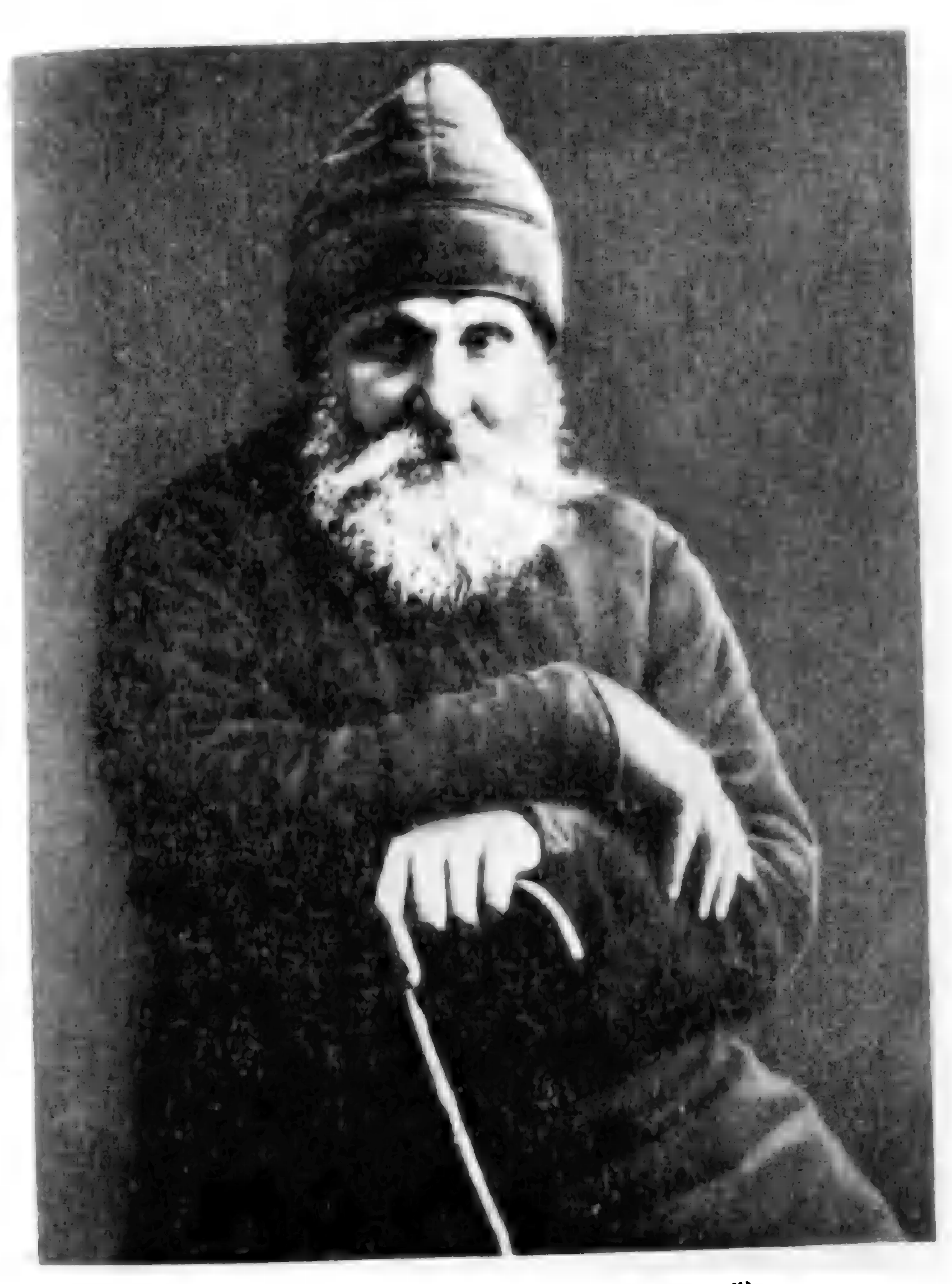
Дом Анны Николаевны Ухтомской в Рыбинске



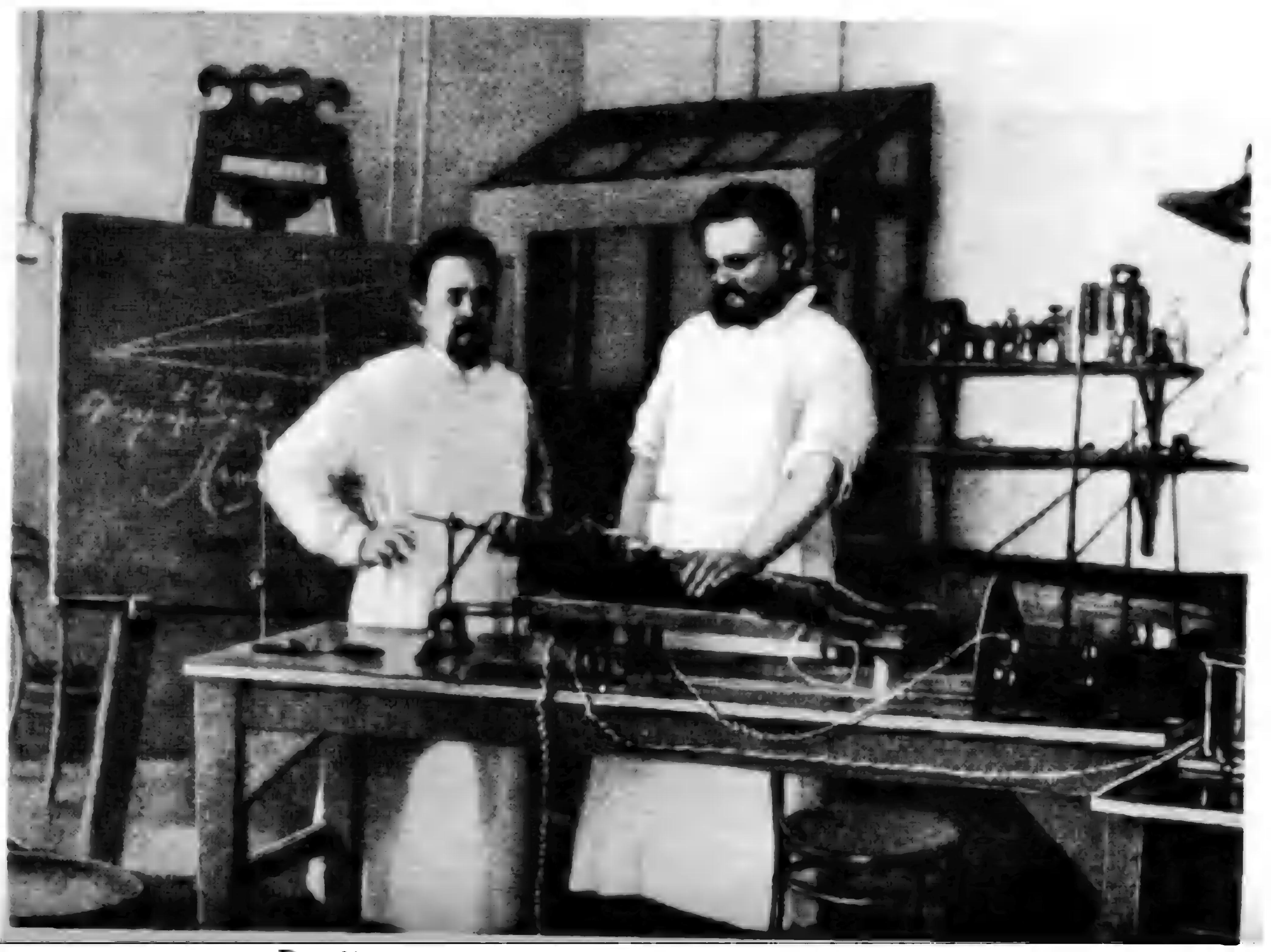
В Кадетском корпусе



После окончания Духовной академии



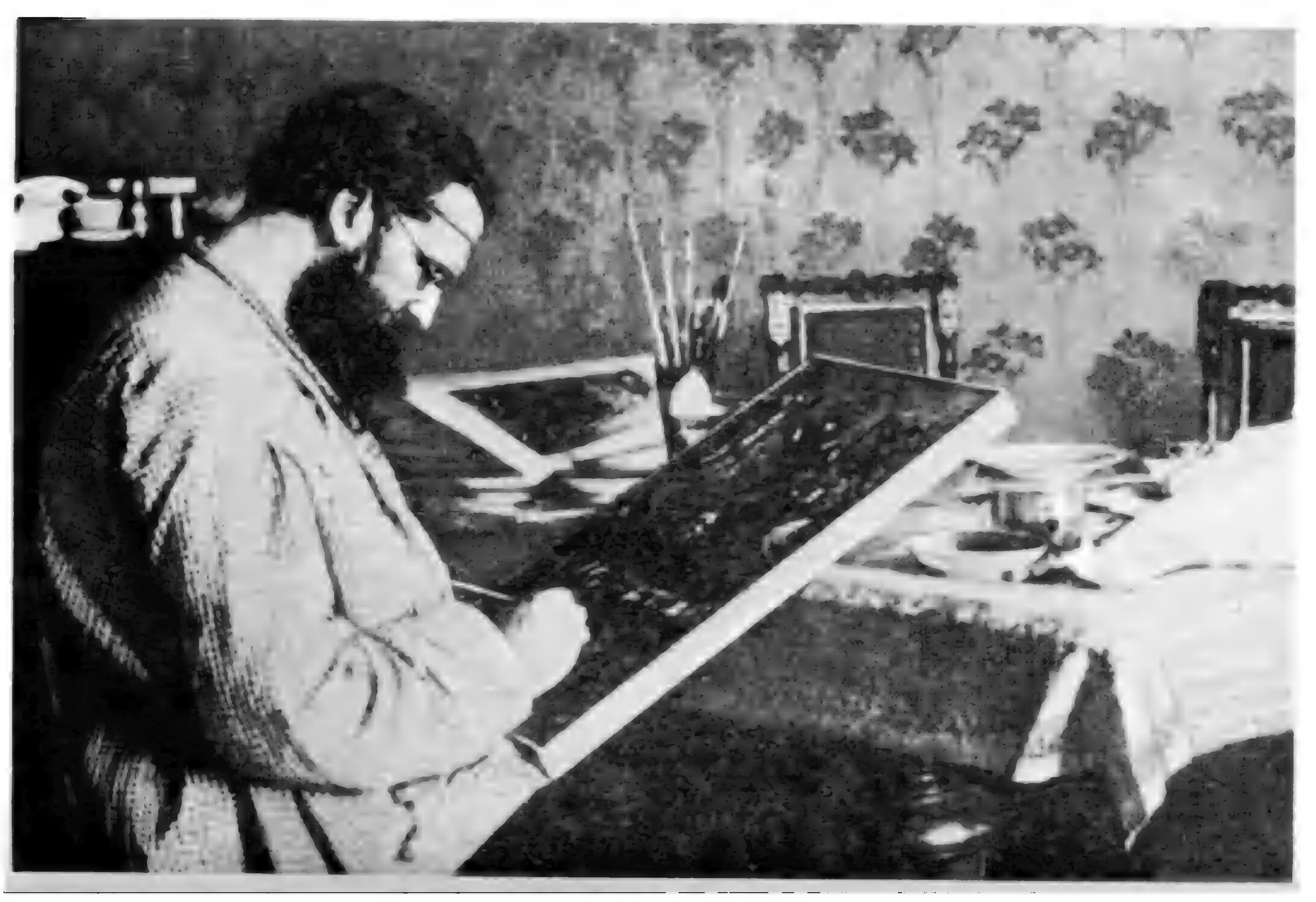
Александр Ухтомский (епископ Андрей)



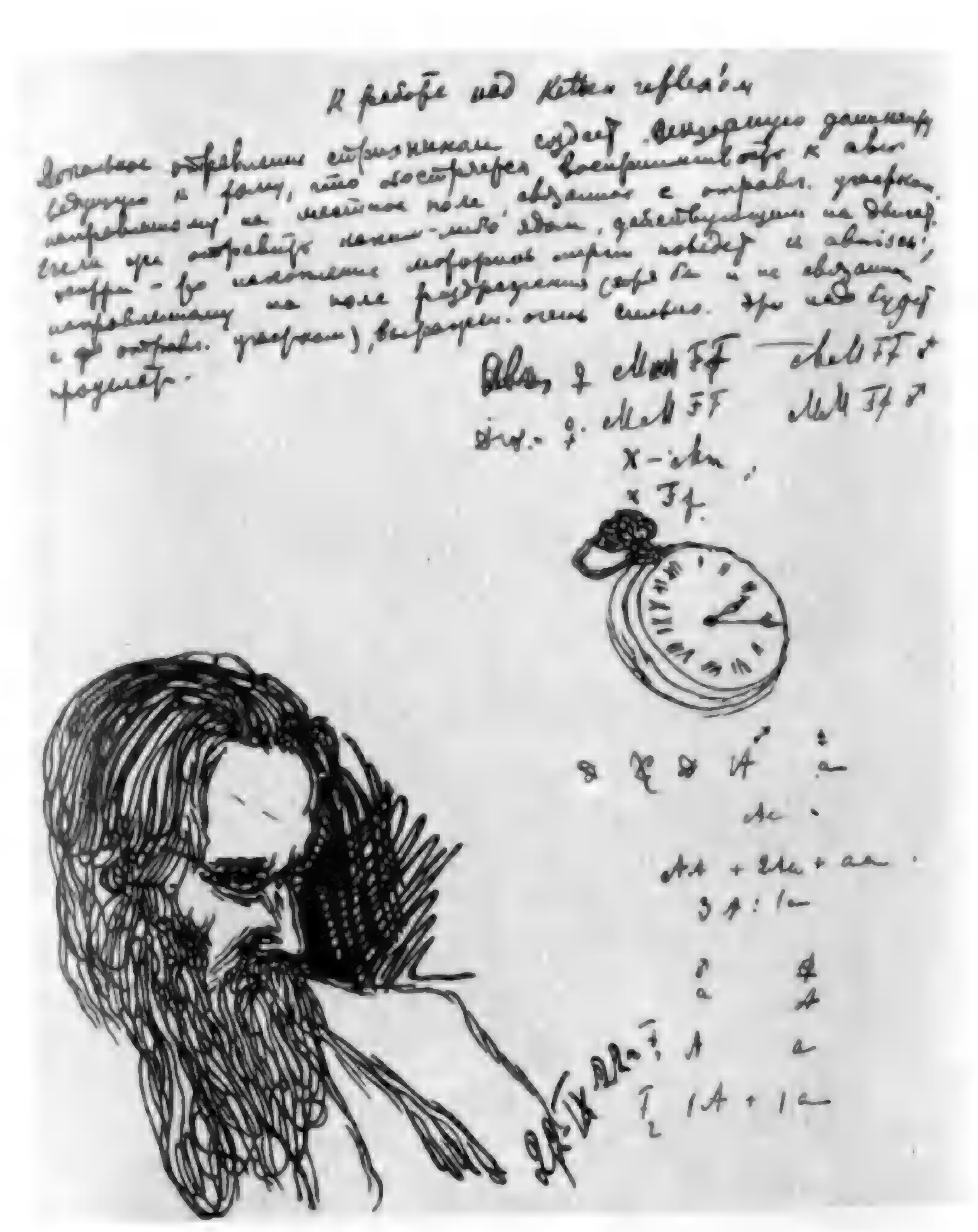
В лаборатории с Николаем Евгеньевичем Введенским



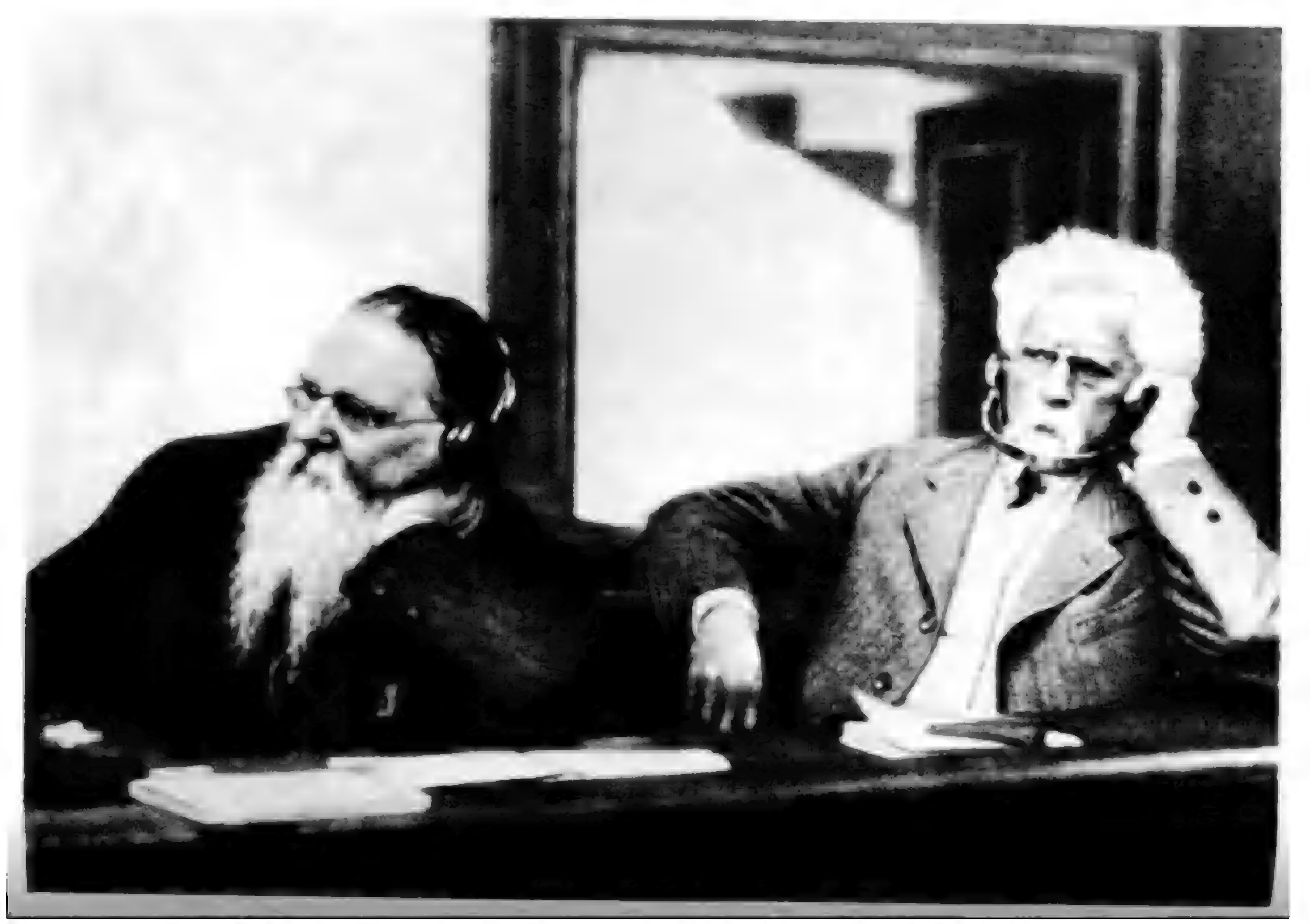
Надежда Ивановна Бобровская



Дома, занимаясь иконописью



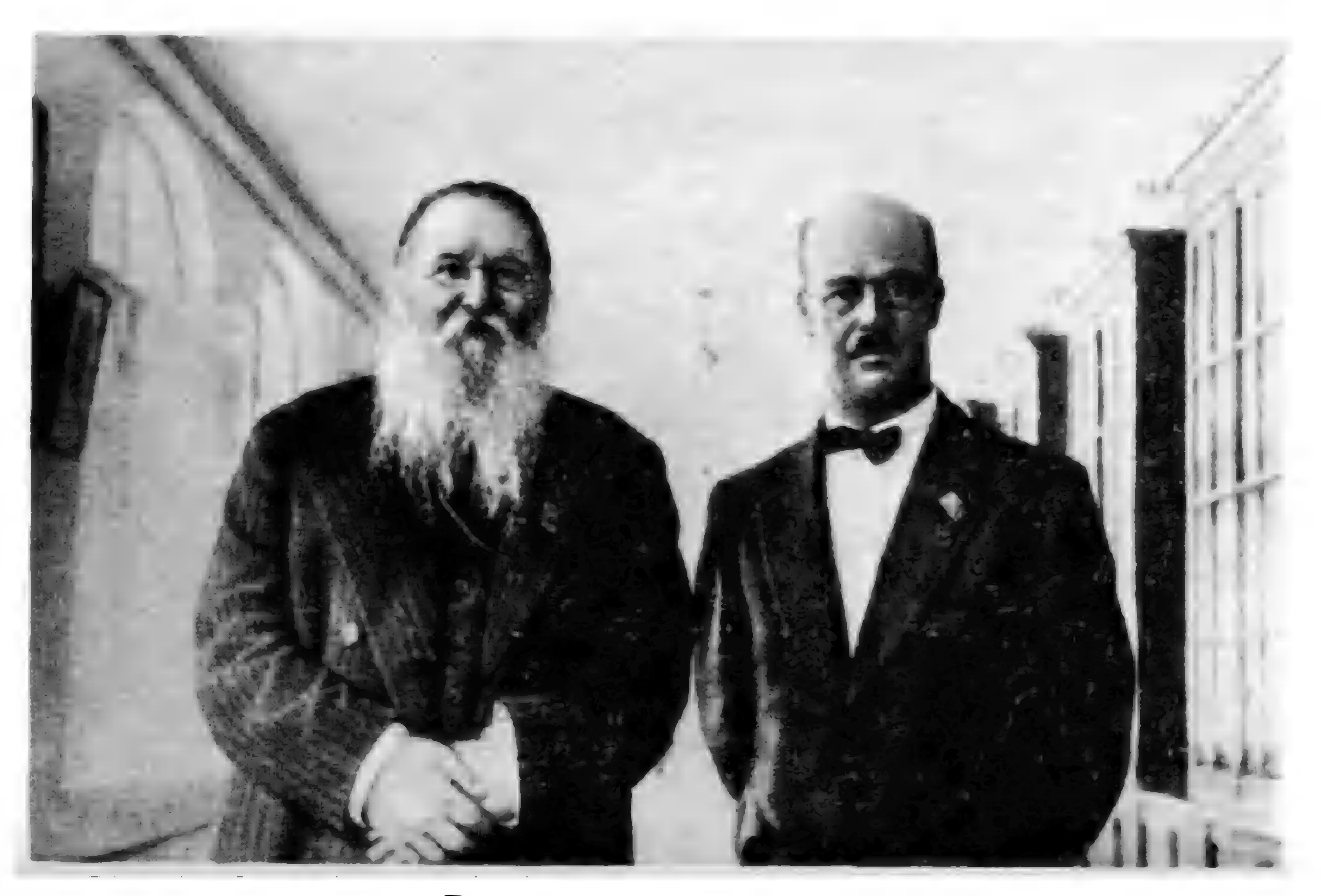
Страница рукописи с наброском автопортрета



На XV Международном конгрессе физиологов в Москве ***(1935 г.)***



Со студентами



В университетском коридоре

Для низших отделов нервной системы последствие это будет в том, что организм, подготовленный к дефекации[10], будет стимулироваться к дефекации и такими раздражителями, которые обычно должны побуждать его к убеганию.

Для высших центральных аппаратов последствие будет в том, что человек, предубежденный (на основании самочувствия?), что его окружают обжоры, эгоисты и подлецы, успешно найдет подтверждение этому своему убеждению и тогда, когда ему повстречается сам Сократ или Спиноза. Обманщик подозревает необходимо во всем обман, и вор везде усматривает воровство. Чтобы этого не было, нужна трудная самодисциплина — перевоспитание доминант в себе».

Я говорю теперь другими словами: нужно неусыпное и тщательнейшее изо дня в день воспитание в себе драгоценной доминанты безраздельного внимания к другому к alter ego.

...Только тогда, когда будут раскрыты уши для всех, нищета афинского чудака не помешает узнать в нем Сократа, из последнего оборванца будешь черпать крупицы любви и правды, и для того, кого нарочито любишь, будешь действительно надежным и верным другом, открытым ему до прозрачности. Пока этого выхода от убийственного Двойника к живому собеседнику нет, нет возможности узнать и понять человека, каков он есть. А без этого выпадает все самое ценное в жизни! Человек жалуется и стонет, что вокруг него нет смысла бытия, нет людей[11], все равно как децеребрированная лягушка[12] умирает от голода и жажды, будучи окружена пищей и водой: самые лучшие устремления человека вырождаются тогда во зло (самое объективное зло!),— наука в военно-химическую технологию, человеколюбивая доктрина в эксплуатацию природы и людей, а любовь в последнее неуважение к человеческому лицу и, фактически, в разврат.

Когда люди осуждают других, то тем только обнаруживают своего же, таящегося в себе Двойника: грязному в мыслях все кажется заранее грязным; завистнику и тайному стяжателю чудятся и в других стяжатели; эгоист, именно потому, что он эгоист, объявляет всех принципиально эгоистами. Везде, где человек осуждает других, он исходит из своего Двойника, и осуждение есть вместе с тем и тайное, очень тонкое, тем более ядовитое самооправдание,— т. е. успокоение на себе и на

своих точках зрения (доминанта на Двойника) застилает глаза на реальность, и тогда наступает трагедия: люди не узнают Сократа, объявляют его вредным чудаком, заставляют его поскорей умереть!

Вглядитесь: пока люди стоят на Двойнике и покойны с ним, это значит, что их доминанты установлены на самоуспокоение, на покой, на по возможности наименьшее действие. По возможности не нарушать себя и своего привычного, что считаешь за правильное, и если уж неизбежен конфликт с несогласной действительностью и несогласными людьми, то скорее пожертвовать действительностью и людьми вне меня, чем моею излюбленною теориею. Вот это и есть установка на кабинетную теорию, на собственное Я теоретика, около которого будто бы вращается весь мир. Индивидуализм и солипсизм тут логически неизбежен, хотя бы он тщательно скрывался и задрапировывался! Люди этого поведения мысли и жизни, можно сказать, предрешены и предопределены к тому, чтобы эксплуатировать мир и людей, а самый мир представлять себе как некий мертвый, самоуспокоенный кристалл, уравновешенность совершенного покоя,— как это вновь развивал профессор Курбатов на докладе в Эндокринологическом обществе, которого Вы, к сожалению, не дослушали. Они не чувствуют, что их вожделенный покой есть смерть. В свое время Клаузиус [13], придя ко II принципу термодинамики, тоже развивал из него, что мир непрестанно влечется к покою небытия, когда ни одна уже волна не напомнит более, что тут что-то было! Другие люди увидали и ужаснулись! Кабинетная теория, принципиально устремленная на покой, пришла, казалось, и приходит все вновь к своему самоудовлетворению: сам мир и бытие представлялись устремленными к блаженному покою. Потом поняли, что это происходило оттого, что мир заранее представляли себе консервативною системою, что было совершенно предвзято и не имело никаких реальных оснований. А мне кажется, что дело еще дальше: картина в своем завершении оказалась столь отчаянною, оттого что она с самого начала замышлена в теоретизирующем кабинете самоуспокоенного и ищущего теоретического покоя кабинетного человека. Дело шло с самого начала с самоудовлетворенной доктрины, которая не хотела уступить своего покоя несогласной действительности! Аутист со своим

Двойником не хочет уступить свое место действительности и будет порываться подчинить несогласные факты «по принципу наименьшего действия» своей излюбленной теории, придумывая новые «вспомогательные» теории. Кречмер [14], по-моему, с глубокой проницательностью отмечает, что теоретизирующий математический физик уже заранее предопределен своей физиологической конституцией к самозамыканию, как типический натуралист или врач заранее предопределен конституциею к принятию мира как он есть. Пусть же ни тот, ни другой не строит самозамкнутой и законченной философии из того, что в нем всего лишь предопределено физиологически!

...Пока что я считаю своим долгом говорить о том, что многие, многие доктрины и теории в своих выводах и исканиях заранее предопределены тем, что установлены на покой и на наименьшее действие с самого начала; действительность заранее усекается ради прекрасных глаз теории [15]...

...С того момента, как человек решится однажды вынести свою установку (свою доминанту) на Собеседника вне и помимо себя, приходит что угодно, но не «покой»: начинается все растущий труд над собой и ради другого, т. е. все больший и больший уход от себя в жизнь для ближайшего, встречного человека. Награда, и притом ничем не заменимая, в том, что изобилию жизни и дела конца уже нет, о конце уже и не думается, а если он придет, о нем некогда будет думать. Не останавливаясь на себе, на излюбленных доктринах, успокаивающих мысль, всегда предпочитая себе и доктринам реальных людей, забывая свое заднее и простираясь все вперед,— твердо помня, что истина для человека не «подушка для усталой головы», а обязывающая и увлекающая за собой объективная правда, не зависимая от нас, как возлюбленное и влекущее за собой лицо.

...Каждая человеческая истина, каждая теория есть только временная доминанта, направленная на свой «разрешающий акт» — на проверку в ближайшей будущей реальности. Она оказывается ложной, если это окажется в дальнейшей непосредственной проверке, и, уже во всяком случае, она ложь, поскольку утверждает

себя как окончательная и последняя, ибо тем самым она исключает дальнейший ход действительности в истории, всегда самоцветный и новый, как драгоценный камень. В погоне за истиной, как за своей возлюбленной, человек подобен пловцу с Делоса, описанному в древней легенде: вот он плывет изо всех сил к острову, который виднеется издали, наконец как будто доплывает, уже чувствует песок под ногами; и в тот момент, когда он готов уже выйти на вожделенный берег, остров опять уходит от него на прежнее расстояние, опять требует труда, опять влечет за собою. Опять труд, опять движение вперед! И дорого то, что так дорого дается,— пускай возлюбленная будет все время впереди,— пловец не заметит, если и утонет в своем движении вперед!..

16 апреля 1927.

...Вот в эти дни, лежа больным, я перечитываю «Капитанскую дочку» Пушкина. Как живо проносятся все впечатления, пережитые когда-то в детстве, при первом чтении этой удивительной вещи! Чем она удивительна? Тем, что так захватывает общечеловеческое, и так просто, так любовно ко всему человеческому! Понятен, и по-своему мил, и Пугач, понятны русские мужики и казаки,— понятен и по-своему Швабрин, которого Марья Ивановна своим нравственным чутьем так не любит и в то же время каким-то уголком женской души вниманием его заинтересована! О других не говорю уж! Особенно прост, мил и понятен сам рассказчик Гринев, от имени которого говорит сам Пушкин, в самом деле, всечеловек, обнимающий своей широкой душой всякого человека!

Сейчас я уловил мотив из «Капитанской дочки», несколько поясняющий то, что я писал Вам в этом письме. Та доминанта на лицо вне и независимо от меня, о которой я говорил Вам, достаточно просто и хорошо дана не в ком другом, как в Пушкине и вот в его герое — Гриневе. И сам Пушкин, и, наверное, его Гринев не раз изменяли своей доминанте. Вот Вл. Соловьев думает, что Пушкин и умер тогда, когда ему нечем стало жить от измены своей доминанте! Но драгоценная доминанта, которой он обладал и которая выявлялась в нем в часы вдохновения, была в раскрытости всему человеческому и всякому человеку, кто бы он ни был.

И вот что характерно: Швабрин называет Гринева — всечеловека — Дон Кихотом! Вот я почувствовал, что ведь и я, слава Богу, Дон Кихот... Пусть так! Но кто же сам Швабрин? Для меня несомненно, что это тот же Печорин, «герой нашего времени» (т. е. времени Лермонтова), тот же Онегин, наконец тот же лермонтовский Демон! Это все один и тот же ряд! Герой российского барского байронизма! В то самое время, как в Германии дошли до идеализации солипсического человека с собственным Двойником в философии Фихте, Шеллинга и Гегеля, у нас в России наша барская культура идеализировала его в «герое нашего времени» и Демоне. Может быть, что и сейчас еще не понимают со всею значительностью пройденного тогда пути, не вполне понимают и значения Демона в душе Лермонтова. Может быть, сам не желая того, Лермонтов поставил тогда перед людьми критический вопрос о значении всей индивидуалистической культуры прославленной Европы, в которой люди сатанеют от одиночества в себе, от безвыходной замкнутости со своим Двойником, от неумения выйти из самодовольных и самоуспокоенных теорий о мире и людях к самому миру и самим людям! Гордый, самоуверенный, самозамкнутый и в то же время мучающийся и жарящийся в своем собственном соку: вот тот, который издевается над Дон Кихотами! Пусть, пусть он издевается,— я останусь Дон Кихотом!..

21 апреля 1927.

Я могу сказать про себя, что избалован в жизни тем, что встречал удивительных людей по скрытым душевным силам и качествам. И совсем неверно будет сказать, что я видел их удивительными и прекрасными, а они не были такими. Нет, они именно были удивительными и прекрасными, только все это было скрыто от глаз других людей и толпы, слишком занятой индивидуалистическими интересами, постройкой индивидуалистического счастьица, абстрактными теориями,— так что, слишком занятые собой и далекими отвлеченностями, люди не видали того, что перед самым носом: не видали истинной красоты, бескорыстия, самозабвенной любви, всеискупающих человеческих качеств, которые были

у них перед носом,— а они томились обо всем этом и тщетно искали этого в книгах, театрах, далеких теориях и фантазиях. Я счастлив, что у меня был достаточный слух и чутье к людям,— так что они выявлялись для меня. И мое убеждение, что кругом нас, не всегда заметно для нас, живут очень многие удивительные люди,— а в каждом из нас есть скрытый цветок, который готов распуститься, как предвестник того прекрасного, всем нам общего, которое должно быть впереди, чтобы объединить нас всех, таких рассыпанных и жалких в своем слепом одиночестве, в своей индивидуалистической культуре, которой мы еще так гордимся.

Мы в своих буднях и в будничном воззрении на жизнь и людей, которые нам кажутся «привычным и все тем же», и не подозреваем, как праздничен и бесконечно ценен и содержателен для нас человек...

30 апреля 1927.

...Когда-то очень давно, в 1888 году, 15 августа, провожал из окна Кадетского корпуса глазами удаляющуюся тетю Анну, только что сдавшую меня в чужую и новую обстановку корпуса. Кругом ходили кадеты, собирались строиться для занятий, проходили незнакомые, большие и казавшиеся суровыми офицеры; мне надо было скрывать тупую боль, которая меня наполняла от расставания с моей единственной тетей Анной,— и я украдкой засматривал в окно на дорогу, по которой она должна была уходить от меня.

...Тогда я, тринадцатилетний мальчик, чувствовавший себя потерявшимся в новом, чужом, незнакомом лесу, болел от разлуки с тетей, которая вот только что была неразлучно со мною и вот ушла.

...Мы все одно, как ни застилаемся друг от друга условными скорлупами, которые с годами становятся застарелыми и прочными,— но как только счастливый случай размягчит и разобьет скорлупу, просыпается все та же дорогая тяга по сродству между тем, что в одном лице, и тем, что в другом!

Ничто другое, как исключительная и, можно сказать, исчерпывающая любовь моя к тете Анне воспитала во мне эту тягу к человеческому лицу («доминанту на лицо»), о которой я говорю потому, что она во мне брезжит, как утренняя заря какого-то очень хорошего и очень горячего и светлого дня, который я издали так

приветствую, хоть и не дождусь его. Лишь бы была эта тяга к лицу,— она преодолеет и победит все преграды, предрассудки, теории, понавыдуманные разъединенными людьми для того, чтобы поддерживать разъединение!

...Пока не сделано решающего шага, чтобы перешагнуть через границы к другим людям, как самодовлеющим и ничем не заменимым лицам, которые появляются в мировой истории однажды, чтобы никогда, никогда не повторяться,— не сделано еще ничего!

Это исключительно трудно, тут труднейшая из задач человечества. Но все равно это необходимо. И тем лучше, что трудно,— значит, в особенности достойно человека, бесконечно прекрасного и удивительного существа!..

Когда-то на досуге, в 1919 или 1920 году, это ясно формулировалось для меня при чтении Огюста Конта: он помог мне тем, что доводил и обострял мысли и понятия до последней четкости. Тогда в Университете не было почти никакой работы, я подолгу мог думать и читать, перемежая чтение и писание варкой пищи и мытьем посуды, во время которых продолжал думать. По плите ползали жалкие и истощенные тараканы и по-своему подкрепляли текущие размышления... Так вот, Огюст Конт с совершенной четкостью высказывает и защищает следующий тезис: истинной реальностью для научной мысли обладает только род или вид, но не индивидуум. В самом деле: кому интересна всерьез вот эта индивидуальная бабочка, эта индивидуальная кошка, этот индивидуальный, такой жалкий и истощенный, сейчас ползущий по плите таракан? Интересен и важен «таракан» как вид, «кошка» и «бабочка» как животные роды и виды! Мы берем индивидуального таракана, индивидуальную кошку или бабочку для того, чтобы, рассекая их тело, раздражая их нервы, постичь modus vivendi [16] всего существующего вида, рода и класса бытия.

Бытием в собственном смысле обладает для нас вид, род и класс, но не этот, никому сам по себе не интересный таракан, кот или кокон!

...Вот, отсюда всего один шаг, и мы приходим с логической последовательностью к признанию: бытием

в истинном смысле слова обладает не тот человек, который вот сейчас сидит на концерте, или умирает в больнице, или едет из лесу с дровами, или влюблен, или трудится над научной проблемой, или торопится со службы домой, или задумывает дипломатический шаг, или обманывает своего приятеля,— истинным бытием обладает *лишь* человек вообще, homo sapiens, или, в лучшем случае, классовый человек, homo aeconomicus. И отсюда также понятно и правомерно, что мы берем вот этого человека, который сейчас перед нами, для того, чтобы на нем изучать единственно заслуживающее интереса: «человека вообще», или «классового, экономического человека», или «национального человека», т. е. то, что сколько-нибудь заслуживает наклейки на себе научного ярлыка. И, вместе с тем, с тем же хладнокровием и чувством своего права, с которыми мы приступаем к экспериментам на бабочке и кошке, мы будем теперь третировать этого человека, который сейчас перед нами (например, Анну Николаевну Ухтомскую...), чтобы постигнуть и, по нашему убеждению, улучшить жизнь «человека вообще», или «классового человека», или «национального человека».

...Тут повторение и отрыжка очень старого схоластического спора средних веков, между так называемыми реалистами и номиналистами (две главенствующие школы логиков в конце средневековья). Спор был в том, принимать ли общие категории и понятия за реальности или только за имена. Для одних общие понятия, вроде «причина», «цель», «число», «время», «felix leo», «homo sapiens» — были подлинными реальностями, тогда как для других это были не более как слова («имена» — nomina), а подлинная реальность принадлежала конкретным причинам смерти конкретного человека N, или конкретной цели поступка NN, или конкретному дню 16 марта 1593 года, или вот этому льву, который сейчас прячется за кактусами в совершенно определенном пункте Африки, или вот этому человеку, что сейчас ложится спать, снимает башмак и думает, что ему завтра делать. Для школы «реалистов» и день 16 марта 1593 года, и конкретный лев, и конкретное человеческое лицо — все эфемерности, в сущности почти не существующие по сравнению с незыблемыми понятиями «причина», «время», «лев», «человек вообще». Для школы номиналистов действительно существуют только конкретные, текущие

вещи, события и люди, а отвлеченные понятия — одни слова и эфемериды!

Говорить нечего, что реалисты должны были восторжествовать в средние века: их взгляды слишком соответствовали духу, царившему в холодных каменных стенах католических ученых аббатств. Клод из «Собора Парижской Богоматери» именно в реализме черпал оправдание тому, чтобы пожертвовать эфемеридой — цыганской девушкой — ради торжества своего мировоззрения. Великий Инквизитор своими иссохшими старческими руками давал благословение на кровавые казни над живыми, дышащими жизнерадостными людьми тоже во имя «реализма».

Но вот и интимный друг Сен-Симона, тонкий мыслитель, основатель «позитивной философии» Огюст Конт даст «научно обоснованное» благословение на то, чтобы считать конкретное, живое существо (все равно — человеческое, или львиное, или бабочкино) за эфемерности, которыми всегда можно пожертвовать ради «le Grand Être»[17], за которым мыслится человечество! Да ведь совершенно ясно, что это тот же Клод, тот же Инквизитор, тот же распинатель живого, конкретного праведника, во имя и во славу своей излюбленной теории, которая его ослепила и оглушила, так что он не может уже узнать Сократа, Спинозу, исключительно ценное человеческое лицо, когда оно реально придет!

Совершенно очевидно, что если человек не будет открыт к каждому встречному человеческому лицу с готовностью увидеть и оценить его личное прекрасное, с чем он пришел в мир, чтобы побыть в мире и внести в мир нечто, исключительно ему присущее, — такой человек не сможет узнать и Сократа, и Спинозу, когда они реально к нему приблизятся. Такой человек — реалист, приписывающий реальность и значимость только своим мыслям, будет наказан тем, что пропустит мимо себя, как эфемерность, и Сократа, и Спинозу, и самое прекрасное, что может вместить мир!

...Своя теория, свое понимание, своя абстракция ему дороже, чем встречные люди в их конкретной реальности. Циркуль все по-прежнему продолжает опираться на свое персональное понимание, а мир и люди продолжают представляться вращающимися около моего понимания!

На самом деле и номиналисты, признававшие реальным только конкретное, и реалисты, признававшие и признающие реальным и значимым только общее и родовое,— были односторонни и не правы в своих спорах. Им и не выбраться было из затеянного спора, потому что они, в своих крайностях, предполагали друг друга. Ведь «общее» предполагает «конкретное» как свою частность, а «конкретное» предполагает и «общее». Типическая картина: два смертельных врага, антипода, не могущие, однако, жить друг без друга! Один утверждает с яростью свое только потому, что не в силах освободиться от тайной органической связи с антиподом!

Я понял то, что понятно было уже древним: в действительности реальным значением и бытием обладает и общее, насколько нам удается его открыть, и частно-индивидуальное, насколько оно дается нам в наглядности ежедневно и ежеминутно. Реально и то, что ежедневно солнце освещает нам новый день так же, как вчера и как сто лет тому назад; реально и то, что 24 апреля 1927 года было, чтобы никогда не повториться в мировой истории!.. Живою, неизгладимой реальностью обладает и общая категория, и род, и вид, и человеческое общество, но также и индивидуальное, частное, мгновенное. Но для того, чтобы это признать со всею отчетливостью, необходимо, чтобы индивидуальное перестало быть только соотносительным и уравновешивающим понятием в отношении общего и родового,— необходимо заменить отвлеченное понятие «индивидуальности», как чего-то расплывчато-теряющегося в общем,— живым понятием лица. Живое интегральное, конкретное единство, приходящее в мировую историю, чтобы внести в нее нечто совершенно исключительное и ничем никогда не заменимое,— стало быть, существо страшно ответственное и, вместе с тем, требующее страшной ответственности в отношении себя со стороны других,— вот что такое лицо всякого живого существа, и в особенности лицо человека.

Вы чувствуете, что тем самым вносится в наше мышление совершенно новая категория — «категория

лица», которая обыкновенно игнорируется в системах логики, в теориях познания и в философских системах,— потому что громадное большинство этих систем написано индивидуалистически мыслившими людьми с самоупором на себя! А Вы понимаете, что мысль и жизнь с упором на лицо другого это уже не философия, не самоуспокоенная кабинетная система, а сама волнующаяся, живая жизнь, «радующаяся радостями другого и болеющая болезнями другого»!

Ни общее и социальное не может быть поставлено выше лица, ибо только из лиц и ради лиц существует; ни лицо не может быть противопоставлено общему и социальному, ибо лицом человек становится поистине постольку, поскольку отдается другим лицам и их обществу.

«Общее» и «частно-индивидуальное» старинной логики превращается в живые и переполненные конкретным содержанием «общество» и «лицо». И если там, у старых логиков, возможен бесконечный спор, кому приписать истинную реальность (общему или индивидуальному), то здесь ясно, что и вопроса такого быть не может: одинаково бьет жизнью и содержательностью и общество, и лицо.

И вот, кстати сказать, в чем я вижу чрезвычайное приобретение для человеческой мысли в таком точном и в то же время ярко конкретном понятии, как «хронотоп», пришедшем на смену старым отвлеченностям «времени» и «пространства». С точки зрения хронотопа[18], существуют уже не отвлеченные точки, но живые и неизгладимые из бытия события; те зависимости (функции), в которых мы выражаем законы бытия, уже не отвлеченные кривые линии в пространстве, а «мировые линии», которыми связываются давно прошедшие события с событиями данного мгновения, а через них — с событиями исчезающего вдали будущего. Если бы я обладал скоростью, превышающей скорость света, я смог бы видеть события будущего, вытекающие из сейчас переживаемого момента. Тогда можно было бы поднять вопрос о том, как нужно было бы переделать события текущего момента, чтобы дальнейшая «мировая траектория» повела к тому, что желательно. Человек с ужасом остановился бы на протекающем моменте, если бы с ясностью увидал, что в будущем

он таит в себе предопределенное несчастие для того, кто ему дороже всего. Но у нас нет скоростей, превышающих скорость света! Да и со скоростью света полететь в темную мглу предстоящей истории мы не можем. Итак, нам приходится реально нести на себе тяготу истории как ее участникам, а о будущем думать лишь гадательно, руководясь предупредительными признаками со стороны глаз и ушей, насколько могут досягать впереди глаза и уши; там, где они не досягают более, предупредителями служат мысли, выведенные из опытов прошлого; там, где не досягают более и обрываются наши мысли и старые опыты, приходится прибегать к предупреждениям интуиции, поэтической догадки,— в конце концов — сердца и совести! Сердце, интуиция и совесть — самое дальнозоркое, что есть у нас, это уже не наш личный опыт, но опыт поколений, донесенный до нас, во-первых, соматической[19] наследственностью от наших предков и, во-вторых, преданием слова и быта, передававшимися из веков в века как копящийся опыт жизни, художества и совести народа и общества, в котором мы родились, живем и умрем.

...Ведь каждый из нас — только всплеск волны в великом океане, несущем воды из великого прошлого в великое будущее! А бедствие индивидуализма и рационализма в том, что отдельная волна начинает мыслить себя исключительной мировой точкой, около которой вращается и прошлое, и настоящее, и будущее, и вращается так, как вздумается этой мировой точке. Ясно, что несчастная мировая точка, воображавшая, что мир вращается около нее и с нее начинается, заседает в спокойном кабинете в необыкновенной куриной близорукости! Она говорит о народе, но только теоретически, в действительности же народ игнорирует, ибо игнорирует ту простую и ясную для детей истину, что сама она, «мировая точка», всего на несколько лет из народа рождена, чтобы опять погрузиться в народ.

Перестали в народе видеть живые лица и оттого сами потеряли лицо, а превратились в «индивидуальности», индивидуалистически мыслящие о мире и людях, чтобы самоудовлетворить свое мировоззрение.

...Да, события далекого прошлого через мгновение настоящего предопределяют события далекого будущего. Каждый из нас ненадолго всплескивается в этом великом море, чтобы передать предание прошлого

преданию будущего. Хорошо, если мы сумеем быть чуткими к тому, что завещало нам *в художестве, в музыке, в слове и в совести* прошлое, чтобы со своей стороны мы сумели быть *художниками своей жизни*, дабы в свою очередь передать *красивое, значащее, совестливое слово тем, кто пойдет после нас*...

1 мая 1927.

...Мне хочется обратить Ваше внимание на одну новую книжку, вывезенную мною из последней поездки в Москву: «Электронная химия» (Госиздат, 1927, под ред. акад. Иоффе). Между прочим, надлежащая задача физиологии ближайшего будущего в том, чтобы внести в свои соображения и толкования именно электронный анализ и понятия электронной химии. Максвелл [20], один из первых, кто положил начало в половине XIX столетия так называемому «электромагнитному мировоззрению»,— отдавал себе отчет в том, что научная мысль здесь отказывается от прежнего признания механики как универсального начала вещей. Масквелл высказал впервые, что сфера электромагнитых явлений не выводима, как частность, из законов механики, а наоборот, законы механики, как *известный провинциализм и частность*, выводятся из законов электромагнетизма. Подобно тому древняя эвклидовская геометрия не универсальная царица наук, как казалось древним и Декарту [21], а провинциализм и частная глава гораздо более конкретной и в то же время несравненно более универсальной системы электромагнитных законов. Вот в книжке, о которой я говорю, есть очень хорошее напутствие работникам в новой электронной химии: «Здесь нам нужны элементарные законы, управляющие отдельными атомами. Для раскрытия этих законов необходимы новые опыты, элементарные опыты, в которых обнаруживается природа отдельных атомов. Результатом этих опытов могут быть законы, совсем не похожие на прежние, на привычные законы. Эти законы могут казаться нам странными. Но не надо забывать, что все новое, непривычное кажется нам непонятным. Надо превозмочь себя и иметь мужество отбросить все привычные взгляды и войти в новую область свободными и непредубежденными, имея в руках лишь одно оружие — непосредственный опыт. Опыт есть един-

ственный непреложный аргумент, и, как бы ни было удивительно то, что он нам говорит,— мы обязаны ему верить и строить новые гипотезы и теории применительно к тому, что мы видим, не смущаясь противоречиями, в которые вступила эта теория со старым и привычным» (стр. 11). Вот это не что иное, как та раскрытость души к реальности, какова она есть, о которой я все время говорю. Готовность принять реальность такою, какова она есть, а не такою, как мы ее предвзято и предрассудочно хотим понимать и толковать на свой старый аршин!

Новая, более конкретная область фактов,— вместе с тем и новые, неожиданные с прежней точки зрения законы! И, что особенно замечательно, эти более конкретные законы вместе с тем потом оказываются и более общими, т. е. включающими в себя прежние абстракции, как частность и как провинциализм. Геометрия оказалась провинциализмом механики, т. е. область фактов, исключительно удовлетворяющих законам геометрии, оказалась гораздо у́же, чем область фактов, подчиненных концепциям механики. Факты геометрии составляют всего лишь провинцию посреди фактов механики! Но точно так же факты механики составляют лишь частность и провинцию в необозримом многообразии фактов электродинамики. На наших глазах сама электродинамика делается провинциализмом учения об электронных сочетаниях.

Вот совершенно так же, с переходом в новую, несравненную, еще более конкретную область опыта, где учитывается сам человек и его лицо,— придется заранее ожидать совсем новых законов и зависимостей, к которым мы не подготовлены и которые надо будет брать непредвзятыми, чистыми от привычек и предубеждений руками! Старые, привычные, казавшиеся универсальными законы войдут потом в эти новые законы как частность и провинциализм.

Курьезно, что в той же книжке через несколько страниц говорится: «Других законов, кроме законов электродинамики, и не существует» (с. 15). Курьезное противоречие себе на старинный образец!

Совершенно так же старинные геометры и механисты в свое время утверждали, что других законов, кроме законов геометрии и механики, в мире не существует,

и на этом предвзятом основании пытались натянуть на схемы геометрии и механики не натягивающиеся на них и неуловимые для них зависимости электромагнетизма! Утверждать теперь, что других, более конкретных и еще более универсальных, законов, кроме законов электродинамики, не существует,— значит повторять в точности школьную традицию старинных геометров и механистов!

Заранее можно и надо сказать, что существует много новых ступеней конкретного опыта — все более конкретного и все более универсального,— прежде чем мы доберемся до последних законов, управляющих человеком в истории! В будущем и геометрия, и механика, и электродинамика, и все «электромагнитное мировоззрение», и экономика — будут узкими провинциализмами в царстве законов, управляющих жизнью человека. Ибо ведь и геометрия, и механика, и электромагнетизм, и экономика — все это произведения человеческой жизни, общения человеческих лиц между собою — человеческого слова, быта и истории! То, чем бьется, мучится и устремляется человеческое лицо в своем общении с другими лицами, составляет несравненно более универсальное и важное в мире, чем всевозможные абстракции школьного мышления!..

2 мая 1927.

...Слово «факт» в сущности двусмысленно. С одной стороны, мы отмечаем им то, что не зависит от наших теоретических ожиданий и предположений, и в этом смысле хорошо говорим, что факты упрямы. С другой стороны, сама этимология слова «факт» взята из латинского языка: «factum est»[22], т. е. «сделано».

В свое время Менделеев и предупреждал, что не следует относиться к так называемым «фактам науки» с суеверной слепотой,— дескать, это что-то непреложное и неоспоримое, не подлежащее спору. Множество фактов науки просто «сделано» теми предубеждениями и теоретическими предвзятостями, с которыми люди подходили к действительности. Многое принимается за неоспоримый факт просто потому, что люди сейчас так склонны верить, или так настроены, или, наконец, больны.

Теоретический химик Гельм [23] дает, по-моему, хорошее определение факта в его точном значении для науки: «Факт — это то, что я не могу уничтожить никакими комбинациями моих представлений». Факт, что атом натрия одновалентен и я не могу его переделать — сделать его, например, дву- и трехвалентным. В этом смысле факты опыта это то, что ставит незыблемые преграды моим вожделениям,— вожделение моей теоретизирующей мысли вообще.

Последний и самый неизбывный факт человеческой жизни в том, что «Рахиль плачет о детях своих и не может утешиться, ибо их нет». Теоретизирующий химик может утешиться, успокоиться, что натрий одновалентен и не может стать двувалентным, ибо, в конце концов, это можно вплести довольно просто в общую теоретическую канву учения о веществе.

Физиолог, которому непременно хочется подчинить идее парабиоза [24] все случаи торможения, поболеет, но и утешится, когда ему представят факты торможения, не укладывающиеся в привычные схемы парабиоза: он может сказать себе, что привычные схемы парабиоза не обобщают еще его теории до конца, и новые факты могут быть согласованы с будущей обобщенной теорией, которая охватит и парабиоз и эти особые факты, как свои частности. Но вот никак не переделать и не изменить того, что детей у Рахили больше нет; и никак не утешить нам Рахили, ибо ведь детей ее не вернуть никакими силами!

У Рахили детей больше нет, и как же Вы утешите ее, пока неизменен этот факт?! Трагическое значение факта в том, что он незыблем, как каменная скала, и останется незыблемым, когда самого меня, который его ощутил, уже не будет!

Не может Рахиль утешиться о детях никакими комбинациями своих слов и представлений, потому что все равно детей ее больше нет!

Тут-то и начинается для человека совершенно новая оценка всего своего, впервые открывается ему оценка приходящего к нему человека как неповторимого и неоценимого лица. В этом смысле древний Сократ говорил, что «смерть есть начало мысли».

Смерть, однако, ничего не говорила бы человеку, если бы заранее не было в нем связи с любимым другим, скрытого устремления подтвердить, подкрепить, поддержать любимого другого, от меня отдельного, от меня независимого, но для меня более дорогого и необходимого, чем все мое и чем я сам. Ведь Рахиль сама умерла бы незаметно для себя и с радостным чувством, если бы дети-то ее оставались и пребывали живыми и радостными! Итак, вот он, «социальный инстинкт» (если хотите,— назовите так!) в его изначальном, ни на что другое не сводимом значении! Вот она, оценка жизни и бытия с точки зрения категории «лица»,— скажу я!

Нужно быть черезмерно замкнутым в себе и в своем лабораторном кабинетике, черезмерно самоудовлетворенным в своих теорийках, чтобы так оглохнуть для живого человека и человеческого лица, что уже и вопль Рахили более не долетает до твоего омертвелого мышления! Слишком застарелый эгоистический образ жизни нужен для того, чтобы стать более невосприимчивым к тем «басовым тонам жизни», которые впервые делают человека человеком!

Индивидуалистическая культура, индивидуалистическая тренировка жизни и мысли именно таковы, что заглушают голос Рахили. Оттого наши спокойные теоретики не могут найти в человеке даже и «социального инстинкта», не говоря уже об исключительном значении человеческого лица.

6 мая 1927.

...Знаете,— я с громадным страхом подхожу к музыке, особенно такой, как Бетховен. Ведь тут все самое дорогое для человека и человечества. И безнаказанно приближаться к этому нельзя,— это или спасает,— если внутренний человек горит,— или убивает, если человек слушает уже только из «своего удовольствия», т. е. не сдвигаясь более со своего спокойного самоутверждения.

Искусство, ставшее только делом «удовольствия и отдыха», уже вредно,— оно свято и бесконечно только до тех пор, пока судит, жжет, заставляет гореть... Поганый «закон Вебера—Фехнера» [25] делает то, что Бетховен более не будит человека в спящем животном,— животное, в котором спит и едва всхрапывает человек,

спокойно говорит о своих дрянных делишках и после Бетховена! А ведь это значит, что уж ничто святое разбудить его не способно!

...Пусть же не дает человек себе засыпать, пусть не подходит дважды к святому,— пусть Бетховен не заглушается привычкою; пусть он не будет для меня праздным удовольствием...

Бетховен творил не для человеческого «удовольствия», а потому, что страдал за человечество и будил человека бесконечными звуками, когда сам оглох...

8 мая 1927.

...Сказать ли Вам одну мою затаенную мысль, даже не мысль, а мелодию, которая скрывается в моей душе и так или иначе всегда влияет на нее? Мне затаенно больно и страшно за людей, когда они радостны, потому что меня охватывает тогда жалость к ним,— потому что я знаю, что вот этому самому милому и радостному сейчас существу скрыты те горести и печали, которые уже таятся в этом самом хронотопе, который его окружает, уже растет то дерево, из которого будет изготовлен его гроб, уже готова та земля, в которой будут лежать его кости. Вот оттого так думается в жаркое лето об осенней стуже, чтобы зимой и осенью вспоминать о солнечном лете!

Каждый человеческий поступок, как бы мелочен он ни был, неизмеримо важен, потому что за ним следуют долгие, долгие последствия, которые исправить не удается подчас и годами. Вот почему так страшно за людей, когда они, отдаваясь радости, перестают заглядывать в то, что в этот самый момент предрешается в мире тяжелого для них же самих.

Я боюсь за счастливых и радостных людей потому, что люблю их; и тем больше боюсь за них, чем больше их люблю...

Радость должна быть; без радости человек уже сейчас мертв. Ради радости мы живем. Но радость действительно прочная и безбоязненная только та, к которой звал Бетховен в 9-й симфонии,— радость, прошедшая через все печали, знающая их, учитывающая все человеческое горе и все-таки победно зовущая к всечеловеческой радости, к которой мы все идем, несмотря на горести и болезни, на нищету и смерть!..

15—16 мая 1927.

...И вдруг я опять почувствовал себя таким старым, ослабевшим, далеким от этой жизни, странным для нее. Впрочем, «странным» для окружающей жизни я был всегда, всегда. Оттого-то и не мог в нее влиться. Всех любил, но ото всех был отдельно: любил людей, но не любил их склада жизни,— ревниво и упорно не хотел жить так, как у них «принято».

Никакой самый чуждый мне уклад жизни не мешал мне видеть и любить отдельных людей, независимо от обстановки их жизни. Но обстановку их жизни,— то, что у них «прилично и принято»,— я очень не любил, видел в ней цепи и кандалы для самих этих людей и всеми силами уходил от этого. Жалею ли я об этом? Нет, не жалею! Ушел бы и сейчас, если бы повторилось прежнее. И на моих глазах разрушалось то, что мне казалось чуждым в людской жизни, что меня отделяло от них!

...Да, вот он — хронотоп в своей страшной реальности, в которой предопределяются количественные связи истории и человеческого бытия; где пространственные определения спаяны неразрывно с временем; где траектории, или «мировые линии», предопределяют события так же, как уравнение кривой предопределяет координаты точек, которые на этой кривой лежат; и где событие, как раз навсегда неизменный и роковой факт, предопределяет дальнейшее течение во времени,— прибавлю я от себя.

...Эти искания наполняют мою жизнь и будут со мною, пока я жив... До сих пор я шел и карабкался одиноким стрелком в горах, все рискуя оборваться в тумане, где подчас ничего не видно. Должно быть, вот этот мой дух постоянного искания и привлекал ко мне молодежь.

...Я всю жизнь опрометью бежал от «обстановки» и «комфорта», видел в них своего врага, отвратительного идола вроде тех, что стоят в этнографическом музее Академии наук.

...Несмотря ни на что — радость в Красоте, ибо, еще раз, жизнь есть требования от бытия Смысла и Красоты; только там, где требование продолжается, продолжается жизнь; и где это требование прекращается, прекращается жизнь.

24 мая 1927

Рано утром я проснулся с готовой формулой, которая, мне кажется, выражает самым кратким способом основную мелодию, которая мною владела и владеет в жизни: мне представляется тревожным, опасным и вредным для человека то состояние, когда сбываются его мысли. Вот эта мелодия, воспитавшаяся во мне, может быть, с детства и владеющая мною откуда-то из глубины всего существа, объясняет многое, многое в моей жизни и поведении. Вот оттого я так готов уступить то, что для меня до болезни дорого... Оттого я никогда не настаивал на своих «правах» и, в сущности, ничего не считаю своим «правом». Оттого во мне всегда было некоторое презрение к тому, что принято считать хорошим, приличным, требующимся, важным. Оттого же я со страхом смотрел на своих товарищей, когда они женились и мне приходилось встречать на улице эти нежные пары со склоненными головами друг к другу, мне приходилось, бывало, встретив такую пару,— товарища с женою,— убегать от них с чувством тревоги и страха,— как-нибудь так, чтобы они меня не заметили. И когда потом приходилось узнавать, что они очень несчастливы, а в одном случае дело кончилось убийством жены, я ловил в себе эти мысли,— что так и следовало ожидать. Оттого же, из той основной мелодии, ко всем людям и всему человеческому я относился и отношусь с глубокой жалостью, и это, несомненно, преобладает во всех моих отношениях к людям... И оттого я всегда мог и могу сходиться с самыми разнообразными людьми, совершенно независимо от их положения, убеждений и пониманий. Проще всего сходился с бедными, оборванными и забитыми людьми. Они — ближе всего к реальности, и с ними быть и сойтись проще всего. «Бедный умеет стоять перед лицом жизни»,— сказал древний мудрый человек. «Бедный умеет стоять прямо перед жизнью» — так еще переводили эти греческие слова IV века.

Вот теперь я задаю себе вопрос: что же это во мне? Недоверие к реальности или недоверие к мыслям о реальности? Может быть, есть и первое; но преобладает несомненно второе! Реальность, милая, болезненная, любимая, режущая, радующая, как никто, и

вместе убивающая, бесконечно дорогая, и в то же время страшная,— в сущности, всегда такая, какою мы ее себе заслужили, т. е. какова наша деятельность в ней, наше участие в ней. А вот мысли о реальности это то, что всегда нечто такое, что вселяло в меня недоверие,— тем большее недоверие, чем люди более ими довольны и гордятся.

«Человек всегда недоволен своим положением и всегда очень доволен своим умом и пониманием»,— писал Л. Толстой. Я всю жизнь стремился быть довольным своим положением и всегда был недоволен умом, теоретическими построениями,— тем, что называется у людей пониманием.

Помню, как проф. Розенбах [26], когда я слушал у него клинические лекции по психиатрии, спросил одного больного, как он себя чувствует в госпитале. Больной ответил: «Здесь было бы все недурно, если бы не идиотские, оловянные глаза психиатров, которые от времени до времени на тебе останавливаются с таким видом, что они все понимают; а они ведь ничего не понимают!» Вот, я тогда глубоко, глубоко был на стороне этого больного.

И та же моя мелодия, в сущности очень для меня болезненная и мучительная, объясняет, почему в моих глазах так исключительно драгоценно человеческое лицо и влияние на человека другого лица! Когда у человека все сбывается, по его мыслям, это ведет в нем к самоудовлетворению, к покою, к глухоте относительно тех голосов, которые рядом с ним. Самоудовлетворенный и довольный своими мыслями человек — солипсичен! Это он довел самого себя до конца, когда заговорил о солипсизме! Хорош человек тогда, когда он в борении, и прежде всего в борении с самим собою, когда он в творчестве и готов принять реальность и новое вопреки своим излюбленным теориям и покою.

Но где наименее выдуманная мною самим, наиболее безусловная, наиболее конкретная и непрестанно новая реальность, как не в живом человеческом лице вне меня? «Опыт всегда нов»,— подчеркнул Гёте, чтобы отличить опыт и реальность от наших мыслей и теорий, заведенных для собственного хозяйства! Спрашивается, что же более нового, непрестанно обновляющегося, чем человеческое лицо, рядом и около меня? Поставить доминанту на человеческое лицо, т. е. на реальнейшую из реальностей,— то, что дано тебе сейчас

в ближайшем встречном человеке,— это значит уметь заранее приветствовать и принимать все то новое, постоянно вновь заявляющее о себе бытие другого, независимо от моих ожиданий и теорий о нем. Действительно любящая мать всегда радуется всему новому и неожиданному, что открывается в растущем ребенке. Вот надо суметь распространить этот ее талисман на всякое человеческое существование, которое ежедневно встречается! «Не мое, не я, совсем другое и, однако, самое дорогое и любимое» — вот великий секрет, открывающийся впервые со внесения категории лица и запечатанный непреодолимыми печатями для всех тех, кто не дорос еще до категории лица в своем поведении и мышлении, вообще в постановке жизни. Категория лица должна быть принята в качестве вполне самостоятельного и исключительного фактора опыта и жизни наравне с такими категориями, как «причина», «бытие», «единство», «множество», «цель» и т. д. И мое убеждение в том, что человеческая деятельность, культура, исторический подвиг являются поистине «звенящей медью и бряцающим кимвалом», пока человек не внес в свой обиход категорию лица, пока доминанта его не поставлена решительно на лицо вне его...

...Философы говорят: «Я ищу согласия с самим собою,— согласия и счастья в моих мыслях». Так и рожденная ими абстрактная наука, в особенности школьная, ищет более всего согласия, самоудовлетворения в своих исходных идеях и выводах. А я вот всего более боюсь этого самоудовлетворенного согласия для человека, ибо в нем чудится смерть! Пускай растревоживается вновь и вновь человеческое самоудовлетворение, пускай ему не будет покоя, пускай разрушается его счастье, пускай он не найдет себя без другого, пускай без других не смеет мечтать о счастии и покое,— пускай над ним будет судящее, его совесть, живое человеческое лицо!

«Се — человек»!

Любимое человеческое лицо лучше всего символизирует то, что представляет для человеческого мышления и поведения истина, предчувствуемая и проектируемая, но не дающаяся в руки, а влекущая за собою все далее вперед. Она всегда нова, всегда впереди. Для натуралиста именно такова Истина! Жизнь, и ис-

тория, и культура будут бесконечно новы и содержательны, когда они будут направлены на лицо!

Мне хочется, чтобы Вы уловили, что я излагаю здесь свои мысли не докторально, не поучая, а так, как они есть, причем я допускаю, что они произошли из одной, однажды явившейся мелодии, когда-то засветившейся в далеком детстве. Я допускаю, что эти мысли, таким образом, имеют совсем частный характер, т. е. мой личный. Но, во-первых, когда человек думает, он это делает в понятиях, общих для всех, и потому втайне живет упованием, что думает не для себя лично, а для всех. Во-вторых же, каждое явление в мире имеет свой смысл ⟨...⟩ в общем деле человечества и мысли каждого из нас,— поэтому и мое частное и личное имеет свое место в нашей общей, всечеловеческой жизни...

27 мая 1927.

Всякое соприкосновение людей между собою страшно ответственно. Тут нет «мелочей» или «неважных деталей». Малейший неправильный оттенок, допущенный при первой встрече, налагает неизгладимые последствия на дальнейшее общение тех же людей. Потом уже и не учесть, когда и в чем началось то, что портит и искажает дальнейшее! Может быть, уже в первый момент встречи предрешается то, откроются ли друг другу когда-нибудь эти встретившиеся люди и достигнут ли самого важного и драгоценного — общей жизни каждого в лице другого,— или при самой тесной жизни вместе будут все более замыкаться каждый в своем солипсизме и глухоте к другому...

И ведь это так часто в человеческой жизни, что люди живут как будто общею жизнью, вместе, но, однажды начав глохнуть друг к другу, глохнут далее все более и более, живут далее, все более замыкаясь один от другого, не слыша более друг друга, не видя более живого лица один в другом.

...Так легко портится человеческая жизнь. И так трудно достигается единственно драгоценная золотая жила — действительно общая жизнь с открытым, незатуманенным слухом друг к другу.

Значит, всякий, уже маленький, шаг человека в отношении другого человека страшно ответственен, ибо влечет за собою неизгладимые последствия, исправляемые только смертью. Ведь вставшая однажды стена

и глухота между людьми не может быть исправлена никакими «условностями», «принятостями»,— когда сама-то общая жизнь уже потеряна, а уши одного лица забиты в отношении другого лица!

...Между тем люди видят друг друга в наших условиях точно с одного маяка светящийся огонек на верхушке другого маяка, между ними громадное пространство, а перекликнуться и сказать друг другу привет так надо! Вот я здесь и тебя чувствую! Вместе переживаем бурную ночь!..

15 марта 1928.

...Ничто другое, как жизнь для других, выправляет, уясняет и делает простою и осмысленною собственную личную жизнь. Все остальное — подпорки для этого главного, и все теряет смысл, если нет главного...

...Любовь сама по себе есть величайшее счастье изо всех доступных человеку, но сама по себе она не наслаждение, не удовольствие, не успокоение, а величайшее из обязательств человека, мобилизующее все его мировые задачи, как существа посреди мира. Сама о себе любовь говорит: «Приближающийся ко мне приближается к огню; но тот, кто уходит от меня, не достоин жизни». Перифраз этого таков: я — огонь; приближающийся ко мне должен помнить, что может быть опален; но тот, кто, из страха быть опаленным, отдаляется от меня, утрачивает источник жизни. Это древнеалександрийский текст, когда-то меня особенно поразивший лапидарным выражением величайшей правды о том, чем мы живем и чем жив человек. Истинная радость, и счастье, и смысл бытия для человека только в любви; но она страшна, ибо страшно обязывает, как никакая другая из сил мира, и из трусости пред ее обязательствами, велящими умереть за любимых, люди придумывают себе приличные мотивы, чтоб отойти на покой, а любовь заменяют суррогатами, по возможности не обязывающими ни к чему. Придумываются чудодейственные программы с расчетом на фокус, чтобы как-нибудь само собою далось человечеству то, что по существу достижимо лишь силами любви!..

...Тут более, чем где-либо, ясно и незыблемо, что физиологическое и материальное обусловливает собою

и определяет то, что мы называем духовным. И тут в особенности ясно также, что половая любовь не может быть поставлена в один план с такими побуждениями, как голод, или искание удовольствия, или искание успокоения. Это старое, весьма гнусное заблуждение, норовящее уронить святыню в грязь, а дело сексуальной любви превратить в гигиеническое отхожее место. Этим переполнена наша городская культура Европы, и это убедительнее, чем все прочее, говорит о том, что культура эта на песке и обречена! Если будущий социализм хочет быть здоров и прочен, он должен вытравить всякие остатки гнилого «либерализма» из сексуальной жизни. Для этого путь один: поставить человеческое лицо на подобающее ему место ничем незаменимой ценности и исключительного предмета любви.

...Да, мир уходит неуклонно в одну сторону. События мира и события в нашей жизни посреди мира неповторимы и безапелляционны. Каждый миг приходящие события произносят над нами неуклонимый суд, ибо лишь выявляют явно то, что скрывалось в нас тайно в предыдущем!

...И мир, и мы в нем утекаем в одну сторону, и утекаем не слепо, а с какой-то замечательной закономерностью,— надо надеяться, к чему-то лучшему.

...Если у меня в жизни было и есть что-то хорошее для встречаемых людей, то это хорошее, по-видимому, в том, что я глубоко и до конца верю в великий смысл жизни и в людей; и в том, что я соблюл в себе благоговение к человеческому лицу, которое выше всего и неповторимо, а обязательства перед ним вечны. Все остальное для него, т. е. чтобы жив был возлюбленный человек,— чтобы поднимался, расцветал, бодрился и нес радость в жизнь других и в бытие.

Вы спросили меня как-то, не пессимист ли я. Конечно, нет! Я считаю пессимизм тяжелой и очень противной болезнью. Но вместе с тем я с самого молодого возраста знаю ту муку, на которую обречена в мире подлинная любовь и которую я пережил, лишаясь покойной тети. Для малодушия лучше об этом не знать. Но тот, кто хочет знать жизнь в полноте, чтобы быть надежным другом для своих друзей, должен знать и это. И после этого не может быть более слепого оптимизма, которым норовит жить танцующая и гуляющая публика!

...Слепой оптимизм без страха и упрека есть такой же самообман легкомыслия, как пессимизм есть гнилостный самообман малодушия; тогда как здоровая жизнь человека — оптимизм зрячий, учитывающий все, что известно страшного в жизни и в людях, и при всем том сохраняющий веру в них, несмотря ни на что!

...Но далеко не все то, о чем мечтает человек как о самом необходимом и прекрасном, приносит в самом деле добро людям.

Плох и негоден человек, ничего не желающий и не умеющий желать. Но когда человек желает, ему всегда кажется, что он желает добра. Между тем это лишь иллюзия, будто стоит пожелать — и тем самым это уже и желание добра! Объективное добро достигается, как золото, промывкою и проверкою человеческих желаний, причем на многие пуды руды, которую выкапывает «старатель», очищается лишь золотник ценного вещества...

11 апреля 1928.

...Однако, что ни делается, все к лучшему. Это значит, во-первых, что все совершающееся имеет свой смысл и достаточные основания в нас и вне нас, а во-вторых, что все совершающееся надо уметь направлять к лучшему. Уметь понимать прошлое, чтобы направлять настоящее к лучшему,— вот последняя мудрость не на словах, а на деле, в которой каждый из нас представляется лишь всплеском волны, переносящим энергию из великих заветов предков к прекрасному будущему человечества.

Только бы эта уверенность, что великое море с его непрерывностью волн течет к лучшему, не превратилась в квиетизм [27]. Каждый из нас, каждый всплеск волны — страшно ответственный участок волнения...

...Найти настоящий путь к осуществлению действительно доброго всегда трудно и болезненно. Так легко сделать ложный шаг!

...Все действительно ценное в мире зарабатывается

трудом и болением сердца — такова диалектика жизни и бытия.

...Широкий и гладкий путь и открытые ворота ведут к падению и смерти того, что есть лучшего в человечестве. Тесный путь и болезненны ворота к настоящему добру между людьми. Вот диалектика из диалектик бытия!..

...Я люблю людей, но людские группы меня мало понимают — это горько, но что же поделать! Не понимают, например, и того, что все это, выселившееся из России от советской власти, черезмерно чуждо для меня, как совершенно, черезмерно чужда прогнившая русская «аристократия» и «интеллигентщина». Всецело предан я народу, ибо я его частичка, в его великом море я только всплеск волны, как и все мы, идущие к великому свету, который засияет над народом, ибо выношен его поколениями и бесчисленными болениями сердца на великом, тесном и трудном пути.

28 июня 1928.

...Ужасно непрочно мы живем, жизнь каждого из нас готова сорваться из того неустойчивого равновесия, которое нас поддерживает. Это, в самом деле, колебание на острие меча; и только постоянным устремлением вперед, динамикой, инерцией движения удерживаемся мы в этом временном равновесии. Тем осторожнее приходится относиться друг к другу, тем ответственнее всякое приближение к другому человеку, и тем более чувствуешь эту страшную ответственность перед лицом другого, чем более его любишь.

Вот по тому, как истинктивно-осторожно подходишь к тому, кого любишь, надо учиться, как следует подходить ко всякому человеку! Беда именно в том, что мы слишком невнимательно, бесконечно тупо проходим мимо людей, которых встречаем на улице во множестве каждый день, не подозревая того, что в них и с ними делается! Собственно говоря, основная наша нравственная болезнь в «нечувствии» друг к другу, в глухоте к тому, чем живет ближайший сосед и товарищ по жизненному труду.

Мне было дано громадное счастье в том, что я в детстве и юности глубоко и неразрывно любил и чувствовал тетю; это как бы разбудило меня на всю дальнейшую

жизнь, заставив почувствовать и понять, как драгоценен, в то же время — непрочен и хрупок всякий человек. Узнал я из этого и то, что так называемое «счастливое состояние» сплошь и рядом является каменной стеной, разъединяющей людей и делающей их глубоко слепыми и незрячими в отношении соседей и товарищей по труду жизни. Приобрел и то, что, когда я сам счастлив, мне требуется немедленно передать это другому,— вовлечь в свое счастие другого, по возможности всех. И тут в самом деле диалектика жизни, что свое счастие, если оно в самом деле солнечно, тотчас влечет огорчение и боль оттого, что вот не удается и не хватает сил вовлечь в это счастие другого и всех!

...Только слепое счастие обходится без боли, ибо оно не видит соседа и товарища, но тогда оно исключительно субъективно и тем самым становится объективным несчастием для других. Разве неясно, что то, что теперь называют «буржуазным укладом жизни», коренится ни в чем другом, как в слепоте и глухоте друг к другу, от замыкания каждого в свое маленькое счастье?

Настоящее, солнечное счастие там, где от избытка сердца человек стремится вовлечь всех в открывающееся ему радостное и прекрасное. Ведь по-настоящему человек любит именно о т и з б ы т к а р а д о с т и и с в е т а в с е р д ц е! И это нечто как раз противоположное тому самозамыканию в своем уюте и так называемое счастье, к которому протягиваются жалкие, трепещущие, жадные руки! То, настоящее, счастие щедро открыто и светит всем, как действительное солнце. Оно всех зовет к себе и идет к любимому затем, чтобы лучше и веселее было звать к себе других и всех. Маленькое и жадное счастьице, наоборот, замыкается в квартирке, куда не пускают «посторонних».

Так называемое «счастье» мешает человеку быть прекрасным, добрым, светящим... Это ведь совсем не то, что экспансивная, щедрая, всех зовущая к себе радость!

Когда радость приходит к человеку сама собою, непрошеная и нежданная, она есть естественный плод избытка сердца и, в свою очередь, делает человека прекрасным и счастливым, как никогда и нигде (ибо для этой подлинной радости нет пространства и времени!). Но когда человек начинает жадно хвататься за этот дар, чтобы удержать его во что бы то ни стало, и приискивает обеспечения своему счастию, пробует закрепить его для себя,— вот эта самая жадность к счастию, попытка

закрепить за собою счастие, тотчас извращает все и уже мешает быть тем открытым, мужественным, сильным, каким он был; делает его искательным, жалким, трепещущим «буржуа». Быть благодарным за эту нежданную и неискавшуюся радость, которая приходит к тебе как щедрый дар в ответ, быть может, на твою щедрость, и проводить без жадного и жалкого трепетания рук эту птицу — счастье, когда она собирается полететь далее, куда хочет,— отнюдь не пытаясь жалким образом ее удерживать,— вот, должно быть, наша норма. Только при ней мы хороши друг для друга! Ибо только при ней мы способны чувствовать друг друга и то, что сейчас делается в ближайшем соседе и товарище по жизни!

Избыток радости рождает любовь, подлинная любовь в свою очередь окрыляет радость и вместе расширяет зрение, чтобы видеть и чувствовать, чем живы люди и что в них делается; но это ведет к болению за других, которое впоследствии обещает новый дар — умение и радоваться за других,— жить радостью других, забыв свой эгоцентризм. Тогда уменье чувствовать других и жить для друзей будет все расширяться...

2 августа 1928.

...Просвещенные философы наших дней поняли, что самая общая и коренная проблема мысли в так называемой корреляттивности субъект-объекта, в соотносительности субъект-объекта. Более мужественные из философов говорят даже о тождестве субъект-объекта. Что значит эта, такая отвлеченная формула? Что это: нечто уже данное или только далекая, далекая задача жизни?

Спокойные заместители философских кафедр хотят, как будто, сказать, что это данное «я» (субъект) и «мир» (объект) всегда и неизбежно будто бы соотносительны и равны! Нет и не может быть объективного без субъективного, а субъект не может сказать о себе ничего содержательного, кроме того, как он представляет себе объекта и мир! Говорить только об объективном, полагая, что удалось освободить его от своего субъективного, это такая же фикция и самообман, как и полагать свой субъект независимым и обособленным от объекта и мира!

Так говорят философы, захолодевшие на своих

профессорских кафедрах! Философский язык — косноязык! Суконен!

Более горячие и более горячо чувствующие жизнь говорят, что тождество субъект-объекта — это лишь предел стремлений! Это правда, что для человека нет ничего дороже, чем согласие его внутренних желаний и окружающего внешнего мира; и счастлив человек лишь там, где он со своими желаниями и мир со своей фактической настоятельностью—одно: «когда то, что мне по душе,— со мною» и «когда то, что предо мною, вместе с тем и мне по душе». И поэт, и ученый, и техник, и политик, и пророк, и подвижник приходят к своей радости лишь там, где им удается так неразрывно согласить свое внутреннее с действительностью, что уже и нельзя будет сказать: он ли подчинился действительности, или действительность подчинилась ему. В счастливый час действительного творчества поэт, ученый и пророк — одно неразрывное бытие с тем миром, который они учуяли! Но это не одно и то же — учуять красоту и правду и действительно выявить их,— между тем и другим такая же разница, как между желанием и осуществлением! Ну, а если так, то соединение и согласие между субъектом и объектом есть далеко не тотчас данное, а далекий «желаний край».

...Когда-то Гёте задался мыслью переложить для просвещенной европейской публики книгу Иова [28]. Он начал это в юности, а кончил в глубокой старости. Получился всем известный «Фауст», тот самый, которым восторгаются наши интеллигенты, большей частью и не подозревая, что это переложенная для них книга Иова.

Я не слишком большой поклонник переложений. Древнее человеческое творчество прекрасно, в особенности в своем нетронутом оригинале. Надо только постараться его понять!..

15 августа 1928.

...Я вот часто задумываюсь над тем, как могла возникнуть у людей эта довольно странная профессия — писательство. Не странно ли, в самом деле, что вместо прямых и практически-понятных дел человек специализировался на том, чтобы писать, писать целыми часами без определенных целей,— писать вот так же, как трава растет, птица летает, а солнце светит. Пишет,

чтобы писать! И, видимо, для него это настоящая физиологическая потребность, ибо он прямо болен перед тем, как сесть за свое писание, а написав, проясняется и как бы выздоравливает! В чем дело? Я давно думаю, что писательство возникло в человечестве «с горя», за неудовлетворенной потребностью иметь перед собою собеседника и друга! Не находя этого сокровища с собою, человек и придумал писать какому-то мысленному, далекому собеседнику и другу, неизвестному, алгебраическому иксу, на авось, что там, где-то вдали, найдутся души, которые зарезонируют на твои запросы, мысли и выводы! В самом деле: кому писал, скажем, Ж.-Ж. Руссо свою «Исповедь»? Или Паскаль свои «Мысли о религии»? Или Платон — свои «Диалоги»? Какому-то безличному, далекому, неизвестному адресату,— очевидно, за ненахождением около себя лично-близкого, известного до конца Собеседника, который все бы выслушал и помог бы разобраться в тревогах и недугах. Особенно характерны в этом отношении, пожалуй, платоновские «Диалоги», где автор все время с кем-то спорит и, с помощью мысленного Собеседника, переворачивает и освещает с различных сторон свою тему. Совершенно явно, дело идет о мысленном собеседовании, на этот раз уже несколько определенном: это спорщик, оспариватель высказанного тезиса. Тут у «писательства» в первый раз во всемирной литературе мелькает мысль, что каждому положению может быть противопоставлена совершенно иная, даже противоположная точка зрения. И это начало диалектики, т. е. мысленного собеседования с учетом, по возможности, всех логических возражений. И, можно сказать, это и было началом науки. Так из «писательства» в свое время возникла наука! Из полубезотчетного записывания мыслей их планомерное изложение с учетом их последовательности и закономерности.

Древний египтянин и вавилонянин начали неуверенное записывание своих неуверенных мыслей своими странными знаками, на глиняной поверхности для неизвестного адресата. Его корреспонденции мы и теперь можем рассматривать, например, в Ленинградском Эрмитаже. Грек из сопоставления таких корреспонденций попробовал сделать планомерный спор, диалектическую науку. Из горя и неудовлетворенности от ненахождения живого собеседника возникло и писательство, и наука!

Наука, как ее стали потом понимать профессионалы (что может быть скучнее профессионалов?), это уже не только учет возможных противоречий, как было в платоновских «Диалогах», но попытка выявить, что,— после всех возражений,— может быть признано за однозначно-определенную истину. Однозначно-определенная истина — это то, что мыслится без противоречий. Сравнительно легко было признать без противоречий, что существуют собаки, кошки, львы, сосны, пальмы и проч. Возникла аристотелевская «естественная наука», соответствующая нашим «систематикам» в ботанике и зоологии. Но уже бесконечно труднее было сговориться о силах и законах, владеющих событиями. Возникли попытки построить «геометрию без противоречий», «физику без противоречий», наконец, «метафизику без противоречий». Схоласты стали рисовать себе науку как совершенно безличную, однозначную, категорическую в своих утверждениях, чудесную и исключительную систему мыслей, которая настолько сверхчеловечна, что уже и не нуждается более в собеседнике и не заинтересована в том, слушает ли ее кто-нибудь! Это пришел пресловутый рационализм! Рационализм обожествил науку, сделал из нее фантом сверхчеловеческого знания. Профессиональная толпа профессоров, доцентов, академиков, адъюнктов и т. п. «жрецов науки» и посейчас живет этим фантомом, и тем более, чем более они «учены» и потеряли способность самостоятельно мыслить! Засушенные старые понятия они предпочитают живой, подвижной мысли именно потому, что там, где вместо живой и подвижной мысли взяты раз навсегда засушенные препараты мыслей, их легче расположить раз навсегда в определенные ящички. Вместо живого поля — гербарий! Оно спокойней и привычней для рационалиста и рационализма! «De l'homme á la Science» [29] — характерно озаглавил свою книгу по теории естествознания один из правоверных представителей современного рационализма Ле Дантек.[30] «La Science» — это, видите ли, уже не «l'homme»,— это что-то неприкосновенное для человека! [31] Для этих самодовольных людей, которыми переполнены наши кафедры, было чрезвычайным скандалом, когда оказалось, что систем геометрии без противоречия может быть многое множество, кроме общепринятой эвклидовой; и систем физики может быть множество, кроме ньютоновской. А это значило, что

«однажды навсегда построенная система истин» есть не более как претенциозное суеверие; а рационализм снова должен уступить свое, так хорошо насиженное место *диалектике*. Великое приобретение нового мышления в том понимании, что «*систем знания*» может *быть многое множество*, развиваются они, как и все на земле, исторически и в истории имеют свое условное оправдание, но *логически равноправны*. *По-прежнему за ними стоит живой человек, со своими реальными горями и жаждой Собеседника*.

Впрочем, были и есть счастливые люди, у которых всегда были и есть собеседники и, соответственно, нет ни малейшего побуждения к писательству! Это, во-первых, очень простые люди вроде наших деревенских стариков, которые рады-радешеньки всякому встречному человеку, умея удовлетвориться им как своим искреннейшим собеседником. И, во-вторых, это гениальнейшие из людей, которые вспоминаются человечеством как почти недосягаемые исключения: это уже *не искатели собеседника*, а, можно сказать, *вечные собеседники для всех*, кто потом о них слышал и узнавал. Таковы — Сократ из греков и Христос из евреев. Замечательно, что ни тот, ни другой не оставили после себя ни строки. У них не было поползновения обращаться к далекому собеседнику. О Сократе мы ровно ничего не знали бы, если бы за ним не записывали слов и мыслей его собеседники — Платон и Ксенофонт.

О Христе мы ровно ничего не знали бы, если бы народное предание, возникшее от поколения его личных собеседников, не вылилось потом в писаные книги Евангелий, которых было много!

Отчего же они не писали, эти всемирно гениальные люди?

Отчего мы знаем о них исключительно через их собеседников?

Мне кажется, что оттого, что они никогда и не имели неутоленной жажды в собеседнике, ибо *имели всегда наиискреннейшего* собеседника в ближайшем встреченном человеке! Вот в чем секрет! И вот отчего люди толпами шли к ним! Уметь видеть и находить в каждом встреченном человеке своего искомого собеседника! Тогда, конечно, обращаться к мысленному дальнему собеседнику и не придется! Зачем к дальнему, когда все тебе нужное перед тобою. И в то же время, как

писатели всех времен, малые и великие, обращались к дальнему, пронося подчас свои гордые носы мимо неоцененно дорогого близ себя, эти великие мужи умели находить и распознавать искреннейшего собеседника в ближнем. Вот секрет! Дальние узнавали о них через ближних. Оттого и не было у них писательства, никаких абстракций, никакого гербария, а была живая жизнь для живых людей, оживляющая все новые поколения живых людей через века и тысячелетия.

Как это ни парадоксально, но это так! Это, в сущности, уже плохо, если человек вступил на путь писательства! С хорошей жизни не запишешь! Это уже дефект и некоторая болезнь, если человек не находит собеседника вблизи себя и потому вступает на путь писательства. Это или неповторимая утрата, или неумение жить с людьми целой, неабстрактной жизнью!

И притом вот что замечательно. Всякая сила развивает свое действие обратно пропорционально квадратам расстояния. То, что дальний испытывает на далеком расстоянии, он естественно рассчитывает испытывать сугубо с приближением к источнику. А ведь сплошь и рядом бывает, что писатель, ученый, моралист и поэт, разливающийся соловьиной сладостью для дальнего, оказывается несноснейшим субъектом для своих ближайших домашних! Чем ближе к человеку, тем хуже! Тут какая-то радикальная ложь, когда начинают серьезно уверять, будто забывают ближнего для дальнего! Это сбрехнул когда-то Ницше в минуту недуга, а дураки повторяют как некую норму! Хороша «норма», когда перед нами очевидный обман для дальнего, который, по мере приближения к показавшемуся идеалу, находит всего лишь претенциозную скотину!

Вот оттого я более всего хотел бы обладать этою способностью: видеть в ближайшем встречном человеке своего основного искомого, главного и лежащего на моей ответственности собеседника. Всю жизнь хочу жить для ближнего, а на деле умею кое-как жить только для дальнего, не находя сил жить до конца для ближнего!

Теперь я хочу изложить Вам один из наиболее занимающих меня вопросов в связи с доминантами. Вы, может быть, помните мой эскиз об «интегральных образах»? Так вот,— вопрос об «интегральном образе» мира,

в каком мир должен представляться для людей разного склада, например для писателя, беседующего через головы ближних с далекими мысленными Собеседниками, или вот для этих людей, видящих реального и окончательного Собеседника в ближайшем встречном.

Несколько лет тому назад известный германский теоретик познания профессор Алоиз Риль[32] писал, что мышление ученого ничем не отличается от мышления мужика. Это совершенно верно! Абстрактный аппарат мысли один и тот же. Разница между людьми и их мировосприятиями не в мысли, а где-то гораздо глубже! Дело в том, что восприятие не только мира, но даже и ближайшего вседневного опыта чрезвычайно разнообразно и изменчиво, притом не только от человека к человеку, но и в одном и том же человеке в разные моменты жизни. Тот же самый Риль в своей монографии о Ницше писал, что секрет его необыкновенного успеха происходил оттого, что под влиянием болезни он перешел однажды к совершенно новому и оригинальному мироощущению, стал совершенно по-новому воспринимать даже и обыденные вещи, и именно от этого для него возникли совсем новые оценки и перспективы, столь неожиданные для нашего привычного понимания.

Вот еще пример из классической литературы. В «Поэзии и правде» Гёте рассказывает о своей юношеской поездке в Италию и о впечатлении от созерцания картин Микеланджело. Вначале они поразили его чуждостью восприятия мира. Было тяжело и беспокойно смотреть на них. Но когда после длительного и все более углубленного изучения их молодой Гёте вышел «на свежий воздух», он почувствовал, что и улица, и люди, и деревья, и мир стали видеться совсем по-новому. Микеланджело сделал в Гёте какую-то глубокую перестановку, заразил его своим мировосприятием. Из этих примеров уже намекается, что то, что для людей представляется «действительным», «основным», «постоянным» и «характерным» в вещах, определяется в чрезвычайной степени *складом восприятия реальности в данный момент*. Этот «склад восприятия», могущий так внезапно изменяться, *очевидно, обусловлен физиологически*. Человек только может констатировать, что с известного момента для него «все в мире изменилось»! «Весь опыт другой!» Такое внезапное изменение восприятия наблюдается у параноиков; его отмечают у Ницше в опреде-

ленный момент его болезни (перед написанием «Так говорил Заратустра»), его почувствовал в себе Гёте под влиянием Микеланджело. В действительности оно гораздо чаще и обыденнее, чем мы думаем,— мы только мало обращаем на него внимания! *В сущности, после каждого более или менее крутого перелома жизни склад дальнейшего восприятия и опыта уже не тот, что был до сих пор!*

Склад восприятия действительности, с одной стороны, довольно легко передается по преданию от других, поддерживается привычкою и традицией данной общественной группы; с другой, он может быть весьма различен у ближайших людей одной и той же специальности: оттого у разных ученых и школ одни и те же вещи видятся с разных и неожиданных друг для друга сторон,— потому ставятся совсем различные опыты, все освещается новым и неожиданным светом. И оттого же посреди одних и тех же вещей и людей Федор Павлович Карамазов видит, понимает и соответственно действует совсем не так, как видят, понимают и действуют Иван, Алеша, Митя или Зосима. Как же физиологически создается, чем воспитывается этот, столь глубоко различный, склад восприятия, как можно было бы им овладеть?

Моя исходная, первая и последняя задача — в этом. В частности, в чем заключается и как воспитывается склад восприятия Зосимы, этого одинаково открытого и готового Собеседника и для Федора Карамазова, и для Алеши, и для деревенских баб, и для Ивана?

Постепенно я узнал, что он создается большим, чисто физическим насилием над собою, готовностью ломать себя без жалости; наконец, детским отношением к миру как к близкому, интимно-любимому, уважаемому собеседнику и другу. Для взрослого этот склад восприятия, если он не заложен с детства, очень труден, требует постоянного напряжения, удерживается лишь с большим трудом, самодисциплиной, осторожным охранением совести. Но он необыкновенно ценен общественно: люди льнут к человеку, у которого он есть, по-видимому, оттого, что воспитанный в этом восприятии человек оказывается необычайно чутким и отзывчивым к жизни других лиц, легко перестанавливается на другие мироощущения и вытекающие из них горя других лиц. Такой человек, обыкновенно, наименее замкнут

в самом себе, у него наименьший упор на себя, наименьшая наклонность настаивать на своем и своей непогрешимости. Он привык постоянно и глубоко критиковать себя,— оттого он смирен внутри самого себя и не критикует людей, пока они сами не просят его помочь им в их беде! Если он критикует других, то только как врач,— стараясь распутать корни болезни. Словом, это доктор Гааз, вечно преданный, как друзьям, арестантам и каторжанам из Мертвого Дома.

У Федора Павловича, у Мити, у Ивана — у каждого своя отдельность и замкнутость; что ни человек, то свой особый, как бы самодовлеющий мир, своя претензия,— оттого и свое особое несчастие, свой особый грех, нарушающий способность жить с людьми! При этом поведение каждого таково, каково мировосприятие, а мировосприятие таково, какова воспитанная наклонность поведения. Тут для каждого замкнутый круг, из которого вырваться чрезвычайно трудно, а без посторонней помощи обыкновенно и нельзя! Лишь потрясение и терпеливая помощь другого может вырвать человека из этой роковой соотносительности субъект-объекта, т. е. из того, что мир для человека таков, каким он его заслужил, а человек таков, каков его мир! Надо ведь не более и не менее как переменить в человеке его физиологическое мировосприятие, физиологическую, закрепленную привычкою, непрерывность его жизни! А это очень больно и очень трудно! Ибо ведь человеку в его инерции обыкновенно все лишь подтверждает его излюбленное миропонимание, действует он так, как мироощущает, а мироощущает так, как действует. «Chaque vilain trouve sa vilaine».[33] Каковы доминанты человека, таков и его интегральный образ мира, а каков интегральный образ мира, таково поведение, таковы счастие и несчастие, таково и лицо его для других людей.

В самое последнее время я познакомился с неожиданным единомышленником из писателей, именно профессиональных писателей, т. е. таких, которые хотят заглушить тоску по живом собеседнике процессом писания для дальнего. Это М. Пришвин. В некоторых местах он поражает меня совпадением с моими самыми затаенными мыслями. «Я очень верю теперь,— пишет он,—

что мои робкие шаги в журналистике, воспринятые цельным человеком с большим талантом и волей, могут превратиться в великое дело исследования жизни, недоступной самым подвижным романистам и новеллистам. Мне представляется на этом пути возможность доработаться до такой формы, которая останавливает мгновение пролетающей жизни и превращает его в маленькую поэму...» («От земли и городов». ГИЗ, 1928, с. 7). «Путь исследования журналиста в моем опыте сопровождается все время, с одной стороны, расширением кругозора до того, что в дело пускается все пережитое, прочитанное и продуманное, а с другой — поле зрения сужается исключительным вниманием, со страстью сосредоточенным на каком-нибудь незначительном явлении. И от этого почему-то чужая жизнь представляется почти как своя. И вот, как только это достигнуто, что свое личное как бы растворяется в чужом, то можно с уверенностью приступить к писанию,— написанное будет для всех интересно, совершенно независимо от темы, Шекспир это или башмаки...» (с. 320 и след.). «Оно правда,—очень трудно выслушивать чужую жизнь, чтобы она проходила так близко около тебя, как будто была своя собственная. Для этого вовсе не обязательно любить человека, а надо только обладать тем чувством общественности, которое так часто прорывается у русского человека в вагонных беседах и непременно должно быть в таких странах устного предания, какой была до сих пор Россия» (с. 290). Вот и Зосиме, и доктору Гаазу, и всем этим опытным натуралистам par excellence![34] свойственна эта методика проникновения в ближайшее предстоящее пред ними, как в свое родственное, о котором говорил М. Пришвин, но только в специально воспитанной и развитой форме, притом не для «писательства», а для самого приближающегося к ним человека. Это и есть «доминанта на лицо другого», о которой я Вам читал 2 апреля прошлого года! Надо очень рекомендовать опыты Пришвина на этом пути. По форме писательства он несомненно классик из плеяды Тургенева и Аксакова, но, что для меня гораздо важнее, он в писательстве — открыватель нового (а для простых людей — старого, как мир!) метода, заключающегося одновременно в растворении всего своего и в сосредоточении всего своего на другом (на встреченной реальности, встреченном человеке). Для Зоси-

мы, для Гааза этот метод исходный и основной с самого начала!

И если уже для писателя этот метод оказывается так труден, как видно из работы Пришвина, то для человека, ушедшего в этот метод целиком, он является, конечно, делом постоянного напряжения, труда целой жизни изо дня в день!

Усредненный и спокойный «интеллигент», ценящий в глубине души более всего комфорт довольства собою, вряд ли решится встать на этот путь. Он всегда будет склонен замкнуться ради своего покоя на утешительной, портативной и экономной теории.

Обыденное наше устремление по преимуществу к покою и самоудовлетворению имеет, по-своему, то «положительное», что становится возможно до последнего момента не замечать того ужаса, в котором в действительности живешь; так что опять и опять успокаиваешь себя, что «копья ломать не из-за чего» и «мир, говоря вообще, все-таки благополучен»!.. Одним словом, получается та блаженная слепота, которая как будто помогает жить, т. е. жить беззаботно, катаясь по Парижам и предаваясь тонкостям «partis plaisir'a»[35], не задаваясь, по возможности, ощущением, что при этих занятиях незаметно и мимоходом сбиваешь с ног живых, милых, прекрасных людей. Недаром люди так настойчивы в этом устремлении к «покою» и «самоутверждению», недаром эта тенденция просочилась и в науку, например, в школе покойного Ферворна[36], которая строит физиологическую теорию, исходя из предрассудка a priori[37], будто всякая ткань и всякий организм «в норме» устремлен к «компенсации раздражителей» и к возвращению в покой безразличия! Слепая философия слепых, не успевших продрать глаза щенят! Она была бы смешна, если бы не была горька по последствиям.

...Тут есть самые дорогие мои мысли, которые я выносил за всю жизнь и, может быть, никогда более не напишу. И мне кажется, что продолжается та передача себя, которая была когда-то в аудитории...

О себе могу сказать, что яростно читаю ту громадную литературу, которая накопилась за зиму, в особенности по электрофизиологии и по центральной нервной системе. Тороплюсь, тороплюсь читать, а то скоро опять наша бесконечная суета, уносящая силы и не дающая делать настоящее дело. Пришли новые книги по хронотопу. Когда успеть заняться всем этим

как следует? Мои силы заметно падают,— в некоторые дни чувствую это отчетливо... В этом состоянии мне было бы тяжело за границей, и я не жалею, что туда не поехал [38]. Просто «болтаться» я терпеть не могу и не умею. А для того, чтобы поработать в тамошних лабораториях, надо там пожить несколько месяцев, а не проехаться... Кошки бегают по улицам; а мой Васька сидит дома и регулярно является к письменному столу звать обедать или спать. Время он знает великолепно! Я тоже сижу почти безвыходно дома и глотаю литературу, которая навалена около меня на письменном столе в виде баррикад...

30 августа 1928.

...Она (радость) должна быть з р я ч а я, все видящая и все чувствующая, т. е. она не может иметь ничего общего с тою ложной и эфемерной эвдемонистической [39] радостью, которая покупается полусознательным, полубезотчетным закрыванием глаз на жесткие и болезненные стороны бытия! Это, конечно, не радость, а большая печаль и беда, что мы не видим и не чувствуем (даже стараемся не видеть и не чувствовать) реальных бедствий жизни. Когда радость и радостность покупаются искусственно — зажмуриванием глаз на действительность, при помощи так называемых «развлечений» и разных специальных «культурных удовольствий», это приводит только к жалким и жалобным результатам. Завороженные искусственными радостями люди, сами того не замечая, усугубляют несчастия мира и оказываются совершенно беззащитными, когда в один прекрасный день реальность откроется для них во всем своем громадном и трагическом значении! Лишь там, где человек все видит и все чувствует (по крайней мере — все хочет видеть и все чувствовать!) и при этом останется верен радости бытия,— он бывает в самом деле надежным другом для своих друзей, способным стоять твердо и дать руку помощи, когда будет нужно.

И т а к,— п о в о з м о ж н о с т и в с е в и д е т ь, в с е з н а т ь, н и н а ч т о н е з а к р ы в а т ь г л а з а и у д е р ж а т ь п р и э т о м р а д о с т ь б ы т и я д л я д р у з е й и п р и х о д я щ е г о с о б е с е д н и к а... Это — настоящее счастие, к которому стоит стремиться и ради которого стоит понести всякий труд!

При этом вот что замечательно: однажды вступив на

путь искусственных радостей посредством закрывания глаз на действительность, человек будет идти на этом пути далее и далее, все более отмежевываясь от живого опыта и от действительных горей человечества. Все более будет сам себе слепить глаза, чтобы не знать настоящего значения действительности,— как это мы видим на всяком предреволюционном обществе, наслаждающемся и дуреющем все более перед тем, как придет час заклания; или как было в Геркулануме и Помпее накануне того, как Везувий заговорил!

И, с другой стороны, тот, кто соблюдает все видящую и все чувствующую радость бытия, однажды встав на этот мужественный путь, будет расширять свое зрение и чувствительность к голосу реальности и чуткость к истории — все более и более.

Тут все расширяющаяся, все более зрячая, все обогащающаяся, экспансивная жизнь! Все знать, все видеть, ни от чего не замыкаться, и все победить радостью бытия для друзей и с друзьями. Это значит — все расширяться, усиливаться, расти, узнавать новое и новое, переходить из силы в силу.

...В прошлый раз я писал Вам о том, как, по-моему, возникло в человечестве писательство, как оно зависит от отношения к Собеседнику, как глубоко различны пути писательства и рационалистической науки, с одной стороны, и живого предания человечества, с другой. Написав и отправив Вам письмо, я потом перебрал опять свои мысли и нашел, что написались они в письме отрывочно, эскизно, очерками, но все-таки довольно счастливо, ибо сам для себя я их никогда не собрал бы. Много, много лет жизни, узнавания, распознавания; а чтобы собрать свои мысли в более или менее единое и целое, нужны особые условия!

...Среди «развитых и образованных» писателей у нас стоит особняком и новатором М. Пришвин, стоящий накануне того, чтобы преодолеть свое «горе от ума» и рационалистические предрассудки и сдвинуться к принципиально новому складу восприятия действительности, к новой оценке живого предания между людьми и к новому интегральному образу мира...

...Пришвин продолжает ряд русских писателей-классиков. Здесь он идет непосредственно за Достоевским и Л. Толстым. Он — тонкий распознаватель нового для писателей, но старого, как мир, метода, заключающегося в одновременном растворении всего своего для себя

и сосредоточении всего на живом-другом (на встреченной реальности, на встреченном человеке). Для Зосимы, для доктора Гааза этот метод — исходный с самого начала. По-видимому, можно сказать, что Зосиме, Гаазу и им подобным свойственна методика проникновения в ближайшее предстоящее, как в свое ближайшее родственное, о которой говорит писатель, но только в необычайно подчеркнутой и вошедшей в обыкновение форме, притом не для писательства, а для самого приближающегося к ним человека. Им свойственна доминанта на лицо другого. Метод этот и для самого привычного в нем человека не может быть прост,— он является делом постоянного напряжения и труда целой жизни изо дня в день. Оборачивающийся вспять не управлен в нем! Он есть постоянное восхождение от труда к труду, из силы в силу, все выше и вперед...

В одном, по-моему, Пришвин ошибается: он говорит, что тут можно обойтись без любви к человеку, а опираться лишь на веками воспитанное чувство общественности, поддерживаемое устным, т. е. живым, преданием! Без сомнения, самое предание и способность жить в нем заглохнут, если не будет любви. Только она дает жизнь самому преданию.

...Что касается меня, я усиленно и спешно читаю те накопившиеся горы литературы, которые приходится все откладывать зимою.

Проштудировал прекрасную книгу Wells'a [40] по иммунологии, о которой Вам говорил. Теперь передумал ее до значительной глубины! У меня тут большие замыслы по сближению наших нервных «экзальтаций» и «торможения» с явлениями иммунологических «анафилаксий» [41] и «рефрактерностей» [42]. По моему чутью, эти вещи гораздо более родственные, чем принято думать. И их совместное изучение должно пролить много света и для нервников и для гуморалистов.

Затем, в связи с предыдущим, штудирую новую книгу Oppenheimer'a [43] о ферментах как «возбудителях» и «тормозителях». Это все к будущей единой теории этих вещей!

Проштудировал ряд статей о нерве из Journal of Physiology. Hill [44] перенес теперь свою методику с мышцы на нерв, и сразу открывается очень много нового.

Наконец, много нового дает Washholder [45] по электрофизиологии человеческой мышцы и ее иннервации.

Получил ряд книг, касающихся хронотопа.

Как видите, жизнь складывается так, что «отдыхать» некогда! Времени и сил слишком мало.

И я слишком реально чувствую, что скоро умру, чтобы с легким сердцем позволить себе отойти от работы. Если отдыхать, то мне надо отдыхать не от работы вообще, а вот от этой бестолковой траты сил, которая захватывает нас по зимам, не давая заниматься настоящим и необходимым делом. Сейчас я и отдыхаю за спешным чтением необходимого да вот за письмами, вроде настоящего, где собираю свои основные, руководящие мысли и итоги для друга.

На днях купил только что вышедший дневник С. А. Толстой. Он необыкновенно трогателен и поучителен в своей безыскусственности. Эта бедная, умная и простая женщина участвовала в образовании того, что мы ценим под именем «Л. Толстой», гораздо более, чем казалось самому Льву Николаевичу в его последние годы и, тем более, чем представляют себе близорукие идолопоклонники Толстого, готовые осуждать и бросать камнями «за мещанство» в эту хорошую женскую душу. Трогателен, мил и неисчерпаемо поучителен вообще человек, когда он прост и живет перед лицом своей совести, ища лучшего! И везде он противен и жалок, когда самоуверен, самодоволен и горд!..

18 июля 1929.

...Я люблю бывать на этом берегу и слушать эту благоговейную тишину, собираться там с мыслями, вспоминать, примирять противоречия.

Болтливый дневной шум застилает подлинную красоту и важность жизни и бытия. А в эти минуты ночной и утренней тишины становишься более зорким, дальновидным и как бы улавливающим основной и главный смысл существования, которым освещается и то, что шумит в дневной суматохе.

Знаете, недавно, при чтении одной работы, мне пришлось ощутить с какой-то особенной ясностью, что о ч е в и д н о с т ь и п р а в д а могут очень расходиться между собою. Ведь, говоря отвлеченно, как будто совершенно бесспорно, что правда — это то, что очевидно. А между тем, чего очевиднее того, что окружает нас в дневной сутолоке; и как часто, судя по ней, мы

строим близорукие и далекие от правды мысли о действительности!

Близорукая очевидность застилает от людей, сплошь и рядом, подлинный смысл и правду событий, их перспективу, красоту и значение.

Отчего мы так ценим поэтов и больших художников? Кто такой для нас поэт, пророк и художник, этот «чудак» и «странный» посреди обыденного нашего общежития?

Это тот, кто умеет и силен раскрыть нам забываемую правду и красоту бытия, которая застилается для нас шумом обыденной очевидности.

Очевидность доступна нам всегда и везде; правда — в редкие минуты душевной ясности.

За дневною очевидностью мы так часто, сплошь и рядом, не видим правды, как за кустами не видим леса!

А вот в час тишины, на берегу моря, мы все становимся немножко поэтами, художниками и пророками, начинаем читать сами себя и улавливать те аккорды жизни, которым принадлежит главное значение...

...Правда приходит к нам редко, в час тишины, когда можешь быть сам в себе; и идти к друзьям надо лишь тогда, когда уверен, что очевидность не сомнет и не застелет правду,— вот в те редкие часы, когда далекая правда совпадет с близкой очевидностью. Как бы хорошо было, если бы они совпадали всегда! Тогда бы мы все время жили в красоте! Но этого нет, и, конечно, не без нашей вины. В каждом из нас есть кусочки красоты, но мы сами достойны их только изредка! Зимние сумерки у нас длинны, а летнее солнце дано ненадолго...

9 августа 1929.

...Вы очень ярко нарисовали впечатления от Севастополя, так что я пережил их живо,— точно сам был на этих страшных местах, где когда-то гремели орудия и умирали забытые люди, а потом более или менее беззаботно фланировали по бульвару представители «бомонда» [46] и «сосьете» [47], чистосердечно убежденные, что те прежние умирали и геройствовали как раз для того, чтобы обеспечить этим новым возможность предаваться «культурному времяпрепровождению». Но вот уже и бомонд и сосьете выметены из истории! И как хотелось бы верить, что выметены они прочно!..

...Но вернемся к Севастополю. Обстановка исторического бульвара устроена, видимо, с большим психологическим уменьем. Проходя мимо отдельных пунктов и читая надписи, человек пробует унестись в прошлое и представить себе, что тут делалось в то страдное время; а картина в панораме дополняет и подкрепляет эти собственные попытки талантливыми изображениями известных баталистов. Наконец, общий взгляд с вышки на весь пейзаж и рейд опять переносит в действительность, дабы человек мог обобщить только что пережитые воспоминания и взглянуть на них в исторической перспективе. Читая Ваше письмо, я так и пережил все в этой последовательности!

Мои родичи участвовали в Севастопольских днях. В момент, когда Нахимов был сражен пулей на Малаховом кургане, около него стоял его адъютант, молодой лейтенант князь Леонид Алексеевич Ухтомский. Я знал его уже стариком, адмиралом в отставке. На его руках и умер Нахимов, его любимый и высокоуважаемый начальник. Почти в это же время брат моего отца Николай Николаевич, молодой лейтенант гвардейского экипажа, приехал в фельдъегерской тележке, на перекладных, с приказом от Николая I и с Георгиевским крестом Нахимову; но не застал он уже последнего в живых. Другой мой дядя, Николай Михайлович Наумов, стоял со своим гусарским полком на Северной стороне, на охране связи крепости с Симферополем. В моем детстве в Вословме было французское пехотное ружье с ударным замком, привезенное из Севастополя еще другим дядей, Александром Дмитриевичем Ратаевым. На ложе этого ружья было выжжено французское имя, принадлежавшее, должно быть, тому забытому французскому солдату, который его носил и оставил на поле сражения. Я, бывало, допрашивал это мертвое ружье, помнит ли оно те события и образы, которые оно видело, и того человека, с которым оно садилось на корабль, чтобы ехать куда-то по морю, высаживаться на чужие берега и остаться на чужой земле! Вот, после Франции и моря, после горячего Крыма с его тогдашними громами и кровью, завезли его чужие люди куда-то в глухие болота в леса Ярославского Заволжья и поставили в угол, забытое и затерянное, вместе с какими-то лопатами, топорами и оглоблями.

Чего-чего не видали на своем длинном веку эти старинные «умершие» вещи, какие человеческие стра-

сти, какие картины проносились над ними! Ах, если бы найти возможность выслушать от них все это! Как было бы поучительно! А я всегда обращаюсь с таким допросом к старинной вещи, будет ли это древняя кольчуга, вырываемая случайно на пашне где-нибудь в Волоколамском уезде Московской губернии, или наполеоновская пушка из тех, что выставлены у Арсенала в Московском Кремле, или забытое севастопольское ружье... Вон на наполеоновской пушке выгравировано у казенной части: «Liberté, Egalité, Fraternité».[48] А несколько ниже: «Fait par le citoyen quatriéme année de la Republique».[49] Это вместо тех девизов, которые начертаны на прусских и австрийских пушках времен «Ultima ratio reqis. Anno 1783»[50]. Итак, пушки эти предназначались тем «ситуаеном», который их выпускал, для того чтобы греметь во имя братства, равенства и свободы! Представьте себе их удивление, когда им пришлось греметь во имя императора Наполеона... А потом лежать, лежать в чужой земле, на площади, для обозрения «почтеннейшей публикой», которой они бессильны что-нибудь сказать из своего старого, богатого, столь поучительного опыта!..

...Завтра, 10 августа, из Булони отваливает пароход, везущий наших физиологов на Бостонский конгресс. Одним маленьким уголком души я жалею, что не поехал. Но последние три года измотали меня так, что поездка была бы бесполезна и недобросовестна!..

22 августа 1929.

...При всей абстрактности по своей природе мысль есть ведь тоже живое переживание, и, пока она не зафиксирована и не засушена в препарат, она наполнена и эмоциональными и волевыми элементами — в ней далеко не одна абстрактная логика! И вот мы в значительной мере умерщвляем свою мысль, лишаем ее жизненности и естественности, делаем искусственной, когда препарируем ее на бумаге. Задача в том, чтобы суметь уловить свою мысль в ее естественном течении и положить ее на бумагу, не смяв, не лишив запаха. Некоторые глубокие немецкие математики основательно упрекали французских авторов, что они лишают в своем изложении математическую мысль ее натуральности — того первоначального хода, каким она развивалась и развивается. И это, создавая, быть может, впечатле-

ние особого «изящества» французского изложения математики, в то же время ужасно затрудняет ход науки, ее пропаганду, передачу ее динамики другим.

Разница между искусственно-абстрактным изложением отпрепарированной мысли и передачей мысли в ее натуральном движении — это та же разница, что есть между формальной логикой и так называемой диалектической логикой...

Картина в Севастополе написана целым коллективом художников, в котором участвовал и один мой приятель. Я помню эпоху, когда она писалась и для нее готовили эскизы. Но все участники были учениками здешнего профессора Рубо[51], и последний является общим командиром, редактором и дирижером этой картины.

15 июля 1930.

...Меня давно очень интригует спор так называемых интуиционистов[52] с формалистами[53] в теоретической математике, и мне издали предчувствуется, что интуиционисты (Брауэр[54], Вейль[55] и др.) близки к моим представлениям, намечающимся из доминанты. Ну вот, наконец, я и имею возможность читать более подробно в этой области, удалившись от всего шума и гама, в которых проходит зимнее время. Иногда так важно и нужно подняться в снега горных вершин, подальше от того, что делается в предгорьях и равнинах,— дабы собраться с мыслями, пересмотреть пережитые впечатления, более глубоко увидеть то, что там, на равнине, переживается лицом к лицу, но не успевает просматриваться и продумываться как следует! И ужасно важно бывает пересмотреть свой собственный рабочий аппарат изнутри,— вот тот самый аппарат, которым пользуешься непрестанно в обыденной сутолоке впечатлений и толкований действительности, но во внутренних механизмах которого обычно разбираться не приходится. А между тем впечатления и толкования действительности мы получаем не иначе как через посредство этого аппарата! И ведь он может давать искаженные впечатления и толкования!

Между нами и переживаемой реальностью стоят, прежде всего, наши доминанты, которые ведь преломляют для нас действительность, равно как наши реакции на действительность, в чрезвычайной степени. Доми-

нанты создают «предрассудки», т. е. те предпосылки мысли, которые эта последняя вносит в работу сама от себя, не отдавая себе в том отчета. Значительная часть таких предрассудков совершенно неизбежна и имеет нормальное рабочее значение.

Вот интуиционисты и формалисты и заняты в своих спорах выяснением природы того, что можно было бы назвать «нормальными предрассудками» математического знания. Если формалисты склонны стоять на старинной точке зрения, допускавшей и требовавшей «чистого» и в себе самом самооправдывающегося Знания, не знающего для себя никаких норм, кроме чистой логики, то интуиционисты тонко и убедительно вылавливают «предрассудочные», т. е. интуитивные, мотивы даже в алгебре, и в учении о множествах, в теории чисел. Физиологически за этими предрассудочными интуициями лежат доминанты, и именно физиологические доминанты, т. е. такие, без которых все равно мы обойтись не можем. Это, можно сказать, дорациональные предпосылки знания и рационального. Вот ими-то сейчас я и могу хоть немного заняться, оторвавшись от египетской работы, в которой приходится пребывать десять месяцев в году. Вы чувствуете, что искание интуиционистов для меня близко и родственно.

Я ведь в основе занят изучением «нормальных предрассудков» мысли и поведения; и теория доминанты ставит на очередь именно этот вопрос, как физиолого-философскую проблему...

25 июля 1934.

...У нас здесь большое горе с Лазарем Моисеевичем Шерешевским [56]: он очень тяжело болен и очень страдает. Недели две тому назад он устроился в Александровской больнице, в клинике 2-го мединститута. Лучше ему там не стало. Болезнь углубляется и прогрессирует. Сегодня его перевозят, по его требованию, домой, на квартиру. Но надо в ближайшие же дни хлопотать об устройстве в новой больнице, где есть более или менее изолированные комнаты для тяжелобольных. На коммунальной квартире тяжелобольному быть слишком неудобно!

Как тяжело было бы лишиться нам такого редкого человека и друга, как Шерешевский...

10 июля 1935.

...У нас идет усиленный ремонт лабораторных помещений.[57] Полы, стены, коридоры разворочены; везде пыль, известка, кирпичи, глина — и тут же спешная окраска. Эти операции, когда они делаются рядом и одновременно, мешают друг другу и портят только что сделанное. А в то же время эта ломка сбила лабораторные работы, так что некоторые спешные темы, которые надо было доделать к конгрессу, оказываются отставленными... По правде сказать, так хотелось бы отдохнуть на настоящей научной работе, без сутолоки, вдали от человеческих страстей, самолюбий, личных исканий и глупости!

На этих днях мне минуло 60 лет. Вот уже на один год пережил я своего отца.

По этому поводу скажу нечто о времени и его значении как фактора событий, как маленьких, так и больших, в организме и в жизни человека в целом.

Весь секрет торможения в строго физиологических условиях и в строго физиологическом значении этого понятия в том, что за ним кроется мгновенный механизм (не пребывающий, *а лишь* повторяющийся в последующие новые и новые мгновения), складывающийся в тканях вновь и вновь в моменты встречи импульсов с тем, чтобы тотчас прекратиться до новой точно такой же встречной комбинации. А люди путают себя тем, что стараются понять его из постоянного механизма стационарной невозможности возбуждения, например, вследствие чрезмерных сопротивлений, растраты потенциалов, декремента [58] или даже поломки прибора и т. п. Так мало привыкла наша мысль оперировать со временем как с фактором вполне самостоятельного значения в мире реальных событий.

Исподняя сторона господствующей путаницы в трактовке торможения, на Западе и у нас, кроется именно в этой вкоренившейся непривычке считаться с фактором времени сколько-нибудь более конкретно и значительно, чем с простою порядковою координатою t.

Много проблем философского содержания возникло оттого только, что люди пытались характеризовать вещи и самих себя в постоянных чертах, независимо от времени.

Вот, например, проблема: *может ли* человек все знать и понимать, или для этого есть некоторые обяза-

тельные границы? Как известно, тут есть, с одной стороны, «агностики», столь уверенные в своей правоте, что готовы драться со своими противниками. С другой стороны, есть уверенные в принципиальной безграничности своего понимания и знаний «ротные фельдшера» и «волостные писари», которые служили предметом довольно скорбных размышлений для умных людей от Сократа до Салтыкова-Щедрина.

Фактически наблюдаем и знаем мы из вседневного опыта вот что: «Лишь под старость начинает быть понятным для нас наше детское». Лишь после того, как долго поживешь на свете, начинаешь несколько понимать свои собственные мотивы и поступки прошлого. Так вот что тут особенно замечательно: принципиально все можем знать, и понимание может расти безгранично; но как раз в тот момент, когда нужно вполне срочно внести в жизнь свое очередное разумное действие, тут-то и не оказывается достаточного проникновения и восприимчивости для того, чтобы адекватно вникнуть в ответственное значение момента и в последствия того, что сейчас совершается. Начинаем понимать более или менее серьезно лишь post factum [59] то, что прошло, и в то самое время, когда самоудовлетворяемся в мысли, что прошлое-то наконец поняли, незаметно для себя переживаем новое настоящее, которое и сейчас, как издавна, переживается нами в своей наибольшей части бессознательно с тем, чтобы по своему смыслу открыться лишь в будущем! Постоянно учась понимать заново свое прошлое, человек постоянно вновь и вновь входит в новое настоящее мгновение, роковые последствия которого откроются опять-таки лишь в более или менее отдаленном будущем. Вот это замечательное и постоянное *запоздание понимания* относительно момента, когда оно *нужно в особенности*, и есть один из очень типичных ежедневных факторов нашего аппарата знания. Время, как вполне самостоятельный фактор, сказывается здесь в особенности. А вместе с тем открывается вся острота того, как и в какую сторону должно воспитывать свое внимание и чуткость наряду со знаниями отвлеченно-научного характера. Только постоянным самовоспитанием и упражнением внимания и внимательности к людям, и к среде вообще, можно достигнуть той *высокой подвижности и чуткости рецепции*, которая необходима для бдительного понимания каждого текущего момента, каждо-

го вновь встречаемого человека и момента жизни. Очень мало, вообще говоря, людей, достигших такого понимания и вытекающего из такого живого понимания момента,— так же и того, что из него и затем должно быть впереди. Действительное понимание конкретной действительности есть всегда и предвидение того, что из этой конкретной действительности должно быть в будущем. Вот этакое конкретное предвидение столь же редкий дар и достижение, как и подлинное, проникающее понимание текущего момента. Нам не так трудно даются отвлеченные предвидения вроде того, что за апрелем должен последовать май, за вечером — солнечный закат и ночь, при определенных сочетаниях траекторий Луны и Земли относительно Солнца — солнечное затмение и т. д. Но ведь это совсем не то, что требуется для конкретного понимания, что нужно сейчас сделать в воспитании Вашего мальчика для того, чтобы было хорошо для него и для всех в будущем. Совсем точное исчувствование текущего момента, действительное использование того, что он мог бы Вам дать, и помочь осуществить в нем то, что действительно хорошо и ценно для будущего,— это очень редкий дар или очень трудное достижение...

27 октября 1940.

...Я очень ослаб под влиянием сутолоки и множества неприятностей, наваливающихся на меня в последнее время. Начинаю прихварывать типичным образом для моей семьи: начинает сдавать сердце. Преподавание в Университете продолжает поддерживать меня морально, и я черпаю в нем силы для продолжения работы. Без него было бы плохо...

18 июня 1941.

...Спасибо Вам за отзывчивость Вашу, с которой Вы отозвались на мое горе, пришедшее с кончиной моего старого и верного друга Надежды Ивановны. Вы очень хорошо это чувствуете, что утешения тут быть не может, потому что лица другого никто заменить не может, и лицо человеческое неповторимо никак и ничем. «Рахиль плачет о детях своих и не может утешиться, ибо их нет». Надежда Ивановна скончалась на моих глазах: в этот день я был дома, так как пятницы даны мне для

литературной работы дома. Около 2-х часов дня, прибираясь в комнате, она вдруг упала на пол. Когда я ее поднял и посадил на кровать, она что-то мне говорила, видимо утешительное,— судя по выражению лица,— но слов она уже не выговаривала, а только невнятно подавала голос. Был уже паралич — кровоизлияние в мозгу. В 5 часов дня она скончалась без страданий.

Старинно-русское слово о только что отошедшем человеке говорило: «Приказал(а) долго жить». Я помню, как меня поразило это слово, когда я услышал его в первый раз по поводу кончины моего старого дядьки, когда мне было лет шесть. Я тогда очень расспрашивал покойную тетю,— что это слово значит, что им хотят сказать. Я понял тогда одно — что это высказывают уверенность в том, что покойный доброжелательно прощается с тем, кому предстоит еще жить, и желает долгой и доброй жизни, хоть и без него, ушедшего своей дорогой.

...На руках Надежды Ивановны скончались мои старики, начиная с тети Анны, моей воспитательницы. Она была как бы живой связью для меня с ушедшей семьею и старыми друзьями. Теперь обрывается и эта связь, и мои старики как бы уходят еще раз от меня. Это облегчается только тем сознанием, что и сам я на выходе...



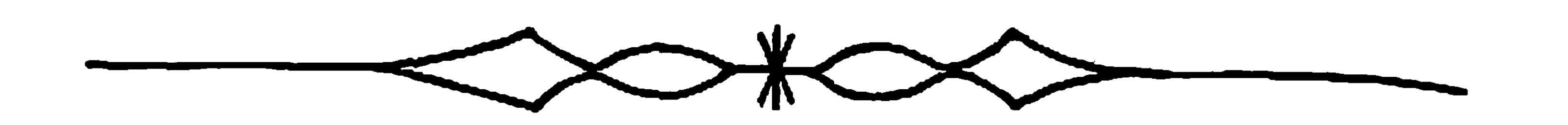
ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК



ИЗ ПИСЕМ



ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ



ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК
1896—1909

1896

Возвращаясь воспоминанием к прошлому, мы обыкновенно с любовью перебираем пережитое нами. «Все то́ нам мило, что́ прошло». Но иногда, напротив, является мысль: как все это незначительно и бесцельно,— даже самое крупное из пережитого нами. Мы сами виноваты, если приходим к такому печальному выводу. Самое великое и задушевное, если мы не сумели воспользоваться им для своего нравственного и вообще духовного роста, теряет для нас цену, но вместе с тем мы теряем и это «великое и задушевное».
22 сентября 1896.

Мы все стремимся к счастью и хотим быть счастливы; но указать — в чем условие нашего счастия,— мы не можем; опыт доказывает нам это. Тем не менее эта неопределенность нашего внутреннего состояния счастия — внешними фактами — не дает основания отвергать самое стремление к счастию, как это делают теологи. Кто может быть счастлив достижением частичных благ — да стремится к их достижению; кто потеряет способность к такому счастию — да ищет высшего, не мешая другим продолжать свою погоню за мелкими благами.
25 сентября.

Читал сегодня письма Жорж Занд в «Вестнике иностранной литературы», ноябрь 1896 г. Вот великая душа!
11 ноября 1896.

Когда начнешь понимать действительность, начнешь замечать пропасть между идеальным и реальным, то всякий оптимизм становится подлым и мерзким в твоих

глазах. В чистом и теплосострадательном пессимистическом чувстве — истинное спасение. Только бы пессимизм не выходил за границы, положенные ему истинным вдохновением и истинным реализмом.

На известной ступени развития человек получает великое счастье, начиная понимать различие между миром его идей, миром идейного совершенства — и своею индивидуальностью с ее желаниями и максимами. Если в человеческом лице нельзя открыть глубоких принципов, которые хранятся в душе индивидуума,— то, несомненно, по нему можно составить суждение о самой индивидуальности. В последнем уверен всякий.

Один раз я взглянул на себя в зеркало и тут почувствовал, какая разница между мною, моею индивидуальностью,— и тем идеальным миром, который я в себе ношу. Практический вывод получился такой: странно и несообразно порядку вещей — представлять эту индивидуальность в мире идеальности: она там совсем не на месте. Кстати, я думаю, что мир идеальности упал бы сразу в моем уважении, если бы он был доступен мне реально. Следующий практический вывод: так как в твоих видах, в видах твоей пользы — сохранить в твоем уважении мир идеальности,— то не думай, что будет лучше, если ты путем иллюзий войдешь в мнимо-реальное общение с миром идеальности; иллюзии, которые, конечно, возможны,— не подымут тебя до твоих идеалов, но лишь унизят твои идеалы до тебя. Всякое реальное общение твое с идеалами будет основано на иллюзии; поняв это,— всякий, которому доступно эстетическое и вообще духовное чутье, перестанет профанировать лучшее достояние своего духа — свои идеалы — попыткой их «осуществления» (!) в иллюзии. Когда иллюзия рассеется, возможно, что упадут и идеалы.

21 ноября.

Если верно, что о других мы судим по себе, и если верно, что другим мы приписываем свои свойства,— то для меня лично верно и то, что в высшей степени не желал бы встретиться с самим собою. Встретившись с человеком, который был бы я сам, я ужасно боялся бы этого человека; с другой стороны, мне очень скучно было бы слушать его речи — эти речи, то исполненные ди-

дактики лисицы в сутане проповедника, то — выражающие неудовольствие Полония, что Гамлет так невежливо помешал ему подслушивать свои слова; и, при всем том, речи именно мои, следовательно — хорошо мне знакомые.

До сих пор наш новый европейский дух еще не в силах говорить о Боге с такою силою и достоинством, с которыми говорил о нем древний Восток. Лишь редкие отдельные личности поднимают свой вдохновенный голос. Большинство же или индифферентно-клерикально, или мистично, или, наконец, (и это лучшее) — атеистично. Филарет Московский [1], Фейербах — это наше большинство; Кант, Гёте, Шопенгауэр — это наши абсолютные единицы.

24 ноября.

Прекрасная тема: «Об исторической неограниченности человеческого разума».

Постоянное мировое влачение существования нарушается в человеке, когда он однажды представит себе, так или иначе,— цель своего существования. Очень часто,— чтобы не сказать более,— представление конкретной цели существования есть иллюзия. Но раз искусившись сознанием конкретной цели, раз попробовав погрузиться в свою индивидуальность, человек уже не хочет отказываться от наслаждения—обладать «целью существования», и, когда оно рассеется, как иллюзия, он утешает себя сознанием других целей-иллюзий. Когда наконец рассеется цель, особенно сильная по своему обаянию, бедный человек утешает себя последней попыткой: он начинает думать, что есть, по крайней мере, идеальная цель его существования. Бедный человек! Оставьте ему право жить этой мечтой. Она не иллюзия, ибо идеализация ее при нужде растяжима до бесконечности.

24 ноября.

Я никогда не стоял перед такой трудной задачей. Вопросы жизни, если они решаются не непосредствен-

но — не чувством, требуют для своего разрешения великого жизненного опыта. Как я хотел бы быть теперь мудрецом, чтобы дать истинный ответ.

У тети уже два раза были колоти в груди, на месте бывшего соска. Господи! Что это? Опять начало тревоги, колебаний? Как все это тяжело! Когда же и где спокойствие? Неужели и за гробом будет продолжаться эта тяжелая комедия? Нет! Кажется, справедливо ожидать, что все это когда-нибудь да окончится.

30 ноября.

Предписывая любить Бога более людей, христианство унижает ценность индивидуальности. Это верно по крайней мере с практической точки зрения. Но решительно вся наша духовная сторона жизни основана на практическом признании ценности индивидуальности.

Вот отвлеченная формула противоречия, которым мы мучимся.

Вижу впереди себя много страдания и горя; не в отвлеченном смысле этих слов, но в конкретном и наглядном, и это особенно тяжело! Холодно, холодно на свете, когда нет, «где главы приклонити»!.. Чувствую, что спасение от страданий — в отрицании себя. Но что поделаешь, если чувство, мучащее нас, непосредственное и большею частью сильнее мысли о самоотрицании.

30 ноября.

Страдание есть ненормальность. Это — истина непосредственного чувства. Поэтому-то органическая индивидуальность,— эта носительница страдания,— и есть единственная в природе вещь, дошедшая до мысли о своей ненормальности.

Какой ближайший вывод отсюда? По крайней мере, самый непосредственный — тот, что, когда эта органическая индивидуальность распадется, «исчезнет, как пена на поверхности воды»,— выражаясь поэтическим образом древнего пророка,— это будет великою выгодою для нее. Ведь пена есть какая-то шалость в сравнении с великой покоящейся массой вод. На нас производит лучшее впечатление грандиозное спокойствие вод, чем беспокойное шипение пены на гребне волн.

1 декабря.

Шопенгауэр говорит, что два полюса у жизни — страдание и скука. В настоящее время я вижу скорее два следующие: надежда и сожаление. Сейчас у меня надежда. Но предчувствую, что, как и всегда, судьба готовит нечто совсем новое. Господи, как тяжело, когда надежда омрачается таким сомнением. Посмотрим, что будет далее! Поставлю здесь и число, когда пришло мне это в голову. Сколько-то времени пройдет до следующего сюрприза и отмирания?

3 дек. 1896.

Последнее чувство мужчины и женщины — чувство самосохранения. Дружба, преданность, даже сама любовь,— все это идеалы. Похоть и самосохранение — «реалы».

8 дек.

«Для невежд мудрость очень сурова, и неразумный не останется с нею: она будет на нем как тяжелый камень испытания, и он не замедлит сбросить ее» (Сир. 6, 21, 22). Это я...

Какими, в сущности, жалкими урывками философских и религиозных убеждений довольствуется в практике человек!

Теперь что-то решилось навсегда! «Всегда» — какое страшное слово!.. На душе очень нелегко, и было бы еще хуже, если бы было «ясно»! «Я теряю человека», следовательно, теряю «все». Утешительно лишь то, что не буду его мучителем. Но это утешение захватывает лишь периферию. Это этика ощущений, этика мрака, но не этика жизни.

11 дек.

Знал ли ты, несчастный Пилат, около кого стоял ты, когда умывал руки в его крови? Из любви ли к нему ты это делал? Или в твоей душе говорило чувство справедливости? Знал ли ты, что пред тобою стоит тот, кто носит в себе все страдание мира, страдание, способное

раздавить лучшую человеческую грудь и голову? Знал ли, что мы будем знать твои слова? Бедный, бедный, бедный Пилат!

19 дек.

1897

Мефистофель — это мысль. Это «дух, который всегда отрицает». Это Гамлет, Павел Фивейский! [2] Но он достаточно умен, чтобы видеть, что рядом с его отрицательным духом — течет нечто могущественное, столь могущественное, что при всем своем убеждении, что «все, что существует, достойно исчезновения» и что «было бы лучше, если бы ничего не было»,— при всем своем убеждении и дьявольской самоуверенности — он едва не сходит с ума при виде упорства бытия мирового порядка. Он сознается, что его поддерживает лишь великая, вдохновенная страсть. ⟨...⟩ И Мефистофель ничего не может возразить Фаусту, когда тот укоряет его, что он «вечно живой, священно творческой силе лишь грозит холодным кулаком, сжимающимся в тщетной ярости». ⟨...⟩

Вот опять вариации той же истины,— великой дилеммы мира — смерти и жизни, плоти и духа, Аримана [3] и Ормазда [4], «мира сего» и «облечения во Христа», падения и восстания, положения и отрицания, воли и мысли.

Войди в течение «вечно живой, священно творческой силы»! Это — нечто великое, вечное, закономерное, естественное, древнее и, при всем том, родное нам — нас породившее. Это могущественнейшая «сансара» [5], затопляющая все на своем пути, не знающая преграды, не понимающая ограничений,— «сансара», пред которой отступает даже сама мысль, сам Мефистофель... Или же последуй за мыслью, за Мефистофелем; только никогда не обманывайся, что ты стал выше «сансары»... не сделайся из великого Мефистофеля — глупым мистиком!

Большинство людей живет в «сансаре», заглядывая для успокоения в чертовскую сферу мысли. Не отдавшись мысли и не погрузившись совсем в «сансару», они мятутся всю жизнь, не находя согласия. Это святоши,

ханжи, мистики, декаденты, нигилисты и т. д. и т. д.

Мало кто решится, раз начав,— «до конца претерпеть» путь мысли.

Раз начав думать, человек уже не должен «обращаться вспять»; он должен искать спасения в мысли же.

Философия, философский ум — это тощая корова египетского фараона. Она съедает все, что дают ей науки, весь этот «тучный», многими веками собранный материал,— съедает его и все же остается тощею.

Все великое создано человеком из-за столкновения с мировой необходимостью. В глубине всяких идей, всякой мудрости, всякого верования лежит признание факта непреложности мировых законов.

Философия есть наука гениев. Лишь в их руках она всегда бессмертна. Великие философские системы не умрут для мыслящего человечества.

Когда философская школа «вымирает»,— это значит лишь, что кафедра попала в руки посредственностей.

Поэтому истинный ученый, действительно живущий интересами знания, никогда не отвернется презрительно от философии. Напротив, его надежды направлены на нее.

Философия не умрет, ибо не умрет потребность взглянуть на действительность не относительно, но безотносительно. Философия как синтез не умрет; интерес к философу как синтетику не умрет.

Религия так же неизбежна для человека, как сама «действительность». Поэтому, с одной стороны,— она никогда не симпатична свободному человеческому духу; с другой,— с ней нечего бороться.

Животная жизнь в нас отделилась от жизни природы. В нас два стремления. Разум и утроба живут двумя отдельными потоками.

4 янв. 1897.

Вообще всякое общение есть или коммунальный, или личный деспотизм. Свобода личности там есть воздушный идеал. Лишь освобождение от общества, выделение из него своей индивидуальности — может дать начало культивирования личности и мысли.

Мефистофель, в сущности, советует Фаусту изменить до некоторой степени своему делу, рекомендует «бросить игру со скорбью, пожирающею его в жизни, как коршун». Он толкает его в мир, в общество. Но он будет сам его сопровождать в этой экскурсии, будет ему «служить». Поэтому тут нет полной измены; Фауста будет связывать с его «одиночеством» сам Мефистофель. Итак, дальнейшая жизнь Фауста есть именно жизнь в сансаре, но с оглядкой в мир мысли. «Фауст» есть трагедия жизни, хромающей на обе стороны.

Всюду борьба общества и индивидуальности, всюду стремление к обезличению. Эта тенденция царит и в храме, и в аудитории, и в рядах войск, и в «светском обществе», и в монастыре, и в «миру».

Два источника зла: 1) внутри человека и 2) вне его. Главный источник несомненно — внутренний. Внешнее учреждение создается с целью борьбы с внутренним злом и стеснения его. Таковы церковь и правовые учреждения. Когда внешнее учреждение теряет из виду эту цель, оно становится внешним источником зла. Такова война,— возведение в практический принцип национального эгоизма.

11 марта 1897. Сергиев Посад.

Заезжал ко мне и тете Василий Федорович Николаев. Простой, безлукавый взгляд на жизнь, сила духовной простоты, реальное отношение к вещам — вот тó, чем жили наши деды,— вот что было истинно завидного в их жизни,— вот тó, чего нам роковым образом недостает, о чем надо плакать, без чего остается от жизни менее трети действительного содержания и от

чего, к нашему несчастию, до нас доносится слабое и все более слабеющее, замирающее в мировой пустоте — эхо. Отцы! Вы не родили бы нас, если бы знали, что мы не будем обладать тем счастьем, которым обладали вы!.. Двенадцатый год! Сермяга ополченца! Кавказ! Севастополь! Простые и доблестные в своей простоте имена разных Ермоловых, Архиповых, Корниловых и пр., вы уходите все дальше и дальше от нас, оставляете нас одних! И как противно мы все ломаем и коверкаем то, где вы жили.

Горные вершины, я вас вижу вновь.
Балканские долины — гробницы удальцов...

Мы ценим и считаем великим Льва Николаевича Толстого за его голос, поднимающий с беспримерной силой духовные интересы общества, духовные запросы, к которым общество всегда так индифферентно. Похвалить Толстого — значит, похвалить существование в обществе духовных интересов. Ругать его на площадях и перекрестках, как то делает легион с Херсонским Никанором и К° во главе,— значит, замаривать духовные интересы. Лев Николаевич есть великий деятель в деле культивирования духовной жизни общества. Понятно, к чему клонится «популярная полемика» с ним; понятно, что приносит эта полемика обществу. ⟨...⟩ «Все-то вы недовольны; все только отрицаете...» и т. д.,— вот чем попрекают Толстого и вот где видят «великий вред» его сочинений. Здесь, уже очевидно, дело идет между светом и самодовольною «властью тьмы».

Иногда мы переживаем минуты особенной ясности, когда истина нами ощущается или понимается в своей простоте и правдивости. Хорошо, если мы успеем воспользоваться этими минутами, чтобы записать понятую нами истину, и притом так, чтобы сохранился отпечаток той простоты и правдивости ее, как мы ее тогда поняли и ощутили. Талант, все охватывающий и запечатлевающий в натуральном, нетронутом виде,— в этом случае незаменим. Когда же не удается сохранить на бумаге или в душе отпечаток ощущений божественной истины,— отвлеченное выражение ее в понятии не заменит нам тех минут. Мы всегда ясно будем ощущать потреб-

ность осветить такое отвлеченное выражение повторением тех минут. Таким образом, «минуты» не теряют никак своего значения — и тогда, когда явится понимание истины «навсегда».

Вл. Соловьев говорит, что, как из жалости развивается альтруизм, так из стыда — аскетизм. Помоему, следует расширить понятие аскетизма до самоотрицания во имя идей: иными словами, аскетизм—отказ от приятного во имя высших нравственных соображений, все равно, будет ли это касаться моего личного поведения (этика стыда) или общественного (этика сострадания). Итак, основою аскетизма, смотря по обстоятельствам, будет являться то стыд, то сострадание. Но надо заметить, что этика сострадания есть лишь этика самоотрицания, ибо «сострадательный» человек лишь «не будет делать зла», «не судит», «не похулит» и т. п. Лишь с внешне-формальной точки зрения — все это можно назвать положительно-нравственной деятельностью. Я назову это вторичными нравственными фактами (фактами этики a posteriori[6]). Очевидно, есть нравственные факты, не сводимые на чувство сострадания, ни стыда, и тем не менее — факты, без сомнения, нравственного порядка. Таковы факты любви в собственном смысле,— факты не самоотрицания, но самоутверждения. Итак, рядом с этикой сострадания и стыда есть этика любви с своими особыми максимами и воззрениями. Факты любви суть первичные нравственные факты (факты этики a priori). ⟨...⟩

Всякая этическая система, знающая лишь сострадание, но не любовь — как самостоятельный факт,— является лишь половиною истины.

24 мая 1897. Сергиев Посад.

Если бы человек лишь тогда переходил к более сложному делу, когда он наилучшим образом приспособится к более элементарному, многое в его жизни было бы исключено само собою.

На самом деле жизнь влечет человека мимо всего вперед, не давая ему останавливаться на пути, и он

лишь изредка, и то — на бегу, оглядывается на пройденную дорогу, что, впрочем, мало влияет на его дальнейшее дело.

9 авг. 1897.

Мы пьем из чаши бытия
С закрытыми очами...

Лермонтов.

Я не общественный деятель. Общественная жизнь не обладает для меня непосредственным интересом, не дает мне непосредственного интереса. Я в отношении общественной жизни — лишь созерцатель.

Поэтому мое истинное место — монастырь. Но я не могу себе представить, что придется жить без математики, без науки. Итак, мне надо создать собственную келью — с математикой, с свободой духа и миром. Я думаю, что тут-то и есть истинное место для меня.

В «Фаусте» роль Мефистофеля совершенно нетаинственная, нечудесная. Она вся есть поэтическая персонификация естественного направления в человеке. 〈...〉 В великих поэтических произведениях великие образы, создаваемые гением, имеют свое великое значение для нас именно потому, что за ними мы видим действительную жизнь. Функция Мефистофеля уже необходимо существовала в «Фаусте» и до появления на сцене самого Мефистофеля; для появления Мефистофеля нужно было твердое образование по закону необходимости на координатных осях действительности. Произведение поэтическое тем выше, чем менее случайности в его образах и действиях. Тем интереснее для нас действие, чем более участия возбуждает в нас его течение, т. е. чем более мы понимаем его по закону необходимости.

Очень трудная задача решить, какая общественная функция тебе естественно предназначена; это тот вопрос, который нас так тяготит при так называемом «выборе карьеры».

Естественная необходимость в физической стороне моей жизни и нравственный закон — нравственная необходимость — в моих отношениях с мне подобными

являются для меня вместе чем-то единым. Однако не есть ли это лишь случайный результат влияний исторических воззрений и обстоятельств? Если удастся из естественной необходимости необходимо вывести нравственную — это будет важным элементом в так называемом «космологическом доказательстве бытия Божия».

О себе могу сказать, что усиленно занят сочинением,[7] наслаждаюсь работой, но и страшусь несколько огромного объема этой работы.

Космологическое доказательство как *доказательство* бытия Божия — *тою же самою мыслью, которою занимается наука о природе.* Поэтому и критиковать это доказательство надо *этой же мыслью.* Против этого говорят, что теологические доказательства не суть доказательства в математическом смысле этого слова. Но тогда — они и не научные, и о них не стоит толковать. Мы отнеслись к ним именно как к *доказательствам* в полном и строгом смысле этого слова, и будем критиковать их, как такие.

Повторяю, по моему убеждению, космологическое доказательство есть попытка доказать бытие Божие *тем же самым способом и направлением мысли, какой создал науку о природе.* И потому его следует критиковать с точки зрения этого способа и направления.

Автономия науки — вот принцип, который я должен освободить от нападений «богословствующего разума».

В настоящее время назрел вопрос о *границах метафизики,* т. е. вопрос о том, где те рубежи, до которых мы можем научно думать, но переходя через которые мы погружаемся в метафизику. Когда этот великий вопрос будет решен,— будет уже делом вкуса — переходить через рубеж научного мышления или нет...

Когда богословы стали брать выразителем своих идей и учителем своим Достоевского, то это — уже

очевидное знамение времени. Религию хотят сделать психологическою необходимостью...

Дорогие стены,— могу я сказать когда-нибудь Академии,— не в вас я научился думать, не в вас я взрастил учителя мысли. Я пришел к вам уже искушенный, уже вкусивший прелести мысли. Но в вас я видел симпатичный труд, в вас я встретил воодушевляющее умственное соревнование, в вас я прежде всего встретил т о в а р и щ е с т в о п о м ы с л и, и этим всем я обязан вам.

Выше себя по достоинству человек ничего не знает вокруг себя. Но признает ли он себя богом великой водной массы океана, плавая по ее поверхности? Или, стоя перед необъятной глубиной звездного неба, почувствует ли он себя богом ее? Конечно, нельзя ответить в этом отношении за людей; несомненно — были люди, считавшие себя богами моря, отдаленного от них многими милями и многими стенами, богами неба, закрытого от них потолком, и богами вселенной, ограничивающейся для них — раболепствующим человечеством. Несомненно лишь одно,— что постоянное общение с действительностью и бескорыстная любовь к ней, веками культивируемая привычка жить идеалами правды — эти два постоянные и традиционные признака научного духа развили по крайней мере в ученых постоянство вкуса к истине, чтобы, воздав по достоинству человеческому гению и добродетели, признать неизмеримо выше их начало, правящее вселенной.

Мое сочинение не есть полное, систематическое разрешение вопроса. Скорее — это о б ъ я с н е н и е т е х в з г л я д о в н а м о й в о п р о с, к о т о р ы е з а л о ж е н ы implicitē[8] в с о в р е м е н н о й у м с т в е н н о й ж и з н и. С другой стороны, я не имел претензии, да и не счел своей задачей — познакомиться со всей громадной литературой предмета, рассыпанной по богословским журналам и временами появляющимся книгам. Когда не установился еще собственный взгляд на вопрос, подобный моему,— чтение всего того, что говорят по его поводу люди, может окончательно отнять возможность установить его когда-нибудь. «Лучшее

средство не иметь своей собственной мысли — это постоянно читать чужие речи»,— заметил Шопенгауэр. Поэтому я и счел необходимым установить этот свой собственный взгляд на предмет, уяснить предмет прежде всего самому себе. Моя задача сказать на мой вопрос то, что можно сказать в настоящую минуту — со всеми ее практическими нуждами и особенностями,— имея за плечами пережитое человеческой мыслью, имея за плечами Канта, Римана,[9] Гельмгольца и других великих мира; но тут оправдывается моя решимость взяться за столь трудный вопрос, которым я здесь занимаюсь, и определяется характер моей работы: я отнюдь не имею в виду здесь «придумывать» что-нибудь свое, но хочу лишь «учиться». Но при этом я, к прискорбию, увидел, что время позволит мне останавливаться только на самом существенном и выдающемся, что мне попадает под руки.

Мое поступление на духовно-учебную службу было бы понятно мне тогда, если бы я имел что-либо внести туда новое и лучшее, если бы я заменил собою там человека, не способного сделать то, что могу и имею сделать я. Но ничего такого, чего лучше меня не могут сделать мои товарищи по высшей школе,— в учебной и воспитательной практике духовной школы не существует. Поэтому мое поступление туда будет по меньшей мере неосмысленным действием. Если кто-нибудь желает моего поступления на духовно-учебную службу во имя партийности, то я на это должен сказать, что считаю вообще бессмысленным и недостойным всякое лицедейство перед людьми. У меня есть причины не идти в монахи, и очень веские, о которых здесь, впрочем, не место распространяться. Я не считаю себя в силах — идти в священники; да к этому я никогда не чувствовал никакой склонности.

Эти сволочи, вроде иеромонаха Андрея, хотели, чтобы я бросил, прямо бросил тетю Анну Николаевну, забыв все, чтó она есть для меня [10]. Так Андрей не стеснялся прямо высказать тете в лето моей подготовки в Академию (1894 г.), что «не больно-то он (т. е. я) будет ходить к тебе», чем заставил расплакаться бедную старуху; потом в Академии — он предупреж-

дал Антония, чтобы тот остановил меня и не давал бы ходить к тете в номер. А этот «гимназист» и не постеснялся брякнуть мне, чтобы я к тете не ходил. Затем Андрей преследовал меня за то, что я «предпочитаю какую-то Москву нашей (т. е. их со всей Антониевской ложей) прекрасной жизни». Один только Андроник за все время — признал, что «обязан тете, что она — мать моя», и за это я его полюбил и люблю больше всех из них. В общем же я тут с первого шага почувствовал, что у этих господ личность — ничто, партия — все. И я тогда же поставил точку над всем этим, увидел, что «это зерно засохшее, и не может прорасти» (Шах Наме).

Ты забываешь, мой друг, что сейчас, сию минуту — ты переживаешь то самое, что будешь переживать и потом, и всегда. Вот день склонился к вечеру, день прошел, земля повернулась к великому светилу так, как это было в Варфоломеевскую ночь,[11] в ночь резни Вифлеемских младенцев[12], в ту ночь, когда умер NN и родился PP,— во все ночи, сохранившиеся в памяти истории, начиная с той, жаркой, томительной тропической ночи, когда три странника укрылись под кров Лота[13]. Так же день склонится и тогда, когда ты, положим, будешь министром, или учителем, или священником, так же ты почувствуешь, что «скоро спать» или «скоро ужинать». Точно такой же день: утро, полдень и вечер будет и тогда, когда ты достигнешь всего тобою желаемого: когда обладание любимой девушкой отойдет от тебя из области желаемого и ожидаемого в «область прошедшего», «канет в вечность», как говорят поэты; девушка будет уже не твоей «хорошей знакомой», не твоею «возлюбленной», но будет твоею женою. Министерский портфель или ученая слава будет уже не тем, на что ты заглядываешься в «золотой дали будущего»; нет, это все будет уже тем, чего ты достиг... а день все будет таким же; всегда будут утро, полдень и вечер, всегда будет все то же... Ты будешь лежать, дряхлый, больной,— наконец,— реально одинокий, (тогда как до сих пор был лишь идеально-одиноким) и будешь сознавать, что «все кончено, все прошло»; ты сознаешь, что «твое время прошло, надо дать место молодым силам»... И наконец когда-нибудь между двумя боями часов на колокольне, когда живущий на чердаке одного из домов

главной улицы Тюбингена художник заторопится сойти из своего жилища,— может быть,— поужинать в одном знакомом семейном доме,— когда молодой поручик только что позвонил у подъезда той, которая будет его женой,— а главная улица Нью-Йорка начнет оживляться после ночного покоя,— ты испустишь последний вздох, и те, которые при этом будут, расскажут потом твоим знакомым и незнакомым, как в четверть одиннадцатого или полчаса второго — ты захрипел; как они подошли к тебе и поняли, «что кончается»... «Впрочем, этого надо было ожидать»,— скажут они... Да, это будет, должно быть, вечером, или утром, или в полдень, или, может быть, после полуночи; во всяком случае, «пополудни» или «пополуночи»... И будет все то же, так же придет вечер, так же будут ложиться спать, так же в одно и то же время на двух концах города в полночи будут жениться и умирать, целовать и издавать последнее хрипенье... А луна так же взойдет на небосклоне и осветит в одно и то же мгновение — брачное ложе, книжный шкаф в кабинете великого ученого и застывший профиль твоего смрадного трупа, ожидающего погребения... Все то же, и все так же. Это исполняет меня спокойствием и тишиною. Не странно ли стремиться к вечеру 13 ноября 1908 года или утру 22 мая 1967-го, когда они будут совершенно такими же, как утро и вечер 5 ноября 1897 года?

Впрочем, утром 22 мая 1967 года меня, без сомнения, уже не будет в живых. Так как за гробом, вероятно, мы удовлетворимся тем, к чему стремимся всю жизнь, то 22 мая 1967-го я буду знать нечто новое, постоянно новое и постоянно великое, «желаний край».

5 ноября 1897.

30 ноября, 2 ч. дня. Натирал руку моей любимой старухе тете Анне Николаевне, и мы с ней заметили желёзку в подкрыльцовой впадине. Господи, помилуй!

Половина девятого утра 1 декабря. Только что простился с моей единственной, незаменимой, неоцененной тетей.

Тетя уехала! Благослови ее, Господи! Это, конечно, единственный человек д л я м е н я, единственная, незаменимая.

День-деньской моя печальница,
В ночь — ночная богомолица,
Векова моя сухотница...
(Некрасов. Эпиграф к «Орина, мать солдатская»).

8 декабря.

Получил письмо от моей несравненной старушки. Фальк оставил у нее под мышкой железу. 〈...〉 Итак, факт налицо; из него надо лишь ожидать логически правильных последствий. 〈...〉 Что же, ведь оказывается, что тут — что-то фатальное, давящее меня, слепая сила, которая давит дорогую мать на глазах у ее детенышей медленно, но убийственно последовательно развивает в груди у нее и на глазах у них — то новообразование, которое из невинной и целесообразной для жизни организма желёзки делается тем, что должно убить этот единственный во всем мире р о д н о й для них организм.

Я не могу быть довольным действительностью даже тогда, когда нарочно смотрю лишь на лучшие ее стороны. Вот, например,— сейчас, еще жива моя единственная тетенька, я еще увижу ее, еще буду с ней, Бог даст, говорить, еще она пожалеет меня; разве это не такие сладостные минуты, о которых через несколько месяцев, может быть, я буду со скорбью вспоминать, как о безвозвратно утерянных? Я понимаю, с к о л ь в е л и к и и х о р о ш и э т и м и н у т ы; и между тем вижу, что у меня нет сил выпить их сполна, испить до дна все их благо. Нет, очевидно, и тут есть очень многое, чего надо ж е л а т ь и просить у Бога. 〈...〉 Итак, я еще должен впереди учиться, воистину насладиться до полноты — п о л н о т о ю ж и з н и м о е й н е н а г л я д н о й, м о е й е д и н с т в е н н о й с т а р у ш к и. Господи! Я тебе только и только тебе, который любит ее, мою единственную старуху, моего единственного друга, мою «печальницу»,— более несравненно, чем я,— тебе только отдам ее с истинной радостью. Возьми ее, успокой, утешь ее, скорбную, неутешную, укрой ее, столько перетерпевшую, утешь ее, столько плакавшую, прости ее, столь любившую людей и тебя, утешь ее в тех, кого

она любила, наконец, дай ей полноту жизни, твоей святой, блаженной жизни...

Ужасная, невыносимая тяжесть на груди. Я верую, и Господь поможет моему неверию, что тетя идет к тому, кто любит ее так, как ни я и никто ее любить не может. Но ее страдания? Я и тут верую, что Господь облегчит их, спасет даже ее от них. Но еще мысль: как же я буду жить без нее? Как это я больше не буду знать, что она ждет меня, моя тихая, любящая, ждет, чтобы обогреть, попечаловаться обо мне. Господь, помилуй и поддержи!

Нет, я без нее, собственно, прямо жить не могу. Я должен быть уверен, что она продолжает печаловаться обо мне, следить за мной, стоять между мной и Всемилостивым Богом, молиться непрестанно обо мне. Спаси нас с ней, Господи! Спаси нас всех!

Очевидно из всего этого одно,— что в границах своего эгоизма, имея его только в виду,— человек никогда не найдет того, что ищет. Первый шаг уже здесь в земных условиях к «желаний краю» — это усвоение чужой жизни, чужого страдания,— в вычеркивании этого противного слова «чужой».

12 дек. 1897.

Что может быть лучше быстрого, ускоренного представлением предстоящего,— «ликвидирования» дел,— перед отъездом «домой» к тому человеку, который — есть твой друг, твоя мать! Я испытывал, бывало, это в Корпусе, когда наскоро «разделывался» с вещами, с отпуском, с билетом и т. п., чтобы поскорей идти или ехать к моей неоцененной старухе — тете. И для меня предстоящая еще впереди скучная, монотонная, долгая жизнь осветилась бы и облегчилась несказанно, если бы я знал наверное, что надо поскорей «ликвидировать дела», дабы отправиться к тете.

Наука имеет дело лишь с понятием «природа». Где нет его, нет и науки.

Впрочем, для науки остается весьма важная проблема — выяснить возможность религиозного

опыта 〈...〉, а потом и исследовать этот вид опыта. И то и другое войдет в предстоящую, единственно научную обработку вопроса о религии — в психологию религии. Своим сочинением я хотел лишь выяснить, насколько было возможно, что это именно единственный путь для науки — в решении вопросов, поставленных в истории и в личном опыте каждого из нас.

1898

Давно уже не чувствую себя в своей колее, давно не могу схватить своих мыслей. Только в тех редких случаях, когда что-нибудь возмутит меня,— является попрежнему поток мыслей.

Теперь обстоятельства опять выкинули меня вне постоянного течения, я опять, как четыре года назад, должен устанавливать свой путь. И, как тогда, дело не обходится без столкновений с непрошеными учителями. Сегодня получил одно из характерных посланий в этом смысле, возмутился и вот имею возможность написать несколько строк. Послание от иеромонаха Андрея. Пишет, что был возмущен моими «сборами на военную службу», т. е. по ведомству Военных учебных заведений. Вспоминаю при этом прошлогодние фразы: «Ведь это все (кадеты и вообще военные) — враги Церкви». И теперь Андрей, убеждая меня служить «все-таки святой Церкви»,— имеет в виду или службу наблюдателем осетинских церковно-приходских школ («если Бог не допускает до монашества»), или в «дальних семинариях» (!). Весь секрет, очевидно, в кукольной комедии. Рекомендуется сделаться дураком, чтобы ознаменовать тем протест против заблуждений умных людей...

Прежде всего Андрей рекомендует «поскорее развязаться со своею книжкою». Очевидно, «книжка» — это дань тому глубокому обычаю, по которому без «книжки» не дадут «магистерства»,— никак не более. 〈...〉 Слова, слова, слова, кукольные комедии, юродство, кривляние и полное отсутствие мысли! Помню, что на мое заявление, что я думаю поступать по окончании Академии в Университет, Андрей (летом 97-го года) проповедовал, что тут уже надо будет уезжать из России (разумеется,— в качестве ненужного, даже вредного элемента). Нет, простите, отец Андрей и все философаты в Вашем духе! Россия столь же моя, сколько Ваша; и да

предоставьте мне, и всякому, внести свою лепту на ее преуспеяние, как всякий из нас ее понимает. И если я полагаю, что ее преуспеяние — в развитии мысли, то да предоставится мне послужить моим ближним в этом смысле; совершенно так же, как поклонникам слов, слов, слов — предоставляется говорить, говорить, говорить, ибо они то делают с благими намерениями.

24 окт. 1898.

Дух веками создававшегося монастырского безделия подавляет меня [14]. Чувствую себя вышибленным из моей милой научной колеи. Затхлая, пропитанная вековой пылью, идущая вот уже который век из кельи в келью атмосфера прозябания, растительной жизни на лоне серой русской природы и серого русского армяка, атмосфера, которой дышали поколение за поколением, одурманивает, оглушает, душит: трудно становится слово сказать.

Все это время мой ум — угнетен; какие тому причины,— может быть, решится впоследствии. Но следствие этого угнетения ума было то, что масса фактов, нахлынувшая на меня за это время,— необработанная, всей своей бесформенной, безумной силой подавила меня, и я лишился спасительного спокойствия. Итак, основная-то причина моего тяжелого состояния во мне самом — в угнетении ума: надо культивировать ум, чтобы внешняя сила не могла подавить тебя.

30 нояб. 1898.

1899

Наша монастырская жизнь создана широким русским размахом, не знающим времени, не имеющим границ ни для сна, ни для лени. И в основе всего этого лежит глубокое, непоколебимое самомнение, самая твердая и безнадежная уверенность в исключительной правильности своего времяпрепровождения...

Я любил и люблю правду. Но обстановка монастырской жизни отталкивает меня от себя, и я не нахожу сил расположиться к ней настолько, чтобы помогать ей торжествовать над глупостью и ложью. Обстановка

делает убеждения неактивными; убеждения, не будучи осуществляемы, атрофируются; обстановка изглаживает наши убеждения. Надо не оставаться, а бежать из такой обстановки, которая лишает энергии наши убеждения...

Беззаботное безделие здесь — прежде всего; стремление к правде — лишь потом, как легкий нюанс всего направления душевной жизни монахов. Невольно чувствуется, что, когда ходят, положив руки в карманы, не работают и презирают работу,— идут в настоящем направлении монастырской жизни: тут сила убеждения, веками созданного.

Уже самый первый мой шаг, первое вступление в монастырские стены был озаглавлен принципом — «ведь можно ничего не делать»: работа — это дело слишком неважное, чтобы на нее обращать особое внимание...

Говорить с людьми — значит нарушать свое душевное равновесие. Пока оно неустойчиво, нарушение его должно быть очень ограничено. Постоянное обращение с людьми может в конце расшатать душевную жизнь...

Ошибаются те, кто думает, что я чего-то ищу. Я сыскал то, что мне было надо, и теперь мне нужно лишь осуществлять то, что найдено. А когда принцип найден и недостает лишь возможности его осуществлять — это положение Иова, которого тщетно отвлекать от мысли, что действительность горька.

18 янв. 1899.

Мы и себя знаем очень мало; и себя мы знаем лишь в символах, более или менее удобных для того, чтобы справиться с собою в момент, когда то потребуется. Познания о себе у нас чисто практические.

Я был бы счастлив заглянуть сейчас в доброе и мыслящее лицо Ивана Петровича Долбни, заглянуть в бумагу, на которую он, вероятно, сейчас смотрит и на которой делает выкладки. Я был бы без меры счастлив видеть милое личико Миши Брылкина... только не теперешнего Миши Брылкина, а того, что был пять лет назад; то личико, которое я видел в Корпусной церкви ⟨...⟩ во время правил к причащению в VII классе. Нет

того Миши! Зачем, зачем сделано все так, что тот Брылкин, который теперь утверждает, что это он именно тот, который был тогда около меня (да он, пожалуй, и позабыл об этом мелком факте), так отчаянно непохож на него? Зачем любящие, дорогие, сквозь многолетние страдания и несправедливый поток судьбы с любовью смотрящие на меня глаза моей тетеньки — теперь навек закрылись и все равно не взглянут на меня, хотя бы я разрыл эту землю, разбил эти камни, которые их скрывают от меня? Зачем все это прошло? Да зачем же, в таком случае, все это было?.. Зачем так мучить воспоминанием? 〈...〉 Зачем я сейчас существую? Зачем я понадобился?.. Слава Богу за то, что было! Но зачем это всё прошло, а я существую?.. Этого не отвечает мне ничто вокруг меня, ни это удивительное крошечное животное, что ползет по моей книге, ни бесконечно малые волоски на его спинке, ни застывший лес, мертвенно-сурово смотрящий в окно, ничто в природе, хотя бы я заключил всю эту картину в изящнейшую систему интегралов...

Надо иметь великое, детское спокойствие, девственное спокойствие духа, чтобы так переживать Природу, как Лев Николаевич Толстой. Читая его несравненные страницы, вспоминаешь о далеко минувшем, когда и ты жил так близко с природой, с травой, с лесом, с водой, и грустно становится, что волнения жизни так отдалили тебя от этого родства с великой матерью. Но я думаю, что такое спокойствие духа, открывающее спокойствие и мир жизни природы, совершенно необходимы философу.

Студенты Университета, и лучшие из них — естественники в первом ряду,— суеверные мальчики. Отсутствие здравой критики здесь общая эпидемия.

Вся прелесть для нас не в друзьях, а в п р и о б р е т е н и и   д р у з е й между чуждыми доселе и по-видимому людьми. У нас навсегда остаются в памяти те, часто мимолетные по внешности случаи, когда для нас открывались близость и совпадение душевного содержания и интересов окружающих и встречающихся людей...

Моя жизнь встала на ту критическую точку, когда я должен или «решить управление своей личности», или ликвидировать дела...

7 дек. 1899.

Никогда я не чувствовал так смысла слов: «Изведи из темницы душу мою исповедатися имени твоему».

8/9 дек. 1899.

1900

Кажется, что петербургские дни: хождение на Офицерскую, в Корпус, зимние вечера у Анастасии Львовны с Марией Львовной [15], Невский в разную погоду и при разном освещении; важные чиновничьи круги, куда меня вводила А. Л., милое семейство Сипягиных [16] и, на фоне всего этого, милый образ Насти,— все это пройдет мимо моего сознания как сон. Я почувствую себя проснувшимся после долгого сна, когда попаду под серое осеннее небо и туманный воздух на панелях во дворе Иосифова монастыря. Так мне кажется сейчас... Какое же чувство будет, когда придется вспоминать этот сон?

1 ч. ночи 15/16 мая.

Я с детства знаю молитву, люблю ее. Мне хочется оправдать ее другим. Ее отрицают и, когда отрицают, часто ссылаются, как на основание, на науку: будто бы молитва не согласна с самим духом, каким живет наука. Науку нельзя не любить, нельзя не любить начала, каким живет чистая наука, нельзя не любить Гегеля. Мне лично любовь к чистой науке не мешала любить молитву; этого мало,— вдохновение научными началами оправдывало мне настроение, каким я творил молитву. Мне и хочется уяснить это, оправдаю ли я молитву из начал науки,— чтобы оставить отрицание молитвы на счет безумного упорства, каким всегда встречает тьма правду и свет. Реальное же побуждение искать правду у меня не исчезнет, пока буду помнить тетю Анну. На фоне бесконечного Ничто во мне борются великие традиции, данные мне прошлою жизнью человечества. И их я должен примирить.

1 сентября приехал опять в Петербург. Об Университете ничего еще не известно. Да даст Господь потерпеть Имени Его ради.

12 сентября познакомился с князем Эспером Эсперовичем Ухтомским [17] — очень милый и теплый человек.

Мое давящее, инертное настроение безделия, очевидно, создается не обстановкой, но коренится своим началом во мне самом; оно началось во мне еще тогда, когда я терял драгоценное время в Академии, часами просиживал после обеда в академическом коридоре, не видя, не подозревая, как уже мало осталось тете, моей единственной, Богом данной старушке, быть со мною. Я менял уже тогда тетины слова, близость тети, мой дорогой, незабвенный ученый стол около нее — на бессмысленную болтовню, бессмысленное празднословие с студентами. Это не могло остаться безнаказанным.

20 сент.

1901

Место свободной воли человека в мире можно представить себе так: маленький участок мировой жизни дан в распоряжение человека, так что он может распорядиться в нем подобно тому, как в остальном великом целом распоряжается Бог. При этом человек постоянно убеждается, что Бог распоряжается наилучше; поэтому в своем маленьком участке человек видит себя принужденным постоянно возвращаться на общий путь мировой жизни, в своих распоряжениях видит идеалом Божии распоряжения. Так, в частности, он по-своему распоряжается, например, относительно своего тела; но вскоре замечает, что таким образом он ухудшает его, приучая к собственным распоряжениям (ибо свобода человека и состоит в том, что он может п р и у ч а т ь явления жить по его плану — «человеческое творчество»). Прежнее «естественное» течение жизни его тела оказывается наиболее «нормальным» и, значит, «должным». Таким образом, человек постоянно возвращается все-таки к Богу; но он может вернуться к нему лишь с в о б о д н о. И в этом, во всяком случае, получается боль-

шое преимущество для «универса», что в нем есть свободное, т. е. сознательное, возвращение к своим исконным порядкам, которые из «роковых» и «нормальных» становятся теперь Божественными.

1 янв. 1901.

До сих пор история мысли есть не история того, как развивалась «истина» в понимании мира, а собрание тех умных вещей, какие в то или другое время приходили в человеческую голову.

Современная философия считает критерием истины тó, что не сможет служить определителем истинности в собственном смысле, а тó, что лишь может назвать ту или иную мысль глупою или умною, т. е. в данный момент затрагивающею нашу душу или кажущуюся ей абсолютно внешнею, смешною.

Главное смешение понятий, каким грешит наше время, это смешение разумного и объяснимого. Человек все научился объяснять, и ему от этого кажется, что стало все «естественное» разумным. Человека удивило, что он научился все объяснять, что для него все стало «естественным», и он стал все свое считать разумным. «Все мое — разумно» — вот боевой клич нашего индивидуализма, во имя которого совершаются величайшие неразумности.

Человек есть по природе существо «зажирающееся», т. е. способное везде осуществить торжество своего личного, скверного Я. Лучшие условия, в которые он (всегда более или менее «случайно») попадает, не воскрешают, не поднимают его, а лишь дают ему случай еще раз применить, приложить и утвердить свое внутреннее, низкое, ничтожное Я.

Христианство уже дало понять те дурные стороны, которые присущи, которые «естественны» нашему существу. Не разрушайте же, не закрывайте этого понимания вашим провозглашением, что все «естественно» или что все «естественное» — хорошо.

Молитва стала для тебя неестественным явлением. Но оттого ли, друг мой, что она неразумна, или оттого, что жизнь твоя, служащая тебе критерием «естественности», неразумна?

Жизнь (по Христу) должна быть сплошною мо-

литвою, по крайней мере, в сознательные минуты. А тогда естественно, что остатки, жалкие обрывки этой Христовой жизни в твоей жизни, эти повторения утром и вечером вытверженных молитв оказываются гетерогенным [18], «неестественным» элементом посреди твоей своеобразно текущей жизни.

Достоевский о Петербурге: «...взбаломошное кипение жизни, тупой эгоизм, сталкивающиеся интересы, угрюмый разврат, сокровенные преступления, кромешный ад бессмысленной и ненормальной жизни». «Мрачный, угрюмый город с давящей, одуряющей атмосферой, с зараженным воздухом, с драгоценными палатами, всегда запачканными грязью; с тусклым, бледным солнцем и с злыми, полусумасшедшими людьми» [19].

7/8 февр. видел во сне тетю Анну. Как будто меня упрекал внутренний голос, что я забываю ее, живу чем-то своим и суетным, отдельно от нее; и она живет где-то слабенькая, хлопочущая, все для меня. Иду к ней откуда-то издалека, где жил, иду к ней наконец и встречаю ее как бы идущую из дома, точно бы по бульвару у Троице-Сергиевой Лавры — в Лавру к преподобному Сергию. Она садится на скамейку рядом со мною, но на противоположном конце скамейки, и говорит, что больна и слаба; хочет пойти в аптеку, или это я советую купить ей что-то в аптеке,— хорошо не помню. Помню, что я смотрю на нее как на что-то давно мне известное, сравниваю ее с прошлым и нахожу похудевшей, ослабевшей; но лицо ясное, светлое, белое и серьезное, несколько грустно-серьезное.

Да будет с нею, освящая и спасая ее, Господь,— «Бог не мертвых, но живых».

Так мало ты даешь мне свободы! Так скоро суживаешь мой путь, загоняя на одну и ту же дорогу, Т в о ю дорогу! Так быстро сбиваешь меня с моих путей, только что я на них настроюсь, только что разыграется мое вожделение на них!

Господи, слава Тебе!

Одна из очень больших бед нашего времени состоит в том, что дураки научились теперь говорить как умные

люди. Так что сразу их узнать не для всякого легко. Что данную книгу писал дурак, это с несомненностью открывается лишь тогда, когда выяснится, к чему ее автор клонит, для чего употребляет все те умные вещи, тот умный тон, которым он научился у умных людей.

Конечно, не теоретические различия во взглядах разделяют меня со многими добрыми людьми мира сего. Разделяет нас различие и д е а л а ж и з н и. Для меня христианский идеал жизни слишком глубок, он лишь предчувствуется по «чистоте сердца» в тот или другой момент. Да, кажется, в самом Евангелии он признается лишь предчувствием, ибо его уяснение ставится в зависимость от чистоты сердца («блаженни чистии сердцем, яко тии Бога узрят»). И в этом отношении он представляется мне столь ревнивым и легко ускользающим в самой своей сущности, что кажется слишком неразумным риском для того, кто его ищет, останавливаться на том или ином установившемся «житейском идеале» обыденности. Нить грозит легко оборваться и оставить тебя на захоloделом, веками затвердевшем, неподвижном, эгоистически замкнутом и по существу приземисто-консервативном житейском идеале семьи, государства и т. п. ...Монашество состоит именно в таком методическом изолировании себя от каких бы то ни было частно-житейских идеалов во имя непрестанного и беспрепятственного выяснения в душе великого идеала христианской жизни. 〈...〉 «Священная история» — это история различного вида геройства человеческого в непрестанном стремлении к созиданию в себе христианского идеала.

Святое настроение, навеваемое часто службами, долгим стоянием и утомлением, не есть еще надежный оплот для души. Оно зачастую может быть м е ч т а т е л ь н ы м. Истинная и прочная святость духа лишь там, где она достигнута реальною и горячею борьбою с реальным и «действительным» (режущим руки) грехом; ибо лишь там душа прикасается д е й с т в и т е л ь н о й ж и з н и д у х а, лишь там начинается р е а л ь н о с т ь духовной жизни, настоящий религиозный о п ы т. Святость преподобных отцов и подвижников потому, конечно, была прочною и непреложною, что

для их духовного зрения постоянно был ясен и «реален» грех мира, и поэтому их дух постоянно реально жил победою над ним. Истинный подвижник духа несет свой подвиг и утомление плоти не для того, чтобы в утомлении и достигаемом в нем блаженном безразличии утопить душевную скорбь и борьбу (как думают многие «самочинные» подвижники и «буддисты» из светских людей); его подвиг, бдение и стояние с начала и до конца, исполнен бодрой, бдительной, неослабевающей и постоянной борьбы с грехом в глубочайших изгибах и углах душевной жизни, постоянного бдительного духовного зрения. Иначе весь подвиг ведет только к прелести.

Внутреннее существо человека не может быть названо этическим в противоположность религиозному или религиозным в противоположность этическому. Это единение этики и религии, т. е. почитание, уважение к жизни.

Современная наука, движимая этою религиею, изучает и описывает все стеснения и препятствия жизни, живет же надеждою преобобрения их во имя торжества жизни так или иначе, во что бы то ни стало. Интерес ее во всяком случае центробежный, т. е. жизненно-религиозный.

Правила этики суть такие же «законы природы», как и правила геометрии, т. е. столь же убивают социального человека, как те убивают индивидуального человека. Если социальные определения и зависимости и являются для человека внешними и случайными, то ведь он от них все-таки никогда не может освободиться в сфере своего опыта, и поэтому они остаются для него столь же принудительно-божественными, как и физико-геометрическая необходимость.

Внутреннее же содержание человека, настоящая его жизнь, если ее назвать этическою в особом смысле, очевидно, не может быть изучаема, как его «убивающая»; потому-то доселе и остаются бесплодными попытки — создать для нее «положительную науку». Положительную науку такой этики можно создать лишь для ее внешних отражений. Но она по неизбежности будет теряться корнями в субъективной сфере.

Человек — не затерявшаяся в мировом целом сошка, которая должна подавить свои желания и потребности, чтобы слиться с жизнью этого целого. Он — царственное, творческое сознание мира, которому принадлежит последнее слово в великом деле жизни. Вот вечная и неколеблемая мысль, внесенная на все времена германским «идеализмом».

Живя своею внутреннею жизнью вне внешних условий, человек должен все-таки войти своею жизнью в эти условия. При этом он должен выбрать себе наиболее для своей внутренней природы подходящие из существующих условий, чтобы от них, так сказать, отправиться в своей жизнедеятельности. Это, так сказать, выбор точки приложения сил; и при таком экономичном выборе ее дело выразится так, что, начав с применения к этим, наиболее ему подходящим существующим условиям, человек в своем личном развитии будет поднимать существующее, развивать его в направлении своего внутреннего роста и развития. Но, говоря вообще, никогда нельзя идти, вовсе не касаясь существующих условий,— это был бы неразумный и бесплодный идеализм. Надо уметь захватить вещь, чтобы привлечь ее к себе, и надо начать с существующего, чтобы путем естественно-непрерывного прогресса его дойти до торжества своего внутреннего мира. Природа ведь не терпит скачков. Плодотворный идеализм должен следовать этому закону существующего.

Я до некоторых пор был уверен, что «действительность» и для меня, т. е. и «в мое время»,— та же самая, что была при Аристотеле или при Канте, например, или, например, та, что с такой ужасающей подробностью описывается в романах Достоевского. Тогда и оставалось отправляться лишь от этой «все той же действительности», например по Канту или по Достоевскому, и выяснять развивающуюся от нее мысль. Это убеждение, может быть, и выразилось в той формуле, в которую я верил при писании кандидатского сочинения, что «действительность для всех одна и та же, причем интересно изучить, как от одной и той же действительности развиваются человеческие миропонимания — религиозное и нерелигиозное».

Но с известного момента я почувствовал, что сама «действительность» для меня может быть не такою, какою она была для Аристотеля, Канта или Достоевского; она разве только во имя обобщения признается одною и тою же для всех людей, конкретно же и вживе она для меня уже не та, что, например, лежит под понятиями Достоевского. Современное научное настроение именно в вере в возможность все новой и новой действительности, откуда и вытекает требование научного настроения — не ограничивать действительность окончательными (категорическими) понятиями (помимо «описывающих»), недоверчивый страх к метафизике.

Впрочем, получила историческое признание, признание по значению, «действительность» общих условий жизни людей, именно общая ее картина, общее ее описание. И этой описательно принятой действительности достаточно, чтобы опять была оправдана моя прежняя задача, но именно лишь для психологии явлений жизни, например для «психологии религиозного опыта».

1902

2-го апреля 1902 года скончался дорогой Дмитрий Сергеевич Сипягин, смертельно раненный при входе в Комитет Министров.[20]

16-го апреля 1902 года, на третий день Св. Пасхи, скончался мой отец князь Алексей Николаевич Ухтомский.

1903

Первое, что надо,— это решительно отвергнуться себя. Иначе же ты несешь всю скверну, жестокость и каменносердечие с собою и тогда, когда преступаешь к Престолу Божию, а это делает тебя Иудою, отрезающим самому себе мало-помалу выход из ада. Отрекись своего всего и до конца, и опять легко вдохнешь в мире Божием, и пойдешь действительно хваля Бога, ибо простая жизнь ребенка и есть хвала Бога, жизнь в Божией Хвале.

Раз только в жизни была для меня хорошая, Божия любовь — любовь к моей покойной тете. И она оставила во мне краеугольный камень Божией жизни, до сих пор

с трудом сохраняющейся в человечестве. И из нее открывается мне и теперь,— когда она, милость Божия, иногда случайно воскресает во мне,— открывается вся моя черствая, безвыходная в своей самости, злоба и жестокость. А эта самость, злоба и жестокость так ужасны, когда не сознаешь, что путь Божией жизни является несомненным, ибо он один открывает мне это смертельное зло во мне, дает мне чувство его и возможность выхода из него. Выход же при невозможных путях жизни в этой злобе и ужасающей жестокости в том, чтобы раз навсегда решиться отвергнуться себя — этой тяжелой и жестокой своей личности, которая, предоставленная себе все равно, по принципу не имеет границ своей самости и потому безвыходно невыносима и пропитана соками смерти,— и уже смерти второй и ужасной — смерти духа.

Почувствовал я весь ужасный облик моей личности, в мысли решительно отвергся ее и уже так почувствовал начало возврата к прежней, детской, естественной жизни с легким и прямым духом. Так и надо идти — в начале уже отвергшись себя.

11/12 мая 1903.

Свободолюбие есть ли «эгоизм»? За то, что вы держитесь всеми силами за свою свободу, вам говорят: вы слишком любите себя. Верно ли это?

«Любить себя» в смысле «эгоизма» есть определенное, с совершенно определенным психологическим содержанием настроение. Это простой эпизод душевной жизни, особая глава из нее. Быть «свободолюбивым» значит вообще жить. Вся жизнь, ее прогресс, ее натуральная основа — есть свободолюбие. Свяжите свободу, и вы нарушите жизнь. А если жизнь достаточно сильна, она все равно выбьется из преград, которые вы ей поставите.

Поставить сознательную «головную» преграду жизни — значит, встать на путь самоубийства. Право же, жизнь и природа имеют свою логику, и ей, ее логике, вы доверьтесь! Она выше вашей логики, в том числе и вашей этики!

Свободолюбие кажется жестоким, ибо — если уже так — вся жизнь кажется жестокою. Ваше понятие о ней делает ее жестокою. И все же ей, жизни,— царство и господство, и ей привет.

Раздави меня ты, жизнь, и ты, природа! Но именно ты, а не человеческие понятия и предрассудки! Последние,— именно они: «понятия» и «предрассудки»,— наши враги; и погибать от них действительно жестоко. А ты, жизнь, ты создала такое неисчерпаемое сокровище мысли и форм, и за то я готов со сладким чувством от тебя погибнуть, но только бы знать, что погибаю от тебя, от твоей святой, чистой руки.

«Я не люблю Мефистофеля». Я тоже иногда его ненавижу, и только в злую минуту растравляю себя его жалким философствованием. Нет, это не «пудель», и это не «простое обыкновение всех пуделей», то, что меня поразило! Это великая тайна жизни прорвала серую кучу облаков, устилающих нашу предрассудочную, сумеречную обыденщину; это солнце блеснуло из-за облаков, от которых мы задыхаемся. И не мешайте же, не мешайте ему, если не хотите сделать самоубийства! Дай дружескую руку ты, милый товарищ,— все равно сестра, сотрудник или жена,— ты, который дал мне почувствовать великую, свежащую тайну жизни, ее луч, без которого мы погибаем.

1905

Для меня тут — один мучительный вопрос, и от него — моя жизнь, мое оправдание, но от него же и смерть. Этот вопрос таков: не слишком ли уже я сам замер в моих сумерках, смогу ли нести знамя жизни? «Сие уже труд есть предо мною».

Страшный это вопрос потому, что от него зависит решение, следует ли с точки зрения той же жизни оттолкнуть от себя ее призыв, и тогда пойти сознательно к мраку и погибели, или же можно еще понадеяться на мышцы, которые стали ослабевать, и принять на себя великое дело жизни, к которому она призывает.

В первом случае в утешение останется разве только лирическое преклонение пред жизнью, крупицы правды, доступные лиризму. И эта крупица правды в том, чтобы хоть издали приветствовать жизнь, исповедовать ее религию.

Но не будет ли жизнь так милостива, не решит ли сама за меня этот вопрос? Да будет так, как ей лучше!

Дряблые мышцы, пусть они погибают, если это нужно для жизни. Но да не коснется ее, великой матери — Жизни, какой-нибудь злой начаток, какой-нибудь росток злого чувства с твоей стороны. «Да не коснется одушевленнаго Божия кивота рука скверны». Все равно, это будет только для тебя, дряблый, обрюзглый отброс ⟨...⟩, «вторая смерть».

25 ноября 1905.

Варвары Александровны[21] не было, не было ее; и уже шевельнулась злая змея в душе против религии жизни. Крыло смерти близко, и если уже нет сил или удачи его отогнать, то пусть бы смерть брала сразу!

А Варвара Александровна свет и правда, ясность и благо! Дай ей Бог всего этого, ибо без того тяжко будет ей в грядущей обыденщине, которой, кажется, все равно не минешь.

«Утешайте, утешайте народ мой!»

27 ноября 1905.

Много, брат Алеша, смолоду
бито-граблено.
Не тебе бы за новый кус приниматися,
Не тебе бы снова стары песни пети.
А и те песни ноне не про тебя
петы-писаны.

Откинув условности и границы, поставленные случайными, буржуазными моментами жизни, я чувствую, что во имя единой великой и истинной жизни имею право питать чувство к В. А., если только я способен и достаточно силен еще, чтобы поднять живое, действительное бремя жизни.

2 дек. 1905.

Для чего я отрекаюсь от счастия жизни? Во имя чего мне убивать в себе естественные зачатки жизни? Ведь я же чувствую, что кроме жизни ничего ценного нет, что, отрекаясь от нее, я иду в мрак, в безмыслие, бессловие могилы! Все, что есть хорошего, то́ в жизни и для нее. Только там добро, где жизнь.

И ясно, что если я могу отречься от очевидного блага жизни, то только для жизни же, только любя жизнь,

и отнюдь н е у б и в а я ни себя и никого, а во имя моей и моего друга и ближнего жизни. Только крепко веря в то, что некогда, в Боге, мы будем жить наилучшим образом, полнотою жизни, будем жить друг в друге и друг для друга, друг с другом,— только веруя в это и чтобы было так, я могу отречься от видимого, хотя бы и эфемерного обладания жизнью здесь, сейчас, в ближайших условиях. Этим жили подвижники всех времен.

Для тех же горестных и несчастных, которые не имеют этой веры, отречение от данного момента жизни есть самоубийство и горестное отсечение лучшего, что́ есть в жизни. Для этого нет никакого оправдания. Это смерть и моя, и — принципиально — моего ближнего.

26 дек. 1905.

Если для Вашего блага я должен от Вас отказаться, то я найду силы, чтобы это сделать. Но, может быть, Бог благословит, и в Вас, с Вами мне назначено найти мою жизнь?

Мне прислали карточку «Анатом». Это правда, что я занимаюсь анатомией человеческого духа до религии включительно. Но, по совести, никакого элемента «анатомии» или «исследования» я не допускаю по отношению к В. А.

Я не знаю, как вышло, что она стала мне так дорога, н а р а в н е с т е т е й А н н о й. Знаю только, что это так стало. И знаю еще, что ее личность связалась для меня с тем свободным, чистым вздохом, который выпал на долю русских людей,— и меня в том числе,— когда мы с верою и преданностью Жизни повторяли: «Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног...» В. А. стала для меня дорогим, несравненным символом этого героического, чистого порыва в Жизни, доверия к Жизни.

30 дек. 1905.

Я всегда был против женитьбы, ибо чувствовал, что не могу этого сделать свободно. Могу сказать, что относительно В. А. я впервые почувствовал, что могу «жениться» на ней вполне свободно, даже в о и м я м о е й с в о б о д ы.

30 дек. 1905.

Относительно религии надо сказать, что ею улавливается одна из сторон действительности, недоступных до сих пор научному настроению. В этой стороне действительности человек еще не может разобраться так, чтобы говорить о ней научно. Но эта действительность есть.

19 янв. 1906.

К каждому человеку надо уметь питать жалость, надо найти ту точку зрения, с которой к нему будешь знать жалость. Суметь пожалеть человека — значит, более или менее найти путь к нему. Единственный ли это путь к нему — это еще проблема. Ясно одно: последняя наша задача — найти путь к человеку, которого любим, т. е. найти путь к объединению с человеком. Ты и я — одно, вот последняя формула, которая есть цель стремления. Это надо достигнуть не метафизически, подобно Фихте, а действительно. Это трудная задача жизни.

14. IV. 06.

Если монашество есть истинное исполнение жалости к человеку, то оно единственно правильно. Его окончательность, законченность кончается там, где ставится под сомнение, есть ли жалость к человеку последний (главный) камень соединения с ним. Если нет, то и монашество не есть абсолютно оправданное распределение Жизни, хотя и законченное натуралистически.

Может быть, истинное разрешение задачи жизни есть ее творчество? Ведь не есть же творчество жизни — отречение от нее, от участия в ней!

Тогда же.

Дорогой друг, я не могу больше к Вам ходить, потому что мне тем противнее и безобразнее кажется хотя бы один намек на «получение каких-то прав над Вами», чем больше я Вас люблю. Понимаете ли, что чем больше любит Вас моя главная личность, тем больше она отворачивается с ужасом от другой, скверной моей личности, тем больше хочет предостеречь Вас от нее. В этом великая скорбь для меня, но раскол душевный постоянно уже давно [22].

Тяжело это и смертельно тяжело потому, что что́ бы я ни делал и ни писал доброго, хорошего, у меня чувство такое, что делаю и пишу для Вас. А между тем не могу дать Вам знать об этом, ибо от того, скверного, человека, нижней моей личности, убежать не могу.

Скорбит душа моя до смерти! Господи, ведь Ты-то все можешь сделать. В Тебе мы сосредоточиваем наше всемогущество. Соедини Ты нас, если можно, во славу Твою, в Тебе самом.

9 мая.

Любовь связана с стремлением к обезличению; ее тяготит та оболочка, которая называется личностью. Все твои поступки, все, что складывает тебя, как ты есть сейчас, статически, все, что есть т в о я личность,— все это тяготит, когда душа хочет «идти вперед, забывая задняя», то есть захвачена своим жизненным, динамичным началом.

Так называемое «формирование личности» есть неизбежное сопутствие жизни. Динамическое по преимуществу начало жизни все время опирается на морфологическую подкладку. Но жизнь есть только до тех пор, пока морфологическая ее подкладка все время модифицируется. Как только она получает «окончательную форму» — наступает смерть. И это страшно.

Сильные и дорогие люди отличаются преобладанием, неограниченностью динамического духовного начала. Чем человек более мертв, тем более выражена его личность.

9 мая.

•

Во всяком случае, в любви много правды и настоящей, чистой жизни. Когда я полюбил, то мне с особенной ясностью стало видно, что я делал до сих пор действительно ценного и в чем был на ложном пути.

Величайшее этико-художественное и идейное содержание церковной жизни, одно оно только заставляет нас терпеливо стоять в церкви и ждать, что она восстанет. Формально (т. е по своей внешней организации) нынешняя церковь отталкивает, а уж никак не может привлечь. По церковному же содержанию и полноте

выдается несравненно старообрядчество; для нас, православных из среды старообрядчества, менее всего внушает сомнений Единоверие.

Надо хорошо относиться к человеку, чтобы он стал в Ваших глазах хорошим. Нет удивительного в том постоянно повторяющемся факте, что после известного времени знакомства с человеком, «казавшимся таким хорошим», Вы начинаете удивляться, что же Вас могло в нем привлечь; этот факт совпадает по времени с началом Вашей критики Вашего знакомого. И приоритет тут принадлежит именно Вашему отношению к человеку: сначала Вы изменились к нему, и тогда он стал казаться хуже, чем был в Ваших глазах до сих пор. Раньше Вы подошли к нему с открытою верою в него, и Вы могли тогда с ним жить, потому что тогда он оказывался для Вас хорошим. Теперь Вы стали критиковать, вера в него отошла на второй план, и он ⟨...⟩ стал для Вас не таким, как был, и Вы уже не можете с ним жить. Тут повторяется старая истина: действительность отвечает Вам так, как Вы ее спрашиваете; она такова, какою Вы хотите ее видеть.

26. IX. 06. СПБ.

Кругом царствует подсознательная жизнь. Я издавна нес в своей душе нечто, что имел сказать, уяснить в сознании, чтобы сделать жизнь человеческую сознательнее. Труд это большой — самому себе выяснить, что́ несешь в душе, т. е. из области чувства и намеков перенести это на язык общего сознания. И за это время я ослабевал и падал: подчас казалось, что уяснение сознанию моих главных чувств — дело не моих сил, мне же дано лишь далее продолжать жизнь в чувстве, и я бросался в монастыри, к староверам. Но та же жизнь, которая приводила меня туда, она же и не давала мне совершить этот искусственный шаг. А люди со стороны не понимали моих поступков, им казалось, что я все «изменяю убеждения», что я «увлекаюсь». Моя надежда, что Бог даст мне время рано или поздно уяснить себе и другим то́, что было у меня в душе издавна. Когда создастся наконец моя спокойная жизнь и мне можно будет отдаться работе, должна начаться издавна желанная работа.

27. IX. 06.

Жизнь моя представляется мне какою-то комнатой, в которой во всех направлениях натянуты нити и проволоки; и многие из этих нитей и проволок натянулись на моей памяти,— я помню, как сам участвовал в их укреплении. И теперь от них, этих нитей и проволок, я не могу двинуться, сделать свободного движения, не только выйти из комнаты. И куда ни пойду, кого ни увижу, везде чувствую, что, задевая за новую нить, ощущаю на своем пути новую проволоку. Весь я этими проволоками опутан. И неужели я не выйду из них, неужели для меня закроется свет и не будет больше свободы? Неужели надо сказать «прости» своему сокровищу?

Я — переходная форма. Я люблю старое и не могу уже им жить. Почитаю и приветствую новое, но до сих пор не могу ему отдаться. Я — мертвый, хоронящий своих мертвецов. А рядом творится жизнь, и я не могу ее догнать, войти в ее святое движение; она не ждет таких, как я.

28.IX.06.

Чем выше унесешься в ясное небо от земли, тем больше опасность разбиться о землю.

Сон 28/29 окт. 1906.
Година моего знакомства с
В. А. Платоновой.

1907

То, что несколько дней тому назад было для тебя «анестезией» в эмоции полного счастия, становится на последующие дни связывающим тебя началом. Узами любви ты ограждаешься от падений. Так что то самое, что в один момент дает чувство свободы, в другой связывает; и если это и в первом и во втором случае не изменилось для нас в качестве «истины»,— становится видно, с каким многоразличием эмоциональных реакций мы воспринимаем «истину»: она в это время уже фиксируется как определенное содержание, становится фактом, не зависящим от наших эмоциональных реакций на него.

9. III. 07.

Я всегда с любовью относился к человеческим верованиям; в них под большей или меньшей исторически наросшей скорлупой всегда можно различить свежее чувство к тому, что́ человеку дорого, чего требует его дух. Нет более интересной задачи, нет более интересного материала для понимания интимной сущности человеческого духа,— как человеческие верования. И при этом ясно, что подходить к этим верованиям надо не по книгам, не по научным сочинениям об этих верованиях, а там, где верования сохраняются и живут в их, так сказать, естественном состоянии, т. е. у самих верующих. В наших научных сочинениях (за исключением The Varieties Джемса) по отношению к верованиям еще нет плодотворного метода, и там, в этих «объективно-научных» изложениях, мы имеем пред собою, так сказать, денатурированные верования.

Если вы хотите узнать человека как идеалиста, то подойдите к нему со стороны его верований, со стороны его естественных верований.

25.III.07.

Величайшее счастие для современного человека, величайшее здоровье его души,— в том, чтобы сохранить в себе научный идеализм, всецелую принадлежность ясной и светлой научной истине в своей душе, т. е. не к натуралистическому «завалу фактами», а именно к научной ясности и свободе духа.

25.III.07.

1909

Отщепление от народа, крайняя чуждость народу со стороны правящей знати началась давно; давно эта знать пошла свою колею прочь от народной души. Эти Смольные монастыри с храмами Весты [23] и служениями ей; эти льстивые поэты Державины, охотившиеся в свое время на пугачевскую «сволочь» и потом распускавшие льстивые слюни на придворных попираниях народных чаяний:

Здесь, с невинностью питая
Хлад бесстрастия в крови,
Забавляются, не зная
Сладостных зараз любви...

Эти гвардейские лоботрясы, «гвардейская тля», с глупыми нарядами и «чувством чести»; эти подражатели Версалю — представители древних русских родов; эти цари немецкого происхождения, немецких чувств и идеалов; эти фижмы [24], роброны [25] и «греческие» хитоны [26], столь изящные, божественно деликатные на балах, когда мнили себя в Версале, и столь кухарочно-грубые, когда соприкасались с русским народом. Наконец, эти «преданные» правительственные и звездоносные попы, любящие ⟨...⟩ предвозлежания. Далеко, далеко от всего этого скрывалась душа русского народа с его чаяниями, верою, чувствами, вкусами и его будущим. И когда несчастный русский царь, как Павел I, вдруг начинал ощущать, как далек он от народа, которым «правит», его индивидуальных сил было уже слишком мало, чтобы продраться на свет Божий к народу, сквозь эту толпу льстецов, глупцов и негодяев... Тут, на народные копейки процветал и «фернейский» [27] великолепный скепсис, и неплодящий аристократический мистицизм, и эпикурейство, и великосветское подвижничество с молитвенниками в руках и столоверчением... Тут было много, много вещей, содержавшихся на счет армяка, без спроса от него. И ясно одно: все это с начала до конца было глубоко ненужно для армяка, для его интересов и верований, для его будущего. Менялось много мод, было много разных миросозерцаний и мундирных покроев, было время менуэта и вольтерьянства, наступало другое, новое время — вальса и мистицизма; были шлафроки, букли и брильянты; потом наступили мундиры и лосины, лосины, лосины... Много было разных спасительных принятостей. И все это было, прежде всего, совершенно ни на что не нужно для русского народа, для его души и будущего. Роковая беда всего этого была в том, что все это было совершенно ненужно для народа...

«Бары» ошиблись, взяли неправильный курс, и их песня была спета. Из народа пошел попович. В кресла правящих париков и лосин протискивался «бледный и скромный» Сперанский [28]... После него был Победоносцев [29]... Это уже лучше! Это уже от народа! Это уже ближе к нему! Хитрый попович сумел внести свою деятельную струю в те блестящие и мертвенные залы, не особенно дразня гусей и куриц, которые там заседали. Но уже в лице Победоносцева попович показал, что ему тоже не снести на своих плечах всей печали, всех нужд

народных. В свое время должен прийти сам народ.

А пока у нас так и повелось даже до сего дня. Живет «благородное семейство», живет, рядится, хлопочет получить «образование» и «воспитанность», как бы в музыке, в свете не отстать; хлопот и стеснений множество. И все это ни к чему, потому что все это ни на что не нужно для народа, для его души и для его будущего.

6. II. 09.

Откуда, в самом деле, этот замечательный факт, что в великой русской литературе нет «положительных типов»? Когда-то упрекали в этом Гончарова представители молодого лагеря. «Скажу прежде всего,— отвечал Гончаров,— что после Гоголя мы в искусстве не сошли с пути отрицания, между прочим, и потому, что художнику легче даются отрицательные образы. Сам Гоголь пробовал во 2-й части «Мертвых душ» написать положительный образ и потерпел неудачу. А другие и подавно: в последнее время ни у кого не вышло в этом роде ничего художественного». Отчего вообще у русских нет такого действительно положительного типа, который мог бы отлиться в художественно правдивые формулы? Ведь и у народа нашего это скорее тени людские, чем цельные художественные образы.

Я думаю, что это от самой природы русской, от слабости и вялости воли и деятельности человека. У нас с самого начала безнадежный способ искать «положительных типов»,— оттого их и нет. Мы ищем в «положительном типе» чего-то такого, пред чем могли бы преклониться. Следовательно, мы и тут заранее хотим обеспечить себе покой и нирвану «преклонения» пред «положительным типом», но заранее же ограждаем свою слабую волю от необходимости пойти действовать за «типом». Роковое отсутствие положительных типов у нас — это роковое следствие маразма нашей воли. И если мы решимся указать в том-то и том-то наш «положительный тип», то заранее стараемся отодвинуть его так далеко от себя, поставить между ним и нами такие преграды, чтобы заранее показалась почти кощунством попытка отождествить с ним нашу волю.

3. VII. 09.

Жизни, требующей разъяснений,— тьма. Того, кто разъясняет,— единицы. Только эти единицы истории —

гениальные люди — помогают нам разъяснить жизнь. Очевидно, что нельзя требовать, чтобы гениальный человек занялся исключительно разъяснением моей, вашей жизни, каждого из нас в отдельности. Для этого потребовалось бы по гениальному человеку для каждого из нас.

Оттого эти гении истории и созданное ими «знание», «наука» роковым образом разъясняют жизнь лишь «в общем виде». Для нас, для каждого из нас в частности, остается задача воспользоваться для себя этими «общими» разъяснениями. Но сокровищница, которой,— мы чувствуем,— надо служить, сокровищница «общего знания», которую мы несем для будущих людей,— эта наша «наука»,— это постепенное «разъяснение жизни в общем виде»,— это наша цель, наша лучшая человеческая задача, как бы мало, быть может, ни могли мы внести в нее от себя.

1921—1924

Реальная действительность открывается нам как законченное в себе единство, как завершенная непрерывность, полная внутренних связей, реально и логически законченное существование. Лишь тогда, когда ты верен ей и точно воспроизводишь в твоем слове, и в твоих показаниях о ней не допускаешь вымыслов о ней, т. е. не лжешь о том, что́ и как было, что́ и как есть,— лишь тогда она оправдывает тебя, твое слово и твое бытие в ней! «Факты не могут противоречить один другому», и то, что фактически было, находится в тесном согласии с тем, что фактически будет! И когда ты начнешь вымышлять о том, что было и есть, и прекратишь это тщательное, самозабвенное вникание в то, что и как было и есть независимо от твоих вожделений,— ты запутаешься сам в своей неправде, как в лабиринте, ибо начатая ложь чем далее, тем более будет уводить от того, что действительно есть!

Потому-то завет: «не лги» — значит то же самое, что «говори о действительности лишь то, что она в самом деле есть!» Или: «Изучай действительность, какова она есть независимо от тебя!» А это и есть исторический клич естественнонаучного созерцания в новой истории человечества! Если допущенные нами вымыслы могут стать когда-либо «правдивым искусством», то лишь постольку, поскольку мы будем в них подражать «святой Правде», святой действительности,— «истине, как она есть»!

⟨...⟩ Практический завет отсюда таков: если не хочешь запутаться сам в своих показаниях, знай в них лишь ту действительность, индивидуальную и исключительную посреди множества других мыслимых возможностей,— которая имела место по своим, ей самой ведомым законностям!

Знать Истину — значит знать закон существующего, закон действительности.

Но вместе с тем Истина есть и дело, человеческое действие, сообразное Правде и закону Бытия! В этом качестве она мыслится лишь как этическое действование. Последнее и заключается в таком действовании и изволении, которое вполне соответствовало бы законам и замыслу Действительности, причем соответствие для каждого отдельного конкретного случая достигается прозорливостью, интуицией, художественно-философским прозрением в совершающийся порядок вещей. *В попытке определить те законы, через которые интуиция совести проникает в подлинный смысл вещей, в их правильную оценку, так что закон бытия становится законом возмездия, и заключается дело этики как науки...*

«Ничто так не редко у человека, как проявление собственной воли» (*Эмерсон*)[1]. Всего реже мы переживаем моменты свободного нравственного решения и творчества за личную ответственность ⟨...⟩ Всего реже мы сознательно свободны в своей деятельности и жизни! В этом смысле *жизнь в предании* есть факт несравненно более обыденный, чем жизнь в личной сознательности. Жизнь в совершенной личной сознательности есть, собственно, лишь идеал, *руководящая максима*...

Народ есть стихийно живущая толпа, слепая в своих инстинктах и побуждениях. И народ же есть сверхличный, коллективный носитель Высшей Истины. В этом смысле индивидуальное человеческое сознание может и глубоко принижаться, отдаваясь народной стихии и ее психологическим бурям (Густав Лебонг), может же и вырастать без сравнения из своей ограниченности в сверхличную — народно-церковную полноту сознания.

Народ может быть и *ниже* и *выше* индивидуально-личного сознания, и нельзя мешать в одну кучу *народ как толпу* и *народ как сверхличное сознание*! А именно таким смешением, скачком из одной противоположности в другую, думает порешить дело наш популярный социализм!

Физиологическо-рефлекторное представление о духовной деятельности, в частности о мышлении, приводит к тому пониманию, что всякая мысль, в том числе и наиболее отвлеченная, есть более или менее реальный проект действительности. Тем, что я строю мысль, я строю действительность,— высказываю, какою она должна быть по необходимости. ⟨...⟩

Я мыслю и рефлекторно действую потому, что предо мною существует конкретная действительность, а я преобразую ее в другую, столь же конкретную действительность. В моем мышлении, даже в наиболее отвлеченном (каково научное, например, математическое!), я всегда строю проекты действительности. Проектирую конкретное бытие, построенное согласно моим побуждениям!

У Гарина, среди его превосходных психологических очерков, описывается процесс созревания идей у натуры «непосредственной и впечатлительной».

«Процесс мышления, результатом которого получалось такое с виду неожиданное решение, несомненно, существовал, но происходил, так сказать, без сознательного участия с ее стороны. Факты накоплялись, и, когда их собиралось достаточно для данного вывода,— довольно было ничтожного толчка, чтобы запутанное до того времени положение вещей освещалось сразу, с готовым уже выводом» (Н. Гарин. «Детство Тёмы»).

Это тип того, как образуются душевные интегралы в подсознательной жизнедеятельности человека...

Ум в нас есть высшее и единственное зрение истины вещей и бытия. Но бывает, что он последним замечает то, что очевидно для самого примитивного наблюдения; и это последний признак падения жизни, в которой поколебался ум!

Ум страны и его нервная система — тот класс людей, который взял на себя предводительствование жизнью и ее построение. И ум этот в качестве именно ума должен все зреть, все понимать, что творится в жизни народа... Так-то ум и высший зритель Истины, но он же и носитель горьких заблуждений! В своих заблуждениях он может последним заметить то, что есть;

и он может дойти даже до великого заблуждения человеческой истории,— будто истина не зависит от того, что есть, а зависит от того лишь, что он, «гордый творец», признает за истину! Тогда-то приходит конец ума, начало человеческого безумия! Трагизм заблуждения и заключается в том, что ум, высший зритель истины, оказывается наименее видящим то, что есть!

Впрочем, и такое определение «Истины», что она — «то, что есть», есть лишь идеал, одно из предельных представлений нашего мышления. Именно рефлекторное понимание мысли говорит нам, что то, что есть, дается нам всегда лишь затем, чтобы перейти к тому, что должно быть; действительность, какова она есть, дается нашим рецепирующим приборам затем, чтобы изменить ее в то, какова она должна быть. Итак, постоянным элементом всякого высказывания оказывается не только то, что есть, но и то, что должно быть. И всякая человеческая истина, наравне с тем, что есть, содержит утверждение и того, что должно быть. Она есть преобразование того, что есть, в то, что должно быть.

Этика, нравственное суждение, есть частный случай перехода от того, что есть, к тому, что должно быть! Но поскольку то, «что должно быть», мыслится как обязательное постоянство, оно мыслится и как то, что в вещах есть и пребывает по преимуществу.

Было бы односторонностью думать, что лишь «чистый опыт», «чистая данность», «по возможности, очищенная от теории», составляет истину как она есть. Дело в том, что и в самых абстрактных теориях, направленных на истолкование опыта, наша мысль стремится ни к чему иному, как только к установке того, что же на самом деле есть под этою массою и многоразличием сменяющихся «явлений». ⟨...⟩

Таким образом, если самая конкретнейшая «вещь» в своей отдельности от среды есть уже плод нашей абстракции, то и обратно, самое отвлеченнейшее из понятий фабрикуется не за чем другим, как за выяснением того, в чем же подлинное, настоящее бытие, что в самом деле есть!

В 1917—1920 гг. Россия переживает не «демократию», но «социалистическую олигархию».

Врубель. «Хождение по водам». Апостолы в ужасе,— их лодку бьет волнами,— в сумраке и буре носятся какие-то пятна, в которых сначала ничего не разберешь! Потом начинаешь всматриваться в пятна, различать неясные образы. Сообразно внутреннему настроению человека, ему видится разное. Для так называемых «позитивных умов» тут ничего нет, кроме волнующейся стихии воды и облаков. Другие различают какой-то намек на любимый, искомый облик человеческого лица, искомого, любимого и особенно нужного в час испытания! Для третьих, наконец, тут просто загадочные тени и пятна, о которых можно лишь догадываться, что «да! Тут что-то было видно и что-то можно было принять за человеческий образ!» ⟨...⟩ Художник носит в себе любимый образ, которым он забеременен, и страдает, что он еще одинок перед лицом открывшейся ему красоты и истины, и не имеет еще сил призвать к поклонению открывшейся красоте и истине других людей и братьев! Родившийся образ — собственность, интимнейшая собственность художника; но он не стремится удержать ее за собою, но страдает и мучается, пока не сумеет передать ее другим!

И вот в чем удивительная тайна того, как художество может передавать образы ⟨...⟩ зачинающей открываться Истины и Красоты! Художественная передача и художественное предание (а это то же самое!) передают в собственность же новым и новым лицам человеческим те новые идеи и истины, которыми забеременели некогда первые творцы и пророки; и тогда для этих новых носителей и забеременевших обладателей эти зачатки и предобразы становятся столь же интимно дорогими, столь же собственными и столь же мучительными, пока они в свою очередь не сумеют передать их новым людям и поколениям! Для нового обладателя художественный образ становится вполне таким же, каким он был для первого художника, когда он впервые встал перед ним как новая задача и новое задание для человечества.

Москва, Третьяковская галерея.
21 янв. 1921.

Подсознательное воспринимает более точные отпечатки от действительности, чем высшее сознание, и это оттого, что последнее несравненно активнее несет на себе высшие задачи, ему некогда заниматься частностями и деталями, оно интерполирует [2] наскоро, дополняя от себя то, что не успело рассмотреть! ⟨...⟩

Образы и представления, строящиеся нашим сознанием, оказываются всегда гипотетическими законченностями кусков действительности через интерполяцию, гипотетическими проектами действительности! Гипотетичность и условность происходят оттого, что они всегда интерполированы самим сознанием, так что в них столько же объективной действительности, от меня не зависящей, сколько и моей проектирующей и интерполирующей деятельности! Проективный характер происходит оттого, что мои образы и представления всегда имеют практическое значение,— они имеют в виду ту или иную деятельность и воздействие на реальность с моей стороны, то или иное взаимодействие с реальностью.

Все это имеет силу и даже еще в наивящем виде для образов и представлений о лице человека и собеседника! Когда сведения и впечатления о человеческом лице приобретают для меня известную законченность, это значит, что я успел достаточно интерполировать в слитный образ те данные, всегда более или менее отрывочные, которые дошли до меня от данного собеседника в опыте. И интерполяция здесь почерпается мною не откуда-либо из другого источника, как из меня самого, из моей *нравственной личности*! Представление мое о моем собеседнике это гипотетический проект человеческого лица, составленный мною по интерполированным данным опыта и ради практической потребности войти в соприкосновение с данным лицом, жить с ним, делать с ним общее дело.

Евангельский совет «не судить», т. е. не осуждать собеседника, грозящий тем, что тут ты сам судишь и осуждаешь себя, говорит: когда интерполируешь лицо ближнего и собеседника в другую сторону, заканчивая образ его в отрицательную сторону, тем самым предрешаешь для самого себя возможность совместного дела с данным человеком, и притом на основании твоих собственных отрицательных черт, которыми ты интерполировал своего собеседника! Собеседник твой таков для тебя, каким ты его заслужил! Тем, что не заканчиваешь его образа и не произносишь над

ним окончательного суда, открываешь себе возможность его идеализировать, любить, проектировать и осуществлять вместе с ним новую лучшую жизнь!

Строить и расширять жизнь и общее дело можно лишь с тем, кого любишь; любить можно лишь того, кого идеализируешь; а идеализируешь лишь того, относительно кого ты допускаешь возможность лучшего и большего, чем он кажется сейчас; т. е. прогрессивная, ширящаяся, взаимно спасающая жизнь возможна лишь с тем собеседником, которого ты интерполируешь и проектируешь лучшими чертами, которые ты можешь почерпнуть в своих собственных нравственных ресурсах! ⟨...⟩ «Любовь все терпит, всему веру емлет, не заводит, не ищет своего». ⟨...⟩ Оттого-то она, и только она, открывает возможность общего человеческого дела на ниве Божией.

Что, собственно, говорим мы о существе, когда отзываемся о нем, что оно «глупо»? ⟨...⟩ В сущности, мы здесь даем уже моральную характеристику, ибо в наше понятие «глуп» входит момент долженствования. ⟨...⟩ Это тотчас и обнаруживается в том, что как только ближайшее изучение биологии этих существ научит нас понимать, насколько целесообразны и разумны по-своему поступки этих животных, как только мы научимся понимать поступки животных с точки зрения их собственных интересов, мы тотчас перестаем говорить, что они глупы. ⟨...⟩ Раз по-своему имеет смысл, уже удовлетворяет и долженствованию. ⟨...⟩ Уж если по отношению к так называемой мертвой природе оказывается нужным сначала понять смысл явлений в них самих и потом пытаться высказываться о том, насколько явления подлежат переделке, то это тем более в отношении живого существа и, еще более, человека! Нужно было понять, что архитектура пчелиного сота имеет в виду предельную экономию времени и труда, а расположение перелетных птиц в летящей стае предполагает наименьшее сопротивление ветру, чтобы перестать быть слепою гадалкою и стать разумным понимателем реальности! ⟨...⟩

Что может быть ужаснее событий, в которые вовлечена Россия после 1917 года? И однако, достаточно внимательное всматривание научает понимать, что тут все обусловлено тончайшими нитями, все имеет слиш-

ком глубокий и полный смысл, чтобы начинать легкомысленный суд и принимать еще более легкомысленные решения, указывать с определенностью, кто тут «виноват» и кто «не виноват», а «жертвочка невинная». ⟨...⟩ «Виноватого» приходится искать глубже и раньше! ⟨...⟩ Но более глубокое историческое проникновение и там не дает нам найти какого-нибудь «несомненного и первичного, окончательного виновника»! Постепенно мы доберемся до ясного положения, что виноваты мы все, все до единого, подобно тому, как в заболевшем организме нет небольных клеточек и болезнь коренится так или иначе в жизнедеятельности каждой из них!

Виноват общий во всех нас и в каждом конкретно живущий грех. Активность и требуется со всею силою в отношении именно его! Враг твой в грехе, а грех внутри тебя! Последняя и настоящая работа должна быть здесь!

Но, как открыло нам христианство, грех, этот последний и подлинный враг, побеждается лишь милосердием! Борьба милосердия против греха должна идти до крови и смерти! Но, чтобы милосердие было сильно победить до конца, оно должно быть божественным! Так мы опять и новым путем приходим к христианству. Именно здесь одно из простых изложений того, как закон возмездия, закон добра и зла, переходит к высшему закону ⟨...⟩ — закону Милосердия.

5 марта 1921.

Мы многого не замечаем из действительности именно оттого, что привыкли ее интерполировать от себя. Так, например, мы обыденно не замечаем асимметрии в лице нашего приятеля, какой-нибудь странной его привычки и т. п. только оттого, что от себя доделываем при восприятии его личности то, что в ней недостает до того, что мы полагаем для нее «правильным» (каноном). ⟨...⟩

Интерполяция — процесс близкий к интеграции, но *к интеграции по приближению, опирающейся на добавление* известных сторон интегрируемой реальности от себя! ⟨...⟩

Таким-то образом наиболее дифференциальное и точное в своей *пассивности* восприятие действительности не совпадает с наиболее полным познанием вещей в ней! Наибольшая полнота дифференциального вос-

приятия действительности в данный момент может не совпадать с наибольшей способностью предвкушать вещи на расстоянии и ориентироваться в том, что предстоит, т. е. в закономерности восприятий! Наряду с *истиной как наиболее полного восприятия данного* приобретает свое место *истина как понимание того, что должно быть*, ⟨...⟩ и вместо идеала наиболее полного восприятия того, что есть, приобретает свое место идеал наиболее точного понимания законов бытия. Истина становится уже не столько тем, *что есть*, сколько тем, *что должно быть*; она не сама текущая обыденность с калейдоскопическою сменою содержания, но то, «что управляет этою обыденностью и ее калейдоскопом»! Главное значение приобретает не массив реальности, какова она есть в своей бесконечной множественности событий и вещей прошлого, текущего и будущего, но тот *закон*, который стоит за нею, то *слово*, которое ею высказывается! Калейдоскопу событий и впечатлений противопоставляется *истинно сущее как закон и слово бытия*.

Поскольку будущее изыскивается человеком *для себя* и, в то же время, поскольку законы и зависимости, устанавливающиеся этим исканием будущего, говорят все-таки о том, что *есть в действительности независимо от человека*, в человеческом восприятии закона и слова, которым подчиняется бытие, продолжают пребывать обязательно оба элемента, соотносительные и стоящие друг перед другом: человеческое искание и пребывающая вне его все продолжающаяся и текущая изо дня в день его среда и ее тайна — искомый объект человеческой мысли и искания.

Гипотеза есть предвосхищение опыта. Психологически она всегда имеет свои основания, когда выставляется, и постольку имеет психологическую правомерность. Но подлинная ее цель и подлинная проверка лишь в том, насколько это предвосхищение будет соответствовать действительному опыту!

Коммунистическая партия, по мере своих политических успехов, начинает пользоваться все большею попу-

лярностью в среде русской интеллигенции. Понемногу к ней начинают приглядываться презрительные доселе терситы,[3] господа профессора, писатели, литераторы и т. п. Это и понятно, ибо против нее, как организованной лжи, никто не вооружен, за исключением христиан.

В юности мы радостно принимаем окружающий нас мир с его ликующими утрами и тихими вечерами, с его зимним уютом, со всеми его впечатлениями, за исключением только смерти, которая поселяет в юной душе немой ужас. ⟨...⟩ И в этом радостном принятии впечатлений мира, когда он для нас в самом деле «приятен», мы удивительно быстро и жадно изучаем его, изучаем, запоминаем, сами идем навстречу новым и новым впечатлениям и опытам, и только потом уже отдаем себе отчет в том, как много и без нарочитого труда мы узнали, открыли, усвоили...

Доверь своим силам, пусти их идти своими путями, посмотри, как чудесно они тебя выведут,— вот завет, выносимый нами из юности.

Одною из характернейших особенностей того времени является именно «приятие впечатлений», общая «приятность» их для нас. Вы видите, что человек идет по улице, и вам приятно, что он идет именно так, как идет. Люди поют свои молитвы, и вам приятно, что они поют их именно так и в таком порядке, а не в ином. И вы, сами того не замечая, быстро и точно улавливаете, замечаете и запоминаете порядок их пения, условия их хождения по улице и прочие, прочие дела их жизни. ⟨...⟩

При старении утрачивается именно это приятие, это радостное, приветствующее восприятие впечатлений мира. Стареющий человек склонен, напротив, «брюзжать» по самым разнообразным поводам. Он видит, что человек стоит, держа руку как-то боком, и это уже начинает его раздражать: зачем это он держит так свою руку?! Люди одеты на улице не так, как он хотел бы! Думают и говорят люди не так, как он считает нужным! Летом — слишком жарко, зимою — слишком холодно, осенью — противно, весною — того и гляди простудишься. ⟨...⟩ Не так, не так построен этот мир, не так живут люди, не так цветут цветы, не так и не вовремя распускаются деревья. ⟨...⟩

И в это же время характерным образом падает восприимчивость к впечатлениям мира, способность

обогащаться ими, запоминать, создавать новые опыты! Лишь с нарочитым трудом, с особливым напряжением внимания удается теперь узнать и изучить новый ряд явлений, да и то результат будет хуже и менее устойчивый, чем было в юности при безотчетном узнавании мира! ⟨...⟩

Только в минуты особого подъема, который иногда выпадает на долю стареющего человека, к нему возвращается прежняя восприимчивость и впечатлительность, и запоминание того, с чем сталкивает его жизнь! Это момент особенной радости или особенного горя, моменты «эмоциональных бурь», иногда ниспосылаемых и старому человеку. Все становится опять и приятно, и занимательно, и интересно ⟨...⟩ и все опять отмечается в памяти, снова душа абсолютно обогащается опытами.

В мышлении о прошлом, о фактически совершившемся царит *категория причины*. В мысли о будущем и ожидаемом — *категория цели*. Но цельная человеческая мысль всегда имеет в виду будущее, она всегда практична и целестремительна — только в абстракции и упрощении человек может отдаться исключительно причинному толкованию реальности, когда целиком можешь уйти вниманием в прошедшее и когда налично-протекающая реальность есть просто повторение прошлого.

Цельная человеческая мысль есть всегда *попытка спроектировать новую действительность*. И все знание прежнего с точки зрения категории причинности играет чисто служебную роль для того, чтобы лучше спроектировать новую действительность, чтобы она была не эфемерна, чтобы была действительно выполнима и действительно лучше прошлого и наличного! Каузальное истолкование опыта по природе своей — служебно и, в конце своем, имеет в виду все то же целестремительное предвкушение новой, лучшей, требующейся реальности!

Проекты новой действительности строятся из пробных комбинаций тех отрывков прежних опытов и впечатлений, которые по своему прежнему протеканию отдалены друг от друга во времени и пространстве, но вызывали более или менее аналогичные переживания с точки зрения текущих побуждений и исканий человека. ⟨...⟩

С точки зрения целестремительного воззрения цельной человеческой мысли, от которой мы всегда устремлены по преимуществу вперед, примат естественно переходит к вере; ⟨...⟩ когда человек не примиряется с реальностью ревниво, пока она не станет такова, какою он хочет ее видеть, как «добрую», «должную» и «прекрасную», «не имеющую порока»; тогда история есть лишь трагический путь к осуществлению подлинно доброй реальности, критерии добра стоят впереди, отвечающая им реальность еще не осуществлена, и в будущем, к которому стремимся, лишь «все разумное и доброе действительно». ⟨...⟩

В предвкушении и предвосприятии будущего примат принадлежит не наличности, не явочному, не насильно заявляющему о себе, не голому факту и «материи», а Доброму! Это, так сказать, естественно-физиологическая черта мышления о будущем. ⟨...⟩

«Вера», «этика», «эсхатология»[4] — это лишь абстрактные расчленения и рассматривания в отвлеченной отдельности того, что в действительности протекает единым и нераздельным актом мысленного проектирования и предвкушения новой, измененной реальности.

10 мая 1921.

В формировании своих интегралов опыта и своих истин (здесь нет родовой разницы, а есть лишь различие в степени простоты образований, допускающих проверку очень близко и скоро или же заставляющих ожидать ее на значительном расстоянии времени и места!) человек участвует деятельно. Человек есть деятельный участник своих истин. ⟨...⟩

Реальный опыт протекает всегда в некоторых законченных и уплотненных интегралах, в которых одинаково играет роль и унаследованное достояние рода, и отголоски воспитания, и текущие ощущения, и любовь, и ненависть, и общее направление жизни, интимнейшие ее искания! Имея пред собою собеседника, мы отнюдь не ограничиваемся пассивным регистрированием слуховых, зрительных и других ощущений, но деятельно концентрируем свои впечатления на «единое лицо», слепленное моими исключительными интересами к нему, моею любовью, антипатией. ⟨...⟩ Я сам проявляю себя

и произвожу суд над собою в том, как я смог обсудить и сложить в себе образ моего собеседника! Я достиг своего собеседника, ибо встречаю в нем себя самого,— по крайней мере такого себя самого, каким я тогда был, когда его встретил и когда мне пришлось составить о нем направление. ⟨...⟩

В своей картине художник проявляет себя! Это ведь известно давно!

Искусство в высшей степени тонко передает самые интимные настроения людей и человеческих обществ. Искусство — тончайший показатель того, чем живут люди и человеческие общества!

В Духовной академии у меня возникла мысль создать биологическую теорию религиозного опыта. При этом основою религиозного опыта заранее предполагалась известная физиологическая роль его, т. е. a priori предполагался и затем разыскивался биологически целесообразный момент богопочитания. Научная задача предвидела свое разрешение в том, чтобы благополучно найти этот физиологически утилитарный момент и схематизировать относительно него существующие материалы, характеризующие в истории религиозный опыт каких бы то ни было форм, эпох и людей.

•

Совесть есть высший и дальновиднейший из органов рецепции на расстоянии. С другой стороны, она есть субъективный отблеск объективного закона Добра и Зла (возмездия).

Из самозамкнутого на себя самого, интенсивного, самоискательного жизнесохранения невозможно вывести и «объяснить» все изобилие, разнообразие и красочность форм нашей духовной жизни.

Характеристическая черта, влияющая на мое поведение за многие годы, это панический страх перед мещанским благополучием.

Благородный и добрый видит в людях благородное и доброе; и видимые впечатления подкрепляют в нем благородство и добро! Вор, развратник, завистник видит в людях воров, развратников и завистников; и видимые впечатления подкрепляют в нем вора, развратника и завистника! Такова Немезида [5] и таков закон в мире моральных отношений между людьми! Такова тайна Собеседника!

В нравственной настроенности людей, в их глазах, в общей обстановке настоящего момента уже заложено, и для мудрого внятно, начало того, что имеет быть в последующий момент жизни! Но слишком мало тех, кто может по признакам настоящего действительно прочесть и предвидеть то, что имеет быть. Таких людей — единицы. Мы ныне издали хорошо отдаем отчет, что уже в эпоху фракийского похода Александра Македонского было созревшим плодом — гегемония македонского монархизма в Греции, греческое покорение подгнившей Персии, завоевание эллинизмом великого Востока. Но еще сам Демосфен не понимал тогда момента, не провидел всего его значения и думал восстановить уходящую греческую старину своими речами! ⟨...⟩ Людей, которые обнаруживают этот исключительный дар — провидят то, что имеет быть, мы превозносим как «знающих Истину»! Они — пророки, философы, ученые. А когда нам хочется добиться постоянного, общедоступного и верного способа открывать Истину и предвидеть ее, мы говорим, что ищем «теорию познания» Истины.

Теория познания должна взять реальные исторические примеры того, как предоткрывалась Истина людьми, как они ее предвидели; и на таких примерах надо будет выяснить, чем люди могли при этом руководиться, что служило им вехами, ариадниною нитью к Истине: в теории познания мы пытаемся научиться от исторически великих открывателей Истины их искусству!

В чем же секрет открывателей Истины, и что является постоянным и существенным в их работе, когда они доходили до Истины? Что составляет их метод?

Один отвечает: это — логика. Отвечают так потому, что окончательный результат искания и нахождения истины, а также сама истина всегда сопровождается логической последовательностью путей и суждений.

Истина, когда мы начинаем ее постигать, всегда логична! ⟨...⟩ Однако из того, что открывание истины и сама истина всегда сопровождаются логическою связностью идей, выводят, что открывание истины происходит от логики суждений, да и само существо истины в логике,— это было бы заключение того же духа, что и люди умирают от лежания на постелях, ибо всякий раз, как они умирают, они лежат на постелях! Истина, когда она открыта, всегда логична; но история свидетельствует слишком внушительно о том, что открывание истины происходило не от логичности рассуждения, а сама предвидимая истина была для своих искателей не сцеплением суждений, а пламенною и надлежащей Действительностью и Жизнью! ⟨...⟩

Другие люди говорят: истинный путь открытия истины это экономика мышления! И правда, что открытая истина часто оказывается сокращением и упрощением того, что думалось людьми перед тем. Но еще очевиднее, чем по отношению к логике, именно здесь,— по отношению к экономике мышления, что все приписывать ей как панацее и критерию истины это значит сопутствующий признак и одну из тенденций мышления принимать за все: pars pro tóto! [6]

Третьи утверждают, наблюдая открывателей истины, что секрет их в Интуиции. Четвертые видят его в пророческом наитии. Пятые видят его в предании, в народной мысли — «Гласе Божьем». Шестые — в красоте. Седьмые — в нравственном добролюбии и чистоте, в сопровождающем их здравии духа. ⟨...⟩

Все ответы, каждый в отдельности, отмечают важные и ценные стороны в процессе открывания истины. Но каждый из них, желая сделать из указываемого признака всеобщий критерий истины, впадает неизменно в классическую ошибку: pars pro tóto!

27—30 июля 1921.
Александрия (Петергоф).

Мы знаем, что «существенное» в настоящем вокруг нас есть то, чему предстоит остаться в будущем, это зерно нынешнего зеленеющего растения; а «несущественное», мимоходящее,— это ствол и листья ныне

зеленеющего растения, коим предстоит уйти так же, как прошлогоднему снегу! И если отмечать известным девизом, эпиграфом Бытия его главенствующие тенденции при отборе Существенного, это будут: закон Возмездия, а за ним закон Милосердия.

Единственный по достоинству и значению и никакими силами не повторяемый опыт жизни дан тебе в переживаемые тобой дни. Они даны так, чтобы никогда не повториться; и ничем не можешь ты их заменить, когда они прошли. Тогда, когда вслушиваешься в них со всем напряжением твоего внимания, как врач вслушивается в то таинственное, что делается в груди его ближнего, тогда откроется тебе Великая Трагедия, составляющая существо Всемирной жизни! И тогда впереди ты предувидишь открытие конкретнейшей Истины в Судный день Христов.

С общебиологической точки зрения является громадным достижением способность реагировать, не разрушаясь от «раздражителя», оставаясь самим собою! Реагирует химическая молекула от затравки, которая к ней прилагается,— но реакция влечет ее разрушение — с момента начала реакции ее, как таковой, уже нет! Это реакция не в том смысле, какой мы придаем термину в биологии! Г. Успенский говорит: «Каждый опыт, попадая в эту нетвердую, неопытную мысль, только мучил и разорял ее». Великое биологическое достижение — уметь не разориться от нового опыта, сохранить свое бытие при столкновении с этим опытом (первая степень достижения, скорее инертная, чем активная!) или даже увеличить, обогатить свое бытие через этот новый опыт,— увеличить свою устойчивость и способность свою реагировать без разорения (вторая степень достижения, по преимуществу активная ⟨...⟩, прогрессивная и экспансивная, расширяющая сферу жизни!).

Способность сохранить свою устойчивость перед лицом опыта, а затем — способность расширить свою устойчивость через обогащение опытом,— вот два великих достижения жизни.

И если те опыты, относительно которых мы научились сохранять свою устойчивость, перестают для нас существовать — мы более их не замечаем (как опыт пространства и времени, координированной ходьбы и

т. п.), то опыты, относительно которых и насчет которых мы научаемся р а с ш и р я т ь свою устойчивость, являются для нас областью научения, упражнения, прогрессивного узнавания,— областью Содержательного Бытия и искомой Истины вне нас по преимуществу! (Именно об этой сфере сказано Гёте, что «опыт всегда нов»!). Насчет этих-то последних реакций мы «развиваемся», «прогрессируем», «духовно растем».

Эмоциональное волнение подчеркивает и укрепляет то возбуждение (восприятие или действие), по поводу которого оно возникает. Оно помогает восприятию или навыку закрепиться в душе и занять место самостоятельного деятеля в памяти. То впечатление, которое не связано с эмоциональным тоном в душе, обречено на более или менее скорое изглаживание из душевной жизни!

На низшей ступени жизни, эмоционально закрепляющей низшие конкретные впечатления и реакции, соответственно и сами эмоции по своему содержанию оказываются относительно элементарными: эмоция у д и в л е н и я закрепляет в ребенке впечатление от горящей свечи; она же, в связи с другими, более сложными эмотивными тонами, выделяет впоследствии в области самонаблюдения половые реакции созревающего организма из прочих данных молодого сознания!

В высшей психике эмоция закрепляет как нечто живое и конкретно пребывающее отвлеченные идеи сознания, делая из них подлинные «idées forcés»[7], творческие начала человеческой жизни. Соответственно сами эмоции вырастают в такие образования, как «ч у в с т в о м о р а л ь н о е», «ч у в с т в о р е л и г и о з н о е»!

Самая тусклая состарившаяся психика обветшалого, склеротического человека вдруг оживает, обновляется, оказывается способною опять воспринимать впечатления, учиться, запоминать, обогащаться, когда в ней чудесным образом возобновятся эмоции! В этом отношении совершенно незаменимым местом для человека по способности возобновлять и воскрешать его жизнь является церковь, при условии, конечно, что религиозная эмоция известна данному человеку и достаточно крепко связана с церковью!

И тем же путем, через эмоциональные волнения,

действует на человека и театр; но результаты воздействия оказываются низшего порядка в соответствии с более примитивным типом эмоций и более примитивною «философиею», которыми живет театр! Он ведь прежде всего слуга индивидуалистических настроений, тогда как церковь по преимуществу храм сверхличной жизни и общего дела человечества в его грядущем всеединении.

Мое учение о доминантах в центрально-нервной деятельности переносит его в высшие этажи нервной системы, совпадает с учением о «психических комплексах».[8] ⟨...⟩ Здесь доминанты связываются и индивидуализируются именно эмотивным тоном, которым предопределяется до известной степени и идейное содержание жизни, и общий склад деятельности при данном одностороннем возбуждении человека.

Доминанты могут продолжать свое влияние на психику и жизнь и тогда, когда они сами спустились ниже порога сознания. При истерии особенно ярко сказывается вытеснение одного комплекса другим из поля сознания. «Ущемленные комплексы», попросту — заторможенные психофизиологические содержания, продолжают еще подсознательно действовать на всю психику и очень патогенны. ⟨...⟩

По Freud'у, расшифровать подсознательное на кроющиеся в нем патогенные комплексы возможно лишь при полном отвлечении сознания от внешних впечатлений и при тщательном изучении того, как будет заявлять себя при этом подсознательное. ⟨...⟩ Это исполняется лучше всего, ибо серьезнее всего, при молитвенном сосредоточении внимания, при молитвенном чтении своей души. Рассматривая себя в зеркале, переводи тайных внутренних врагов своих в свет сознания; вплетай их в его оздоровляющую, регенерирующую[9] ткань!

Молитвенная дисциплина есть по преимуществу дисциплина всеобъединяющего внимания, освещающего все уголки и тайны подсознательного, соединяющая и собирающая личность в одно деятельное целое, скрепленное

притом могучею эмоциею, — эмоциею любви ко всякому Бытию!

Если до старости не успеешь овладеть при свете высшего сознания твоими внутренними врагами, которые кроются в твоем подсознательном, они выйдут наружу и уродливо дадут себя знать в тебе, когда в старости потускнеет твое владычествование ума!

Мысль или ускоряет наступление того опыта (той реальности), о которой говорит, или научает избегать его, может быть, даже предотвращает его наступление!

Последняя проверка мысли продолжает оставаться в том, к гибели или к торжеству приводит она своего носителя.

Последнее столкновение с конкретною реальностью — вот в чем последний интерес всякой мысли и всякой мысленной операции. И оно рисуется нам чаще всего в виде контактного соприкосновения с чуждою нам реальностью. ⟨...⟩ Потому-то всякая рецепция [10] на расстоянии сводится на построение проекта реальности ⟨...⟩, которого надо избегать или к которому надо стремиться. ⟨...⟩

Можно сказать, что рецепция на расстоянии, или предваряющая рецепция, имеет перед собой раздражителя как уже существующее, но в то же время направленная по нему реакция имеет его как будущее! Таким образом, деятельная проективность, известный произвол спонтанного построения (творческое конструирование) ⟨...⟩ всегда присутствует в рецепции на расстоянии. ⟨...⟩

Рецепируя предстоящее в пространстве, мы говорим, что оно всегда есть, только далеко отставлено от нас. Сириус есть всегда, XXI век есть всегда, стало быть, и все прошлое есть и пребывает как постоянное,— только пространственно я все уношусь от форм XVII века и приближаюсь к формам XXI века! Наоборот, отвлекаясь от пространства, я рецепирую настоящее именно как будущее и еще не существующее нигде! Я замещаю то, что есть, тем, что должно быть, но чего еще нет, и я избегаю того, что есть, переходя к тому, что должно быть!

С известной точки зрения, мой смертный час уже

есть, есть уже почти все элементы, в которые он отольется,— то дерево, из которого будет сделан мой гроб, та земля, которая будет меня окружать в могиле. ⟨...⟩ Я только еще не вижу пока осязательно этого события как наличного. Оно калейдоскопически еще не сложилось!

С другой точки зрения, созвездия Геркулеса для меня еще нет, но оно будет, как скоро астрономическая осведомленность откроет мне данные о нем и, еще ближе, когда земное мое обиталище войдет в сферу непосредственного, быть может, ужасающего влияния этого созвездия на его жизнь! ⟨...⟩

Что удивительнее всего — я научаюсь воспринимать на расстоянии во времени *события гораздо дальше, чем может простираться моя собственная жизнь*. Я проникаю мысленно в XXI столетие, в отдаленнейшие века! Я ношу с собою и в себе то, что больше меня и моего личного существования. Тут я уже частица сверхличного человеческого сознания, и достойным собеседником его является уже Божественная Вечная Истина!

Эмоция, как целое длительное состояние души, инертна. Она по преимуществу углубляет доминанту, дает ей устойчивость. Поэтому она в особенности перетягивает к себе и в своем направлении толкует различные побочные раздражители — «толкует в духе своего настроения».

Биологически роль ее важна, как *махового колеса*, укрепляющего центральную нервную систему на одном определенном устремлении, не дающего ей подчиняться случайным побочным импульсам и направляющего ее на определенные достижения.

Талант заключается в способности прозреть одним мгновением и как единую конструкцию целые сложные зависимости и архитектоники мысли. Мысли вдруг открывается перспектива, связующая целые ряды явлений и идей в единое существование, в единый образ реальности. И дальнейшей дискурсии [11] предстоит лишь изложить, раскрыть, дать в выкладке, прозрачной и обязательной для всех,— то, что было дано ему в первоначальном целостном прозрении. Так это в математике,

в музыке, в поэзии, в какой угодно науке; не иначе и в философии. Это и есть тот «первоначальный синтез», так удивительно предвосхищающий связи с реальностью, проект реальности, о котором можно сказать лишь одно — есть он у данного человека или его нет: ибо способность к нему есть дело индивидуальной природы, одаренности, как индивидуальной особенности зрения, слуха, ассоциации!

Социализм — скука о некогда бывшем общем деле, о некогда бывшем Единении! Секрет общего дела и Единения утерян, заброшен в море. И люди пытаются на место его выдумать что-нибудь свое, портативное, что-нибудь такое, что было бы возможно без самоотрицания, без самоотвержения.

12 мая 1922. Вознесение Господне. Можно сказать, что в нашем предметном мышлении стадия доминанты есть первая стадия всего прочего процесса. В это время наметившаяся доминанта привлекает к себе самые разнообразные возбуждения — все служит поводом к ее возбуждению и подкреплению! Это и будет время и фаза коркового возбуждения, когда еще нет местного, локализованного и специального возбудителя в коре,— кора одинаково восприимчива ко всяким раздражителям и толкует все безразлично в смысле наличной доминанты в центральной нервной системе. «Что у кого болит, тот о том и говорит». ⟨...⟩

Вторая стадия будет уже стадией условного рефлекса, когда кора связывает с данной доминантой определяющую группу раздражителей, биологически интересную именно для данной доминанты, и с этого момента выделяет для нее определенный образ, определенную законченную вещь, законченное «слуховое или зрительное лицо», которое отныне становится исключительным возбудителем данной доминанты и воспринимается как некоторая законченная в себе отдельность изо всей прочей реальности! «Рахиль плачет о детях своих и не может утешиться, не хочет утешиться, потому что их нет»! Дети для Рахили — исключительные, ничем более не заменимые реальности! И потому-то они для нее бессмертны! ⟨...⟩

Третьей стадией в развитии внимания будет то состояние, когда определенная группа внешних признаков, совпадающая с выдающимся индивидуальным лицом или по крайней мере напоминающая о нем, тотчас вызывает в центральной нервной системе ту доминанту, которая некогда вызвала к существованию данное индивидуальное лицо! Вид и имя князя Андрея тотчас вызывает в Наташе ту, единственную посреди прочих, доминанту, которая некогда создала для Наташи князя Андрея! Так определенное состояние центральной нервной системы вызывает для человека определенный образ, а этот образ потом вызывает прежнее состояние центральной нервной системы.

Пока доминанта в душе совершенно ярка и жива, она держит в своей власти все поле душевной жизни! Все напоминает о ней и о связанных с ней образах и реальностях. Только что человек проснулся, луч солнца, щебетание птиц за окном уже напоминает о том, что владеет душой и воспроизводит немедленно тот любимый образ, или идеи, или задание, или искание, которые занимают главенствующий поток сознания. «Аз сплю, а сердце мое бдит». ⟨...⟩

Замечательно, что в душе могут жить одновременно несколько доминант — следов прежней ее жизнедеятельности! Они поочередно выплывают из глубины подсознательного в поле душевной работы и ясного внимания, живут здесь и подводят свои итоги некоторое время, а затем снова погружаются куда-то вглубь, уступая место своей товарке. Но и при погружении вглубь, из поля всякой работы сознания, они не замирают, не прекращают своей жизни. Замечательно, что они продолжают расти и там, продолжают обогащаться, преобразовываться, так что, возвратившись потом в сознании, они оказываются более содержательными, созревшими, более обоснованными.

*

Насколько учение о Доминанте вытекает из данных Введенского, это можно видеть из того, что я не решался выступать с этим учением при жизни Н. Е-ча: как только покойный увидел бы, что учение это имеет под собой достаточную почву и солидные факты, а также обширные перспективы, он стал бы настаивать, что оно целиком принадлежит ему, ибо предвидится его фактами и общими точками зрения. Со своей стороны имея

основание считать значительную долю участия в установке этого учения за собою, я оставлял его опубликование и развитие для будущего.

Для меня лично точками отправления в этом учении служили, с одной стороны, идеи Введенского, с другой — общие данные Шеррингтона о реципрокной[12] координации нервных актов.

Лишь спустя много времени после того я стал знакомиться с данными лаборатории И. П. Павлова, когда основные мысли о принципе Доминанты у меня уже сложились, так что павловские данные, подкрепляющие значение этого принципа, служили для меня только ободрением и подтверждением: очевидно, мы прикасаемся к подлинной истине, если открываем ее, подходя столь различными путями и от самых различных точек отправления.

Власть на высоте своего призвания должна быть совершенно незаметной для своих подвластных, за исключением только тех случаев, когда подвластные делают преступления против Добра. На это скажут, что от властвующего требуется слишком большое самоотречение, ибо ведь ей хочется признания и награды, по крайней мере явной благодарности от тех, на кого она тратит свои труды. Но ведь это будет уже курьезно — для вызова знаков признания и благодарности со стороны клиентов обращать их внимание на себя какими-нибудь специальными проявлениями своей наличности, т. е. как раз тем, что уже выходит за рамки границ подобающей деятельности власти. Ибо подобающая деятельность власти должна быть неосязательною, незаметною; и она добра лишь постольку, поскольку не заявляет о себе опекаемым людям!

В этом отношении деятельность божественной власти в Истории вполне на высоте идеальной власти, ибо незаметна, недоказуема для подвластных, разве только сами подвластные будут искать поскорее ее явного обнаружения и пришествия. «Глаголю же вам яко не имате мене видети, дондеже приидите егда речете: благословен грядый во имя Господне» (Луки, 13, 35). Во всех прочих условиях людям предоставлено утешать себя утверждением, что божественной власти в мире вовсе нет и потому они могут вести себя как совершен-

ные анархисты, чистые «приспособители среды к своим потребностям», чистые адепты технологического мировоззрения sans gêne.

Подлинно добрая Власть должна нести на себе самый тяжкий из трудов мира — обслуживание подвластных — вполне безвозмездно. Это в самом подлинном смысле слова «раб рабов божиих», но не говорящий сколько-нибудь слышно даже и этих слов о себе!

Добрая власть должна быть неприметна для подвластных, и чем она неприметнее для них, тем ближе к норме своего призвания.

Наихудшая власть та, которая постоянно о себе заявляет и старается проникнуть со своими заявлениями во все детали вседневной жизни подвластных. Когда власть заявляет о своем бытии слишком часто, претенциозно и надоедливо, это значит, что близка революция.

«Восстание Ангелов» Анатоля Франса (русск. пер. М. Муратова. Москва, 1918) — книжка очень говорящая о переживаемой нами эпохе, рядом с русской революцией, с хулиганством Хулио Хуренито в его «учительстве». Революция в душах человеческих гораздо глубже, чем кажется нашим современникам, все еще думающим, что «это ничего», что еще можно сторговаться и кое-как возвратиться к устоявшемуся буржуазному «comme il faut».[13]

Несомненно, что полухристианство, явление столь же противное, как и «полудевство», не может выдержать посыпавшихся на него ударов. Христианство без подвига, без креста, без отречения от имения, от родства, от жены, от самой души, должно прийти к разоблачению. «Добро есть соль; аще же соль обуяет, чим осолиться? Ни в землю, ни в гной потребна есть: вон изсыплют ю. Имеяй уши слышати, да слышате» (Луки, 14, 34—35). Обуявшее и утратившее соль глаголемое «христианство просвещения» иссыпается вон историею и словом Божиим.

Но авторы, вроде А. Франса, профессора А. Древса[14] и т. п., очень ошибаются, если думают, что, стреляя по «христианству просвещения», которое они знают, попадают своими снарядами в подлинное христианство Христа Спасителя! Если снаряды Древса хватают всего

лишь в профессорское успокаивающее теологическое мурлыканье протестантских мудрецов германизма, то стрелы А. Франса имеют в виду одно лишь папистское католичество с критерием истины на попе, с римским кесарством в гордой поповской рясе, осмелившимся провозглашать себя за «едину вселенскую апостольскую»!

«Восстание Ангелов» это трагедия римского католичества, великой карикатуры на Христову церковь, поселившей неизбывающий в человечестве соблазн, будто дело поповства и папизма и есть дело «иудейско-христианского Бога».

Собственно направление мысли Франса то же самое, в котором двигались наши Мережковский с его «воскресшими богами», с восхищением Юлианом Отступником [15], В. Розанов с его хулением Христа и христианского подвижничества в интересах половой свободы и т. п. неоязычники, вздыхатели по античному миру. У французского автора эти вздохи облечены в изящный смешок и элегантную легкость. Рассыпаны живые интересные мысли, милое остроумие, блестящие странички по истории человеческой мысли. Только тяжело, что эти странички наполнены едким издевательством над образами и символами, в которых человечество пыталось воплотить свои скорби, недомогания, чаяния, потребности и верования! Не хватает любви к человеку, чтобы участливо войти в то, что он говорит, чего хочет, ждет, во что верует! Жалок человек, жалки средства его словыражения, убоги попытки его высказать то, что щемит его душу и что подает ему надежду и силу, чтобы жить в мире. Но смеяться ли над ним за его убожество?

Ни в чем ведь не возвышен человек более, чем в своих верованиях. Но и ни в чем он так не низок, как в «приспособлениях к своим собственным верованиям»,— в стремлении сделать их портативными для себя, т. е. в рассудительных компромиссах со своею совестью и идеалами! Вот за эти-то приспособления и компромиссы подвергаются потом похулению сами идеалы в душах слабых и непроницательных! За римские приспособления христианства, за буржуазно-протестантские мелодекламации на христианские мотивы подвергается хуле сам Христос в писательстве Анатоля Франса с товарищами!

Жаль Анатоля Франса и его товарищей! Так мало

проницательности при такой образованности и такой тонкости изощренного дарования!

Анатоль Франс не любит людей — только большая нелюбовь к ним, их жизни и волнениям может привести к такому демонскому издевательству над тем, как люди воплощали на своих языках и в доступных им образах свои чаяния, вдохновения и верования. И лишь снисходящая любовь к людям, братское чувство к ним может открывать уши к их *лепету об Истине*, а смиренное сердце сумеет найти себе тут зерна Истины и для себя самого! Пророческие образы, святоотеческие мнения, все символы христианского предания подвергнуты у Франса хохочущему освистыванию, бесовскому поношению. И это в самой органической связи именно с отсутствием любви к людям и тем фактом, что для Франса любовь вообще существует лишь в венерическом смысле слова, но и та у него испорчена, осмеяна, огажена и унижена, как все, все, что ни делают у нашего писателя выводимые им люди.

Не ненависть, а только большая нелюбовь руководили мною — говорит Хулио Хуренито у Эренбурга. Вот так же и у Анатоля Франса дело идет не о какой-нибудь горячей ненависти, а только о большой нелюбви к людям. А уж тогда, конечно, уши не услышат, глаза не увидят, сердце не почует, что делается с людьми. ⟨...⟩

Замечательно то, что, так презирая людей и все людское, наш автор, во всяком случае, менее всего презирает демонов, своих «восставших ангелов», и, во всяком случае, говорит с симпатией о демонском духе гордости, самости и восстания! Если христиане могли говорить словами Тертуллиана: [16] «Мы не только презираем демонов, но ежедневно побеждаем и попираем их и изгоняем из людей, как это известно очень многим»,— то Анатоль Франс презирает лишь все людские речи и рассказы о демонах, но не демонов, которые пребывают его героями! Это само по себе говорит! Вообще книжка очень симпатичная!

Наш автор влагает в уста своих демонов наиболее возвышенное, что знает. «Безграничное же желание познать и любить сжигало нам груди». ⟨...⟩ Они покинули небесное блаженство и воплотились в человеческий мир, познали страдание, благословив его за то, «что оно вдохнуло в нас Любовь и жалость, незнакомые небесам». Любить и познать — прекрасные «mots» [17], звуча-

щие так же прелестно, как пресловутые французские: равенство, братство. К сожалению, на протяжении книжки нашего француза они не получают другого конкретного воплощения, кроме большой склонности восставших ангелов к клубнике с девицами и большому увлечению их популярными книжками по естествознанию. Ничего не поделаешь,— таково уж наиболее устойчивое у французов представление о l'amoure et la vérité![18] Автору не перескочить через самого себя!

В письме Полонскому Тургенев писал: «Любовь есть одна из тех страстей, которая надламывает наше Я, заставляет как бы забывать о себе и о своих интересах. ⟨...⟩ Не одна любовь,— всякая сильная страсть, религиозная, политическая, общественная, даже страсть к науке, надламывает наш эгоизм. Фанатики идеи, часто нелепой и безрассудной, тоже не жалеют головы своей. Такова и любовь».

Доминанта, большой запас потенциальной энергии в значительном напряжении, легко разряжающейся по разным поводам,— замедленный взрыв. ⟨...⟩ Так же, как жизнь есть замедленный процесс горения, и доминанта есть замедленный взрыв, вызываемый детонацией.

С точки зрения абстракции, всякий конкретный опыт есть частный случай. И остается невыясненным, почему же существует именно этот частный случай, а не другие, отвлеченно одинаково возможные.

Для мира алгебры геометрический мир есть случай. Для геометра физический мир — случай. Для механика химический мир — случай. Также и для физико-химика мир жизни есть случай.

Но в особенности каждый человек, индивидуально существующий перед нами, есть новый, вполне исключительный случай! Никем он не может быть заменен, он совершенно единственное «лицо». Тут приходится внести в опыт новую категорию мысли,— уже не предмета, не вещи, а лица.

Наиболее конкретный опыт, побуждающий до крайности индивидуализировать отношение к себе, это опыт человеческого сожития, опыт «лица».

Тут и встает впервые во всем своем своеобразии проблема Собеседника и Друга. Сумей построить и заслужить себе собеседника, какого ты хотел бы! Это недостижимо никакими абстракциями!

Человеческий опыт слагается из двух половин: О = М + В, где М — внутренние свойства самого познающего и чувствующего инструмента, а В — внешние для познающего вещи. В минуты счастливой уравновешенности духа человек не чувствует своего М, его внимание всецело в созерцаемых вещах, в В. Счастливая Эллада и могла отдаться с самозабвением этому созерцанию макрокосмоса вещей и их свойств: она создала первые принципы «объективной науки». Гениальный и мучительный еврейский дух не мог отрешиться от своего М,— он слишком саднел, слишком болел; и при всей гениальности еврейство не могло дать абстрактной науки; он наполнил мир лирикой. 〈...〉 Рано или поздно, впрочем, и греческий дух должен был отдать себе отчет, что В существует для человека лишь постольку, поскольку его открывает внутренний инструмент человека. Лишь хорошо зная свой внутренний инструмент и его свойства, лишь хорошо зная М, возможно критически оценить его показания, т. е. открытые ему вещи В. Сначала открыв это, греческий дух затоптался на месте и растерялся. Наступила эпоха софистов.[19] Но она разрешилась у сократиков [20] в великую философию, вобравшую в себя и мудрость халдеоеврейского Востока, влияющего на нашу мысль доселе. Последний этап ее будет там, где, познав трансцендентальную и психологическую сторону М и расширив до пределов познание В, человек дойдет до отчета в целокупном составе своего текущего опыта М+В и воспримет его под новою категориею — категориею «лица».

Мотив из вступительной лекции 11.IX.1923.

Глеб Успенский никак не мог понять, что это казалось нашему православному народу таким «хорошим» в монастырях, зачем это люди ходили пешком за тысячи верст, только чтобы побывать в обители, подышать ее воздухом. Что тут такого «хорошего»? А дело очень просто. Хорошее в ж и в о м о щ у щ е н и и б л а-

голепия жизни! Так же, как смутная и мятущаяся душа поселяет вокруг себя атмосферу и фактическую проповедь смуты, недоумения, страдания и мрака, так ясная и умиленная душа лесного жителя-подвижника поселяла, и еще поселяет и после кончины, живую проповедь, живое ощущение Бога в мире, т. е. настоящее благолепие жизни и бытия! И утружденные души, несущие толчки и удары повседневной жизни, начинающие утрачивать благополучие и красоту в своей личной жизни, естественно поднимаются и тянутся страинническими вереницами к тому светлому и тихому «земному раю», где дышится благолепием жизни, радостью с Божием строем в мире!

Тут удивительно скорее то, что такие тонкие и умные по-своему люди вроде Успенского не могут понять и видеть, что так просто!

18 сентября 1923.

Только наиболее упрощенные по условиям жизни части тела могут ограничиться законами механики,— это кости, функционирующие по принципу рычага! Для прочих тканей и органов требуются уже законы физической химии, органической химии, ферментативной химии и проч. Так что и в организме «геометрическое» и «механическое» составляют лишь очень узкую, частную, специальную главу!

Успокаиваемся для прошлого, чтобы быть во всеоружии перед лицом наступающего! Наилучшим образом мы встречаем «среду», узнаем ее, приспосабливаемся к ней, когда забыли о себе! И большею частью мы «приспособляемся к среде», чтобы не чувствовать себя! Когда мы себя не замечаем, тогда все кажется объективным. Оттого так долго не примечается «трансцендентальное», внутреннее, «субъективное», своя внутренняя деятельность, незаметно вносимая повсюду!

Человек возвращается к равновесию в себе для того только, чтобы снова воспринимать внешнее.

⟨...⟩ Но когда же возникает мысль о «субъективном»; и что нужно, чтобы для человека все стало опять объективным?

Эпический характер — более успокоенный за себя. Лирический характер — всегда обеспокоенный внутри. Германский характер — внешний, спокойный за себя, направленный на «объективное». Еврейский — лирический, страждущий внутри! Первый занят по преимуществу внешним; второй по преимуществу внутренним!

Александрия. 16—21 августа 1923.

«Первой добродетелью всех действительно великих людей является искренность. Они вырывают лицемерие из своего сердца, они бестрепетно обнажают свои слабости, свои сомнения, свои пороки. Они вскрывают себя. Они выставляют напоказ свою обнаженную душу, чтобы все их современники узнали себя в этом образе и изгнали из своей жизни разъедающую ее ложь. 〈...〉 Великие писатели не имеют низкой души. Вот в чем их тайна. Они горячо любят своих ближних. Они великодушны. У них всеобъемлющее сердце. 〈...〉 Видите ли, господин профессор, сострадание — это самая основа гениальности» (Поль Гзелль. Беседа Анатоля Франса.— Новости иностранной литературы. М., 1923, с. 106—108). За одну эту превосходную страницу отпустится многое, многое Анатолю Франсу! 〈...〉 Но как легко принять «словесное вдохновение» за подлинную любовь к людям, за подлинное сострадание и милосердие, готовые идти за друга и брата до креста и смерти.

Установить «закон», которому в самом деле подчиняются факты, это значит уловить нечто постоянное в вещах, нечто такое, что не изменяется от времени; в предельном своем понятии закон есть по существу нечто не зависящее от времени, нечто вневременное! Таковы законы геометрии, как их успел разглядеть в пестроте вещей художественный взор древних греков. Таковы законы механики, как их уловило созерцание Галилея. Таковы принципиально и все законы, которые разыскиваются с тех пор физиками, химиками, биологами.

Если тут и привлекается иногда время, когда от него невозможно нацело абстрагироваться, то в качестве лишь координаты, относительно коей можно было бы изложить устанавливаемый цикл зависимостей по тому же типу, как мы устанавливаем закон изменения кривой в зависимости от координатной оси абсцисс. Это время не как фактор, влияющий на течение событий, а как порядок распределения вещей, в сущности нечто пространственное.

Даже там, где в сложных течениях истории мы улавливаем закономерные постоянства, «эпохи-типы», для которых как будто выясняются своего рода законы истории, дело идет о чем-то постоянном среди текучего, о чем-то неувлекаемом и неизменяющемся от времени, о чем-то вневременном!

Раз перед нами «закон», то тем самым тут нечто постоянное и вневременное, независимое от времени, т. е. при всяком течении времени повторяющееся попрежнему! Эпоха-тип — это такой отрывок исторического потока, для которого время уже не играет роли и в границах которого время остается не более как t, координата распределения отдельных элементов зависимости!

Таким образом, и идеальное постижение мира рисуется нашему духу как уловление его в завершенный, более не изменяющийся, более не предвещающий никаких неожиданностей, постоянный и откристаллизованный цикл, для которого более нет истории, нет судьбы, нет времени, за исключением одного лишь t — этой условной, пространственной по существу, координаты! 〈...〉

И тем не менее наша мысль чувствует и догадывается, что лишь искусственная абстракция дозволяет нам рассматривать вещи вне времени. 〈...〉 Всякая отдельная «вещь» в мире, всякое отдельное подлежащее, о котором мы пытаемся высказываться, есть относительно постоянный, относительно устойчивый отрывок текущей реальности, который мы условно принимаем как «постоянный» и «вневременной», но который в самом деле непрестанно стремится расплыться в своих границах и утечь во времени!

2 сентября 1923. Петроград.

«Большинство армии — солдаты — мало озабочены будущим; они всецело живут настоящим»,— писал Цезарь Ложье о настроении великой армии Наполеона перед вступлением ее в роковые равнины России (Ц. Ложье. Дневник офицера великой армии. Москва, 1912, с. 23). Только немногие люди среди офицерства и генералитета испытывали смутные предчувствия ожидающих их бедствий. Что же? «Здоровое ли легкомыслие» большинства говорило тут, то «здоровое» легкомыслие, которое помогает беззаботно пресмыкаться и отдаваться во власть влекущих сил—force majaure [21]? Для одержимых здоровым легкомыслием, которое ставится в плюс Возрождению, по сравнению со средневековым трагизмом мироощущения, не существует трагических предчувствий, не заговаривает совесть, молчит пророческое слово, не внятны голоса «Dies irae» [22]. ⟨...⟩ И это при всем том, что именно руками этих самых людей, охваченных здоровым легкомыслием, вносится трагический ужас в жизнь мира, и ими, как молотом, дробится, разбивается и куется история!

Со здоровым легкомыслием влеклись толпы гуннов на Европу; со здоровым легкомыслием татары наводнили святорусскую землю; со здоровым легкомыслием молодые люди в англоманствующем обличии творят казнь своей родины за исторические прегрешения!

Да, здоровое легкомыслие можно приветствовать разве только с той высшей и страшной точки зрения, что его руками творится трагизм истории и ее возрастание к почести вышнего звания!

Логика событий уже влечет роковым образом разрушение; но она еще не видна даже такому участнику этих событий, как Наполеон, мнящий себя творцом всего дела и фактически стоящий во главе рокового движения, этой лавины, нависшей над бездною! ⟨...⟩ Как ужасно это, когда ум видит вещи последним, тогда как ноги уже несут его с неизбежною логикою к концу! Да, лишь пророчественная совесть может провидеть и предварять события!

«Солдаты с изумлением и негодованием обратили внимание на изобилие кушаний и утонченных вин на столе императорской прислуги. А сами солдаты переносили в то время величайшие лишения. Эта противоположность была отвратительна и унизительна. Началь-

ствующим следовало бы извлечь отсюда хороший урок.

Когда Каттион проходил через пустыни Африки, он шел пешком впереди легионов с открытой головой, под лучами солнца, питался, как солдаты, черным хлебом. Бонапарт на Альпах и в Европе помнил об этом примере, зная, как действует такое поведение на войско» (Ц. Ложье).

Мало учитывается психологическая, моральная и экономически-творческая разница между великодушным, вдохновляющим демократизмом сверху, от сильных и властных к слабым и малым, и деморализующим, расточающим, своекорыстным демократизмом снизу, за которым нет другой силы, кроме эгоистического искательства! Величайшие эпохи истории были эпохами творческого и созидающего демократизма сверху. Великие опустошения и уничтожения истории приготовлялись и осуществлялись саморазрушающимся демократизмом снизу!

Нельзя думать, что поползновение проникнуть в приходские дела улеглось. Не успокоится нынешнее стремление, пока не прососется до последних уголков жизни. Левиафан должен проникнуть до дна, и в этом наказание им!

Распутиновщина продолжает давать свои отрыжки и продолжения. До нас она докатилась, например, в лице Н. Муравьева, нашедшего себе у нас благоприятную встречу в лице С. Шлеева. Это улыбающееся, как бы любезное отношение к простым верующим людям, таящее за собою тенденции использовать и эксплуатировать верования людей для своих целей. Удивительно, как трудно подойти к простой вере простых людей с открытой душой, с открытыми ушами, чтобы слышать! Одни совсем отрицают за человеческими верованиями и их преданиями значение реального опыта, по крайней мере столь же значащего, как опыт физического, химического и биологического естествознания, доходя в крайности своей до отрицания raison d'être гуманитарных факультетов. Другие делают еще гораздо худшее, усматривая в человеческих верованиях удобную почву для своекорыстного овладения людьми и их душами! Первое — это верхоглядный «позитивизм» и рационализм. Второе — гораздо худшее: это распутиновщина с его многоликими проявлениями!

Утверждают лицо в Боге потому, что не знают ничего в мире и жизни выше, чем лицо!

Отрицают личное в Боге потому, что знают в личности лишь эгоистическое, лишь фокус самоутверждения!

Кто как настроен в своей жизни, в своем представлении о личном и о лице человеческом, так и судит себя в своих заключениях!

31 августа 1923. Александрия.

В том, как наши так называемые «эс-эры» думают творить историю, есть коренное недоразумение. Девиз, что «в борьбе обретешь ты право свое», не замечает всей пропасти между творческим демократизмом сверху, знающим борьбу сильного с собою во имя слабого и малого, и малодушным демократизмом снизу, влекущимся одним эгоистическим самоискательством. Правда была бы в девизе «В борьбе обретешь ты правду свою» — в борьбе прежде всего с самим собою во имя высших обязательств перед теми, кто несчастен, мал и слаб! Мелочное малодушие самоискательства не может построить никакой общественности, ибо без идеализма нет сил и потенциала для творчества, и в особенности для творчества общественного!

Плоха и сомнительна та истина, которая видна только при определенных, совершенно исключительных условиях! Подлинная истина видна отовсюду, лишь бы люди сумели открыть на нее глаза!

К психологии и физиологии в е р ы: Ц. Ложье описывает критическую минуту расстроенного отряда вице-короля под Красным глубокой осенью 1812 года. Военная спайка еще держится. Вице-король своей речью еще может воодушевить солдат; «и солдаты, которые за минуту до того чувствовали себя изнуренными и подавленными, нашли в себе остатки прежней энергии, их лица озарились тем же светом, какой в былые времена предвещал победу».

Но вера иссякает — сил для нее все меньше и меньше! По дороге от Коханова к Бобру «император дал разрешение брать в артиллерию всех лошадей, какие только понадобятся, не исключая и лично ему принадлежащих, только бы не быть вынужденным бросать пушки и зарядные ящики. Наполеон первый подал этому при-

мер, но, к несчастью, мало нашлось подражателей». Вера кончилась, не действует уже геройство!

Начинается тогда жизнь по Дарвину: «...нет больше друзей, нет больше товарищей. Жестокие друг к другу, все идут, одетые в какие-то нелепые лохмотья, смотря вниз и не произнося ни единого слова. Голый инстинкт самосохранения, холодный эгоизм заменили былой душевный пыл и ту благородную дружбу, которая обычно связывает братьев по оружию». «Все шли наудачу, руководясь своими соображениями. Инстинкт самосохранения брал верх, и каждый искал спасения только в самом себе, полагался только на свои силы».

Дарвинистические принципы жизни возгораются там, где жизнь оскудела, и они могут поддерживать лишь оскудевшую, иссякающую жизнь, где осталось одно бессодержательное стремление удержать «существование». ⟨...⟩

Нет более эгоцентрического и эгоистически-индивидуалистического принципа, как дарвинистический принцип «борьбы за существование». Это последний отклик протестантско-индивидуалистического распыления человеческого общежития!

И дарвинистический принцип не способен ничего организовать или созидать! Он отмечает собою последний распад и дезорганизацию человеческого общества и, вместе с тем, поддерживает этот распад,— делает его принципиальным и сознательным.

Дарвинизму пришлось прибегнуть к дополнительным допущениям «постоянного перепроизводства» жизни, чтобы как-нибудь объяснить возможность роста и организации жизни при царстве «борьбы за существование». Перепроизводство жизни — это Deus ex machina [23], долженствующий выручить от всеразрушения и оскудения, вытекающего из мертвой борьбы за существование!

Удивительная диалектика человеческих идей! В тот момент, когда идея становится наиболее бессодержательной и формально-пустой для индивидуума, она становится наиболее индивидуалистической! Пустое место «борьбы за существование» ⟨...⟩ делается началом чисто индивидуалистической борьбы при иссякании последних истоков общественности и «общего дела» между людьми! Лжемудрый змий грызет у себя свой хвост!

22—23 сентября 1923.

Нелепый толстокожий бегемот, который смел копаться нелепыми и грязными лапами в моей душе в самый живой, трепетный и драгоценный для меня час, уродуя, грязня и пачкая то, что тогда рождалось и зацветало во мне.

Собственность есть стяжание. Но право собственности есть ограничение стяжания. Коммунизм есть освобождение от права собственности, т. е. освобождение от какого бы то ни было ограничения стяжания. Он и начинает свое фактическое делание в истории с раздразнивания в людях инстинктов стяжания! Это так фактически, как бы ни задрапировывали это его идеализаторы.

Твоим маленьким пониманиям естественно и надобно, конечно, оседать и откристаллизовываться в некоторые определенные постоянства, по мере того, как они изготовляются в твоей душе. Но это-то и делает из них уже препараты и выделения жизни, а не живую жизнь в ее цельности. Будь уверен, что живая жизнь, из которой они кристаллизуются, шире их, не вмещается в них, никогда не может в них закончиться и будет приносить все новые содержания, ибо «опыт всегда нов» — по справедливому слову Гёте. Итак, надо быть шире своих кристаллизаций!

Живая жизнь всегда уходит из сетей твоих пониманий, вырывается из них вперед, растет, влечет тебя, зовет тебя встать выше себя самого. (Это дух максвеллизма.)

Сидя в тюрьме ДПЗ в Петрограде (IV отд. кам. 265) [24], я записал на стене: если судьбы мира бессмысленны, то и все во мне бессмысленно, а стало быть, я не имею никакого основания критиковать бытие. И если моя судьба бессмысленна, то бессмысленно также бытие, которое в себе ее допускает; тут обязательный круг!

Если в твоих впечатлениях от жизни получается не сумятица, а драма, то это уже не бессмыслица, как казалось перед этим, но какое-то имеющее высказываться слово.

И если эта драма оказывается затем трагедией, притом очень значительной и подчас несравненной, то

предстоит, очевидно, лишь усилиться прочесть ее содержание!

Если будет открываться, что это необычайная трагедия любви в мире, то мировая история открывается в своей перспективе как дело любви божественной.

Если допущен смысл в малом и в зерне, то он приведет к великому смыслу целого и плода его,— лишь бы не сбиваться с дороги и раньше времени не опускать рук, не изменять своему делу!

Безынтегральное и бездоминантное отношение к среде переживается нами как бесформенный поток о щ у щ е н и й, в котором не разберешь, что тут вносится нашими внутренними процессами, что приходит в самом деле извне. Такое состояние бесформенного душевного переживания бывает в нас, когда мы иногда проснемся темною ночью и прислушиваемся к неясному трепетанью приходящих впечатлений, как будто совсем новых, каких ранее, в шуме дня, мы не замечали. И тут, быть может, реальнее, чем где-либо, улавливается одно невозвратное утекание времени, жизни и бытия!

Парки бабье лепетанье,
Спящей ночи трепетанье,
Жизни мышья беготня...
Что тревожишь ты меня?
Что ты значишь, скучный шепот?
. . . .
Ты зовешь или пророчишь?
Я понять тебя хочу,
Темный твой язык учу...

(Пушкин. «Бессонница»)

И тут же начинается улавливание известного порядка, смысла, значения в этом темном языке утекающих ощущений! Зерна Истины тут уже есть!

Переживали Истину и привыкли переживать ее в обстановке удовольствия, с приятным для слуха пением, с красивыми картинами. И, конечно, должны были уступить в твердости тем, кто хотя бы и на ложном пути отдавались своей истине с забвением своего счастия и теплого угла! Современные нам, традиционно воспитанные бытом христиане «давно забыли о трагизме в христианстве»,— по выражению Бердяева. И соб-

ственная мягкотелость не могла не сказаться в час испытания, когда за Истину стали гнать, мучить, убивать! В отступничестве наших дней нет, стало быть, какой-либо роковой тайны. Это естественное следствие для тех, кто привык, что за Истину хвалят, награждают, дают преимущества; что Истина — в золоте, в красивом пении. 〈...〉 Таков трагизм самой природы человеческой!

Мировоззрения могут быть классифицированы, во-первых, как эгоцентрические и неэгоцентрические. Первые не предполагают пребывающей истины вне человека. Сам человек — строитель жизни. Вторые знают Истину вне и независимо от человека. Здесь Истина чувствуется как искомая тайна. Тайна эта может быть заранее предчувствуема как совокупность предстоящих, еще не выявившихся мерзостей. Это будет то настроение, которое в типическом случае отливается в бред преследования.

Но тайна может быть заранее приветствуемой, любимой, прекрасной. Это будет то настроение, которое называется религиозным.

В своем кризисе первого рода неэгоцентрическое мироощущение переходит в бунтующий эгоцентрический бред величия и абсолютного строительства бытия самим, божественно великим, человеком.

Второе неэгоцентрическое мировоззрение переходит в гармоническое убеждение, что посреди прекрасной Истины (тайны) бытия человек есть деятель и помощник этой прекрасной тайны, насколько ее постигает и ей усваивается. Наука хочет быть неэгоцентрическим мировоззрением без оценки бытия, с чистым объективизмом летописца. Но в конечном счете она таит в себе приветствование Истины как Красоты.

Жизнь дает себя чувствовать все значительнее, потому что она все суммируется и подходит к своей ликвидации.

Но когда теперь я просыпаюсь от благодетельного сна, я начинаю чувствовать главное содержание моей жизни как огромную болеющую рану.

Это новая Доминанта, вставшая на место той прежней, которая наполняла душу радостью, с минуты пробуждения, уже по поводу щебетания птиц, шума

листьев, дуновения ветра. ⟨...⟩ Теперь доминирует ощущение болеющей душевной раны.

6 октября 1923.

Угрюмая глупость — одна из черт русского народа, предоставленного самому себе. Это проявлялось много раз в истории. Между самыми светлыми вспышками отдельных людей, увлекающих иногда за собою целые направления русской жизни, вплеталось это настроение массы. В данный момент от него избавляет еврейство.

Наш современный студент ищет на лекции и н т е р е с н о г о р а с с к а з а, а не науки! Потому он бежит с лекций, где излагается сама наука,— она ему скучна! На курсе, где читается наука, сидит 5 человек. Где показываются драматические опыты, где сенсация, картинки — аудитория ломится от слушателей. Неудивительно, что в общем царит некритическая традиция понятий и так мало подлинно критической, гибкой, собственно научной мысли!

Моральное стремление стать лучше все еще эгоцентрическое стремление! Оно остается сосредоточенным на самом деятеле. И оттого само по себе оно не имеет достаточной силы. Тут человек может сказать однажды, что стыдится и не хочет быть лучше других, не хочет «иезуитничать» [25] и фарисействовать!

Совсем другое дело, когда человека вдохновляет Красота Истины самой по себе. Тогда он прочно и навсегда пойдет за своею Красотою, ибо будет забывать себя и уходить постоянно от себя к Ней,— куда Она, туда и он.

Если вы взяли читать Библию, чтобы стать лучше, то с таким эгоцентрическим, сухим и прозаическим стремлением вы скоро прекратите интерес к ней.

Но если вам доступно чувство несравненной Красоты в Библии, тогда вы уже не перестанете ее читать, в нее вчитываться! Прозаический протестантский морализм не мог удержать интереса к Библии народного!

В с е у т е к а е т, н и ч т о н е п о в т о р и м о: з н а ч и т, в с е и с к л ю ч и т е л ь н о в а ж н о. Заметьте, что это в самом деле принципиальная противо-

положность тому популярному воззрению, что все повторяется по одним и тем же законам, поэтому и важное в жизни принадлежит только этим абстрактным, общим законам, тогда как конкретная, текущая реальность сама по себе никакого пребывающего значения не имеет. Для того, кто видит в мире одни лишь более или менее повторяющиеся «вещи»,— истина есть удобная для человека, моя собственная абстракция, которая меня успокаивает, удовлетворяет и вооружает для новых побед над «вещами». Для того же, кто однажды учуял в мире «лицо», истина есть страшно важная и обязывающая задача жизни, все отодвигающаяся в истории вперед, драгоценная и любимая, как любимое человеческое лицо, и дающая предвкушать свои решения не абстрактному ratio [26], а лишь той собранности и целокупности живых сил человеческого лица, которую мы называем с о в е с т ь ю. Не ratio, этот рассудительный мещанин, всегда самодовольный и ищущий своего успокоения, а горячая совесть и любовь к человеческим лицам — вот кто наш надежный руководитель и строитель жизни!

1 октября 1923. Петроград.

Из того, что в большинстве случаев «благие порывы» человека кончаются при соприкосновении с «действительностью» жалкими карикатурами, человек бывает склонен сделать злостное (обиженное) обобщение в духе Древнего Востока и Платона, что «действительность» вне человеческого «духа»; материя есть роковым образом карикатура и антагонист духа, истины и красоты. Лишь в очищении, изоляции и эмансипации от материи дух может жить в своей истине и красоте, в том, что есть для него подлинно Сущее.

Беда здесь в том, что человек не замечает корней карикатуры в себе самом, не усматривает своего авторства в переживаемых им карикатурах.

Древнехристианский подвижник со всею зоркостью усмотрел, что человек сам автор переживаемых им жизненных карикатур, и взялся за искоренение карикатуры из самого себя, воспитывая в себе новую природу. Окружающая тварь, материя, получила тогда оправдание от возводившихся на них похулений. Человек понял, что надо мужественно переделывать самого себя.

Знаю я, что нечто делается вокруг меня; и нечто делается также во мне самом. И там, вне меня, и здесь, во мне самом, есть свои законы, свой порядок, которые надо изучать самостоятельно. Там я узнаю эти законы геометрии, тяготения, механики, химии; здесь я различаю принцип доминанты, закон Вебера—Фехнера, закон optimum'а [27] реакции для определенных средних величин влияющих на меня энергий.

Как я могу уследить исчезающий процесс, когда мои восприятия подчинены закону Вебера—Фехнера? Как я улавливаю постепенное прекращение шума в самоваре или постепенное замирание жизни и дыхания в умирающем человеке? В обоих случаях я принужден увеличивать возбудимость моих воспринимающих приборов, повышать интенсивность внимания; это постепенное усиление внутреннего возбуждения может дойти до настоящей тревоги, до общего возбуждения.

Одним из способов вызвать Доминанту в центрах может служить постепенное ослабление одиночных ударов, падающих на нерв и удерживаемых затем на минимуме.

Мы лягаем неоправдавшиеся проекты нашей мысли и тогда обнаруживаем склонность унижать вообще свою наклонность к проектам, как «дон-кихотство». Однако забываем, что всеми научными открытиями мы обязаны ничему иному, как именно проектам мысли. Неоправдавшийся проект «азотного дефицита», продолженный Либихом [28], мы ставим как типический минус для «вспомогательных теорий» вообще. Но забываем, что все множество открытий, которыми мы обязаны Либиху, сделано им в том же порядке построения пробных проектов. Все люди всегда живут проектами. Из тысячи проектов оправдывается один. Это не мешает проективной деятельности быть единственным инструментом построения истины!

В дон-кихотовском рыцарском проекте больше трагического, чем смешного. Это трагедия человеческой природы, где лишь тысячами ошибок и ошибочных проб вырабатывается истина.

Рационалисты начали думать, что Истину можно познать независимо от нравственной праведности жизни.

Продолжая их, социалисты начали думать, что правильную жизнь в обществе возможно достичь независимо от праведности отдельных строителей этой жизни!

Все это — попытка плод добру принести от репейника!

Все это логическая и политическая алхимия.

«Нет такой политической алхимии, посредством которой можно было бы получить золотое поведение из свинцовых инстинктов» (Герберт Спенсер).

Новейшие социалисты полагают, что они социальными реформами успеют переплавить инстинкты людей, воспитать нового человека, переработать его в новую природу.

Тут существенный вопрос в том, возможно ли доброе перевоспитание инстинктов в человеке без его подвижнического труда над самим собою!

Не о «борьбе за существование», а о борьбе за существование в красоте — вот о чем надо говорить как об общем принципе бытия! Не о жизни как таковой, а о жизни в красоте! Борьба за существование отнюдь не обобщение, а жалкая, пустая частность!

Все тщание врага в том, чтобы из творения Божия сделать безобразие. Вернуть красоту красоте, убить красотою карикатуру — вот что значит «воскресить Бога». Вот что значит «Воскресни, Боже, в покой твой, ты и кивот святыни твоея».

Вся христианская догматика есть попытка возвратить красоту ужасу Креста Христова! «Мир отомщен тем, что праведник умер на кресте» (И. Златоуст).

Звать надо не к морали, а к красоте. Говорить не о морали, а о красоте. Тут более любви и конкретности.

Вместе с любимым человеком переживать красоту — вот в чем возможное для человека счастие в жизни. И обратно: погубить красоту в карикатуре — вот в чем величайшее человеческое несчастие, тот соблазн, за который весится мельничный жернов на шее человека, увлекающий его в пучину морскую.

Красота и благолепие окружают далеко вокруг, как бросаемый вокруг отблеск, доброе и праведное человеческое лицо. Столь же широко распространяется смута и карикатура вокруг человека, не сумевшего соблюсти в себе гармонию и правду!

И ужас человеческой жизни в том, что так часто, во имя красоты, выливает человек карикатуру!

5 ноября 1923.

Коммунисты в отношении религии говорят нам собственно следующее: не смейте говорить святые слова людям. Вы их слишком скомпрометировали! Ибо ведь они в ваших руках были средством для того, чтобы вершить ваши делишки! Не смейте же больше касаться святых струн человеческой души вашими нечистыми руками! Вы, «содержатели истины и неправды»...

Жизнь с лицом человеческим совершается в порядке постоянной переинтеграции: надежды, разочарования, уверенность и т. д. «Вещь» интегрируется в постоянное несравненно легче, чем лицо. Потому слабые люди предпочитают жить с вещами, чем с человеческими лицами. Но бывает еще и так, что к человеческому лицу применяется отношение как к законченной «вещи», как к однажды навсегда зафиксированному интегралу. Так может сложиться мертвое сожитие даже мужа с женою без понимания и общей жизни между ними. То же отношение к человеческому лицу свойственно государству, бреющему всех под одно, и общественно-философским системам, говорящим, например, об «экономическом человеке» как о постоянной в своих определениях вещи!

Общение с собеседником и есть процесс живой переинтеграции личного образа, взаимной оценки и понимания друг друга, которое непрестанно подвижно и непрестанно растет.

Законченный интеграл, или «решенный интеграл», лица достигается лишь там, где лицо умирает фактически — материальною смертью или утратою нашего интереса к нему. Лицо умершего интегрируется в процессе апофеоза. Лицо духовно умершего для нас интегрируется и заитоживается нашим судом над ним. «Забвенна буди десница моя, аще не помяну, аще забуду тебя Иеросалиме». 〈...〉 Забвен и отвержен пусть я буду, когда «решу» бесконечный интеграл человеческого лица, и оно станет для меня вещью или умрет! По-настоящему ни смерть, ни мучения не могут «решить» интегра-

ла человеческого лица,— он переживает всякие обстоятельства, вечно жив. Оттого решающий суд над ним откладывается нами на страшный последний день Суда Божия. И это будет суд одновременно и над ним, интегралом, тогда подлежащим окончательному решению, и надо мною, его интегрирующим. Тогда вдруг мы решимся друг для друга.

(Речь к друзьям.) Наше маленькое общество, собравшееся так удачно в марте и апреле 1922 г., на наших глазах несомненно расточается.

Еще одна попытка собрать распадающееся под влиянием «ветров северных», так губительных для живого. А ведь эти северные ветры есть не только вне нас, в этом холодном городе и серой стране, которые мы охотно браним, но и в нас самих. И вот это гораздо страшнее и опаснее, чем всяческие невзгоды совне!

Если верить тому, что тенденция энтропии царствует и преобладает в мире, то нет ничего удивительного в том, что удачные созидания в нашей жизни так редки и исключительны, а явления распада, рассеяния и успокоения в безразличии так обыденны и ежедневны!

Что же? Примириться ли с тем, что волна, поднявшаяся у нас с весны и так весело воспенившаяся в Александрии летом, теперь улегается в какое-то свинцовое безразличие? Поклониться ли этому осеннему покою на море перед его замерзанием и сказать ли, что все равно — это жалкое успокоение неизбежно?

Я, со своей стороны, не верю, чтобы тенденция энтропии царила во Вселенной, пока человек не скажет сам себе, что она царствует и неизбежна.

Надо действовать! Надо верить!

И пусть те ветры, которые созидают и содействуют подъему волны, будут у нас не безотрадными счастливыми случайностями, а деятельными напряжениями с нашей стороны!

Посмотрим же, что нас сблизило между собою?

Одним из многих факторов нашего сближения было то обстоятельство, что мои понимания никогда не стояли и не стоят для меня заслоном от жизни и текущей действительности; не были препятствием к тому,

чтобы видеть людей поверх и выше моих пониманий.

Наоборот, так обыденно и постоянно, что понимания, с которыми сжились люди, которые они себе выработали, к которым привыкли и которыми приспособились себя оправдывать в своих собственных глазах,— стоят непреодолимым заслоном, шорами, не дающими видеть то, что сейчас есть перед тобою.

И вот, пока этого самоутверждения в своих пониманиях нет, пока тебе люди ценнее твоих пониманий и мнений, до тех пор и сам ты, и сами твои понимания еще способны расти, обновляться, прогрессировать; с того же момента, как они станут для тебя выше жизни, они застыли, самоудовлетворились, замерзают и начинают замораживать все вокруг себя!

Пока есть общее дело с людьми, пока мы чувствуем, что живем вместе, есть вера в жизнь, в ее ценность для нас и в нашу ценность для нее. Пока нас не разъединяют наши узенькие, самоуверенные понимания, мы вместе, мы в общем деле, и мы счастливы тем, что мы вместе!

Но вот он, наш роковой разъединитель,— смешной и жалкий в своей самоуверенности человечек с законченною определенностью во взглядах, с безапелляционной уверенностью в своих взглядах на мир, на встречаемых людей, на себя самого!

Ты скажешь мне, мой жалкий друг Вагнер [29], что против настойчивости в своих пониманиях невозможно восставать, самоутверждение и вера в себя — непременные условия успеха! 〈...〉 Но кто же, кто же тебе сказал, мой друг, что это в самом деле ценно, чтобы ты с твоими пониманиями имел успех?! Неужели за приземистыми очертаниями твоего успеха не видишь ты уже широты, красоты и важности жизни, превышающей все, что в тебе есть!

Оставь, маленький и узенький человечек, твою самоуверенность в твоих пониманиях, раскрой лучше твое сердце тому, что выше и больше, чем ты,— твоим встреченным братьям прежде всего.

Не будем же думать, что у нас достаточно такого, на чем можно удовлетвориться, не будем из-за откристаллизовавшихся наших пониманий уходить друг от друга и закрываться сердцем друг от друга. Ибо ведь тот, кто окончательно доволен своими пониманиями, доволен собою и будет утверждать самого себя, судить и

о с у ж д а т ь д р у г о г о; и тогда будет естественно закрываться и уходить от этого другого! У самодовольного нет друга! Не будем думать, что мы — самоопределившиеся люди! Будем идти вперед и выше наших кристаллизаций, будем вместе душами — б у д е м д л я э т о г о к а ж д ы й в о т д е л ь н о с т и у х о д и т ь о т с е б я и п р и б л и ж а т ь с я к Д р у г о м у! Будем расширять наши души, будем становиться людьми!

«Я постоянно забываю заднее, и простираюсь вперед, к почести высшего звания».

Есть два взгляда на науку. Для одних это — постепенно накопляющаяся сокровищница законсервированных и вновь консервирующихся истин, из года в год строящих нечто прочное и самоуверенное в себе здание.

Для других это — непрестанное постигание все расширяющейся и вырывающейся из сетей истины, уходящей все вперед, как остров от настигающего его делосского пловца — постоянная критика своего прошлого, постоянное устремление вперед и выше себя! Это отказ от своего и от себя ради устремления к Истине!

Вы всегда узнаете художника по картине! В первой из картин нетрудно распознать все того же маленького, самоуверенного, самоудовлетворенного, безапелляционного в своих суждениях Вагнера, гордо несущего свою маленькую головку на гордой шее филистера, так довольного своими паутинами и кружевами, в которые драпирует для себя самое свое невежество!

Во второй картине художник — непрестанно ищущий и возрастающий человек с вдохновленным устремлением к прекрасной Истине, которая предвидится как превышающая все, что имел и понимал до сих пор человек!

Будьте уверены, что Ньютоны и Декарты в часы творческого вдохновения были всегда среди этих вторых художников Истины, но дальше всего от духа Вагнера!

Итак, в нашем маленьком научном кружке будем же выше предубеждений, выше наших маленьких устоявшихся пониманий, готовых разъединить нас между собою! Дадим друг другу руки и пойдем вместе, в живом искании Истины!

25 октября 1922. В. О. 16 л., д. 29.
Лаборатория физиологической химии.

Наука как спокойное складывание кирпичик за кирпичиком некоего храма усредненных, для всех «удовлетворительных» истин с принципом самоутверждения и энтропического покоя «безэмоциональной мысли»! Это одна сторона!

Наука как энтузиазм и творческая вера Декарта, Ньютона, Римана! Это совсем другая сторона!

Тут антагонистические силы и настроения как вода и огонь!

Бойтесь первого! Радуйтесь, когда бываете во втором!

Здесь принципиальный перекресток двух разных путей для духа и жизни. Кому поверить: спокойному усреднению всего и всяческих? или сердцу, энтузиазму и идеалу?

Пойдешь, конечно, туда, куда повлекут тебя твои затаенные склонности, и тем самым будешь судить сам себя!

«Энтропический» человек, склонный к консервативному покою, пойдет себе искать свою «экономическую» истину, которую можно будет удобно положить себе под голову! Человек вдохновения и творчества, человек радости в открывающейся истине будет всегда ощущать ее как возлюбленную, которая превыше всего, что он имеет, и ради которой он отдает все, что у него есть!

Истина у человека такова, каковы его достоинства! Если он самодоволен и более всего охраняет «свое», то и истины его будут экономическими, охранительными, законсервированными рецептами для технического овладения жизнью! А если он ищет свою возлюбленную истину ради нее самой, как ее художник и рыцарь, она будет для него стимулом отказа от всего своего и творческого устремления все вперед!

Может быть ведь, что благодарнее и нужнее продать все, что имеешь, для приобретения того поля, где зарыта жемчужина!

Пусть наука не будет охранением «препаратов» и самодовольным, замкнутым в себе капищем! Пусть она будет устремлением к возлюбленной истине!

Ради красоты умирают люди. Красоты ищут, без Красоты не могут жить. Могут ли отнять Красоту у тех, кто ее отведал? Может ли арелигиозный, холодный социализм отнять Коран у мусульман?

А малодушным посмеянье!
Они на бранное призванье
Не шли, не веря дивным снам...
(Пушкин. «Подражания Корану»)

С физиологической стороны, Красота есть самый общий человеческий проект, возникающий в нем по поводу всякого опыта жизни. Восстановить Красоту, пережить ее вновь по поводу нового опыта, пережить и понять новый опыт в Красоте, приобщить новый опыт в Красоте — в общем же, понять бытие как Красоту — вот последнее стремление человека.

Не формальное настаивание на своем пустом «существовании», не самоутверждение, не формально-голое возвращение к «максимуму жизнесохранения», а возвращение к содержательной Красоте,— вот в чем устремление человека и его жизни!

Построение осязательного проекта по поводу зрительного опыта; построение зрительного проекта по поводу акустического опыта; построение зрительного акустического проекта («новой земли и нового небесе») по поводу всякого нового опыта и переживания жизни,— это постоянный физиологический факт. Ибо предвосхищение реальности на расстоянии, предварительное построение вероятной реальности есть типический факт мозговой жизни, ширящейся и растущей в своем движении навстречу реальности.

Таким образом, и д е а л и з м, непрестанное построение и д е а л ь н ы х п р о е к т о в, в е р а в эту идеальную будущую реальность как в осуществляющийся факт, хотя бы для близорукого осязания казался призрачным и обманчивым предвосхищаемый зрительный образ,— это все прямые следствия нашего физиологического modus operandi [30]! Близорукая «истина» ближайшего осязательного опыта может унижать и даже провозглашать о б м а н о м и далекие зрительные предвкушения астронома и пророка.

Но для цельного, бодрого и растущего человека не существует абсолютизма осязательной наличности, когда он предвидит новый, далекий зрительный образ будущего опыта!

Да будет проклят правды свет,
Когда посредственности хладной,
Завистливой, к соблазну жадной,
Он угождает праздно! — Нет,
Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман...
(Пушкин. «Герой»)

Правда, ради этого далекого зрительного образа я заторможен в моем ближайшем осязательном действовании. И возможно, что далекий образ «обманчив» — может быть, я и не дойду до него никогда, тогда как осязательная наличность сейчас здесь передо мною! И я, может быть, вотще упускаю случай счистить блоху в моей шерсти и предаться coitus'у [31] с самкою, когда предпочитаю бежать к хозяину и служить высшей Красоте! То, что тормозит меня в моей непосредственной данности, есть для моей ближайшей деятельности наркотик, дурман.

«Религия — дурман для народа»,— говорит рассудительный поклонник ближайшего счастья сытости и эпикуреизма!

Но как же быть, если продолговатый мозг — естественный тормозитель спинного, а головной мозг — естественный же тормозитель продолговатого? Отказываться ли от милого пресмыкания в болоте с уютными лужами и вкусными самками в жирной и славной болотной грязи ради далеких и проблематических предвосхищений будущего, с которым я, быть может, таки и не встречусь?

Итак, пускай Красота и религия будут дурманом для импульсивного пресмыкания; пускай они будут тормозителями ближайшей обыденности с ее непосредственными интересами. Им естественно и подобает быть тормозителями интересов полового аппарата, кишечника и выделительных органов! Это не унижает, а тем более возвышает их. Они снимают с очереди ближайшее и наличное ради далекого и предстоящего! Дурманят и затормаживают свиное в человеке, чтобы помочь в нем человеческому!

Что есть Истина? То, что оправдывается реальностью,— это во-первых. И что согласно с сердцем и Красотою — это во-вторых! Слава Богу, человек не примирится с одним «неизбежным» как таковым!

Когда говорят Мы, расширяют свое Я, включают в свою жизнь того человека, с кем чувствуют себя вместе в том или ином отношении и за которого готовы нести ответственность, как за себя.

Когда же перестают говорить Мы, это значит, что прежняя общая жизнь прекратилась, и выделившийся

из Мы человек рассматривается уже не как законченное объективное: ибо там, где Мы никогда не закончено, всегда для нас движется, исполнено надежды и будущего, всегда мы готовы взять на себя ответственность за это наше волнующееся, субъективное, уповающее на будущее!

Когда человек для нас закончился и объективировался, ответственность за него снята, и он сам и его дальнейшее поведение рассматривается лишь со стороны, как «данное», «объективное», предоставленное самому себе.

Когда любят, то более всего стремятся к тому, чтобы быть и жить вместе, т. е. говорить о себе и любимом Мы. И о Природе в целом, пока мы чувствуем себя ее участниками и родными, мы чувствуем и говорим Мы, т. е. «мы с Природою». И тогда мы в самом деле ее участники, ответственные за нее! Но с момента, когда мы стали простыми наблюдателями ее, как «данной» и «объективной» для нас цепи явлений, некоего «объективного» modus operandi,— мы представляем ей быть чем она хочет, самой по себе, с ее собственной ответственностью за себя, в которой мы не участвуем и не хотим участвовать.

Однако, насколько мы ее еще любим, мы ее участники и ответственны за нее, чтобы она была прекрасною, доброю и красивою. И тогда мы в ней «боремся с Богом за Бога», ревниво требуем: «Открой мне лицо твое!»

Мучительнее всего потерять того, кого любишь, т. е. утратить возможность говорить о нем и о себе Мы,— не приобщать его более к своей жизни, не приобщать себя к нему и его жизни. Ничего нет смертельнее разлучения с любимым. Начать смотреть на него как на законченное и «объективное» для тебя, безучастное, более необщительное для тебя,— это смерть из смертей. ⟨...⟩ Нет уже стремления вновь понять, вновь приобщить к себе его жизнь. Отныне что-то кончено для тебя в нем и для него в тебе!

Когда уходит дорогой покойник, этого обрыва нет. Мы с ним, его физической смертью не нарушается для нас субъективное соединение с ним.

Обрыв отношений с живым, прекращение Мы между тобою и им—нечто более страшное, чем смерть. Это конец ответственности друг за друга, конец любви, конец всего, всякого общего дела. Ты его и он тебя «предали внешнему», «предали сатане».

Величайший разрыв, происшедший в человеческом духе, случился тогда, когда однажды человек противоположил себя принципиально «среде», «объекту», «природе». Тут он порвал любовную связь с нею, общую жизнь с нею, любовную ответственность за нее. И он дошел до провозглашения, будто его призвание в «борьбе с природою». Во имя чего? Если во имя добра в ней, то это хорошо, ибо это — стремление добиться добра в ней, чтобы хотя некогда стать с нею Мы. Но ужас в том, что говорят о принципиальном противоположении человека и природы, когда заранее признается, что нет у них ничего общего, и тем более общего Добра! Тогда борьба человека становится лишь во имя свое, человеческое, во имя удобства, счастия, комфорта. И тогда для самого человека наступает то роковое; бесконечное оскудение духа, когда он умирает от оссякновения любви посреди своего Вавилона! Воистину «умер от голода посреди пищи и от жажды — посреди реки»!

Отвергнув от сердца природу, принципиально перестав думать о ней и с нею Мы, человек и сам умер последнею смертью. Предать Природу сатане, уступить ее внешнему, как это делали восточные мистики, Платон и манихеи [32], значит предрешить и свое оскудение.

Понятна необычная тягота и бедственность церковного отлучения: «не ответственны более за него, более не м ы с ним»! Он стал внешним для нас.

Вот, понятна теперь и моя трагедия 1922—1923 года. Более всего для меня было убийственно нарушить возникшее Мы с И. И. К. [33] Но, беря на себя добиваться закрепления этого Мы обыкновенным путем, я рисковал оборвать прежнее Мы с сотаинниками в церкви. Нужно было добиться одного общего Мы для И. И. К., для всех моих сотаинников во Христе. Ибо иначе я потерял бы и все то, чем мог быть Мы для И. И. К. Все, что я мог дать другу, истекало из моего христианского труда. Красота и правда тут могли быть только в достижении общего Мы во Христовой Красоте.

А тут может дать это последнее благо только Всемогий!

Да даст же Он по слову своему святому: «Вся елико просите во имя мое, даст вам, да имате радость мою исполнену в себе».

20/31 ноября 1923 г. Ночь.

Что этим несчастным людям остается еще, кроме упорного настаивания на своем, когда пролито уже столько крови! Не признаться же, что все это было одно сплошное преступление, слишком тяжелое, чтобы кто-нибудь мог его понести! Остается лишь или погибнуть с жерновом в пучине морской, или настаивать на своем без оборачивания вспять, во что бы то ни стало,— вперед и вперед по страшному пути, кончить который может лишь Альфа и Омега, Начало и Конец, Начало Путей Божиих!

Как ужасно продолжать необходимость носить свое открытое лицо, когда на нем так много преступления и срама!

Приходится долее и долее нести «высоко поднятое чело», когда совесть подсказывает тебе, что оно преступно, и оскудело, и пусто,— делать мину, что будто ничего не бывало! Куда скрыть свое лицо? Где искать ему темного пристанища?

Итак, вперед, вперед, забыв стыд, удесятерив самодовольную, самодовлеющую наглость на своем лице, обритом и подчищенном! Вперед, не оглядываясь, всегда вперед,— пусть будет потоп после нас!

Вот откуда эта слепая самодовлеющая, и в то же время втайне тревожная и страждущая затаенною богобоязнью, заголенная наглость современных лиц!

До сих пор каждое утро пели русские люди на заутрене: «Благословен грядый во имя Господне». Но постепенно так привыкли к этим словам, что повторяли их машинально, не отдавая отчета, что они значат! И докатилась наша Русь, предводимая своею интеллигенциею, до того, что замолчало в ее храмах тысячелетнее утреннее приветствие: «Благословен грядый во имя Господне». Вслед за интеллигенциею русский народ, устами правителей своих, сказал, что ему не нужно и не угодно более Христово Царство. Святая Русь становится Русью дьявольской, Русью противления! Новые воспитатели сделали свое дело!

Есть два общих направления в мышлении о мире в целом. Одно говорит, что мир-то в своем целом, в своих девизах, в общем направлении своего бытия — прекра-

сен, гармоничен и добр, но люди в нем плохи, не умеют жить, сами себе портят свою жизнь.

Другое говорит, что люди прекрасны в своих исканиях и желаниях, но они жалки и беспомощны оттого, что окружающий их мир в своем слепом мраке и страшном безразличии к прекрасному и к доброму давит и уничтожает человеческие начатки.

Те, кто склонен к первому направлению, будет склонен к морализированию, к построению философии обличительно-укорительной и морализирующей в отношении людей.

Склонные ко второму направлению будут проповедовать «технологическое миросозерцание» в духе социалистов современных толков: назначение человека и науки — радикальная борьба с Природой.

Религиозное сознание и религиозный опыт отличается тем, что для него всякое мгновение, всякое переживание, всякий эпизод жизни — тайна прекрасная и единственная, а значит, и задача красоты, нераспечатываемая только из-за нашего недоумения, недомыслия и греха. Совершенное отсутствие успокоительного и вместе мертвенного ощущения: «всегда все одно и то же». Нет, всегда праздник, всегда новое бодрствование, всегда стража пред готовою открыться радостью жизни вечной. Ничего рабского, работного, ничего самоуспокоительного и пассивного. Все напряженно деятельное и устремленное к ожидаемому царю Веков, которому из глубины души поется: «Благословен грядый во имя Господне».

24 декабря 1923.

Не жалейте о днях и часах идеализации жизни, которые Вы пережили. Вы были тогда счастливы тою гармониею, которою была для Вас действительность, благодаря именно Вашей идеализации. Помните, что именно идеализация приближала Вас к подлинной действительности! А если потом гармония и идеализация нарушились, то это потому, что в себе самих Вы носили призёмистость и пороки, бессилие и слабость, которые не дали Вам дотянуться до виденного!

Великий Пифагор понял в свое время, что великая гармония чисел наиболее приближала его к пониманию

действительности какова она есть! Эта гармония есть покоящаяся Истина, какова она есть сама по себе, покоящаяся реальность, покоящаяся красота.

Гармония есть Целое. Целое есть гармония частей. Части не предшествуют целому, и лишь целое гармоническое дает реальный смысл своим частям. Средневековые номиналисты [34] стояли за первичность «частного». Реалисты [35], напротив, убеждали в первичности «общего». К тому же сводится современный спор между индивидуалистами и социалистами-контистами [36]. Но действительность принадлежит целому, целое же есть гармоническое, и наша идеализация есть тот единственный орган, которым мы постигаем впервые реальность как гармоническое целое.

«Древо познания добра и зла» если «открыло глаза» человека, то именно в том смысле, что дало человеку понять его активность в идеализации, тогда как реальность без идеализации распадается на дисгармонирующие, противоборствующие частности. Разрушив «целое», искуситель оставил человека пред бесплодными попытками восстановить реальность из «частного» или организовать ее из «общего». Талисман «целого» ведь безвозвратно утерян вместе с секретом идеализации.

Существеннейшая особенность сумасшедших по сравнению с нормальными в том, что они не способны к общему делу, к организации, к коллективу. Они все крайние индивидуалисты, каждый погружен в себя. Впрочем, у них возможен «коллектив» в порядке дрессуры. ⟨...⟩ Нормальный коллектив, т. е. общество в собственном смысле, строится не дрессурой, а принципом собеседника.

Интегральный образ, который сейчас переживается нами, например, восприятие человеческого лица,— лучше сказать, само человеческое лицо, которое сейчас перед нашими глазами,— это определенно творимый и интегрируемый образ во времени, и лишь потом вторично мы начинаем полагать его как законченно-неподвижную форму в пространстве. Насколько нам удается уловить его своеобразную гармонию, понять его как целое, интегрирующее свои части и побеждающее их многообразие, дело идет об определенной работе наших

центров, активно отбирающих отдельные рецепции, приходящие на сетчатку. Мы можем заметить, как общий интеграл лица изменяется и переинтегрируется в зависимости от новых только что уловленных черточек или от наших новых настроений. Иногда прежний сложившийся интеграл как бы расплывается в этих мелочах, разынтегровывается, перестает нас интересовать. Иногда интегрируется вновь, в новое, почти не узнаваемое целое: одно и то же лицо прекрасной Гинцбург сынтегрировалось одинаково цельно, и, однако, так неузнаваемо на разных портретах Серова. Еще более различны его интегралы в переделке Серова и Сомова! Едва верится, что это одно и то же лицо!

И лишь вторично, в порядке мысленного препарирования, мы отвлекаемся от текучести и временности этого интеграла и начинаем рассматривать его как вневременную постоянную форму в пространстве!

Всякий раз после молитвы я чувствую головокружение и отравление, когда опять прибегаю к табаку. В обыденной сутолоке жизни этого не бывает. Значит, то совершенное напряжение внимания, то совершенно своеобразное состояние организации моей, которое образуется в молитве, резко вырывает меня из обыденного, расслабленного состояния. Тут своя доминанта, а в обыденной инерции жизни — свои доминанты. Физиологическое состояние там и тут совершенно особое. И то изобилие мысли, готовности радовать людей, всецелая любовь к людям, которые даются в молитве, и составляют то воспитание доминант, которое ощущается, как действие святого Духа в человеке. Напротив, дух инерции и расслабления, требующий подкрепления в табаке,— дух мрачный и смутный, дух влияния.

Таким образом, отвращение к табаку у древних христиан — дело гораздо более глубокое, чем кажется на первый взгляд. Люди, строящие всю жизнь по настроениям молитвы, так, чтобы и в труде обыденности не забывать о ней, стараются не переводить себя в ту распущенность духа, в тот мир низших доминант, которые нуждаются в подкреплении наркотиками.

Нет ничего отвратительнее самоуверенности и глупой морды, которая подходит к вам со снисходительной улыбкой самоуверенности: дескать, я «все в тебе пони-

маю» и «даже сочувствую». Но именно так относится человек, потеряв в брате идеализируемого собеседника! С этого момента он стал глух и слеп и в сущности ничего не понимает и не может понять в человеке! Но именно это обещается будущим поколениям «объективными» методами изучения психологии! Будет царство немое и глухое, ибо никто никого понимать не будет при уверенности, что каждый для себя все понимает! На вопрос, заданный в лечебнице параноику: хорошо ли ему тут,— он отвечал: «Все переносимо, за исключением разве только оловянных глаз психиатров, которые упрутся в вас с тупою уверенностью, что они все в вас понимают! А сами-то ведь ничего не понимают!» ⟨...⟩ Вот и наши ученые Вагнеры готовят будущему человечеству своею «объективною психологиею» значительное отупение к междучеловеческим отношениям. Потеряли личность, потеряли собеседника, а значит — потеряли самое главное. Собеседника не построить из тех абстракций, которыми живет филистер! Нельзя построить брата и ближнего из тех успокоительных схемочек, которыми себе на успокоение заслонили себе жизнь спокойные кабинетные люди! Ибо собеседник, брат и ближний есть принципиальное беспокойство!

Культура духа есть всего лишь надстройка над экономическими закономерностями. Это можно утверждать с теми же основаниями, как и то, что жизнь мозга есть лишь надстройка над жизнью мышц и кишек, а биология и химия — всего лишь надстройка над геометриею и алгеброй! Утеряно чутье к целому, мысль потерялась в частном и вертится в безвыходном кругу «частного и общего».

Слепая сила синтеза, предполагаемая Кантом в основе рассудочной деятельности, конкретно выражается в возобновлении и смене все новых отдельных синтезов в сознании человека. Это — дологические, «явочные» продукты сознания и подсознательной организации.

Одаренность — большее или меньшее изобилие синтезов при прочих равных условиях.

Вместе с тем, это *большее или меньшее богатство Доминант и быстрота их смены в организации.*

Исцеляемый слепец говорил, пробуя свое восстанавливающееся зрение: «Вижу, Господи, мимоходящих людей, как деревья»! ⟨...⟩ Вот так и мы, глухие и слепые к проходящей мимо нас жизни и множеству мимоходящих людей, едва примечаем, различаем их, как мимолетные тени, как осенние деревья. ⟨...⟩ И с удивлением узнаем потом от других, что это были глубокие и важные, самобытные личные жизни!

Чем абстрактнее наука и ступень опыта, тем более она может быть «мыслью без действия». Геометрия и геометрическая космология по преимуществу созерцание без действия. Другие, более конкретные, ступени опыта все более и настоятельнее влекут к действию. Это явно при восхождении от физики к биологии и социологии. Уже в биологии общая концепция, например, знаменитая концепция «борьбы за существование», чревата действительными тенденциями. Но тем неизбежнее это в социологии — там теория тотчас влечет за собою попытки так или иначе изменять наличность, быть может, тяжко оперировать над нею.

Книга Мордовцева [37] «Великий раскол» несравненно глубже филипповского [38] «Патриарха Никона» передает дух эпохи и смысл разделения при царе Алексее. Степан Разин и боярыня Феодосия Морозова сближены между собою значительно более, чем это делалось до сих пор. Для правительства это одинаково «воровские атаманы»: «только тот шел против боярского богопротивного самовластия, а она идет против боярской богопротивной новой веры». Впрочем, и для Мордовцева, как видится, не ясно, нужно ли было в самом деле великое стояние за отеческую веру великих страстотерпцев — Аввакума, Феодосии, Федора и др.!

Он проговаривается, что «обе стороны», т. е. и боярско-царская и христианская, «не ведали, что творили». Интеллигент, с его кабинетным усреднением всяческих истин, сказался! А он все-таки так близок был к пониманию, что борение с никонианством было не оттого, что богопротивна всякая «новая» вера, а оттого, что богопротивна именно боярская антинародная вера! Нова

она именно тем, и именно тем оборвала древнехристианское предание, что стала боярскою и антинародною! Это инстинктом чуяли тогдашние борцы старообрядчества!

Самодержавие поповства в лице Никона дало дорогу самодержавному государству в делах народной веры и совести. И государство, в лице царей Алексея и Петра, не замедлило воспользоваться этим открывшимся путем.

Это так типически повторилось в XX столетии! Самозаконное поповство «красной», т. е. исключительно поповско-классовой, «церкви» открыло простор самодержавной социалистической государственности к сердцу народной веры и совести.

Дух Иуды Предателя легко прививался во все времена к поповству и иерархии, и тем более, чем страшнее, и важнее, и священнее было их дело; это наступало тотчас, как только возникало самоутверждение поповства. Так искажается всякое человеческое дело духа с началом духа самоутверждения!

И боярская вера стала богопротивною оттого, что проникалась духом самоутверждения боярства перед миром и народом Христовым! Нова и богопротивна, ибо с началом самоутверждения порвала с древним преданием Христова самоотвержения и восприняла дух диавола-самоутвержденца.

Нет ни одного предприятия советской власти против церкви, которое не начато до нее. Дверь гонительства на народное христианство и примеры административного поругания над народною святынею широко раскрыта руками синодальных «деятелей». Нет нужды заговаривать о старых начатках в духе печальной памяти Никона-патриарха, петровских епископов и архимандритов, бироновских и николаевских миссионеров! Достаточно вспомнить деяния российского Антониевско-Саблеровского синода в отношении Афона [39]! «Стационер» с «дипломатическим представителем» из Константинополя, Никон Косой в качестве руководителя и вдохновителя, вот кто первый научил матросов и солдат, что можно посягнуть на монастыри и веру! 700 монахов «изъяты» и увезены в Россию, многие в пре-

клонном возрасте, «многие из них были в схиме,— с обрезанными бородами, в штатском платье» (С. Белецкий. Из записок. Григорий Распутин. Птгр., 1923, с. 30).

Невозможно удержать сколько-нибудь надолго жизнь и деятельность в порядке одного только понуждения, т. е. так, что всякое действие человека совершается только через насилие над собою, только через подстегивание себя,— тогда как, предоставленный самому себе, человек давно бы только лежал и отлеживался в оцепенении. А вот именно такую жизнь в непрестанном понуждении, в одном только понуждении, приходится вести в нашей сутолоке, когда жизнь все расширяет свои запросы и спросы, а ресурсы предложения все оскудевают за «сокращением штатов». Мы все работаем насильно и через силу, давно перейдены границы того физиологического утомления, которое дает благодетельное предупреждение, что машина требует отдыха и ремонта!

19 апреля 1924.

Бетховен, не сумевший найти форму для передачи людям своей глубины! Да ведь это человек, раненный на всю жизнь. Freud'овская метода заключается именно в том, чтобы уже маленьким, малозаметным людям дать возможность вызвать эти прежние, неотреагированные глубины, парализующие душу своим убитым молчанием!

Для Бетховена это значило бы — вызвать старую, неудавшуюся тему, неотреагированное волнение — чтобы возобновить вопрос о его музыкальном осуществлении!

Страшный суд в том, что в последний час в человеке окажутся одни лишь не переданные, не осуществленные, не отреагированные глубины! Одни не высказанные волнения!

Когда вспомнится вся жизнь и окажется ни в чем и нигде не законченной, ведь это будет одной сплошной душевной раной!

Мысль, что все в мире, по существу, добро и лишь сам человек искажает и портит грехом свою и окружающую жизнь, исходит собственно из простого обыденного наблюдения, что вот во всех отношениях прекрасно жить в том или ином приятном для нас и благоприятном для нас месте, но наш грех искажает и здесь, делает безобразным данное нам. Вспомните обстоятельства и обстановки жизни и приглядитесь, что часто и обыкновенно это бывает так! Вот это сознание, что мы вносим искажение и мы виновники искажения прекрасной картины, которая питала бы и наслаждала бы нас, расширяется теперь на мир, и тогда получается целое миросозерцание с чрезвычайными последствиями.

То, что меня кусает блоха, это несомненнейший своею наличностью факт — сама действительность; а то, что я слышу за собою погоню, и потому мне, пожалуй, нет времени заниматься блохою,— это, может быть, мое толкование слышимых звуков,— признание за факт того, чего на самом деле и нет!

Что сейчас в Тавризе творятся важные политические события, это — сама наличность, которой и не могут не отдавать своих страниц наши газеты. А то, что вся совокупность подобных политических фактов имеет интерес только с точки зрения пророчественной совести, предвидящей главное, это все может быть «фантазия» и «фикция» человеческого ума и сердца!

То, что я чувствую у себя на коже, достоверно до несомненности. То, что я вижу и слышу, носит уже в себе элементы толкования, гипотезы, предположения, проекта. ⟨...⟩

То, что я мыслю, есть уже сплошное проектирование,— постройка возможной, вероятной, более или менее желательной действительности будущего.

Слов нет,— у меня нет другого удостоверения в истинности моих предположений и проектов, кроме контактной проверки фактическим осязанием!

Но значит ли это, что я всегда должен отдавать предпочтение контактной достоверности, что меня кусает блоха, и заняться именно этою наличностью вместо того, чтобы принять предупредительные меры против возможной погони?

С точки зрения ближайшей наличной действительности, безумно и смешно поведение пророка, гонимого ка-

кими-то предчувствиями и тенями будущего в пустыню! Риск ошибки в поведении пророка громаден! Но ведь если он прав, то, занявшись сейчас блохою, мы через день подвергнемся фактической гибели вместе со всем Содомом!

Тут уже и трудно разобрать, кто более мудр, и кто более узнал этот наш мир с его законами, и кто лучше устрояет свое поведение в нем: тот ли, кто говорит со здравым смыслом «материалиста», что тамошнее и далекое нам неизвестно, а надо заниматься тою несомненною наличностью, которая перед носом, тем более, что это тут, перед нами, все очень закономерно и всегда будет так же, все то же, везде и повсюду, и всегда действительность будет идти по этим законам; или более прав Ной, который, не обращая внимания на насмешки этих людей здравого смысла и «здорового легкомыслия», заторопился с постройкою ковчега в ожидании потопа, который прекратит все это обыденное, ближайшее, наглядно такое несомненное!

Из спокойной обыденности, в тиши кабинетов лучше узнается этот мир, или в великих переворотах и бурях, которые лишь изредка говорят свое страшное слово о той Правде, которой служит Вселенная? ⟨...⟩ То, что на носу и контактно около нас, или отдаленное и издали зримое учит нас лучше о том, что есть Действительность и в чем ее законы?

Есть в мире и в истории вещи и законы, которые контактно и осязательно проверяются лишь в конце всего!

В вере очень легко ошибиться,— поэтому лучше и благонадежнее отстраниться вообще от веры и жить только удостоверенным знанием. «Что говорить про веру, если люди верили даже в кошку!»

⟨...⟩ Это та же логика, по которой следует отказаться от употребления колодцев, так как колодцы оказывались неоднократно отравленными! Следует отказаться от зрения и жить только осязанием, ибо ведь в последнем несравненно легче уследить всякую ошибку!

Вера — процесс человеческой жизни очень высокий, сложный и трудный для разумения; выяснить признаки здравой веры,— своего рода нормы веры,— дело необыкновенно трудное. Вот это несомненная правда! Для западного мира вера стала опороченной и внушающей

страх с тех пор, как под ее эгидою выступил принцип непогрешимости ex cathedra [40]. И многие более близорукие стали, обжегшись на молоке, дуть на водицу, провозглашая принципиальное отрицание самого «méthode foi» [41]. ⟨...⟩ Для здравого сознания ясно, что отвергать принципиально веру как реальный двигатель человеческой жизни — это все равно что предлагать более не пользоваться слухом и зрением и знать лишь то, что доступно осязанию или, еще лучше, болевому ощущению. Ясно также, что если задача трудна, это значит не то, что задачу надо отбросить и заниматься легким делом, а то, что нужно приложить труд.

Вера есть динамическое, по преимуществу деятельное состояние, постоянно растущее и растящее самого человека. ⟨...⟩ Вера приводит к настоящей любви, а любовь больше всего.

Каждый по-своему знает про себя «секрет жизни», и этим «секретом» проникается вся жизнь данного лица.

Один знает этот тайный секрет мира в том, что нахальство города берет и наглость наиболее обещает успеха в жизни.

Другой знает его в том, что мир как мир и лад есть любовь; и такой человек в самом деле собирает около себя людей любовью. ⟨...⟩

Лицо определяется тем в своей жизни и поступках, в чем оно полагает секрет жизни!

Старый Петергоф. 8 июля 1924.

Мысль несравненно быстрее слова. Это можно уловить и самонаблюдением. ⟨...⟩ Пробуя высказать и тем более записать проносящуюся мысль, мы ее уже препарируем, может быть, уродуем, более или менее удаляемся от ее естественного состояния.

Искусство речи в том, чтобы так замедлить в себе ход мысли, дабы она текла одновременно с речью и вплеталась в речь по мере своего образования. Но это удается лишь для повторно воспроизводимого хода мысли, и лишь в исключительных случаях для мысли в первый раз ее образования! Чтобы говорить связно по мере хода мысли, требуется уже великое упражнение.

Совсем не одно и то же вспоминать в речи лишь

старый препарат своей или чужой мысли или улавливать в самом деле мысль одновременно с речью. Лишь в последнем, столь редком, случае речь производит такое необыкновенное, живое, «чарующее» впечатление!

Бывает, что после тревоги и возбуждения чрезвычайно ускоряется речь, и оттого даже не одаренному «даром слова», после возбуждения, удается выступить с красивой, увлекающей речью. Тогда речь прежде всего глубоко эмоциональна.

«Интуицией» мы называем именно ту, быстро убегающую, мысль в ее естественном состоянии, которая пробегает еще до слов. Она всегда в нас первая. Дальнейший ход нашей работы в том, чтобы воплотить, отпрепарировать эту интуитивную мысль, неизвестно откуда происходящую и куда-то уходящую, почти всегда мудрую «мудростью кошки»,— в медлительные и инертные символы речи с ее «логикой», «аргументацией», «сознательной оценкой». ⟨...⟩

Но логика и аргументация лишь поспевают вдогонку за интуицией, хотят восстановить, проверить, оправдать ее смысл.

Смысл же и мудрость ее не в логике, не в аргументации, не в дальнейшем ее истолковании, а в той досознательной опытности приметливости, в той игре доминант, которыми наделило нас предание рода!

Наш личный вопрос в том — приумножим, оплодотворим мы это предание рода или разрушим, исказим, испортим его!

Старый Петергоф. 21—22 июля 1924.

P. S. Мудрость нашего «досознательного» — это главная загадка и интерес физиологии. Какое удивительное наследие предков с их страданиями, трудом, исканиями и смертью! И как она обязывает нас, в качестве «сознательных» деятелей,— в том, чтобы наше «сознательное» управление этим наследием было достойно ее — тою сугубою мудростью, которая не расточала бы, а приумножала древнюю мудрость рода для тех, кто будет еще после нас!

С точки зрения самоутверждения, есть столько же мировоззрений и столько же «истин», сколько темпера-

ментов. Это значит, что подлинная истина, сверхличная и пребывающая, возможна лишь там, где она ищется вне самоутверждения, а ради нее самой, т. е. там, где все собраны вниманием ей, как мир собран в гармонию тяготением к Единому Солнцу Правды.

Очень понятно такое стечение обстоятельств. До поры до времени из научного аскетизма Вы позволяете себе принимать за установленные факты лишь то, что объяснимо из известной Вам теории. Но помимо Вашей воли и Вашего контроля в Вас копится ряд восприятий, независимых от Вашей теории. И рано или поздно масса этих независимых восприятий становится так громоздка, что приходится обратить на нее внимание,— допустить ее наряду с прежней теорией,— ибо она становится тяжеловесною. И как только Вы допустите ее, открывается множество удивительных и неожиданных чудес, с точки зрения прежней теории. Реальность всегда шире, чем прежняя теория. Так школа Павлова наоткрывала целые ряды новых и неожиданных фактов, совсем не предвиденных классическою теориею «общей физиологии нервной системы». И да благо ей будет за то, что она вовремя отказалась от пут теории, а на свой страх принялась констатировать и собирать удивительные факты. Наука оплодотворилась совсем новым и неожиданным содержанием.

Придет, однако, время, когда теоретические умы пожелают согласить прежнюю теорию с вновь открывшимся опытом. Тогда прежняя теория преобразится, расширится и обобщится так, что старинные адепты ее едва ли будут ее узнавать.

Творчество возникает в подсознательном. Человек вдруг открывает, что в нем поет мотив, складывается числовой ритм, достигают решения давно назревшие задачи.

Дело «сознания» и волевого «намерения» будет тут лишь в том, чтобы повторить в раздельной и проанализированной форме, в шаблоне, то, что было дано явочно в досознательном творчестве. Что творчество не есть дело логического построения, дискурсии, это подчеркнуто было Кантом в том, что был признан примат «слепого

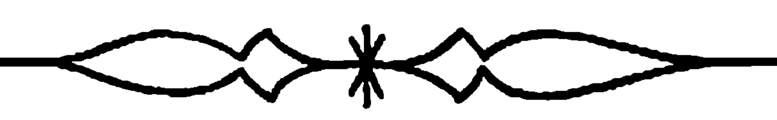
синтеза» в организации мысли и сознания и наличие «синтетических суждений» обязательного значения. Явочным порядком возникала математика, астрономия, физика — все поле естественной науки. Логическому и систематическому сознанию предстояло учиться у этих явочных фактов, уяснить их возможность и природу и использовать их для своей практики.

Трудные для усвоения, вновь рождаемые новые идеи, новые восприятия и новые образы жизни должны иметь для себя достаточно подготовленную и обработанную почву, воспитываемую бытом — преданием «друг по другу». Отрицание этакой потребности в предварительном воспитании материальным бытом, приведение всего содержания жизни к «постоянным, нормальным потребностям натурального человека»,— это и есть идеализм, типичный для Европы, с его органическим индивидуализмом.

Рано или поздно этот индивидуалистический идеализм приходит к нарочитой борьбе с бытом, за безбытность, за отрицание всего, что сверх общепризнанных «форм a priori», за спокойную самоудовлетворенность и за сведение всякой истины на «causerie» [42] и на резонерство в духе идеологов, собиравшихся в Сан-Суси вокруг «просвещенного абсолютизма» (ср. философию Маха с его «экономизмом». Воспитываться не к чему! Беспокоить себя уже не к чему. Да и задумываться серьезно тоже не к чему! Если уже нужен какой-нибудь особый «быт», то это быт жизни в свое удовольствие, с роялями и козетками, с балетами и вольтеровскими креслами! ⟨...⟩).

Вот мудрость самодовольного барства, потом самодовольной интеллигенции, потом все новых и новых самоудовлетворенных и самодовольных типов, которым предстоит еще прийти в историю!

Целые теории, целые миросозерцания и стили жизни созданы вот этим самоутверждающим духом приведения всего к себе, оправданием жизни sans gêne, к жизни без обязательств, без поляризации, без напряжения к высшему. Эти миросозерцания созданы таким «безбытным» бытом и возвращаются к нему, подкрепляя его в его самоутверждении.



ИЗ ПИСЕМ
1907—1942

Н. Я. КУЗНЕЦОВУ

Милый мой Николай Яковлевич,[1]
во-первых, жму Вашу хорошую руку и прошу передать сердечный мой привет Вашим.

Хочется сообщить Вам о наших делах. Сегодня, 31-го, в третьем часу ночи, наш милый Саша [2] скончался очень тихо. Лизынька держится молодцом, т. е. при чужих людях покойна и приветлива. Но она, моя бедная, очень больна. Голоса нет, возобновляется периодически боль в горле. В последнее же время пришлось бросить и сколько-нибудь внимательное отношение к болезни; спала она уже несколько ночей не раздеваясь, кое-как, около ослабевающего Саши. Сейчас она спит, и я слышу, как хрипит в ее больном горле. Температура все время 37,5—38. Я боюсь, что сегодня она еще распростудилась, потому что приходилось доставать вещи, чтобы одеть покойника, и надо было быть в комнатах, холодных, как погреб.

2-го января предполагается погребение. 3-го думаю ехать в Петербург. Целую Вас.

Ваш А. Ухтомский.

31. XII. 07. / 1. I. 08. Рыбинск.

Родной Николай Яковлевич,
во-первых, не опасайтесь, что пишу Вам письмо: я только что основательно дезинфицировался на изоляционной квартире (Золотоношская, 5), и привили оспу.

Во-вторых, я сегодня наконец окончательно еду в Рыбинск и уже купил билет.

Хочу Вас очень просить. Не откажите,— сделайте все с Лейтцовским фонарем, возьмите на себя наблюдение, чтобы была уделена будка и все прочее. За лето, при всем желании, я не мог сделать ничего, потому что был

все время занят работой с Н. Е. [3] Не откажите и сделайте это, пожалуйста. ⟨...⟩

Жму крепко Вашу руку и желаю мира и света в Вашей жизни. Только не думайте о том, что в глазах кой-кого будет «глупостью» то, что подскажет сделать сердце и внутреннее, хорошее понимание правды. Ничего нет преснее и скучнее, ничего нет глупее того «житейского ума», которым у нас обычно окрачивают и извращают жизнь. Сам Христос был безумен и глуп с точки зрения этого «житейского ума». В те святые минуты, когда действительно говорит сердце, хорошо, чтобы «житейский ум» молчал. Ни разу еще, кажется, люди не поступали «по-Божьи», руководясь «житейским умом». От него несет могилой; да не той могилой, которая нам всем предстоит, а могилою-заживо, чего нет ничего ужаснее.

Ну, дай Вам Бог всего хорошего.

Искренне любящий Вас

Алексей Ухтомский.

7. VIII. 08.

Дорогой Николай Яковлевич,

вот не браните меня, что во второй раз не отвечаю. В первый раз — летом — это было действительно свинство, а теперь не отвечал до сих пор оттого, что только сейчас прочитал Ваше письмо, вернувшись из деревни от матери, которая (т. е. мать) хворает. У нас обстоятельства давно сложились так, что я очень далек от матери, и у нас с ней как-то не клеились «родственные» отношения. Это отчасти оттого, что с раннего детства я жил у покойной тети, а отчасти (и бо́льшею частью) оттого, что она — мать — не вошла, так сказать, в Ухтомскую семью, осталась вполне Черносвитовой, а я, по общему духу, уродился в Ухтомских. Но вот, при всем том, я ужасно чувствую тяжесть оттого, что для меня почти нет матери, хоть она и жива еще. А теперь, когда она захворала, как-то особенно нехорошо на душе, что мы с ней так далеки. К тому же она совершенно одинока, из своих родных с ней никого нет. ⟨...⟩

Целую Вас.

17. VIII. 10. Рыбинск.

Ваш А. Ухтомский.

Милый Николай Яковлевич,
примите мое приветствие со днем Вашего Ангела. Крепко Вас целую и желаю душевного мира, отдыха, здоровья.

Хотел было сам пробраться к Вам хоть ненадолго. Но сегодня поднялся с постели больным: вчерашнее недомогание вылилось в катаральное воспаление глотки и в правосторонний бронхит.

По слухам, нам предстоит вскоре вынужденный отдых: говорят, университетские занятия не возобновятся до января. Это, в сущности, можно было бы только приветствовать.

Еще раз целую.

Ваш А. Ухтомский.

6. XII. 10.

Милый мой Николай Яковлевич,
проходя по Невскому и имея (случайно) порядочную сумму денег в кармане, купил фотографической бумаги и вот принес Вашему Высокоблагородию с покорнейшей просьбой — не оставить Вашей добродетелью и напечатать изображения оных девиц, а — буде не противно будет — то и изображение моего сиятельства, вот того самого, что таково страшно набок смотрит. Но про сиятельство это дело неважное. Важнее про девиц. Напечатайте, милый, сделайте милость; а то они (правда, еще не все!) начинают подавать негодующие голоса, считая, очевидно, что удержание их изображений есть посягательство на неприкосновенность.

Куда же Вы, однако, скрылись? Из Академии Вас спрашивают, т. е. если и не «спрашивают» (это по-русски звучит гордо и страшно, ибо пахнет участком и начальнической благобеседой), то принесли на Ваше имя письмо, его же при сем прилагаю.

Я лупил в Вашу квартиру обоими кулаками, кричал туда нехорошие вещи, наконец стал бить ногами и кричать еще более нехорошие вещи, но это ни к чему не привело. Собрался идти в Академию и встретил человека из Академии, который засвидетельствовал, что там Вашей персоны сегодня не видно, а и в квартире не слышно; ибо и он, академический человек, бил же в Вашу дверь и ругался в нее. ⟨...⟩

Ваш. А. У.

31. V. 11.

4 ноября 1911.

Милый друг Николай Яковлевич,
я давно написал Вам большое письмо, но так и не отправил его: показалось мне, что оно будет Вам неинтересным, немного доктринерским и т. д.— много я там распространялся (как часто при свидании) насчет того, что читал в последнее время и над чем думал: о том, что утеряли мы,— или утериваем постепенно,— институт истины, который был воспитан в наших предках и в нашем личном прошлом р е л и г и е й.

Но дело не в этом письме моем, а в том, что из-за него я так долго не отправил Вам ни строчки и даже не ответил на Вашу открытку. А Вы, должно быть, несколько дуетесь на меня за молчание, ибо не присылаете, вопреки обещанию, более длинного и обстоятельного письма о себе.

Я ведь, милый мой, не знаю ничего о Вашем житье-бытье. На вокзал я в свое время опоздал, как для меня это полагается (как при прошлогодних проводах матери, так и теперь, опоздал минуты на 3—5), а потому не знаю и того, с Вами Дуня [4] или нет.

Мы, т. е. лабораторные Ваши знакомцы и я, беспокоимся о том, что «отдых» Ваш в ялтинских ресторанах будет совсем не отдых, хоть Вы там и пишете, что все очень хорошо и все вокруг Вашего ресторана цветет и зеленеет. Уж чего хорошего, если приходится жить в этом, с позволения сказать, месте!

Но это я говорю не к тому, чтобы разочаровывать Вас в Вашем ресторане, в котором Вы так счастливо приспособились наслаждаться природою (голь на выдумки хитра!), а к тому, что я именно р о в н о н и ч е г о т о л к о м о В а с н е з н а ю и ж д у п и с ь м а о т В а с, чтобы представить себе, как Вы, в самом деле, живете. Что Ваше зрение? Вам очень неприятен этот вопрос, но Вы все-таки ответьте на него. Это не «любопытство», а желание знать о Вас.

О себе скажу пока только то, что, по совету Н. Е. Введенского, начал я, с позволения сказать, читать курс физиологии животных в, с позволения сказать, психо-невро-логическом институте (помните, как у Л. Н. Толстого: возьмите первое попавшееся слово, например «собака» или «дерьмо», приставьте к нему слово «логия» и получите «науку»). 〈...〉

Когда Вы напишете, и я напишу более обстоятельно, пока же ограничусь приведенными сведениями.

Константин-бабник [5] уехал в свои места, Надежда [6] еще не приехала. Поэтому я наслаждаюсь миром и тишиною, и наслаждение нарушается только тем, что приходится собственноручно (!) подбирать то, что оставляет по углам мой кот. После этого очень долго руки пахнут нехорошо!

Целую Вас.

Ваш А. У.

Дорогой Николай Яковлевич!

⟨...⟩ Напишите же, как Вы живете. Мы здесь живем ничего себе; только все-таки начинает все надоедать. Приходишь в лабораторию и видишь привычные милые лица Шлитера, Бружеса, Резвякова, Беритова [7],— и это очень хорошо; но вот начинаются великие проекты Резвякова, вроде того, что билатеральность тела животного необходимо должна была отразиться на всем складе его жизнедеятельности и на его высших духовных функциях; и вот надо открыть, как билатеральность определяет человеческое мировоззрение в общем виде. Потом Беритка начинает дерзить или пускается в социал-демократические благоглупости... И понемногу все это... утомляет. Чтобы попасть в тон Резвякову, я предлагаю ему не менее заманчивую тему: как повлияло и отразилось единство заднего прохода у животных на единство самосознания. И так нудно и медленно проходят темные дни, и не чувствуется т а к о г о д е й с т в и т е л ь н о с е р ь е з н о г о дела, которое бы кипело и захватывало лучшие силы людей. «Мудрый, и уча и учась, желает учиться и учить только тому, что составляет насущную потребность; а кажущийся мудрым, и вопрошая и вопрошаемый, предлагает одно то, что питает любопытство...» (Максим Исповедник).

Напишите же!

Дай Бог Вам всего лучшего.

Ваш. А. У х т о м с к и й.

17 ноября 1911. СПб.

Милый друг Николай Яковлевич,

спасибо Вам за письмо, которого я насилу дождался. Теперь, пользуясь случаем, что Н. Е-ч посылает Вам

свое письмо, присоединяюсь и я,— присоединяюсь прежде всего к просьбе: не приезжайте, пожалуйста, к нам ранее января или, во всяком случае, не торопитесь ехать теперь в декабре. ⟨...⟩ Побудьте еще в Вашей доброй тишине, в обществе милой, мирной души — Дуняшки, которой посылаю сердечный привет и горячее пожелание всего лучшего. ⟨...⟩

Что касается беспокойства Вашей совести, о котором Вы пишете, то ничего не буду писать об этом: не буду, потому что никогда не надо мешать ей говорить, хотя бы причина ее тревоги с обычной точки зрения казалась и маловажной. Раз она говорит — пусть говорит и договаривает до конца: в конце концов, это ведь лучший друг и высший авторитет, нам данный. Я помню, что перед Вашим отъездом отсюда, в несколько патетическую минуту сказал Вам вроде того, что Вы «все-таки лучший человек, которого я знал в Университете». Вот, потом я усиленно почувствовал, как нехорошо говорить такие вещи! А еще хуже и уж совсем не по-дружески было бы, если бы я стал успокаивать Вашу внутреннюю тревогу и тем затемнять то, что хочет высказать Вам Ваш внутренний голос. ⟨...⟩ Так уж я Вас успокаивать, тем более хвалить, больше не буду: беседуйте с совестью и верьте ей. Говорят, что бывает «больная совесть»,— когда она слишком придирчива и щепетильна,— слишком мучительно следит за всяким шагом. Я думаю, что и тогда она не больная, а вполне здоровая, и ее не глушить нужно с легкомыслием медиков-неврологов, а слушать ее; напротив, малая чувствительность и «благоразумная толерантность» совести, свойственная comme-il-faut'ным и медицински «нормальным» («уравновешенным») субъектам, она-то конечно — признак глубокой болезни!

Занятия мои в Психоневрологическом институте продолжаются: у меня там почти ровно никаких касательств к администрации, начальству и прочим лекторам, и все дело обходится с самими слушателями. Это искупает в моих глазах многие отрицательные стороны института, примиряет меня с ним. Молодежь-то ведь милая и искренняя. ⟨...⟩ А вот начальство и администрация — все социал-демократы (я не говорю, разумеется, о Бехтереве!) и при этом все со склонностью «к общественному пирогу». Это я имею в виду тех, кто задает главный тон в хозяйственной и административной жизни института. Что касается молодежи, то, повторяю, она

мне нравится: но она поражает своей наивностью и полнейшей необразованностью,— в особенности слушательницы: когда Вы им что-нибудь рассказываете, они ⟨...⟩ с суеверием смотрят Вам в рот и, очевидно, способны поверить и лжи, и глупости, если бы Вы захотели обработать их в определенную сторону. Я думаю, что теперешние молодые выпуски из мужских и женских учебных средних заведений — это духовные д и ч к и, в бо́льшей еще степени, чем были мы.

Есть, впрочем, и совсем неожиданные для меня типы, в особенности из провинциальных семинаристов, с довольно серьезной нравственной подготовкой и твердостью. Но, кажется мне,— таких мало. Большинство — это мягкий и совершенно пластичный материал, очень милый и очень, в сущности, жалкий. ⟨...⟩

Целую Вас.

Ваш А. Ухтомский.

30. XI. 911.

2 июля 1915. Рыбинск.

Дорогой Николай Яковлевич,

вот я наконец и в Рыбинске, в моем дорогом углу, где так много протекло из моей жизни. Передо мною лежит случайно попавшаяся книга, оставленная здесь покойной сестрой Лизой; раскрываю ее и читаю: «Перевод, обработка и дополнения Н. Я. Кузнецова, ассистента» и т. д. Подымаю глаза выше и читаю заглавие: «Давид Шарп. Насекомые». Так вот, оказывается, в моем углу оставлено сестрою воспоминание и о Вас, и только теперь мне суждено было наткнуться на него!..

Ужасно я рад, что хоть в этом году мне удалось приехать сюда пораньше и увидать хоть кусочек настоящего лета; прошедшие года я видел здесь только август и начало сентября. Не знаю уж, как Бог приведет пожить здесь в этом году. А для меня пожить здесь, хоть изредка, чрезвычайно важно, потому что тут более, чем где-нибудь, возвращаюсь я в то тихое, уравновешенное, здоровое состояние души, когда становится возможно осмотреться, сравнить прошедшее с своим теперешним, оценить, насколько и в какую сторону пошли в тебе перемены. Тяжелой, неправильной жизнью живем мы, милый мой, в нашей питерской толчее, и до того она тяжела и неправильна, что нужно далеко отойти от нее, чтобы дать себе отчет о том, как ты живешь, добро или

зло от твоей жизни для людей, двигаешься ты вперед, или уже остановился, или пошел уже назад? Отвечает ли твое настоящее хотя сколько-нибудь тому, чем ты хотел быть «егда бе юн»? 〈...〉

И вот в нашей питерской жизни, тяжелой и больной, так незаметно для нас может это произойти, что кто-то взял твою волю, куда-то ушли твои собственные идеалы, которые красили жизнь и будущее. И пошел ты за кем-то «аможе не хощеши»...

Нужно всегда оставить себе возможность уйти, хоть ненадолго, из обыденной толчеи, чтобы «сесть наедине и умолкнуть», дабы осмотреться, чем ты был и чем ты стал, и что есть у тебя. А то при всей видимости того, что живешь «высокой, сознательной жизнью университетского деятеля», может случиться так незаметно и легко, что уже давно сошел ты с настоящей тропы и влечет тебя чужая, «лешая» воля, куда — и сам не знаешь!.. Так-то, дорогой мой. Такие мысли навеяны мне старыми стенами, старыми деревьями, что шумят перед моим окном так же, как шумели лет тридцать и двадцать тому назад. Одно из них и посажено мною, когда мне было лет восемь, а теперь оно очень высоко и шумит мне так же, как его соседи и братья...

Ну, а как Вы там поживаете на своей Карташевке? [8] 〈...〉 Как живет Дуняшка, как ее здоровье телесное и душевное? Мне всегда казалось, что это милое, простое, как полевая травка, существо скрасит Вам жизнь, и именно тем, что хоть немного отведет Вас от нудной, больной, интеллигентской жизни, этой интеллигентской толчеи, которая способна забить в человеке душу и образ Божий! От Дуни на Вас должно пахнуть иногда, как от оржаного поля или от соснового бора,— свежим воздухом непосредственной и простой, смиренной жизни деревенского человека. Только что же это она-то вздумала «выдавать» и все хворает? Подействуйте хоть на ее самолюбие! Ведь это она должна быть опорой бедного интеллигента на его жиденьких ножках! А тут выходит, что интеллигенту приходится напрягать последние силенки и ухаживать за ней! Дай ей Бог поскорей и в самом деле окрепнуть, ободриться духом и телом и быть счастливой карташевской хозяйкой. 〈...〉

Припечатываю Вам это письмо старинной дедовской печатью; это память об ушедшей здешней жизни, последним остатком которой являюсь теперь я один, пока Бог грехам терпит.

Но и вполне независимо от оскудения моей семьи и старой «Ухтомской» жизни, надо сказать, что все окружающее здесь, вся вообще жизнь здесь значительно оскудела сравнительно с прежним. Впечатление такое, точно все замерло; люди ушли; жизнь обеднела! Сейчас это все обострено, конечно, войною; но столь быстрое и решительное оскудение не могло произойти сразу,— оно, очевидно, имело надлежащую подготовку в прежние годы. Ведь заметьте, что я говорю не о каком-нибудь незначительном местечке России, а о самом деятельном и упругом ее центре,— о портовой и энергически-торговой Волге Ярославского верховья, где, по преданию, жизнь должна бить ключом!

Вспоминаю, что́ писалось несколько лет тому назад в газетах об «оскудении русского центра»: тогда говорили, что государственная жизнь наша стала ненормальной, ибо окраины,— поддержка связи с окраинами,— стали высасывать жизнь из центра. И вот, кажется, что это было сказано верно! Сначала систематическое высасывание денег из народного кошелька петроградским пауком, а потом эта проклятая война глубоко подорвали, как видится, здешние силы и способности сопротивления. ⟨...⟩

Ну, однако будет! Заговорился я с Вами на благодатной тиши и благорастворении, которые сейчас меня окружают... Представьте Вы себе такое чувство, что, вспоминая свою прежнюю жизнь в ее мелочах и в крупном, я чувствую себя теперь как бы давно умершим и спустившимся вновь в прежнюю обстановку спустя лет сто! Как все изменилось! Сколько умерло, сколько ушло бесследно! Какие маленькие следы остались от того, что́ было!.. Потом еще: к лучшему ли, по крайней мере, те перемены, к лучшему ли для всей нашей России, если уж не для отдельных ее людей?.. И вот, представьте себе, какое грустное чувство должно возникнуть, когда приходится ответить себе: перемены произошли главным образом в сторону обеднения, оскудения, притом оскудения не только материального, но и духовного!

Ну, дай Бог, чтобы это было ненадолго!

Простите пока. Не взыщите на меня, что отнял у Вас полчаса на чтение моих строк.

Всего Вам хорошего! Кланяйтесь от меня, пожалуйста, Дуне.

Преданный Вам А. Ухтомский.

2 июля 1915.
Рыбинск.

Дорогой Николай Яковлевич,
спасибо Вам за сообщение касательно экзамена 12 октября. Я было думал, что меня миновала чаша сия, но, как видно, Николай Евгеньевич выполнил свою угрозу. Надеюсь сегодня уложиться и выехать; если не поспею, то — завтра. Вообще же говоря, настроение такое, что хочется сидеть, уткнувшись носом в угол,— как это делают мои соседи — рыбинские мещане,— и по возможности ничего не слышать о том, что совершается, в особенности во внутренних наших делах. Нашими верхами, очевидно, завладели опять какие-то темные силы немецкого образца, а это открывает, как всегда, широкий простор воровским инстинктам домашних хищников, которых, к сожалению, всегда много на Руси. Настоящий же, подлинный хозяин земли русской, наш коренной народ, только глубже запрятывается по своим деревням, да поохивает, когда у него снова и снова выхватывают сыновей на убой, да ему же продают втридорога тот самый хлеб, который он своим горбом выработал. ⟨...⟩

Ну, а как у Вас? Помоги Бог Дуняшке принести человека в мир! ⟨...⟩

Вообще говоря, на душе смутно и тяжело.

Ну, пока простите. До скорого свидания.

Искренне Вас любящий А. Ухтомский.

9. X. 1915.
Рыбинск.

Дорогой Николай Яковлевич,
примите мое, хотя и несколько запоздалое, приветствие со днем Ангела и с новым маленьким именинником Николаем Николаевичем Кузнецовым, которому дай Бог доброй жизни, крепости и разума в начавшемся поприще. Передайте, пожалуйста, сердечный привет мой и милой нашей хозяйке и матери. Ей пожелать от всего сердца могу того, чтобы, сама выйдя из святого крестьянства (христианства), сохранила бы она и передала сыну то основное настроение христианского мужества, по которому приведены мы сюда не для удовольствия, развлечения, наслаждения, «удовлетворения культурных потребностей» и т. п., а для труда, «покамест не изобразится в нас Христос». ⟨...⟩

Ну, вот пожелания мои у кроватки маленького

человека, пришедшего в мир. Пусть это будет некоторым «заговóром» с моей стороны, чтобы все так и было, как хочется. ⟨...⟩

Пока простите, милый мой, целую и обнимаю Вас.

Ваш А. Ухтомский.

7 декабря 1915.
Петроград.

Дорогой Николай Яковлевич,
сердечно обрадовали меня Вашим письмом. Буду ждать Вас к себе. ⟨...⟩

Так много накопилось за это время такого, о чем надо побеседовать с Вами. И времени утекло много с нашего последнего свидания; и событий накопилось еще больше. Конечно, всего этого надлежало ожидать почти с первого дня безумной революции февраля 1917! Определенно чувствовалась мне гибель несчастной России в том нестройном гаме, который тогда был поднят и который так приветствовался легкомысленной публикой.

Раз сорвавшись с вершины, камень должен докатиться до конца; и то, что было посеяно, должно быть и пожато. Дальнейшие глупости разных «большевиков» и прочих убогих людей не подлежат уже такому суду и осуждению, как то, что в самом начале было понаделано умниками: Гучковыми, Родзянками, Милюковыми[9]... Ну, да уж если искать корней, то придется заходить далеко. ⟨...⟩ Итак, до скорого свидания.

Любящий Вас душевно

А. Ухтомский.

28 апреля 1918.
Рыбинск.

Дорогой Николай Яковлевич,
сейчас я получил Ваше письмо и, следуя Вашему совету, спешу дать Вам доверенность на получение денег из Университета за 1917 и 1918 годы. Я предполагал их не брать ввиду того, что практически не работал в Университете с лета 1917 года. Однако теперь приходит нужда в собственном смысле слова, и, думается, не сделаю я большого проступка, взяв эти деньги на прожиток и на уплату предстоящих громадных налогов! ⟨...⟩

Что сказать о делах? Все происходит так, как должно было ожидать. С самого начала этой несчастной войны, в июле 1914 года, так щемило душу! Чувствовалось, что пришел великий суд над нами! И он должен был добраться до всех нас, оставшихся в относительном покое, дома, когда многие тысячи людей тогда же еще ложились костьми! Так или иначе, беда должна была дойти и до нас... Горделивая, самонадеянная интеллигенция начала безумное февральское выступление 1917 года. Для всякого беспристрастного наблюдателя ясно было тогда, что «за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь»; а тут еще и зайцы-то какие! — с одной стороны такой небывалый, страшный враг, как немец,— для борьбы с ним одним нужно было напряжение всех сил! С другой стороны такая полуневедомая, стихийная сила, как Россия, с которой одной дай Бог управиться с грехом пополам нашей верхоглядной и невежественной интеллигенции! И вот сталось все то, что должно было статься: и от немца расколочены до конца, и внутри себя потеряли всякий смысл, всякое понимание друг друга! Совершенное повторение вавилонского столпотворения и срама его! Начали громоздить небывалую башню, обещали какие-то небывалые прелести, долженствовавшие удивить и научить весь мир. А конец — в совершенном сраме и мерзости!

Меня как-то зазвали здесь в местное «религиозно-философское общество» (своего рода отделение петроградского общества того же имени) и просили высказаться о событиях. Я им сказал одно: «Мое глубокое убеждение, что все совершающееся, страшное и безобразное, «достойно и праведно есть», в особенности по отношению к интеллигенции, с которой спрашивается более, чем с кого бы то ни было, ибо она сама хвалилась, что она «сознательна»,— стало быть, более прочих знала, что делала, и, значит, более всех прочих ответственна в событиях! Если и избивать нас будут,— говорил я им,— то и тогда надо нам говорить одно: «достойно и праведно есть!»...» По-видимому, рыбинские философы остались очень недовольны моими речами,— расстались мы холодно! Ну, да сами виноваты, что меня зазывали! Высказал же я им свое крайнее убеждение, которое не покидает меня ни на минуту.

Для научения дано это время нам всем, слишком успокоившимся и самодовольным людям «конца века»!

Сохрани Бог нас от слишком больших испытаний, которые были бы не по силам! 〈...〉

Когда и как разрешится этот великий исторический нарыв, при котором мы присутствуем?

Храни Вас Бог, милый мой. Был бы я очень рад, если бы Вы еще написали мне о себе, своих мыслях и переживаниях. Низкий поклон мой Вашим. Надежда Ивановна шлет Вам сердечное приветствие и поклоны. Она много помогает мне переживать тяготы этого времени.

Ваш любящий Ухтомский.

30 июля 1918. Рыбинск.

Дорогой Николай Яковлевич!

〈...〉 Я надеюсь все-таки, что и Вам удастся приехать сюда, и, так или иначе, мы повидаемся в близком будущем. Обо многом хотелось бы побеседовать, хоть я и знаю, что, когда свидание состоится, обо многом забудешь сказать, многое уйдет из внимания, и только впоследствии будешь сожалеть о забытом!

Нарыв наш все еще не нагнаивается до такой степени, чтобы можно было ожидать близкого разрешения. Чрез Рыбинск идут теперь все новые «эшелоны» большевистских войск на восток; по Мариинской системе, чрез Шексну, пришли балтийские миноносцы, чтобы обслуживать нашу Волгу; а народ голодает, чахнет и мрет! Люди узнали очень многое, во многом «окультурились», но утеряли зато способность сожительства друг с другом! Злопыхательство и ненавистничество сказываются с особенной выразительностью, когда деятели одеты интеллигентами и джентльменами, с такими «культурнейшими» физиономиями, с такими утонченными искательствами в области искусств и комфорта... Когда потрошителями и людоедами бывают люди в звериных шкурах, тут кажется все естественным и в порядке вещей. А вот когда просвещеннейшие народы Европы в течение пяти лет съедают друг друга, когда все эти утонченные «денди», «мессиё» и «герры» без устали грызут и поедают один другого,— тогда тут есть над чем призадуматься. И именно тогда, когда нас стараются убедить, что все это было необходимо, что иначе и не могло быть во имя этой самой «культуры»,— тогда-то в особенности приходишь к сознанию: ну да, значит, они утеряли способность со-

жительства, утеряли секрет, связующий людей в общежительства! В самом деле: при таких-то средствах культуры жизни и личности, при всех-то «философиях» и «гуманитарных воспитаниях», да такая «мертвая схватка» в горло друг другу!

При такой-то культуре, цивилизации, при таких-то сокровищах духа и творчества, да такая неспособность жить в мире и согласии друг с другом! Да, именно секрет утерян: утеряна любовь! «За умножение беззакония иссякнет любовь многих!»

Все снова и снова, опять и опять возвращаешься к этому пророческому слову Христа, Божией Премудрости.

До свидания, дорогой. Всего Вам хорошего. ⟨...⟩

Преданный А. Ухтомский.

11 августа 1918. Рыбинск.

Дорогой Николай Яковлевич,

я послал Вам вчера заказное письмо с просьбою выхлопотать мне свидетельство на право выезда в Петроград, и затем еще просил Вас,— на случай возможного обращения к Вам вопроса о моем посещении Карташевки,— подтвердить, что я гостил у Вас во второй половине августа старого стиля. Имею возможность еще и сегодня сесть за перо и бумагу, и пользуюсь случаем, чтобы еще написать Вам. Всего объяснять в письме невозможно. Впоследствии, если Господь помилует нас с Вами и пронесет над нашими головами начавшийся вихрь, все расскажу Вам. А теперь прошу только верить, что подтверждение моего пребывания у Вас в указанных числах чрезвычайно важно для меня и может иметь для меня чрезвычайные последствия [10].

Свидетельство для выезда в Петроград нужно потому, что в ближайшее время жить в Рыбинске, как кажется, опаснее, чем в Петрограде. События пойдут, пожалуй, более бурно именно здесь, на Волге. Да и, кроме того, в Петрограде я — часть некоторого общественного целого — университетской корпорации, здесь же я «домовладелец» — единица из «имущаго класса» и только.

Что касается университетской работы, то, думаю, ее не будет в этом году. Тем не менее надо быть при Уни-

верситете, как при определенном твердом якоре, в особенности в это кипящее, бурное время, когда почва совершенно потрясается под ногами.

Мне кажется, вчерашнее мое письмо, да и сегодняшнее, удивят Вас необычностью тона и настроения,— Вы человек чуткий и, наверное, уловите духовную неустойчивость, болезненность за моею речью. На самом деле, душа изболелась, мучается от того, что происходит. Страшные времена, страшные дела, страшные люди пришли в историю. Ими казнит и учит нас Бог, будя нравственный сон «буржуазной самоудовлетворенности» и упорного искания самоуспокоения, в которых так сильно виновата вся европейская культура и мы, ее внуки...

Ведь если приглядеться, едва ли не самым интимным и самым постоянным стимулом деятельности типического сына европейской культуры является именно: «самоудовлетвориться», «привести вещи в согласие с собою», «прийти к согласию в самом себе» и т. д.; *и в научной теории, и в обыденной обстановке жизни, в философии ее, типический европейский человек — искатель спокойного комфорта — прежде всего.* Не устремление выше себя,— к истине, которая тебя превышает,— но возврат к себе самому и к своему удовлетворению своим пониманием истины,— вот типический наш грех, мертвящий нас и не пускающий нас выше себя! Начавшись, надо думать, с Возрождения, грех этот продолжается и растет до наших дней, и ныне докатился до социалистических стремлений построить и устои общественности так, чтобы «обеспечить всем равный комфорт». *Ни до чего лучшего, чем «равный комфорт», додуматься европеец все-таки не смог!*

Как мелко плавают эти гордые корабли, любующиеся сами на себя и полагающие, что они переросли все, прежде них бывшее! Забыли, что не истину надо «пригонять» к себе и своим комфортабельным домоганиям, но себя переделывать с начала до конца сообразно истине и ради истины, которая существует и независимо от нас, и ранее нас, и бесконечно выше нас и всех наших искательств!

Простите, родной. Жду ответа на имя Миши: Инвалидная, 32. Михаилу Александровичу Касенкову.

28. VIII. 1918.

24. VI. 1936.

Дорогой Николай Яковлевич!

⟨...⟩ Очень жалею, что не приходится повидаться с Вами. Как-то видел Вас издали на улице, хотел было произвести под первым впечатлением соответствующий рефлекс вроде восклицания и махания руками, но тотчас ввел в дело торможение, которое хорошо наупражнялось в последнее время. Помнится, Купер рассказывал, что у могикан считалось неприличным выражать какое-либо волнение и эмоциональную подвижку не только руками, но и малейшими движениями в лице. Каменное спокойствие,— вот культура! Так и я вот уподобился могикану и не обнаружил на улице своего знакомства со встречным кавалером! А время все утекает; Надежда Ивановна у меня совсем обветшала; по ней замечаю, что и наблюдатель, т. е. я, должен тоже поветшать.

Читали ли мою статью об И. П. Павлове в «Природе»? [11] Был бы очень благодарен Вам, если бы написали свои мысли и впечатления по поводу этой статьи! Там высказалось у меня кое-что очень давнее и очень нутряное, с чем я когда-то поступал и в Университет. Одним словом, это тот порядок мыслей, который владеет мною приблизительно с тех пор, как мы с Вами встретились в Физиологической лаборатории Университета. А встретились мы, или — лучше сказать — встретил я Вас в первый раз так. Приблизительно за год до того, как я окончательно вступил на работу у А. А. Кулябко, я зашел в Физиологическую аудиторию просто потому, что был досуг, решение быть физиологом было у меня с момента подачи прошения в Университет о приеме, и, вместо того чтобы сидеть в коридоре с книжкой, я поднялся наверх и вошел в открытую дверь аудитории. Парт и уступов для них в то время не было. Из раскрывшихся дверей служитель вынес небольшой черный стол, на котором были наставлены разные приборы, катушки, закрепленные держалками к краям; а затем вышли Вы, чтобы проверить установку перед началом лекции. Вы проработали и пропробовали установку к лекционному опыту в течение минут пяти, а затем стали все гуще сходиться регулярные слушатели, и кто-то сказал, что сейчас выйдет профессор. Я предпочел удалиться с моею книгою вниз!.. Таково было наше с Вами первое знакомство зимою 1901 года. На следующий год я вошел уже в лабораторию в качестве практиканта-физиолога, и

здесь первое личное соприкосновение с Вами было в том, что Вы помогли мне получить реакцию Молиша на белок. Это было у раковины первого от вивисекционной комнаты стола для химических занятий. ⟨...⟩ Вот, много, много отпечатков прежнего с необыкновенной яркостью проходят перед глазами, как случившееся вчера! Одно за другим воспоминания детства чуть не с двухлетнего возраста; потом юность, жизнь с тетей, в Корпусе... Удивительно цепка память, и удивительно прочно удерживает пережитое,— точно в самом деле шрамы, зарубцевавшиеся лишь отчасти.

Простите, дорогой Николай Яковлевич. Рад случаю побеседовать с Вами. Ваш А. У.

А. А. ЗОЛОТАРЕВУ

Дорогой Алексей Алексеевич, [1]
примите мое приветствие с праздником Христова Рождества и Богоявления, а затем простите, что беспокою Вас этим письмом.

Сейчас я получил известие из Рыбинска из моего зачеремушного домика, что там местный «комитет» сделал опись моих книг и грозит конфискацией их, не обращая внимания на охранительную бумагу, данную мне от Университета [2]. Вы представляете себе, насколько тяжело для меня лишиться книг, большая часть из коих с моими нарочитыми отметками для будущего использования в работах! Кроме того, там есть мои рукописи, лишиться которых значило бы потерять лучшие рабочие годы из прошлого!

Я вспомнил, что в прошлом феврале, при свидании, Вы говорили мне, что занимаетесь в Рыбинске около книг, и у Вас была возможность спасти книги некоторых людей, оказавшихся в таких же условиях, как я сейчас. Мне и пришло в голову обратиться к Вам с просьбою, не найдете ли возможность спасти мне мои книги, рукописи и т. п.! Думаю, что славянские, немецкие, английские, французские и русские ученые книги и мало производительны оказались бы для рыбинских обывателей и рабочих! И, может быть, обратят внимание, что в последнее время Советское правительство высказывалось за потребность обставить работу и рабочие средства ученых в обозначенное положение,— в скором времени обещаются особые декреты о предоставлении ученым покойных помещений и прочих средств для работы. И в особенности накануне таких декретов было бы тяжело лишиться тех книг, которые приобретались для намеченных работ!

Итак, еще раз: если можете, не откажите помочь в этом тяжелом деле.

Собирался я приехать на родные места на праздни-

ки, но лаборатория осталась на моих руках за отсутствием проф. Введенского, и, таким образом, пришлось жить и зимние праздники в Петрограде. А жить здесь становится все тяжелее и тяжелее! «За умножение беззакония иссякает любовь многих», и эта боязнь духа,— голодание духа,— влечет за собою все прочие беды и страдания. А ожесточенное человечество и в разгаре страданий не смягчается, а «жуя языки, изрыгает хулы». Это, без сомнения, в логике вещей и текущих исторических перипетий, явно апокалиптического значения! Но от этого сознания не легче! Сохрани Бог Вас, Ваших милых стариков, которым, пожалуйста, передайте мой сердечный привет и низкий поклон. Ваш любящий

А. Ухтомский.

1 января 1920. Петроград.

P. S. По имеющимся у меня дополнительным сведениям, опись книгам у меня еще не произведена, но ее обещали произвести в ближайшие дни.

Если это так, то, быть может, Вы успели бы еще, с помощью живущей при моей квартире Надежды Ивановны Бобровской, взять некоторые книги?!

Простите, дорогой Алексей Алексеевич, что тревожу Вас. Был бы чрезвычайно обязан Вам, если бы удалось спасти мои книги и угол от разгрома! Ваш А. У.

Может быть, рыбинские власти снизойдут до такого воззрения, что мое книжное имущество не есть имущество частного рыбинского домовладельца, но ученого работника и профессора, несущего определенные обязательства в тех областях, в которых работает! Вот существуют специальные декреты, рекомендующие предоставлять ученым возможность спокойной работы.

Дорогой и глубокоуважаемый Алексей Алексеевич, спасибо Вам за приглашение рассказать о доминанте в Рыбинске и, главное, спасибо за Вашу приписку, что для Вас лично это было бы дорого. Именно последнее чуть было не подняло меня на поездку в Рыбинск,— для Вас лично очень приятно было бы мне это исполнить.

Однако, чем дольше думал, тем труднее оказывалось устроить эту поездку. Главное, можно сказать, что

я один остаюсь сейчас при кафедре, а уже начинаются предвестники наступающего академического года,— требуют составления лекционных расписаний, собирания предметной комиссии и т. п. Это делает технически неисполнимым выезд отсюда с покойной душою. А для доклада хотелось бы сосредоточиться и быть покойным душевно. Именно перед родным Рыбинском хотелось бы рассказать о доминанте со всеми точками над і, т. е. со всеми моими пониманиями в этом направлении. А для этого нужен большой душевный мир!

Да и не преждевременно ли высказываться до конца? Я не очень ясно представляю себе ту рыбинскую аудиторию, перед которой мне пришлось бы сейчас говорить. Аудитория Рыбинска, с которой мне хотелось бы говорить, частью лежит на дорогих мне кладбищах, частью задавлена «большинством», настроенным для меня чуждо, частью же не народилась. Поэтому пока я не уверен в том, чтобы было полезно говорить до конца! Об этом говорит мне сам принцип доминанты: господствующее настроение найдет возможность питаться и на счет чужих для себя импульсов, пока не изживет себя в своем собственном самоутверждении.

Итак, приходится все-таки отказаться от рыбинской лекции, и Вы на меня за то не посетуйте.

Жму крепко Вашу дружескую руку и остаюсь преданный Вам

А. Ухтомский.

8 (21) августа 1926.

Дорогой Алексей Алексеевич,

с большой радостью получил твое письмо с извещением, что ты получил мою книжку и прочел ее. Теперь посылаю еще выпуск из моего курса физиологии двигательного аппарата. Прочти, пожалуйста, и скажи твое впечатление. Когда будут выходить следующие выпуски, буду присылать. Инициатива этого издания принадлежит моим ребятам, и оттого оно мне особенно дорого. [3]

Приехать в Рыбинск я, вероятно, не сумею и в этом году, да если бы и приехал, то уж не для того, чтобы быть опять в «научном обществе», а для того, чтобы уйти от суеты человеческой в мир и самопереоценку пред

лицом старых воспоминаний, ибо «вся суета человеческая, елико не пребывают по смерти»...

Вообще говоря, очень я переутомился за этот год, а на фоне переутомления развилось тяжелое бредовое состояние, которое я едва изживаю теперь, через два месяца отдыха после лекций и преподавания. Все это очень интересно и поучительно для наблюдающей мысли; но и очень мучительно, когда наблюдаемые вещи переживаются в самом себе. И все-таки, только тогда понимаешь до конца, когда одновременно и наблюдаешь, как бы с о - в н е, и переживаешь и з - в н у т р и, как подопытный субъект!

Мой главный интерес издавна в том, как конструируется человеческий опыт, т. е. как это происходит, что приблизительно в одних и тех же данных внешнего мира Дмитрий Карамазов строит совсем другое миропредставление, чем его отец Федор, чем старец Зосима, чем Мармеладов или чем братья — Иван и Алексей. Дело в том, что мироощущение предопределяется н а п р а в л е н и е м в н у т р е н н е й а к т и в н о с т и ч е л о в е к а, его доминантами! Каждый видит в мире и людях то, чего искал и чего заслужил. И к а ж д о м у м и р и л ю д и п о в о р а ч и в а ю т с я т а к, к а к о н т о г о з а с л у ж и л. Это, можно сказать, «закон заслуженного собеседника».

«В похотех души своей благословим есть грешный...» «И отпустих их по начинаниям сердец их».

В том, как поворачивается к тебе мир и как он кажется тебе, и есть с у д над тобою. Каждое мгновение мир ставит перед человеком новые задачи и предъявляет ему новые вопросы; а человек отвечает всегда в м е р у т о г о, ч т о у с п е л в с е б е з а г о т о в и т ь и з п р е ж н е г о; таким образом, каждое мгновение мира выявляет в человеке то, что есть в его сердце,— и в этом суд и судьба (суд — судьба) над человеком. «В чем застану, в том и сужу тебя!»

Ну так вот, в изучении доминант и их значения для постройки человеческого опыта — необыкновенно интересно и важно присмотреться в особенности к психиатрическому материалу. И особенно интересны высокоразвитые психозы зрелого возраста, так называемые «систематизированные бредовые помешательства», где логическая функция человека безупречна, а беда коренится в психологических глубинах. Строятся подчас удивительно содержательные, цельные (интегральные!)

и красивые бредовые системы, чего-то ищущие, чем-то вдохновляемые, и, однако, бесконечно мучительные для автора! Затравкою при этом всегда служит неудовлетворенный, невыполненный долг перед встретившимся важным вопросом, который поставила жизнь. Человек сдрейфил в мелочи, оказался неполносильным и неполноценным в один определенный момент своей жизненной траектории; и вот от этого «судящего» пункта начинает расти, как снежный ком, сбивающая далее и далее, но уводящая все более и более в сторону бредовая система.

Это и есть так называемая *паранойя*.

Она меня привлекала издавна, еще тогда, когда молодым студентом Академии в 1896 г. я имел случай прожить 1 1/2 месяца в отделении хроников в Ярославском сумасшедшем доме. Потом, студентом Университета, слушал курсы по паранойе проф. Томашевского, Розенбаха. Очень занимательна теория паранойи Вестфаля, построенная в духе гегелевской диалектики, по которой выходило, что неизбежная логическая связь влечет человека от бреда преследования к бреду величия. Мне, однако, чувствовалась тут какая-то натяжка или, лучше сказать, предвзятый схематизм, не вникающий в живое человеческое страдание во всей его трудности и значительности.

Вот в этом году, может быть в связи с переутомлением, я сам пережил очень тяжелый душевный конфликт, с явными перебрасываниями из одного логического русла мыслей в другое, каждое из которых закончено и правдоподобно, но каждое из которых вытесняет другое. Явно два доминантных процесса, бьющихся между собою. А исходили они из одного морального переживания, как дихотомические ветви. По поводу вопроса, поставленного жизнью, выявились две активные направленности действия, которые стали тянуть в разные стороны, противореча друг другу и в то же время как бы взаимно усиливая друг друга! Представляешь себе: две лошади растягивают тебя в разные стороны, не уступают друг другу, и в то же время усилия одной из них подбадривают противодействующие усилия другой!

Мне стало приоткрываться, что это и есть существо паранойи, гораздо более близкое к реальному содержанию этой болезни, чем все преподносившиеся нам в прежнее время медицинские теории. Не лежит ли в основе

всякого параноического бреда тревожащее чувство вины, что в роковой момент оказался неполносильным и неполноценным, чтобы разрешить его со всею доступною тебе силою? В один момент оказался не на высоте, оставя решать дело в согласии с основною своею доминантою,— и это уже предрешило, что зародилась новая доминанта, которая отныне будет заявлять свои права!

Сейчас я с наслаждением читаю новое освещение паранойи в Тюбингенской психиатрической школе. ⟨...⟩ Какое-то чутье подсказало мне, что именно Кречмер с его учением о характерах должен быть близок к моей точке зрения. И я не ошибся. По его представлению, параноик есть, прежде всего, «определенный социальный тип, поставленный пред определенной нравственной проблемой». Затем, это человек, глубоко и тонко чувствующий, требовательный к себе, способный к углубленному самоанализу. Наконец, это деятельный человек, экспансивный, не успокаивающийся в пассивной ресиньяции.[4] Ему чуждо и пассивное самоуспокоение «астеника»[5]; чужда и легкомысленная агрессивность чистого «стеника». Первый самоудовлетворился бы в диогеновской философской бочке! Второй стал бы расталкивать окружающую жизнь «sans gêne» в духе Наполеона. Паранойя не разовьется ни у пассивного мечтателя, ни у спортсмена. Ее излюбленная жертва — это или «астеник, в теле которого завязла стеническая заноза» (выражение Кречмера), или бурнодеятельный стеник, ноги которого связаны кандалами астении (тонкой чувствительности, самокритики, нравственной требовательности к себе). Кречмер думает, что вот этакие люди, носящие в себе задатки внутреннего конфликта, и являются наиболее творческими натурами, говорящими человечеству наиболее ценные слова. Но, вместе с тем, это и наиболее благоприятные натуры для развития параноических бредов! Все дело в том, чтобы суметь соблюсти гармонию жизни между стеническими и астеническими чертами своего существа,— так говорит Кречмер, в конце концов по своей культуре индивидуалист-протестант. Все дело в том, чтобы ежеминутно быть в бдительном подвиге пред лицом Собеседника (будет ли это ближайший человек, или Первый и Последний Собеседник ⟨...⟩),— скажем мы. «В одно мгновение совершается спасение или погибель человека»,— говорит Исаак Сирин. Это оттого, что мгновение принесло

тебе задачу и вопрос; и, смотря по тому, что ты заготовил в себе, ты отвечаешь полносильно, как единый и собранный в себе деятель; или,— если ты озирающийся вспять,— отныне идешь надломленный с сознанием своей раздвоенности или даже множественности: «Легион имя мое, потому что нас много!» Идешь отныне, «стеная и трясыйся», как Каин!

В конце концов бредовая система принципиально ничем не отличается от всякой иной, хотя бы «научной» системы. Она строится, чтобы объяснить самому себе получившийся новый опыт. Если только внутренняя боязнь совести не приведет к лукавой уловке сказать себе, что я не виноват, то освобождение ⟨...⟩ будет достигнуто в бредовой теории, что я — *предмет безвинного преследования*. И тот, кто начал с самоизвинения, придет в конце к тому, что все виноваты, кроме него, а *он*, *столь исключительный*, *есть величайший*!

Много, много «научных» теорий построено по этому бредовому трафарету! ⟨...⟩ В конце концов, всякая теория есть лишь проект того, что должно быть и что желательно. Правилен ли проект, покажет не логика, а сама будущая действительность. Может быть, большинство человеческих теорий окажется «бредом». Правильное и новое, что дает Кречмер, в том, что корень бредового помешательства в *чувстве вины* ⟨...⟩ и, *пока он не выловлен и не удовлетворен, подлинного выхода из бреда нет*!

Ну, прости. Искренно преданный и любящий

А. *Ухтомский*.

1927

Г. И. КУРОЧКИНУ

Дорогой и глубокоуважаемый Георгий Иванович [1], чрезвычайную радость доставили Вы мне своим милым письмом. К сожалению, у меня нет сейчас под руками моей фотографии, и я не смогу ответить Вам так, как хотелось бы, на Ваше дорогое для меня письмо с карточками товарищей. Дожидаться, пока будут карточки, это значило бы надолго отложить ответ. А откладывать опасно,— как этому меня научил личный мой опыт! Поэтому пишу пока тотчас по прочтении Вашего письма и пока что без ответной карточки.

Спасибо Вам за доставленную радость,— за целый ряд живых воспоминаний далекого прошлого, в котором вместе начиналась наша юность и в котором пришлось встретиться и знать немало прекрасных людей и памятей. Я очень хорошо помню Вас в гимназии и, как это наблюдалось нередко, помню наглядные детали и мелочи тогдашних событий, которые, казалось, не могли иметь никакого практического значения в будущем, а стало быть, должны были бы давно стереться из памяти. Вот, например, памятка: в коридоре, который тянулся мимо нашего класса и соединял главное здание гимназии с новыми постройками во дворе, были окна, выходившие на запад, на чужой двор, уже не принадлежавший гимназии. Когда мы высыпáли в этот коридор во время перемен, нам запрещалось подниматься на окна и тем более открывать форточки. Но вот, я помню, что Вы поднялись, пользуясь своей долговязостью, на подоконник и стали дотягиваться до форточки. Мне было и интересно, что из этого выйдет, что откроется через форточку,— но и было тревожное чувство, что нарушается дисциплина. В это время прозвучал звонок к началу следующего урока, и я бросился в класс, оставив Вас у подоконника. Дверей из коридора в класс было две. В то время как я, а потом и Вы входили в класс через двери, более далекие от кафедры (тогда, впрочем,

еще не было у нас кафедр, а был просто учительский столик!), преподаватель вошел через ближайшие двери... Отчего же такие мелочи запечатлелись так, будто они были видены вчера? По-видимому, запечатлевается в мозгу с особенной прочностью и отчетливостью то, что пережито с повышенной эмоцией. То, что пережито с волнением радости, горя и нравственной борьбы, засаживается в нас прочно и может заявить себя неожиданно через десятки лет.

Из учителей того года запечатлелся в особенности Д. П. Мартынов, о котором упоминаете и Вы, и Ф. Ф. Гертнер, у которого я любил учиться латыни по Кюнеру! Милые и прекрасные были оба! Как сейчас помню проводы Д. П. Мартынова, и почему-то в особенности Благова, ходящего по пристани, куда мы все собирались для прощального приветствия нашему милому математику — пошехонцу, отъезжавшему в Череповец. Дмитрий Павлович был сыном протоирея из Пошехонья,— оттого я и называю его этим родным мне именем! Ф. Ф. Гертнер уехал от нас на следующий же год, помнится, в Торжок. Появление у нас Куборского и описываемую Вами сцену знакомства со мною я тоже вспоминаю. Но сам Куборский не привлек к себе моего внимания и симпатии, и его образ сохранился во мне исключительно своею наружностью, аккуратным вицмундиром и очень чистыми панталонами; но интересных впечатлений от его лица у меня не осталось. Да и потом, приезжая домой из Корпуса, я слышал о Куборском от товарищей больше всего анекдоты!

Спасибо Вам за портрет Ник. Ив. Мыркина. Так хотелось бы с ним повидаться! Я его видел в последний раз в Рыбинске после моего доклада о староверии в Рыбинском философском кружке. Но это было совсем мимолетное свидание и оставило во мне лишь одно мимолетное впечатление радости оттого, что прошло передо мною его светлое, искреннее и приветливое лицо! Это было, должно быть, в начале марта 1918 года. До этого мы с ним очень долго не виделись, и после этого были у меня лишь слухи о нем, прекрасном и милом воспоминании ранней юности. Если у Вас будет возможность, передайте ему, пожалуйста, самый горячий и глубокий мой привет. Мой покойный отец чрезвычайно высоко ценил и любил Ивана Филипповича.

Громадную радость доставили Вы мне сведениями о Пав. Ив. Белоградском и его карточками. С ним я был

знаком до самого отъезда в Нижний, в Кадетский корпус. В последний раз видел я его здесь, когда он заходил в университетскую лабораторию для свидания со мною. Тогда он работал на Урале и приезжал в Питер по каким-то делам. Потом я старался узнать о его судьбе, но тщетно! Меня беспокоило, как пришлось ему выйти из той тяжелой обстановки, которая была на Урале в 1918—1919 гг. С тем большей радостью узнаю из Вашего письма, что Павел на родных местах, почти у самой родины. Он ведь тоже пошехонец! Его отец Иван Павлович был старый знакомый моей покойной тетки Марии Дмитриевны Ратаевой (из сельца Митина Пошехонского уезда). Через Ратаеву, скончавшуюся впоследствии в Бежецком монастыре, Иван Павлович сблизился с моими рыбинскими стариками, и я его хорошо помню в качестве посетителя тети Анны Николаевны и М. Д. Ратаевой, когда последняя приезжала и гащивала, бывало, у тети Анны. Я слышал, что брат Павла Анатолий скончался. А где его другой брат (военный), а также сестра?

Что касается Ивана Павловича, в последний раз мне пришлось повидаться с ним в Рыбинске, в доме покойной тети Анны за Черемхой, когда тетя Анна была уже тяжело больна раком грудной железы, а И. П. пришел ее навестить. Мне тогда очень дорого было всякое выражение сочувствия от старых друзей. Посещение И. П-ча оставило во мне прочный памятный след. Как сейчас помню, как хлопнула калитка в воротах с Выгонной улицы: я подошел к окну и увидел фигуру И. П-ча, прикрывающего за собой калитку перед тем, как пойти по двору к крыльцу. Мы побеседовали с ним в одной из комнат тетиного дома, причем я,— как вижу сейчас,— стоял прислонившись спиною к нетопленой печке, а И. П. сидел передо мною и грустно говорил о состоянии тети Анны. Допустить к больной его я все-таки не смог, и он ушел, говоря мне, что «Бог, может быть, еще простит».

Вот я с огорчением узнаю, что Павел болен! Милый, в самом деле уютный, добрый и любящий человек с бодрой душой и раскрытым сердцем для жизни. Как хотелось бы знать, что процесс у него остановился и он благоденствует в своем прекрасном и тихом волжском городке! Эти наши два красавца на Волге, стоящие друг против друга на берегах нашей кормилицы и строительницы нашей истории,— как приятно их вспомнить, каки-

ми приходилось их видеть в старые годы! В последний раз я видел Романов и Борисоглебск в 1912 году, проездом из Ярославля в Рыбинск, когда пришлось мне на пристани дожидаться парохода снизу, а Волга была уже в перекатах и задерживала рейсы. Холодная, темная, осенняя ночь; темные силуэты прибрежных холмов и храмов; отдельные светящиеся точки с той стороны!..

Тогда пришлось мне ехать от Ярославля с одним нашим старожилом, историком и замечательным человеком нашего края Ельчаниновым, который сошел с парохода в Романове, где у него был домик. За немногие часы переезда мимо Толги и Вашего Норского мой спутник успел рассказать мне много незабываемого и живоинтересного о том, что делалось в стародавние годы на наших местах. Мы все ужасно мало знаем о живой и недавней старине нашей страны, о волнениях и смене событий на ближайшей родной земле! А если немного копнуть нашу старину по кое-каким еще сохранившимся документам и по постепенно глохнущим преданиям, как много неожиданного начинает приоткрываться о том, откуда сами выросли. Ельчанинов был живая летопись нашего края. Между прочим, он сообщил о хранившейся в Ярославской архивной комиссии копии с донесения стрелецкого головы в Москву царям Петру и Ивану Алексеевичам, что, дескать, московский стрелецкий отряд, посланный против «ухтомских людей», в Ярославль прибыл тогда-то, на Рыбну пришел благополучно тогда-то, через Волгу у Рыбной переволокся, к Пошехонью пошел, ухтомских людей стал встречать за Волгой понемногу, и люди те все уходили, но у Огаркова и Милюшина пришли к завалам и засекам, и тут «ухтомские люди учинишася крепцы», и оттоле стрельцы побежали обратно на Рыбну, через Волгу опять переволоклись и вернулись на Ярославль благополучно...

Вот цветистая картина из того, что творилось на наших лесах во времена «хованщины»!.. А потом уже у меня в Рыбинске попали в руки старые записи, записные книжки и памятки о том, как разрасталась наша Рыбна при Петре, когда пошли товары и хлеб строящемуся Петербургу, а на Рыбной стали оседать и обосновываться именитые купеческие семьи, фамилии которых еще слышались в наше детство и юность! Рыбинские купцы при Петре нередко езживали в Питер и в своих записях, рядом с заметками о товарах, отмечали впе-

чатления от встреч с Петром. Это были крепкие, наблюдательные, подчас выдающиеся по уму люди, и их живые впечатления, конечно, необыкновенно интересны. К сожалению, я не знаю, где теперь эти документы! Так много исторических памятников и документов исчезает у нас в качестве «ненужного хлама», в то время как присяжные историки пишут свои трактаты «от своих соображений», более или менее априорных и сплошь и рядом чрезвычайно умных! Покойный В. О. Ключевский разработал всего лишь архив Московского отдела Министерства юстиции, а сколько незабываемого для исторической науки получилось из этого! А как еще и еще должна была бы перестроиться история нашей Родины, если бы были разработаны памяти и документы наших краев, например, Ярославля, Ростова Великого, Вологды, Нижнего!..

Но вернемся к товарищам! О кончине В. Кашинцева я слышал от кого-то. Кончина Вл. Вас. Савича меня поразила тем более, что очень незадолго до нее я виделся с ним на защите диссертации одного молодого работника в здешнем Институте экспериментальной медицины. Савич был очень мил и приветлив и производил впечатление свежего и здорового старика. Между прочим, в перерыв между двумя диссертациями он успел мне рассказать о Вас и о том, что Вы интересовались какими-то сведениями обо мне. Я был от глубины души рад его повидать. Точно пахнуло на меня старым родным воздухом с волжских берегов, какими мы привыкли их видеть! И вот через несколько дней было получено известие о его кончине! Должно быть, и нам надо ожидать более или менее близкого отхода от здешних дел? Савич успел пройти свой жизненный путь сравнительно благополучно и счастливо, опираясь на надежные руки И. П. Павлова. Царство ему небесное вместе с его учителем. Жму крепко Вашу руку. Привет всем товарищам, с которыми встретитесь.

Ваш старый А. Ухтомский.

31 августа 1936.

Н. Н. МАЛЫШЕВУ

Дорогой мой Николай Николаевич [1],

сердце сердцу весть подает, говорили старики. Так это и на этот раз. Я нередко думал о тебе и в прошедшие годы, но почему-то в особенности вспоминал в последнее время. Жив ли? Помнит ли старое? И вот так неожиданно приходит твое письмо! Много уплыло с тех пор, как мы виделись в последний раз. Умерли Николай Евгеньевич [2] (в 1922 г. 3 сентября), Николай Яковлевич Перна (осенью 1923 г.), Елена Никол. Гулинова [3] (на родине в Хохлах — точной даты не знаю). Из старых твоих знакомцев подвизается Ф. Е. Тур в Педагогическом институте, Н. Я. Кузнецов (в Университете) читает «необязательный курс» сравнительной физиологии, И. А. Ветюков (которого мне удалось провести в штатные ассистенты при университетской кафедре). Много у нас было тревоги и различных недомоганий. После кончины Н. Е. Введенского на университетскую кафедру усиленно втискивался некий К. Н. Кржишковский из бывших учеников И. П. Павлова. Целые полтора года он состоял председателем физиологической предметной комиссии. Но так как, кроме административных талантов, он не обнаружил никаких желаний заниматься научной и учебной работой, студенчество его удалило. Все это унесло, однако, так много сил, что, можно сказать, работа вываливается из рук. Инвентарные средства лаборатории истощены до крайности — одними и теми же инструментами надо обслуживать и специалистов, и практические занятия, и свои работы. Меня поддерживает все время любовь к молодежи, общение со студенчеством. Но теперь, кажется, и это начинает истощаться, так что воистину работаю через силу. С виду я стал настоящим стариком, так что ты, вероятно, подивился бы. Наиболее тяжелые и голодные годы я пережил очень бодро, так как всегда был достаточно закален и дисциплинирован. Но, как и у многих, пережитые

недостатки отозвались в особенности потом, «впоследствии»,— когда стало полегче.

Скоро выйдут в печати мои статьи: «Состояние возбуждения в доминанте», «О дренаже возбуждений», «Парабиоз и доминанта». Первые две в новом выпуске того издания, которое ты имел в руках: «Новое в рефлексологии и физиологии нервной системы» [4], третья в каком-то государственном издательстве в Москве. Прочти и скажи мне свои мысли по поводу прочитанного.

Твою работу приходится часто вспоминать по разным поводам. Я очень жалел, что она не была напечатана в свое время. Конечно, ее нужно напечатать. Пришли или лучше привези ее сюда. Ее очень легко устроить в сеченовском «Русском физиологическом журнале», [5] куда прямо зазывают авторов. Если не пожелаешь там, то всегда найдутся другие издания здесь, в Москве, в Харькове, куда просят статей. Идейно было бы лучше всего, по-моему, в сеченовском журнале, но там пока ничего не платят, и современные «материалистические» авторы обегают эту почтенную редакцию.

Пиши и приезжай сам. Многое вспомнили бы вместе, может быть, и ободрили бы друг друга для будущего.

Твой А. Ухтомский.

30 янв. 1926.

Дорогой Николай Николаевич,

прочел сейчас о твоем огорчении и огорчился еще более! Посылаю тебе квитанцию о приеме от меня заказного отправления тебе 14.VI.1928. Похлопочи, пожалуйста,— ибо обидно, если книга [6] пропадет. Она выпущена и без того не в изобильном количестве экземпляров! А я очень сильно заинтересован в том, чтобы ты ее прочел, продумал и сказал мне свое слово. Итак, пожалуйста, хлопочи и сообщи о результатах. Что касается меня, я сейчас накануне отъезда на Кавказ, куда зачем-то меня несет [7]. Поездку за границу отложил вследствие того, что деньги на командировку, которые мне были обещаны, оказались уже израсходованными. Приходилось хлопотать о дополнительных ассигновках уже за пределами командировочного фонда на основании того, что заграничный паспорт выдан. Но это уже совсем не в моем вкусе: никогда со своим дышлом я не пер! А тут сами

должны были сохранить командировочные, однажды названные!

В последние дни я читаю одну ужасно интересную для меня книгу по физиологии художественного выражения, написанную, впрочем, не физиологом, а музыкантом: Sigfrid Eberhardt. Der Körper in Form und in Hemmung, die Beherschung des Disposition als Lebensgrundlage. München.[8] Во многом удивительное совпадение с тем, что думаю я о перевоспитании себя на новые доминанты за счет энергии инстинктов. Художник, постоянно имеющий дело с добыванием новых форм для передачи идей и эстетической проповеди другим, хорошо знает из опыта возможность завладения собою и своими натуральными силами, дабы на их счет строить требующееся сейчас дело. Наши школьные физиологи об этом не задумывались, и Эбергардт горько жалуется на это. А древним мастерам духовной дисциплины это было хорошо известно! Я думаю, что ты будешь часто вспоминать об этой теме, вчитываясь в отцов! Ну, пока прости. Сердечно тебе преданный

А. Ухтомский.

20.VII.1928.

Дорогой Николай Николаевич,

мне передали пачку документов, посланную тобою для выставки в память Николая Евгеньевича.[9] Отберу, что можно будет поместить в витрину. Очень благодарен тебе за то, что разыскал Александра Евгеньевича и помог завязать эту нить, по которой возможно поддержать давнюю связь с семьей нашего покойного патрона. Я знал всех трех братьев Н. Е-ча. Раза три встречался с Вячеславом Евгеньевичем и соприкасался с Александром Евгеньевичем в давние годы, когда я был еще студентом Университета; а потом имел встречу и с Константином Евгеньевичем. Два первых были заслуженными работниками на педагогическом поприще и пользовались большим уважением и известностью на родине и там, где приходилось служить. Константин Евгеньевич был юристом и был связан с нашим Рыбинском, где некоторое время служил и где женился. В числе присланных документов есть его фотография, снятая у «Сигсона» в Рыбинске. Это давно известная всем рыбинская фотографическая мастерская. Введен-

ские сняты, очевидно, молодоженами. Николай Евгеньевич любил двух первых братьев, но недолюбливал третьего, который был «любимчиком» у стариков, в особенности у покойной матери. А вообще говоря, это крепкая северная семья, какими держалась и держится наша северная Русь. Отпрыски древненовгородских колонизаторов, закладывавших свои починки по дремучим лесам на берегах Сухоны, Юса, Двины. А отчасти это остатки переселенцев из Ростова Великого и с Белозерья, поднимавшихся по Шексне через Кубенское озеро на те же лесные реки Севера. Суровый Север выработал крепких, упрямых и смелых людей, принесших немало нужных и честных людей нашей истории и нашему народу.

Покойный отец наших четырех братьев Введенских — глубоко почитаемый всей округой и крестьянством, наставник по всему обиходу жизни. О нем и его семье и до сих пор идет добрая память и добрая слава, докатывавшая с Сухоны и Шуи и до нашей Ярославщины.

На днях разыщу В. А. Гладкую [10] и возобновлю это старое знакомство. Еще раз сердечное спасибо тебе за оказанную помощь. Я очень жалею, что не могу лично повидать Александра Евгеньевича. Когда увидишь его, передай, пожалуйста, ему мой низкий поклон, глубокий поклон и пожелание возможной радости.

Твой А. Ухтомский.

8 июня 1940.

Дорогой Николай Николаевич,

очень огорчен я сведением о том, что у тебя признаки цинги. Надеюсь всей душой, что удастся все это преодолеть в ближайшее время. Отзыв [11] я пока не успел еще написать по все тем же причинам. Ногу мою периодически начинает так грызть, что из работы я фактически принужден выходить. Сверх того — значительная слабость сердца, ведущая к тенденции ложиться днем.

Макаров [12] эвакуировался. Я не считал себя в праве как-то его удерживать. Основной отзыв его о твоей работе у меня есть. Я думаю, ты не сомневаешься в моем искреннем желании помочь тебе в столь важном для тебя деле. Буду напрягаться, чтобы написать отзыв

в ближайшие дни, хотя и не ручаюсь по своему состоянию, что это удастся именно в ближайшие дни.

Всего, всего тебе хорошего.

Твой А. Ухтомский.

1 апр. 1942.

Дорогой Николай Николаевич,
спасибо за дружеское письмо. Огорчен сведениями о твоей болезни. Желаю горячо, чтобы скорее ты укрепился и преодолел немощь. Отзывы Макарова и свой пошлю к тебе, как только напишу свой, так как пока еще не дописал своего. Прости, но учти мою болезнь. Дело не только в ноге, которая меня мучает сильно, но и в общей ослабленности и большой утомляемости.

Твой А. Ухтомский.

7 апреля 1942.



ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

I

По мере того, как разрывалась Pāx Romana [1], связывавшая народы в единую культуру, «возрождавшиеся» национальности закладывали у себя национальную интеллигенцию, а национальная интеллигенция изыскивала себе своих пенатов, которых можно было бы взять за знамя. Так возник у англичан Шекспир, у французов Расин, у немцев Гёте. Со значительным запозданием русская интеллигенция нашла себе Пушкина.

Итак, кто же для нас А. С. Пушкин?

В глазах простого народа, в глазах своей воспитательницы Савельевны [2], Пушкин — глубоко несчастный барин, который так и не нашел себе жилой дороги, на которой можно было бы устроить жизнь.

В глазах интеллигенции, это свой национальный пенат, которого можно было бы противопоставить, когда потребуется, Шекспиру и Гёте.

В нашей истории это тот, кто завещал интеллигенции не самоудовлетворяться, но вернуться к родному народу как к первоисточнику и к цели.

Пушкин любил Михайлу Ломоносова потому, что у него было много общего с ним. Высокомерным славяно-греко-латинским ученым Ломоносов велел сначала научиться говорить по-русски. Внучатам самодовольных екатерининских петиметров парижской выделки Пушкин велел научиться слышать и понимать свой простой народ, его былину, предание, смысл и красоту. Это Пушкин дал у нас начало Гоголю и Белинскому, Л. Толстому и Салтыкову, Достоевскому и Горькому и, далее, Пришвину и Шолохову.

Когда иностранец хочет сказать любезность русскому интеллигенту, он говорит: если ваши русские не успели дать миру значительной самобытной науки и философии, то они дали, без сомнения, одну из величайших в истории художественных литератур. Наш интеллигент основательно говорит на это: ну, так мировая литерату-

ра, и мы за нею, обязаны этим нашему А. С. Пушкину. А А. С. Пушкин продолжает опять и опять говорить своим читателям, что сам-то он обязан всем народу, Савельевне, которых он научился понимать и принимать с такой исключительной серьезностью.

Если русский народ стал внятен людям других национальностей и укладов несколько более, чем это было доступно Герберштейну [3] и Олеарию [4], Павлу Алепскому [5] и Лигарду, Остерману [6] и Бенкендорфу [7], т. е. не только со стороны своей массивности и натуральных богатств, но также со стороны интимного восприятия правды и красоты, то это оттого, что у него был гениальный переводчик и толмач А. С. Пушкин.

Талант заключается в способности прозреть одним мгновением и как единую конструкцию целые сложные зависимости и архитектоники мысли. Мысли вдруг открывается перспектива, связующая целые ряды явлений и идей в единое существование, в единый образ реальности. И дальнейшей дискурсии предстоит лишь изложить, раскрыть, дать в выкладке, прозрачной и обязательной для всех, то, что было дано ему в первоначальном целостном прозрении. Так это в математике, в музыке, в поэзии, в какой угодно науке; не иначе и в философии. Это и есть тот «первоначальный синтез», так удивительно предвосхищающий связи с реальностью, проект реальности, о котором можно сказать лишь одно: есть он у данного человека или его нет,— ибо способность к нему есть дело индивидуальной природы, одаренности — как индивидуальной особенности зрения, слуха, ассоциации!..

Великий творец, образцы творчества которого и до сих пор нас изумляют... Мы говорим: это тайна таланта; во всяком случае, пушкинского таланта, для мотивирования которого нам приходится строить далекие исторические догадки — для того, чтобы генетически сколько-нибудь понять, как мог сложиться такой мощный синтез, сделавший Пушкина образцом именно творчества и таланта во всей силе этих понятий, заставляя нас выделять их из более или менее легко объяснимых явлений.

Художник постепенно приучается различать то, что он действительно видит в данный момент и в данных конкретных условиях, и то, что он привносит в вещи от себя, из прежних мыслей о вещах.

Великие художники и писатели (Л. Н. Толстой) необыкновенно чутко и конкретно чувствовали и понимали другого. Переживали до слез. Это значит, что они не замещали своей абстракцией то, что есть. Сравните «бесстрастного» британского купца и Л. Н. Толстого в их реакции на собеседника или на человеческие недоумения! Кто более человек? Кто «филогенетически» выше?

М. Горький писал о Толстом: «Каждая мысль впивается в душу его, точно клещ». Почти все отличали чрезвычайную эмоциональную отзывчивость Толстого на текущие впечатления. Он часто плакал, глубоко переживал даже мелочные события текущей общественной жизни. Это, конечно, очень важный момент в его художественном отражении жизни!

Каждая мысль его глубоко близка к действительности, ибо сердечна, эмоционально-глубока, от самой психофизиологической почвы! Здесь великий художник — настоящая противоположность шизофренику [8] и шизотимику [9] с их оскудением способности к эмоциональной впечатлительности, с их абстрактностью в каждом отдельном переживании, с их неустойчивостью и расщепленностью в каждой отдельной реакции!..

Плавная уступчивость, непрерывность переходов, связность и в то же время богатое разнообразие переживаний при сцепленности и единстве целого: вот когда способность к о б щ н о с т и мысли, к о б о б щ е н и ю, оказывается в то же время свободною от а б с т р а к т н о с т и! Вот где корень для этого фокуса, когда мысль и ее предмет могут быть и весьма общими и наиболее конкретными, свободными от умерщвляющей абстракции с подменами действительности «успокоительными формулками»!

Что так настойчиво и убедительно повторял в своих картинах жизни Л. Н. Толстой? Одна из главных тем в его мысли та, что все в Бытии и в человеке совершается

не по законам и ожиданиям человеческой логики, а по внутренним законам того — то прекрасного и блистающего, то враждебного и темного — н е ч т о... Приходится признать, что уже не логика человека определяет Бытие, но Разум Бытия сообщает смысл жизни, в том числе и логике... По Толстому выходит, что... логика все опять и опять пытается строить по-своему, а историческое целое перестраивает все заново и по-своему, так что глохнут в ней без последствий формальные предначертания величайших рационалистов. Логическому рассуждению остается сказать себе, что «отправные интуиции» были оценены не всесторонне, в них надо всмотреться по-новому, переоценить их содержание прежде, чем строить вновь! Во всяком случае, не в логике, но в дологических данных Бытия предукладываются и проекты будущего, и надо уметь прислушиваться к тому, что несут в себе текущие события, если мы хотим сколько-нибудь предвидеть предстоящее. Человек ухватывает эти предуказания истории вернейшим образом не логикою и логическим процессом, но тем интуитивным аппаратом, который мы называем наблюдательностью, чуткостью, проницательностью, совестью. Этот аппарат предшествует логике; даже абстрактно можно сказать лишь то, что показания его тем вернее, чем адекватнее передает он фактические закономерности Бытия, т. е. чем непосредственнее участвует он в самом учении Бытия...

Формальная логика в таком освещении является лишь затем, чтобы по возможности точно переводить на язык понятий и рассуждений то, что улавливается в полузнакомой и своими законами живущей речи событий и Бытия.

Интуиция — раньше, принципиальнее и первоосновнее, чем буква.

Было бы односторонне-предвзято и ошибочно рисовать себе дело так, что лишь восприятие и оценка данного происходят интуитивно, тогда как проект предстоящего слагается уже «логически» и дискурсивно. Наиболее живые и чаще всего безошибочные проекты возникают также интуитивно, как оценка данного.

Наташа Ростова отчетливо чувствовала и, как она говорила, «знала», что ее брат Николай не женится на

Соне. А он возражал весьма основательно, что «этого ты никак не знаешь». Кто же «знает» будущее, которого еще нет? В данном случае Николай стоял за права дискурсии и формальных оснований знания, без которого оно и невозможно... Однако у интуитивного проектирования есть свои права также! Они в наглядной безошибочности.

Единственный наш инструмент предвидения — это воображение.

Но воображение ограничено известным нам,— представимым для нас,— вот где трагедия.

Спрашивается, возможно ли воспитать воображение в сторону абстрактно предсказываемого?

С глубочайшей проницательностью автор 〈Спиноза〉 ставит в край угла и во главу философии этику, понимая, что это не «прикладное знание», не «применение теории на практике», но само цельное знание в своих основных побудительных импульсах и осуществлении. Главнейшим физиологическим органом познавания-предвидения является с о в е с т ь. Это тот конкретнейший аппарат цельного знания, который руководит нами обыденно — и в мелочах, и в крупном. Но совесть, как и всякий другой показатель и отметчик реальности, с ее законами может быть более или менее надежным слугою, более или менее субъективной или объективной, более или менее здравой или заболевшей! Она ведь может быть совершенно спокойной, удовлетворенной и ни о каких бедах не предупреждающей, в то время как человек или целое общество давно охвачены преступлением! Это тогда, когда преступление стало привычным! Значит, и здесь ни в коем случае не успокоение и не удовлетворение является критерием или признаком Истины; и реальная, невыдуманная Истина может быть в действительности н а и б о л ь ш е й н е о ж и д а н н о с т ь ю и и с т о ч н и к о м т р е в о г и для нас, н а с т о я щ и м С у д о м для всего того, что мы считаем за правду и что есть мы сами!

По возвращении из первого путешествия Л. Н. Толстой пишет (1857): мой камень преткновения есть тщеславие либерализма. По возвращении из второго он

отмечает, что привилегированное общество не имеет никакого права воспитывать по-своему народ, который чужд ему (1862)... Толстой возмущается тем, что либералы злоупотребляют словами — народ, воля народа. Да и что они знают о народе? Что такое народ?.. Член самого деспотического народа может быть вполне свободен, хотя может подвергнуться жестоким насилиям... Член же конституционного государства всегда раб, потому что, воображая, что он участвовал в своем правительстве, он признает законность всякого совершаемого над ним насилия... В последнее время легкомысленные люди русского общества стараются привести русский народ к тому конституционному рабству, в котором находятся европейские народы!

Нам все-таки продолжает быть гораздо более интересным, как и что думали о мозге Платон и Аристотель, чем те основания, на которых пожимают плечиками по поводу этих взглядов Чичиковы, Ляпкины-Тяпкины или Угрюм-Бурчеевы!

Понимаете ли! Великое преобразование выразилось в том, что Тяпкины-Ляпкины, Хлестаковы, Чичиковы, Сквозники-Дмухановские и Яичницы, сделав усилие «привести себя в порядок» «по Штольцу», объявили категорически, что отныне людям вроде Аввакума Петровича больше в мире места нет и быть не может! В том мире, который они создали мысленно, а теперь силятся создать и в реальности, ни в каком случае не предвидятся и не могут быть допущены ни Исаия, ни Иеремия, ни Иезекииль![10] Это все или лишнее беспокойство, или даже дурной тон, с точки зрения благоустроенного всемирного мещанства, с точки зрения добившегося своего благополучия кабана!

Всех этих мешающих решено вывести за город и там распять, чтобы они больше не беспокоили. Свинья хочет освободиться раз и навсегда от того и тех, кто осмеливается ее беспокоить!

Из множества символически-говорящих особенностей этой новой культуры всемирно-устраивающегося мещанства обращает на себя внимание вполне своеобразное отношение к природе. Если для Аввакума Петровича, для Исаии и Илии — природа

интимный и любимый друг, дающий пример простого послушания законам, то для Сквозник-Дмухановских и Штольцев это «среда для безответственных упражнений sans gêne», целиком предоставленная фантазированию в стиле «аглицких парков» пустоутробного екатерининского барства, или даже в духе садов Семирамиды или пробуравливания золотого шара по Угрюм-Бурчееву.

И нет достаточно зорких глаз, чтобы увидеть и понять самих себя! Вот безвыходный и замкнутый круг живой диалектики! Когда человек становится в отношении природы слепым и глухим, замкнутым на себя эксплуататором, это значит, что таковым же он является и в отношении Собеседника! Он уже никого более не может видеть, кроме себя, и обречен на сожительство с одним лишь своим Двойником! (1 мая 1936).

II

Наука оттого наукой называется, что в ней *научаемся* тому, что больше нас и что сами по себе мы не знаем и не в силах знать, что принимаем *сверх всего своего*, как преподанное тем и оттуда, *что больше нас*. Преподанное преданием истории; ростки человечества в истории; и тем, что *все еще впереди того, что пройдено*. Дело науки не в том, конечно, чтобы во что бы то ни стало настаивать на своем излюбленном, но в том, чтобы простираться *вперед к предстоящему*.

Сущность *вещи в себе* — это то, что в событиях пребывает и чему принадлежит *последнее слово*. Из того, что видишь, уметь предвидеть — это и есть стремление *знать сущность вещей и событий*. Но на вопрос, чему же принадлежит сущность и будущее в протекающих сейчас конкретных событиях, ответ в том смысле, что оно «есть материя», так или иначе мысленно конструированный «атом», «электрон» и т. п.,— это вряд ли может считаться вразумительным ответом, знающим «конкретную истину»!

Истина содержательная постигается лишь в истории: в истории каждой отдельной системы и в истории Бытия в целом. Это значит, что лишь в непрерывном

и ответственнейшем, живом участии в живой реке предания от отцов к детям дается нам искомое. Что участие в истории требует от нас не абстрактных фантомов, но нас целиком, с нашей деятельностью и волением, видно уже из того, что попытка каждого высказывания о прошлом истории тотчас становится историей же, прибавлением нового исторического факта к прежним со всею роковой неизменностью того, что однажды прошло.

Ведь как было хорошо удумано, а опыт не подчиняется! Такова трагедия абстрактной теории. И это потому, что объективный опыт всегда нов!

Ведь до чего все было хорошо удумано, а вышла одна пакость! Такова трагедия практической теории, теоретически-деспотизирующей морали. И это потому, что она принципиально движима методом Прокруста.

Если бы потребовалось сказать одним словом из числа общеупотребительных, какой орган в нашей человеческой организации является наиболее дальновидным «рецептором на расстоянии», наиболее глубоким зрителем будущего, надо было бы назвать

совесть («со-весть»).

Таинственный, судящий голос внутри нас, собирающий в себе все источники и порядки ведения, все унаследованные впечатления от жизни рода, и предупреждающий особыми волнениями и эмоциями высшего порядка о должных последствиях того, что сейчас делается перед нами.

Чувства 1914 г.

Откуда же это эстетика и этика стали «прикладными отраслями знания»? Очевидно, из той ложной мысли, что всё практическое тем самым есть и прикладное для руководящих выводов теории, которой приписывается примат. Это опять типичное заблуждение кабинетно-мурлыкающего рационализма! Эстетика и этика — дисциплины практические и одновременно руководящие именно потому, что практические. Они дают впервые реальный импульс самым теоретическим исканиям науки!

О нашей кафедре говорят с некоторым осуждением: она чрезвычайно сложна, и управлять ею поэтому ужасно трудно! Да, она сложна, ибо самою жизнью и историей слагалась и каждый сустав ее мотивирован исторически, т. е. самою же жизнью. Просто управлять тем, что самими же построено по бумажно-канцелярским схемочкам. И у Тяпкина-Ляпкина, и у Яичницы, и у полковника Кашкарова [11] есть свои проекты жизнеустройства, и они заманчивы, каждый в отдельности, своей простотой и целеустремленностью. Они аисторичны. Они принижают и смешивают то, что дала история, для того, чтобы воспреобладала схема! Но это уже не жизнь! Это «форма a priori». И притом форма a priori не на службе жизни, а сама для себя!

Добчинский ни в коем случае не хочет признать себя незнающим или еще менее — агностиком. Он всегда на высоте положения и на последнем слове науки и понимания. Поэтому он не может допустить, что для него может быть непонятен какой-то там Введенский. Если Введенский оказывается незаслуживающим внимания современного общества, и, в частности, внимания со стороны его — Добчинского,— то это значит, что Введенский и в самом деле не представляет собою ничего заслуживающего внимания.

Введенский не был оценен в свое время. Непонятно было, чем он там занимается. Репутация его не из тех, что устанавливаются легко и общедоступно. Добчинские решили, что нет ничего такого, что Введенский понимал больше и глубже, чем было понято ими — Добчинскими!

Эпоха Введенского пришла лишь теперь, после этого двадцатилетия начинают открываться уши, чтобы слышать те вещи, которые нащупал и начал предвидеть наш Н. Е.

Покамест еще есть этот живой условный «раздражитель» в виде фигуры Ивана Петровича Павлова на Васильевском острове, он задерживает многое, что без него давно бы вырвалось и завладело событиями. Может быть, странно звучит, но, кажется, есть своя правда в том, что подсказывало нам практическое чутье, что в лице Павлова и внушаемого им в Европе обаяния мы имеем очень серьезный шанс против развязного нападе-

ния на нас совне, а затем очень серьезный корректор наших собственных взаимоотношений, в особенности в академической среде. Сам И. П. не был, конечно, какой-то абстрактной безупречностью, у него были ошибки, он атаковывал действительных и мнимых противников с такой ослепленной страстностью, о которой приходилось сожалеть. Но то-то и было важно в особенности, что при всем том, что он был среди нас и одним из нас, он был для современников носителем и символом некоторой моральной грани, за которую, мы знали, он не переступил бы ни в коем случае и не давал переступить другим, кто был так или иначе под его обаянием.

Если не успел предотвратить то заболевание кафедры и коллектива, которое есть, то виноват в этом водитель, т. е. я.

Можно для этого приискивать объяснения в историческом корне, но виноват остается все-таки тот, кто был ведущим.

Тот, кто не ощущает недостатка в осведомленности, склонен же считать свои познания преимущественно достаточными, не будет, разумеется, толковать об агностицизме или принципиальной ограниченности знания. Эти речи были особенностью Сократов, Пирронов [12], Дю Буа Реймонов [13] и Холденов [14] — натур ищущих и неудовлетворенных, живо ощущавших пробелы, недостатки и ограниченность того, что пока известно человечеству...

Спокойные, усредненные натуры, впрочем, преуспевающие сплошь и рядом более, чем Сократы и Пирроны, например, Яичницы, Чичиковы, Хлестаковы и Штольцы, а также и академические деятели типа «универзитетс философов», последние в особенности из профессионального самолюбия,— недостаточности своих знаний никак не испытывают, да и не имеют основания подозревать!..

«В чем дело?» — удивляется от всей души профессор Тяпкин-Ляпкин: и откуда это могла пойти речь о том, что я ничего не знаю! Из чего это следует? Знаю себе как раз достаточно по моим потребностям Тяпкина-Ляпкина, а вы не смеете мне мешать предаваться своим потребностям! Тяпкин догадался даже построить такую

теорию, которая хорошо оправдывала бы его спокойное в себе мировоззрение! Так и всякая тварь знает во внешнем мире как раз столько, сколько ей знать надо по ее потребностям «в ее среде». Норвежская селедка, и рыжая крыса, и ливийский лев — знают вокруг себя как раз столько, сколько нужно для того, чтобы поддерживать существование селедки, крысы или льва! На то и «адекватные раздражители» в мире, чтобы обеспечить теоретическое соответствие того, что известно, тому, что нужно!

Спрашивается: Сократ менее «приспособлен» к жизни, к подлинному смыслу и содержанию космоса, чем судьи из Ареопага, Тяпкины-Ляпкины и Чичиковы? Этот «естественный» отбор наиболее «жизнеспособного» говорит ли в самом деле о сохранении и выживании наиболее прогрессивного?.. Смерть есть ли в самом деле «дезинфекция жизни»?

Русский сметливый расстрига — пройдоха между людьми, одураченными собственным тщеславием и властолюбием, великолепно играющий на их доминантах и доходящий в этой игре до «творчества», почти до вдохновения. Сам, впрочем, тоже не «прост человек», а из костромских и галицких дворянских детей, значит, тоже «с мечтою». Вот этот, столь понятный нам, русским людям, русский тип. И притом тип приманчивый и интересный для интеллигентных мыслителей! Они чуют в нем «своего»! Это, пожалуй, первый русский интеллигент!..

Григорий Отрепьев — великий насмешник над всеми «табу», этикетами и ритуалами, в которые кутались т. н. великие мира и в которые они отчасти и сами начинают верить. То, что Свифт, Салтыков делали на бумаге, великолепно сделано в лицах и на исторической арене Отрепьевым...

Первый император на Руси — Григорий Отрепьев! Петр I лишь повторял его! Он же, Григорий, и первый великий русский сатирик, имевший геройство проводить сатиру не на бумаге, а в действии!

Гносеология в популярном понимании интеллигенции — своего рода херувим, не пускающий уже не Адама в рай, но Бога в земные дела... Кое-кто полагает,

что таковою уже должна быть намечена и задача «философии» вообще, если вообще этой старой даме еще предоставляется место и содержание на общем пиру профессиональной науки (а ведь мир сейчас и идет к тому, чтобы из науки сделать «профессиональное занятие»!). И есть уже «философы», которые принимают на себя замещение подобных «кафедр» на указанных условиях! В высшей степени характерно положение А. И. Введенского [15] в университетской семье. Когда он сунулся критиковать теорию эфира, физики не хотели с ним и рассуждать, а облили его презрением... Но его все-таки продолжают содержать для «внешней политики», на предмет ограждения от сверхчувственного в богословском смысле!

Ум дан человеку не для того, чтобы «мило устроиться», а для того, чтобы узнать истину, отразить в себе ее, войти в нее. Вот существенное начало всяческой «теории познания», и «этики», и всяких прочих панацей, которые придумывались мудрецами мира ради того, чтобы обойти скорее истину, чем восприять и признать ее! Ведь все «Мертвые души» и все герои «Ревизора», счастливые тем, что не замечают себя и не дают себе отчета в себе самих, все это «мило устроившиеся» или, во всяком случае, устремленные на то, чтобы «мило устроиться»!

Хочется человеку вернуться к этой первоначальной беззаботности и самоудовлетворенности простецов и животных, хочется опроститься до них, дабы облегчить себя от ответственности, от належащего внутреннего беспокойства, напряжения и труда! Но уже не освободиться ему; по крайней мере, не освободиться человечеству в его целом от раз открывшейся новой ступени сознания!

Язык искусства и символов иногда необходим, ибо без него не передать достаточно содержательно те или иные идеи! Лишь в последний момент после горячего и содержательного переживания переданное воспринимается как идея! Это один из органов предания!

Истина дана нам в опыте, и притом в неясном и до поры до времени «раздражающем опыте», так что в присутствии Истины человеческий разум никак не может быть в удовлетворении, да еще в полном! Старое и очень вредное предрассуждение, будто Истина есть человеческое удовлетворение и подрядилась давать человеку удовлетворение! Она — суд, и притом страшный! Узнается и раскрывается она в опыте, когда воспитана для нее рецепция, и по мере воспитания рецепции к себе в человеке — поднимает его все выше. Тут — путь к поднятию человека все выше и выше в его прогрессе и труде!

Если в одном пятнышке сознанию удалось уловить порядок, смысл и красоту, то и весь опыт, весь мир есть в принципе порядок, и смысл, и красота! Лишь суметь их открыть!

Не верили рецепции на расстоянии, доверяем только наличному и наглядному. И оттого проспать до страшного часа смерти и суда надо всем пройденным путем. Вот где те элементы «позитивизма», которые носят в себе опасные и больные черты. Дело в том, что рецепции на расстоянии, идущие в масштабах истории, доступны не всем. Для них нужен дар—такой же, как дар художника—творца, поэта. Дар этот зависит от уклада жизни, от дисциплины воли, от способности жить основными струями преданий своего народа и человечества. И вот, преобладающее большинство распущенно живущих людей не слышат своего соплеменного носителя рецепции на расстоянии, считает его слова ни на чем не основанными утверждениями, бредом. Очень часто дело доходит даже до устремления заглушить беспокоящие речи, удалить пророка Ноя [16].

В человеке его сложнейшая нервная система привела к наибольшему развитию «субъекта», т. е. замкнутую индивидуальность. Но она же привела к развитию «дара слова», т. е. к средству наиболее универсального соединения и единения в жизни и действии! Отсюда дается возможность жить коллективным умом многих или всех!

Коллективным умом макросубъекта! Впервые является идея об Истине как о том, как выскажется о действительности макросубъект. Истина — это слово макросубъекта! Последнее слово последнего, пожинающего все плоды мысли и опытов, подсчитывающего все итоги макросубъекта!

И Истина в последнем своем выражении рисуется уже выше всякого слова, выше возможности дальнейшего обсуждения, она уже не принадлежит никакому субъекту, который бы стал передавать ее другому для нового взвешивания. И в то же время она должна жить не иначе как в Слове!

Как это может выйти, что Слово, носитель Истины и самое высокое достояние человека, вместе с тем оказывается в глазах таких знатоков словесной практики, как Талейран, по преимуществу «орудием для скрывания мысли» и, следовательно, так или иначе — для обмана? Эту сторону собеседования знают все практические работники, знают и мотивы такой практики! Дело в том, что Слово, кроме всего прочего, что в нем содержится, является исключительным по адекватности и по силе средством образования длительной, инерционной доминанты поведения, которая, мгновенно вызванная Словом, может потом застрять надолго или даже навсегда!

Вы склонны принижать «субкортикальное» и «эмоциональное» и думаете, что надо устремиться к тому, чтобы допускались только абстрактные и только кортикальные факторы и символы поведения. Но знайте, что можно прочесть всего Аристотеля и все комментарии к нему и ничего из этого не почерпнуть, не обогатиться ни одною живою и новою мыслью, пока мысли древности не вызвали субкортикального отзвука, не оживились новою эмоцией. Вот в чем секрет иероглифической письменности по сравнению с алфавитной! Иероглифическая культура писаного слова обращена принципиально к эмоциональному человеку, к картине передавания действительности, и это уже дело читателя — перевести рецепированное и кортикальную памятку. Алфавитная культура обращается

непосредственно к кортикальной абстракции и всегда рискует тем, что читатель, прочитав все, ничего не будет знать как следует.

Мысль человека — действие его. Когда мы говорим о человеке: он так думает о мире — это значит, что он так действует в мире. И действует среди людей он так, как думает о мире и о людях.

Пришла величайшая мысль — красота в мире и людях... Но красота не поощряемая миром и изгоняемая им, ибо трудная и обязывающая для него,— требующая от него, чтобы он вырастал из себя, как из детских пеленок, утрачивающих с известного возраста свой смысл.

Коротенькая и близорукая мысль успевает закрепить смысл и синтетическую законность только за отдельными «вещами» и «предметами», но на целое уже не в силах распространиться. Оттого получается не простое марево беспорядка и беззакония, а толкунец отдельных «вещей», каждый из коих имеет свой особый смысл и закон. Вот эта местная, индивидуальная, своя законность и беззаконие в общем — так и остается в «космологии» философов, вплоть до т. н. атомической физики новых времен.

Всякая пребывающая сейчас в тебе тайно мысль — воплотится, осуществится, даст новую реальность! Она даром не пройдет! Оттого уже тайные мысли так ответственны!

До тех пор, пока язык данного народа и страны не приобретет признания полноправного участника в текущей международной жизни науки, наука и ученые непременно будут оставаться среди народа на положении более или менее исключительного порядка вещей, а текущие научные проблемы будут пребывать материей, не подлежащей обсуждению «деван ле жанс» [17]. До тех пор, пока представители науки в данной стране не сделаются совершенно и органически народными и по языку и по разумению, они будут опять и опять обособляться в касту, приобретать схоластические черты и обогащаться более или менее теми профессиональными особенностями, которые незлобно осмеяны Мольером («Воображаемый больной», III интермедия) и Свифтом («Путешествие Гулливера», часть III, глава 5).

Нужно ли еще оговаривать, что наши Ломоносов и Пушкин несравненно более международны и всечеловечны, чем Тредиаковский или Сумароков, которых нельзя не считать специфически узкорусскими явлениями! Но Ломоносов и Пушкин — это те, кто заставил нашу мысль и культуру вернуться к натуральному источнику, к языку и истории родного народа, чтобы сделать их внятными миру!

Мы думаем, что итальянцы, французы, немцы и англичане сделали поистине огромный шаг вперед к подлинно интернациональной культуре в то время, когда заменили каноническую латынь родными языками и открыли своим народам возможность участвовать, каждому на родном языке, в текущей жизни науки.

Надо говорить об искусстве не в нашем смысле, выработанном для городской мещанской культуры (глумливое самоуслаждение в специальных ателье), но об искусстве цельной жизни народа, пророчественной и вещей выразительнице его исканий, основных установок и возможностей.

Любовь в качестве руководительницы к познанию и к истине непонятна тем, кто знает лишь критерий самоутверждения и самосохранения! Тут заранее и a priori она исключена и под ее именем разумеется что-то другое,— преимущественно дела половых инстинктов! И в этом страшный симптом в европейской культуре «просвещения»,— признак приближающегося разрушения!

Во всех других попытках одна сторона постепенно, но неизбежно переходит в другую — противоположную: социализм без любви легко и гладко переходит в крайний индивидуализм, всеобщую ненависть и боязнь каждого перед встречным.

В социалистических попытках строительства общественности все разваливается именно потому, что начинается с самоутверждения, зависти, искания своего.

Что разумеют они под именем «организованной памяти человечества»? Память об Истине, о том, что было и имеет быть? Или память о том, что помогает устроиться мило и обеспеченно, с комфортом и культурно каждому из нас в ближайших условиях?

Вся тенденция бедных людей в том, чтобы как бы то ни было освободиться от первого и обеспечить себе второе, и это самый тонкий и самый порочный идеализм, безудержное самоутверждение, для которого высшим достижением представляется безграничное «творчество»: не нахождение того, что есть, а насаждение того, чего не было! Тогда материализм берется не в смысле по содержанию и материально независимой от человеческого произвола Истины Бытия, а в смысле лишь обеспечения того, что среда вне человека есть всего лишь слепой и безумный предмет для операций sans gêne! У человека и человечества нет ответственности пред Бытием! Они могут делать что хотят, безответственно. Вот тот путь, на котором нет выхода человека к человеку, нет собеседования. Есть же всего лишь настаивание каждого на своем! Каждый на своем или, в лучшем случае, на групповом самоутверждении!..

Бухарин [18] мечтает, что «прошлое сохранится лишь в истории, в науке истории, в организованной памяти человечества». Прошлое сохранится для идеалиста не в нем самом, как оно было и строило будущее, а в науке о нем. Наука же в наших руках, ибо мы ее строим естественно, как хотим и как настроены! «Организованная память человечества» хочет помнить, очевидно, лишь то, что отвечает признанным интересам человечества! Все это всеочевиднейший идеализм самого порочного типа, мечтательное и скверное царство самоутверждения!

Положение безвыходное,— когда всё и всех приводит человек к себе, а сам оказывается Чичиковым, или Сквозник-Дмухановским, или Тяпкиным-Ляпкиным!.. Где же выход из себя, когда весь мир и всякое бытие приводится к себе?!.

Да и не в том дело, что приводит все к себе Тяпкин-Ляпкин, или Сквозник-Дмухановский, или Чичиков. Хотя бы и был Александр Македонский, Платон или Гегель! Дело тут в методе, в принципе действия, в самоутверждении,— как последовательное требование жизни и уклада ее!

III

Самым общим моментом того эмоционального порядка переживаний, которые называются «нравственными», является понятие «т а к н а д о». В большинстве случаев жизни человек находит себя на распутье, находит себя «свободным», т. е. встречается с н е о б х о д и м о с т ь ю с в о б о д ы. И то, какой путь из предлежащих перед ним он выберет, он называет «надлежащим»; мотивы же выбора составят начало его «нравственного кодекса».

То, что из «т р о с т и к о л е б л е м о й» делает определенную личность — о п р е д е л е н н о г о д е я т е л я,— и есть, вообще говоря, «нравственность».

Индивидуальность — не лицо! И лицо не метафизический атом, а нравственная, волевая и духовная собранность. В этом смысле лицо — не самоутверждение.

Дело не в раздражителях, а в почве, которую смогли выявить раздражители, т. е. в станциях назначения. Раздражители—случайны, но почва постоянна. Раздражителями выявляется и обличается то, что накопилось внутри, и в этом — суд.

«Естество» в своем самоутверждении противится деформирующему влиянию другого «естества», которое вне его. Но лишь в этой связи с другим оно участвует в жизни мира. Деформируясь от другого, оно умирает. Но тем более, не подчиняясь жизни мира, оно теряет смысл и умирает тем более.

Наше сострадание не чисто, оттого не смеем мы действовать в отношении братий на основании нашего чувства жалости; и братья наши инстинктивно избегают наших поступков из жалости к ним, как чего-то унизительного для них! «Не смей меня жалеть»,— говорит человек; это от недоверия к полноцельности и полноценности нашей жалости!

Любовь — самое высокое и совершенное состояние, которого достигает человек! К ней утрачено понимание в европейской «культуре».

Как люди не поймут того, что любят от счастия, а не для счастия? От избытка счастия своего начинаешь любить другого! Это потребность поделиться счастием, которое выплескивается через край!

Мир управляется свободою и любовью. Ищущие же своего удостоверения и обеспечения стремятся опереться на мертвые постоянства и тогда в основе мира предполагают мертвые формы. Вот последствия эгоцентризма.

Человек начинает отвергать и ненавидеть до смерти то самое, что им самим первоначально искажено и поставлено вместо правды. Вот эта ненависть к своим собственным делам и творениям есть, конечно, прекрасное свидетельство того, что зло... в человеке не безнадежно пребывает, но идет к самоистреблению. Но беда, если ненависть эта не доведена человеком до конца, т. е. до самого себя в каждом из нас, а простирается пока лишь на соседей, на других лиц кроме себя. Тогда самоутверждение еще не побеждено и родит болезненное дело убийства вне себя.

Равняй себя не по помыслам покоя и сластолюбия, т. е. земли и инерции, но по помыслам борьбы и идеалов!

Идеалы фантазии и наслышки — и идеалы, добытые трудом. Первые не утоляют и не прививаются; вторые сразу живы и внушаются.

Человек, «разочарованный в людях» и оттого расслабевший душою,— значит, размотавший душу без осторожности на суете.

Трудящийся в жизни народ «умел стоять прямо жизни» (Златоуст) и чувствовать себя работником и участником ее мудрости.

Любимая мысль Ф. М. Достоевского, что действительная правда есть наиболее неожиданное, наиболее фантастическое изо всего, что думает человек! Подтасовка под теорию всегда носит в себе элементы лжи.

Художественная работа как работа исследовательская. Так и смотрел на свое художественное дело Ф. М. Достоевский. Это продолжение научной работы, т. е. исследование законов бытия в области человеческого духа.

Психология всегда «о двух концах» (Достоевский), поэтому тут возможно строить лишь гипотезы, а «доказательства» и «опровержения», как таковые, цели не достигают!

Одно из общих мест Достоевского таково: великие последствия происходят благодаря мелкой случайности; но случайность этого как бы предусмотрена неким великим Разумом Событий и Бытия! Более всего мы и ищем этого Разума вещей и Бытия! Для него — наука, для него — вся наша вера! И только он признается нами действительно и не призрачно Сущим! Он — искомое нашей мысли, и он же единственно подлинное Бытие!

Татьяна Павловна для Подростка [19] — противоположность двойника, она его живая совесть: все в нем провидит с удивительной точностью, и в то же время все неожиданно для него и против его вожделений.

Были люди, которых не был достоин весь мир, и это они легли в историю и в предание человечества как слава и знамя его. А вот поднимается опять и опять маленький и безудержно самодовольный человечек легиона и старается внести свой корректив в дела тех старейшин человечества и в оставленное ими предание. Такова обыденная карикатура!

Вместо веры, надежды, любви современный человек поставил превыше всего «независимость», формальный принцип «свободы», забыв совершенно о том, что содержательная и действительная свобода дается только там, где есть дары Духа Святого.

Именно у древних государственников возникла и стала быть религия, тогда как ее не было у пророков, апостолов и преподобных, было же живое собеседование с Истиною!

У наших староверцев тоже «религии» нет, а есть живая вера Христу и во Христа.

Дерзость рационалистического и индивидуалистического мещанства. «Народ сий не весть закона прокляти суть»! Старое самодовольное фарисейство, обходящее море и землю, чтобы сделать и других такими же фарисеями!

То, что мы называем «рациональною теорией», всегда эгоцентрично, ибо развивается из чего-то принятого за разумное для себя, а затем все прочее пристраивает и проверяет логически по этому разумному. Центр не в том, что существует вне и независимо от меня, но в том, что в существующем разумно для меня!

Поэтому всякая теория по природе своей есть успокоение человека касательно действительности на чем-то, что кажется ему разумным. Это не Истина и не Бытие, как они есть, но что-то ассимилированное человеком из Истины и Бытия по его человеческому шаблону — выборка из полноты Истины и Бытия того, что «по недугу», по склонности, по доминанте человека.

Читаешь у Горького про нижегородских людей, про бабушку его, про деда, про староверческого наставника и видишь, что то, что от наиболее ранней юности, воспринято им цельно и без теорий, потому и читается это как сама правда; читатель так же обогащается бабушкой, как некогда обогащался ею сам автор. В меньшей

степени это от деда, ибо дед, при всем своем уме и ладном слове, представляется неприятно обидчивым и злопамятным, вот таким, каким стал сам Алексей Максимович в позднейших своих наблюдениях и впечатлениях от жизни. Дед остается неоконченным, загадочным и неразрешенным,— так и умирает, не сказав про себя как следует! Может быть, начинающая самость, предвзятость в отношении деда, уже свое внутреннее заболевание помешали автору раскрыть своего деда пошире!

Еще теоретичнее и придуманнее у Горького староверческий отец. Тут сразу чувствуется известная искусственность, набранность отца из осколочков, частью из других людей, кажущихся автору «типичными», частью из книжек... Читаешь у Алексея Максимовича о бабушке и учишься многому новому, как учился у нее когда-то сам юный ее внучек. Едва ли не главная черта бабушки, от которой зависит в ней все остальное, это уменье учиться, непрестанно питаться (внимание и послушание) и готовность искать и признать вину в себе (отсутствие самоутверждения). Век живи — век учись у живой действительности, у правды Божией,— говорит широкая душа, готовая всему в мире внимать, всего послушать от сердца, изгоняя свое самоутверждение с самого корня. Такова голуба-душа Акулина Ивановна!

Все плохо, все мерзко и бессмысленно,— говорит дедушка-моралист: нечему учиться, а учить буду я сам, только бы вот подначитаться мне по книжкам! Таково слово обиженного человека, ибо обиженный человек всегда непременно — моралист. Обиженный, т. е. тот, кто чувствует себя обиженным от действительности, стремится уединиться, самоутвердиться, за всем наблюдать из себя и через себя!

Читаешь потом про староверческого отца и чуешь одно: вот ведь как сумел себя Алексей Максимович успокоить относительно этих людей! Вот как пришлось ему перерисовать и переделать тип отца, дабы более не беспокоиться от него! Так «ассимилировал» себе взрослый Горький и староверческого наставника и схимника из «Исповеди»; и не сдвинулся со своего, ничему не научился, остался в своем самоутверждении сам собою. А люди еще вредили ему, подтверждая: вот ведь какой твердый и самостоятельный человек наш учитель Горький!

А бабушка бы сказала: горе мудрым о себе, Олешинька, и горе разумным пред самими собою! Богат и мудр кажется такой сам себе; а он беден, и нищ, и убог!

Ну какую же, в самом деле, новую мудрость проповедует Алексей Максимович, если оставить ему на его совести нестерпимый его морализм, так навязчиво повторяющий с дьяком Еремеем: не так живете, не так, улица у вас узка и церковь больно низка? Мудрость Алексея Максимовича в том, что унизительно и низко для человека не стремиться к своему счастию, ко всяческому своему благополучию и образованию! Поэтому всякий, уклоняющийся от этого простого пути или отклоняющий других от него,— человек вредный и ничем не извиняемый.

Что же тут сказать? Что тут сказала бы бабушка?

Ведь всякий, решительно всякий, от волжского «мартышки», гоняющего за дровами, до братьев Каменских с их пароходами, и до губернатора на Кремлевской горе,— все и без того во все лопатки устремляются к счастию и благополучию, каждый так, как его себе понимает. Ну и что же из этого? Со стороны смотреть на это или мило и приятно, если ты — бабушка Акулина Ивановна, или тоскливо, если заглянуть в близкое будущее каждого из людей, или, наконец, обидно и досадно, если ты обиженный в себе моралист, фарисей и теоретик.

Беда ведь в том, что каким-то роковым, первородным законом природы своей не выдерживает человек благополучия, образования, успокоения и счастия своего: глохнет он и замыкается в покое своем, перестает слышать Истину, скоро докатывается до самоутверждения, до бреда величия, до безумного самоутверждения! Так уже двигать ли и подстрекать ли, полно, человека на этот, такой избитый и истоптанный путь?..

В глазах Горького-учителя жизнь, собственно говоря, тяжелая бессмыслица, и люди в ней более или менее — пресмыкающиеся. Об этом глумливо и поведает он своим ученикам. Его когда-то похвалили глумящиеся мудрецы, и некоторые назвали его учителем и проводником. А он имел слабость поверить и стал водить по лесу — вроде как проводник, вот так, как старик из-под Мурома, о котором он

рассказывает (Воспоминания. Рассказы. Заметки. Берлин, 1925, с.79—84). Ничего путем не видит и не ведает, а признаться совестно! Проводник так проводник! И в революции русской Горькому тоже ничего не видно,— ни вдаль, ни вблизи разобрать ничего невозможно... Но из обозначившейся в глазах публики роли своей говорит: сейчас будет просека, а там — гарь и овраг, а там уж и до Мурома — рукой подать!.. Так вот и бродим; ну, а хозяйство свое все-таки есть.

Теоретик-рационалист по существу приписывает Бытие своей теории, фактам же предоставляет второстепенную роль, выбирая из них преимущественно те, которые согласны с его теоретической установкой, и отбрасывая те, которые в нее не укладываются. Когда этот образ поведения возьмется себе в добавление еще самодержавным практиком жизни, ответственным только перед собою, вместо мысленных фактов он берет реальных людей и продолжает к ним применять прежний прием: одну категорию людей он питает и подкрепляет, ибо они согласуются с основной теорией, другие категории людей он игнорирует и парализует или, возможно, и уничтожает, ибо они в расчет теории не входят.

Когда вы подходите к барской вилле с точно и по веревочке подстриженными деревьями в саду, вы сразу чувствуете, что судьба столкнула вас с рационалистически настроенным просвещенным барином, поклоняющимся так называемому Разуму, разуму не реального бытия соседних простых людей, деревень и лесов, но своему последовательному, стройному, логическому, теоретизирующему Разуму. В зависимости от того, кто вы сами, вас обрадует это воплощение теории в барском саду и вы будете отдыхать глазами и душой на этом «культурном уголке» (это «раек», как именовал подобную усадьбу один важный тверской барин в александровское время); или вы предпочтете обойти это теоретико-фантастическое измышление праздного блудодея среди русских лесов и свернете поскорее на проселок с тем чувством, с которым старый костромич-плотник поскорее устраняется с дороги осанисто идущего самоуверенного чиновника: «Проходи, проходи, барин — ясные пуговицы, вот тебе дорога, честь и место...»

Русское староверие имело всегда честь и славу быть в отвергнутых.

Рациональная теория и теоретизирующий баринстроитель в своем подстриженном парке фактов допускают известную пестроту лишь настолько, насколько это требуется хорошим вкусом: пускай отдельные листочки подрезанных деревьев шелестят в некотором беспорядке, иначе ведь и забудется, что это все-таки действительность!

Но если рационализирующий теоретик и теоретизирующий барин вдобавок одарен еще безвкусием и глупостью, он не остановится перед тем, чтобы ради прямолинейности и окончательной ясности уничтожить и листочки.

Историческая диалектика, переведенная на язык рационализирующей теории, замечена в том, что факты, игнорируемые последнею, скопляющиеся все в большем и большем количестве, выстраивались наконец в столь значительный массив, с которым волей-неволей приходилось считаться и вычитывать ту закономерность, которою живет реальная, невыдуманная действительность, хотя бы и не входящая в планы и вожделения теории. Тогда приходится вырабатывать уже новое понимание, учитывающее разум самих фактов, помимо того самомнительного разума, который признавала исключительно прежняя теория. Начинают различать Разум фактов, Разум Бытия и тот узенький и провинциальный «разум», который двигал отступающей старой теорией. Допытываются, что этот последний есть в сущности просто Ratio самоутверждающегося человека и действительного мира, в котором он живет. Это, конечно, далеко от свободного и разумного собеседования двух друзей, в котором если не volentem ducunt, то nolentem trahunt. [20]

Что же, если и самоутверждающийся и упирающийся человек будет роковым образом направляться фактами к истине, это не безнадежно и хорошо. «Сие труд...»

Но значительно тяжелее и опаснее дело, когда выступает на сцену теоретизирующий рационалист-практик. Ведь он не просто отбрасывает и до времени не уничтожает неподходящие для него факты, а норовит их подрезать и уничтожить! Ему хочется сразу удовлетворить своей теории так, чтобы все стало лишь по ее линейке и даже все листочки колебались под ветром по возможности в одном и том же ритме. Здесь страшная опасность, ибо теория систематически уничтожает свои

натуральные коррективы и, не говоря уже о печальной судьбе последних, сама себе предопределяет роковую судьбу.

Рационализм несет в себе порок индивидуалистического самоупора: cogito ergo sum. [21] Все прочее для него «среда» для упражнений sans gêne. В эту среду для безответственных операций входит и народ, и природа, и вообще все бытие за исключением самого оперирующего. Рационалистический социализм силится создать сверхиндивидуальную общую жизнь имманентными силами того же рационалистического индивидуализма, т. е. заранее ловя свою тень и всевозможную задачу: прекратить симптомы порока, не посягая на основной корень порока внутри деятеля. Там, где оборвано предание Христовой церкви, человечество быстро скатывается в животное состояние. Это показали немцы в 1914 году, на удивление наивной Европе грабившие женщин, детей и стариков и издевавшиеся над беззащитными не в пример кафрам [22] и геттентотам [23]...

Только подвигом поднимается человек из животного и порочного состояния, и только Христовым подвигом удерживается он на состоянии, способном к общему деланию с братиями.

Вот эта, самая распространенная и самая дешевая, но по тому самому и самая благонадежная из человеческих интуиций (стремление масс к улучшению своего быта.— *Ред.*) и берется за приманку, на коей думают строить практический социализм. Овладеть людьми на этой почве в самом деле легче всего. Однако думать, что на самом асоциальном из инстинктов можно строить «яко на камени» социальное здание, значит в лучшем случае фантазировать, что действительность так разумна, что стоит лишь пустить ее в ход, и из самых скверных вещей переработает она материю в великие блага! Из совокупной мерзости, когда ее будет много настолько, что будет «C'est grand» [24], может будто бы сынтегрироваться превосходнейшее из благ!

Да, мы знаем, что пока у Темир-Аксака было десять сподвижников, он был разбойником; когда стало сто, стал атаманом; когда дошло до тысячи — прослыл кня-

зем, а как стало десять тысяч — вышел царь. Не о таком же «благе» пристало говорить социалистам! Если говорить воистину о социальном (общественном) благе человечества, то допускать, будто из разнузданного устремления к бытовому благополучию и честолюбия должно выйти в общем само благо, это значит исповедовать самую невозможную из вер! Именно тут вера становится тем, о чем известно, что на самом деле этого нет. Ясно, что практический социализм — или наиневозможнейший «постулат чистого разума», или (если он хочет быть последовательно атеистичным) есть слепое устремление неизвестно куда, безо всякой «целевой установки» впереди, безумное устремление в глухой и слепой мрак. Тут только одна правда — правда тьмы, или диссипация энергии!

«Будь что будет, а делай что надобно» — якорь, дающий опору в опасности.

Почему-то тенденцию самоутверждения, самости принимают за тождественное с рассуждением и сознанием! Можно говорить о таком воспитании «подсознательного» в разуме, о таком проникновении его рассуждением, когда впоследствии уже, независимо от текущего обсуждения нужного действия, это последнее оказывается бдительно-благоразумным! Это один из высших плодов воспитания духовного, доступных человеку.

А. П. Чехов был убежденный представитель интеллигенции с ее установками жизни и ее последовательным индивидуализмом. В связи с этим он считал, что народный учитель есть призванный воспитатель народа. «Нелепо же платить гроши человеку, который призван воспитывать народ — вы понимаете? — воспитывать народ!» (Горький). Тут уже типичная претензия на учительство! Уже не опрометчивое признание себя за учителя того или иного потрафившего моим вожделениям рассказывателя, но нечто гораздо более радикальное: претензия на учительство! Это уже страшно!

«Воспитывать народ» — это типичная и, мож-

но сказать, роковая претензия индивидуализма и интеллигенции. До поры до времени никто не додумывался только до превращения индивидуалистической установки и индивидуализма в профессию! Профессия рационалистического индивидуализма и учительства.

Для нашего времени это так, впрочем, привычно, популярно и обычно вокруг нас, что никого не коробит претензия шизотимиков и циклотимиков «воспитывать народ»!

Разные содержания равенства: хочу быть таким же прекрасным, как ты; или: и ты такая же сволочь, как я!

Наилучшая власть та, которая незаметна для подвластных. Властвовать незаметно можно не иначе, как через аппарат доминанты.

Человек — существо идеалистическое. Ясно, что лишь возбудив в нем самый сумасшедший идеализм, можно было посылать его на рожна в 1918—1920 гг.!

Идеал как проект новой реальности, именно лучшей, должной, нужной, ожидаемой, провидимой реальности.

Требуются совершенно специальные приемы для воспитания сердца человеческого и для возделывания природы его! Оно не «прилагается само собою» за устройством трамваев, подводных лодок и аэропланов! И это страшно, ибо без него трамваи и все прочее служит лишь умножению и обострению зла и плодов ненависти, хищения и т. п., т. е. ускорению распада мира, потере смысла в жизни его!

Возмездие [25] есть, без сомнения, закон бытия, и оно еще гораздо ближе к человеку, чем принимал это Ибсен [26] или Блок. Согласно принципу доминанты, мы видим во встречном человеке преимущественно то, что по поводу встречи с ним поднимается в нас, но не то, что он есть. А то, как мы толкуем себе встречного человека (на свой аршин), предопределяет наше поведение в отношении его, а значит, и его поведение в отношении нас...

Дурной заранее видит в других дурное и этим самым провоцирует в них в самом деле дурное, роняет их до себя; так мы заражаем друг друга дурным и преграждаем сами себе дорогу к тому, чтобы вырасти до того прекрасного, что в действительности может скрываться в другом. Заражение дурным идет само собою очень легко. Заражение хорошим возможно лишь трудом и работой над собой, когда мы активно не даем себе видеть в других дурное и обращаем внимание только на хорошее. Тут понятна глубокая разница того, понимаю ли я «равенство» другого со мной так, что, мол, такая же дрянь, как я, или так, что я могу и хочу быть так же прекрасен, как ты. Первое дается пассивно, само собою, без труда; второе предполагает огромный труд воспитания доминанты на лицо другого. Возмездие же по заслугам в том, что одни видят во всех свое дурное и ведут себя еще дурнее, чем были до сих пор; а другой, заграждая себе глаза на недостатки людей, побуждает их становиться лучше и сам становится лучше, чем был. Плут и обманщик увидит плута и обманщика и тогда, когда перед ним пройдет Сократ или Христос: он не способен узнать Сократа или Христа и тогда, когда будет лицом к лицу с ними. Оттого так часто бесхитростные дети, юноши и простецы из народа узнают, различают и приветствуют то, что осмеяно, опозорено и унижено у «ученых и премудрых». Проходит мимо сама Красота и Чистота, а люди усматривают грязь, ибо носят грязь в себе. Вот — возмездие! И выход тут один: систематическое недоверие к себе, своим оценкам и своему пониманию, готовность преодолеть себя ради другого, готовность отбросить свое себя ради другого. Конечно, такое п р и н ц и п и а л ь н о е доверие другому может повести к горю и даже к смерти. Но и горе, и смерть будут здесь бодрящими и благородными для людей и для человечества. Это не то тяжелое и «возмездие», что мучит Блока!

И надо признать, что преодоление себя и бодрая творческая доминанта на лицо другого — даются очень просто и сами собой там, где есть любовь: «Продал все, что было у него, и купил то село, где зарыта жемчужина». «Все оставили и сочли за ничто, чтобы приобрести любимого».

Из сказанного ясно, что закон возмездия (преступления и наказания — заслуженного собеседника) преодолевается только в более общем и всеобъемлющем

законе любви. И этот последний предполагает со стороны человека не пассивное состояние, но усилие, подвиг, напряжение; рождение в себе другого нового лица, ради того, кого любят: любовь ведь и есть выход из себя, постоянный рост из силы в силу!

Само собой понятно, что любовь в том значении, когда она оказывается законом жизни, отнюдь не тождественна сексуальной любви и может лишь развиться из последней как из своей почвы ⟨...⟩ но лишь в особых условиях. Ибо ведь сексуальный эрос ни за что не ручается и сплошь и рядом оставляет людей замкнутыми друг от друга с начала и до конца. И он так легко переходит в надругательство над человеком в виде «венерической» любви, которой переполнено «культурное человечество» городов. Эрос может носить имя любви лишь ради последствий, которые выходят за границы партнеров, помимо их воли, т. е. ради нарождающегося третьего, который идет на смену. И именно тут начинается проблема Блока и Ибсена: реальный плод зоологической любви может быть в увенчание прежней, произведшей его жизни, но может быть и возмездием для нее.

По мысли Блока, которой я очень сочувствую, рождающееся поколение является закреплением, осуществлением и воплощением тех задатков и неясных замыслов, которые носились втайне предками и отцами! То, что тогда говорилось втайне, теперь проповедуется с кровли. То, о чем едва думалось, теперь действует в реальной истории и на улице.

И вот тут в особенности сказывается, куда направлялась жизнь и культура отцов! Была ли это культура зоологического человека, замкнутого в себе и в своей индивидуалистической слепоте к другому, или культура преодоления себя ради другого. В поколениях подчеркивается в особенности закон возмездия для одних, закон любви и общественного роста для других! Для слепой смены человеческих поколений дети являются по преимуществу «заслуженными собеседниками»—историческим возмездием для отцов своих. Но они же являются для них усугублением любви и живым осуществлением зачатков будущего мира. В первом случае дети преимущественно уничтожают дела отцов, в свою очередь уничтожаясь своими детьми и внуками. Тут «смена» есть углубляющееся продолжение. То родословие, о котором пишет в своей поэме Блок, это — последовательное

пожирание отцов детьми, вроде родословия римских цезарей или родословия крыс и кроликов. (Простота и крайности, но ведь они сходятся!) Совсем другое родословие от отца племен Авраама через Исаака и Иакова до Христа — последовательная эволюция любви как принципа жизни! История, впрочем, везде ведет к лучшему: только в одном она тянет за шиворот — хочешь не хочешь, а в другом она ведет любовно за руку. В одном случае через кровь и дым событий, в другом через общее и неумирающее дело поколений. Но в обоих случаях к Лучшему, что предчувствовалось всеми племенами!

Понятие добра, должного, нужного должно быть дано как факт, притом не только факт исторической реальности, но и факт личной веры и уверенности! (Здесь внешняя «объективность» становится условностью и субъективностью, а «субъективная» уверенность — высшею объективностью!)

Закон Возмездия как основной естественный закон нравственно-общежительного порядка...

Ведь нравственный закон есть тоже необходимость, тоже «естественный закон»! Так о чем же говорить? Совершенно достаточно той свободы, что я могу не подчиняться необходимости моих спинномозговых рефлексов и отдаться интересам моего человеческого сознания!

Для того, кто сам не рассуждает, безотчетные речи ста тысяч дураков всегда убедительнее слов одного умного человека.

Пролетарский социализм в своей *разрушающей энергии* и есть праведный суд над европейской культурой с ее биржею, комфортом и бессердечием. Но в *созидательной энергии* он, к сожалению, есть лишь продолжение все той же культуры и духа ее!

Общий завет: никогда не позволять себе говорить и даже мыслить о народе как о «массе» или «толпе», т. е. как о потенциальном множестве...

Народ есть, прежде всего, людское множество, множество лиц; и если мог он сложиться в нечто единое, это значит, что он есть в принципе упорядоченное, и своеобразно упорядоченное, множество, которое следует изучать — понять! — прежде чем с ним оперировать...

Кто позволяет себе хоть однажды помыслить о народе как о «массе» и «толпе», тот сам теряет в себе лицо... Такова логика вещей!

IV

Человеческая трагедия не случайность, она не производна из исторических стечений. Коренится она в самой природе человека и вещей. И есть люди, в которых эта общечеловеческая трагедия получает как бы сосредоточенное выражение,— такие подчеркнутые люди особенно добры ко всем своим прочим братьям, ибо носят на себе их горя в углубленной форме.

О них нельзя было бы сказать, что они «трагически принимают жизнь», ибо дело все-таки не в их особенной организации или особенном способе восприятия мира, а лишь в том, что они глубже и проницательнее всех прочих видят вещи и связи мира. В то время, как прочие еще находят возможность забываться, танцевать и «развлекаться», этим людям не удается оторвать глаз от однажды открывшихся страшных перспектив мира.

И если трагедия человечества и мира не случайность, если она не производна из исторических стечений,— то ее и не преодолеть, конечно, какими-нибудь «панацейками» и «программочками» вроде «учета и распределения», социалистической «рационализации» и т. п.

Культура зависти, интеллигентская отрава! Ничего, кроме зла, не приносит!

Есть у Салтыкова мысли, где он соприкасается с Л. Н. Толстым («Господа Головлевы», «Пошехонская старина», «Птенцы славы»...) — и где он соприкасается с Достоевским («Запутанное дело»). Важно по

обеим линиям выявить его интеллигентские особенности восприятия по сравнению с деревенской традицией и с петербургскими «людьми мокрого снега».

Когда счастлив, надо и хочется идти к людям, чтобы и им передать это счастие! Но когда глубоко несчастлив, надо поступать как болеющий Felix: забраться в темный угол и пережидать.

Одно дело геометрия, другое — протяжение в Бытии; одно химия, другое — жизнь веществ в природе; одно социология, другое — общественная жизнь и жизнь отдельного человека среди собеседников.

Диалектический идеализм администратора — во что бы то ни стало настаивание на своем, диалектическое свинство.

Ничто не достигается так легко, как усмотрение во всех встречных «негодяев», «свиней» и «мошенников». Это процесс, идущий сам собою.

Могут говорить: и Гоголь, и еще более Салтыков писали о своем времени, о современных им людях и событиях. Все это нас не касается!

Но вот что надо учесть: и древнееврейские пророки писали каждый по поводу своих, ему современных конкретных тем и событий в жизни родного народа. Но когда взгляд на эти события становился достаточно глубоким, он видел в них и через них общее и закономерное, предстоящее еще — опять и опять в будущем.

Получалась страшная критика не только для современности, но и для будущего, и для бытия, и для себя, и для человечества!

Фантастика Салтыкова смотрит в будущее, воспроизводит его до поразительной проникновенности, до ясновидения! Значит, уже были в его время черты, из которых имело развернуться будущее! 〈...〉 Спрашивается, отчего и как могло это быть, что целые поколения читателей «Истории одного города» из ее продолжателей упорно не узнавали и не хотели узнать в ее героях самих себя?

Труднее всего узнать самих себя! Даже и тогда, когда дано совсем адекватное отражение! Ибо всего труднее отдавать отчет в себе самих! И себя самих люди понимают меньше всего!

Оттого, в сотый раз рассматривая в театре гоголевского «Ревизора», люди — те самые, которых Гоголь имел в виду,— оказывались склонными делать себе из него бесплодную карикатуру на кого-то другого, и совсем не замечая учащей сатиры на себя!

За свою индивидуальную жизнь человек развивает те идеи, которые были заложены и предназначены ему; так сказать, заданы ему в его организации заранее... Определенная сумма сожительствующих в нем подсознательных идей каким-то роковым образом вновь и вновь воскресает перед его сознанием, постепенно определяясь, но с таким впечатлением, что он при этом лишь осуществляет то, что было заложено изначала!

Так-то индивидуальность со своим сознанием свободы, быть может, для того только и появляется, чтобы осуществить и развить этот ряд роковых идей, ему заданных. Заданы они в какой-то предыдущей форме существования, вроде куколки или какой-нибудь «церкарии» [27], которая сама после выполняла другие задания жизни.

Вспомните звуки древнего хвойного леса, его глухую тишину дремучей пустыни, особенно в прохладное августовское утро, когда лишь изредка из этой чащи раздается писк пичужки... Вот мне всегда чувствовалось, что это бытие по ту сторону нашей жизни и смерти; оно выше этого разделения и принадлежит уже и тому существованию, которое пребывает всегда: в нем — отзвук Вечного Бытия, какой-то чужой Вечности, в которой глохнут наши человеческие речи, наши страсти и скорби, отзываясь лишь благосклонным, но вечно бесстрастным эхо.

И Гончаров, и Тургенев, и Толстой, и Достоевский — все это продолжатели пушкинско-гоголевского предания.

Каждый из них развил в особенности определенную

черту, определенную сторону из манеры восприятия и художественной передачи жизни по Пушкину и Гоголю. Но ни один из них не тронул (или почти не тронул) преданий «Ревизора» или «Мертвых душ». Запомните эту сторону в предании отцов,— специализировать и развить до конца дух «Ревизора» и «Мертвых душ»,— это было уделом Салтыкова-Щедрина.

Но, в этой специализации до односторонности, Салтыкову стал чужд и непонятен дух того же Гоголя, выразившийся в «Переписке с друзьями», дух святого сомнения в себе, поднявшийся до сожжения сатиры над людьми! Выхода из сатиры у Салтыкова нет — в нем сатира посягает на всех и всё.

«Есть множество средств сделать человеческое существование постылым, но едва ли не самое верное из всех — это заставить человека посвятить себя культу самосохранения» (Салтыков-Щедрин) — таково «еретическое сознание Салтыкова-Щедрина в противовес учению наших присяжных естествоведов о принципиальном и провиденциальном значении «инстинкта самосохранения»!

Ограничение человеческой жизни интересами самосохранения, столь основоположительное для солипсической науки, есть признак и вместе причина оскудения жизни!

Одно из самых в е щ и х слов, до которых иногда возвышался в своей скорби Салтыков-Щедрин, следующее: «Действительное единение с народом по малой мере столь же мучительно, как и сдирание с живого организма кожи ради осуществления исторических утешений. Не призыва требует народ, а подчинения, не руководительства и ласки, а самоотречения. В такие минуты к этому валяющемуся во тьме и недугах миру нельзя подойти иначе, как предварительно погрузившись в ту же самую тьму и болея тою же самою проказою, которая грозит ее истребить». Это возможно исключительно в единении через Христово предание по завету древней русской церкви! Никаких других «рецептов» нет и быть не может!

Средний, стадный человек, о котором наш сатирик говорит только как о том неизбежном балласте обще-

ства, которого волей-неволей придется коснуться всякому борцу,— этот средний человек «чечевичной похлебки», на котором сумели «сыграть» товарищи Ленины,— он всегда был и доступен, и любим, и сам по себе одинаково интересен наравне с прочими человеческими типами,— для христианского сознания.

Для одних он в лучшем случае презираемое быдло, которым приходится пользоваться, дабы овладеть жизнью; для других — это пушечное мясо; для третьих — объект для спекулятивных обработок. Только для христианства это все та же нива Христова, из которой могут выйти граждане царствия, далеко опережающие.

Я. Эльсберг[28] в предисловии к изданию салтыковской «Истории одного города» (Academia, 1935) излагает свое понимание салтыковской литературной деятельности в том смысле, что Салтыков «умел всю действительность превратить в сатирико-фантастический мир, всю ее обессмыслить». Если бы это было так, то задача и достижение тут не из весьма благодарных. Бессмысленная голова, конечно, все всегда с успехом обессмысливает! Тут Салтыкову приписываются качества Угрюм-Бурчеева с его «нарочитым упразднением естества». Дело Салтыкова было, по-видимому, совсем другим! Оно в попытке образумить самоуверенную глупость!

V

Каждый отдельный человек является уполномоченным от всех, от всего человечества и от человеческой природы; всякое его наблюдение или высказываемая им мысль идут от лица всего человечества, представляют из себя достояние всего человечества. Поэтому искоренять и устранять наблюдения и мысли тех или иных, может быть, не нравящихся нам людей, оттого, что они нам не нравятся, есть большое преступление и дело слепое, как сама смерть, пред лицом всего исторического человечества.

Индивидуальность как исключительное в мире и в истории замещается постепенно личным, как всеобъемлющим. Для этого оно проходит чрез стадию безлично всеобщего.

Один человек — не целое! И это не норма, чтобы он «уравновесился» сам в себе как индивидуальность,— как мечтал Ренессанс! И не в самоудовлетворении буддизма спасение!

Итак, основа личности, основа субъективной жизни — в чувстве. Великие индивидуальности — Гомер, Иов, Эсхил, Шекспир — жили и будут жить, притом не в ущерб один другому, не умаляя друг друга, и именно потому, что они оставили людям чувство, передали в нем потомству великую загадку — свою личность, субъективную жизнь, а субъективная жизнь, естественно, чужда прогрессу, а потому бессмертна... Чувство есть носитель субъективной жизни, оно-то не дает «индивидуальной личности» почерпнуть в «личности народа» или «человечества», но только и исключительно потому, что само не может вылиться из «индивидуальной личности» и сделаться объективным достоянием всех. [29]

Уже современное лицо неспособно служить обществу, но пользуется обществом для того, чтобы на его плечах выплыть наверх. Уже не понимаем мы друг друга, как родные и свои, но и до самого кладбища пребываем раздробленными, оставаясь чуждыми интимной жизни друг для друга.

Диалектика в том, что там, где говорят, что не доверяют натуральному человеку, сковывают его дисциплиной, в то же время верят в особенности в его великое призвание и достоинство.

А там, где говорят о реабилитации натурального человека, о предоставлении ему полной свободы, не верят людям, злобно издеваются над их природой, ибо она свиная и обезьянья.

И характерно: именно в первом случае, где за телом человека не ухаживают, не украшают его, почитают это тело призванным к достоинству и славе,— в этом смысле навлекают на себя даже обвинения в материализме. И именно во втором случае, где так либеральны и так «человеколюбиво» разрешают все, украшают и холят тело человека, но вместе и презирают его, как навоз, который не может ни к чему обязывать; и неожиданно

становятся именно здесь самыми злостными спиритуалистами!

«Не цените себя малою мерою»,— говорят в первом случае и заковывают человека в жесткую дисциплину.

«Довольно с вас маленького вашего счастия, распускайтесь в него, ибо ничего более для вас и не существует,— говорят во втором случае,— ибо ведь вы все равно свиньи и обезьяны, род «иэху», скотина лживая, злая, похотливая, жадная и близорукая!»

«Позитивно-идеалистически-номиналистическая» точка зрения изначально эгоцентрична и солипсична, носясь в порочном круге «я» и «не-я» с упором на «я», «я мыслю», «я существую», «мне все равно, существовал ли и мыслил ли кто-либо до меня»! Вот поистине диалектическая фигура: тот, кто переносит центр тяжести на Бытие вне себя, начинает отчего-то мало считаться с ближайшими фактами. А тот, кто в особенности занят ближайшими фактами, начинает почему-то сосредоточивать центр тяжести в особенности на себе и своем разумении!

Норма, очевидно, где-то посредине! И не в компромиссе, а в живом собеседовании человека с себе подобными и с Бытием. Рационалист видит непреложный закон только в себе и заставляет реальность вращаться около своей теории, как центра. Бытийственник видит непреложный закон только в Бытии и заставляет себя и свои теории вращаться около Бытия, как центра.

Рационалист говорит: я определяю Бытие. Бытийственник — наоборот: Бытие определяет меня и мое сознание.

Рационалист корректирует Бытие по себе. Бытийственник корректирует себя по Бытию.

Правда в средине, т. е. в живом собеседовании человека с Бытием, включая в последнее всех остальных людей и живое вообще.

Человек говорит Бытию: ты выдаешь меня, ибо ведь я действовал так, веря твоим законам. А Бытие отвечает: ты не вполне понимал мои законы и тебе надо пострадать, чтобы перейти в лучшее зрение и понимание.

Ни Бытие не есть мертвый и слепой закон; ни человек не есть марионетка в руках слепого закона; ни его теоретическое разумение не есть последний разум мира.

Норма в живом собеседовании, в котором открыты уши каждого для всех прочих; и в котором строится история.

Что значит «веровать в Бога»? Значит, веровать, что, несмотря на то, что вокруг тебя враждебные силы, навыки и приемы жизни, видимо, несравненно сильнее и устойчивее тебя с твоими идеалами, однако все это погибнет и обречено к исчезновению, тогда как идеал твой просветиться пред всеми и осуществиться.

Обычная ошибка людей, довольных своею «культурою» и «культурностью»,— видеть в инакомыслящих «низких», «ничтожных», «гораздо ниже себя». Сравним отношение русских бар к крестьянству, англосаксов к неграм, интеллигенции — к народу.

Когда впереди тебя скрылся реальный образ высокого, чистого, доброго и великого, когда ты больше не чувствуешь себя на царском пути свободного служения великому и высокому, иди в церковь. Здесь испытанная, почтенная школа,— где многими искусными учителями от времен древних собраний искусно изложены для усвоения издревле завещанные понятия доброго, прекрасного и высокого; эта школа способна избавить буйных мира сего от томления бессодержательностью.

Душа моя подавлена петербургскою средою, от нее скрылся свет свободного ощущения Истины, силы упали. Потому-то я бегу за церковную ограду, чтобы здесь, за исторически испытанными стенами, остановить затопление моей души.

25 июля 1902.

В чем же свобода в практическом, конкретном смысле слова? Живи твоею внутреннею необходимостью, не будь рабом среды и контактного побуждения, умей смотреть издали, умей предвидеть и управлять событиями. «Все мне дозволено, но пусть я не буду обладать ничьим!»

1922

Религиозная истина, т. е. ощущение истины в чувстве, заложена в каждом из нас, она передана нам прежними поколениями, и мы снова и снова переживаем в нашем чувстве то, что вложено в это чувство теми ушедшими людьми.〈...〉

Ощущение религиозной истины — это, можно сказать, та духовная подпочвенная вода, которая 〈...〉 незапамятно творит новые формы в глубине тех пород, из которых слагается наша душа и деятельность. И как подпочвенная вода, ее действие часто не замечают люди, живущие на поверхности земли, так и о религиозной истине большинство мало думает. Между тем решить старый вопрос о том, как мы и наше реальное знание должны относиться к религиозной истине, необходимо. В своем академическом сочинении я пришел к тому выводу, что науке в конце концов предстоит один способ отношения к религии. Это реальное выяснение того, как живет и действует в истории человек и в нем религиозное чувство, какие его функции в экономии индивидуальной и общественной жизни. Иными словами, науке предстоит выяснить *физиологию религиозного опыта* (сказать «религиозного чувства» было бы неточно). Надо заимствовать у физиологии ее основные идеи и методы, при помощи которых она изучает значение и функции того или другого органа жизни, и отсюда искать реальные знания о тех органах, какими движется человеческая душа, в том числе и органа *религии*.

Но, в сущности, что такое эти все наши попытки сближения и флирта? Ведь в основе их лежит все-таки стремление к тому, чтобы жить с людьми потеплее, чтобы хотя временно растворить ту скорлупу, в которую застывает наша жизнь. Можно только сказать, что за этими попытками нет любви, и, следовательно, мы на них не имеем права.

Видите ли, во всех моих главных событиях жизни сказывается главною чертою *неверие к жизни*, боязнь предаться ей, боязнь, что она обманет. В этом *недуге неверия* к жизни коренится все, и из него выходят все *мои горя*. Создаваться он начал давно,— как Вы можете видеть,— еще в тетиной обстановке. Затем развитию его способствовала церковная философия, которая пропитана недоверием к чело-

веку. Наконец, особое значение, и уже вполне вредное, в этом отношении имела на меня философия Шопенгауэра, которою я упивался на 3-м курсе Духовной академии. Этот гениальный, но не вполне чистый мыслитель должен доставить наслаждение человеку, которому надо оправдать в своих глазах свое пассивное страдательное отношение к жизни. Можно сказать, что шопенгауэрская философия это не «философия страдания», а философия «страдательного отношения к жизни». Это, по-моему, точно соответствует Истине.

Но недоверие к жизни есть именно недуг, это просто слабость души. Человеческая психология такова, что человек *сначала перестает верить в себя*, а *потом начинает убеждаться, что жизни в самом деле доверять нельзя*; человеку надо на каждом шагу проповедовать: верь в жизнь, иди и борись и царствуй над жизнью. И жизнь ответит тому, кто умеет от нее требовать,— светло и радостно. Повторяю, *человек (и я в том числе) сначала решил, что ни себе, ни жизни доверять нельзя*, и, вслед за этим, жизнь в самом деле стала для него плоха.

Крайний индивидуализм, противоположение себя всему прочему Бытию, зачатки морального солипсизма, как предпосылки всяких революционных, социалистических, анархических замыслов! Однажды когда-то он противоположил себя миру и братии, оценил себя, полюбил себя, осудил и унизил прочий мир. И это интимное начало предопределило последующие разрушающие результаты в конце.

Когда человек действует все с большею уверенностью в духе своего самоутверждения и отдаваясь самоутверждению, он скоро превращается в злую макаку. Тут останавливать его некому и не из-за чего! И удивляться поэтому нечего глубине зла!

Хороша та критика, при которой критикуемый автор чувствует себя не только в хорошем обществе, но в обществе лучшем, чем то, в котором был он и его мысль до сих пор. Тогда критика достигает своей цели и переубеждает противника!

Но если раздраженная критика старается просто досадить, выругать, унизить, доставить неприятность хотя тем, что критикуемый начнет чувствовать себя в «дурном обществе»,— силы такой критики ничтожны! Даже и то хорошее, что она имела сказать, не будет услышано и оценено по достоинству за множеством не идущих к делу впечатлений.

Конечно, самая трудная задача — понять друг друга до конца, до адекватной ясности. Понимаем мы вполне только то, что одинаково с нашим. Между тем каждое лицо вполне индивидуально и неповторимо. Не было бы и стимула для развития речи, если бы все были одинаковы. Тогда не было бы и общества. Общество и речь начинаются там, где бесконечное разнообразие лиц, но все они одинаково стремятся к пониманию друг друга, к сообщению, к согласию и гармонии безграничного богатства оттенков, исканий, открытий и опытов.

Человек человеку — величайший секрет, но, вместе с тем, без устремления понять этот секрет и иметь человека перед собою теряется смысл человеческого поведения и бытия.

«Объективный» подход к переживанию другого оказывается возможным лишь при заведомой фикции приписывания другому того, чего нет ни для него, ни для меня, ни для какого бы то ни было сознания. Надо думать, действительно объективное признание другого лица есть достижение уже социального порядка, преодолевшего путы рокового аутизма!

Родовым образом человек не отличается от прочих животных ничем статическим. Отличается он тем, что «естество его делаемо есть», т. е. человеком нельзя быть, им можно лишь делаться. И это дело не статических свойств интеллектуального аппарата, но динамики достижений, т. е. аппарата стремлений, изволения, морального определения и достижения!

Вот образ действия: отправляться от того, что есть в человеке, и на нем давать ему тянуться вверх, к высшему. Это и есть подлинная эволюция.

Прежде всего — достаточная презрительность к своим совершенно личным интересам, дабы не делать из них мировых вопросов. Вот важный момент для того, чтобы сохранить здоровый путь. Между тем он не так прост, и когда вас хотят уловить с какой-либо посторoннею целью, то с совершенною уверенностью действуют на ваш страх за свою персону и на ваше искательство благополучия, считая, что здесь лежит натуральный ключ к вашей персоне, вашим исканиям, вашему миросозерцанию. Между тем человек и начинается лишь там, где у него оказывается что-либо более важное и более ценное для него, чем он сам.

С субъективно-психологической стороны принцип обновления и единения — любовь. Но ей научаются лишь путем трудного возрастания в Духе.

Доминанта души — внимание духу.

Любящему, как и верующему, свойственно не искать своего обеспечения, настаивания на своем! Это свойственно торговцу.

Счастлив человек, когда не замечает самого себя. Сугубо счастлив, когда это не от «безотчетности», а ради возможности любить Другого, забыв о самом себе!

Как все быстро и странно идет в жизни! Оборачиваясь назад, видишь себя еще маленьким мальчуганом, в нашем рыбинском доме,—с тетей Анной; сидим мы, подобравши ноги, на диване с маленькой книжкой в руках, по которой я учился читать под руководством тети, подобрали мы ноги для того, чтобы дать возможность подмести пол Екатерине Васильевне — энергичной, красивой, уже пожилой женщине. Как сейчас, помню всю обстановку... диван в простенке между двумя окнами, овальный стол, отодвинутый на время от дивана, чтобы

отмести сор от него, солнце, ярко играющее на полу разными цветами, проходя через разноцветные стекла в окнах... Вот, вспоминаю, старушка — Константина Петровна, с которой я часто воевал в отсутствие тети, уехавшей к дяде Александру в гости... Марья Дмитриевна, приезжавшая из ⟨...⟩ монастыря погостить у тети... Помню, как захворала Константина Петровна... Тетя ходила за нею... Константина Петровна скончалась, это я узнал однажды утром. Около этого времени в доме появилась Анюшка, моя и тетина крестница. Я — в гимназии. Помню, что здесь были учители Василий Николаевич и Василий Матвеевич, к которым я относился с особенным уважением, предполагая отчасти в них очень умных ⟨...⟩ людей. Еще — законоучитель отец Николай, добрый старик... Все это как промелькнуло ⟨...⟩ теперь в моей памяти. Помню мои мечты о военной службе: она меня как-то вдохновляла. Жизнь красилась надеждами... Вот — неожиданность — мама признается и говорит, чтобы я готовился к Корпусу! Помню, что мама плакала, а когда она плакала, мне всегда становилось особенно не по себе. Но я отнесся к вести как-то радостно и [был] почти горд перед товарищами. Помню, когда я готовился в Корпус, то, проходя мимо церкви Покрова, думал: «Теперь я прохожу вот еще в этой противной гимназической шинели, а там — на будущий год буду проходить в кадетской — с солдатским покроем,— тем самым, который был на русских солдатах при Севастополе... и т. д. Вот хорошо-то будет». ⟨...⟩ Но вот мы, т. е. мама, тетя, Федор Иванович Березовский, Митя, его сын, Володя Казаринов и я, отправляемся в Нижний. Помню, как я обрадовался при виде пушек, которые тогда стояли перед фасадом Корпуса. Кадеты, офицеры, учителя, барабаны, мининский парк, Волга и горы, крепость, часовня Спасителя внизу, плачущая и от радости и в то же время от печали тетя в дверях гостиницы... все это навсегда врезалось в мою память, и это «навсегда» делает мне большое и тихое удовольствие. Мама с сестрой Лизой уезжают. Тетя с Митей и мною остаются в Нижнем, но скоро и она отходит, и никогда не забуду, как я быстро, холодно формально расшелся с нею на лестнице в Корпусе. Тут — воспитатель Игнатий Васильевич Мисовский. Я, очевидно, не сознавал, когда прощался с моей дорогой тетей, с которой связана вся моя жизнь, в представлении, что делается... и слава Богу, ибо что было бы,

если бы сознавал!.. Так же формально, быстро я по приказанию отправился наверх в III роту. Помню, как один из кадет — Булыгин по приказанию Мисовского показал мне, как надо чистить пуговицы у мундира и шинели. Помню мои впечатления в Корпусе... бывший товарищ по гимназии — Андреев... новички, поступившие со мною,— Соловьев, Глазунов... Некоторые эпизоды врезались в моей памяти. Помню первые мучительные дни, проведшиеся вдали от милой тети, которая была в то время в Симбирске... Первые уроки... Плачущий Булыгин, узнавший о смерти отца, утешающий его брат из II роты... Рождество — приезд тети... Пасха... Помню, что я огорчил тетю на Пасху, и огорчил именно потому, что сама была страшно огорчена, предчувствуя скорую разлуку... Экзамены... Помню, как я, Кулябко, Пешков, Андреев — после письменных экзаменов торопились бежать на плац и, пользуясь отсутствием надзора, бегали в сад, куда запрещено было ходить кадетам. Гроза наша — дядьки: Щеголев, Макаров... еще более страшный — поручик Зайончковский, ротный полковник Алферов... Но первый год окончен... Мы поехали в Рыбинск с Соловьевым, Клювейном... Тут новые впечатления. Отношение офицеров, к которым я в бытность в гимназии питал такое глубокое уважение, отношение их уже не снисходительное, как к шпалам-гимназистам, а как (по крайней мере, это так казалось мне) к своему, к человеку бывалому (!) и военному. Наконец, незабвенное путешествие нас, т. е. тети, мамы, Саши, няньки Манефы, горничной и еще нанятого работника, целым обозом в Вослому... Наконец, опять приезд в Корпус, уже во II роту, учение... дифтерит... смерть Соловьева, Вейкиевича — моей сильной симпатии, Пугачева, Рейсмерса 2 и др. (8 человек)... Впечатления II роты — Даичевский, Лапинский, проводы Мисовского, авторитетный взгляд на проходящую III роту и т. д. Опять каникулы... Я на Пасхе после болезни в Рыбинске с тетей... Экзамены. У меня 2 переэкзаменовки... Ужасное — знаменитое лето 90-го года. Опять в Корпус... Письма... Живопись... Павлов, Плисовский, Ликин... Тетя в мучительном и для нее и для меня состоянии... Экстерн... Все это проносится перед моей памятью... Наконец, замечательный 91-92-й год — дома у тети. Смерть дяди Александра, а еще ранее — дяди Николая... Опять в Корпус... Долбня, Голубцов, отец Крилов. Математика, Андреев, Бородич, VII класс... опять математика, Миро-

нов, Бородич... Брелкин, на которого сначала не обращал внимания, потом почти ненавидел, потом сильно полюбил... Да не фикция ли это все только моего ума и фантазии. Так это все сильно и многозначительно, что в совокупности и жалко, что все прошло, и хотелось бы опять пережить если не все, но весьма и весьма многое. Где же утешение, где ручательство, что это все не пустая игра случая и я сам — жалкая «игралька» (по выражению тети) какого-то фатального бессознательного начала? Неужели все, что я вынес из прошлого, что наросло и выработалось, так сказать, во мне, все это причинило мне и, что еще хуже, окружающим меня людям еще лишние (при многих уже совершившихся) мучения? Нет!

Я должен сказать, что и в Университете я не мог найти настоящих единомышленников, настоящего, теплого сочувствия моей личной научной работе. Этому способствовал, конечно, «дух времени», стоящий очень далеко от о б ъ е к т и в н о й р а б о т ы м ы с л и; кроме того, философская мысль русского человека вообще поразительно инертна, что сказывается и на Университете. Во всяком случае, в самых дорогих своих вопросах я и в Университете оставался и остаюсь вполне одиноким, только с книгами. Разумеется, в этом ничего особенного нет, и, во всяком случае, Университет есть единственное место, где все-таки рано или поздно люди столкуются в объективном понимании вещей. Но в более слабые минуты одиночество, будет ли оно в сфере чувства или мысли, побуждает искать общения на стороне. К такому «исканию общения на стороне» надо отнести и мое сближение со старообрядцами. У этих твердых, убежденных людей можно было отдохнуть душой от той мертвенности (с одной стороны) и безалаберщины (с другой), которые царили за это время в среде наших университетских.

Нельзя отнимать у одних, чтобы помочь другим. Это все равно что взваливать дохлого осла на жертвенник.

Воспитание себя самого через образование привычек и организацию их. Это и значит, что «материя дана для упражнения свободы»! Через темную привычку, через инерцию старайся подняться к лучшему.

Вот две противоположные установки, стоящие на полюсах, тогда как правильный путь каждый находит между ними. Одна крайность говорит: доверять тому, что делается в природе само собою, без насилия и специального труда, доверять инстинктам и себе; не критиковать жизни, но у нее учиться, ибо она по-своему всегда права и для всякого своего образа действия имеет все основания (Аристотель, Гегель). Противоположный голос говорит: переделывать себя; отвергнуто доверие к тому, что совершается «само собою»; необходимо обуздывать инстинкты и природу; надлежит переделывать текущую действительность; изучать природу, дабы владеть ею, переделывать ее. Только весь вопрос в том: для чего и во имя чего переделывать? Одни говорят — на анархо-идеалистический лад: переделывать вещи, дабы из «вещей в себе» превратить их в «вещи для нас». Другие говорят: переделывать мир, дабы восходить из силы в силу выше себя и преодолевая себя ради сущей Истины. Любовь как методос[30] и одос[31] находит и удерживает здесь здравый и нужный путь.

Вот видите: мир есть не предмет, не вещь, не «механизм», и не толчея perpetuum mobile[32], но текущий процесс, и процесс трагический по своему содержанию! Об этом знает всякий, кто знает жизнь достаточно полно и у кого было что любить и понимать, а главное — кого любить и понимать!

Рецепция к тому, что Бытие есть в самом деле трагический процесс, открывается впервые человеку с момента, когда он увидит и переживет смерть любимого! До этого критического момента человек еще глух и слеп к действительности и ее подлинному содержанию, как котенок, у которого еще не успела развернуться кора головного мозга и еще не открылись глаза.

9 ноября 1935.

Проект реальности может казаться простым фантазмом,— так много в нем явно человеческого и, вместе, так далек он от обыденного течения вещей. Но тогда важно то, кому этот проект принадлежит, кто его выносил своею жизнью и кого он впервые посетил! В этом случае дело пойдет о том, способны ли мы вдохновиться в своей близорукости дальнозоркому проекту более

далеко, более отчетливо и более мучительно видящего человека. Многое, многое сбылось несбыточного для обыденной близорукости. А то, что воочию осуществилось, сбылось, тем самым становится «вероятным». Поэзия, противопоставленная поэзии. Достаточно ценный в наших глазах проект предстоящего завладевает нами и нашими действиями постольку, поскольку он представляется поэтически законченным, красивым, важным, привлекательным, добрым.

В дальнейшем проект оценивается постольку, поскольку результат движения под его знамением оказывается в самом деле благоприятным, отвечающим ожиданиям. В этом случае мы говорим, что наша проективная (предположительная) оценка действительности была правильною, отвечала действительности на самом деле.

Бывает, однако, что действительность не отвечает проекту. Тогда бывает конфликт. Поднимается колебание,— чему отдать предпочтение: проекту или реальности в ее несогласии и грубости?

Ознакомление с реальностью приводит, впрочем, к ее освоению, к построению опять нового проекта.

Тогда начинается дело о противопоставлении двух более или менее законченных, двух более или менее поэтических проектов реальности. Оба закончены, оба красивы, оба представляются добрыми! Идет переоценка и борьба...

Проект реальности самый красивый, самый полный хорош там и тогда, когда он воплощен, «совпал с действительностью», осуществился, когда он в теле, когда реальность и бытие его оправдали,— когда поэзия человека и поэзия мира совпали, соединились, пришли к общему совету.

10—11 ноября 1937. Москва.

Смерть сама по себе настолько не поддается выражению в самостоятельном законе, в самобытном разумном содержании, что всякие попытки ее истолкования и объяснения достигаются не иначе, как из интересов жизни и ради жизни. Поэтому смерть издавна сближалась и сопоставлялась со злом, поскольку и в том и в другом случае дело идет о хаосе отрицания бывшего до них разумного закона и добра! Хаос, небытие, нежить, смерть, прекращение жизни, перерыв лучшего,

ради замены его худшим! Замечательно, что попытки оправдать, «объяснить» смерть — исходят всегда из понятий жизни и из интересов жизни!

Между попытками оправдать смерть ради жизни самая обыденная и обычная — это уголовно-юридическая аргументация смертной казни или цивильно-государственная аргументация войны. При всем разнообразии таких попыток, алгебраически общее в них всегда в том, что аргументы почерпываются из жизни, ради жизни и во имя интересов жизни.

Философская попытка «объяснить» и «оправдать» смерть, найти ее логику, дается в принципе «борьбы за существование». Л. Н. Толстой говорил, что это «лживая выдумка, которой хотят оправдать зло». Здесь смерть объявляется строительницей жизни, скульптором ее! Остается загадкою и удивительным чудом из чудес, как хаос и отрицание могли бы из себя рождать положительный закон созидания! Здесь можно удивляться, констатировать, но нельзя понять удовлетворительно и разумно!..

Величайшие представители человеческого рода жили в беспрестанной борьбе со смертью, с бессмыслием, с отрицанием любимого, прекрасного и разумного! Понять смерть, чтобы уничтожить ее!..

Смерть сама по себе — бессмыслие, нарушение смысла бытия. Это наш «последний враг»! Нам завещано идти к ее уничтожению!

26 января 1937

Чистый рационализм и идеализм. Это те силы, которые замыкают человека, как в крепость, делая его совершенно неспособным быть восприимчивым участником в жизни Предания. Принципиальный откол от жизни народа — частью тяжкий симптом заболевания, частью причина дальнейшего заболевания.

Собственно, что такое «толпа» и где она начинается? Можно надеяться, что автор не думает о народе: «Прокляти суть,— не весть закона»! Народ, несущий в себе предание спасения и принимающий Разум Божий ранее премудрых и разумных мира, не есть толпа. Толпа начи-

нается там, где есть массовое самоутверждение и готовность к насилию. Самоуверенность и самоутверждение, сделавшиеся массовой стихией,— вот толпа. Доступа рассуждению в эту слепоту нет. «Если кто из мертвых воскреснет, не имут веры». Уцеломудривает и целит тут только смерть.

Но ведь это страшное бедствие стихийно-массового самоутверждения получается как результат самоутверждающихся единиц, воспитанных в солипсизме и принципиально вырванных из органической жизни народа и предания.

В сущности, именно солипсист-индивидуалист есть деятель толпы, органический участник возникновения и жизни ее; и не ему презирать и ненавидеть свое выношенное детище!

•

«Толпа», «масса» — вот чему аристократически противополагает себя рационализм и каждый в отдельности рационалистический индивидуум, точно так же, как он противополагает своему рационализирующему «сознанию» отягощающее его «тело».

И он чувствует себя призванным оформлять сию массу, учительствовать над нею! Но он перед нею ничем не обязан, на себе самом и своих рациональных паутинах исключительно строит он свою Истину и свое обеспечение! До поры до времени он отстраняется от массы, умывает руки в ее судьбе. Когда войдет в силу, он будет диктаторствовать над нею!

Выдумали, что история есть пассивный и совершенно податливый объект для безответственных перестраиваний на наш вкус. А оказалось, что она — огненная реальность, продолжающая жить своей совершенно самобытной законностью и требующая нас к себе на суд!

Думали себе, что история есть прошлое, о котором остается писать более или менее успокоительные диссертации и любознательные исследования. А это оказалось — живое будущее, которое требует нас к суду!

29 мая 1941

ПРИМЕЧАНИЯ

Творческое наследие А. А. Ухтомского велико и многообразно. Оно содержит не только фундаментальные научные работы, составившие основной корпус Собрания его сочинений (т. I—VI, 1950—1962), но также статьи и заметки, касающиеся философии, богословия, истории культуры, и еще — богатейший эпистолярно-биографический материал.

В данной книге представлена лишь малая часть обширного архива А. А. Ухтомского. В первом разделе помещены три цикла его писем: к В. А. Платоновой (за 1906—1942 гг.), И. И. Каплан (1922—1924), Е. И. Бронштейн-Шур (1927—1941). Письма к В. А. Платоновой хранятся в Ленинградском отделении Архива Академии наук СССР в личном фонде А. А. Ухтомского (ф. 749). Письма к И. И. Каплан (Слонимской) — в ее домашнем архиве. Оба цикла никогда не публиковались. Письма к Е. И. Бронштейн-Шур впервые выборочно напечатаны в журнале «Новый мир» (1972, № 11) и более полно в сборнике «Пути в незнаемое» (М., 1973); воспроизводятся по этому изданию, поскольку местонахождение подлинников нам неизвестно. Большинство писем приводится с сокращениями.

Во втором разделе помещены выдержки из записных книжек А. А. Ухтомского за 1896—1909 и 1921—1924 годы, письма к ряду лиц и заметки, оставленные им на полях прочитанных книг. Ранние записные книжки местами напоминают страницы дневника, поздние — главным образом обусловлены проблематикой его лекций и научных разработок. В архивном фонде А. А. Ухтомского имеется всего несколько таких книжек, хотя велись они регулярно. Письма к Н. Я. Кузнецову хранятся в Ленинградском отделении Архива Академии наук СССР в личном фонде Н. Я. Кузнецова (ф. 793). Письма к А. А. Золотареву — в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР (ЦГАЛИ), ф. 218. Письмо к Г. В. Курочкину — в Государственном архиве Ярославской области (ф. Р. 2562), приведено в книге А. В. Шлюпиковой «Академик Алексей Алексеевич Ухтомский (1875—1942)» (Ярославль, 1968). Письма к Н. Н. Малышеву впервые опубликованы В. Л. Меркуловым в журнале «Природа» (1975, № 9). Завершают второй раздел заметки А. А. Ухтомского на полях книг из его домашней библиотеки (ныне находится в Физиологическом институте им. А. А. Ухтомского при Ленинградском университете), а также фрагменты записной книжки 1936—1938 годов.

Примечания к текстам имеют целью дать читателю минимум справочно-биографических сведений и отнюдь не претендуют на полноту.

[1] Платонова Варвара Александровна — близкий друг А. А. Ухтомского. Они познакомились в октябре 1905 г. и переписывались продолжительный период времени — с 1906 по 1942 г.

[2] После окончания естественного отделения физико-математического факультета Петербургского университета А. А. Ухтомский был зачислен с осени 1906 г. на должность лаборанта физиологического кабинета с предоставлением ему казенной квартиры на 16-й линии Васильевского острова (д. № 29), где он проживал до конца жизни.

[3] Здесь и далее А. А. Ухтомский приводит цитаты из повести М. Горького «Исповедь» (1908).

[4] А. А. Ухтомский исповедовал старообрядческую веру, возникшую в России в середине XVII в. в связи с укреплением официальной государственной православной церкви и унификацией церковных обрядов, проводившихся патриархом Никоном. Старообрядцы, ревнители «древлего благочестия», создавшие собственные, обособленные от никониан общины, не признавали новых икон, исправленных официальной церковью богослужебных книг, новых обрядов. Старообрядчество с самого начала не было единым: в нем существовало много «толков» и «согласий»; прежде всего — поповщина и беспоповщина. Поповцы признавали необходимость духовенства и всех церковных таинств, беспоповцы отрицали духовную иерархию и ряд таинств. Постепенно большинство старообрядческих согласий утратило оппозиционность к царской власти и официальной церкви. Особенно это относилось к поповщине: в 1800 г. часть старообрядцев-поповцев, сохранив свою обрядность, подчинились местным епархиальным архиереям. Это направление в старообрядчестве получило название «единоверия» — к нему-то и принадлежал А. А. Ухтомский, принимавший активное участие в жизни Никольской единоверческой церкви в Петербурге, которая размещалась на Николаевской улице (ныне ул. Марата).

[5] Начало и конец письма отсутствуют.

[6] Семья Платоновых жила неподалеку от А. А. Ухтомского — на 13-й линии Васильевского острова (д. № 16).

[7] В это время А. А. Ухтомский начал работу над своей диссертацией, посвященной проблеме, с которой неожиданно столкнулся в 1904 г. Тогда он — студент и ассистент профессора Н. Е. Введенского — проводил лекционную демонстрацию, суть ее такова: если определенный участок коры головного мозга животного (в данном случае собаки) раздражать электрическим током, должна возникнуть ответная двигательная активность соответствующей конечности. Это была самая простая модель рефлекторной дуги. Но на сей раз опыт оказался неудачным — вмешалась какая-то сила, полностью изменившая запрограммированный ход эксперимента: вместо ожидаемой реакции животное совершило другое действие. А. А. Ухтомский не увидел здесь ошибку опыта, а задался вопросом: почему? — что в конце концов и привело его к открытию принципа доминанты, чрезвычайно важного в деятельности нервной системы.

[8] А. А. Ухтомский входил в совет Никольской единоверческой церкви и был заведующим созданного при ней братского единоверческого реального, цесаревича Алексея Николаевича, училища.

[9] Статья А. А. Ухтомского «О церковном пении» напечатана в «Санкт-Петербургских ведомостях» с помощью родственника Ухтомского — Э. Э. Ухтомского, в то время арендатора этой газеты. На основе статьи А. А. Ухтомским был сделан доклад на I Всероссийском

съезде православных старообрядцев в Петербурге в 1912 г. А. А. Ухтомский был одним из немногих мирян — представителей единоверческой общины Петербурга, приглашенных на съезд. Позже доклад был издан отдельной брошюрой.

[10] Там находилась дача Платоновых.

[11] Отец Семен — Симеон Шлеев, протоиерей, настоятель Никольской единоверческой церкви и директор братского единоверческого реального училища, возглавлявший впоследствии Петроградскую епархию единоверческих церквей. Характеризуя его морально-нравственный облик, А. А. Ухтомский запишет в своем дневнике: «С. Шлеев — распутиновщина, усмотрение в человеческих верованиях удобной почвы для своекорыстного овладения людьми и их душами».

[12] Летом 1905 г., пользуясь тем, что занятия в Университете были прерваны в связи со студенческими забастовками с февраля по осень, А. А. Ухтомский совершил поездку по Уралу и Западной Сибири в качестве делегата Петербургской старообрядческой общины.

[13] In's Grüne (нем.) — букв.: в зелень, на лоно природы, за город.

[14] Voire la Nature (фр.) — посмотреть природу.

[15] После смерти тети Анны Николаевны А. А. Ухтомский ушел в Иосифо-Волоколамский монастырь (Волоцкий Успенский Иосифов монастырь), находящийся в 17 км к северо-востоку от г. Волоколамска Московской области и основанный еще в XV веке, и пробыл там с сентября 1898 г. по февраль 1899 г.

[16] Имеется в виду евангельская притча о блудном сыне, который, покинув родной дом, вел беспутную жизнь и в конце концов впал в великую нужду и голод, вынужден был пасти свиней. «И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему» (Лук. 15, 16).

[17] Мать В. А. Платоновой.

[18] В 1896 г. А. Ф. Ухтомская продала родовое имение Вослому со всем имуществом крестьянам, что оказалось большим горем для отца А. А. Ухтомского.

[19] A propos (фр.) — кстати.

[20] Бехтерев Владимир Михайлович (1857—1927) — русский невропатолог, психиатр, психолог, физиолог и морфолог, с 1908 г. директор организованного им Психоневрологического института.

[21] Речь идет о намечавшемся обручении А. А. Ухтомского и В. А. Платоновой.

[22] А. А. Ухтомский был избран старостой Никольской единоверческой церкви.

[23] Чириков Григорий Иосифович — знаток и специалист иконописи.

[24] А. А. Ухтомский обладал немалыми художественными способностями. В личном архиве хранятся рисунки, портреты, иконы, написанные им.

[25] Бобровская Надежда Ивановна (1862—1941) — няня, домоправительница и друг А. А. Ухтомского.

[26] Начало письма отсутствует.

[27] Схоластика — средневековая философия, создавшая систему искусственных, чисто формальных логических аргументов для теоретического оправдания догматов церкви. Ученые-схоласты проповедовали знания, оторванные от жизни, основывающиеся на отвлеченных рассуждениях, не проверяемых опытом.

[28] Homunculus (лат.) — букв.: человечек. Фантазия средневекового врача Парацельса: человек, созданный химическим путем.

[29] Карлейль Томас (1795—1881) — английский публицист, историк и философ.

[30] Джемс Уильям (1842—1910) — американский философ-идеалист и психолог, один из основателей прагматизма. Его идеи существенно повлияли на взгляды А. А. Ухтомского.

[31] The whole man must move together (англ.).— Человек должен развиваться весь целиком.

[32] Лихтенберг Георг Кристоф (1742—1799) — немецкий писатель, публицист и ученый.

[33] Шлейермахер Фридрих (1768—1834) — немецкий протестантский теолог и философ.

[34] Шеррингтон Чарлз Скотт (1859—1952) — английский физиолог, работы которого оказали большое влияние на формирование научного мировоззрения А. А. Ухтомского и, в частности, способствовали открытию принципа доминанты.

[35] 8 мая 1911 г. А. А. Ухтомский защитил диссертацию на тему «О зависимости кортикальных двигательных эффектов от побочных центральных влияний».

[36] В 1911—1915 гг. А. А. Ухтомский преподавал физиологию человека и животных на курсах воспитательниц и руководительниц физического образования, организованных еще в 1896 г. Петром Францевичем Лесгафтом (1837—1909) — русским педагогом, анатомом и врачом. В 1919 году на базе этих курсов открыт Государственный институт физической культуры, носящий его имя.

[37] Иоанновский монастырь находится на углу наб. р. Карповки и Вяземского переулка. Там захоронен Иоанн Кронштадтский (1829—1908).

[38] Распутин (Новых) Григорий Ефимович (1864—1916) — фаворит императора Николая II и его жены Александры Федоровны. В начале своей деятельности примкнул к секте хлыстов. К 1902 г. стал известен как сибирский «пророк» и «святой старец». Проникнув с помощью высшей петербургской аристократии в царский дворец, пользовался неограниченным влиянием на Николая II. В первые годы своего пребывания в Петербурге Распутин неоднократно ночевал в квартире А. А. Ухтомского, и, по его словам, «умный был мужик, но нахал и наглец исключительный».

[39] Троицкий Матвей Михайлович (1835—1899) — русский психолог и философ-позитивист.

[40] Антонина Федоровна Ухтомская умерла 31 октября 1913 г.

[41] В 1912 г. Болгария выступила как один из инициаторов создания направленного против Турции Балканского союза. В результате начавшейся в октябре 1912 г. 1-й Балканской войны, объективно носившей прогрессивный характер, Болгария, Сербия, Греция, Черногория освободили от турецкого ига значительную часть территорий, заселенных угнетенными народами. Однако великодержавные устремления правящих кругов Болгарии и других балканских стран, а также интриги и вмешательство Австро-Венгрии и Германии, стремившихся расколоть Балканский союз, созданный при участии Антанты, привели к возникновению 2-й Балканской войны (июнь-август 1913). В этой войне Сербия, Греция и Черногория, к которым присоединились Румыния и Турция, одержали победу над Болгарией. По Бухарестскому и Константинопольскому мирным договорам 1913 г. Болгария потеряла не только почти все земли, приобретенные ею в результате 1-й Балканской войны, но и часть своих старых территорий. После поражения во 2-й Балканской войне правящие круги Болгарии стали готовиться к реваншу, ориентируясь на австро-германский империалистический

блок. 1 октября 1915 года Болгария вступила в первую мировую войну 1914—1918 гг. на стороне Германии.

[42] Черчилль Уинстон Леонард Спенсер (1874—1965) — государственный деятель Великобритании, лидер Консервативной партии. В 1911 г.— военно-морской министр. Во время первой мировой войны 1914—1918 гг. был одним из организаторов Дарданелльской операции, предполагавшей овладение Дарданеллами, Босфором и Константинополем, вывод Турции из войны и восстановление связи с Россией. Провал этой операции в 1915 г. привел к временной отставке Черчилля.

[43] Долбня Иван Петрович (1853—1912) — преподаватель математики в Кадетском корпусе в Нижнем Новгороде, позже профессор математики и ректор Горного института в Петербурге.

[44] Боткин Сергей Петрович (1832—1889) — русский врач-терапевт, основоположник физиологического направления в клинической медицине, общественный деятель.

[45] Молодцова Анна — послушница женского Софийского монастыря в Рыбинске, часто бывала и подолгу гостила в доме А. А. Ухтомского.

[46] Старший брат А. А. Ухтомского Александр Алексеевич Ухтомский (1872—1944 ?). Окончил Московскую Духовную академию. Был назначен преподавателем Казанского духовного училища, там же пострижен в монашество под именем Андрея и рукоположен в иеромонахи. В 1907 г. после совершения хиротонии (обряд рукоположения в епископы) возведен в сан епископа Мамадышского, викария Казанской епархии; в 1911 году — епископ Сухумский, в 1913 году — епископ Уфимский и Мензелинский.

[47] После смерти матери владение всем имуществом перешло к А. А. Ухтомскому (ему достались банковские бумаги) и старшей сестре — Марии Алексеевне (недвижимое имущество). Алексей Алексеевич откупил у сестры лишь небольшой «дедовский» дом на Выгонной улице (ныне ул. Ухтомского, где открыт мемориальный Дом-музей ученого), в котором он жил с детских лет.

[48] Шеллинг Фридрих Вильгельм Йозеф (1775—1854) — немецкий философ, представитель немецкого классического идеализма.

[49] Гааз Федор Петрович (1780—1853) — старший врач тюремных больниц в Москве, известный своей филантропической деятельностью.

[50] В 1911—1915 гг. А. А. Ухтомский читал курс физиологии животных в Психоневрологическом институте В. М. Бехтерева.

[51] Имеется в виду подворье Киево-Печерской лавры (Киевское подворье) на углу Николаевской наб. (ныне наб. Лейтенанта Шмидта) и 15-й линии.

[52] Громовское старообрядческое кладбище на Старообрядческой улице (ныне Ташкентская ул.).

[53] Белокриницкая иерархия (или так наз. Австрийская) возглавляла в старообрядчестве течение, называемое поповщиной. Возникла в 40-х гг. XIX в. в Белокриницком монастыре (около Черновиц), ее вторым центром была церковь на Рогожском кладбище в Москве.

[54] На Волковом кладбище в Петербурге (Расстанный проезд) находилась Сретенская единоверческая церковь.

[55] Александро-Невская лавра.

[56] Цылов Сергей — знакомый А. А. Ухтомского и В. А. Платоновой.

[57] Васнецов Виктор Михайлович (1848—1926) — русский живописец.

[58] Одной из реформ патриарха Никона было введение троеперстия вместо прежнего двоеперстия при совершении «крестного знамения».

[59] Надеждинская улица — позже ул. Маяковского.

[60] Басма — в русском прикладном искусстве — тонкие листки металла со штампованным рельефным орнаментом, употреблявшиеся как украшение церковной утвари, книг, предметов обихода.

[61] Возможно, имеется в виду Суслов Владимир Васильевич (1859—1921) — русский архитектор-археолог, исследователь древнерусского зодчества.

[62] Введенский Николай Евгеньевич (1852—1922) — русский физиолог, ученик И. М. Сеченова, учитель А. А. Ухтомского.

[63] Имеется в виду библейская притча о двух братьях, Исаве и Иакове, сыновьях Исаака и Ревекки. Старший брат Исав продал младшему брату Иакову свое первородство за чечевичную похлебку (Быт., 25, 31—34).

[64] Мария Михайловна Колкунова была репетитором А. А. Ухтомского при поступлении в гимназию, обучала его иностранным языкам.

[65] Понтий Пилат — римский прокуратор Иудеи в 26—36 гг. Правление жестокого и коварного Понтия Пилата ознаменовалось насилиями и казнями. Согласно новозаветной традиции, Понтий Пилат приговорил к распятию Иисуса Христа. По евангельскому рассказу, Понтий Пилат при этом «взял воды и умыл руки перед народом», использовав, таким образом, старинный иудейский обычай, символизировавший невиновность в пролитии крови (отсюда выражение «умыть руки»).

[66] Цата — древнерусское золотое или серебряное украшение, прикреплявшееся к окладу иконы.

[67] Смарагд — старинное название изумруда (от греч. smáragdos).

[68] Благовещенское синодальное подворье помещалось по адресу: Васильевский остров, 8-я линия, д. 61.

[69] В личном фонде А. А. Ухтомского хранится дневник В. А. Платоновой 1908—1913 гг., где приведена характеристика двух братьев: «Андрей знает, что сеет, Алексей Алексеевич знает, что хочет собрать, когда же сеет, случается вообразить ему до того, что уверует, что сеял пшеницу, а на самом деле была рожь. Когда же последнее вырастет, получается удивление, страдание, которого он никому не покажет, глубоко спрячет, а душа его будет мучиться, исходить от тяжести. Андрей сразу определил себе дорогу и пошел по ней... у Алексея Алексеевича нет ни способности организатора, даже не способности, а устойчивости, нужной для организатора, ни таланта устроительства, он прежде всего мечтатель, философ, а потом уже как необходимость — деятель. Душа и ум у него не вместе, душой он в церкви, умом в миру, таким в монастыре быть нельзя... Он искренен был, когда не пошел в монастырь, он прав... Андрей чудная, яркая, прямая, как стрела, свеча перед иконой, горит она ровным светом и светло от нее не одной душе. Алексей же жжет свою с двух концов, она не прямая, а переломленная в середине, но она все-таки одна, и свет ее, если сольется воедино, прекрасен и силен, ярок, ярок будет! Горит же она, как и Андреева, для Бога».

[70] Костя — крестник А. А. Ухтомского, жил некоторое время в его квартире на 16-й линии.

[71] В 1916 г. А. А. Ухтомский по совету брата — епископа Андрея — хотел уйти в Воскресенский монастырь (г. Уфа).

[72] Михаил Александрович Касенков — житель г. Рыбинска, служил на железной дороге.

[73] Сестра В. А. Платоновой.

[74] В мае 1917 г. в Петрограде состоялось заседание Совета Всероссийских съездов православных старообрядцев (под председательством члена Священного Синода епископа Андрея), на котором А. А. Ухтомский (как член Совета) был избран одним из пяти представителей от мирян на Поместный собор русской православной церкви, проходивший в Москве в 1917—1918 гг.

[75] Отчим В. А. Платоновой.

[76] Сретенский монастырь находился на Большой Лубянке.

[77] На Поместном соборе 1917—1918 гг. было восстановлено патриаршество, ликвидированное при Петре I. Патриархом Всея Руси был избран Тихон.

[78] Хомяков Алексей Степанович (1804—1860) — русский религиозный философ, поэт и публицист, выразитель славянофильства.

[79] In capite (лат.) — букв.: на границе, радикально.

[80] Жорес Ж. Социалистическая история. Учредительное собрание. СПБ. 1908, с. 526; там же, с. 516—517 (примечание А. А. Ухтомского).

[81] Луначарский А. Религия и социализм. СПБ. 1908. Ч. I, с. 68 (примечание А. А. Ухтомского).

[82] Антиох IV Епифан — царь эллинистического рабовладельческого государства в Сирии из династии Селевкидов в 175—164 гг. до н. э. Безуспешно пытался предотвратить распад царства.

[83] Теософия — идеалистическое учение о возможности мистического постижения божества и общения с так наз. потусторонним миром.

[84] «Лимонар» — весьма распространенное историко-церковное сочинение греческого инока Иоанна Мосха (умер в 622 г.), содержащее собранные им в монастырях Палестины, Сирии, Египта, Кипра, Константинополя и Рима повествования о жизни христианских подвижников, а также их изречения и нравоучения.

[85] Леруа Эдуар (1870—1954) — французский ученый и философ-идеалист, представитель католического модернизма.

[86] Raison d'être (фр.) — смысл существования, причина какого-либо явления.

[87] Основателем и редактором журнала «Заволжский летописец» был брат А. А. Ухтомского — епископ Андрей. Эта статья напечатана под названием «Христианство последних веков».

[88] Имеется в виду опера русского композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова (1844—1908) «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии».

[89] Кузнецов Николай Яковлевич (1873—1948) — энтомолог и физиолог, близкий друг А. А. Ухтомского. Работая в Зоологическом музее Академии наук, в течение ряда лет читал в Университете курс по физиологии беспозвоночных (см. письма А. А. Ухтомского к Н. Я. Кузнецову).

[90] Ветюков Иван Алексеевич (1884—1967) — физиолог, ученик Н. Е. Введенского, сотрудник физиологической лаборатории Университета.

[91] Анна умерла в феврале 1917 г. А. А. Ухтомский, прервав свое пребывание в Москве, приезжал в Рыбинск на погребение.

[92] Deus ex machina (лат.) — букв.: «Бог из машины», т. е. неожиданно появляющаяся (как в пьесах древности — боги) решающая посторонняя сила.

[93] Флоренский Павел Александрович (1882—1937) — русский ученый, религиозный философ, священник.

[94] Сержпинская (Шкилева) Клавдия Михайловна — близкий друг В. А. Платоновой.

[95] Рационализм — философское идеалистическое направление, отрывающее мышление от чувственного опыта и считающее разум единственной основой научного познания закономерностей природы и общества.

[96] Позже площадь Декабристов.

[97] Письмо написано примерно 29 сентября 1919 г.

[98] В 1920 г. по ходатайству ведущих профессоров физико-математического факультета, поддержанному А. М. Горьким, Университету были переданы здания двух бывших петергофских дворцов, где решено было организовать Петергофский естественнонаучный институт. При этом институте был создан филиал физиологической лаборатории Университета, который возглавил вначале Н. Е. Введенский, а с 1921 г. А. А. Ухтомский.

[99] Осенью 1919 г. А. А. Ухтомский принял деятельное участие в организации рабочего факультета при Университете и в течение восьми лет преподавал там анатомию и физиологию. В 1920 г. А. А. Ухтомский по инициативе слушателей рабфака был выдвинут в члены Петроградского Совета рабоче-крестьянских и красноармейских депутатов VI созыва от рабочих и служащих Университета.

[100] Тетя К. М. Сержпинской (Шкилевой).

[101] В 1912 г. семья Платоновых переехала на 10-ю линию Васильевского острова.

[102] В 1921 г. преосвященный Андрей был назначен епископом Томским, но в Управление епархией не вступил, так как был арестован и посажен в Бутырскую тюрьму в Москве. О дальнейшей его судьбе нам известно мало. Так, в письме к Н. Е. Введенскому от 31 августа 1922 г. А. А. Ухтомский писал о брате: «22 июля он был освобожден из заключения по суду. В первое время поселился у своих почитателей... Через несколько дней в нем заговорил «зуд» к общественной деятельности — стал разъезжать по Москве, разыскивать своих знакомых «деятелей», столкнулся со многими нынешними «живоцерковниками», в т. ч. с Львовым, бывшим обер-прокурором Синода при Керенском, впоследствии сыгравшим такую двусмысленную роль в деле Корнилова... Душа и надорванная нервная система брата не выдержала, и, приблизительно недели через полторы по освобождении, он душевно занемог. Началось бредовое помешательство, затем буйные припадки. Теперь он помещен в частную лечебницу,— требующую, между прочим, бешеных расходов. По общим признакам, у меня есть надежда, что брат еще поправится. Но есть и серьезная опасность в значительной ослабленности сердца, для которого может оказаться непосильною работа во время припадков». А. А. Ухтомский писал, что в то время, когда в Университете один за другим были арестованы такие видные философы-идеалисты, как Селиванов, Лосский, Лапшин, Карсавин, Питирим Сорокин и др., такое «полубессознательное стремление уклонительства от выполнения и подчинения «правилам» может повлечь для брата новые беды».

В 1922 г. религиозная ситуация в стране накалилась. 26 февраля публикуется постановление ВЦИК об изъятии церковных ценностей (якобы для закупки хлеба за границей) и закрытии церквей. В то же время сама Русская Православная церковь переживала тяжелейший кризис. В противовес ее крылу, возглавляемому Патриархом Тихоном, возникла обновленческая Живая церковь и, пользуясь поддержкой

светских властей, начала захватывать по стране приходы, кафедры, храмы. В 1923 г. живоцерковники организовали Собор и лишили Тихона священного сана, посадив его под домашний арест. По стране прокатилась новая волна арестов и расстрелов несогласных священников.

Епископ Андрей был личностью незаурядной. Еще до революции он отличался либеральными взглядами, а в 1918 году, стоя на стороне Патриарха Тихона, выступил с призывом произвести в православной церкви радикальные реформы. Но в 1922 году его левый радикализм не имел никакой цены. От епископов требовалась безоговорочная капитуляция перед живоцерковниками. Ухтомский был слишком порядочен, чтобы признать доносчиков-обновленцев, нарушающих тайну исповеди, представителями всей верующей России. И — оказался в ссылке (Ташкент, Алма-Ата, Чита), там в 1925 году принял старообрядчество, перейдя в так называемый Андреевский раскол.

Время и обстоятельства его смерти до сих пор остаются неясными. По одним сведениям, он умер в 1944 г. (Биобиблиографический словарь русских православных иерархов периода с 1896 по 1965 г., составленный Митрополитом Мануилом (Лемешевским). Куйбышев, 1966), по другим — в 1948 году (М. Поповский. Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга.— «Октябрь», 1990, № 2), есть также сведения, что епископ Андрей погиб «соленой смертью» в лагере под Усольем (Урал) где-то в двадцатых годах. По официальным сведениям (КГБ) епископ Андрей был расстрелян в 1937 году в Рыбинске.

[103] 12 ноября 1920 г. А. А. Ухтомский приехал в Рыбинск в отпуск. 17 ноября он был арестован, как он пишет, «агентами рыбинского политбюро», и переправлен в Ярославский политический изолятор, затем в Москву, где до 15 декабря сидел в особом отделении ВЧК на Лубянке. Причиной первого ареста А. А. Ухтомского, по его мнению, были неосторожные разговоры в Рыбинском научном обществе, но, вероятно, ие последнюю роль в этом сыграл арест брата — епископа Андрея. С пребыванием А. А. Ухтомского в тюрьме связан любопытиый эпизод. Как вспоминал ученик А. А. Ухтомского Э. Ш. Айрапетьянц, Алексей Алексеевич рассказывал, что он «по собственной инициативе прочел курс лекций по физиологии в оригинальнейшей аудитории своим «коллегам» — разностатейным заключенным широкого политического и уголовного диапазона. Вряд ли иеобыкновенные слушатели профессора Ухтомского обладали достаточным естественнонаучным образованием, и надо полагать, что меньше всего в этой ситуации они были склонны представлять себя в храме науки. По рассказу Алексея Алексеевича, вначале пестрая толпа отреагировала на лекционное выступление странного бородатого лектора — не то простого мужика, не то важного архимандрита, и уж совсем не похожего на холеного петроградского профессора,— шумливым пренебрежением, вызывающим негативизмом. Затем появилось озорное любопытство, которое постепенно стало переходить в невольное внимание, прерываемое сердитым требованием большинства к еще не угомонившимся замолкнуть. Вдруг наступило полное безмолвие, чуждое этой большой камере,— тишина. Верный своему принципу втягивать слушателей в собеседники, Ухтомский подходил то к одному, то к другому и, наклонившись, глядя ему в глаза, как бы согласовывал с ним очередное понятие. После дебюта «публика» с одинаковым нетерпением ждала и конца следствия и начала следующей лекции. В дальнейшем, «признанный» теперь высокочтимым ученым, он ни на минуту не оставался один: бесконечио разъяснялись различные аспекты функции нервных

центров» (Э. Ш. Айрапетьянц. Алексей Алексеевич Ухтомский, Л., 1969). Пребывание в тюрьме имело и свои «научные» плоды. Один из заключенных — молодой человек — попросил А. А. Ухтомского объяснить необычный характер протекавшей у него непроизвольной двигательной реакции. Поскольку данное явление никогда в физиологической литературе не было описано, А. А. Ухтомский счел своим долгом ознакомить с ним научную общественность, опубликовав свои наблюдения в 1925 году в виде статьи «Особый вид тонических реакций в конечностях человека» (Собр. соч., т. III, с. 163—165).

29 января 1921 г. А. А. Ухтомский, благодаря личному вмешательству Ф. Э. Дзержинского, был освобожден из-под ареста и препровожден в Петроград. Вторично А. А. Ухтомского арестовали в 1923 г. в Петрограде в связи с делом об изъятии церковных ценностей в Никольской единоверческой церкви (см. с. 503, прим. 22).

[104] «Вышкой» А. А. Ухтомский называл свою квартиру на 16-й линии Васильевского острова (д. № 29), она располагалась на последнем этаже дома.

[105] Самойлов Александр Филиппович (1867—1930) — физиолог, с 1924 г.— профессор Московского университета.

[106] После второго ареста А. А. Ухтомский в целях конспирации подписывал письма: А. Сугорский и А. Карголомский — по фамилиям княжеских родов одного с ним фамильного древа. Основатель рода князей Ухтомских, отпрыск князей Белозерских — Иван Иванович Ухтомский — происходил в 17-м колеие от Рюрика (через Всеволода Большое Гнездо — сына Юрия Долгорукого). Фамилию свою Ухтомские приняли от дарованных земель в Ухтомской волости, что на реке Ухтоме. От деда Ивана Ивановича — Василия — берут начало, в частности, князья Сугорские и Карголомские.

[107] Названия икон, находившихся в доме А. А. Ухтомского. У него была прекрасная коллекция икон «старого письма» и библиотека старообрядческой литературы.

[108] Письмо семейству Платоновых написано как бы от третьего лица. Лёля — домашнее прозвище А. А. Ухтомского.

[109] Брат В. А. Платоновой.

[110] До 1906 г. А. А. Ухтомский жил на углу Тучковой набережной и Среднего проспекта Васильевского острова в так называемом Жуковском доме (Тучкова наб., д. 10, кв. 33).

[111] Письмо адресовано подруге В. А. Платоновой Клавдии Михайловне Сержпинской (Шкилевой). В дальнейшем, по-видимому, в целях безопасности А. А. Ухтомский переписывался только с ней.

[112] Мария Александровна — сестра В. А. Платоиовой.

[113] Имеется в виду В. А. Платонова.

[114] Так называл А. А. Ухтомский свою квартиру на 16-й линии Васильевского острова.

[115] Остров Валаам в Ладожском озере, где еще с XIV в. находился Валаамский (Преображенский) монастырь.

[116] Имеется в виду книга Г. И. Успенского «Нравы Растеряевой улицы. Очерки и рассказы».

[117] Так подписывал письма А. А. Ухтомский (см. с. 510, прим. 106).

[118] Sans gêne (фр.) — без стеснения, бесцеремонность, развязность.

[119] Письмо написано весной 1938 г.

[120] Дядя Клавдии Михайловны Сержпинской (Шкилевой).

[121] Имеется в виду В. А. Платонова. Желая по разным причинам прямо не называть ее имени, А. А. Ухтомский употребляет слова «старый друг», «дорогой спутник».

[122] Имеется в виду Введенская Козельская Оптина пустынь, расположенная недалеко от г. Козельска на реке Жиздре. Летом 1898 г., после смерти тети, А. А. Ухтомский ходил в Оптину пустынь пешком.

[123] Фиваида — область в Верхнем Египте в эпоху Среднего и Нового царств.

[124] Дерюгин Константин Михайлович (1878—1938) — зоолог и гидробиолог. В 1920—1936 гг. был директором Петергофского естественнонаучного института.

[125] Мать К. М. Сержпинской (Шкилевой).

[126] От фр. causerie — непринужденная беседа, разговор.

[127] Письмо написано, вероятно, в 1940 г.

[128] Письмо адресовано сестре В. А. Платоновой — Марии Александровне.

[129] Николай Александрович — брат В. А. Платоновой.

[130] Бенсон «Хозяин земли».

[131] В апреле 1941 г. Ухтомский находился в Военно-морской клинике (бывшая больница Нечаева) по поводу язвы правой голени и гипертонии.

[132] Ганнушкин Пётр Борисович (1875—1933) — известный психиатр.

[133] Письмо адресовано В. А. Платоновой.

[134] Письмо адресовано В. А. Платоновой.

[135] Письмо адресовано В. А. Платоновой.

[136] Письмо адресовано В. А. Платоновой.

[137] Диагноз, поставленный А. А. Ухтомскому ленинградскими врачами: гипертония, кардиосклероз, эндоартериит, фиброз легких, рак пищевода.

ПИСЬМА К И. И. КАПЛАН

[1] Каплан (Слонимская) Ида Исааковна (р. 1903) — ученица А. А. Ухтомского. Письма относятся к периоду их духовного сближения (1922—1923 гг.), когда И. И. Каплан в числе других студентов кафедры физиологии человека и животных под руководством А. А. Ухтомского проходила летнюю производственную практику в физиологической лаборатории Естественнонаучного института в Петергофе. Вот как пишет в одном из отчетов о деятельности этой лаборатории сам Алексей Алексеевич: «Лаборатория возникла с весны 1920 г. в так называемом нижнем жилом домике Александрии, где помещалась вместе с химиками, физиками и астрономами... Весною 1922 г. в лабораторию впервые влилась группа молодых работников из студентов университета. Да будет позволено вспомнить теплым словом эту милую, воодушевленную группу молодежи, внесшую так много оживления и энтузиазма в жизнь Александрии. Это были Н. Д. Владимирский, А. Коперина, Р. Кацнельсон, И. Каплан, А. Карблюм, И. Вольфсон и А. Шторх. Студенты жили на горе, в верхнем общежитии, что за Учебным домиком, а на работу приходили вниз в нижний жилой домик. С особенной любовью вспоминается это дружное время первых трех лет существования лаборатории. Люди спелись и жили в самом деле общею жизнью... И старики, и молодежь из студентов,— чувствовали себя на равных началах участниками дружного общежития. И это было не формальное, а подлинно моральное равенство удавшегося маленького общежития, которое для его участников останется памятным навсегда. Мы, тогдашние жители Александрии, вспоминаем и теперь при встречах то время как необыкновенную «удачу», какими люди не избалованы». Это время было плодотворным и для самого

Алексея Алексеевича: здесь, с помощью и при непосредственном участии этих молодых и пытливых ребят, он осуществил давно задуманную им серию исследований по разработке лабораторных моделей доминанты. Это дало ему возможность в 1923 г. впервые выступить с экспериментально обоснованным принципом доминанты.

В 1923 г. работа александрийской лаборатории была частично свернута из-за нехватки помещений, а с 1924 г. она была переведена в Сергиевку. Как пишет А. А. Ухтомский, «при всем том, что Сергиевка встретила и устроила нас здесь весьма гостеприимно, прежний дух «удавшегося общежительства» уже не возобновлялся. Жизнь лаборатории стала приобретать официальный характер, вероятно, неизбежный, как, вообще говоря, неизбежны будни».

[2] Вера Федоровна Григорьева — химик, сотрудник одной из петергофских лабораторий.

[3] Николай Евгеньевич Введенский умер 16 сентября 1922 г. в селе Кочково Вологодской губернии.

[4] Имеется в виду опера русского композитора Модеста Петровича Мусоргского (1839—1881).

[5] Пантограф — прибор для снятия копий с чертежей, планов и т. п. в другом, обычно более мелком, масштабе.

[6] Laissez faire, laissez passer (фр.) — букв.: позволяйте делать, позволяйте идти (подразумевается: что хочется и куда хочется). Формула многих буржуазных экономистов, возникшая в XVIII в. и требовавшая невмешательства государства в сферу хозяйственных отношений.

[7] Иоанн Златоуст (344—407) — константинопольский патриарх, видный идеолог восточнохристианской церкви. Блестящий оратор и духовный писатель. Причислен христианской церковью к лику святых.

[8] Григорий Богослов (Григорий Назианзин) (ок. 330 — ок. 393) — греческий поэт и прозаик, церковный деятель и мыслитель.

[9] Исаак Сириянин (Исаак Ниневийский) (ум. в конце VII в.) — сирийский религиозный писатель.

[10] Догель Валентин Александрович (1882—1955) — зоолог, специалист в области сравнительной анатомии беспозвоночных, паразитологии, эмбриологии, профессор Петербургского университета.

[11] Владимирский Николай Дмитриевич — земляк А. А. Ухтомского, видный член биологической секции Рыбинского научного общества, принимавший большое участие в культурно-просветительной работе в Рыбинске в первые годы советской власти. В 1920—1925 гг. учился в Ленинградском университете и был студентом А. А. Ухтомского. Некоторое время жил в его квартире на 16-й линии Васильевского острова.

[12] Энтропия — одно из основных понятий классической физики, выражающее способность энергии к превращениям: чем больше энтропия системы, тем меньше заключенная в ней энергия способна к превращениям.

[13] На 10-й линии Васильевского острова в здании бывших Бестужевских курсов размещался рабочий факультет Университета.

[14] По материалам работы А. А. Ухтомский опубликовал статью (совместно с И. И. Каплан) «Сензорная и моторная доминанта в спинном мозгу лягушки» в Русском физиологическом журнале, т. IV, вып. 1—3, с. 71—88 (Собр. соч. т. I, с. 173—185).

[15] Резвяков Николай Петрович (1885—1948) — физиолог, ученик

Н. Е. Введенского. В 1919–1929 гг. работал ассистентом в физиологической лаборатории Петроградского университета, впоследствии заведовал кафедрой физиологии человека и животных Казанского университета.

[16] Виноградов Михаил Иванович (1892–1969) — физиолог, зав. лабораторией (затем кафедрой) физиологии труда в Ленинградском университете.

[17] Ольга Николаевна Владимирова-Каракозова — сотрудница одной из петергофских лабораторий.

[18] Имеются в виду «Физиологические беседы», организованные по инициативе группы ученых Петрограда, выразивших желание проводить периодические встречи представителей разных лабораторий для обмена опытом и научными исканиями. Из этих «бесед» суждено было вырасти Обществу российских физиологов им. И. М. Сеченова (создано в апреле 1917 г.; с 1960 г. — Физиологическое общество им. И. П. Павлова).

[19] Мария Мироновна Бирштейн — студентка А. А. Ухтомского.

[20] См. с. 510, прим. 124.

[21] Костычев Сергей Павлович (1877–1931) — биохимик, физиолог растений и микробиолог. Профессор Петербургского университета, в 1916–1923 гг. заведовал кафедрой физиологии растений.

[22] В мае 1923 г. А. А. Ухтомский был арестован вторично Петроградской ЧК и помещен в тюрьму Дома предварительного заключения на Захарьевской улице. Причиной ареста, по-видимому, явилось дело об изъятии церковных ценностей Никольской единоверческой церкви (ее к этому времени зарыли) и о вероисповедании самого Алексея Алексеевича. Как вспоминала другая ученица А. А. Ухтомского А. В. Коперина-Казанская, Алексея Алексеевича «освободили к началу учебного года, взяв с него подписку свои религиозные убеждения держать только для себя и про себя, никому не высказывая и не оказывая в этом отношении никакого влияния на студентов». По ее словам, этот арест тяжело сказался на состоянии А. А. Ухтомского: он стал очень замкнутым, нелюдимым, недоверчивым к людям. На полях одной из книг его личной библиотеки он позднее напишет: «Когда неожиданно оказываешься в совершенно новой обстановке, например в тюрьме, и грозит опасность для жизни, множество очень глубоких и тонко дифференцированных вопросов, которыми жил и занимался до сих пор, кажутся исчезнувшими и ненужными... В этом смысле, для расчистки философских рассуждений, можно рекомендовать побывать в тюрьме».

[23] Гельмгольц Герман Людвиг Фердинанд (1821–1894) — немецкий физик, математик, физиолог и психолог.

[24] Этуотер Уилбер (1844–1907) — американский физиолог, один из создателей респирационного калориметра, который применялся для измерения тепловых эффектов, сопровождающих процессы жизнедеятельности.

[25] Тур Федор Евдокимович (1866–1942) — физиолог, ученик И. М. Сеченова, сотрудник физиологической лаборатории Петербургского университета.

[26] Пэрна Николай Яковлевич (1880–1923) — физиолог, ученик Н. Е. Введенского.

[27] Имеется в виду Кржышковский Константин Николаевич (1877–1934) — врач-физиолог, окончил медицинский факультет Киевского университета, в 1906–1912 гг. сотрудник И. П. Павлова. В Петроградском университете в 1922–1924 гг. читал лекции по физиологии пищеварения и условных рефлексов.

[28] Когда А. А. Ухтомский в первый раз выступил с докладом о принципе доминанты, это вызвало различную реакцию в среде ученых: одни приветствовали открытие, другие отстаивали собственный приоритет. Дело в том, что на способность возбуждаемого центрального очага привлекать к себе посторонние импульсы и усиливать по их поводу свое возбуждение (лежащая в основе формирования доминанты) обращали внимание не только физиологи (Н. Е. Введенский, И. П. Павлов, В. М. Бехтерев), но и врачи-клиницисты и психологи. А. А. Ухтомский отмечал, что намеки на принцип доминанты могут быть найдены и в работах австрийского врача З. Фрейда, американского психолога В. Джемса, философа И. Канта. «Когда в науке ставится на очередь новая проблема, — писал А. А. Ухтомский, — она обыкновенно начинает давать себя знать одновременно в разных концах ученого мира». А. А. Ухтомский не считал сформулированный им принцип собственным достижением и был счастлив, когда в параллельных исканиях выявлялись факты, сходные с найденными им. Подчеркивая настоятельную необходимость творческих контактов между представителями различных научных направлений, он писал, что «отношения между школами должны пониматься как сотрудничество, но не как соперничество. Соперничать нам и не в чем!»

ПИСЬМА К Е. И. БРОНШТЕЙН-ШУР

[1] Бронштейн-Шур Елена Исааковна — ученица А. А. Ухтомского 1926—1928 гг. Письма охватывают период с 1927 по 1941 г.

[2] Имеется в виду доклад А. А. Ухтомского на заседании биологического студенческого научного кружка Ленинградского университета 2 апреля 1927 г., который затем был напечатан в Вестнике Комакадемии, кн. 22, 1927, с. 215—241 (Собр. соч., т. I, с. 293—315), под названием «Доминанта как фактор поведения».

[3] Речь идет о статье А. А. Ухтомского «Доминанта и интегральный образ» (Собр. соч., т. I, с. 189—196).

[4] Аутизм — отгораживание от действительности и погружение в мир внутренних переживаний.

[5] Паранойя — хроническая душевная болезнь, отмеченная стойким бредом.

[6] Drôle (фр.) — смешной, забавный.

[7] «Des solitudes» (фр.) — «Одиночества» (имеется в виду новелла французского писателя Ги де Мопассана (1850—1893) «Одиночество»).

[8] Шор Г. В. (1872—1948) — патологоанатом, основоположник — в России — науки о смерти (танатологии).

[9] Alter ego (лат.) — букв.: другой я, ближайший друг, единомышленник.

[10] Дефекация — выведение не усвоенных организмом остатков пищи из пищеварительного тракта. У млекопитающих животных и человека — опорожнение толстых кишок от каловых масс.

[11] Помните того дурака из древнегреческих философов, который днем ходил с фонарем под тем предлогом, что он ищет людей! Ведь это Голядкин, да еще более тяжелый и противный, потому что самоуверенный, не догадавшийся о том, что себя-то нельзя найти, если сначала не нашел человека больше себя и помимо себя. (Примечание А. А. Ухтомского).

[12] Децеребрация — перерезка стволовой части головного мозга, применяемая в опытах на животных при физиологических исследо-

ваниях, позволяющих изучать рефлекторную деятельность спинного мозга при отсутствии влияний со стороны коры больших полушарий.

[13] Клаузиус Рудольф Юлиус Эмануэль (1822–1888) – немецкий физик-теоретик, один из создателей термодинамики и молекулярно-кинетической теории теплоты.

[14] Кречмер Эрнст (1888–1964) – немецкий психолог и психиатр. Основоположник теорий, соотносящих психические свойства человека с конституцией его организма.

[15] Как писал Спенсер о мышлении Вейсмана: «Ему указывают на факты, не согласные с теорией, а он говорит: ну, тем хуже для фактов». (Примечание А. А. Ухтомского). Вейсман Август (1834–1914) – немецкий зоолог и теоретик эволюционного учения.

[16] Modus vivendi (лат.) – образ жизни.

[17] Le Grand Etre (фр.) – Великое Существо.

[18] При разработке А. А. Ухтомским концепции хронотопа (хронос – время, топология – наука о пространстве) как нельзя более ярко проявилось его стремление увязать задачи современной ему физиологии с новейшими достижениями в других областях естественных знаний, в частности с теорией относительности А. Эйнштейна и представлениями немецкого математика и физика Г. Минковского (1864–1909) о четырехмерном пространстве, объединяющем физическое трехмерное пространство и время.

[19] Прилагательное «соматический» применяют для обозначения явлений телесных в отличие от явлений психического характера.

[20] Максвелл Джеймс Клерк (1831–1879) – английский физик, создатель классической электродинамики, один их основателей статистической физики, разработавший теорию электромагнитных полей, которую А. Эйнштейн назвал «великим переломом» в современной физике.

[21] Декарт Рене (1596–1650) – французский философ, математик, физик, физиолог, идеи которого были теоретическим источником картезианства (латинская транскрипция имени Декарта – Картезий, отсюда название) – механистическо-материалистического направления в философии и естествознании XVII–XVIII вв., для которого было характерно развитие рационалистического математического (геометрического) метода.

[22] Factum est (лат.) – факт есть; факт налицо.

[23] Гельм Георг (1881–1923) – немецкий химик.

[24] Парабиоз – особая фазная реакция живой ткани на воздействие раздражителей (при определенной силе и длительности их воздействия), характеризующаяся состоянием стойкого местного, нераспространяющегося возбуждения. Отсюда Н. Е. Введенский, разработавший теорию парабиоза в 1901 г., делал вывод о единстве природы процессов возбуждения и торможения.

[25] Основной психофизический закон, который определяет связь между интенсивностью ощущения и силой раздражения, действующего на какой-либо орган чувств. Основан на наблюдениях немецкого физиолога Вебера Эрнста Генриха (1795–1878) и математических расчетах немецкого физика, психолога Фехнера Густава Теодора (1801–1887).

[26] Розенбах П. Я. – невропатолог-психиатр.

[27] Квиетизм – мистически-созерцательное отношение к жизни, пассивность, умиротворение.

[28] Книга Иова – одна из книг Ветхого завета.

[29] «De l'homme a la Science» (фр.) – «Про человека в науке».

[30] Ле Дантек Ф. (1869–1917) – французский философ.

[31] Вот отчего покойный П. Ф. Лесгафт мог наблюдать, что через четыре года «выделки» слушатели оказывались значительно поглупевшими! Это оттого, что они заражались рационалистическим суеверием от своих учителей! (Примечание А. А. Ухтомского).

[32] Риль Алоиз (1844–1924) — немецкий философ-идеалист.

[33] «Chaque vilain trouve sa vilaine» (фр.) — «Каждый мерзавец находит свою мерзость».

[34] Par excellence (фр.) — по преимуществу.

[35] Paris plaisir (фр.) — парижские удовольствия.

[36] Ферворн Макс (1863–1921) — немецкий физиолог.

[37] A priori (лат.) — независимо от опыта, вне опыта, наперед.

[38] В 1928 г. А. А. Ухтомский в числе других советских ученых (академик И. П. Павлов и профессора А. Ф. Самойлов и Б. М. Завадовский) был приглашен в Англию на торжества по поводу 300-летия со дня выхода в свет книги английского врача, физиолога и эмбриолога Уильяма Гарвея «Анатомические исследования о движении сердца и крови у животных». Однако поездка А. А. Ухтомского не состоялась.

[39] Эвдемонизм — античный принцип жизнепонимания, позднее в этике — принцип истолкования и обоснования морали, согласно которому счастье («блаженство») является высшей целью человеческой жизни.

[40] Уэллс Х.-Г. (Wells H. G.) (1875–1943) — американский патолог.

[41] Анафалаксия — патологический процесс, развивающийся у человека или млекопитающего животного при введении в организм, обычно минуя пищеварительный тракт, чужеродных веществ, чаще белковой природы; одна из форм аллергии.

[42] Рефрактерность — кратковременное снижение возбудимости нервной и мышечной тканей непосредственно вслед за потенциалом действия, возникающим при их возбуждении.

[43] Оппенгеймер С. (Oppenheimer C.) (1874–1941) — немецкий биохимик.

[44] Хилл Арчибальд Вивиен (Hill A. V.) (1886–1977) — английский физиолог.

[45] Вахольдер К.-О. (Wachholder K. O.) (1893–1961) — немецкий физиолог.

[46] От фр. beau-monde — высший свет.

[47] От фр. société — общество.

[48] Liberté, Egalité, Fraternité (фр.) — свобода, равенство, братство.

[49] Fait par le citoyen *** quatriéme année de la Republique (фр.) — Сделано гражданином ***, четвертый год Республики.

[50] Ultima ratio regis. Anno 1783 (лат.) — Последний довод короля. Год 1783.

[51] Рубо Франц Алексеевич (1856–1928) — русский живописец-баталист.

[52] Интуиционизм — философское направление, отвергающее теоретико-множественную трактовку математики и считающее интуицию единственным источником и главным критерием строгости ее построений.

[53] Формализм (в математике) — одно из направлений в основаниях математики, полагающее, что каждый раздел математики может и должен быть подвергнут полной формализации, т. е. излагаться в виде исчислений. Гарантией правомерности существования и изучения какого-либо раздела математики считалась не интерпре-

тация его в терминах внешней действительности, а лишь собственно его непротиворечивость.

[54] Брауэр Лёйтзен Эгберт Ян (1881—1966) — голландский математик.

[55] Вейль Герман (1885—1955) — немецкий математик.

[56] Шерешевский Лазарь Моисеевич (1900—1934) — ученик и друг А. А. Ухтомского.

[57] Шла подготовка к XV Международному физиологическому конгрессу, заседания которого было намечено провести в августе 1935 г. в Ленинграде и Москве.

[58] Декремент — ослабление возбуждения по мере его распространения вдоль нервного или мышечного волокна.

[59] Post factum (лат.) — после совершившегося факта.

ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК

1896—1909

[1] Филарет Московский (1782—1867) — архиепископ (с 1821), митрополит Московский (1825—1867).

[2] Павел Фивейский — в церковной истории первый по времени монах, который в пору гонений римского императора Деция на христиан спасся бегством в Фиваиду, где прожил много лет при ручье и пальме, плодами которой он питался.

[3] Ариман — или Анхра-Майнью — в зороастрической и древнеперсидской религии бог, олицетворяющий злое начало.

[4] Ормазд — Ормузд (или Ахурамазд) — в зороастрической и древнеперсидской религии бог добра.

[5] Сансара — в брахманизме, буддизме, джайнизме и др. учение о неизбежных страданиях существ в земной жизни и переселении душ умерших в другие тела. Страдание как основная характеристика посюстороннего существования определяется поступками людей в настоящей и предыдущей жизни. Уменьшить страдания можно путем исполнения религиозных предписаний, тогда после смерти тела душа воплощается в более высоком существе. Полное же спасение (нирвана) достигается при прекращении перерождений души в результате подавления всех чувств и желаний, в результате ухода от мира, а не изменения его.

[6] A posteriori (лат.) — букв.: исходя из последующего. Смысл: на основании уже имеющихся данных, на основании опыта.

[7] При окончании Духовной академии слушатели выполняли сочинение по циклу прослушанных ими дисциплин. Темой кандидатского сочинения А. А. Ухтомского было «Космологическое доказательство бытия Божия», цель которого — подтверждение строгого соответствия научных теорий о происхождении вселенной существующим догмам богословия. При работе над этим сочинением А. А. Ухтомский соприкоснулся с наиболее важными вопросами науки — эволюцией небесных тел в пространстве и во времени. От эволюции небесных тел он логически переходит к углубленному анализу эволюции живой природы, от общих философских представлений о мироздании — к конкретным проблемам биологии, геологии и физики. В отзыве на кандидатское сочинение А. А. Ухтомского отмечалось, что глубокий научный подход юноши к исследованию поставленного вопроса, его знакомство с началами физико-математических наук, с современной философией естествознания можно считать «редким и отрадным явлением в... духовной школе».

[8] Implicite (лат.) — запутано, впутано.

[9] Риман Георг Фридрих Бернхард (1826—1866) — немецкий математик.

[10] Отношение Александра (епископа Андрея) к младшему брату Алексею было неоднозначным. Наряду с любовью (в письмах епископ Андрей часто называл брата своим «другом и учителем») имело место чувство тревоги, озабоченности и открытого осуждения за «самостоятельность» выбора пути. Это касалось не только отрицательного отношения к научным занятиям Алексея Алексеевича, но и положения его в семье Ухтомских. Александр был убежден, что охлаждение сыновних чувств Алексея к матери и отцу было результатом «дурного» воспитания тети — Анны Николаевны Ухтомской. Последняя, истратив свои средства на воспитание Алексея и помощь знакомым, перешла на иждивение своего брата, их отца. Когда в конце 1896 г. Анна Николаевна приехала в Москву на консультацию к врачам, Александр при встрече с нею обвинил ее в «порче» брата. Это вызвало острое негодование Алексея, и между братьями произошла резкая ссора, наложившая отпечаток на их дальнейшие отношения.

[11] Варфоломеевская ночь — ночь на 24 августа 1572 г. (праздник св. Варфоломея), в течение которой католики во Франции осуществили массовую резню протестантов-гугенотов.

[12] Ночь резни Вифлеемских младенцев — в христианской мифологии ночь, когда по приказу царя Иудеи Ирода I были уничтожены все младенцы («избиение младенцев») при известии о рождении Христа (родился в Вифлееме Иудейском), которому волхвы предсказали быть царем иудейским.

[13] Лот — в библейской мифологии племянник Авраама, мифического родоначальника евреев. Согласно книге Бытия, при наказании богом Яхве грешного города Содома к Лоту явились ангелы и предупредили о предстоящей гибели города, благодаря чему семья Лота спаслась бегством.

[14] Записи относятся ко времени пребывания А. А. Ухтомского в Иосифо-Волоколамском монастыре (см. с. 503, прим. 15).

[15] Анастасия Львовна и Мария Львовна Половцевы — петербургские знакомые А. А. Ухтомского.

[16] Сипягин Дмитрий Сергеевич (1853—1902) — русский государственный деятель. С 1900 г. — министр внутренних дел России. Близкий знакомый семьи Ухтомских. Помог А. А. Ухтомскому в переводе на естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета.

[17] Ухтомский Эспер Эсперович (1861—1921) — родственник А. А. Ухтомского, князь. Публицист, известный востоковед, этнограф и путешественник, поэт. Окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета, служил по «департаменту духовных дел иностранных исповеданий» и был несколько раз командирован в Сибирь и Среднюю Азию для изучения инородцев-буддистов. Опубликовал описания этих путешествий, в частности роскошно изданное в 1893 году «Путешествие наследника цесаревича на Восток в 1890—1891 гг.» (Э. Э. Ухтомский сопровождал великого князя Николая Александровича, будущего императора Николая II, в его кругосветном путешествии на яхте «Штандарт», в результате чего сложились их близкие, приятельские отношения). С конца 90-х гг. стоял во главе Русско-Китайского банка и правления Маньчжурской железной дороги. С 1896 г. — арендатор «Санкт-Петербургских ведомостей».

[18] Гетерогенный — неоднородный по составу.

[19] По изд. Маркса. СПБ, 1894, т. IV, ч. I, с. 174 и т. II, с. 351 (примечание А. А. Ухтомского). (Роман Ф. М. Достоевского «Униженные и оскорбленные».)

[20] 2 апреля 1902 года эсер С. В. Балмашев в знак протеста против правительственных репрессий выстрелом смертельно ранил Д. С. Сипягина в Мариинском дворце в Петербурге.

[21] Платоновой.

[22] Из дневника В. А. Платоновой (1911 г.): «...Я любила ту часть его души, которую он сам мне открывал, любила только те светлые мысли, что рождались в его голове и вставали предо мною. Он же сам говорил, чтобы я не очень доверялась ему, что он двойной, что порывы поднимаются и падают. Я забыла первое, знала второе и упустила из виду третье. Как же быть? Не доверять его светлому гению я не могу, ведь это то, что влечет меня, крепко держит в нем. Порывы? Ведь мертвым они только чужды. Двойной? Вот оно и есть. Любя светлое, надо понять и темное, надо признать его, не отворачиваться, не избегать его, а бороться, если нужно, с ним вместе, победить же можно только вооружившись любовью, и любить человека надо не разделяя мысль от тела, духа от сердца, всего любить надо... Что в нем худое, что хорошее? Хорошее — искание стремления к Богу, к Абсолютному, его духовная жизнь, его молитва, его жажда красоты духа, а не только форм и линий. Худое — ложь в переоценке своих способностей, его недолетания. Могучее тело, спутанное веревками, вечное «быть или не быть», разъедающее «что если?». Алексеюшка представляется мне иногда большущей птицей, с сильными крыльями, взмахнет он ими и мощно и легко подымется в лучезарную высь и парит в лазури неба так плавно, так красиво, но уж не долго, что виною — слабость ли крыльев, резкость ли воздуха? Спустится она на землю, и невидимые руки уже расставили силки, и попала в них моя птица, спутаны ноги, и прыгает, прыгает она, а крылья повисли бессильно! Но птица странная, прекрасная высоко над землею, и страдающая на земле, любит свое страдание и, унесясь ввысь, не может остаться долго в горнем мире, спускается опять на землю, чтобы жить-страдать. Жизнь двоится. А неуверенность, нерешительность? Та самая нерешительность, в которой, как Гамлет сказал, $^3/_4$ трусости и $^1/_4$ мудрости (у Ал. Ал. только $^3/_4$ трусости надо разделить пополам: $^3/_8$ ее и $^3/_8$ лени, самой простой, обыкновенной, нас убивающей лени). Добрый ли он? Да. Слабый? И да и нет. В том, что он считает не имеющим серьезного, важного значения, он уступчив, податлив, в случаях, в вопросах решающего важного значения силен. Он знает, чего хочет. Но медленно, медленно до судорог в ногах! Одна из слабостей его — это женщина, сам признается, и как он противен в ней иногда! Правда, он и в этой слабости силен, силен своей молитвой, своим знанием ее, и мне думается, что он, как Лев Николаевич Толстой, в конце концов освободится от нее. Толстой освободился — женившись, и Ухтомский тоже...»

[23] Веста — богиня домашнего очага у древних римлян.

[24] Фижмы (в XVIII — начале XIX в.) — каркас в виде обруча, вставлявшийся под юбку у бедер, а также юбка с таким каркасом.

[25] Роброн — старинное женское платье с фижмами.

[26] Хитон — у древних греков род широкой, падающей складками одежды.

[27] Ферне — поместье Вольтера. В 1753 г. он покинул пределы Прусского государства и в 1758 г. купил неподалеку от швейцарской

границы замок Ферне, где и обосновался. Ферне стало местом паломничества, а Вольтера стали именовать «фернейским патриархом».

[28] Сперанский Михаил Михайлович (1772—1839) — граф, русский государственный деятель. Составил несколько проектов государственных реформ.

[29] Победоносцев Константин Петрович (1827—1907) — русский государственный деятель, юрист, обер-прокурор Синода.

1921—1924

[1] Эмерсон Ралф Уолдо (1803—1882) — американский философ-идеалист, поэт и эссеист.

[2] Интерполяция — способ вычисления показателей, недостающих в динамическом ряду явлений на основе установленной взаимозависимости членов ряда.

[3] Терсит — здесь: дерзкий, неуживчивый человек.

[4] Эсхатология — религиозное учение о конечных судьбах мира и человечества, о конце света и Страшном суде.

[5] Немезида — в греческой мифологии богиня мести, карающая за нарушение установленного богом порядка. В переносном смысле — возмездие.

[6] Pars pro tóto (лат.) — часть вместо целого.

[7] Idées forcés (фр.) — господствующие идеи.

[8] Имеется в виду учение Зигмунда Фрейда (1856—1939) — австрийского невропатолога, психиатра и психолога, основоположника психоанализа.

[9] Регенерация — восстановление организмом утраченных или поврежденных органов и тканей.

[10] Рецепция — восприятие и преобразование различного рода внешних и внутренних раздражителей в нервные сигналы.

[11] Дискурсия — метод рассудочного, понятийного, логически-опосредованного (в отличие от чувственного, созерцательного, интуитивного, непосредственного) постижения истины.

[12] Реципрокная — взаимная, сопряженная.

[13] Comme il faut (фр.) — как следует, сообразно с требованиями приличия.

[14] Древс Артур (1865—1935) — немецкий философ-идеалист.

[15] Юлиан Отступник, Флавий Клавдий (331—363) — римский император, был ярым приверженцем языческой религии.

[16] Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс (ок. 160 — после 220) — христианский богослов и писатель.

[17] Mots (фр.) — слова.

[18] L'amoure et la vérité (фр.) — любовь и истина.

[19] Софисты — древнегреческие философы (V в. до н. э.), выступавшие в роли профессиональных учителей «мудрости» и «красноречия» и призывавшие изучать самого человека и его субъективные особенности.

[20] Сократики — последователи древнегреческого философа Сократа. Большое внимание в их философии уделялось анализу человеческого сознания и мышления.

[21] Force majoure (фр.) — непреодолимая сила, чрезвычайное обстоятельство, которое невозможно предотвратить или устранить, например стихийное бедствие.

[22] Dies irae (лат.) — «День гнева», заупокойное песнопение.

[23] См. с. 507, прим. 86.

[24] См. с. 507, прим. 92.

[25] Здесь: быть лицемерным, проявлять коварное двуличие.

[26] Ratio (лат.) — разум, рассудок.

[27] Закон optimum'a реакции — закон, определяющий уровень силы или частоты раздражений, при котором осуществляется максимальная деятельность органа или ткани. Явление оптимума описано в 1886 г. Н. Е. Введенским.

[28] Либих Юстус (1803—1873) — немецкий химик.

[29] Имеется в виду персонаж трагедии Иоганна Вольфганга Гёте «Фауст» — подручный Фауста, «скучный, несносный, ограниченный школяр».

[30] Modus operandi (лат.) — образ действия.

[31] Coitus (лат.) — соитие.

[32] Манихеи — последователи возникшего на Ближнем Востоке в III в. религиозного учения, для которого характерно пессимистическое представление об изначальности зла.

[33] Ида Исааковна Каплан (Слонимская).

[34] Номиналисты — представители направления в средневековой философии, считавшие, что реально существуют только отдельные вещи, в то время как общие понятия, создаваемые нашим мышлением об этих вещах, являются лишь именами, названиями (по-лат.— nomen).

[35] Реалисты — последователи направления в средневековой философии, утверждавшие (в отличие от номиналистов), что общие понятия имеют реальное существование и предшествуют существованию единичных вещей.

[36] Контисты — последователи французского философа Огюста Конта — автора социалистического учения, в основе которого лежит утверждение бесполезности революционного изменения буржуазных порядков. Средством установления социальной гармонии Конт считал пропаганду «новой» религии, обращенной не к индивиду, а к человечеству в целом (в отличие от индивидуалистов с их абсолютизацией позиции отдельного индивида в его противопоставлении обществу).

[37] Мордовцев Даниил Лукич (1830—1905) — русский и украинский писатель, историк.

[38] Филиппов Михаил Авраамович (1826—1886) — юрист и публицист. Здесь имеется в виду его роман «Патриарх Никон» (1885).

[39] Афон — самоуправляющаяся область (полуостров) в Восточной Греции, которая находится во владении православного монашеского объединения.

[40] Ex cathedra (лат). — с кафедры, с высоты кафедры, авторитетно (часто употребляется в ироническом смысле).

[41] Méthode foi (фр.) — метод веры, система верований.

[42] См. с. 511, прим. 126.

ИЗ ПИСЕМ

1907—1942

ПИСЬМА К Н. Я. КУЗНЕЦОВУ

[1] Кузнецов Николай Яковлевич (1873—1948) — энтомолог и физиолог, близкий друг А. А. Ухтомского. В 1895 г. окончил естественное отделение физико-математического факультета Петербургского уни-

верситета. До 1905 г. работал в физиологической лаборатории Университета в качестве ассистента проф. Н. Е. Введенского, где и сблизился с А. А. Ухтомским. Н. Я. Кузнецова Алексей Алексеевич называл «лучшим человеком, которого я знал в Университете». С 1905 по 1948 г. работал в Зоологическом музее (позднее Зоологическом институте) АН СССР. В течение ряда лет постоянно читал в Университете курс по физиологии беспозвоночных.

[2] Саша — муж младшей сестры А. А. Ухтомского Елизаветы Алексеевны.

[3] Николай Евгеньевич Введенский.

[4] Дуня — Евдокия Гавриловна Кузнецова — жена Н. Я. Кузнецова.

[5] Константин — некоторое время жил на квартире у А. А. Ухтомского на 16-й линии Васильевского острова.

[6] Надежда Ивановна Бобровская.

[7] Сотрудники физиологической лаборатории Университета; Резвяков Н. П.— см. с. 512, прим. 15; Бериташвили (Беритов) Иван Соломонович (1884—1974) —физиолог, основатель физиологической школы в Грузии, академик. Как вспоминал А. А. Ухтомский, «лаборатория была, можно сказать, в непрерывной работе, и ее обиход требовал от нас, ее органических сотрудников, неопустительного ежедневного присутствия. Когда на второй год моей службы лаборантом я пришел в одно из воскресений после полудня, Н. Е. встретил меня вопросом: «Куда это вы шатаетесь!» Жизнь в лаборатории шла в самом деле очень деятельно. Нередко бывало, что отдельные работники для очередных тем оставались в лаборатории по ночам, войдя в соглашение со служителями относительно ключа, который перед уходом домой ранним утром надо было оставлять под вьюшкой в коридорном дымоходе. Сам Н. Е. свои телефонические исследования проводил по ночам и не возражал против ночной работы сотрудников, когда этого требовало дело. При такой активной жизни в лаборатории у Н. Е. была возможность узнать своих работников. Когда Н. Е. подмечал хотя бы намек на подтасовывание фактов или выводов со стороны работника, это неисправимо ложилось на все дальнейшие отношения Н. Е. к сотруднику. В личных отношениях Н. Е. был, несомненно, высокотерпим и продолжал помогать сотруднику и поддерживать его работу и тогда, когда работа развивалась вопреки взглядам и ожиданиям патрона или даже вела к попыткам принципиального оспаривания последнего» (Собр. соч., т. V, с. 169). А. А. Ухтомский всегда подчеркивал большую значимость сохранения этого «талисмана коллективно-содружественной работы» для нормального развития научной школы. Он писал, что только «там, где в самом деле дороже всего общее дело, весь коллектив приветствует появление в своей среде нового сильного дарования и нет и не может быть места обычной боязни, как бы не появился соперник. Именно потому, что здоровый коллектив приветствует и вынашивает внутри его дарования ради общего дела, коллективный уклад работы и оказывается не нивелирующим, но поистине прогрессивным началом в науке и жизни» (там же, с. 174).

[8] Карташевка — имение Н. Я. Кузнецова.

[9] Имеются в виду министры Временного правительства в России: А. И. Гучков (военный и морской), П. Н. Милюков (иностранных дел) и глава Временного комитета Государственной думы 1917 г. М. В. Родзянко.

[10] Просьба А. А. Ухтомского была связана с тем, что летом 1918 г. он ездил в Ярославль после ликвидации контрреволюционного

белогвардейского выступления (Ярославский мятеж 6—21 июля 1918 г.).

[11] Имеется в виду статья А. А. Ухтомского «Великий физиолог (Памяти И. П. Павлова)», опубликованная в журнале «Природа», 1936, № 3, с. 10—14.

ПИСЬМА К А. А. ЗОЛОТАРЕВУ

[1] Золотарев Алексей Алексеевич (1879—1950) — краевед и общественный деятель Ярославского края, близкий друг А. А. Ухтомского. Их сближению способствовали годы учебы в Петербургском университете (А. А. Золотарев также был студентом естественного отделения физико-математического факультета). За активную революционную деятельность в 1902 г. был арестован и исключен из Университета, несколько раз высылался в Нарымский край; попав в эмиграцию, учился в Париже в Сорбонне, жил много на острове Капри у А. М. Горького и только перед самой революцией 1917 г. вернулся на родину, в Рыбинск, где занялся культурно-просветительной работой при Комиссариате народного образования. Создал естественнонаучное общество (в 1918—1930 гг. был его председателем) с библиотекой, музеем и школьный кружок, члены которого впоследствии стали студентами А. А. Ухтомского (А. В. Коперина-Казанская, Н. Д. Владимирский). А. А. Ухтомского и А. А. Золотарева сближал общий интерес к истории религии и религиозных движений в России, в частности к истории старообрядчества.

А. А. Золотарев часто навещал своего друга в Петербурге. Вот строки из его воспомнинаний: «Помню, как лежишь в его зальце на 16-й линии Васильевского острова, спасаясь от зимнего холода под его огромным тулупом, грезятся какие-то чудесные сны — видения из далекого безгрешного детства. Я вспоминаю своего отца, и мне становится так хорошо на сердце, так радостно, так мирно. Я знаю, что пока Алексей Алексеевич жив, то у меня есть надежный, не только сердечный друг, не только «заслуженный собеседник», но и духовный руководитель, чьи советы, чьи внушения и предостережения столько принеслн и принесут еще мне добра и столько раз спасали и направляли меня в моей страннической дороге.

Бывало, лежим под своим тулупом и в беседе нашей переходим от одной темы к другой; он способен был переноситься от своего личного, разнообразного, емкого, пестрого, от светлых и радостных детских впечатлений к зрелому старческому, к самым глубоким вопросам веры, науки и искусства или думам тревожным и мучительным, тревожного и мучительного иашего времени... Это была радость сердечиого духовного общения, задушевных долгих бесед, дружеской переписки и совместной работы.

Ах, сколько полезного и доброго для себя, для своей души взял я в это время к себе в сердце от щедрого на мысли, на чувства дорогого своего тезки. Сколько уроков укрепления воли, обуздания страстей н порывов дал он мне примером своей могучей личности.

Помню, как чаровал он меня своим благочестием, глубоким целомудренно-чистым, манящим к себе, заражающим собою — хотя бы в отношении к самым простым людям».

[2] 12 февраля 1919 г. А. А. Ухтомскому было выдано удостоверение Ректора Первого Петроградского университета за № 606, где значилось, что он как служащий в советском учреждении не подлежит привлечению к трудовой повинности и тыловой службе; вменялось

в обязанность «предоставлять все возможные льготы с целью обеспечения спокойной работы в деле развития науки и просвещения народных масс на пользу советской республике, ограждение библиотеки, ограждение от вселения посторонних лиц, ограждение от обысков и арестов».

В ноябре 1920 г. в исполком Рыбинского Совета было направлено письмо Петроградского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (А. А. Ухтомский был депутатом Петросовета VI созыва) о том, чтобы «принять все возможные меры к охране имущества и квартиры проф. А. А. Ухтомского, помещающихся в Рыбинске по Выгонной ул., 44 и состоящей из 2-х комнат, от реквизиции и вселения, т. к. проф. А. А. Ухтомский был задержан в Петрограде не по своей вине, а по исполнению своих служебных и научных обязанностей при Петроградском университете, а также как члена Петросовета, тем более, что и квартира и имущество его по размерам и характеру отнюдь не являются буржуазными».

[3] В предисловии к книге «Физиология двигательного аппарата» А. А. Ухтомский писал: «Для меня нет сомнения, что я никогда не собрался бы издать мои лекции 1924—1926 гг., если бы не было желания и инициативы моих слушателей собрать и обратить их в более или менее законченный курс. Соглашаясь на издание, я шел навстречу потребности студентов иметь сводку прослушанного в дополнение к учебникам, которые мы могли иметь под руками. Затем, мне показалось, что это наше общее издание закрепляет то общее дело и общую мысль, которые соединяли нас в часы, проведенные вместе в университетской аудитории. Пусть это издание будет посвящено моим слушателям, общение с которыми было для меня светом и радостью» (Собр. соч., т. III, с. 5).

[4] Ресиньяция — от фр. resignation — отказ, уступка, покорность судьбе, безропотность, смирение.

[5] Астения — состояние, которое характеризуется повышенной утомляемостью, истощаемостью, ослаблением или утратой способности к продолжительному физическому или умственному напряжению.

ПИСЬМО К Г. И. КУРОЧКИНУ

[1] Курочкин Георгий Иванович (1875—1958) — товарищ А. А. Ухтомского по Рыбинской гимназии. Закончил медицинский факультет Московского университета, был санитарным врачом, вел большую научно-просветительную и общественную работу в Ярославском крае.

ПИСЬМА К Н. Н. МАЛЫШЕВУ

[1] Малышев Николай Николаевич (1871—1968) — близкий друг А. А. Ухтомского. Окончил Московский университет, работал у И. М. Сеченова, вместе с ним преподавал на Предтеченских курсах для рабочих. С 1903 г. преподавал биологию в Тенишевском училище и без оплаты трудился на кафедре физиологии Петербургского университета, где и сблизился с А. А. Ухтомским. В 1914 г. Малышев переехал в Рязань, где работал учителем; в 1925—1929 гг. преподавал в школах Пскова; с 1929 года учительствовал в Ленинграде, а в каникулы работал в Петергофе в лаборатории А. А. Ухтомского. С 1923 г.— научный сотрудник лаборатории Л. Л. Васильева в Институте мозга

Наркомата здравоохранения РСФСР. В годы войны работал в Ленинграде. 25 июня 1942 г. состоялась защита его докторской диссертации, оппонентами выступали А. А. Ухтомский и Н. Я. Кузнецов.

[2] Введенский.

[3] Гулинова Елена Николаевна (1882—1925) — ученица Н. Е. Введенского. В 1914 г. уехала в провинцию, где работала учительницей.

[4] Сборники «Новое в рефлексологии и физиологии нервной системы» издавались по инициативе В. М. Бехтерева Институтом мозга. Выход их прекратился вскоре после кончины Бехтерева (1927).

[5] «Русский физиологический журнал им. И. М. Сеченова» основан после 1-го Всероссийского съезда физиологов весной 1917 г. как орган Физиологического общества. В 1930 г. был переименован в «Физиологический журнал СССР».

[6] Речь идет о книге «Парабиоз» (М., 1927), в которой были опубликованы статьи А. А. Ухтомского, Л. Л. Васильева, М. И. Виноградова.

[7] По решению Центральной комиссии по улучшению быта ученых при Совнаркоме А. А. Ухтомскому была предоставлена путевка в дом отдыха в Кисловодске.

[8] Зигфрид Эвергардт. «Тело как застывшая форма; управление его частями как основа жизни». Мюнхен, 1926.

[9] Речь идет о выставке к 90-летию со дня рождения Н. Е. Введенского.

[10] В. А. Гладкая — племянница Н. Е. Введенского (дочь Александра Евгеньевича).

[11] А. А. Ухтомский согласился написать отзыв и быть оппонентом докторской диссертации Н. Н. Малышева.

[12] Макаров Петр Осипович (1905—1975) — физиолог, сотрудник Физиологического института Ленинградского университета.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

[1] Pāx Romana (лат.) — Римская империя.

[2] Савельевна — по-видимому, А. А. Ухтомский сознательно обобщил два имени: реального исторического лица — няни А. С. Пушкина Арины Родионовны — и литературного персонажа — дядьки П. А. Гринева (из «Капитанской дочки») Савельича, для выражения типа «народных воспитателей».

[3] Герберштейн Зигмунд (1486—1566) — барон, немецкий дипломат, путешественник. В 1517 и 1526 гг. посещал в качестве посла императора Максимилиана I Москву. Выпустил книгу «Записки о московских делах».

[4] Олеарий Адам (1603—1671) — немецкий ученый. После посещения России в составе шлезвиг-гольштейнского посольства в 1633—1634 гг. и во время путешествия 1635—1639 гг. в Иран составил записки о своих путешествиях, где приведены сведения по географии и истории России.

[5] Павел Аллепский — церковный деятель середины XVII в., архидиакон, автор записок о путешествии в Россию в 1654—1656 гг.

[6] Остерман Андрей Иванович (1686—1747) — русский государственный деятель, дипломат, граф, с 1731 г. фактически руководил внешней и внутренней политикой России.

[7] Бенкендорф Александр Христофорович (1781—1844) — рус-

ский государственный деятель, граф, один из проводников реакционной внутренней политики Николая I.

[8] Шизофрения — тяжелое психическое заболевание, характеризующееся нарушением связности психических процессов и упадком психической деятельности.

[9] Шизотимик — термин, введенный немецким психологом Э. Кречмером, для обозначения одного из типов психической конституции личности человека. Для шизотимика характерен уход от активного взаимодействия с внешним миром и наличие хрупкой, ранимой эмоциональной сферы.

[10] Исайя, Иеремия, Иезекииль, Илия — библейские пророки.

[11] Кашкаров Даниил Николаевич (1878—1941) — зоолог-эколог, в 1934—1941 гг. заведовал кафедрой зоологии позвоночных в Ленинградском университете.

[12] Пиррон из Элиды (ок. 360 — ок. 270 гг. до н. э.) — древнегреческий философ, основатель скептицизма.

[13] Дюбуа Реймон Эмиль (1818—1896) — немецкий физиолог и философ.

[14] Холдейн Джон Бёрдон Сандерсон (1892—1964) — английский биолог, автор работ по философским вопросам естествознания.

[15] Введенский Александр Иванович (1856—1925) — русский философ-идеалист и психолог, профессор Петербургского университета.

[16] Ной — герой библейского мифа о Всемирном потопе, ниспосланном Богом за тяжкие прегрешения и истребившем «все сущее с лица земли», за исключением праведника Ноя с его семьей и пары «от всякой плоти», которые спасаются на ковчеге, построенном Ноем по велению Божию.

[17] Деван ле жанс — от фр. devant le gens — перед простыми людьми.

[18] Бухарин Николай Иванович (1888—1938) — деятель коммунистической партии и советского государства, академик, председатель Института истории науки и техники АН СССР.

[19] Имеется в виду роман Ф. М. Достоевского «Подросток».

[20] Ducunt volentem fata, nolentem trahunt (лат.).— Желающего судьба ведет, нежелающего — тащит. Одно из изречений стоиков.

[21] Cogito ergo sum (лат.).— Я мыслю, следовательно, я существую. Философский афоризм Р. Декарта.

[22] Кафры — название, данное европейскими колонизаторами южноафриканскому народу коса.

[23] Готтентоты — народ, живущий в юго-западной Африке.

[24] C'est grand (фр.) — великое, возвышенное, высокое.

[25] Заметки на полях поэмы А. Блока «Возмездие». Впервые опубликованы в журнале «Природа», 1975, № 9, с. 34—35.

[26] Г. Ибсен упомянут, очевидно, в связи с его словами «Юность — это возмездие», взятыми эпиграфом к поэме Блока.

[27] Церкария — личиночная стадия развития паразитических червей класса дигенетических сосальщиков.

[28] Эльсберг Я.— литературовед и критик.

[29] Отрывок из сочинения А. А. Ухтомского — слушателя 2-го курса Московской Духовной академии — «Можно ли признать чувствования удовольствия и страдания первичными и основными элементами душевной жизни?» 20 декабря 1895 г.

[30] Методос — от лат. methodos — прием, способ, метод.

[31] Одос — от лат. odos — предчувствие и предположение.

[32] Perpetuum mobile (лат.) — вечное движение, «вечный двигатель».

СОДЕРЖАНИЕ

Ухтомский А.

У89 **Интуиция совести: Письма. Записные книжки. Заметки на полях. — СПб.; Петерб. писатель, 1996. — 528 с.**

ISBN-5-88986-13-5

Алексей Алексеевич Ухтомский (1875—1942) — физиолог с мировым именем, академик. Сборник «Интуиция совести» включает в большинстве своем архивные, впервые публикуемые материалы, носящие автобиографический характер. Эпистолярное и мемуарное наследие А. А. Ухтомского — неизвестная страница русской культуры.

Алексей Алексеевич Ухтомский

ИНТУИЦИЯ СОВЕСТИ

Редактор *Т. С. Харыкина*

Художник *Л. А. Яценко*

Техн. редактор *Л. П. Полякова*

Корректор *Е. Я. Лапинь*

Оригинал-макет подготовлен в издательстве «Петербургский писатель»

ЛР № 040718 от 21 апреля 1995 г.

Подписано к печати 02.04.96. Формат 84×108 1/32.
Гарнитура Литературная. Печать офсетная.
Усл. печ. 27,72. Уч.-изд. л. 29,07. Тираж 2000 экз. Заказ № 3098

Издательство «Петербургский писатель»
191104, Санкт-Петербург, Литейный пр., 36

Санкт-Петербургская типография № 1 РАН
199034, Санкт-Петербург, 9 лин., 12